

8413100 = 1935
У 17 **ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА**

Г. И. УСПЕНСКИЙ

**ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

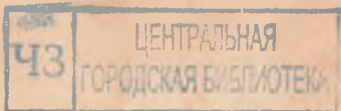
ГОСПИТКЗДАТ • 1935



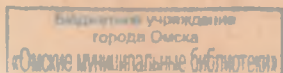


84 (2 Рос = Рус)

У 77



Типография им. Мяги треста «Полиграфкнига.» Самара.



208883² = 1

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ

I

Глеб Успенский родился 13 октября 1843 года в городе Туле, в чиновничьей семье средней руки. Отец его, Иван Яковлевич Успенский, был чиновником палаты государственных имуществ в Туле, а дед, Яков Дмитриевич, дьяконом села Богоявления Елифановского уезда Тульской губернии. Этот дьякон Успенский, как рисуется он в памяти одного из родственников, оставившего свои воспоминания о детстве Г. И. Успенского, был «худенький, низенький, лысенький и какой-то угнетенный старичок... говорил тихо и всегда с хрипоткою, словно страдал легкой простудой. Эта хрипотка, страдальческое выражение лица и вся миниатюрная фигура делали его одновременно как-то и жалким, и симпатичным» (Д. Васил-Соколов, «Русское богатство», 1894 г., № 6). У этого робкого дьякона была большая семья: кроме дочерей, пять сыновей. Из них четвертым был Иван Яковлевич, отец Глеба Успенского. Иван Яковлевич Успенский имел видную наружность, а также и большие способности. Еще семинаристом он «был приглашен давать уроки детям Глеба Фомича Соколова, служившего в то время советником тульской палаты государственных имуществ. В числе учащих была девочка подросток, Надя. При ее кротости и уме она была необыкновенно интересна и по внешности: ...несколько смугловата, с лицом, слегка покрытым румянцем; черные волосы и черные блестящие глаза... Юноша-учитель полюбил свою ученицу...

Отец Пади предложил ему у себя, в палате, место столоначальника. Предложение это... было принято Иваном Яковлевичем. Оно тем более было для него лестно, что место это обыкновенно получалось после долгих лет службы, а не сразу, как было в данном случае». Сделавшись вскоре секретарем той же палаты, Иван Яковлевич купил свой дом на Барановой улице. Быстро росла семья. Кроме Глеба, в семье Успенских родилось еще шестнадцать детей: из них выжили первые четыре дочери и три младших сына, остальные умерли в детстве. Глеб был самым старшим, и на долю его, как первенца, пришлось больше всего родительского внимания и забот. Он оказался также любимцем самого Глеба Фомича Соколова, влиятельного самодура и деспота, своего деда с материнской стороны. Этот выслужившийся крупный провинциальный чиновник, изуродованный пройденной им чиновничьей ляжкой, несмотря на то, что по тому времени был довольно культурным человеком и даже кое-что печатал, в дугу гнул свою большую семью, угнетал и убивал в детях всякие проявления личности и оригинальные способности, которые как раз были у его детей.

В семье Соколовых «личность до того была подавлена, что даже в поколении внуков была заметна как бы боязнь чего-либо мало-мальски самостоятельного».

Однако к мальчику Глебу, своему любимцу, странный дед был обращен лучшими сторонами. Когда Г. Ф. Соколов переехал на службу в Калугу, родители отвезли Глеба к нему «жить и учиться». Глеб Фомич, как записал сам Г. И. Успенский в одном из автобиографических отрывков, «любил меня и хотел оторвать от семейства. Там я учился в школе у вдового дьякона». Раньше этого Глеб учился вместе с сыном Г. Ф. Соколова, Дмитрием, у домашнего учителя, а в начале (первым буквам) — у проживавшего в доме Соколовых Алексея Михайловича Орехова, разорившегося хлебного торговца. Этого Орехова Успенский зарисовал в своем первом рассказе «Мальчик» (1862 г.). Орехов был оригинал и забавник, много паясничавший с ребятами; Глеб Иванович его очень любил. Литературный

портрет его написан в ласковых тонах. В доме родителей «с раннего детства Глеб Иванович был окружен любовью и теплыми заботами. Несмотря на суровые приемы того времени в деле воспитания, он не терпел никаких наказаний как дома, так и впоследствии в гимназии». Мать его баловала, отец был внимателен и заботлив к своему первенцу. Даже в гимназии, куда Глеб Успенский поступил в 1853 году, он не терпел свойственных режиму того времени жестокостей. «Приношения» (взятки) смягчали режим, и Глеб Иванович, припоминая свое личное детство, писал в очерке «На старом пепелище»: «Морозное утро; я еду в гимназию, еду веселый, довольный; я знаю, что мне не поставят единицы, не оставят без обеда, не тронут пальцем... Там уже позаботились, чтобы ничего этого не было...»

Однако на это видимое благополучие детства Глеба Успенского слышно уже ложились страшные тени исторической действительности того времени, непонятные ребенку и осознанные Глебом Ивановичем только впоследствии, в пору его сознательной жизни. Среди обывательского благополучия, в мирной тишине провинциального житья-бытья таился воистину тихий ужас.

Миллистая атмосфера тяжелого удушья мрачной николаевской эпохи давила чуткую душу ребенка невидимым, по страшной силе давлением. Время детства и ранних гимназических лет Глеба Ивановича было временем жестокой политической реакции. Накануне Крымской войны показным благополучием и внешней позолотой благоденствующей царской державы было прикрыто народное обнищание экономически отсталой, рабски угнетенной и бесправной страны. Крестьянство было разорено и задавлено, дворянство вырождалось, ужасы крепостничества достигли высшего своего выражения. Всюду царил насилие, испуг, всепожирающий бюрократизм чиновничества, бездушья, жестокая расправа с низшими, безответственность имущих классов: телесные наказания, палка, кнут, шпицрутены. Тонкая душевная организация впечатлительного и первого ребенка испытывала какое-то глухое, невнятное и неизъ-

яснимое, но мучительное томление, непопятный испуг, вечный страх и щемящее ощущение боли за чьи-то обиды, сознание вины. По свидетельству родных писателя, его собственным показаниям и отражениям биографических данных в различных местах художественных произведений, в детстве Г. И. Успенского его мучили непонятные, по-видимому, «беспричинные слезы». «У Глеба глаза на мокром месте», беспомощно говорила его мать и спешила унять слезы лаской, лакомством, игрушками. «Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит» (Автобиография). О слезах детства говорится и в «Рассказе Черемухина»: «Что значат эти бесконечные слезы, которые я проливал среди мертвой тишины всеобщего сна и которых не могли унять никакие просьбы, обещания, угрозы, на помощь которым так охотно приходили зимние выюги, стучавшие непривязанной ставней и гудевшие в трубе?.. Я чувствую, вижу, что этими слезами вся человеческая природа моя протестовала против этой нечеловеческой жизни, которая была кругом меня» («Разоренье»). А сквозь олеку родителей, сквозь обывательское благополучие родного гнезда проникали странные видения действительной жизни.

Сверстник детских лет и гимназической учобы Глеба Успенского повествует: «Тулльская гимназия, в которой учился Глеб Иванович, находилась на так пазываемой «Хлебной площади», где время от времени воздвигался эшафот для конфирмации и наказания кнутом преступников. Окна нашего первого класса выходили как раз на площадь, и из окон, вдали, можно было видеть всю процессию и экзекуцию, производившуюся обыкновенно около двенадцати часов, т. е. в то время, когда у нас была «большая перемена»... А в конце Бараловой улицы, на которой И. Я. Успенский приобрел для семейства собственный дом, стоял острог, из которого, в известные дни, при странной какой-то трескотне расстроенного барабана, гопяли и обыкновенно эти арестантов, по этой же улице возили на мрачной колеснице преступников, приговоренных к наказанию». С мрачным острогом как-то срастался

самый религиозный быт родового гнезда. «Успенские и Соколовы были религиозные люди; они соблюдали все посты и аккуратно посещали церковь. Ближайшая к их домам церковь была церковь в остроге». И детей водили молиться в эту «острожную церковь». «Мы, дети, — припоминает Васил-Соколов, — не боялись арестантов, по впечатлению, производимое на нас звякальем кандалов, полубритыми головами, тупыми, а подчас и действительно какими-то зверскими лицами, было удручающее. В впечатлительном и наблюдательном Глебе Иваловиче такие мрачные картины вызвали, быть может, и правдивные страдания». И изуренное этими, терзающими детскую душу видениями жизни, давно примелькавшимися взрослым обывателям Барановой улицы, сознание мальчика-Успенского с признательностью ухватывало всякое впечатление всего непохожего на эту благоденствующую обывательщину. Юродивые, страпники, настраивая воображение, влекли к себе. «Как в семье Глеба Фомича Соколова находили пристанище разные музыканты и другие искусники, так у Ивана Яковлевича пользовались приютом, кроме многочисленных родственников, еще такие субъекты, как, например, Еремей Юродивый», зарисованный потом Успенским в очерке «Парамон Юродивый», богомолка Папкратьевна, выведенная потом в рассказе «Зимний вечер», и многие другие. Эти фигуры представлялись и потом Успенскому если не выражением протеста против удушья чиновничьей жизни, мертвящей обывательщины, то во всяком случае олицетворением отрицания ее, намекали на что-то иное, «печто совсем постороннее», что «отрывало наши мысли от земли, по которой мы ползли ползком». Ползучая жизнь пригнетала душу.

Жизнь однако втягивала мальчика и шла установленным порядком. Глеб Успенский проходил гимназию сначала в Туле, а затем в Чернигове, куда в 1856 г. семья Успенских переехала на жительство в связи с новым назначением Ивана Яковлевича. Еще в Туле, благодаря маленькой отцовской библиотеке, в которой были сочинения Пушкина, Лермонтова и других писателей, Глеб Ивалович начал рано

знакомится с русской литературой. В Чернигове это знакомство получает дальнейшее развитие. Наиболее сильным влиянием среди русской художественной литературы было влияние Тургенева. Появляются кружки с литературными интересами, по субботам у Глеба Ивановича собираются гимназисты и гимназистки для чтения, танцев и песен. Появляются свои гимназические журналы, интересные учителя, товарищи, встречи и знакомства. Мелькает сердечное увлечение подружкой сестер М. Н. Дуброво, вскоре умершей. По окончании в 1861 году гимназии Глеб Иванович поступил в Петербургский университет, откуда, однако, в декабре того же года уволился вследствие закрытия его по случаю студенческих волнений. В следующем 1862 году Г. И. Успенский оказался в Москве, поступил в университет, но и здесь, по шутливому его выражению, «благополучно курса по кончил». Из-за невплаты за ученье, а также в связи с общими затруднениями «своего материального положения», он должен был оставить ученье в университете. Для пропитания занимался корректурой в газете «Московские ведомости», получая двадцать пять рублей в месяц. Тою же осенью 1862 года Успенский напечатал, почти одновременно появившиеся, два первые свои произведения. В октябре в № 46 журнала «Зритель» напечатан его рассказ «И д и л л и я. О т ц ы и д е т и», и в октябре же, в книжках «Ясная Поляна», издаваемых Л. Толстым, его рассказ «М и х а л ы ч», за подписью: Г. Брызгина. Продолжая работать корректором, Глеб Иванович весь 1863 год сотрудничал в иллюстрированном московском журнале «Зритель» общественной жизни, литературы и спорта, где напечатал ряд мелких рассказов и очерков. В конце 1863 года Глеб Иванович перебрался опять в Петербург. В начале 1864 г. появились два рассказа Успенского в петербургских журналах: «Н о ч ь ю» («Русское слово», 1864 г., № 1) и «С т а р ь о в щ и к» («Библиотека для чтения», 1863 г., № 12). В письме к родителям в Тулу в начале 1864 года Успенский писал об этих своих успехах с стыдливой гордостью: «Посмотрите в этой же книжке («Библиотека для чтения») объявлении и полюбуйтесь, что Гл. Успенский

наряду с И. С. Тургеневым. Мне даже самому смешно». В том же 1864 году умер отец Глеба Успенского, сильно хворавший последнее время. Теперь заботы о всей многочисленной, уже разоренной семье Успенских пали по преимуществу на слабые плечи Глеба Ивановича, как старшего.

Оглядываясь позже на этот первый период своей жизни, Глеб Иванович в автобиографии, написанной в 80-х годах, поставил его весь под резко-отрицательный знак: «Вся моя личная жизнь, вся обстановка моей личной жизни лет до 20-ти обрекала меня на полное затмение ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отдаляла от жизни белого света на неизмеримое расстояние. Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит. Не помню, чтобы до 20 лет сердце у меня было когда-нибудь на месте. Вот почему, когда «настал 61 год», взять с собою «в дальнюю дорогу» что-нибудь вперед из моего личного прошлого было решительно невозможно — ровно ничего, ни капельки; напротив, для того, чтобы жить хоть как-нибудь, надобно было непременно до последней капли забыть все это прошлое, истребить в себе внедренные им качества. Нужно было еще перетерпеть все то разорение невольной неправды, среди которой пришлось жить мне годы детские и юношеские, надо было потратить годы на эти непрестанные похороны людей, среди которых я вырос, которые исчезали со света безропотно, как погибающие среди моря, зная, что никто не может им помочь и спасти, что «не те времена». Самая безропотность погибавших людей, явное сознание, что все, что в них есть и чем они жили, неправда и ложь, и беспомощность их, уже одно это прямо убеждало людей моего возраста и обстановки жизни, что из прошлого нельзя и не надо, и невозможно оставить в себе даже самомалейшего воспоминания; ничем из этого прошлого нельзя было и думать руководиться в том новом, которое «будет», по которое решительно еще неизвестно. Следовательно, начало моей жизни началось только после забвения моей собственной биографии, а затем

и личная жизнь и жизнь литературная стали создаваться во мне одновременно с объективными средствами. В опустошенную от личной биографии душу я пускал только то, что во всех смыслах противоречило неправде; каждая «малость», которая радовала душу, где бы я ее ни нашел, — попадала теперь непременно в мою новую душевную родословную».

Таким образом, Глеб Успенский как писатель, создавая свою «новую биографию», исходил из самого решительного и полного отрицания всей своей «прежней биографии», своего личного прошлого, «старого пенелища» там в Туле, Калуге и Чернигове, во всех этих родовых «лихоимных гнездах» Соколовых и Успенских, представляющихся ему теперь «чудовищно зловредным полипом», всего старого, разоренного быта с его «нечеловеческой атмосферой», всей «дореформенной», разоренной крепостной эпохи русской жизни.

II

В литературе Г. И. Успенский первые годы не чувствовал никакого уюта. Вынужденный блуждать по разным случайным журналам, он с трудом мог кормиться своим литературным заработком. К тому же, со смертью отца ему приходилось поддерживать неустроенную семью — мать, сестер и братьев. Летом 1865 года он перевез мать из Чернигова в Тулу, «на старое пенелище». А там уже шло «разорение». Всесильный когда-то дед, Г. Ф. Соколов, теперь больной старик, жил на небольшую пенсию. Сестры давали уроки, братья еще учились. Вскоре мать переехала в Крапивну, где одна из дочерей ее устроилась учительницей. Глеб Иванович всячески старался помочь семье в ее бедственном положении, хлопотал о пенсии перед начальством покойного отца в Петербурге, в результате чего было получено небольшое пособие. Тем не менее, жизнь и семьи, и самого Глеба Ивановича оставалась неустроенной. Литературный заработок его в эти годы был ничтожный и совершенно случайный. Нередко платили ему за

рассказ пять или три рубля. Даже в одном из крупных журналов того времени («Русском слове») редактор Благовещенский, по рассказу Глеба Ивановича, «не платил. Он мне за один рассказ пять рублей дал... всего только пять рублей! У самого, говорит, только 13 р. 60 к.» А девять повести было некуда» (Воспоминание Е. С. Некрасовой). К тому же осложняло положение и «неуменье жить», на которое Глеб Иванович часто жалуется в письмах к матери этих лет: «Неуменье жить причинит и причиняет мне бездну бед» (письмо от 24 декабря 1864 г.).

О литературной бесприютности Успенского этих лет свидетельствует уже простой перечень журналов, в которых Глеб Иванович печатался в этом раннем периоде своей литературной работы, с 1863 до 1868 года, то есть до времени, когда он уже нашел себе постоянное пристанище в крупнейшем журнале того времени, «Отечественных записках». До 1868 года он печатался в «Ясной Поляне», «Зрителе», «Библиотеке для чтения», «Русском слове», «Северном сиянии», «Искре», «Будильнике», «Петербургском комиссионере», «Женском вестнике», «Деле», «Новом русском базаре», в сборнике «Луч», в журнале «Грамотей», «Неделя» и в «Современнике» у Некрасова, где первое его произведение появилось в № 10 за 1865 год. В 1866 году здесь начало печататься крупнейшее произведение Глеба Успенского этого периода, «Нравы Растеряевой улицы», но оборвалось на № 3 вследствие запрещения «Современника». Продолжение очерков «Нравы Растеряевой улицы» Успенскому пришлось печатать в том же 1867 году в «Женском вестнике», под другим названием («Очерки провинциальных нравов»), так как больше было нигде тогда устроить их. Можно поэтому судить, — шутит он впоследствии, — что должна была претерпеть «Растеряева улица» с своими пьяницами, «сапожниками и мастеровщиной», появляясь в журнале, посвященном женскому развитию, женскому вопросу! При всем моем глубоком желании, чтобы пьяницы мои вели себя в дамском обществе поприличней, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что было

делать? Я их умыл и приодел, и они стали только хуже, а правды о них меньше».

Житейские затруднения в связи с закрытием «Русского слова» и «Современника» вынудили Г. И. искать заработка вне литературы. Весной 1867 года он выдержал экзамен на звание уездного учителя и поступил учителем в город Епифань Тульской губернии. Учителство продолжалось недолго, — среди зимы Глеб Иванович оставил школу, а звание уездного учителя осталось официальным званием Глеба Ивановича Успенского для паспорта, при заключении договоров и т. п. В начале 1867 года он поступил делопроизводителем к прокурору, но и из этой его службы также ничего не вышло. В 1866 году вышел первый сборник «Очерков и рассказов» Глеба Успенского, в 1867 году — следующий сборник: «В будни и в праздник. Московские правы».

Личная душевная жизнь Успенского, как и материальная, в этом периоде не была устроенной. Крепких литературных связей еще не образовалось, не было прочной товарищеской среды. Оглядывая эту пору своей жизни в той же автобиографической записке, Глеб Иванович писал:

«Личная душевная жизнь и неразрывная с ней литературная работа поддерживались во мне и подкреплялись долгие годы без всякой личной или нравственной с чьей-нибудь стороны поддержки, и так было до 68-го года, когда я уже стал ощущать и нравственную поддержку добрых и симпатичных мне людей. Но лет семь — с 62-го по 68-й — во мне было упорное желание не ослабеть в неотразимом сознании, что у меня никакой прошлой биографии нет... Одиночество в этом отношении было полное. С крупными писателями я не имел никаких связей, а мои товарищи — люди старше меня лет на десять — почти все без исключения погибали на моих глазах, так как пьянство было почти чем-то неизбежным для тогдашнего талантливого человека. Все эти подверженные сивушной гибели люди были уже известны в литературе, и живи они в наше время, когда можно на полной свободе «пленять

своим искусством свет», они бы написали много изящных произведений; но захватила их новая жизнь, такая, что завтрашний день не мог быть даже и предвиден, — и талантливые люди почувствовали, что им не угнаться за толпой, пачипающей жизнь без всяких литературных традиций, должны были чувствовать в этой оживавшей толпе свое полное одиночество... Спившихся с кругу талантливейших людей было множество... В таком виде впору было «опохмелиться», «очухаться», очувствоваться — и какая уж тут «литературная школа»! Похвалбы в пьяном виде было много, посулов — еще больше, анекдотов — видимо-невидимо, а так, чтобы от всего этого повеселеть, — нет, этого не скажу. Даже малейших определенных взглядов на общество, на народ, на цели русской интеллигенции ни у кого решительно не было. Немудрено, что ясно сознаваемое горе заливалось сивухой самыми талантливыми людьми.

«Созидание собственной своей новой духовной жизни привело меня к мысли, что мне нечего делать среди этих галантливых страдальцев...»

В одном из писем Успенский, припоминая годы своей юности и начало литературной работы, говорит о той же своей бесприютности: «Когда я появился в Петербурге в 61 г., то было два резких явления — начало движения молодежи и пьянство остатков и полуталантов людей 40-х годов, людей старого воспитания». Глеба Ивановича окружали «тьмы тем пьяных людей». «Никуда нельзя было пойти, чтобы не патолкнуться на пьяные сцены. Я два года только и делал, что возил пьяных в белой горячке в больницы, выправлял из квартала, звал к дворнику: «не ваш ли?» Хороших руководящих личностей не было. В 61 г. в ноябре я видел Добролюбова в первый раз в гробу. В 63 г. увезли Чернышевского в Сибирь. Писарев... был левидим, сидел в крепости...» (Успенский здесь допустил неточность: Чернышевский был увезен в Сибирь 20 мая 1864 года). Несмотря на то, что Глебу Ивановичу не пришлось иметь личного общения с руководителями идейных движений 60-х годов, эти крупнейшие события истории русской интеллигенции, имена и влияние этих цесателей

в высшей степени показательны для определения интересов и увлечений Успенского в то время. Они неизгладимо отпечатлелись в той повой его «душевной родословной», которая слагалась «собственными средствами» на месте отрицания разоренного родового и бытового прошлого. Много позже, в рассказе «Без покаяния и причастия» (1879 г.), Успенский пробовал коснуться, насколько это по тогдашним цензурным условиям оказывалось возможным, факта свершения над Чернышевским обряда гражданской казни, когда он был выставлен на Мытнинской площади в Петербурге у позорного столба. «Была, уже давно впрочем, — писал Успенский устами своего рассказчика, — в Петербурге одна личность, и притом такая, что положительно на всю Россию одна... Мне именно пришлось быть свидетелем, как эта личность вдруг стушеввалась. Самый то-есть момент этого перечувствовать».

III

Новый период в жизни и литературной работе Успенского начинается с 1868 года, когда «Отечественные записки» взятые Некрасовым в свои руки, стали руководящим журналом революционно-демократической интеллигенции. Глеб Иванович работал здесь до самого запрещения этого журнала в 1884 г. Сюда автор «Нравов Растеряевой улицы» пришел как художник-бытописатель провинциально-чиновничьей среды, быта мастеровых и мещан, но картина жизни постепенно расширяется. рисунок художественного письма усложняется, наряду с очерковыми зарисовками вскоре появляются оригинальные опыты столь характерного для него соединения беллетристики с публицистикой, получившей под его пером своеобразную художественную оправу. Углубляется и самый юмор, крупницу которого, по меткому замечанию Гончарова, Глебу Успенском оставил Гоголь. Сквозь юмор Успенского слышится все более серьезное, мучительно-скорбное звучание. Вместе с тем все шире раздвигаются и тематические рамки в произведениях Успенского. Наряду с провинциально-чиновничьим бытом, бытом мещан и мастеровых, он захватывает и столичную

бедоту, жизнь разного городского люда, с которым автору приходилось сталкиваться, скитаясь по окраинам Петербурга и Москвы. Наконец, глубоко и живо захватываются Успенским характерные для его времени образы и переживания интеллигентской среды. В разработке этой темы он является уже не только бытописателем, но и тонким художником-аналитиком, улавливающим мельчайшие, еле заметные, но характерные и значительные общественно-психологические моменты и черточки. Особенно притягивали к себе внимание Успенского болевые переживания интеллигенции его времени, всякого рода интеллигентская двойственность, «расколотость», разные душевные вывихи и ушибы интеллигентской совести, образы так называемых «кающихся дворян». Едва ли кто другой из писателей непародников так глубоко чувствовал и понимал, так художественно сильно пересказал в своих произведениях общественно-психологическую драму разных рядовых и маленьких интеллигентов, как этот большой интеллигент-семидесятник с исключительно чутким сердцем и изумительно тонким талантом.

Близкое знание среды, тесная связь с работниками революционного движения тех лет дали возможность Успенскому охватить этот мир широко и разнообразно.

Образы интеллигенции разных положений, типов и оттенков рисуются в его произведениях этого периода на фоне провинциального захолустья, чаще всего на фоне деревенской жизни, при встречах в пути, реже в городе. Но деревня не является специфической темой этих его очерков. Однако уже в середине 70-х годов появляются отдельные произведения чисто-крестьянской тематики («Злые новости», «Книжка чеков»), чтобы к концу 70-х годов занять центральное место в литературной работе Глеба Успенского.

Работа Глеба Ивановича в «Отечественных записках» в 1868 году началась рассказом «Будка» (№ 3), вскоре следует «Разорение» (1869—1871 гг.), «Наблюдения Михаила Ивановича», «Тише воды, ниже травы» и «Наблюдения провинци-

ального лентя», и далее появляется ряд значительных произведений самой разнообразной тематики.

Сам Глеб Иванович исчисление этого нового периода своей биографии ведет не с 1868 года, когда началась его работа в «Отечественных записках», а с 1871 года.

«Вся моя личная биография, примерно до 1871 года решительно должна быть оставлена без всякого внимания; вся она была сплошным затруднением «жить и думать» и поглощала множество сил и времени на ее окончательное забвение...» И так было потому, что «когда... в 1868 г. оставались новые «Отечественные записки», первые годы в них тоже было мало уюта.. Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока наконец дело не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить в неустановившемся и неуютном обществе большей частью до последней степени изломанных писателей (с новыми я едва встречался еще) не было никакой возможности, и я уехал за границу. За границей я был два раза в 1871 г., после Коммуны, причем видел избитый и прусскими и коммунарскими бомбами и пулями город, видел, как приговаривают к смерти сапожников и башмачников; в другой раз я проживал там подряд два года, по временам только приезжая в Россию. В это время я был в Лондоне. Я мало писал об этом, но многому научился, много записал доброго в мою душевную родословную книгу навсегда... Затем прямо из Парижа я поехал в Сербию и в Пеште встретил п а ш и х. И об этом я м а л о писал, но много передумал и навеки много опять-таки взял в свою душевную родословную. Затем подлинная правда жизни повлекла меня к и с т о ч н и к у, т. е. к мужику».

Здесь в своей автобиографической записи Глеб Иванович дал общую схему этого периода своей биографии, наиболее насыщенной как внутренними переживаниями и душевно-идейными парадоксами, так и внешними изменениями жизни, движением, фактами и событиями. Постоянное сотрудничество в «Отечественных записках» вводит его в общение с основными работниками этого журнала — Некрасовым, Салтыковым, Ельсеевым и Н. К. Михайлов-

ским. Однако личная близость в отношениях создалась у него лишь с Михайловским, что тот с своей стороны объяснял также и возрастной их близостью. Остальные принадлежали к старшему поколению. К этому же времени относится и знакомство Успенского с будущей его женой, А. В. Бараевой. Это интеллигентная девушка, такая же бедная и бесприютная в жизни, как и Глеб Иванович, и, как он, брошенная в новую, самостоятельную жизнь в процессе разорения родного гнезда. Дочь фабриканта, А. В. Бараева рано осталась сиротой, жила у мачехи, училась в Мариинском институте в Петербурге, где увлекалась известным в то время писателем-педагогом В. Я. Стоюниным. Кончив курс, мечтала, искала настоящего «дела», читала Писарева и тайно от мачехи готовилась в народные учительницы. Познакомившись в 1868 году на даче в Стрельне, Глеб Иванович обвенчался с нею 27 мая 1870 года. Женитьба несколько отдалила Успенского от литературной богемы, от этих «тьма тем пьяных людей» среди которых он по преимуществу вращался в 60-х годах. По материальной стороне жизни осталась попрежнему неустроенной: вечная нужда, безденежье, долги.

Весной 1872 года (сам Глеб Иванович ошибочно называет 1871 год) Успенский свершил свою первую поездку за границу. В Париж он попал через год после разгрома Коммуны, и следы этого разгрома произвели на него сильнейшее впечатление как и версальские суды над коммунарами. Передавая в одном из писем впечатления от Пантеона, он говорил о следах пуль на его портике: «Здесь, на этом месте, версальцы в прошлом году 21 мая расстреляли 450 коммунистов, вся площадь была залита кровью, и теперь даже кровь вьелась в камень так, что... пегие пятна видны. Я на этой площадке простоял час, словно помещапный или в столбняке, ноги мои словно прилипли к тому месту, где умерло столько народа. В то же время по этим пятнам бегали дети, играли в лошадки...» Другим сильнейшим впечатлением его от Парижа была «Венера Милосская» в Лувре; впечатление это он много позже перелал в значительнейшем своем очерке «Выпрямила» (1885 г.).

Вообще же жизнь Парижа захватила его и по возвращении манила к себе; там ему было «легче па душе». Дома русские впечатления вновь навалились на него всею тяжестью, попрежнему давила нужда, неустроенность материального быта, теперь уже семейной жизни. Свои денежные дела Глеб Иванович исключительно не умел устраивать. «Постоянно работая, — говорит Михайловский, — он постоянно и нуждался; нуждался сейчас, сию минуту, не думая о будущем. Этим, конечно, пользовались ловкие люди, как ни старались оберечь его близкие к нему».

Работая всегда на авансах, Успенский был в вечной кабале у издателей — разных Базуновых, Карбасниковых и т. п. Отдельные сборники его сочинений покупались у него за гроши, он запродавался вперед и был в вечных тисках у издателей и даже ростовщиков. Строил сложные финансовые планы погашения авансов, разных выходов из хронически бедственного своего положения — и еще более запутывался, как в тенетах, в этих планах. За это М. Е. Салтыков, смеясь, прозвал его «министром фипапсов». Из заграничной поездки возвратиться Глебу Ивановичу помог Некрасов, вынужденный приходить в трудных случаях на помощь этому «очень бедному, очень деликатному и очень даровитому литератору», как определил Некрасов Успенского в записке в Литературный фонд с просьбой о выдаче ему пособия. В 1874 году Глеб Иванович оказывался должным Некрасову свыше трех тысяч рублей. Не имея возможности еще более увеличивать этот долг и собираясь в новую поездку за границу, уже с женой и сыном, рывшимся 12 декабря 1873 года, Глеб Иванович попал в совершенно отчаянное положение и, завязнув в нем, много лет потом изживал последствия этой путаницы. «К 74 г., — рассказывал он сам об этой поре, — мои дела были в весьма запутанном положении. Я был должен ростовщице 400 рублей; имел долги разным товарищам; все написанное мною продавалось по 75, по 100, по 50 рублей за том Геккелю, Базунову, Печаткину; мне нельзя ни торговаться, ни ждать, — дают 50 р. — бери, слава богу! В это время я познакомился с Надеиным. Надеин предло-

жил мне занять в Псковском банке такую сумму, которая бы покрыла мои частные долги, дала возможность выкупить у Карбасникова право на мои сочинения (запроданные на многие годы вперед за 300 с чем-то рублей и выкупленные мною за 1100 рублей) и дать возможность поехать за границу. Ехать за границу для меня было необходимо просто чтобы учиться...» Получив деньги из банка (1700 р.), Глеб Иванович отправил летом 1874 года жену с ребенком и кормилицей в Париж, сам же задержался, чтобы ликвидировать долги и дела. Но этот Надеин выпросил у него тысячу рублей на свои коммерческие операции, запутавшись в которых, выплачивал лишь по мелочам.

Выбравшись наконец в начале 1875 года в Париж, Глеб Иванович вошел здесь в совершенно новую полосу впечатлений. Одно из сильнейших, к которому он не раз потом возвращался в разных отрывках своих воспоминаний, было знакомство с И. С. Тургеневым (Глеб Иванович раньше лишь видел его у поэта Полоцкого). Тургенев тепло отнесся к молодому беллетристу чуждой ему литературной формации. Устраивая вечер в салоне Вьярдо, Тургенев читает здесь отрывок из «Книжки чехов» Успенского. «Тургенев прорепетировал этот рассказ раз 7—8, изучил, где каким голосом, как и что до мельчайших подробностей. Ох, и фокусники же эти сороковые годы!» — писал Глеб Иванович об этом вечере из Парижа Михайловскому. Жена Успенского еще до приезда его познакомилась с Тургеневым, он помогал ей в выборе повиннок для ее переводов с французского, которыми А. В. занималась в эти годы. В 1876 году вышли в переводе А. В. Успенской «Очерки и рассказы из народной жизни» французского писателя Леона Клоделя, с предисловием И. С. Тургенева. Наряду с знакомством с Тургеневым к сильнейшим впечатлениям этого периода парижской жизни Успенского относятся его встречи и сближения с многими из революционеров. Это — Герман, Лопатин, Д. А. Клеменц, Кравчинский (Степняк), А. И. Иваница-Писарев и многие другие.

Особенно сильно было впечатление от встреч с Г. А. Лопатиным. Отношения к нему получили характер увлечения,

граничащего с влюбленностью. «Я в жизни не встречал более замечательного человека», — писал о нем Глеб Иванович в одном из писем (1884 г.). Глеб Иванович восхищен Лопатиным; он знакомит этого очаровавшего его «настоящего революционера» с Тургеневым, «настоящим писателем», как назвал его Глеб Иванович в одном из писем к жене. Успенский задумывал написать об Г. А. Лопатине повесть под названием «Удалой добрый молодец».

В свою кратковременную поездку в Лондон Глеб Иванович познакомился с жившим в то время здесь крупнейшим русским эмигрантом, П. Л. Лавровым. В январе 1876 года Успенский напечатал в издаваемом Лавровым органе «Вперед» (№ 25) небольшой очерк (без подписи) — «Шла в мешке не утаишь», затронув здесь тему «хождения в народ» русской интеллигенции тех лет.

Запутанное материальное положение, необходимость постоянного твердого заработка, хотя бы в размере ста рублей, заставили Глеба Ивановича в 1875 году поступить на службу. Место, при содействии Иванчина-Писарева, было предоставлено ему в Калуге, в железнодорожном управлении. Оставив семью в Париже, он поехал в Калугу. «Сижу в должности», — извещал он отсюда 11 сентября этого года Михайловского, а 1 февраля 1876 года писал тому же Михайловскому: «Места у меня больше нет!..» «Подлые комиссионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, — а во сколько раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле там, в глубине России?..» Осознав «всю подлецкую механику их дела», Глеб Иванович бросил сторублевое место и возвратился опять к семье в Париж, чтобы снова терпеть здесь свою участь полуголодного писательского житья-бытья. Вскоре развернувшееся во время сербско-турецкой войны широкое движение русской интеллигенции, увлекшее в Сербию потоки добровольцев, живо заинтересовало Успенского. Решив возвратиться в Россию, Глеб Иванович, оставив временно семью в Париже, поехал через Сербию домой. Результатом этих его сербских впечатлений явились многочисленные статьи,

появившиеся в конце 1876 года и позже, включенные им в собрание сочинений в сильно сокращенном виде, под общим заглавием: «Письма из Сербии».

Вернувшись из-за границы в 1877 году, Глеб Иванович в следующем же 1878 году весной устроился письмоводителем в деревне Сколкове Самарской губернии, где жена его поступила учительницей сельской школы, устроенной капиталистами Сибиряковыми при их имении. Это последняя «служба» Успенского, отличавшаяся, впрочем, от прежних попыток его заняться чем-либо кроме литературы тем, что она имела уже определенное целевое назначение — непосредственное изучение крестьянской жизни. Это было, с другой стороны, также и участием писателя в том движении интеллигенции в деревне, которое называлось на языке того времени «хождением в народ». Между прочим Успенский, по сообщению Иванчина-Писарева, был привлечен здесь к дознанию за распространение преступных идей, так же как раньше, при возвращении из-за границы, был подвергнут обыску. Но в обоих случаях подозрения остались без последствий, так как оснований для обвинений найдено не было. Возвратившись из Самарской губернии, Глеб Иванович летом 1879 года живет в Новгородской губернии, в имении своего приятеля А. В. Каменского, и здесь, в отсутствии владельца, входит в самое тесное общение с одной крестьянской семьей и пристально наблюдает ее жизнь. В 1881 году Успенскому удалось приобрести в долг небольшой участок земли с домом в деревне Сябринды, близ Чудова, в той же Новгородской губернии. Теперь он получил возможность, уединяясь из шумного Петербурга, иметь постоянное пристанище и вместе неподвижный наблюдательный пункт для близкого изучения деревенской жизни и общения с местными крестьянами. На базе этих непосредственных наблюдений жизни крестьян Самарской и Новгородской губерний создались прежде всего очерки «Издереженского дневника», печатавшиеся с перерывами и перебоем различными другими его произведениями с октября 1877 года по сентябрь 1880 года. Затем в том же 1880 году появляется другое крупнейшее произведение

Глеба Успенского из крестьянской жизни в серии очерков «На родной ниве»,носящее в собрании сочинений название «Крестьяне и крестьянский труд». С начала 1882 г. печатается «Власть земли» («Отечественные записки» № 1, 2 и 4), и в 1883 году, как прямое продолжение этих очерков, «Из разговоров с приятелями», на темы той же «власти земли». Как одновременно, так и в дальнейшие годы Успенский написал еще очень много разных рассказов и очерков из деревенской жизни, являвшихся развитием и дополнением многих основных положений, развернутых в этих крупнейших по размерам и значению очерках по крестьянской тематике, которая с конца 70-х годов становится центральной в его литературной работе.

В эти годы усиленной работы Успенского над крестьянской тематикой, когда «подлинная правда жизни» повлекла его «к источнику, т. е. мужику», недалеко от «источника», без прямой связи с ним, но с большими на него упованиями шла героическая борьба революционной интеллигенции с самодержавием. Народническая революционная организация «Земля и воля» после съездов в Липецке и Воронеже распалась, и часть ее участников, с Желябовым во главе, образовала партию «Народной воли». С многими народовольцами Глеб Иванович был в близком личном общении. Сам он активного участия в революционной работе, кроме отдельных эпизодов «пособничества», не принимал, но сильно и остро переживал эту развертывающуюся подле него социальную драму революционной интеллигенции, с трепетным волнением и глубоким интересом всматривался в их дела и, как художник, еще более в их лица и характеры. Однако в произведениях Глеба Успенского образы этих героев революции почти не падали себе места, что обуславливалось прежде всего цепзурными условиями, но также и особенностями таланта Успенского, чутко ухватывавшего, как указано выше, по преимуществу теплые, болевые моменты интеллигентских переживаний. Повесть о Гермапе Лопатине осталась неписанной, зато в очерке «Выпрямила» (как доказано черновыми набросками)

Успенский зарисовал образ другой крупнейшей революционерки того времени, В. Н. Фигнер, активной участницы всех стадий движения 70-х—80-х годов, до дела первого марта включительно. Образ этот в его «выпрямляющем» душу впечатлении слился у Глеба Ивановича с одним из глубочайших впечатлений, полученным в 1872 году в Лувре от статуи Вены Милосской. Все это получило творческое выражение лишь в 1884—1885 годах, когда В. Н. Фигнер была уже арестована, осуждена и заключена в крепость. В очерке «Выпрямила», в некоторых существенных моментах автобиографических, Успенский среди центральных воспоминаний всей жизни его измученного героя Тянушкина рисует этот образ «девушки строгого, почти монашеского типа». Во время суда над В. Н. Фигнер в 1884 г. Глеб Иванович просил сестру ее передать Вере Николаевне, что «он ей завидует»... «Кроме В. Н. Фигнер», сообщает Иванчин-Писарев, «Глеб Иванович был знаком, отчасти даже дружен, со многими видными членами партии «Народной воли». Юрий Богданович, Желябов, Кибальчич, А. И. Корба, Лапганс, Перовская, Саблин, Лев Тихомиров и другие всегда находили у него радушный прием. В общении с ними он почерпал бодрость духа, и всякий раз впадал в уныние, когда случайно затягивался период неизвестности относительно судьбы того или другого. Все платили ему взаимностью. До какой степени доходила искренность и простота отношений с обеих сторон, можно заключить, например, из того, что Гл. Ив., точно предчувствуя грядущие события, непременно хотел, чтобы все собралось у него для встречи нового 1881 года, и, несмотря на рискованность этой затеи для «нелегальных» людей, очень многие были в числе его новогодних гостей, — может быть, даже с уверенностью, что в последний раз жмут руку любимому писателю и человеку». Вечером самого первого марта Глеб Иванович, находясь в обществе нескольких ему близких литераторов и революционеров, по свидетельству одного из присутствующих здесь, был исключительно оживлен.

Жестокая реакция, наступившая после 1 марта 1881 г.,

выразилась также и в гонениях на печать. В январе 1883 г. «Отечественные записки» получили второе предостережение, а в 1884 г., на номере 5-м журнал был запрещен. В жизни Глеба Ивановича это было тяжелым событием.

IV

После запрещения «Отечественных записок» Успенский, угнетенный и морально и материально, весь в долгах, мечется в поисках займов и авансов. Для него вновь наступила пора журнальных, скитаний. Он продолжает работу в журнале «Русская мысль», где начал печататься еще в 1881 году; но с этим журналом прочных отношений не наладилось, все время возникали трения и недоразумения. Печатался он и в книжках «Недели» (в 1885 и 1888 гг.). Когда в 1886 году в журнале «Северный вестник» пытались приютиться обломки редакции прежних «Отечественных записок», Глеб Иванович пробовал ужиться здесь. Редактору «Северного вестника», А. М. Еврепновой, он писал: «С закрытием «Отечественных записок» целые толпы молодежи и великих литераторов, как мухи, идут вразброд, работая из-за копейки денег. Нет ни уюта... ни искреннего внимания к работе, как было у Щедрина, — холодно, одиноко, скучно. Вяло пишется, и невидно — каков там читатель у тебя. В «Северном вестнике» опять наладилось что-то... И именно больше всех чувствую литературную неприютность, одиночество, довольно я помучился с нелитературными изданиями» Но скоро, в начале 1888 года, прекратилось сотрудничество Успенского и в этом журнале. Больше и охотнее всего Глеб Иванович работал в этот последний период своей литературной деятельности в газете «Русские ведомости», с редакторами которых, В. М. Соболевским и А. С. Постниковым, у него образовались особенно теплые отношения. С 1885 года работа Успенского для этой газеты усиливается.

В эти годы, с 1885-го по 1890-й, Глеб Иванович исключительно много работает, но работает с напряжением усилий, в беспрестанном, хроническом переутомлении и постоянной нервной тревоге. Эта переутомленность, первая

измученность и тоска были уже предвестниками надвигающейся страшной болезни. И наряду с литературными скитаниями усиливается в эти годы жизни Успенского его, и прежде всегда сильная, тяга к передвижению, поездкам, перемене места. Он из конца в конец изъездил Россию в своей неутомимой жажде впечатлений и «часто, — как говорил Михайловский, — уже двинувшись из своего Чудова, не знал — куда ехать. Глаза разбегались».

Теперь Глеб Иванович все чаще и настойчивее выискивает разные поездки, подчас прямо как бы бросается в них, словно убегая от давящей его тоски и тяжелых настроений. Вскоре после закрытия «Отечественных записок» и разгрома пародовольцев Глеб Иванович собирается в Сибирь — понаблюдать жизнь этого, еще незнакомого ему до сих пор края и посетить своих друзей, политических ссыльных.

Однако, уже отправившись в Сибирь, Глеб Иванович (что с ним не раз бывало) не доехал туда и, вернувшись домой, писал своей приятельнице Е. П. Летковой из Чудова (10 июля 1884 г.): «Вот где я очутился вместо Сибири-то. Вышло это так: в Перми я занимался моими книгами и чувствовал некоторую скуку, но один эпизод заставил меня призадуматься, как говорят «крепко». Как-то утром слышу я какой-то отдаленный звук, будто бубенчики звенят, или как в Ленкорони караван идет с колокольчиками, далеко, далеко. Дальше, больше, — выглянул в окно (окно у меня было в 1-м этаже), — гляжу, из-под горы идет серая бесконечная масса арестантов. Скоро все они поровнялись с моим окном, и я полчаса стоял и смотрел на эту закованную толпу, все знакомые лица, и мужики, и господа, и воры, и политические, и бабы, и все, все наше, из путра русской земли, — человек не менее 1500, — все это валило в Сибирь из этой России, и меня так потянуло вслед за ними, как никогда в жизни не тянуло в Париж, ни на Кавказ, ни в какое бы то ни было место, где виды хороши и нравы еще того превосходнее. Все эти люди — наборный продукт тех русских условий жизни, той путаницы, тоски, мерзости, трусости или отчаянной смелости, — среди которых

живем мы, не сосланные, томимся, скучаем, пьем чай с вареньем от скуки, врем и лжем и опять мучаемся, все эти, от воров до политических, не выдержали этой жизни, и их тащат в новые места. И мне охотой, а не на цепи, захотелось необузданно идти на новое место, мне также не подходит жить (а не бороться) с людьми, с которыми и (которым) приходится много лгать, бесплодно, бесцельно и изживать русский теперешний век бесцветно, неинтересно, безвкусно и вообще скучно и шумно». И в следующем, 1885 году, Глеб Иванович в Сибирь не поехал. В апреле он писал Иванчину-Писареву: «В прошлом году доехал до Екатеринбурга и хотел ехать к вам и видеть вас всех, — нет! Такая тоска взяла меня в Екатеринбурге, что я только промаялся там три дня и уехал, никого, ничего не увидевши. Теперь мне поздно толкаться между людьми, смотреть, как живут и т. д. Надо сидеть с пером и писать, пока не издохнешь. Как вы счастливы, сколько вы (все) всего видели, и будут у вас хорошие дни... а у меня ничего не будет, только пиши и пиши. Тут никуда не хочется поехать, все равно надо будет истребить в себе все, что привезешь...» Успенского мучительно давили цензурные тиски, невозможность писать, что хочется и как нужно. Работая чаще в журналах, выходивших без предварительной цензуры, он редко сталкивался с прямыми запрещениями. Однако в 1874 году № 5 журнала «Отечественных записок» был уничтожен цензурой между прочим и за очерк Успенского «Очень маленький человек». «В «Северном вестнике», — писал Глеб Иванович в одном письме, — пропало множество моих работ от цензуры, которая выдирала пропасть». Угроза нецензурности, необходимость писать цензурно всегда терзала его, всю жизнь, а в эти годы реакции 80-х годов становилась подчас непереносимой.

Вместо Сибири Глеб Иванович весной 1885 года отправился на Кавказ, через Одессу, и уже в более покойном настроении, развеяв тоску впечатлениями жизни, писал с дороги Соболевскому: «... Я не печалюсь, хорошо себя чувствую, покойно, много для меня чрезвычайно нового. Ах, сколько нового на Руси! Не тужите, не скучайте, не

думайте о себе печально, — интереснее думать о том, как живут люди. Я всегда исцеляюсь этим» (7 мая 1885 года). А осенью того же 1885 года, после ареста Г. А. Лопатина, взятого на улице 5 октября, Глеб Иванович писал их общей приятельнице, Л. Ф. Маклаковой-Ломовской: «...Не знаю, что со мной творится, — такого холода, от которого руки даже коченеют, никогда не было в моей душе, как теперь. Вот на вас одна только утрата такого человека, о котором вы пишете, утрата одного такого знакомства произвела такое сильное и многосложное впечатление, — а у меня вся жизнь прошла только в этих утратах. Никаких семейных, «родовых» прочных впечатлений или угла, в котором бы теплилось какое-нибудь родное чувство, всю жизнь дающее право чувствовать себя не чужим на земле, — ничего этого у меня никогда нет... и не было. И угол, и дом, и предания — все это приходилось мне делать самому — на новом пустом месте, на камне голом, приходилось собирать крупицами, по зернышку содержание жизни, которое в этот угол наполнило, — и вот все эти зерна брались из тех минуточек хороших впечатлений, которые выпадали на дороге знакомства с людьми этого типа, и всегда мгновениями. Не успеешь обрадоваться, не успеешь сказать: «ну вот теперь все-таки чувствуешь, что что-то можешь и должен», — и сейчас же раскиснешься. Все у меня расхищено: осталась одна виноватость перед всеми ими, невозможность быть с ними, невозможность неотразимая, осталась пустота, холод и тяжкая забота ежедневной нужды — вот».

Под давлением надвигающейся болезни, об одном из припадков которой Глеб Иванович рассказал Ломовской в том же письме, он близок к полному отчаянию и все настойчивее заявляет о том, что хочет бросить литературу: «Мне надо теперь работать для семьи, и работать не литературно: я кое-как дотяну до весны, по весной окончательно прекращаю это дело и еду в Сибирь, служить...» Служить, однако, он не пошел и в Сибирь не поехал, а вскоре собрался в Болгарию, но тоже не сразу попал туда. Весной 1886 года он уехал опять на Кавказ,

был в Новороссийске, в Крыму, Ялте и Севастополе, затем летом того же года два раза побывал в Константинополе. Только весной 1887 года Успенский, после долгих колебаний и откладываний, поехал наконец по Дунаю.

Вскоре по возвращении Успенского из Болгарии друзья и почитатели организовали его двадцатипятилетний юбилей. Вначале Глеб Иванович пробовал отшутиться от этого праздника, рифмуя «юбилей» и «мавзолей», но широкая волна самых искренних приветствий захватила его и несколько рассеяла нависавшую над ним тучу мрачных настроений и предчувствий. Глеб Иванович воочию увидел, что у него есть читатель, что двадцать пять лет непрерывной литературной работы его не пропали даром, что его любят и ценят. В действительности он уже давно стал одним из самых любимых писателей русской интеллигенции. Но литературные заслуги Глеба Успенского получили к этому времени и официальное признание: Общество любителей русской словесности 16 ноября этого, 1887 года избрало его своим почетным членом. Но особенно Глеб Иванович был тронут письмом пятнадцати рабочих с Урала на шестнадцать страниц (в четвертку), тепло написанным простыми словами. Здесь было высказано признание, что Глеб Успенский «говорил справедливо» о «рабочем народе». Глеб Иванович с радостным волнением и гордостью показывал это письмо своим друзьям и знакомым как лучший юбилейный подарок. В опубликованном в печати письме Успенского в Общество любителей русской словесности он, принося благодарность за избрание и вместе цитируя адрес к себе пятнадцати рабочих, с своей стороны не может «иным приветствовать Об-во, как только радостным указанием на эти массы нового, грядущего читателя, нового, свежего «любителя словесности».

Все эти впечатления, вызванные «юбилеем», взволновали Глеба Ивановича. Ему хочется разобраться в них. «Мне до крайности необходим не отдых, а перерыв в моих работах месяц на два. — писал он в письме к В. А. Гольцеву вскоре после юбилея. — Необходимо сообразиться и обдумать дальнейшие работы. Мой «юбилей» провел гра-

ницу между прошлым моей работы и жизни и будущим. Повторяться — это значит пропасть...» (декабрь 1887 г.). И Успенский задумывает новые широкие темы. В произведениях его с середины 80-х годов беллетристический элемент все убывает и все усиливается публицистика; чисто художественные вещи появляются реже. После ряда крупнейших своих работ по крестьянской тематике, с широким захватом материала, широкими обобщениями и общими выводами, Успенский не давал уже произведений такого масштаба, а больше иллюстрировал, углублял и развивал ранее высказанные основные положения. Теперь он вновь задумал дать большое художественное полотно. «... я устал, но не в этой устали дело, — писал Глеб Иванович редактору «Русских ведомостей» об этих своих планах. — Дело в том, что я теперь поглощен хорошей мыслью, которая во мне хорошо сложилась, — подобрала и вобрала в себя множество явлений русской жизни, которые сразу выяснились, улеглись в порядок. Подобно власти земли, т. е. условий трудовой народной жизни, ее зла и благообразия. — мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков «Власть капитала»... Если «Власть капитала» название не подойдет, то я назову «Очерки влияния капитала». Влияния эти определены, неотразимы, ощущаются в жизни неминуемыми явлениями. Теперь эти явления изображаются цифрами, — у меня же будут цифры и дроби превращены в людей. Эта тема ставит меня на твердую почву, теперь я перестану мучиться случайными муками, которыми меня может мучить начальство сумбурное, глупое, — словом, начальство, которое мудрит по неведомым для меня соображениям. Мало ли что оно выдумывает? Я устал его ругать и не понимать. Пусть это делают более меня молодые писатели. Я же теперь возьмусь за такие явления жизни, которые не зависят ни от каких капризов правительства, а неминуемы и ужасны. Уверен, что ужасность их будет понятна читателям, когда статистические дроби придут к ним в виде людей, изуродованных и искалеченных» (конец 1887 г.). Однако задуманный план очерков большого идейного звучания Успенскому

выполнить уже не удалось, но есть основания принять за попытку выполнения именно этого плана «Ж и в ы е ц и ф ы», появившиеся в 1888 году в № 1, 2 и 3 «Северного вестника».

В 1888 г. появился в «Юридическом вестнике» перевод письма Карла Маркса, найденного в его архиве. Обращенное к редактору «Отечественных записок», оно содержало в себе опровержение некоторых критических суждений Михайловского о «Капитале» Успенский с большим интересом и волнением отнесся к тем замечаниям Маркса, которые он высказал здесь по вопросу об экономическом развитии России. Глеб Иванович писал об этом письме многим своим друзьям и знакомым, написал даже особую статью под заглавием «Горький упрек», но попавшую в печать при его жизни. Однако Успенский истолковал здесь высказывания Маркса все же по-народнически, как «горький упрек» интеллигенции за то, что она могла, но не сумела предотвратить развитие капитализма в России: «Вот тут-то и было наше дело да сплыло».

В 1889 году Глеб Иванович еще много работал, но уже заболевание сказывалось резкими проявлениями. Сквозь будни жизни, мрачную тоску и переутомление работой все явственнее обозначалась постоянная страшная болезнь. Жизнь и тут не щадит его: пужда остается в прежней силе, серьезная болезнь жены и всегдашняя необходимость опять и опять писать. В 1889—1891 годах выходит второе собрание сочинений, давшее тоже много работы, забот и тревог Глебу Ивановичу. Он попрежнему бросается в разные поездки, но уже мало находит в них облегчения. «Пропадаю я, дорогой мой!.. — писал он Постникову 9 апреля 1889 года. — Никакие поездки меня не спасут. Кончено мое дело. Плакал бы, если бы мог, — да не могу». В конце 1889 года у Глеба Ивановича начинаются галлюцинации обоняния: от трупного запаха, который чудится ему, он порой не знал куда деваться. В 1891 году, очень тяжелом для Успенского в связи с страшными впечатлениями крестьянского голода, болезнь окончательно определилась. В 1892 году в июне Глеб Иванович был помещен в пси-

хпатрическую лечебницу, сначала д-ра Фрея в Петербурге, затем в сентябре был переведен в Колмовскую больницу. Первое время он мог иногда посещать семью в Сибирцах, ездил с сыном в Нижний (1893 г.), бывал в Петербурге у Михайловского, присутствовал на юбилее Скабичевского (1894 г.), но наступившее затем обострение болезни и полное помрачение рассудка вызвали перевод Глеба Ивановича (1900 г.) в Новознаменскую больницу, близ станции Лигово, где 24 марта 1902 года он скончался от паралича сердца. Похоронен на Волковом кладбище в Петербурге.

V

«Подлинная правда жизни», по красочному выражению Успенского, «повлекла» его «к источнику, т. е. мужику». Сюда, к этому источнику, он принес с собой изумительно зоркую наблюдательность, силу тонкой художественной изобразительности и то исключительное бесстрашие глубокого реализма, которое выделяло его как подлинного, большого художника среди многих других беллетристов крестьянской жизни и нередко вызывало возмущения против него в стане правоверных народников. Все же Успенский, как писатель своей исторической эпохи и определенной идеологической формации, принес с собой «к источнику» вместе с глубоким изучением подлинной правды жизни также и те идеи и увлечения, которые он тоже неизгладимо вписал в свою «душевную родословную» в общении с представителями революционного народничества в Париже и с представителями литературного народничества в редакции «Отечественных записок»; и более всего взял от спутника своего литературного и жизненного пути, друга и идейного руководителя — Н. К. Михайловского. Успенский в основном разделял характерный для народнического движения русской интеллигенции 70-х—80-х годов утопический крестьянский социализм с его верою в то, что в силу якобы особых исконных форм крестьянского землевладения Россия может миновать капиталистическую стадию экономического развития при условии надлежащего, своевременного и полного содействия со стороны интеллигенции. При этом

интеллигенция (всильные «мы») мыслилась тогда как
какая-то сверхисторическая, внеклассовая сила, вершаю-
щая судьбы истории. Эти иллюзии и ошибки народников-
семидесятников (давно разбитые жизнью и вскрытые по-
следующим развитием экономической мысли, теперь ясные
всякому, прошедшему курс элементарной экономики)
Успенским были своеобразно претворены в прихотливых,
действительно поэтических узорах его художественно-пуб-
лицистической теории «власти земли», являвшейся, в сущ-
ности, поэтизацией отсталых форм примитивного крестьян-
ского хозяйства на той стадии развития производительных
сил, на которой это крестьянское хозяйство находилось ко
времени изучения его Успенским. Однако Глеб Успенский,
как величайший художник, близко изучивший деревню, не-
зависимо от своих народнических упований и прямо вопреки
им, рисовал с изумительной силой правдивости и глубины
действительные противоречия в деревне, ее экономическое
расслоение, мелкособственнические отношения в крестьян-
ской общине. С бесстрашием настоящего художника-реали-
ста он вскрывал, вопреки логике народничества и в силу
логики истории, развитие капитализма, пришествие того
«купона», которым олицетворялась у него власть капита-
ла. И характерно, что, когда развернулось марксистское
движение, материалами художественных произведений
Успенского по крестьянской тематике нередко, и не без
успеха, пользовались именно марксисты в своей борьбе
с народничеством, к тому времени выродившимся и уже
определенно обратившимся спиной к истории и грядущей
революции. Это свидетельствует о том совершенно особом,
своеобразном положении, которое Глеб Успенский как пи-
сатель-семидесятник занимает в истории народничества.
Ленин в статье «Что такое „друзья народа“» сочувственно
цитирует характеристику положения Успенского среди на-
родников-семидесятников, данную одним из первых русских
марксистов, И. А. Гурвичем, автором известной книги
«Экономическое положение русской деревни» (1896 г.).
«Народник 70-х годов, — очень метко говорит И. А. Гурвич
(как отметил это Ленин, приводя настоящую цитату), —

не имел никакого представления о классовом антагонизме внутри самого крестьянства, ограничивая этот антагонизм исключительно отношениями между «эксплуататором» — кулаком или мироедом — и его жертвой, крестьянином, пропитанным коммунистическим духом. Глеб Успенский одипоко стоял с своим скептицизмом, отвечая пронической улыбкой на общую иллюзию. С своими превосходными знаниями крестьянства и с своим громадным артистическим талантом, проникавшим до самой сути явлений, он не мог не видеть, что индивидуализм сделался основой экономических отношений не только между ростовщиком и должником, но между крестьянами вообще». «К Успенскому Ленин относился с особенной любовью», — писал Луначарский. «Ленин», говорит он далее, «несколько раз отмечал, что Успенский не только вместе с другими наиболее радикальными народниками был последовательным демократическим революционером, но что он, в отличие от народников типа Златовратского, старавшихся в угоду своим чаяниям «препарировать» крестьянство под особым народническим соусом, прекрасно различал расслоение деревни и не только понимал все свойства деревенского кулака, но с величайшей тоской, доведшей его позднее до личной катастрофы, констатировал мелкобуржуазные тенденции всей толщ крестьянства и в этом отношении становился выше народничества, разлагая его иллюзии, к несчастью, не видя тех новых путей, того «спасения», которое мог принести середняцкому и бедняцкому крестьянству пролетариат».

А. С. Г л и н к а - В о л ж с к и й



ПРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ

В г. Т. существует Растеряева улица.

Принадлежа к числу захолуствий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, т. е. множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками: «караул!», и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.

Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиповняков, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и пр., такое бедствующее население в г. Т. поподняется не менее обглоданным классом разного мастерового парода. В Т. с давнего времени процветала промышленность всякого рода металлических изделий: в городе и в окрестностях находятся чугунолитейные, колокольные, самоварные и другие заводы. Кроме того город славится известным заводом стальных изделий, поселившим своими рабочими все Заречье и целую слободу Чулково. Это сторона совершенно особенная; обыватели ее, когда-то пользовавшиеся разными правительственными привилегиями, гордо поглядывали на мастеров городской стороны, рабочих в одиночку, и при встречах не упускали случая поделиться взаимными любезностями: «кошкин хвост», — говорил один, «огурцом зарезался», — отвечая другой, и оба

с серьезными лицами проходили мимо. От насмешек заре-
ченского мастера, или к а з ю к а, как называют их меща-
не, не уходил даже чиновник, для которого тоже были изо-
бретены особенные клички, например, «стриюцкий» или
«точные ляжки», и пр.

Растеряева улица лежит на городской стороне, по общий
колорит рабочего города отразился и здесь. Вот между про-
чим в лачуге, ниоткуда не защищенной заборами, прожи-
вает представительница собственно растеряевского мастер-
ства, старая солдатка, «кукольница». Под ее дряхлыми
пальцами цветет отечественная скульптура; в летние, по-
гожие полдни на завалинке ее лачуги непременно сунется
несколько глиняных офицеров и дам и бесчисленное множе-
ство лошадей-свистулек с одними передними ногами. Ра-
стеряевские мальчишки запасаются этими свистящими
конями и в течение целого года разнообразят смертельно-
пропитательным свистом свое горестное существование.
В таких же лачугах живут с в е р л и л ь щ и ц ы, п а ж-
д а ш п и ц ы, женщины и девушки, занимающиеся на
фабриках. В этой же улице живут г а р м о н ь щ и к и,
т о к а р и, н а в о д и л ь щ и к и и т. д. На конце улицы,
упирающейся в широкое Воронезское шоссе, виднеется
квадратное здание из темнокрасного кирпича — самоварная
фабрика. Все эти мастерства дают Растеряевой улице
несколько иную сравнительно с другими захолустьями фи-
зиономию. В дни отдыха молчаливая физиономия ее ожив-
ляется драками и пьяными, разбросанными там и сям.
В будничные дни к звонкому пению кур присоединяется стук
молотков, то попеременно, то сразу вдруг обрушивающихся
на отчеканиваемую металлическую массу; звуки гармонии,
на которой мастер для пробы тронул с «перехватом»; жуж-
жание токарного станка — и надо всем этим, по обыкнове-
нию, тихая песня. В темные зимние вечера, когда бывали
обыкновенно везде уже заколочены наглухо ворота и став-
ни и обыватели ложились спать, окна фабрики были еще
ярко освещены, из осьмигранной трубы медленно вылезли
большие мутно-красные искры, тотчас же потухавшие
в темном воздухе.

Никем не вспоминаемая, никем не сторожимая, Растеряева улица покорно несет свое бремя — нужду. Стук молотков, постоянная песня или бойкая шутка мастерового, идиллическая веселость детских уличных игр или развеселая сцена бабьего столкновения, разыгравшаяся среди бела-дня и среди улицы — все эти внешние, уличные проявления растеряевской жизни не дают однако никакого понятия о том темном горе жизни растеряевского обывателя, которое гнетет его от колыбели до могилы.

Мы узнаем его постепенно и, как ни удивительно это будет для читателя, начнем наше знакомство с растеряевским горем при помощи такого растеряевского человека, который, ко всеобщему удивлению, иногда с совершенно спокойной совестью может сказать о себе:

— Чего-ж мне еще от Христа моего желать?

Человек этот был pistolетный мастер, молодой малый, по прозванию Прохор Порфирыч, обитавший в собственном домишке. Ради такого дивного дива мы прежде всего и познакомимся с этим счастливым человеком, чтобы вместо с тем познакомиться с скромными растеряевскими людьми всякого звания, по-своему недовольными и по-своему счастливыми...

I. ПРОХОР ПОРФИРЫЧ

Года два тому назад Прохор Порфирыч еще не был постоянным обывателем Растеряевой улицы, хотя улица эта вынырнула его и выпустила на свет божий из своих голодных недр. Дело в том, что в Растеряевой улице когда-то давно поселился отставной полицейский чиновник, упрочивший за собой славу великого дельца и человека особливо неустойчивого насчет женского пола: так, он развелся с женой, необыкновенно слезливой женщиной, и сошелся с ярославской мешалской девицей Глафирой, которая долго держала прихотливого барина в своих руках и под конец все-таки должна была отказаться от него в пользу чиновничьей дочери Лизаветы Алексеевны, девицы средних лет,

с опущенными всегда в землю глазами и жестоким стремлением к воровству. Глафира, впрочем, не рассталась с баррином: низведенная на степень кухарки, она решила скоротать свой век в кухне и полегонечку начала запивать. Прихотливый барин тоже и сам не имел духу прогнать ее (что следовало по обычаю), потому что у нее было два сына, которые хоть и назывались Порфирычами в честь ветхого кучера Порфирия, но и барин, и Глафира, и дети знали, в чем дело. Старший сын Глафиры оставаясь при доме в качестве лакея; младший, Прохор, отдан был в ученье к токарному мастеру. И в то время, когда веселый дом чиновника уныло стоял с запертыми в пинжем этаже окнами, когда в саду его не слышно было больше пьяных чиновничьих голосов, распевających светские и духовные песни, а сам барин, пораженный всяческими педугами, неподвижно лежал в маленьком мезонине, ожидая смерти, Прохор Порфирыч, в эту пору двадцатитрехлетний паренек, работал за Киевской заставой один, на себя, приготавливая на продажу револьверы.

В это время и начинается наше с ним знакомство.

Вследствие ли сознания своего «благородства», или вследствие житейского опыта, Прохор Порфирыч держался как-то в стороне от своих собратий, мастеровых, не походя на них ни в чем: его никто никогда не видал в драке, с разбитым глазом, или пьяным, валяющимся где-нибудь среди лужи. Растрепанная, ободранная и тошная фигура рабочего человека, с свалывшеюся войлоком бородой, в картузе, простреленном и пулями и дробью во время пробы ружья, с какими-то отчаянными порывами ежеминутно доказать, что «жизнь — конейка», такая отчаянная фигура совершенно не походила на фигуру Прохора Порфирыча: на нем всегда был цельный, опрятный картуз, лицо тщательно вымыто, а грязная шея, запыленная мельчайшими железными опилками, посящимися в воздухе мастерской во время работы, пряталась под гарусным шарфом, придерживаемым плисовым воротником достаточно подержанного драпового пальто. Плохонькие, но все-таки выносные папталоны и ясные признаки поплеывания на поски грязноватых са-

пог, все это говорило о желании иметь хоть какое-нибудь подобие человека благородного. Вообще, он не столько походил на мастерового, сколько на семинариста, благочиннического сына: у него не было только этого довольства фильдекосовыми перчатками, этого страстного желания распластать огненного цвета шарф по всей спине, да и физиономия его носила следы постоянной сдержанности, вдумчивости, дела, что сам Прохор Порфирыч называл «расчетом», руководясь им во всех своих поступках. Так, например, носить немецкое платье Прохора Порфирыча побуждало не только благородство, но и расчет. «Случись, — говорит он: — пожар, примерно, твое дело сторона... Так-то!» И действительно, в то время, когда руки полицейских (по-растеряевски «хожалых») тащили за шивороты толпы разных чучек и чемерк¹, и когда эти чуйки среди огня рвали голыми руками раскаленные листы железа, изредка подставляя лицо и спину под струю воды, чтоб не сгореть, в эту пору Прохор Порфирыч мирно стоял среди благородных людей и спокойным голосом объяснял соседу:

— ...Извольте видеть, столб-от... белый-с?

— Да?

— Это все из-за самых пустяков происходит. Потому теперича из верхних слоев тяга с одного конца ударяет, а снизу-то... уж она опять тоже отшибку дает... Извольте взглянуть, как оттуда понесло...

И Прохор Порфирыч, поднимая руку вверх, поворачивался лицом к ветру.

Чем более Прохор Порфирыч убеждался в справедливости своих взглядов, тем вдумчивее становилась его физиономия. Часто во время работы в своей мастерской Прохор Порфирыч один-одинешепек вел какие-то отрывочные разговоры вслух, доверяя свои мысли стапку и серым почерным стенам.

«Черти! право, черти! — слышалось тогда в мастерской. — Ваше дело — путать... колесом ходить. Нет, я тебе разберу авчину-то!..»

¹ Ч у й к а — длинный суконный кафтан. Чемерка, чемерка — длиннополый сюртук.

Но если случалось, что Прохор Порфирыч забежал на минутку к какому-нибудь знакомому чиновнику (знакомые его были исключительно чиновники и вообще люди благородные), то здесь сразу прорывалась вся его сдержанность, и все тайные размышления вылетали наружу. Он особенно любил говорить о своих делах именно с чиновником, потому что всякий чиновник умеет разговаривать: у места говорит «да», у места «нет» и всегда кстати задает вопросы. Если же, паче чаяния, чиновник и не понимает, в чем дело, то уж зато отнюдь не противоречит.

Сидя где-нибудь в углу в тесной квартирке одного из своих знакомых чиновников, Прохор Порфирыч не спеша прихлебывал горячий чай и не переставая говорил.

— Вот вы изволили, Иван Иванович, разговаривать — времена-то теперь тугие-с.

— Д-да! — вскидывая ногу на ногу, говорил чиновник.

— Д-да-с; а ежели говорить как следует, то есть по чистой совести, умному человеку по теперешнему времени нет лучше, превосходнее... Особливо с нашим народом, с голью, с этим народом — рай!

— Рай?

Чиновник встряхивал от удивления головой.

— Ей-ей-с... Главная-то наша досада — не с чем взяться!.. Хоть бы мало-маленько силишки в руки взять, как есть — первое дело!.. Одно: умеи пометить, расчесть!.. Приложился — «навылет». Вот, говорят: «хозяева задавили»! Хорошо. Будем так говорить: недели я нашего брата, гольтепу, всем до малости, чтобы, одно слово, в полное удовольствие — как вы полагаете, оцувствуется?

Чиновник всматривался в лицо Прохора Порфирыча и нерешительно произносил:

— М-мудрено!

— Ни в жисть! Ему надо по крайности десять годов пьянствовать, чтобы в настоящее понятие войти. А покуда он такие «алимонины» пушает, умному человеку не околевать... не из чего... Лучше же я его в полоумстве захвачу, потому полоумство это мне расчет составляет... Так ли я говорю?

— Что там!.. Народ как есть!..

Чиновник наливал чай и, указывая Порфирычу на чашку, прибавлял:

— Ну-ко... опрокинь!

Порфирыч брал чашку, садился на прежнее место и продолжал развивать перед чиновником теорию о том, как бы «надо» по-настоящему, «ежели б без полоумства». Понижая почти до шопота свой голос, словно что утаивая от кого-то, он исчислял все выгоды рассудительного житья: «тогда бы и работа ходчей» и «сам бы собой дорожил», и «был бы ты на человека похож», — шептал он, — и как ни был сообразителен чиновник, он поддавался своему дрогнувшему сердцу и с скорбью произносил, что хорошо бы надоумить «ребят»; но тут же, принимая в расчет «полоумство», опять приходил в себя и убеждался, что «их, чертей», надоумить нет никакой возможности. Иронический взгляд и улыбка Порфирыча, следовавшие за таким заключением, неожиданно поражали чиновника...

— Надоумить! — возразил Порфирыч, не изменяя улыбавшегося лица. — Напротив того, Иван Иванович, надоумить его можно в одну секунду... Человек, который имеет настоящую словесность, может это оборудовать с маху. Скажет он им: — «Черти, аль вы очумели?.. Так и так...» и такое, и прочее... В единую минуточку они отойдут от... хозяйина... Но что же из этого выходит? А то, что этому словеснику они шею свернут, тоже не мешкая... «Отбить — отбил, а работы нету!» Хозяин, он перетерпит, а наш брат на вторые сутки заголосит... Брюхо-то, оно — первое дело — в кабак!.. В ту пору ему утерпеть нельзя... А хозяин с благочинностью взял полштоф в руку, поднял его превыше головы для повсеместного виду: — «ребятушки!» Так и хлынут к нему... В ту пору хозяин может их пажимать даже без границ... Это расчет-с большой!

Снова поддакивает чиновник и, желая не уронить себя на этот раз, уже смело выводит заключение, что всему горю голова — «водка!»... Порфирыч на этот раз даже засмеялся... Чиновник не знал, что и подумать.

— Водка-с! — ухмыляясь, спокойно говорил Порфи-

рыч. — Водка, она ничуть ничего в этом деле... Она дана человеку на пользу... Потому она имеет в себе лекарственное... Как что возьмется... А главное дело опять же это полоумство... Как вы обсудите: мальчонка по тринадцатому году, и горя-то он постоянного не видал, а ведь норовит тем же следом в кабак!.. И пьет он «на спор», «кто больше»... Облопаются, с позволения сказать, как бесецята, а потом товарищи и тащут по домам на закорках.

Чиновник недоумевал.

— Нет-с, Иван Иванович, в нашем быту разобрать, что с чего первоначало взяло, невозможно!.. У нас доброе ли дело, случится, сделают тебе — и то сдуру; пакость — и это опять сдуру... Изволь разбирать!.. То ты к нему на козе не подъедешь, потому он три полштофа обошел, а в другое время я его за маленькую (рюмку) получу со всем с генеральством его. Опять с женой драка... Несусветное перекабыльство¹.

— Перекабыльство? — спрашивает чиновник.

— Да больше ничего, что одно перекабыльство. Потому жить-то зачем — они не знают... Вот-с! Вот к этому-то я и говорю насчет теперешнего времени... Прежде он, дурак полоумный, дело путал, справиться не мог, а теперь-то, по нынешним-то временам, он уж и вовсе ничего не понимает... Умный человек тут и хватай!.. Подкараулил минутку — только пятакком помахивай... Ходи да помахивай — твое!.. Горе мое не с чем взяться. А уж то-то бы хорошо! Хоть бы мало-мало силепки... Вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Это уж пустое дело! Лучше же я натрафлю, да, господи благослови, сам ему на шею сяду.

Тут вытаращил глаза даже сам Прохор Порфирыч, чиновник делал то же еще ранее своего собеседника. Долго длилось самое упорное молчание..

¹ Слово это происходит от «кабы». Разговор, в котором «кабы» упоминается часто (кабы то-то да кабы другое... кабы ежели... и т. д.) — очевидно разговор не дельный; таким образом «перекабыльство» — то же, что бестолковое «галдение» в разговоре и бессмыслица в поступках. Примечание автора.

— Время-то теперь, Порфирыч, — перешителью бормотал чиновник: — время, оно...

— Время теперь самое настоящее!.. Только умей наметить, разжечь в самую точку!..

Прохор Порфирыч сказал все. Некоторое волнение, охватившее его при конце рассуждений и намерений, только что высказанных, прошло. Разговор плелся тихо, пополам с зевотой; толковали о том, что «от праведного труда будешь не богат, а горбат». Заходила речь о ворах, которые в последнее время расплодились в городе, и Прохор Порфирыч приводил по этому случаю какую-то пословицу и т. д. Из приличия, на прощанье, Порфирыч задавал чиновнику еще несколько посторонних вопросов и наконец уходил; чиновник высовывался в окно и, увидав своего собеседника на тротуаре, считал нужным тоже что-нибудь сказать.

— Так перекабыльство? — спрашивал он.

Порфирыч утверждал это кивком головы и утвержительным движением руки. Оставшись один, чиновник непременно думал уже про себя:

«Однако этот Прошка — значительная язва будет в скором времени!..»

Как видно, намерения Порфирыча насчет своего брата, рабочего человека, были не совсем чисты; самым яростным жеманином его в ту пору было засесть сказанному брату на шею и орудовать, пользуясь минутами его «полоумства». Между тем Прохор Порфирыч сам на своих плечах и выносил всю тяготу жизни рабочего человека, имея преимущество только в трезвости, в обстоятельном расчете всякого дела и больше всего в благородном происхождении, которое как-то уж и без расчета и без сознательных причин заставляло его крепче держаться своих взглядов и клало какую-то грань между ним и чумазым мастеровым народом. Ему и в голову не могло притти так же упорно, как упорно размышлял он о собственной участи, размышлять о том, что перекабыльство и полоумство, которые он усматривает в правах своих братьев (питие водки на спор, битье жены безо времени), что все это порождено слишком долгим горем, все покорившим косушке, которая и царила падо

всем, заняв по крайней мере три доли в каждом действии, поступке и без того отуманенного рассудка. Прохору Порфирычу некогда было разбирать этого; у него была своя забота, с которою только-только справиться.

— Душа пить-есть хочет, да штаны сшей! — говорил он и резонно не хотел иметь ничего общего с пропащим народом. А народ этот он понимал и рассказывал про него так:

— Был я мальчиком по двенадцатому году и, спасибо братцу, в то время грамоте выучился: читать-писать... Хоть, признаться сказать, вся моего братца учоба в том и состояла, как бы кого линейкой обеспокоить, то есть по затылку... И дрались они, братец, не то чтобы с сердцов, а даже от большого уныния... Скука! Обучившись я грамоте, после того не знают, по какой меня части пустить... Маменька Глафира Сергеевна от сидельцев¹ без памяти — «лучше житья нету», барин говорят: «как знаешь», а станем у братца спрашивать, то опять же это уныние... Был я у мальчика одного, знакомого, он у мастера работал — «иди, говорит, к нам...» Поглядел я на станок (по токарному мастерству они были), колеса эти разные, винты, пойдет чесать, пойдет — откуда что возьмется... замел! «Хочу да хочу, отдай да отдай к мастеру!.. Никуда больше не пойду!..» Молил, просил, маменька серчают, братец и обругал и прибил — пу все же отдали. Только не к тому мастеру, а к растеряевскому: чтобы поближе к своим... Радуюсь я: думаю, вот сейчас я эту машину превзойду до последней поропинки. Только что же случилось? Как я был изумлен, когда, три года у мастера живши, ни разу к этому станку доступа не получил, потому собственно, что был он, этот станок, пропит... Ужаснулся я в то время! Бедность была попокрытая, истинно уж ни кола, ни двора, ни куриного пера!.. Вся избежка-то была вот этак отграничить, и лежало в этой избе корыто с глиной, а боле, кажется, ничего и не было... Стал я об таком ученьи удивляться, отыскал ребят — было нас учеников трое — говорю: «Что же, ре-

¹ Сиделец — торговец в лавке, приказчик.

бятушки, когда же это ученье будет?..» А один из них, Ершом звали, худой, глаза большущие, маленький, волоса топорщутся, шепчет мне ровню бы басом: — «Ты, говорит, не говори про это... А лучше того, поне почью, как с покражи придем, я тебе про дьяволов сказку скажу... Молчи! Я тебя па все наведу...» — «С какой с покражи?» — «Ты, Проха, громко не кричи, лучше ты шептуном, когда тебе что надо. А покража у нас каждую ночь положена, потому что жрать нам с хозяевами нечего, так мы это все ворует с соседских огородов...» Тут я бога вспомнил... залился, залился — поздно! А Ершишка утешает и все шепчет: — «Ты, друг, не робей, потому я тебя полюбил и поне скажу сказку про Ефиопа¹... Я их и по почам вижу...» Хозяица все дома не было. Подошел вечер, Ершишка говорит: — «Пора, Проха, на кражу.. Перва пойдем дров добывать». Пошли мы все трюичкой на пустошь, а на пустоши стояла гнилая изба: может, года с три в ней никто не жил, и большим страхом от нее отдавало... Перва мимо пройти боялись, потом посмелей стали, в окошечко заглянули, потом того, в нутро пробрались; лежит на полу мертвый нетух и тряпка с кровью... Начали слоняться туда бродяги, нищие и пьяные, приказный один зарезался... А после того, помаленьку, кто ставню оторвет, кто дверь, и пошли таскать... Так что изба эта целой улице была отоплеппе... Приходим, а уж там и раньше нас набралось разного голого народу: талцут что под руку попало, а то и друг у дружки рвут; завидели нашу братию — гнать; а мы на них пошли; они — дубьем... А Ершишка словно полковой: — «Ребята, говорит, не стетавай!» Как пошли они этого беднягу, Ершишка, трепать — только и видно, как он по воздуху летает, только подшвыривают — как есть в лапту... Но Ершинок немало храбрости сохранил и, летая по воздуху, кричит: — «Нет, врешь! посмотрим, кто кого...» Шах-

¹ Эфиоп — греческое слово. Так греки называли жителей Африки, обитавших за Египтом. В переносном смысле это слово стало употребляться для обозначения малоизвестных первобытных народностей (темнокожих). В этом значении оно вошло и в русскую сказку об Ефиопе.

жу я Ерша на крапиве — лежит он и шипит: — «Башку ушибли!» Стал я его жалеть. — «Ничего, говорит, Проха, все же я не одно поленце получил.. А этому Ефремову, уидеру, я докажу, как он меня ноне избил... А тебе за твою жалость две сказки скажу, ты будешь доволен...» Отсюда пошли мы в другое место воровать: репу, калусту, огурцы... Тут дело обошлось без помехи, даже так, что яблок себе натрясли, никто не слышал... Целую почь Ершонок все мне сказки рассказывал и в смертельную дрожь меня ввел своим шепталем, под конец начал даже, ровно сумасшедший, домового мне показывать: — «Вон, говорит, я вижу». Спали мы в сенцах, ночь была непогожая, пробрало нас водою до костей, по улице вода гудела... А хозяина все еще не было. Только под утро, чуть светок, слышишь-послышишь, в сеникую дверь стучатся. Отворили: нищая стоит. — «Поглядите-ко, братцы, не ваши ли это человек, бабы подняли...» Сейчас Ерш вскочил. — «Я это все, говорит, знаю!» Побегли и мы... Глядим, две нищие в лохмотьях несут человека, только-только рубаха осталась; нашли они его в канаве, и всю ночь через него вода бежала. Ерш живым манером его оглянул: — «Наш, говорит, осторожней; за мной!» Принесли они его в избу, свалили мокрого па-земь; хотели было нищие награждения попросить, ну только хозяйка сказала: — «За что я вас буду награждать в случае он жив? Если б он издох, то я вам большую бы милостыню подала!» По правде сказать, не то чтобы очень тосковала: начала она у одного барина приживать... кой-чем прислуживала...

«Так мне грустно было, так грустно, не мог я горести своей удержать, побег домой, к маменьке... Залился, рассказал, как все было, какое начался ученье. Но маменька еще того пуще меня огорчила, так как совсем от меня отказалась. Стал я брата умолять, ~~и~~ и братец, разгорячившись рассказом моим, опять-таки шибко меня потрепал. Надо стало быть, как-никак терпеть!

«Между прочим, к ночи хозяин очувствовался. Хозяйки не было... Подзывает он меня и говорит:

«— Смотри у меня, старайся...

«— Буду! — говорю.

«— То-то!

«И тут же он безо всякой злобы развернулся мне в щеку, дабы я узнал, какова в руке его тяжесть: для весу; чтобы через эту боль помнил я и соблюдал осторожность.

«И началась с этого времени моя каторжная жизнь!

«Ели мы, когда что случится, да когда своруешь; спали на мокроту, на дожде... А ученья все не было, не начиналось; все хозяин, когда трезвый, от бога ждал, вот большая работа набезит, вот набезит... А покуда что, все он хмельной, все нет-нет да вытяпет палкой кого... Случалось, в эту пору навернется работишка — в ножницах вьют поправить, или бы какому чиновнику на палку наконечник насадить. Тогда хозяин радуется и чиновнику говорит: «будьте покойны!» Но, подумавши, полагал так, что это дело «успеется», и звал Ерша шутку шутить...

«— Ершило! — говорит он: — можешь ты мно эту палку заговорить?..

«— Могу! В лучшем виде!

«— Чтобы ее никакая сила не взяла?..

«— Могу!

«— Ну, заговаривай!

«Ерш сейчас начнет разными словами сыпать (где-то он научился заговоры заговаривать) — не поймешь, откуда это си их набрался. Сыплет-сыплет...

«— Готово! — говорит.

«— А ежели ты врешь, то могу я ее в пропой пустить?..

«— И, — говорит Ерш, — в жисть мою не врал, а заговорено это дело наглухо...

«Тогда хозяин берет без всякого труда палку, дает Ершу по затылку и несет ее в кабак.

«— Ах ты, идолова порода, — закричит Ерш: — что я сделал! Ведь я самое главное слово пропустил!.. А то бы ни в жисть ему этой палкой не утащить. Ах, я, розиня, розиня!..

«А хозяину главное, «к случаю» как бы прицепиться: «ведь prospорял!»

«Придет хозяин пьяный, тут уж всем достается... Па

нашу долю больше всех! Ежели жена случится, то сейчас поровит она от мужа либо под кровать, либо на чердак. Хозяин начнет шастать, искать, найдет — драка! И вся эта битва с женой: «зачем спряталась!»

«Случится, хозяин отрезвеет, в ту пору он тихий, то есть как есть перед всеми виноват...

«Тут мы к нему, бывало, пристадем:

«— Дядеьпка, когда-ж учеье-то?..

«— Ребятушки, говорит, дайте вы, ради господа, мне маленько в ум войти. Может, говорит, хоть чужие молитвы об нас бог услышит и пошлет нам какого заступника. Тогда не токмо всех вас в единую минуточку выучу, еще у всякого прощения попрошу...

«Тут, случается, жена заговорит:

«— Заступника тебе? А чиновник палку дал, чем бы выработать что, заместо того пропил?

«— Милая! Супруга, Анна Федоровна! Как же может эта палка нас от нашего несчастья сохранить? Тут на двугривенный дела не справишь! Ежели-б палкой-то этой голову мне кто прошиб, тогда бы я за это ему ручки поцеловал...

«— У нас все так-то!..

И пойдет баба причитать: ей только дорваться, кажется, порошники не оставит.

«— Анюта! — заговорит хозяин: — ради паря небесного, не души ты меня этими разговорами!.. Я это все в тысячу раз складней знаю... Только погоди ты хоть минуточку, дай мне опомниться, всех вас в золотые наряды разукрашу... Ах, боже мой!

«И не пройдет с час места, а уж опять от него жена под кровать прячется, а наш брат кто куда разбежимся.

«И все мы этой работы дожидаемся, все бога молим. Кажется нам, что как только эта работа навернется, в ту же минуту все и пойдет благополучно. Случается так, и в самом деле, вдруг откуда ни возмись работа, и большая... Дом, что ли, какой чиновник строит — сейчас, бывает, падают нам замков чинить, новые делать, опять к окнам эти приправы, чтобы в лучшем виде, еще какая ни на есть

малочь... Ежели так-то случится, то уж истинная благодать наступала у нас в то время!.. Ну, только все же на одну минуточку...

«Как сейчас помню, случился такой заказ; выпросил хозяин задатку и (удивление!) трезвый домой пришел. Сейчас начал он на образ креститься и передо всеми нами клаялся!

«— Вот разрази меня гром, ежели я только дохну на него, на мучителя моего (на вино, то-есть). Жена! Ребятушки! Всем вам темерича я удовольствие сделаю!..

«Сейчас отпускает жене на расходы целковый, на свечку Казанской божней матери тоже рубль серебра, остальное себе на материал. Самовар закипел, все мы радуемся, бога благодарим; только и слышно:

«— Слава богу! Слава тебе, господи, заступнику!.. Ах, как мы, ребятушки, паголодались с вами!..

«Очень я в это время радовался, только Ери этот шипит:

«— Погоди, говорит, не торопись; ты меня только слушай одного!

«И точно. Пошел хозяин в кабак инструменты выручать и нас взял с собой; такая была дружба у нас. Идем и разговариваем. Входим в кабак. Все чинно... Выручил инструменты. Вина ни-ни!.. Хотем мы уходить, а целовальник¹ так между делом и говорит:

«— Игнагыч, говорит, что это мы слышали, кабысь у тебя расстройка по работе-то?

«Хозяин ка-ак на него зарычит:

— Расстрой-ка-а?.. Из каких же это местов слухи такие?

«И сейчас он, чтобы кабацкой кампани на удивление было, вываливает деньги на стойку и продолжает:

«— Расстройка! Деньги-то вот они... Сла-ва богу!.. У меня работы не быть? Да где же это ты по нашей стороне такого места сыщешь, чтобы в полном комплекте?..

«Сейчас он полу откинул, картуз заломил, как есть миллионщик!..

¹ Ц е л о в а л ь н и к — продавец винной лавки (питейного дома).

«— Какая же может быть у меня расстройка, когда я вот все эти деньги в пропой отделил?

«— Ну, — говорил целовальник: — уж и в пропой!

Тут дяденька от обиды такой весь зеленый сделался и потребовал сразу «монастырский», то есть уж самый превосходительный стакан...

«Пу и пошло!.. Только поддает, только поддает, и такой форс в нем проявился, что даже на удивление:

«— У меня, говорит, работы навалепо! У меня всегда без остановки! У меня на двадцати станах идет!

«Истинно глазам моим не верю! А дяденька только прикрикивал:

«— Д-давай... Полно зубы-то полоскать! Расстройка!..

«Под конец того инструменты эти он опять же в прежнее место препроводил и очень вином нагрузился: сидит на лавке, еле держится и все бормочет.

«— Я гррю, васскарродие... на двац-пять цалковых в сутки... Я гррю, васскарродие... может, по всей имперрии...

«Тут целовальник видит — время позднее, говорит:

«— Голубь! Время, запираю...

«Взял его подмышки и потащил к двери.

«— Я первый мастер?..

«— Ты-ы! — говорит целовальник. — Кто-ж у нас первый-то?.. Ты и есть!

«— Масей!.. — это хозяин-то нап ему: — признайся, по совести, доказал я тебе свое могущество?..

«— Ты, Игнатыч, — отвечал ему на это целовальник: — так меня ноны уничтожил, так сконфузил... То есть истинно победил своим богатством! Я думал, ты бедный, а ты по-ди-ко-сь!

«— Я-а-а!..

«— Да уж ты-ы-ы!..

«И оставил нас целовальник на крыльце; дождик шел, и темно было...

«— Ребятунки! Видели, как я его победил?..

«— Видели, — говорим.

«Не могли мы его тащить с собой, повалился он на улице и тут же заснул...

«Стали мы ему в трезвый час говорить:

«— Дяденька! Что же это вы себя роняете? Перед богом божились, так хорошо выговаривали, а заместо того еще хуже?»

«— Ребятюшки, говорит, знаете, что я вам скажу?»

«— Я знаю! — говорил Ерш.

«— Нет, тебе этого не узнать!.. А вот что я скажу: кажется мне, сколько я зарокон на себя ни клади, никогда мне себя не удержат!.. Потому радости на своем веку только я и видел, когда в ладышки играл махоньким еще... Люди добрые в мою пору и хозяйство знают, и семью, и почет получают... Ну, а мне этого в своей избе не сыскать! Нет!.. Окромя ладышек-то я еще, ребятюшки, ни единою радостью не радовался... По этому случаю, как малого ребенка можно меня обмануть, лишь бы только единую минутку предоставить мне по моему желанию... Так-то!..

«Так мы и жили; а бесперечь хозяин себя через свое безголове до того доводил, что непременно он раз двадцать у заказчика в ногах валялся; ругали его, самыми страшными божбами божился, вымаливал еще чуточку и опять же таки через слабость свою домой не допосил... Под конец входил квартальный¹: «Ты Иван Игнатов?» Ну, тут уж все мы в ноги валимся; тут пароду копошится страсть!.. Вымолим кое-как прощение. И уж тут-то работа начина-а-а-ется!.. То есть не то что работой можно это назвать, а истинно ужас какой-то всех в это время обхватывал.. Потому хозяин ровно бы сумасшедший бывал тогда... Где-то, уж господь его знает, доставал он инструменты и так-то ли принимался орудовать ими, что уж нашему брату только в пору глаза вытаращить, не только для себя замечать. И день и ночь, и день и ночь только опилки летят, только молотки постукивают; ни водки в это время, ни даже крохи не брал и уж так-то работал, без разгибу!.. В этом запале нам в мастерскую нос показать опасно было...

«— Прррчь, кричит, черти! так промежду ног и суются! Прррчь, расшибу!..»

¹ К в а р т а л ь н ы й — полицейский чиновник, заведывающий участком (кварталом).

«Мы разбежимся обнаковенно... Кто-где ежмся...

«Кончит работу он беспременно к сроку и все денежки до копеечки проплет, даже домой не скажется.. Дней по крайности пять пропадает...

«Так я вздыхал в это время, так я убивался о своей жизни! Который, думаю, мне теперича год, никакого я ма-стерства не знаю... Только-только колотушки и треухи в исправности отпускаются... На ласковое слово хозяйское понадеешься, пустое выходит!.. Где обиды не ждал и не чуял я совсем — втрое тебе ее, безо всякого заправского дела... Что это, думаю, господи?

«Хотел я сбежать... Ну, только в скорости история одна случилась, и так обошлось... Однава смотрим мы, что такое, по нашей улице воза едут: с перинами, с сундуками, столы, например, разные накручены, стулья.. Все вообще разное имущество... И идут с боков этих бабы и все у встречных спрашивают что-то... Ну, только встречные от них с испугом бегут... Что за удивление? Пошли мы за ворота с Ершом, стали нас бабы спрашивать:

«— Где тут, ребятишки, солдатка, покойница, Караулова жила?

«— Я знаю, где! — говорит Ерш.

«— Авдотья Кузьминишна?

«— Знаю! Знаю.. Я все знаю! Только вы меня слушайте!..

«— От нее пам в наследство дом есть...

«— Есть!.. Пойдем!..

«Повел он их на пустошь: там кое-где щепки валяются и печка с трубой вытянулась. Только и сохранено от дому.

«— Вот! — говорит Ерш. — Получите!..

«— А дом то? Где же дом то?..

«— Дом точно что тут был, — отвечал Ерш: — ну, только теперь его отыскать мудрено.. хошь я, признаться, словцо одно знаю...

«Между прочим бабы по этой пустоши заматались как угорелые... Руками машут, бросаются туды, сюды... — «Ах-ах-ах! ах-ах-ах!.. Ах, дома нет! Ах, где дом!..» Тут народу сбралось множество, стали все удивляться, где дом: —

«я, говорит один, только поленце»; «я, говорит другой, только щепочек чуть-чуть отсюда взял». А тут целый дом пропал. Стали баб этих жалеть. Бабы те заливались слезами и рассказывали:

«— Она тетка нам; она, Авдотья-то, нам этот дом отказала. Жили мы в ту пору в дальнем Сибире, на самом конце; покуда дошло туда извещение, с год места протянулось, а уж нас в то время на Кавказ перегнажи; покуда опять в здешние палаты извещение-то вернули, покуда отсюда на Кавказ дали знать, время-то два года и ушло; летошний год мы в октябре месяце собрались из Черкесской земли, да покуда доползли, ах всего три года! ах-ах-ах, дома песту!..

«И выть!

«Начали бабы через начальство орудовать. Губернатор говорит, чтобы этот дом отыскать — «из горла вырви, да вороти!» Стали нашу Растеряевку потрошить: кто избу разбирает? Никто не признается, один на одного сворачивает... Что тут делать! Хозяин наш дрожит: «Ну, говорит, ребята, доигрались мы!»

«Однова пришло к нам в сени народу страсть: квартальный, будочники¹, бабы эти и Ефремов, ундер... Потребовали к суду: сейчас Ефремов этот солдат — усищи... во! — снимает перед квартальным фуражку и говорит:

«— Ваше высокородие! Я богу и царю служу верой и правдой: извольте посмотреть, нашивка и опять же царь билет мне на красной бумаге дал, это чего-нибудь стоит...

«— Говори, в чем дело!

«— А в том дело-с, что весь этот дом вот эти мальчонки (мы-то) разнесли... Особливо один, Ершом звать...

«— Это я, — сказал Ерш.

«— Вот он-с! Я, лопни глаза, сам видел, как он крышу с дома воротил... Будь я проклят!

«— А ты, Ефремов, — сказал Ерш: — забыл, как ты меня дубиной охаживал?

¹ Б у д о ч н и к и — нижние полицейские служащие (городовые), помещавшиеся первоначально в особо выстроенных для них на площадях сторожевых будках.

«— За то я его, васскородие, точно с осторожностью коснулся, чтобы он казенное добро не воровал! Вы, васскородие, с них, с мальчонков да и с хозяина-то ихнего требуйте, а мы, видит бог, ни в чем не причинны!

«И стали нас с этого времени побеспокоивать. Уж и не помню, как после того все мы разбрелись — кто куда. Куда Ериш девался — так и не знаю.

«Ушел я от хозяина и, признаться сказать, горько заплакал. Господи, думаю, что я такое? Кто мне на всем свете есть помощник? Никого не было!.. Беззащитен я в то время был вполне, тем прискорбнее, что мастерства-то совсем не знал никакого: правда, мог кое-как самоварную ножку подпилком обойти, да ведь уж это такое дело, что и малый ребенок не испортит; потому никак невозможно испортить. Только всего и знал-то я... Куда я с этими науками депусь?

«...Года четыре шатался я с одной фабрики на другую, с завода на завод; там одно узнаешь, там другое... Все настоящего-то мастерства не получил! А шатался-то я собственно потому, что уж оченно было мне отвратительно хозяйское безобразие: что он мне деньги какие-нибудь пустяковые платит, то должен я, извольте видеть, совсем себя забыть; до того мучения было, что, верите ли, выйдешь в субботу с расчета, посмотришь на народ-то, как все движется, огоньки горят, так весь и расстроишься, и смеешься, и чего-то будто радостно, и не подберешь об этом никакого стоящего понятия, а как-то, не думавши, глядь — в кабаке! Было мне очень оскорбительно, что я почесть что (сами изволите знать) благородный и такое терплю гонение, и зачем только живу — сам не знаю... «Ах, думал я в то время, ежели бы только благородные люди узнали, что я тоже благородный, сейчас бы они со мной подружились и стали бы меня уважать!» Начал я маленько опомниться, ребят своих сторониться, ну, все же справиться не мог, потому платят на ассигнации¹ четыре рубля в неделю,

¹ На ассигнации — бумажные деньги, выпущенные при императрице Екатерине II. При падении их курса счет на «ассигнации» велся раздельно с перерасчетом на серебро. В 1851 г. «ассигнации» были окончательно ликвидированы.

извольте прокормиться! Наши ребята по этому случаю все жалованье пропивали. Потому некуда его деть... А мне, по моему благородству, куда ж с этим жалованьем деваться?.. Хотелось мне жить, хошь бы как приказный живет: сейчас у него гости, трубочку покуривает, как ваше здоровье? Тихо, чудесно... Стал я думать так: стану-ка я один работать? На себя... Думаю себе, тогда и барыш мне сполна идет, и буду я жить с рассудком. Был у меня товарищ Алеша Зуев, друг и приятель. Сказал я ему об эфтим, и он обрадовался: — «Лучше нет», говорит. — «Давай вместе!» — «Давай!!»

«Кой-как да кой-как сколотились мы на станчишко, взялись пистолеты работать. Наняли себе конурку, стали жить. Трудно нам, по правде сказать, пришлось слесарным мастерством заняться. Дело новое; ну, все же радовался я, что теперича совсем я по-благородному жить начну, потихоньку; между прочим полагаю, что от пьянства я уж избавлен... Однако же нет!.. Живши более шести лет в этом пьянстве да буянстве, в прижиме да нажиме, достаточно я свое благородство исказил... Случай такой случился.

«Зачалась эта у нас работа, а наипаче того пошла дружба: такая дружба, такая дружба, страсть! Мало мне своего дела делать, так я стараюсь приятелю угодить... Зуев еще пуще того надседается... Так он тихости и покою обрадовался, что когда, бывало, сидим мы с ним на зава-линке, все он меня благодарит. Попросят он меня стих какой сказать (я стихов много знаю), я ему стих скажу. И так я, признаться, умею этими стихами человека про-братъ, даже невероятно. Я, главное, стараюсь жалобными: голос у меня для этого есть тонкий такой. Так я, бывало, этого Алеху стихом проберу, что только вздыхает он и говорит: «Господи! Подумаешь, подумаешь, удивление!»

«В ту пору ему кажется, словно он и самого себя впер-

Все же выпущенные перед тем государственные кредитные билеты по привычке продолжали называться в быту ассигнаци-ми; раздельного же счета на ассигнации и серебро уже не было. Однако в детстве Прохора Порфирыча, повидимому, еще сохра-нялся счет «на ассигнации».

вой увидал, начнет думать, только ужасается: «Господи, говорит, что ж это такое?.. Как же это все?..» И на дерево смотрит и на небо. И никак ничего не сообразит... Так он в этой жисти заржавел. Тогда как я, при моем благородстве, довольно хорошо все это понимал: примерно — дерево... Я это мог.

«Я его стихом пробираю — он мне ночью сказку какую расскажет. Сказки он богато сказывал.

«Ну, истинно говорю, шла у нас дружба. Настояще как два ангела жили.

«Только что же? Продали мы работу, первую, и с радости маленечко того — пивца... Дальше да больше — глядь, и шибко подгуляли... На утро тоже. Потом того, Алеха сломал у моего замка пробой и выкрал все мое имущество. Выкрал и пропил... Жестоко я этим оскорбился, хоть, приваться по совести, сам я тоже (уж истинно не знаю, как меня бог не защитил!) у Алехи из сундука выхватил, что было, и тоже пропил... Хмельны мы были; оскорбившись, подхожу я к Алехе, на улице встретил, и в досаде на его такой поступок говорю:

«— Ты как смел воровать?

«— Ты сам вор!

«— Врешь — ты!

«— Ка-ак, я вор!

«Ка-эк я-а е-в-во-о!...

«На оборотку сколунул он меня торчмя головой в казаву. Упал я, лежу и думаю:

«— Господи! Что ж это такое?

«Ничего не пойму!.. Осерчал я, вскочил и так ему заговорил:

«— Ты зачем в мой сундук залез?

«— А ты зачем?

«— Нет, ты-то зачем?

«— Нет, зачем ты?

«Я развернулся — р-раз!..

«Потому смертельная мне была обида, что я так себя унижил и никак настоящего первоначатия нашему безобразию не сыщу... Теперь я так думаю, что ежели который

на двадцати языках знает, заставить его это дело расчесть, и то он пардону попросит...

«Тут меня Алеха, признаться, помя-ал!..»

«После этого Алеха закрутил где-то. Сижу я один дома тверезый и все раздумываю: «как же это я-то?» И стало мне, признаться сказать, от таких размышлений смерть как жутко... Стал я кажинного человека опасаться: что у него на уме? Может, так-то говорит он с тобой и по душе быдто, а заместо того что он сделает? Господь его знает!

«Не дознавшись ничего в своем уме, вспомнил я свое благородство и тут же перед господом побожился, что с этого времени ни друзей, ни недругов промежду нашим мастеровым народом не заведу; и стал я вроде как затворник: в прежнее время хоть с хозяевами слово какое скажешь... или с ихней свояченицей, девушкой... Очень опа мне в то время правилась, но чтобы у нас промежду собой что-нибудь этакое происходило — ни божё мой (мне, я вам доложу, на этот счет, верно, такое несчастье: чуть маломало какое касанье, — «нет, ты, говорит, женись!»). Так, докладываю вам в прежнее время хоть с нею... А теперича, даже когда она прибежала ко мне одна в мастерскую и почала реветь, быдто цирюльник с пей немладно поступил, обманом, то я тот-час же ее из мастерской удалил и дверь захлснул.

«Да в самом деле? Что я ввяжусь... Опять кто их разберет, а мне по тюрьмам шататься некогда...»

«По все же я ее пожалел!

«Случалось еще, что через эту мою робость тогдашнюю немало я ругательств перенес. Иду примерно по переулку, вдруг солдат попадается. — «Не знаешь ли, спрашивает, милый человек, где тут Дарья-солдатка?» На это я только молчалием ему отвечаю: потому, ну-ка он скажет: «А, знаешь! а пойдем-ко-сь, скажет, в часть: Дарья-то эта фальшивыми делами занималась!» Так по глупости своей опасался тогда... Начинает меня солдат поливать, — я все не оборачиваюсь, иду; он того злее — я все иду... Грозит, грозит, наконец я быдто не вытерплю: повернусь — вот я,

мол, тебе...» Тою ж минутою солдат исчезал, ровпо сквозь землю проваливался.

«Начал я маленько разгадку понимать!

«Подходит время, надо что-нибудь пробовать! Все я мытарства видел, ото всего в убытке остался... Порешил я работать один; трудно, ну, по крайней мере, хоть какой-нибудь жизни добиться можно. Тут я, признаться, братцу и маменьке в ножки поклонился, дали они мне денег — с Зуевым за его половину в станке расчесться... Стал я Алешке деньги отдавать, плачет малый!

«— Ах, говорит, Проша, как ты чуден! Ну, пьян человек, чужое добро пропил, эка дело! А ты, говорит, уж и бог знает что... Лучше бы в тыщу раз стали мы с тобой опять дело делать.

«— Нет, говорю, шалишь!

«— Опять бы песни, стих бы какой... Неужто ж я зверь какой? Я все понимаю это... А уж против нашей жизни не пойдешь: вот я теперь чуйку пропил, должен я стараться другую выработать.

«— И другую, говорю, пропьешь.

«— Может, и другую... Я почему знаю?.. Я вперед ни минуточки из своей угадать не могу...

«Жалко мне его стало, но, поскрепившись, я его спросил:

«— Куда мое-то пальто девал?

«— Я почему знаю!.. Я об этом тебе ничего не могу сказать... Эх, Проша!

«Однако же я с ним жить не стал. Страсть как мне было тяжело одному: две недели с неумелых-то рук над работой покоптеть, а выручки, барышу, то есть, — три рубля. С чего тут жить? Ну, кое-как перебивался, платьишко начал заводить, например, машинку... все такое... Нельзя! познакомился с чиновником... Кой-как! К братцу я в то время не ходил, или, ежели случится, то очень редко, по той причине, что кроме уныния завели они другую Сибирь: гитару... Иной человек возьмется на гитаре-то, восхищение, душа радуется, но братец мой изо всего муку мученскую делал. Постановит палец на струне у самого верху и начнет его спускать даже до самого низу. Воет струна-то,

чистая смерть! По этому случаю я у него не бывал. Начал было я в то время Алеху Зуева вспоминать, не позвать ли, мол? А он, недолго думая, и сам ко мне привалил... Пьяный-распьяный.

«— Ты! — заорал на меня: — подлекарь! подавай деньги!

«— Как-кие, говорю, деньги?

«— Ты разговоры-то не разговаривай, подавай... «Какие!» — передразнивает: — за станок! воп какие!

«Тут, я, признаться сказать, в такое остервенение вошел, что, не помня себя, тотчас за горло его сцапал и грохнул на землю. Вижу: малому смерть, по все же я еще ему коленкой в грудь нажал. И как же я его в это время полыскал!.. Ах, как я над ним все свои оскорбления выместил! Зажал ему горло и знаю, что ему теперича нидохнуть — между прочим кричу на него: говорри!

«— Прроша, — хрипит. — Ппусссти!

«— Говорри! Анафема!..

«В это время я себя не помнил и истинно мучил его, как зверь... С час места я с ним хлопотал, наконец пустил... Отрезвел он... Помню, стоит этак-то в дверях, картузишником встряхивает...

«— Сейчас драться, — говорит: — нет у тебя языка сказать-то? Право! За го-орло!

«— Ладно, говорю, мне к суду с тобой итти не время!

«— Я почем знаю! «Деньги», «получил»... Я почем знаю?

«— Дьявол! кто-ж у вас зпать-то будет? Чо-орт!

«— Я почем знаю... За горло!.. Эко диво какое!

«— Проваливай!

«— Обрадовался!

«Кой-как ушел он... И между прочим скажу, что о своем добре Зуев и не спросил, потому знал он, что искать его негде, ибо где его сыщешь?.. Вздохнул я маленько после таких забот, и, говорю вам по чистой совести, стало мне страсть как легко на душе, когда я его победил... Тут уж я совсем понял! Из-за того жить, чтобы выработать да пропить? На это я несогласен!.. Н-пет-с!.. Мне желательпо

жить по-людски!.. С этим я и решил, что в черномародии — без разговору, ручная расправа, а в благородстве — всякое почтение...»

II. ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Еще немного подобных случаев, узаконявших силу кулака в глазах благородного человека, и физиономия Прохора Порфирыча приняла тот оттенок «себе на уме», который так часто проглядывает в умных, умеющих обделывать свои дела русских людях: деревенских дворниках, прасолах, которых простой, добродушный и оплетаемый народ потихоньку называет жидлами, жидоморами и проч. «По ходу дела Прохор Порфирыч тоже был жидомор, но жидомор чуть-чуть не благородный, вежливый, что, впрочем, с большою подробностью мы увидим впоследствии. Мысль о разживе не покидала его: то представлялось ему, что идет он по улице, вдруг лежат деньги.. «Отлично бы, хорошо», — сладко думал он. Кто-то выкладывал перед ним вороха и сизых, и серых бумажек и говорит: «получай!» Прохор Порфирыч в ужасе раскрывал глаза и узнавал свою холодную комнату...

— Ах, чтоб тебе провалиться! — с досадою вскрикивал он тогда.

А времена все трудней становились. Помещики съезжались, опустели трактиры, цыганские певицы напрасно поджидали «графчика», зевая и пощипывая струны гитары. Торговля приутихла всякая. Рабочие, на подобие Зуева, шли охотой в солдаты. Шли также и неохотой.

— Ах, теперича бы силешки! Ах бы, хоть немпожечко!.. — тосковал в ту пору Порфирыч.

Во время такой страстной жажды лишнего гривенника, своего угла, вообще во время жажды обделывать свои дела, умер растеряевский барин (отец Прохора Порфирыча). Дело случилось темным вечером. Поднялась суматоха, явились дупленриказчики, дали знать Порфирычу. При этом известии в глазах его сразу, мгновенно прибавилась какая-то

новая, острая черта, какие являются в решительные минуты. Он сразу понял, что настало время. Одевшись в свое драповое пальто с карманами назад, он почему-то поднял воротник, сиюминутно шапку, и строгая фигура его изменилась в какую-то юркую, готовую прыгнуть и провалиться сквозь землю, когда это понадобится.

Порфирыч сделал первый шаг.

...Вечером в пижмах окна дома «барина», долго стоявших забитыми наглухо, светился огонь. На столе лежал покойник, в мундире; две длинные седые косицы падали на подушку; стояли высокие медные подсвечники; солдаты, бабы пришли смотреть «у покойника». Унылая фигура последней фаворитки барина, Лизаветы Алексеевны, в огромной атласной шляпе, с заплаканными глазами и руками, державшими на сухой груди платок, ныряла в толпу там и сям, пробивая плечом дорогу к одному из душеприказчиков.

— Семен Иванович, — слезливо говорила она: — неизвестно... мне-то?.. хоть что-нибудь?..

— Я вам сто тысяч раз говорю — не знаю!

— Не сердись! ради бога, не сердись!.. Голубчик!

— Что вы пристааете? Сидите и дожидайтесь!

— Буду, буду, буду! Боже мой! ах, господи!

Лизавета Алексеевна садилась в угол, тревожно бросая глазами туда и сюда. Заметив, что душеприказчики разговорились, она минуточку подумала и вдруг без шума нырнула в другую комнату.

Горели свечи, лампадки. Дьячок, с широкой спиной, притоптывая читать псалтирь, переступая в углу тяжелыми сапогами. Ввиду покойника толковали шопотом. Было упомянуто о том, что хоть и все мы помрем, но все «как-то...» к этому присовокуплялось: «пи князи... ни друзи...» А затем, после глубокого вздоха, следовал какой-нибудь совершенно уж практический вопрос, хотя тоже шопотом:

— А вот, между прочим, не уступите ли вы мне рыжего мерина? под водовозку?

— Ох, мерина, мерина! — глубоко вздыхал душепри-

казчик, думавший, может быть, крепкую думу о том же мерине. — Погодите, Христа ради, немножечко!

Дьячок кашлянул и зачитал:

«Блажен му-у-у-у...»

— Караул!!! Караул! Стой! — раздалось под окнами.

— Господи Иисусе Христе! Что такое? — зашептала публика, и все бросились на улицу.

— Стой! Стой!.. Н-нет, врешь! Брат! Брат!..

Народ, сбегавшийся со свечами, увидел следующую сцену: Прохор Порфирыч старался вырвать из рук Лизаветы Алексеевны огромный узел, в который та вцепилась и замерла. Из узла сыпались чашки, стаканы, серебряные ложки и пр.

— Брат, брат! Краденое!..

— Мадам, — сказал значительно душеприказчик: — пожалуйте прочь!..

Прохор Порфирыч налег на врага с узлом и потом сразу рванул его к себе. Лизавета Алексеевна грохнулась о-земь. Толпа повалила вслед за победителем. Надо всеми колыхался огромный узел.

— Как! Воровать? — громче всех кричал Порфирыч. — Нет, я тебя не допущу! Извини!..

Узел свалился на крыльцо с рук на руки душеприказчику, который говорил Порфирычу:

— Спасибо, спасибо, брат!

— Помилуйте, васскородне; — говорил Прохор Порфирыч, обнажая голову и в ужасе раздвигая руки. — Как же эт-то только возможно? Я — все меры!.. Ка-ак? воровать?.. Нет, это уж оставь!

— Ты тут ее схватил?

— Да тут-с, васскородне, как естѣ у самых у ворот. Барское добро, д-да боже меня избави!.. Что тебе по бумаге вышло — господь с тобой, получай!

— То другое дело!

— Да-с-с, то совсем другое дело! А то, скажите на милость!..

— Спасибо! Молодец!

— Всей душой.

Порфирыч осторожно пощупал у себя за пазухой и подумал: «здесь».

— Я, васскородие, видит бог!

Душеприказчик ушел. Порфирыч долго еще толковал брату: «а то, скажите на милость, такой поступок... целый узел... Неэ-эт!» Потом пошел под сарай, заклихнул между дров какой-то сверток, подхваченный в бою, и возвращаясь оттуда, говорил:

— Каак!.. воровать?.. Нет, ты это оставь!

Лизавета Алексеевна долго билась и истерически рыдала за воротами:

— Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего я всю-то молодость — всю, всю, всю... Господи! Грех-то! Грех-то!..

Вдруг она вскочила, отряхнула платье, утерла глаза и быстро направилась в комнату.

— Мадам! — говорил душеприказчик: — пожалуйста отсюда воц... после таких поступков!

— Н-не пойду!..

Лизавета Алексеевна села на стул, прижалась спиной к углу, плотно сложила руки и вообще решила «ни за что на свете» не покидать своего места.

— С вашим поведением здесь не место... Здесь покойник.

— Н-не пойду! н-не пойду! — твердила Лизавета Алексеевна, дрожа.

— А! не пойдете...

— Голубчик!

Она бросилась на колени.

— Есть в вас бог! Не гоните меня... Ради бога!.. Я ведь с ним, с покойником-то, восемь лет... Ах, ах, ах, ах!..

Душеприказчик ушел, махнув рукою.

Поздно вечером душеприказчик, отправляясь спать, поручил за всем надсматривать Порфирычу; на унылого, нерасторопного Семена надежды было мало: где-нибудь непременно заснет. Разошлись все, даже Лизавета Алексеевна. Прохор Порфирыч вступил в свои права, надсматривал и распоряжался. В кухне дожидалась приказаний стряпуха. Порфирыч, для храбрости «пропустивший» рюмочку другую водки, вступил с ней в разговор.

— Как в первых домах, — говорил он: — так уж, сделайте милость, чтобы и у нас.

— Слава богу, на своем веку видала, бог привел, разные дома... Вот купцы умрали Сушкины, два брата.

— Да-да-с! Потому наш дом тоже слава богу... Будьте покойны.

— Не в первый раз... На сколько, позвольте спросить, персон?

— Персон, благодарение богу, будет довольно! Нас весь город знает...

— Дай бог! А завтра утречком надеть пораньше грибнова и опять крахмалу для киселя.

— И грибнова! Мы этим не рассчитываем.

Молчанье.

— Я полагаю, — говорит стряпуха: — кисель-то с клеем запустить?

— И с клеем... Как лучше.. Как в первых домах.

— А не то, ежели позволите знать, со свечкой для красоты.

— Как в первых домах! И с клеем и со свечкой... Запускайте, как угодно!.. чтобы лучше!.. Мы не поскушимся.

Бодрствованье во время ночи Прохор Порфирыч тоже выдержал вполне. Расставшись со стряпухой, он направился в дом, уговорив брата лечь спать.

— И то! — сказал братец и лег на крыльцо в кухне.

В освещенной комнате раздавалось тягучее чтенье псалтыря, прерываемое понюшками табаку. Порфирыч босиком тихонько приходит к дьячку, засунув одну руку с чем-то под полу, и придерживая это «нечто» сверху другой рукой, шепчет:

— Благодетель!

Дьячок обернулся.

— Ну-ко!

Дьячок собрался и произнес:

— Вот это благодарю!.. — Тут он нагнулся к уху Порфирыча и зашептал: — Грудь! На грудь ударяет ду-ду-ду-то!..

— Прочлетит!

— Это так! Оно очистку дает! В случае там внутри что-нибудь...

— Вот, вот! Она ее в то время сразу. Ну-ко!..

Пола полегоньку приподнимается; дьячок говорит:

— О, да много.

— Что там!

Нечто поступало в дрожавшие руки дьячка.

— Сольцы, сольцы!

— Цссс... Сию минуту.

— Гмм... кхе!..

— Готово.

— Ах, благодетель! Я тебе, друг, что скажу, — прожеывая, шептал дьячок: — ты по какой части?

— Слесарь.

— А мы по церковной части. Я тебе что скажу: наше дело — хочешь не хочешь.

Дьячок пожал плечами.

— Смерть!

— Ты думаешь, все на боку да на боку лежим? Нет, брат...

Долго идет самое дружественное шептание. В комнате раздается опять тягучее чтение.

Порфир в это время уже в мезонине; он нагибается под кровать, кряхтя, что-то достает оттуда, потом из щельки спускается с лестницы и идет через двор в сад. Брешет собака...

— Черной!

Порфир свистывает.

— Как! воровать? — говорит он, возвращаясь из сада и проходя мимо брата. — Нет, гораздо будет лучше, ежели ты это оставишь... Братец, не спите?

— О-ох!.. Не сплю! — вздыхает Семен, поворачиваясь на своем ложе.

Порфир садится к нему, тоже вздыхает, присовокупляя: «ох, горько, горько!», и затем тянется долгий шепот Порфирыча:

— Ах, ты, говорю... Да как же ты, говорю, только это в мысль свою впустить могла?

Безлунная ночь стоит над городом; небо очистилось, в воздухе сыро. В стороне по небу скатилась звезда, оставив светлый след.

— О-ох, господи! — шепчет кто-то в кухне.

На крыльце явилась стряпуха.

— Я все беспокоюсь, — заговорила она: — как кисель?

— Как в первых домах!

— Опять можно и полосами его пустить... с клюквой! как угодно?

— Как вам угодно... и с клюквой!.. Как в первых домах!..

— Я все беспокоюсь, — заключила стряпуха, уходя.

Усталый дьячок еще медленнее читал псалтирь; из отворенного окна на него изредка налетал свежий воздух.

— Ссссс... — раздалось под окном.

Дьячок обернулся.

Прохор Порфирыч облокотился на подоконник локтями, прищуривал глаз и кивал головой в сторону.

— Не мешает! — сказал дьячок.

Следовало повторение «нечто» и опять монотонное чтение. Прохор Порфирыч снова исчезал куда-то. Дьячок, у которого начинали слипаться веки, иногда закрывал глаза и прерывал чтение, пошатываясь вперед и назад. Тишина была мертвая. Вдруг где-нибудь, не то вверху, не то внизу, с каким-то нытьем щелкал замок. Дьячок выпрямлялся, широко раскрывал глаза и едва успевал произнести два-три слова, как начинал дремать снова.

Послышалось какое-то шуршанье. Дьячок снова вотрепенулся.

— Я, я, я! — успокоительно шептал из сеней Порфирыч, осторожно таща по земле какую-то шкуру, или ковер, или шинель. — Завтра, брат, и без того хлопот полон рот!

Начали петь петухи. Дьячок совсем заснул, положив голову на кожаный аналой и приседая. Его разбудил какой-то шум, происходивший на дворе... В окно он увидел Прохора Порфирыча, расправлявшегося с Лизаветой Алексеевной, которая-таки не вытерпела до утра и тихонько успела пробраться в мезонин.

— Уйду! уйду! уйду!.. Ради бога! Ах, не увечьте! Сама! сама! сама!

С такою же точно рассудительностью проводил Прохор Порфирыч и следующие дни; в день похорон, почти в одно и то же время он распоряжался в кухне, подавал к столу тарелки, бежал за водкой, утешал маменьку, выводил из-за стола пьяного, подтягивал вместе со всеми «вечную память!» и тут же засовывал в карман какую-то вещь, присовокупляя про себя: «ременная, аглицкая» и т. д. Без Прохора Порфирыча никто не могдохнуть; отовсюду слышались голоса: «Порфирыч, Прохор Порфирыч!» — и в ответ на них Порфирыч беспрестанно сыпал: — «Ссию мину-ту-с, ссию мину-ту-с... Иду, иду, иду!»

Кончились похороны, дом опустел: везде были открыты окна и двери, ветер свободно гулял повсюду, вытаскивая в отворенное итальянское окно мезонина ветхую зеленую штору и подпояная ее под самый князек крыши; в комнате, где так долгу умирал барин, было все взрыто: старые тюфяки и перины, рыжие парики с следами какой-то масляной гризи вместо помады, банки с какими-то мазями, прокопченные табаком трубки и чубуки, — все это наполняло душу отвращением, гнало из комнаты, уже опустевшей. Внизу и вверху лопались обои, и за ними то и дело шумели потоки сору.

Прохор Порфирыч это время постоянно находился при маменьке, изредка заглядывая в дом, где через несколько времени начался аукцион¹. Порфирыч долго рассматривал вещи, долго молчал, и когда решился наконец просунуть в толпу голову и произнести: «пятак-с», то это значило, что ему попалась такая штука, за которую люди знающие, «охотники», дадут несравненно больше. Зацепив какую-нибудь подобную вещицу, он скромно возвращался к маменьке, покупал ей на свои деньги водку (малиновую сладенькую любила Глафира) и к чаю брал у растеряевского лавочника Трифона тоже любимые Глафирой грецкие орехи и вишние ягоды...

¹ А у к ц и о н — продажа с торгов.

— Кушайте, маменька! сделайте милость,—говорил он.

— Не могу, Прошенька, я этого чаю глотка проглотить, чтобы без эфтого без сладкого... Изюмцу или бы чего...

— Кушайте на доброе здоровье, не томитесь...

— Что ж это, Проша, будет ли нам какое награждение от покойника?..

— Надо-быть. Я так думаю, чем-нибудь же должен он свое поведение оплатить... Надо за этими крюками-то поглядывать!.. — намекал он на душеприказчиков.

— То-то, ты, Проша, посматривай!.. Поглядывай, как бы они чего не нашли там...

— Авось бог!.. Кушайте, маменька, кушайте!

После аукциона душеприказчик позвал Прохора Порфирыча наверх.

— А, ты! — сказал чиновник, когда Порфирыч вошел и поклонился. — Вот вас барин наградил.

Порфирыч осторожно подвинулся к столу и упорно смотрел в валявшуюся там бумагу. Он что-то прочитал в ней.

— Вот деньги. Отдай матери.

— Покорнейше благодарим, васскородие!

Порфирыч поцеловал у чиновника руку...

— Ну, ступай!

— Слушаю-с...

Порфирыч стал у двери.

— Больше ничего; ступай!

— Слушаю, васскородие!

И все-таки остался у двери.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Так точно-с; потому, васскородие, самые пустые деньги вы изволили отдать-с...

— Как?

— Так точно-с... Мы это знаем-с. Сделайте милость, извините... барин по бумаге отделили третью часть на сирот; следовательно пожалуйте нам полностью. На что нам такая бездельница? Вы, васскородие, сделайте вашу милость, доложите, что следует...

— Ступ-пай! Я тебе говорю!

— Слушаю-с...

И опять-таки стал у двери.

— Ты не уйдешь? — через несколько минут злобно закричал чиновник.

— Сделайте божескую милость, васскородие, пожалуйста деньги-с полностью!

— Воп!

— Я, васскородие, по суду буду искать... Как вам будет угодно!

Грозное молчание...

— Как вам угодно-с... Я к господину губернатору... Опять же мы и Федор Федорыча довольно хорошо знаем... Как вам угодно!

— Я сам Федор Федорыч! Что ты мне грозить! Плевать я на него хотел!

— Как вам будет угодно... Ну только я этого грабежа не оставлю!

Порфирыч, весь зеленый от гнева, спускался с лестницы. Чиновник пагнал его и бросил в лицо пачкой бумажек.

— Ты деньги-то не швырай! — заговорил Порфирыч во все горло. — Ты свою рожу-то береги...

— Дьявол! — слышалось сверху.

Блистательная победа над чиновником завершилась не менее блистательной попойкой на кухне. Брат Порфирыча уезжал в деревню, в конторчики. В кухне по этому случаю кипели самовары, на столе стояли полшштофы, валялись орехи, вишние ягоды, рыба, куски ветчины, и шло веселье и плач. Брат Порфирыча, никогда не пивший водки, сильно охмелел с двух рюмок, лез обниматься и кричал:

— Брат! Брат! Я доверяю!..

— Проша! — приставала хмельная мать.

— Господи! — умиленно говорил Порфирыч. — Братец!

— Брат!

— Братец! видит Бог!

— Брат! Я доверяю! Манька!.. Брат!..

— Всея душой!.. Боже мой!..

— Брат!..

Порфирыч обнимался с братом, прижимая к его спине полшштоф.

— Брат!..

Лакей совсем осовел и валялся как сноп, не переставая повторять: «Бр-рат!» Наконец его ввалили вместе с гитарой в мужичью повозку, присланную из деревни, и Прохор Порфирыч остался с матерью вдвоем...

— Ну, маменька, — говорил он ей на другой день. — Надо думать!.. Не сегодня-завтра в шею погонят...

— О-ох, надо, надо!

— Я так думаю, домик бы? Деньги, оне, не увидишь, разбегутся...

— Уж как ты это знаешь!.. Куда мне!.. Я не пойму ничего... Еще избыют, пожалуй, и суда не сыщешь... Мне бы где свой угол...

— Я так думаю, домик... Я похлопочу... По крайности будет у вас свое имение...

— О-ох, давно своего-то не было!

— То-то и есть! Братец, дай бог здоровья, доверяют мне.

— Да я-то нешто зверь какой? Ты меня не ограбишь... Не выдашь. Из моего дому не выгонишь...

— Пом-милуйте!.. Ведь тоже вашего заводу-то. Слава богу! — И Прохор Порфирыч целовал у маменьки ручку.

Душеприказчик ходил с кунцами вокруг дома умершего барина, пробовал стены топором, мерил землю цепью и, сердито постукивая в кухонное окно, говорил:

— Выбирайтесь, выбирайтесь... выгоно!

— Не беспокойтесь, сделайте вашу милость, уйдем-с! — отвечал Прохор Порфирыч.

Несколько дней он употребил на отыскивание дома, наконец пашел. В лачуге жила одна старая баба, никогда не показывавшаяся на свет божий. Ходили слухи, что она с мужем занималась когда-то «нехорошими» делами, вследствие чего муж и умер без покаяния, без причастия. Не захотел. Поэтому старухи все боялись, и никто не старался узнать, что с ней делается: в окнах у нее никогда не светился огонь, печь не топилась, и чем питалась она, тоже было неизвестно. Умри старуха — все бы побоялись войти к ней. Но Прохор Порфирыч зашел. Старуха превратилась

в какое-то совершенно одичалое существо. Долго не понимала она, что такое толкует ей Порфирыч, но, когда он показал ей деньги, старуха заговорила:

— Давай! Давай! Я зарюю...

— А сама уйдешь?

— Давай... Уйду! Уйду!

Кое-как Порфирыч наконец растолковал ей, в чем дело, и дал целковый. Старуха с жадностью схватила его, обернула тряпками, спрятала за пазуху и забилась на печь в самый угол.

После того как был отыскан дом, действия Прохора Порфирыча приняли какой-то таинственный характер. Притащив матери из кабака сладенькой, он пресил у ней позволения сходить на минутку в одно место и поспешно направился в какой-то глухой закоулок. Здесь жил известный городской клязник — приказный¹. Прохор Порфирыч вежливо раскланялся с хозяином и, отведя его к столу, объяснил, в чем дело.

— Однако извините меня, — говорил приказный, внимательно выслушав шопот Порфирыча: — как вы молоды и какая у вас в душе подлость.

— Что делать! время не такое!

— В первый раз в таких молодых летах встречаю такую подлость...

— А я так думаю, надо бы мне бога благодарить!

— Раненько-с... Чего доброго, еще нашему брату горло перекрутит... вот обидно что!

— На этом будьте покойны. Ну, а дело через это все-таки, я полагаю, само собой?

— Это до дела не касающе. Вы остаетесь при вашем свинстве...

— А вы при вашем!..

— А я-с при моем. Посылайте за политофом!

Приказный с шумом перевернул лист бумаги.

С этого дня между Порфирычем и приказным начались какие-то непостижимые отношения: они никогда не были

¹ П р и к а з н ы й — канцелярский служащий («приказная строка»).

вместе, но и не разлучались; в то время, когда Порфирыч сидел с маменькой и угощал ее, вдруг в окне как молния сверкала рожа приказного, делавшего какие-то ужимки и гримасы. Порфирыч срывал с гвоздя фуражку и исчезал. А то можно было их встретить еще так: Порфирыч стоял на одном конце улицы, а приказный на другом, и разговор шел тоже непостижимыми жестами: приказный махал куда-то головой в сторону, Порфирыч показывал ему кулак; в ответ приказный тряс головой, крестился и вынимал из бокового кармана бумагу... Порфирыч почему-то плевал сердито на землю, но шел к приказному. Приказный, стараясь вызвать Порфирыча ночью, громко кашлял под окном или начинал петь. Днем стояло Порфирычу выйти на улицу, как тотчас же раздавалось откуда-то «сссс... ссссс...», и в стороне показывалась фигура приказного, поднимавшего почему-то три пальца; Порфирыч тоже иногда показывал ему в ответ три пальца, только в другой комбинации... После таких таинственных сцен приказный на минуту зачем-то явился в кухне у Глафиры вместе с Прохором Порфирычем, жался у двери, а когда Глафира сказала сыну: — «Да я этого ничего не понимаю», приказный вдруг развернул на столе бумагу, опрокинулся над ней, зачеркал пором и что-то заговорил. Та же сцена произошла в доме старухи, у которой покупали дом. Затем приятели снова разошлись в разные стороны. Стоя на крыльце гражданской палаты, Порфирыч манил приказного, торчавшего где-то бог знает как далеко... Приказный показал что-то руками, Порфирыч еще поманил. Тогда приказный направился к палате зигзагами, почему-то мпновал палатское крыльцо, потом повернул назад, ползая по стенке и, снова поревнившись с крыльцом, вдруг юркнул туда, как рыба в воду. Порфирыч спелез за ним...

Результатом таких таинственных деяний провинциальной адвокатуры было то, что Прохор Порфирыч ворочился из палаты хмельной, постоянно улыбающийся, выложил перед матерью из кармана совершенно смятые ягоды, яйца и все хихикал.

— Все ли, батюшка, Прошенька, теперича-то?

— В-всссе! будьте покойны! Кушайте на здоровье... Теперь... уж все! теперича, мамешка, вполне!

— Ну, и слава богу!

— С-слава богу!.. Эт-то справедливо. Да-с! уж все!..

Порфирыч вдруг хихикнул.

— Мамешка! — сказал он, зажимая рукою рот и фыркавая. — А что я вам скажу... Дом-то... Дом-то, ведь он мой-с!..

— Ах! — вскрикнула Глафира и обомлела.

Проход Порфирыч попробовал было сделать серьезную физиономию, но вдруг фыркнул и рванулся в дверь, повалив на ходу скамейку и оставив Глафиру в каком-то оцепенении.

Скоро Глафира и Проход Порфирыч перебрались в купленную лачугу. Глафира заливалась слезами и кричала на всю улицу.

— Мамешка, — сказал на это Порфирыч строго: — если вы так продолжать будете, я, ей богу, в полицию не постыжусь...

После этого Порфирыч перенес ругань от брата нарочно приехавшего из деревни.

— Я с тобой, с подлецом, и говорить-то бог знает чего не возьму! — заключил свою речь брат и пошел к двери.

— Сейчас самовар готов, братец... — произнес все время молчавший Порфирыч и проводил гневного брата до ворот.

Преодолев такие трудности, Порфирыч приступил к старухе:

— Ну, старушка, ступай с богом!

— Что? ты очумел, что ли?

— Как очумел? Дом мой! Ступайте с вашим капиталом!..

— Куда я пойду? Да я тебе все глаза выцарапаю, только ты замкнись.

Порфирыч порешил это дело повести через полицию, а старуха безмолвно скорчилась на печи.

Создав наконец себя полным хозяином, Проход Порфирыч с истинным благоговением произнес:

— Боже, благодарю тя!..

III. ДЕЛА И ЗНАКОМСТВА

Так поселился Прохор Порфирыч в Растеряевой улице. Ветхая и забытая изба старухи оживилась, приосанилась, сколо нее несколько дней возились два поденщика: отставной раненый солдат, с засученными рукавами и панталонами, густо смазывал ее глиной, таская за собой наполпелное глиною корыто и шайку, из которой он по временам брызгал водою на стену; плотник с своей стороны усердно обхаживал избу кругом, тщательно выбирая месточко, куда бы, не опасаясь падения избы, можно было загнать хороший гвоздь. Скоро ярко выбеленная изба пестрела повсюду множеством светлых планок, досок, досчатых четырехугольников, ярко вылежавших на почерневших и полусгнивших досках крыши, ворот и забора. И несмотря на такие старания, изба все-таки папоминала физиономию обезьяны, если посмотреть на нее сбоку: нижняя выпятившаяся челюсть соответствовала выпятившимся бревнам в фундаменте, вследствие чего окна верхних концов уходили в глубину избы, а нижних выпирали наружу. В одно и то же время с преобразованием наружного вида избы шли и внутренние реформы. Прохор Порфирыч неутомимо вводил разные «положения»; для маменьки было «положение»: знать свое место, сидеть и дожидаться последнего часу; изюмы и сладкие малиновые наливки были отменены на «такое время»; насчет старухи, которую не выжила никакая полиция, было положение «не касаться»; «хочет издохнуть — издыхай, не хочет — как угодно»; из домашних харчей ей не отпускалось ничего. Маменька, убитая сыном, выговорила у него дозволение хотя в спокойе доживать век и не трепаться около печки. Прохор Порфирыч попятился, припомнил маменьке ее недобропорядочную жизнь, но все-таки взял в стряпухи бабу, которая была тоже оплетена положениями: солдат не водить и не таскаться по соседям, «нечего слопы гонять» попусту; баба тотчас заступилась за свое правое дело и выговорила только одного солдата, и тот обещался жениться на ней после святой.

Скоро явился солдат, расстегнул сюртук, закурил труб-

ку, начал поплевывать по сторонам; запахло махоркой, слышались слова «фитьфебель»¹, «чихаус»², «каптинармус»³. За солдатом потихоньку вошла какая-то баба, спросила: «что палей курицы не видали?» и села. За ней другая, тоже насчет курицы, третья — пошел говор, дружба, словом, житье, которое Прохор Порфирыч не мог замуровать никакими положениями. Он изредка высовывал сюда голову и грозно произносил: «Черти! аль вы очумели?» Солдат прятал пылавшую трубку в карман, бабы замолкали, но через несколько времени начиналась та же самая история. Порфирыч поэтому держался преимущественно в своей половине.

Прохор Порфирыч выбрал себе на житье другую половину избы, отделенную от кухни сенями с земляным полом. Маленькая комнатка его хоть и смотрела окнами в забор, но зато не предвещала того близкого разрушения, которым ежеминутно грозило жилище маменьки: стены были довольно крепки и прямы, окна не так гнили и по так ввалились внутрь комнаты; тут же была особая печка с лежанкой. Некрасивый вид комнаты, при деятельном старании Порфирыча, принял некоторое благообразие. Перед окнами стоял станок, на котором Порфирыч обыкновенно высверливал дуло револьвера и зарядные отверстия в барабане; на этом же станке обтачивались как эти две штуки, так и все принадлежности замка: собачки, шомпола и другие части, которые доставляются кузнецом в самом аляповатом виде, едва-едва напоминающем настоящую форму оружия. Необходимые для этого инструменты были воткнуты за кожаный ремешок, прикрепленный к стене несколькими гвоздями. Над ними, у самого потолка, на больших гвоздях, болтались вырезанные из листового железа фасоны разных частей оружия; по ним можно было проследить все «послед-

¹ «Ф и т ь ф е б е л ь» — искаженное слово вместо ф е л ь д ф е б е л ь, — старший из нижних солдатских чинов в роте.

² «Ч и х а у с» — искаженное слово вместо ц е й х а у з, — военный склад оружия или одежды.

³ «К а п т и н а р м у с», — к а п т е н а р м у с, — заведывающий цейхаузом.

ние» растеряевские новости в мастерстве Прохора Порфирыча. Без пособия каких бы то ни было руководств, без самонаименьших признаков какого-нибудь печатного лоскутка по этому предмету Прохор Порфирыч всегда умел «поддеть» самую последнюю новинку. Приезжий офицер из Петербурга, помещик, облетевший весь мир и возвращающийся в отечество с двумя-тремя десятками заграничных вещей, никогда почти не ускользали от зоркого глаза Прохора Порфирыча. Где-нибудь в гостинице Порфирыч убедительно просил такого приезжего дать вещицу «на фасон»; тут же, повертывая эту вещицу перед глазами, смекал, в чем дело; в крайних случаях прикидывал вещицу на бумагу и обводил наскоро карандашом, а до остального додумывался дома. Таким образом в глуши, где-то в Растеряевой улице, Порфирыч знал, что на белом свете есть Адамс и Кольт¹, есть слово «система», которое он, впрочем, переводил в свою веру, отчего оно преобразилось в «исцему». Мало того, пистолеты, выходявшие из рук Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо: «Patent»², смысл какового клейма оставался непроницаемою тайною как для Порфирыча, так и для травщика; но оба они знали, что когда работа украшена этим словом, то дают дорожку.

Все остальное в комнате, не относившееся до мастерства, относилось исключительно до личных потребностей Прохора Порфирыча. Деревянная скрипучая кровать с грубым ковром, когда-то принадлежавшая растеряевскому барину, кожаная подушка того же барина, манишка на стене, сундук с тощими ножками и наконец на лежанке, издали казавшейся грудой кирпичей, кусок тарелки с ваксой, сапожная щетка с оторванной верхней крышечкой и оплывший салыный огарок в низеньком жестяном подсвечнике. Все эти признаки убожества в глазах Прохора Порфирыча принимали совершенно другое значение, потому что говорили о собственном его хозяйстве.

Сени также не пропали даром: в них было «положено»

¹ Адамс и Кольт — фабричные фирмы оружия.

² Patent, — латинское слово патент, — разрешительное свидетельство.

спать подмастерью, которого Порфирыч скоро «прива» для себя. Подмастерье этот был не из т-ских: он был тамбовец и на счастье Порфирыча обладал таким множеством собственных бед, что вовсе не требовал за собою ни строгого присмотра, ни понукания, ни ругательств. Он был почти вдвое старше Порфирыча, испытал наслаждение быть полным хозяином, имел благодородную жену, которая и помutila всю его жизнь, доведя наконец до того, что он, Кривоногов, бежал из родного города куда глаза глядят. В Т. проживал он без билета, что составляло его ежеминутную муку. Ко всем этим несчастьям присоединилось еще одно, едва ли не самое страшное, именно непомерная сердечная доброта, покорливость и ежеминутное сознание своей ничтожности. Такие беды сделали из него горчайшего пьяницу, но опасность попасть в пьяном виде в полицию, а потом в руки жены иногда могла удержать его в пределах одного шкалика в сутки. Прохор Порфирыч, имевший возможность по крайней мере раз тысячу убедиться в честности своего подмастерья, знавший полную его неспособность сделать какую-нибудь гнусность, все-таки, уходя из дому, заглядывал в кухню и говорил бабам:

— Посматривайте за этим молодцом-то!

Самою задушевною собеседницею подмастерья была Глафира; при ее помощи как-то таинственно являлась вышив-ка, соленый огурец, потом, благодаря им, тянулись долгие разговоры шопотом, ибо грозная тень Порфирыча невидимо витала в мастерской. Подмастерье рассказывал про свое имущество, что «всего было», как он с полицеймейстером¹ пил шампанское на балконе, как ходил за женой в маскарад, куда она укатила с офицерами. Потом еще более глубоким шопотом присовокуплял, что жена его была и ругала. При этом дело происходило так: «Харя!» говорила ему жена, на что будто бы Кривоногов отвечал: — «Покорнейше вас благодарю!» — «Рогожа!» — «Чувствительнейше вас благодарю!..» Разлетится, разлетится, по щеке — хлоп! — «Сделайте вашу милость, еще...»

¹ П о л и ц м е й с т е р — начальник городской полиции.

После разных мытарств, перенесенных им от супруги, последняя однажды пожелала с ним помириться... «Я, говорит, тебя, Федя, ни на кого не променяю...» — О? — «Провалиться! Потому я тебя без памяти обожаю...» — Обрадовался я, признаться, рассказывал Кривоногов. — «Пройдись со мной под ручку...» Подхватил, пошла. Шли-шли... «Зайдем сюда на минутку, вот в этот дом...» — Изволь, говорю. Зашли. Завела она меня к какому-то военному да и говорит: — «Нельзя ли моему мужу лоб забрить?» — Я как услышал — прямо в окно да бежать. Вот от этого-то и здесь очутился; не знаю, как отсюда-то бог вынесет...»

Кривоногов вздыхал и принимался за работу.

Если иногда случалось, что подмастерье запивал и начинал поговаривать, что сам господин хозяин перед ним ничего не стдит, то хозяин, т. е. Прохор Порфирыч, брал его за шиворот, тащил в амбар и, толкнув туда, запирали дверь на замок.

— И покорнейше вас благодарю! — говорил на это Кривоногов, очутившись где-нибудь в углу среди корыт и пустых мешков.

Обремененный разными невзгодами, подмастерье не переставая работал целые дни, и под защитою его двужилных трудов Прохор Порфирыч не спеша обделывал свои дела. Главною задачею его в эту пору было оставлять в своем кармане по возможности самую большую часть той красненькой, которая получалась за проданный револьвер, т. е. отделять из нее по возможности как можно меньше в пользу кузнецов и других лиц, которые участвуют своими трудами, и уплатить им, если можно, натурою, в «подобное» время. Сообразно с такими планами, Прохор Порфирыч особенно ценил только два дня в неделе: понедельник и субботу.

Понедельник был для него потому особенно дорог, почему для рабочего люда он был невыносим. В понедельник Прохор Порфирыч делал дела свои потому, что вся «мастеровщина» города в этот день не имела сил ударить палец об палец, утверждая, что в этот день работают «лядкины детки», а все настоящие люди рыщут целый день, желая отдать

душу дьяволу, только бы опохмелиться. И этот-то общий недуг доставляет в руку Порфирыча несколько таких недужных субъектов живьем. Но до этого им приходилось пройти еще многое множество рук, всегда достаточно цепких и много способствующих успеху Порфирыча. Дело совершалось примерно таким путем.

Приятный для Прохора Порфирыча субъект пробуждался в понедельник в какой-то совершенно неизвестной ему местности. Только самое тщательное напряжение разбитой «после вчерашнего» головы приводило его к заключению, что это или архиерейская дача, за 5 верст от города, или засека, за четырнадцать верст, или, наконец, родная улица и жена со слезами, упреками или поднятыми кулаками.

Успокоившись насчет местности, бедная голова мастерового успевает тотчас же проклясть свое каторжное существование, дает самый решительный зарок не пить, подкрепляя это самую искреннюю и самую страшную клятву, и только выговаривает себе льготу на нынешний день, и то не пить, а опохмелиться. Такое богатство мыслей совершенно не соответствует внешнему виду мастерового: на нем нет ни шапки, ни чуйки, куда-то исчезли повеенькие «коневые» сапоги, но почему-то уцелела одна только «жилетка». Мастеровой понимает это событие так: около него бозились не воры-разбойники, а, быть может, первые друзья-приятели, которые точно так же, как и он, проснулись с готовыми лопнуть головами и такие же полураздетые или раздетые совсем. Тот, кто оставил на мастеровом «жилетку», думал так:

— Чай, и ему падо похмелиться-то чем-нибудь!

И пошел искать в другое место.

Сожаление о коневых сапогах и чуйке, терзания больной головы, проклятия мало-по-малу исчезают в размышлениях над «жилеткой» и в особенности в сомнении относительно того, как на этот предмет посмотрит Данила Григорыч.

Полная, здоровая фигура Данилы Григорыча уже давным-давно красуется на высоком кабацком крыльце. Поправляя на животе поясок, исписанный словами какой-то

молитвы, он солидно раскланивается с «стоящими» людьми или, понимая смысл понедельникка, принимается набивать стойку целыми ворохами переменок. Под этим именем разумеется всякая пошебная рвань, совершенно негодная ни для какого употребления; старые халаты, сто лет тому назад пущенные семинаристами в заклад и прошедшие огонь и воду, липившись в житейской битве полы, рукавов, целого квадрата в спине и пр. Вся эта рвань предназначается для несчастных птиц понедельникка, которые то и дело залетают сюда, оставляя в заклад чуйки, жилетки и облачаясь в это уродское тряпье для того, чтобы хоть в чем-нибудь добраться домой.

Весело похаживает Данила Григорьич; по временам он запеваёт какую-нибудь духовную песнь: «Господи, помилуй...», или идет за перегородку, откуда скоро, вместе с его смехом, слышится захлебывающийся женский смех.

— Грех! — слышно за перегородкой.

— Эва!.. — басит Данила Григорьич.

На крыльце кто-то оступился от слишком быстрого бега, и перед Данилою Григорьичем, солидно обдергивающим подол ситцевой рубахи, вырастает полуобнаженная и словно на морозе трясущаяся фигура. Данила Григорьич спокойно помещается за стойкой.

— Сделл... милость! — хрипит фигура, подсовывая жилетку, и более ничего не в силах сказать. — Сделл... милость!

— Покажь-ко, за что миловать-то еще?

Начинается самая мучительная ревизия всех дыр жилета. Данила Григорьич трет ее мокрым полотенцем, рассматривает на свет, словно фальшивую бумажку.

— Сделл... милость! Ах, ты боже мой! а? — царапая всклокоченную голову, хрипит фигура. — Данила Григорьич! Сделл... милость... Ах, ты боже мой.

Мучитель швыряет жилет под стойку и говорит мастеровому, тыкая себя пальцем в грудь:

— Только един-ственн-но моя одна доброта!

— Отец!.. Да разве... Ах, ты боже мой!..

Данила Григорьич с сердцем откупоривает кривым шилом

полштоф¹ и с тем же ожесточением сует маленький стака-
нишко, склеенный и сургучом и замазкой, почему потеряв-
ший очень много в своем и без того незначительном объеме.

Ужас охватывает мастерового.

— Данила Григорьич! Побойся бога!

— Я говорю, истинно только из одной жалости... Поверь
ты мне... Я с тебя бог знает чего не возьму божиться...
Для того что видеть я не могу ятого вашего мучения!

— Дагила Григорьич! Отец! Да ты что же это мне?..
Опять, стало быть, на неделю испорчен? Данила Григорьич!..

Целовальник молча ставит полштоф на прежнее место.

— Данила Григорьич! — умоляя, хрипит мастеровой. —
Ради самого господа бога... Данила Григорьич!..

— Я теб-бе говорю, — хочешь, а не хочешь...

— Сто-сто-стой! Что ты? Сделай милость!.. Ах, ты гос-
поди!..

— Для господа, я так полагаю, пьянствовать нигде не
показано... Нуко-сь, поправляйся махонькой.

Мастеровой долго смотрит на стаканнишко с самым жесто-
ким презрением, с горя плюет в сторону и наконец пьет...

Долго тянется молчание. Слышно хрустение соленого
огурца.

— Нет, — говорит наконец мастеровой, немного опом-
нившись. — Я все гляжу, какова обчистка?..

— Спроворено по закону...

— А?.. Одну жилетку?.. Это как же будет?..

— Скажи еще за жилетку-то «слава богу»!

— И ей-богу скажешь...

— Еще как скажешь-то!..

— Ей-ей... Еще слава богу, хоть жилетку оставили...
Ах, ты боже мой!.. а?.. Об-чи-и-стка-а... ай-ай-ай... а?..

Кон-евые сапоги, одпи, «душа вон», пять цалковых, одни!..
Да ведь какой конь-то!..

— Эти, что-ль?

Целовальник вынес из-за перегородки два сапога...

¹ Ш т о ф — стеклянная четырехугольная посуда для водки
мерой в $\frac{1}{8}$ или $\frac{1}{10}$ ведра.

— Он-ни! он-ни! — завопил мастеровой, простирая руки. — Ах, братец ты мой!.. Как есть они самые.

— Ну, теперь не воротишь!..

— Где воротить!.. не воротишь!..

— Теперь нет!

— Теперь, избави бог, ни в жисть не вернуть!.. Они как есть!.. Обчистка!..

Мастеровой развел руками.

— То-то и есть: — говорил я тебе... ой, не больно конями-то своими вытанцовывай!..

Идет долгое правоучение:

— И опять же скажу, это на нас от господа бога поупущение... Докуда вам момоце угождать?.. — заключает цеховальник.

Мастеровой вздыхает и скребет голову...

— Данила Григорьич! — умпльно начинает он; голос его принимает какой-то сладкий оттенок. — Сделай милость!.. маленькую!..

Данилу Григорьича охватывает гнев. Не отвечая, он в одну секунду успевает нарядить посетителя в переменику и за плечи ведет к двери.

— Маленькую! отец!

— Ступ-пай! Ступай с богом!

— Полрюмочки!

— Ступай-ступай!..

— Как же быть-то?

— Думай!

— Думать? Ведь и то, пожалуй, надо думать...

— Дело твое!

— Надо думать!.. Ничего не поделаешь!..

Черной тучей вваливается мастеровой в свою лачугу и, не взглянув на омертвевшую жену, нетвердыми ногами направляется к кровати, предварительно с размаху налетая на угол печки и далеко отбрасывая пьяным телом люльку с ребенком, висящую тут же на покровках, прицепленных к потолку. Не успела жена всплеснуть руками, не успела сдавленным от ужаса голосом прошептать: «разбойник!» — как супруг ее, с каким-то ворчаньем бросившийся ничком

на постель, уже заснул мертвым сном и храпел на всю лачугу. Испуганный этим храпом ребенок вздрагивал ногами и плакал. Оцепененье бедной бабы разрешается долгими слезами и причитаньями... А муж все храпит... Наконец рыдающая жена решается на минуточку сходить к соседке. Наскоро рассказывает она приятельнице, в чем дело, занимает до вечера хлеба и тотчас же возвращается домой. Прямо под ноги ей бросаются из избы три собаки, с явными признаками молока на морде. Чую погибель молока, принесенного ребенку, она делает торопливый шаг через порог и наталкивается на пустой сундук с отломанной крышкой; в сундуке нет платья, на стене нет старой чуйки, на кровати нет мужа, а люлька с ребенком описывает по избе чудовищные круги, попадая то в печку, то в стену. Окончательно убитая баба долго не может ничего сообразить и вдруг пускается в догонку...

В это время муж ее с каким-то истинно артистическим азартом выделывает на дальнем конце улицы удивительные скачки: иногда он словно подплясывает, а вместе с ним пляшет и хвост женского платья, выбившегося из-под «перемепки».

— Держи, держи!.. — голосит баба, путаясь в подоле отнявшимися и онемевшими ногами: — ах, ах, ах!.. Разбойник! Грабитель!..

Какой-то лабазник стал ей поперек дороги, растопырив руки, словно останавливая вырвавшуюся лошадь. Прохожий солдат обнял на ходу и раза два повернулся с ней. Остановился и засмеялся чиновник с женой... А супруг в это время уже поровнялся с храминою Данилы Григорьича и с разлета всем телом распахнул обе половинки дверей.

Добралась наконец и баба. Мужа не было.

— Где муж? — едва переводя дух, закричала она. — Подавай! Слышишь? Сейчас ты мне его подавай, кровопийца...

— Я с твоим мужем не спал! — категорически ответил Данила Григорьич. — Ты его супруга, ты и должна его при себе сохрпать...

— Подавай, я тебе говорю!

Баба вся помертвела от негодования.

— Ссению минуточку мне мужа маво!.. Знать я этого не хочу!..

Целовальник усмехнулся.

— Малаша! — произнес он, направляя слова за перегородку. — Вот баба мужа обронила... Сделайте милость, присоветуйте?

— Ххи-хи-и-их-хи-хи-хи!.. — раскатилось за перегородкой.

— Шкура! — заорала баба. — Мне на твои смехи наплевать!.. Твое дело распутничать, а я ребенку мать!

— Чтоб те разорвало!..

— Ах ты...

— Что за Севастополь такой? — громче всех закричал целовальник. — Ишь генерал Бебутов¹ какой!.. мутить сюда пришла? Так я опять же тебе скажу: мужа твоего здесь не было!

— Не было-о?

— Нету! Проваливай с молитвой! К Фомину убежал.

— К Фомину-у?

— К нему. С бог-гом! В окно выскочил.

Баба замолчала, тихонько заплакала и медленно пошла к двери.

— Все ли взяла? Как бы чего не забыть?.. — подтрунивал целовальник.

— «А я вотан, а я во-о...» — вдруг запел кто-то...

Баба узнала голос мужа. Но где раздавалось это пение, — на чердаке ли, под полом ли, или на улице, — решительно разобрать было нельзя. Тем не менее баба бросилась на хохотавшего целовальника.

— Подавай! Сейчас подавай! Я тебе голову разобью!

Хохотал целовальник, хохотала баба за перегородкой, и пение опять возобновилось.

— Разбойники! Дьяволы! У меня корки нету... Поддавай сейчас!..

¹ Генерал Бебутов, Василий Иосифович, в войну 1853—1854 гг. был командующим Кавказской армией.

— А я вотан, а я во, а я во, а я во, — хохох!..

Смех, гам, слезы...

— Ну, с богом! — заговорил целовальник решительно и повел бабу на лестницу.

— Я на тебя, изверг ты этакой, — доносилось с улицы: — во сто раз наведу, мо-ошеник! Я тебя, живодера этакого, начальством заставлю...

— Ду-ура! Нету такого начальства, башка-а! Где же это ты такое начальство нашла, чтобы пошить? рожа-а! — резко и внушительно говорил целовальник, высовывая голову на улицу. — В начальстве ты на маковое зерно не смейся-ишь!.. Какого ты начальства будешь искать? Прочь отсюда, падаль!

Баба долго кричала на улице.

Целовальник, разгоряченный последним монологом, плотно захлопывал дверцы.

— Не торопись! — остановил его Прохор Порфирыч, отпихивая дверь: — совсем-было прищемил!..

— А! Прохор Порфирыч! Доброго здравья... Виповат, батюшка! С эстими, с бабами то есть, не приведи бог... Прощу покорно.

— Ай ушла? — шепотом проговорил мастеровой, приподымая головой крышку маленького погреба, устроенного под полом за стойкой, у подножия Данилы Григорьича.

— Ушла!.. Ну, брат, у тебя ба-аба!..

— О-о!.. У меня баба, смерть!

Мастеровой выполз из погреба весь в паутине и стал доедать пеклеванку.

— Какую жуть нагнала-а? — спросил он, улыбаясь, у целовальника.

Тот потрянул головой и обратился к гостю:

— Ну, что же, Прохор Порфирыч, как бог милует?

— Вашими молитвами.

— Нашими? Дай господи! За тобой двадцать две...

— Ну что ж, — оказал мастеровой: — эко беда какая!

В это время из-за перегородки выползла дородная молодая женщина, с большой грудью, колыхавшейся под белым фартуком, с распятым свежим лицом и синими глазами;

на голове у нее был платок, чуть связанный концами на груди.

По дородности, лени и множеству всего красного, навешанного на ней, можно было заключить, что целовальник «держал при себе бабу» на всякий случай.

Прохор Порфирыч засвидетельствовал ей почтение.

— Что это, Данила Григорьич, — заговорила она: — вы этих баб пушаете?! Только одна срамота через это!

— Будьте покойны! — вмешался захмелевший мастеровой: — она не посмеет этого... Главное дело, — обратился он к Порфирычу шопотом: — я ей сказал: Алена!.. Я этого не могу, чтобы каждый год дитё!.. чтобы этого не было!.. Мне такое дело нельзя!

— Пу и что же? — спросил целовальник.

— Говорит: не буду! Потому я строго...

— Маладь! — ухмыляясь, произнес целовальник. — Вот бы этак-то, а?..

— Вы все с глупостями.

— Ххе-ххе-ххе!..

Мастеровой тоже засмеялся и прибавил.

— Нет, надо стараться!.. И так голова кругом ходит!

Целовальничья баба отвернулася. Прохор Порфирыч кашлянул и вступил с ней в разговор:

— Ну, что ж, Малань Иванна, по своем по Каширу тужите?

— Чего ж об нем?.. Только что сродственники...

— Да-с... родные?

— Родные!.. Только что вот это... Колючко, жалко... ну все я такой каторги не вижу, когда братец Иван Филипыч одним мастерством своим меня задушил... Они по кошачьей части... одно погляденье на этакую гадость... тьфу!

— А все деньги!..

— Пу-у уж... гадость какая!

— Данила Григорьич! — шептал мастеровой, колотя себя в грудь: — перед истинным богом...

— Ты еще мне за стекло должеп! Помнишь?.. — гудел Данила Григорьич.

— Данила Григорьич!..

— Ну, Малань Иванна, а в нашем городе что же вы, пужаетесь?

— Пужаюсь!

— Пужливы?..

— Страсть как пужлива... Сейчас вся задрожу!..

— Да, дда, да... Место новое...

— Да и признаться, все другое... все другое... За что ни возмись... Опять народ горластый...

— П-па кааакому же случаю я тебе дам? — восклицает в гневе Данила Григорьич.

— Данила Григорьич! Отец!

— Народ горластый, и опять же, чуть мало-мало, сейчас драка! Норовит как бы кою...

— В ухо!.. Это верно! Потому вы нежные!.. — покачиваясь на мастерового, ласково произносит Прохор Порфирыч.

— Нежная!..

— Умру! умру! — заорал мастеровой, упав на колени

— А чудак-человек! Ну из-за чего же я...

— Каплю, дьявол, каплю!

— Что? Что такое? — заговорил, нехотя повернув голову к спорщикам, Прохор Порфирыч. — В чем расчет?

— Да, ей-богу, совсем малый взбесился... Просит колупнуть, но как же я ему могу дать?

— Любезный, заступись!.. Я ему, душегубу, за бесценнок цвол (ствол ружейный). Цена ему два целковых... Прошу полштоф, а?

— Что же ты, Данила Григорьич! — произнес Порфирыч.

— Ей-ей, не могу. Мы тоже с этого живем...

— Покажь! — сказал Порфирыч: — что за цвол?..

У мастерового отлегло от сердца.

— Друг, — заговорил он, осторожно касаясь груди Порфирыча: — тебе перед истинным богом поручусь, полпуда пороху сыпь.

— Посмотрим, попытаем.

Целовальник вынес кованый пистолетный ствол, на котором мелом были сделаны какие-то черты. Прохор Порфирыч принялся его пристально рассматривать.

— Сейчас околеть, — говорил мастеровой! — Дюженцеву делал... Еще к той субботе велел... Я было-надеялся, понес ему в субботу-ту, а его угорелого дома нету... Рыбу, вишь, пошел ловить... Ах, мол, думаю, чтоб тебе!.. Ну, оставить-то без него поопасался...

— Да ко мне в сохранный место и принес! — добавил целовальник: — чтобы лучше он проспиртовался... чтобы крепче!

Мастеровой засмеялся.

— Оно одно на одно и вышло, — проговорил он: — Дюженцев этот с рыбою-то совсем пьяный утоп...

— Вот так-то!

— Ах, и цвол же! ежели бы на охотника...

— Это что же такое?.. — произнес Порфирыч, отыскав какой-то пзьян.

— Это-то? Да, друг ты мой...

— Я говорю, это что? Это работа?

— Ну, ей-богу, это самое пустое: чуть-чуть молотком прищемлено...

— Я говорю, это работа?

— Да ты сейчас ее подпилком! Она ничуть, ничего!..

— Все я же? Я плати, я и подпилком? Получи, брат...

Прохор Порфирыч кладет ствол на стойку, садится на прежнее место и, делая папиросу, говорит бабе:

— Так пужаетесь?

— Пужаюсь! Я все пужаюсь...

— Ангел! — перебивает мастеровой. — Какая твоя цена? Я на все; только хоть чуточку мне помощи-защиты, потому мне смерть.

— Да какая моя цена? — солидно и неторопливо говорит Порфирыч: — Данилу Григорьичу, чать рубль ассигнациями за него надо?

— Это надо!.. Это беспременно!..

— Вот то-то! это раз. Все я же плати... А второе дело, это колдобила, па цволу-то, это тоже мне не статья.

— Да я тебо, сейчас умереть...

— погоди! Ну, пущая я сам как-никак ее сравняю, все же набавки я большой не в силах дать...

— Ну, примерно? на глазомер?

— Да, примерно, что же?.. Два больших полыхнешь за мое здоровье. Больше я не осилю...

— Куда-ж это ты бога-то девал?

— Ну, уж, это дело наше.

— Ты про бога своими пьяными устами не очепь! — прибавляет целовальник.

Настает молчание.

— Так вы, Малань Иванна, пужаетесь все?

— Все пужаюсь. Место новое!

— Это так! Опасно!

— Три! — отчаянно вскрикивает мастеровой. — Чтоб вам всем подавиться!..

— Давиться нам нечего, — спокойно произносят целовальник и Порфирыч.

— А что «три», — прибавляет последний, — это я еще подумаю.

— Тьфу! Чтоб вам!

— Дай-ко-сь цвол-то!

— Ты меня втрое пуще моей муки измучил!

Порфирыч снова рассматривает ствол и наконец нехотя произносит:

— Дай ему, Данила Григорьич!

— Три?

— Да уж давай три... Что с ним будешь делать!.. Малый-то даже тово... захворал «чихоткой».

Мастеровой почти залпом пьет три больших стакана по пятаку, обдаёт всю кампанию целым пролившем нецеремонной браги и, снова пьяный, снова разбитый, при помощи услужливого толчка, пущенного услужливым целовальником, скатывается с лестницы, считая ступени своим обессиленным телом. Прохор Порфирыч спокойно прячет в карман доставшийся ему за бесценок ствол и снова обращается к целовальничьей бабе, предварительно вскинув нога на ногу.

— Так, вы, Малань Иванна, утверждаете, что главное по копачьей части, то есть на родине?..

— По копачьей! Такие неприятности!

— Конечно! Какое же удовольствие?

Такой образ действий Прохор Порфирыч называет уменьем потрафлять в «надобную минуту», и в понедельник мог им пользоваться в полное удовольствие, употребляя при этом почти одни и те же фразы, ибо общий недуг понедельника слагал сцены с совершенно одинаковым содержанием.

Побеседовав с целовальничихой, Прохор Порфирыч отпра- влялся или домой, унося с собою груды шутя приобретен- ных вещей, или же шел куда-нибудь в другое небезвыгодное место. Между его знакомыми жил на той стороне мещанин Лубков, который был для Порфирыча выгоден одинаково во все дни недели.

Мещанин Лубков жил в большом ветхом доме с огромной гнилой крышей. Сама фигура дома давала некоторое по- нятие о характере хозяина. Гнилые рамы в окнах, при- липнувшие к ним тонкие кисейные занавески мутно-синего цвета, оторванные и болтавшиеся на одной петле ставни, алыповатые подпорки к дому, унаправленные одним концом чуть не в середину улицы, а другим в выпятившуюся гнилую стену, — все это весьма обстоятельно дополняло беспечную фигуру хозяина. В летнее время он по целым дням сидел на ступеньках своей лавочки. Вследствие жары и тучности ноги были босиком, на плечах неизменно присутствовал довольно ветхий халат, значительно пожел- тевший от поту и с особенным старанием обливавший выпуклости на тучном хозяйском теле. Такой легкий летний костюм завершался картузом, истрепанным и засаленным с затылка до последней степени. Беспорядок, отпеча- тавшийся на доме и на хозяине, отмечал едва ли не в большей степени и все действия его. Сначала он занимался разведением фруктовых деревьев; дело тянулось до смерти жены, после чего Лубков вдруг начал для разнообразия торговать говяжиной, но, не умея «расчесть», стал давать в долг и проторговался. Кризисы такие Лубков переносил необыкновенно спокойно, и в тот момент, когда, например,

торговля говядиной была решительно невозможна, он вел за рога корову на торг, продавал ее, на вырученные деньги покупал водовозку и принимался не спеша за водовозничество. Точно с таким же нерасчетом завел он кабак, который сам и посещал чаще всех, хлебную пекарню и пр., и на всем спокойно прогорел. К довершению своей добродушно-бестолковой жизни, он опять женился на молоденькой девушке, имея на плечах пятьдесят лет, и благодаря этому пассажи¹ имел возможность хоть раз в жизни чему-нибудь удивиться и вытаращить глаза. У него родился сын. Событие было до того неожиданно, что Лубков решил оставить на некоторое время свое любимое местопребывание, крыльцо, и направился к жене.

— Наталья Тимофеевна, — сказал он ей, почесывая голову: — это... что же такое будет?

— Убирайся ты отсюда... знаешь куда? Много ты тут понимаешь!

— Да и то ничего не разберу...

— Пшол!..

Через минуту Лубков попрежнему сидел на крыльце. Спокойствие снова осенило его. Раздумывая над случившимся, он улыбался и бормотал:

— К-комиссия!..

Шли годы, и нередко ребята, т. е. мастеровой народ, имели случай посмеяться над Лубковым, извещая его о близкой прибыли в то время, когда он, казалось, и не подозревал этого.

Несколько лет таких неожиданностей и насмешек снова нарушили покой Лубкова. Он вторично покинул свое седалище с целью поговорить с женой.

— Наталья Тимофеевна! — сказал он ей: — вы, сделайте милость, осторожнее...

— Нет, ты сперва двадцать раз подавись, да тогда и приходи с разговорами!

— Хоть по крайности сказывайтесь мне... в случае чего...

¹ П а с с а ж — неожиданный поступок, внезапное происшествие.

— Пошел!..

Постигнув наконец, что ему безвинно суждено быть отцом многочисленного семейства, Лубков на шутки ребят отвечал:

— А ты бы, умный человек, помалчивал бы, ей-богу! Во сто бы тысяч раз было превосходнее, ежели бы ты молчком поровил.. так-то!

В настоящее время у него по-прежнему существовала лавка, но род промышленности был совершенно непостижим, потому что лавка была почти пуста. В углах висели большие гирлянды паутины, с потолка свешивалась какая-то веревка, которую Лубков собирался спать в течение десяти лет, а на полках помещались следующие предметы: ящики с ржавыми гвоздями, куски железа, шкворель, всякий железный лом и политоф с водкой. Более ничего в лавке и не было, кроме дивана, покрытого рогожей. На этом диване любила сидеть жена Лубкова и обыкновенно во время этого сиденья занималась руганьем мужа на все лады. Неподвижная спина Лубкова, подставленная под ругательские речи жены, ленивое почесыванье за ухом или в голове, среди самых патетических мест ее, смертельно раздражали разгневанную супругу.

— Демон! — вскрикивала она в ужасе.

Муж встряхивал головой, и сдвинутый на сторону картуз снова сидел на прежнем месте.

Другого ответа не было.

В понедельник в лавке Лубкова было довольно много посетителей и происходило что-то вроде торговли. Дело в том, что потребность спохмелиться загоняла даже к Лубкову целые толпы беднейших подмастерьев, которые, за непремением своего, тащили добро хозяйское: в сапогах или потаенных карманах, приделанных внутри чуйки, они тащили к Лубкову медную «обтирню» или «дрязгу», целые вороха всякого сборного железа по копейке или по две за фунт. Все это у него тотчас же покупали люди понимающие. Иногда и сам Лубков принимался как-будто делать дело: он выбирал из сборного железа годные в дело петли, крючки, ключи, откладывал их в особое место и при случае продавал не без

выгоды. Иногда в общей массе железного лома попадались какие-нибудь редкостные вещицы, например, замък с фокусом и таинственным механизмом. Ради этих диковинок заходил сюда и Прохор Порфирыч, имея в виду «охотников», которым он сбывал любопытные вещи за хорошую цену, платя Лубкову копейками, на что, впрочем, тот не претендовал.

Лубков по обыкновению молча сидел на ступеньках крыльца, когда с ним поровнялся Порфирыч.

— А-а! Батюшка, Прохор Порфирыч! В кои-то веки!..

— Что же это ты в магазине-то своем не сидишь?

— Да так надо сказать, что приказчики у меня там ору-
зуют...

— Торговля?

— Хе-хе-хе!

Порфирыч вошел в лавку и, поместившись на диване, принялся делать папироску.

— Подтить маленька хлебунка искупить, — произнес хозяин, кряхтя поднимаясь с сиденья, и пошел в лавчонку напротив. Под парусинным пологом торговал хлебник; на прилавке были навалены булки, калачи, огурцы и стояла толпа бутылок с квасом, шипевшим от жары. Подойдя к лавчонке, Лубков долго чесал спину, глубоко, повидимому, вдумываясь и в квасные бутылки, и в огурцы, и в ковриги хлеба. Наконец он коснулся пальцем о белый весовой хлеб и сказал:

— Ну-ко-ся, замахнись на три фунтика!

В то же время в самом «магазине» происходила следующая сцена. Рядом с Прохором Порфирычем на диване поместилась молодая, черпомазенькая, смазливая жена Лубкова, в маленькой шерстяной космыке на плечах, изображавшей красных и черных змей, или, пожалуй, пиявок.

— Ты что же, домовой, — говорила она Порфирычу: — когда же мне платок-то припесешь?..

— Да ты и без платка выйдешь!

— Ну, это ты вот, на-ко-сь!

— Ей-богу выйдешь! Потому я на тебя твоему главному донесу.

— Мужу-то? Лешему-то?

— И-нет, Евстигнею...

— Прошка! — ошарашив по плечу еще глупее улыбавшегося Порфирыча, воскликнула собеседница: — я тебе тогда, издохнуть, башку прошибу...

— Х-хе-хе!

Молчание...

— Прохор! — заговорила опять жена Лубкова. — Если это твой поступок, то я с тобой, со свиньей... Тьфу! Приходи вечером... Чорт с тобой!..

— Без платка?

— Возьмешь с тебя, с выжиги...

И она еще раз огрела его по плечу.

Порфирыч улыбался во все лицо.

В это время на пороге показался Лубков. Он нес подмышкой большой кусок весового хлеба, придерживая другой рукой копец полы своего халата, которая была наполнена огурцами. Свалив все это на стойку, он взял один огурец и, шмыгая им по боку, говорил Порфирычу:

— Какая, братец ты мой, комедия случилась... Алешку Зуева, чать, знаешь?

— Ну?

— Ну. То есть истинно со смеху уморил!.. Малый-то замотался, опохмелиться печем. Что будешь делать?.. Сижу я, никак вчерась, вот так-то, на крылечке, гляжу, что такое: тащит человек на себе ровно ворота какие. Посмотрю, посмотрю, ко мне!.. — Алеха! — «Я». — Что ты, дурак? — «Да вот, говорит, сделай милость, нет ли на полштоф, я тебе приволок махину в сто серебром...» — Что такое? — «Надгробие», говорит. Так я и покатился! Это он с кладбища сволок. — «Почитай-ко-сь, говорит, что тут написано?..» Начал я разбирать: «Пом-мя-ри». — «Ну, вот я и помяну», говорит... Хе-хе-хе!..

Смех...

Лубков откусываетпологурца.

— Каммедия! — говорит он, усаживаясь снова на крылечке.

Настает общее молчание. Жена Лубкова грозит кулаком

около самого носа Порфирыча. Тот сладко улыбается, полузакрыв глаза...

В обиталище Лубкова он делал дела пополам с шуткой; но я не стану изображать, каким образом тут в руки Порфирыча пошла та или другая нужная ему вещьца, открытая в ящике с сборным железом. Все это делается «спрохвала», тянется от-ничего-делать долго, но вместе с тем, благодаря талантам Порфирыча, не носит на себе ничего отталкивающего. Самый процесс обирания Лубкова весьма мил. Жадности или алчности не было вообще заметно в действиях Прохора Порфирыча: на его долю приходилось слишком много такого, что можно было брать наверняка, без подвохов и подходов; да кроме того, даже при таком тихом образе действий, Порфирыч мог еще готовить себе и а д о б н у ю минуточку. Уходя от пужного человека домой, он находил полную возможность сказать ему: «так смотри же, за тобой осталось... Помни!» Вообще, особенность Прохора Порфирыча состояла в умении смотреть на бедствующего ближнего одновременно и с презрительным сожалением, и с холодным равнодушием и расчетом, да еще в том, что такой взгляд осуществлен им на деле прежде множества других растеряевцев, тоже понимавших дело, но не знавших еще, как сладить с собственным сердцем.

Взяв от попедельника все, что можно взять наверняка, Прохор Порфирыч, спокойный и довольный, возвращался домой. Поджидая у перевоза лодку, он присел на лавочке, закурил папироску и разговорился с своим соседом. Это был старик лет шестидесяти, с зеленоватой бородой, по всем приметам заводский мастер. На коленях он держал большой мешок с углем.

— Что же, ты бы работы поискал, — говорил внутренне Прохор Порфирыч.

— Друг! работы?.. По моим летам теперича надо бы настоящего спокойя, а я вон...

Старик как-то пихнул мешок с углем.

— Стало-быть, нету, — прибавил он. — Что я знаю? всю жизнь колесо вертел, это разве куда годится?..

— Плохо! Ну, и... того, потаскиваешь уголек-то?

— И-да! братец мой... Я в эфтом не запираюсь: которые господа у меня берут, те это знают: «Что, старичок, подтибрил?» — «Так точно, говорю, васскародие!..» Так-то! Ничего не поделаешь!

Старик замолчал, и потом что-то начал шептать Порфирычу на ухо, но тот его тотчас же остановил.

— Ты, старина, таких слов остерегайся.

Старик вздохнул. Лодка причалила к берегу, и в нее вошла толпа пассажиров: «казючка» (женщина зареченской стороны), больничный солдат с книгой, два мещанина, старик и Прохор Порфирыч. Лодка тихо отплыла от берега.

— Вытащили его? — спрашивал один мещанин другого.

— Вытащили... Главная причина, пять дён сыскать не могли: шарили-шарили... Раз двадцать невода закидывали, нет, да на поди... А он что же? какую он штуку удрал!..

— Н-ну?

— Знаешь ключи-то у берега? Он туда и сковырнись, засел в дыру-то, нет да и полно!

— Вот тоже наше дело, — заговорил солдат с книгой. — Я говорю: васскародие, нешто голыми людей хоронить показано где? А он мне...

— Это к чему же речь ваша клонит? — иронически перебил Порфирыч.

— Чево это?

— В как-ком, говорю, смысле?

Старик прищурился и, видимо, не расслышал иронических слов соседа.

— Он-то, что-ль? — заговорил старик. — О-о-е! Он слышит! Еще как концы-то прячет! Ты, говорит, бэгом тоже в наготу рожден. Вона ка-ак!..

Порфирыч, откинувшись к краю лодки, с презрительной улыбкой глядел на полуглухого старика, который начал медленно пабивать табаком свой золотушный нос.

— Он, брат, пол-нимает!..

Выйдя на берег, Порфирыч повернул налево, мимо каменистой степы архиерейского двора. У задних ворот, выходя-

щих на реку, стояло несколько консисторских чиновников и вице-мундирах; одни торопливо докуривали папирсы, другие уиражнялись в пускании по воде камешков рикошетом¹ и делали при этом самые атлетические² позы³. У берега бабы и солдаты стирали белье, шлепая вальками. Порфирыч пошел городским садом. На лавке, среди всеобщей пустынности, сидел какой-то отставной чиновник, в одном люстриновом пальто и в картузе с красным околышем. Это современный капитан Копейкин⁴. Принеся на алтарь отечества⁵ все, во время севастопольской кампании, т. е. съезвостни патриотических обедов, устраивавшихся для ополченцев, он и теперь как-будто ожидает возвращения такого же счастливого времени. Рядом с ним была женщина подозрительного свойства; она как-то особенно пристально всматривалась в лицо проходившего Порфирыча и делала томные глаза.

— Костилька! — сказала она: — мне скучно!

— А мне чорт с тобой! — злобно прорычал собеседник.

— Как вы вспыльчивы!

Сука, жара...

В середине сада, в кругу, обставленном разросшимися акациями, сидит несколько темных личностей, что-то оборванное, разбитое. Одни дремлют, прислонившись спиной к дереву, другие лежат на лавке, подставив спину солнцу.

— Посмотрите-ка, голубчики, что он со мной сделал, — говорит какой-то мастеровой и отнимает от локтя огромный газетный лист.

Локоть оказывается разбитым, льет кровь.

— Хло-обыснул! — говорит кто-то.

— А? И за что же, голубчики вы мои, оп меня этак-то изувечил, как вы полагаете, а? Прросто удивление! Вхожу я к нему, и только два словечка всего и сказал-то: одолжи,

¹ Рикошетом — отскоком, скачками.

² Атлетический — могучий.

³ Позы — положения.

⁴ Капитан Копейкин — лицо в «Повести о капитане Копейкине» Н. В. Гоголя (в I т. «Мертвых душ»).

⁵ На алтарь отечества — в жертву отечества.

говорю, мне, Тимофеюшко, на копеечку хренку! Только всего и сказал-то, а? и заместо того что же?

Все удивились. Прохор Порфирыч понял, что у Тимофеюшки наверно теперь расшиблены оба локтя. Он закурил папироску и вышел из сада.

Пошли длинные, безмолвные улицы, длинные заборы, взрытые тротуары.

Тишина. Скука. Жара.

— Держи! Держи!—раздавалось вдруг, и на перекрестке мелькала фигура улепетывающего от жены мастерового.

«Понедельникчают еще...» — думал Прохор Порфирыч.

Наставал отдых. Под защитой «двужильных» трудов Кривоногова Прохор Порфирыч имел возможность иногда ничего не делать целую неделю вплоть до субботы. Время отдыха, проводимое другими мастеровыми обыкновенно в кабаке, непьющему мастеровому решительно некуда деть (так было двадцать лет назад). Предоставленный самому себе, он чувствует себя очень неловко: что-то глубоко задвленное трудом в эту пору как-будто начинает оживать, чего-то хочется, какие-то странные мысли залетают в голову и, застывая в форме неразрешенного вопроса, еще более тяготят малого: дело оканчивается или сном, или кабаками.

Прохор Порфирыч в свободное время принимался посещать знакомых и таким образом избегал обоих несчастий. Зеленый, довольно объемистый сундук его мог указать еще другую пользу знакомств: наполнявшие его разного рода длины и вида брюки и сюртуки были подарки за ту или другую услугу от разных знакомых. Правда, все эти подарки были довольно дряхлы и засалены, но Прохор Порфирыч умел скрыть эти недостатки не только от глаз посторонних, но, можно сказать напервое, и от самого себя; он был уверен и мог уверить кого угодно из растеряевцев, что это вот, например, сукно аглицкое¹, этот жилет французского по-

¹ А г л и ц к о е — искаженное слово — вместо а н г л и й с к о е.

врод, а такого сукна с искрой, которым покрыто пальто, теперь нигде отыскать невозможно. Знакомился Прохор Порфирыч только с благородными, потому что сам он тоже благородный, и еще потому, что благородный человек не скажет: «угости», а, напротив, угостит сам.

Иногда он был до того глупо доволен своими «благородными» знакомствами, что, казалось, даже терял некоторую долю расчетливости, чего в сущности никак не могло быть.

После обеда, когда Кривоногов лег в сених отдохнуть, Прохор Порфирыч тщательно украсил себя чем мог, запасся коротенькою сломапною тросточкой, подарком растеряевского живописца, и не спеша отправился попить чайку и посидеть к чиновнику Богоборцову.

Знакомство с этим чиновником завязалось благодаря кахетинской курице, забежавшей к Порфирычу и доставленной им в целости хозяину, т. е. Богоборцову. Кроме непреодолимой страсти к курам, Богоборцов имел множество особенностей, совершенно выделявших его из класса «чиновников». Его не интересовали канцелярские тайны и чиновничьи разговоры столько, сколько конная, оранье прасолов и цыган; любимым зрелищем его была драка, которую он всемерно старался «подгвазживать», т. е. раззадоривать. Любил слушать двухорные концерты и с глубоким вниманием смотрел, как гоняют «сквозь строй»¹ и пр. Книг он не читал ни одной, хотя был уверен, что духовные книги неизмеримо выше светских, но все-таки не читал ни духовных. Относительно политики полагал, что «все наши». В двенадцатом году² «мы» всех взяли. На поляков

¹ Гонять «сквозь строй» — жестокое наказание, при котором осужденного в наклонном положении привязывали за руки к прикладу ружья и проводили мимо выстроившихся солдат, из которых каждый должен был ударить его по оголенной спине палкой со всей силой. За силой удара наблюдало начальство. Нередко забивали таким образом людей на смерть. Наказание это широко практиковалось в войсках в так называемое «дореформенное» время.

² В двенадцатом году — имеется в виду 1812 г., когда французские войска Наполеона-Бонапарте вторглись в пределы России и взяли Москву.

сердился и советовал их уничтожить. Насчет внутреннего устройства собственной персоны он не имел никакого понятия; знал, что в человеке есть сердце, «душа», живот, но в каком порядке размещены эти предметы: душа, живот и сердце, — объяснить не мог. Среди смеющихся поколений или так называемой «реки времен», господни Богоборцев представлял собою скалу, о которую разбиваются всякие «направления», «плоды реформ», «отрадные явления» и явления, над которыми «можно призадуматься». Все это, бушующее около него даже в провинции, не имело сил хоть на волосок оттянуть его от любимого окошка, где по вечерам Богоборцев неизменно присутствовал и при этом обыкновенно пел весьма нежным голосом:

«Во-об-облаце ле-эхе-э...»¹

От жары в квартире Богоборцева были заперты ставни. Раскаленный, отвратительный воздух наполнял сени. Порхор Порфирыч вошел в горницу. Хозяин сидел в полусовершенно освещенной комнате около стола и доедал обед.

— А! Приятель! — радостно сказал он.

— Здравствуйте, Егор Матвееч! Кушайте!

Хозяин отодвинул блюдо и почувствовал, что сыт по горло.

— Ффу, батюшки..

— Жарко-с! — говорил Порфирыч, отирая лицо платком.

— Беда! — сказал хозяин.

Начался вялый разговор, поминутно прекращавшийся за отсутствием всяких новостей. Обоюдные усилия хозяина и гостя завязать разговор были напрасны. Наконец ударили к вечерне.

— Э-э-э! — радостно произнес хозяин. — Самоварчик пора. Авдотья! Авдотья-а!..

Ответа не было.

— Что она, никак оглохла?

Хозяин вышел в другую комнату, потом в сени. Порфирыч сел посвободнее, оглянул комнату — на стенах висели

¹ «Во облаце легце» — слова из церковных песнопений: в легком облаке.

рамки с разными редкостями: птица, сделанная из настоящих перьев, наклеенных на бумагу; «Отче наш», написанный в виде креста с копиями по бокам; «Верую» в виде пылающего сердца. Только такого рода редкостные вещи интересовали Богоборцева в области искусства. Во всей комнате была одна картина, изображавшая людей, но и та попала сюда совершенно случайно. Не понимая ее содержания, Богоборцев был глубоко уверен, что теперь таких картин уже нет нигде. Как любителю редкостей, Прохор Порфирыч часто «всучивал» Богоборцеву разные таинственные замки и прочие вещи, добытые у Лубкова.

Хозяин возвратился с прежним упорным желанием завязать разговор.

Прохор Порфирыч, ужаснувшись предстоящей каторги, прямо ударил в любимую тему хозяина.

— Как куры, Егор Матвееч? — спросил он.

— Что, брат! Горе мое с этими курами! Главное дело, негде держать!

— Это пеловко-с!

Хозяин вынимал из шкапа чайную посуду.

— Курице надобен простор, — говорил он: — а я ее в бане морю... Коли хочешь, пройдемся.

Гость и хозяин пошли. Егор Матвееч прошел двор, нагнувшись под веревкой, протянутой для белья, вошел в сад и направился к бане.

— Негде им разойтись-то! — оборачиваясь, говорил он: — вот!.. Выпусти — украдут!

В темной бане бродило по полу с писком и криком несколько породистых кур и множество цыплят; все это население загомосилось при виде хозяина. Цыплята начали пищать, почти не переставая. Один цыпленок забрался на бочку со щелоком и поминутно взмахивал крыльями, опасаясь опрокинуться в пропасть.

— Эко у вас, Егор Матвееч, кочет-то богатый!

— Горлопан-то? О-о-о! он у меня беда! Ка-агда глаза-то продерет, начнет голосить, смерть!.. Кочет бедовый!.. Вот кохетняки меня сконфузили. Цыпляки как есть все зачичкались...

Хозяин подхватил одного цыпленка с полу и вынес к свету.

— Вот. Погляди-ко-сь!

Цыпленок еле раскрывал глаза и чуть-чуть издавал плаксивые звуки.

— С чего же это опи?

— Скука! со скуки.. Тоска! взаперти... выпустить боюсь... парод, сам знаешь, какой.

— Это чтò!..

— Вот то-то! Ну и грустит!..

Хозяин пустил цыпленка, отворил передбанник и показал породистую индюшку.

— Вот тоже охота у Филипп Львовича! — проговорил Порфирыч, но вдруг был поражен неожиданной переменой, происшедшей в хозяйле.

На лице его выразилось презрение. Филипп Львович был тоже охотник и, стало быть, соперник.

— Много вы с твоим Филипп Львовичем в охоте смыслите!.. О-о-хота! Много вы постигаете в охоте-то!.. — покраснев, в гневе произнес хозяин.

— Егор Матвееч! — испуганно проговорил совершенно сгрусивший Порфирыч. — Я это, истинно перед богом, упомянул, то есть так...

— Вам еще до настоящей охоты-то сто лет расти осталось! У Филипп Львовича охота!..

— Егор Матвееч! Богом вам божусь, я даже сам обезживотел со смеху, когда этот Филипп Львович сказал: «у меня, говорит, охота»... Ей-ей... Так и покатился. Собственно только для этого и упоминаю!

— У него охота!

— Ей-богу... Просто обезживотел! У меня, говорит, охота! Так я и покатился!.. Ей-ей!

Прохор Порфирыч оробел.

— Знает ли он, — продолжал хозяин: — чтò такое охота? Настоящая охота. гляди сюда...

Хозяин для примера взял в руки цыпленка и заговорил с расстановкой, отделяя каждое слово:

— Первое дело — порода; это ведь он ни шиша не по-

стигает. Потому, есть курица голландская, и есть курица шампанская...

— Это веррно!

— Погоди! Это рраз! Ежели, храни бог греха, повалят ублюдки, это для охотника что?

Порфирыч молча и испуганно смотрел на хозяина.

— Видишь, вои щенка валяется? Вот что это для охотника!

— Трудно! — сказал Порфирыч, не найдя другого слова.

— Второе дело, — продолжал хозяин: — шампанская курица бурдастая, из себя король... бурде во! Понял?

Порфирыч кашлянул и переступил с ноги на ногу.

— Филипп Львович! Чижа паленого смыслит он! Опять индюшка: ежели в случае ее по башке: тюк! — она летит торчмя головой. Но аглицкий петух имеет свой расчет: он сперва клюет землю...

— Егор Матвевич! — вопиял Прохор Порфирыч, чувствуя только, что он виноват: — перед богом я это упомянул только ради смеху, сейчас умереть! какая же может быть у него охота?

— Болван он! Вот ему цена!

Хозяин бросил цилиндрок и вышел.

— И так и покатился! — говорил Порфирыч, следуя за ним.

Поговорцов не отвечал, хотя и успокоился.

В комнате на столе уже кипел самовар.

Началось доброе и дружное чаепитие.

Через несколько времени Порфирыч остановился у ворот дома, принадлежавшего отставному «статскому генералу» Калачеву. Прежде нежели войти во двор, он тщательно осмотрел свой костюм, спрятал под жилет концы галстука, растопыренного в разные стороны «для красоты», и несколько раз откашлянулся. Все это делалось на том основании, что генерал Калачев считался извергом и зверем по всей Растеряевой улице; чиновники пробирались мимо его окон с какою-то поспешностью, ибо им казалось, что гепе-

рал «уже вылунил глазищи» и хочет изругать не на живот, а на смерть. Словом, все, от чиновника и семинариста¹ до мастерового, или боялись, или презирали его, по ругали положительно все. Растеряевой улице было известно, что он скоро в гроб вгонит жену, измучил детей и пр. Порфирыч, спасенный генералом от рекрутства, считал обязанностью задаром чинить ему садовые ножницы, разные столярные инструменты и был тоже убежден в его зверстве. Приведя в порядок свой костюм, он осторожно входил в калитку; представление о генерале разных ужасов почему-то подкреплялось этой необыкновенной чистотой двора, всегда выметенного, этими надписями, начертанными мелом на сырых углах и гласившими: «не сметь» и пр.

Порфирыч встретил генерала на дворе. Он торопливо шел из сада с большими ножницами.

— А! — сказал генерал. — Милости просим! — и скрылся в дом.

Порфирыч зашел за чем-то в кухню и потом робко пробрался в комнату.

В маленькой комнатке, с старинною, но чистою и блестящею мебелью, сидело семейство генерала: около яркого кипящего самовара сидела дочь с бледным болезненным лицом и равнодушным взглядом; рядом с ней брат, молодой человек, с измороженным лицом, боязливым взглядом и сторбленной спиной; он как-будто прятался за самовар и нагибал голову к самой чашке. У окна, завернувшись в заячью шубку, грелась на солнце жена генерала, протянув ноги на стул. Лицо ее действительно было полно грусти, болезни и скорби. Она постоянно вздыхала и говорила: «О-ох, господи-батюшка!»

При появлении Порфирыча все сказали ему: — «здравствуй».

— Садись, Проша! — сказал генерал, помещавшийся по другую сторону самовара.

Порфирыч кашлянул и сел. Настала мертвая тишина.

¹ Семинарист — ученик школы духовного ведомства, где учились будущие служители христианского культа.

Стучали часы, бойко кипел самовар. От самовара и от солда, ударявшего прямо в окна, в комнате делалось душно. Генерал большой костлявой рукой вытирал огромный запотевший лоб с торчавшими по бокам седыми косицами.

Гробовое молчание. Сын все больше и больше прячется за самовар. Ему понадобилась ложка.

— Ма... Маи... — шепчет он чуть слышно.

— Мм? — спрашивает девушка.

Следуют знаки руками.

— Ло... Лож...

— Чтò там? — громко спрашивает генерал.

Все замирает. Сын пачинает опрометью хлебать чай.

— Нет, это Сеня... — тихо говорит дочь.

Сеня в ужасе вытаращивает на сестру глаза.

— Чтò ему? — допытывается генерал. — Чтò тебе?

— Нет-с... это...

— Ты что-то говорил?

— Нет... я...

— А?

— Ничего!..

Сеня высовывает сестре язык.

— Что-ж ты там шепчешь?

— Скот-ти-па! — пригнувшись к самому столу, шепчет Сеня, посылая это приветствие сестре.

Снова мертвое молчание.

Порфирыч как-то и сам привык бояться этого громкого и твердого голоса генерала, если бы даже он говорил самые обыкновенные вещи. В мертвой тишине Порфирыч чуял ежеминутную бурю. Такую же бурю чуяли все.

Генерал начал тереть лоб, словно собираясь что-то сказать, но перешителность и тревога, вовсе не соответствовавшие его энергическому лицу, останавливали его.

— Пашенька! — наконец мягко произнес он.

Жена вздрогнула; дети тоже.

— Там в саду у нас... вербочка. Она так разрослась, и я думаю... что ее необходимо... срубить...

Жена отчаянно махнула рукой.

— Я знаю, ты ее любишь... по...

— Руби! — первно и почти визгливо прервала жена.

— Ты, ради бога, не сердись понапрасну... Мне самому ее смертельно жаль... Но я хотел тебе сказать...

— Что мне говорить? — напрягая всю силу горла, заговорила взволнованная жена. — Зарубил одно, захотел!

— Ради бога! Не захотел! Пойми же ты хоть раз в жизни, что я ничего не хочу!.. Не о б х о д и м о срубить... Она задушила у нас две вишни...

Грозное молчание. Жена вся дрожит от новой прихоти мужа, потому что вербочка — ее любимое деревцо.

Проход Порфирыч подался к двери.

Через несколько времени генерал начал-было опять:

— Итак, мой друг, я... принужден...

— Всех руби! — завизжала и закашлялась жена. — Всех режь!..

— Фу т-ты!

Блюдечко с горячим чаем полетело на стол; генерал быстро вышел, хлопнув дверью.

Порфирыч пятился. Жена генерала была близка к истерике, дети были парализованы зверством родителя и сидели с вытаращенными глазами. Тяжесть свинца висела надо всеми.

А «генерал» между тем заперся в своем мастерском кабинете и, утирая большим костлявым кулаком слезы, думал: «Господи!.. за что же, за что же это?.. Отчего?» — спрашивал наконец он вслух... И все-таки он не знал этого «отчего». Надо всем домом, надо всей семьей генерала царило какое-то «недоразумение», вследствие которого всякое искреннее и, главное, действительно благое намерение его, будучи приведено в исполнение, приносило существеннейший вред. В те роковые минуты, когда он допытывался, отчего он безвинно стал врагом своей семьи, он припомнил множество подобных нынешней сцен и ужасался... Горе его в том, что, зная «свою правду», он не знал правды растеряевской... Когда он перед венцом говорил будущей жене: «ты должна быть откровенна и не утаивать от меня ничего, иначе я прогоню тебя или уйду сам», он не знал, что на такую, в устах жениха необычную фразу последует

следующий комментарий, переданный задушевной приятельнице: «признавайся, говорит, зарычал на меня ровно зверь... прогоню, говорит...» Он не знал, что слова его, всегда требовавшие смысла от растеряевской бессмыслицы, еще более бессмыслили ее. Страх, который почувствовала жена генерала перед громким голосом и густыми бровями мужа, она как-то бестолково передала детям. Если, например, случилось, сидела она с ребенком и вертела перед ним блюдечком, то при звуках мужниных шагов считала какою-то обязанностью украдкой бросать блюдце и вертеть ложкой. — «Ты что-то бросила?» — говорил муж. — «Господи! вовсе я ничего не бросала». — «Я видел, что ты бросила что-то. Зачем же ты утаиваешь? Отчего ты не хочешь сказать мне?» — «Господи, да вовсе я ничего не бросала». «Я сам видел». Муж, рассерженный ложью, сердито хлопал дгерью. «Господи, — рассказывала жена приятельнице: — пришел, наорал, накричал, изругал... как какую самую последнюю... и за что? Ей-богу, только что вот этак-то блюдцем с Сенею играла... Господи, пошли ты мне смерть!» Дети, утрашенные ужасом сцен, происходивших при появлении родителя, привыкли видеть в нем лютого зверя и врага матери. От «папешки» старались прятаться, потихоньку думать, потихоньку делать и пр.

Так и пошло дело. Страх въедался в детей, рос, рос; бестолковщина растеряевских нравов, намеревавшихся идти по прадедовским следам не думавши, запуталась в постоянных попусканиях жить сколько-нибудь рассуждая. Растеряева улица, для того чтобы существовать так, как существует она теперь, требовала полной неподвижности во всем; на то она и «Растеряева» улица. Поставленная годами в трудные и горькие обстоятельства, сама она позабыла, что такое счастье. Честному, разумному счастью здесь места не было.

Не имея охоты оставаться в чайной, Порфирыч потихоньку спустился вниз, где были устроены две комнаты для детей. У маленького продолговатого окна стояла дочь генерала с липом, убитым какою-то тупою ненавистью. Яркое вечернее небо так приветно сияло перед ней и чем больше

прелести прибавлялось в нем, тем тупее, злее делалось лицо девушки, потому что бестолково возмущенная душа ее упорно отталкивала эту, посылаемую небом, ласку.

— Семен! — нетерпеливо и раздражительно заговорила она: — отдай мою книгу... я читаю... Отдай!

Семен лежа держал в руках книгу, бегал глазами по строкам и не видел ничего, подавленный тою же, висевшею над всем домом, тупою тоской...

— Отдай мою книгу-у! Семен!..

Книга с шумом летит в угол.

— Свинья!

— Скотина!..

Прохор Порфирыч потихоньку поднялся с дивана и ушел. На дворе он увидел генерала, который вытащил из сада и молча бросил под сарай срубленную вербу.

Очутившись за воротами, Порфирыч вздохнул свободнее, снова выпустил и растопырил концы галстука и весело тронулся в путь, намереваясь сделать еще один визит, столько же веселый, сколько и необходимый в видах расчета.

Стоял душный летний вечер; скромные обыватели переулков, по которым шел он, не зажигали огней и все «высыпали» за ворота или высунулись в окна, полураздетые от духоты.

В открытое окно из неосвещенной комнаты доносились звуки гитары, и кто-то пел:

Нн-е ад-дной ли мы природы

С ттабой, Фе-ня, раждены?

Становилось темнее и свежее.

Прохор Порфирыч стоял под окном маленького домика, выходившего окнами на площадь, носившую название «плацпарада»: обыкновенно здесь происходят разного рода военные упражнения гарнизонных солдат; окно, с большим косяком кумачу в виде занавески, было открыто. Перед ним сидела девица с папироской и с необыкновенно аляповатой грудью, подпирившей в подбородок.

Распространяя вокруг себя удушливый запах душистого

шла и розового масла, девица едва касалась губами папироски и искливо говорила Порфирычу:

— Вы бы его привели сюда.

— По-милуйте, Таиса Семеновна! Тогда для них не будет этого, так сказать, рвения... Капитон Иванович не такой человек. Им много будет приятнее, когда ежели в случае... тайно...

Девица улыбулась.

— Именно правда! — подтвердила изнутри комнат «тетенька». — Для мужчины первое дело — не подавай виду. Особливо из купеческого сословия; он готов, кажется, себя заложить.

— Да как же-с! дело известное! Оп в ту пору, то есть в случае интерес... Он тут голову прошибет, а уж доберется. По этому случаю, Таиса Семеновна, вы с Капитон Ивановичем обойдитесь строго!.. «Эт-то что такое? Как вы осмеливаетесь?» — а потом маленьчко сдайтесь: «а конечно, мол, я точно без памяти от вашей красоты...» Ну и прочее...

— Именно правда! — прибавила тетка. — Дай тебе господи за это всякого счастья!.. Как ты нам от души, так и мы тебе...

— Я истинно только из одного, что вижу я вашу доброту...

— И господь тебя не оставит... Это все зачтется.

— Я так думаю!..

Тетенька удалилась в другую комнату. Прохор Порфирыч облокотился на подоконник и покуривал папироску, пуская дым в сторону, для чего всякий раз поворачивал голову назад. Разговор принял более умозрительное направление: толковали о том, кто вероломнее. Девица доказывала против «мускова полу», Порфирыч выводил на чистоту «женскую часть».

В другой комнате слышалось бульканье наливаемой жидкости.

— Тетенька! — сказала девица. — Хоть бы вы чуточку подождали... Ну приедет кто?

— Я каплю одну... Да опять и так думаю, пожалуй, что никто и не приедет, время постное.

Заскрипела кровать: тетенька легла спать.

— О-о, господи-батюшка, — шептала она, изредкаякая: — сохрани и помилуй нас!

В это время к дому с грохотом подкатила пролетка и с нее свалилось на землю три человека.

Послышалось непонятное мычание.

— Тетенька! Гости! — вскрикнула девица, подлетая к зеркалу и оправляя волосы. — Запирайте ставни!

IV. СУББОТА

В субботу мрачная физиономия Растеряевой улицы несколько оживает: в домах идет суетня с мытьем полов и обметанием потолков; молотки на фабрике валяют с особенной торопливостью; на улице заметно более движение. Все полагают, что завтра, в воскресенье, почему-то будет легче на душе, хотя в то же время все достоверно знают, что завтра будет такая же смертельная тоска и скука, только слегка подрумяненная густым колокольным звоном да огромными пирогами, густо намазанными маслом. У генерала Калачова топят баню в складчину — кто дрова, кто воду; вследствие этого через улицу бегают девки, кучера, солдаты с водносами, ушатами; в бане по причине стечения множества субъектов обоего пола идут веселые разговоры. Между вкладчиками, людьми благородными, вследствие разных «амбиций» происходят стычки за первенство обладания баней прямо после выхода генерала. Случаются по этому ссоры.

Часов с шести вечера оживление еще приметней. Вместе с трезвонном колоколов поднимается стук дрожек и пролеток, развозящих по церквам православных христиан. Торопливо возвращаются с фабрик работницы — женщины и девушки; самоварщики целыми фалангами тащат ярко вычищенные самовары в склады; у каждого в руках по две штуки; изредка они останавливаются, стапоят ногу на тумбу и поправляются с своей ношей, подталкивая ее коленом. На фабриках идут расчеты.

В огромной комнате с низкими сводами толпится рабочий народ с книжками в руках и с крайне тревожными лицами: ждут расчета. И страшное дело: как петерпеливы они в то время, когда хозяин как-то бестолково оттягивает минуту расчета, разговаривая с приказчиком о совершенно посторонних предметах, столько же народ этот делается робким, трусливым, даже начинает креститься, когда наконец настает самая минута расчета и хозяин принимается громыхать в мешке медными деньгами. Начинается шептанье; передние ряды ежатся к задней стене; иные, закрывая глаза и заслонившись расчетной книжкой, каким-то испуганным шопотом репетируют монолог убедительнейшей просьбы хозяину: «Самойл Иваныч!.. ради господа бога! Значас умереть, на той неделе как угодно ломайте... Батюшка!..» Другие, рассматривая книжки один у одного, фыркают и исчезают в толпе.

— Пожалуйте ладет! — произносит мальчишка лет девяти, в синей рубахе, босиком, с растопыренными волосами. Хозяин удивленно взглядывает на него через очки и обращается к приказчику.

— Это что ж такое? Откуда он?

— Да я, признаться, Самойл Иваныч, — говорит приказчик, тронув шею и складывая руки назад: — признаться сказать, в афтим не могу вас удостоверить... т. е. откуда он взялся.

— Давно ли он?..

— Да боле, пожалуй, недели... Эт-та, ежели изволяте вспомнить, на прошедшей неделе хлеб у нас ссыпали... Ну, я обнаковенно в сарае-с! Хлопоты... Вижу, стоит посередь двора вот этот самый кавалер... Я, признаться, крикнул ему: «Будет, мол, тебе башку-то чесать. Иди помогай!..» И-ну он и стал... Дали ему потом в кухне поесть... Так вот и того... кое что помочи дает-с...

— Пожалуйте ладет! — настоятельно повторил мальчик.

— Тебя кто это научил расчету-то просить?

— Большие научили...

— Большие? Ну, это они для смеху.

В толпе смеются, мальчишка молчит.

— Мать-то есть у тебя? — спросил хозяин.

— Нету, я теткин.

— Стало-быть, от тетки родился?

Раздался дружный смех толпы, и сам хозяин весело закрихтел от своего смешного вопроса. Мальчишка в первый раз задумался над своим происхождением.

— Что же ты у тетки-то делал?

— Побирались...

— Где ж она теперь?

— Она упала... ушиблась... в больницу увезли...

Все молчали.

— Как же теперича его считать? — спросил хозяин у приказчика.

— Да так, я полагаю, считать, что собственно приبلудный-с... на этом счету его и оставить... Бог с ним — пускай... Куда ему?

Хозяин подумал.

— Все, я чай, приставу надо сказать.

— Н-н-ет-с!.. Я так полагаю, господь с ним... Пускай его. Все что-нибудь в хозяйстве поможет... Бог даст, вырастет, получит свое понятие, тогда уж его дело-с... а может, и еще кто из «своих» отыщется.

Хозяин дал мальчугану гривенник. Тот бросился ему в ноги, брякнувшись об пол всем, чем только можно брякнуться: лбом, локтями, коленками.

Толпы рабочих, выходя из ворот фабрики, разделялись на партии: одни шли прямо в кабак, другие сначала в баню и потом в кабак. Бани полны народом. Вся река покрыта телами купающихся; в купальнях идет гам, крик, хохот; народу тьма. От большинства отдает водкой. Все это норовит забраться «под самый перемет» купальни и оттуда прыгнуть в воду. Берег реки около бань запружен купающимися. Черные фигуры мастеровых торопливо срывают с плеч рубашки, рубашки. Слышен говор, смех...

— Ну-ко, господи благослови! — говорит мастеровой и с разбегу летит в воду, откинув напряжением ноги большой кусок земли от берега; вытянутыми вперед руками он

врезывается в воду почти вертикально — и исчезает, взболтнув ногами...

— Нырок! — говорит кто-то.

Мастеровой ныряет среди реки и принимается отмеривать саженьями, взмахивая головой в сторону, чтобы откинуть мокрые, закрывшие лицо волосы.

Дальше за банями, где берег уложен высокими стенами навоза, в мутных лужах полощутся мещанские девицы, опасаясь на аршин отделиться от берега, так как платье их может быть ежеминутно похищено разного рода юпошами. Какая-то смелая баба, с головой, обвязанной платком, решается выплыть из лужи в реку.

— Ха-а, ха-а, ха-а! — грозно вскрикивает мастеровой и пускается за ней в догонку, необыкновенно сильно и искусно работая руками. Баба в испуге поворачивается назад, взбивая ногами целые фонтаны.

На Большой улице с шумом железных засовов запираются лавки; мастеровые с работами рыщут от одной лавки к другой. Новые времена, отозвавшиеся на торговле, не поддаются на единственное доказательство мастерового: «христа ради!»

В ярко освещенной лавке стальных изделий сидит на диване молодой хозяйский сын в пестрых брюках; у прилавка, с ящичками разных стальных мелочей, стоит приказчик. Тут же, в качестве посетителя присутствует лакей, держа подмышкой целый узел разного оружия.

— Так уж я так барину и передам-с, — говорит он.

— Так и скажи, — говорит хозяин.

— Конечно, мне какое дело! Мне приказано: скажи, говорит, ему (вам-то), что у меня этого оружия в избытке... Я так вам и передаю... хоть достоверно понимаю, что у них этого избытку не токмо в оружии...

Лакей шепчет.

— То-то и есть! — говорит хозяин.

— Верите ли? — многозначительно произносит лакей, скрестив руки.

— Ихнее дело прошло-о!

— Это как есть!.. Я теперь вижу, к чему идет-с... Теперь попрет купечество... вот-с!.. Оно теперича еще не почувствовалось как следует. Дай ему обглядеться, ббеда! Оно теперь робеет... Вот я вам скажу, — один купец купил у нашего барина коляску... а ездить-то боится... Еще робеют-с!

— Капитон Ивалыч! — громко произнес мастеровой, появляясь на пороге лавки. — Отец! Что-ж мне, околовать, что ли, на улице-то?

— Черти! Что у меня, бык что-ли, с позволения сказать, отелился? Из-за чего я должен разоряться? Ну, купи ты у меня! Ввидел товару-то? Ну, купи!

— Куда-ж это деваться мне теперь?

Хозяин молчит.

— Толкнись к Шишкину... Аль уж, в самом деле, у меня монетный завод? Только и прут, что ко мне... Ступай!

Мастеровой уходит, отчаянно потрянув головой...

В отворенные двери лавки видно еще несколько мрачных фигур, моллоно лавирующих мимо. Они сходятся на углу; слышны слова: «Как тут быть, а?» «Дух воп, — хлеба не па что купить». «Ну, время!»

Скоро между ними показывается чинная фигура Прохора Порфирыча. Товар его завернут в платок и засунут в рукав, а рукав, в свою очередь, засунут в карман, так что все-таки Прохор Порфирыч ничуть не теряет благородного вида. Неумелые в современных разговорах мастеровые обступают его со всех сторон; слышны просьбы, какне-то клятвы, «за что ни отлать».

— Я, ребята, обещания вам не даю, — говорит через несколько времени Порфирыч: — а попытать попытаю.

— Отец!

— Погоните, друзья; сами вы разочтите, какая в этом деле пужна словесность... раз! Кроме того, должен я под него, прода, подводить машину не маленькую... два! Все это хлопоты! Дело это, приятели, не легкое... По этому случаю я уж с вас, ангелы, по полтинничку получу...

— Грабь! Хоть бы мало-мало... Полтинник! Грабь смело!

— То-то... Ну-ко-сь, вали сюда!

Пять пистолетов падают в расставленный платок...

— Ну, — говорит, улыбаясь, Порфирыч: — творите молитву!

И чинно входит в лавку...

— Мое почтение! — провозглашает хозяин.

— Все ли в добром здоровье? — произносит Порфирыч, почтительно снимая картуз.

Хозяин почему-то таинственно прищуривает один глаз. Порфирыч утвердительно кивает головой. Между ними, очевидно, какое-то тайное дело.

— Так уж так вашему барину и доложите, что, мол, у нас у самих товару некуда девать... Опять же, это ихнее оружие не по пас, нам в теперешнее время пужна вещь грошовая, ярмарочная...

— Это само собой...

— Вот что-с! Нам теперича пужна вещь, лишь кое-как сляпана... Убьешь, хорошо; не убьешь, еще того лучше! Зачем бить?

— Именно, правда ваша! — подтвердил лакей. — Я так вам докладываю: мое дело — исполнять: приказано сказать «от избытка», я исполняю, но достоверно знаю, что не тоhma...

Следует шептание. Хозяин поддакивает, издавая какие-то звуки в роде: «гм... гм...» или «д-да! во-от!» и пр.

— До приятного свидания, — заключает лакей.

— Будьте здоровы!

Лакей уходит. Лицо Порфирыча превращается в радостную улыбку.

— Ну? — спрашивает строго и любезно хозяин, отводя его в сторону.

— Готово-с!

— Врешь, мошенник!

— Сейчас умереть!.. Я вам, Капитон Ивапыч, такую девицу разыскал, истинно пшено! Провалиться!

— Прохор! я тебя убью!

— Как вам угодно! Это именно уж сам бог вам помогает...

— Ежели ты в случае врешь, сейчас умереть, так и разнесу!

— Что угодно! Я ей, Капитон Иваныч, так говорю: — «Танька! Вы их любите?» Вас то есть...

— Ну?

— «Даже, говорит, до бесчувствия влюблена...» — «А когда, говорю, вы влюблены, то вы и должны удостоверить Капитона Иваныча в полном размере...»

— Ну?

— «Мне, говорит, стыдно; пушай, говорит, опи меня самп вовлекут...»

— Первое дело!

— Н-ну-с, по этому случаю завтрашнего числа назначено вам быть в рощу... Там дело ваше! Главная причина, мамонька их очень строга, а насчет Таисы — вполне готова! Можно сказать одно: влюблена.

— А ежели врешь?

— Как вам угодно! Я подвел дело. Теперь трафьте сами...

— Я натрафлю!.. Верно ты говоришь?

— Издохнуть на месте! У меня, слава богу, одна спина-то...

Приятное молчание.

— Ну, Капитон Иваныч, — затягивает Прохор Порфирыч: — с вас тоже магарычу надо будет получить...

В дверях мелькают петербургские фигуры рабочих. Порфирыч грозит кулаком; фигуры исчезают.

— Какой же это магарыч тебе? любопытно!

— Я многого не прошу... Нам бы только как-никак перебиться... На вас вся надежда...

Порфирыч не торопясь вытаскивает свой револьвер.

— Ах, т-ты идол этакой, подо что подвел! Небось, опять красную?

— Да уж что делать!

— Клади! Погоди, я тебя и сам подсижу!

— А вот эти, рублпка по четыре, что ли...

Следует развязывание узла.

— Неси-неси-неси-и-и-и!..

— Капитон Иваныч! Что ж это вы говорите?.. Ради субботы-то хоть снизойдите! Ведь посмотрите вы на эту лузгу, дышат! А вам все годится... Четыре целковых! он в работе шесть стоит... Это я вам истинную правду говорю... Капитон Иваныч!..

— Клади. Пес с тобой!

Прохор Порфирыч получает деньги и, отделив себе, что следует и даже что вовсе не следует, собирается уйти.

— Погоди,— говорит хозяин: —мы с тобой того...

— Слушаю-с... я сию минуту...

Радостно приветствуют своего избавителя неумелые люди. И потом так рассуждают:

— Экой у этого Прохора ум, братцы мои!

— Чего это?

— Я говорю, у Прохора ума — страсть!

— О-о! У него ума страсть!

Мастеровые медленно разбредаются в разные стороны.

— Прощай!

— Прощай! до свидания... Ты куда?

— Домой. А ты?

— Я-то? Я, брат, домой... довольно!

Но медленность в походке, остановки и размышления над трехрублевой бумажкой, совершающиеся на каждых двух шагах, весьма ярко рисуют борьбу добра и зла, происходящую в душе мастеровых. При этом добро является в фигуре разваленной избы, в которой на трехрублевую бумажку почти невозможно получить ни единой крупинки радости, настоятельно необходимой в настоящую минуту, а зло — в форме кабака, где означенная бумажка может сделать чудеса. Мастеровой делает еще два медленных шага, зло преодолевает, шаги принимают совершенно обратное направление... и скоро, только расставшиеся, приятели с громким смехом встречаются у стойки кабака «Капавки».

К ночи над городом нависла большая туча, и пошел тихий, теплый, летний дождь... Улицы были совершенно пустыны; нигде ни огонька; ярко горели только кабаки

и харчевни. В «Канавке» были растворены окна; из них, вместе с криками и звоном стекла, лились на улицу яркие полосы света и удушливый воздух, раскаленный плитой, на которой клокотали пятикопеечные пироги и селянки; в отдаленной комнате неистово играла шарманка и огромный бубен ежеминутно и как-то тяжело охал под напором ядреного пальца севастиопольского героя. Ближе, среди хохота, раздававшегося с неудержимой силою, по временам шло пение. Какой-то тощий портной, оцивилизовавший свой почти прародительский костюм разорванным до воротника сюртуком, пел песенку про вольника, приправляя ее некоторыми жестами. Прежде всего он сделал грустную физиономию, изображая собой старуху-мать вольника, прижал руку к щеке и, всхлиывая, тянул:

Да и что-о де ты, ди-и-тятко...
Будешь тама наси-и-ти?

Тут певец вдруг встрепенулся и с отчаянным ухарством и присядкой торопливо запел:

Мма-минька — сертучки, — ох!
Сударынька — сертучки, — ох!
Пусс—кай сертучки-и!..
Ну что-ж? сертучки-и!
Носить буд-ду серр-тучки-и!

Прохор Порфирыч, щедро упитанный Капитаном Ивашечей, нетвердыми шагами возвращался домой и вследствие непроходимой грязи, растворившейся в Растеряевой улице, поминутно поскользнулся на глинистой тропинке и хватался рукой за забор.

— Эт-то кто такой? — вскрикнул он, натываясь на что-то жидкое.

— Да что, друг, шапки никак не сыщу...

— Кто ты такой?

— Я, брат, не здешний. Никак, провалиться, не сыщу этого демона, шапки...

— Что же ты, леший, безо время шатаешься?

— Ды все, друг, теплого места ищу, которое, ежели бы место, иной раз, сухое...

— Смотри, не попади в теплое-то!

— Я сам, братец, так полагаю... Надо-быть, попадешь... во-во-во... Ах ты, анафема!.. вот она, шельма... ишь! Запела!

Раздается хлясканье об забор мокрой шапкой...

Прохор Порфирыч пробирается далее... Усилившийся, по такой же тихий дождик чуть-чуть шумит в листьях дерев.

Совсем темно.

У одних ворот возится с лошадью пьяный извозчик; в темноте он растерял вожжи, лошадь переступила через оглоблю и, подаваясь назад, подвернула передние колеса под дырявые и изломанные дрожки, которые вследствие этого свалились на бок.

— Тпрр... Тпрр! — ласково говорит извозчик, засев по колено в грязь и отыскивая во тьме лошадиную морду. — Тпрррю!.. Тпр!.. Нич-чего!.. тпр!.. милая!..

Прохор Порфирыч, видя беспомощное положение хмельного человека, хотел-было сначала посоветовать ему: постучись, мол. Хотел потом сам постучаться, но раздумал... «Шут их возьми!» И заключил размышлениями о том, какой человек свинья, ибо завсегда рад облопаться и насчет водки не имеет меры.

Извозчик все копошился в грязи. Лошадь поминутно шлепала в грязь переступившею ногою. Дрожки скрипели.

В непроницаемо темных сенях избы Прохора Порфирыча стояли Глафира и подмастерье. От Кривоногова отдавало вином.

— ...Это разве возможно, — шептал он над самым ухом Глафиры: — извольте послушать. — «Хочу в маскарад, ты пьяница, невытая мочалка, вопючая рогожа». — Я? — «Ты...» — Изволь! Ступай с богом. — «В лучшем костюме!» — Сделайте вашу милость... — «Я благородная! ты харя!» — Как вам будет угодно: на бал — па бал, харя-харя! как ваша душа желает... Дверью хлоп, — ушла... Потом того, слышу, с офицерами... Доброго здоровья!.. Это как же?

Впросительное молчание. Глафира вздыхает.

— Или, — говорит Кривоногов слова: — как вам покажется?.. Повенчались мы с ней... все как следует: гости,

шампанское (околеть, было-с!). Отходим в спальню: как есть муж и жена... Я... Ну, она же, например: «прочь отсюда... тварь!..» Благородно? или как по-вашему?..

Опять молчание.

— Ну и валялся, как пес, у порога... — «Вон отсюда!» И уйдешь в кухню... Это жизнь?

Шум дождя начинал слышаться яснее среди безмолвия улицы. Около повалившихся дрожек и спутавшейся лошади возился другой извозчик, уже сам хозяин квартиры и лошади, с фонарем в руках. Он сердито дергал лошадь за узду и злобно кричал: «пог-гу! но-но!» Слышалось ярое хлясканье кнутом об лошадиную морду. Лошадь билась. Извозчик торопливо и сердито бормотал:

— Прр-апоица!.. Мало ты учен?.. Жживотное! Н-но!

И снова свист кнута... «Кум!» глухо говорил пьяный извозчик, скрывшись где-то в темноте.

— Право, непасытная утроба!.. Как ни бьется, как ни бьется, а уж к ночи готов! Па-адлец ты этакой!..

— Кум! — сонно бормотал пьяный.

Извозчик с фонарем молча возился около дрожек. Сальный огарок в фонаре разливал тусклый свет на небольшое расстояние кругом, отчего три большие осины, кучей столпившиеся за забором и слегка освещенные снизу, уходили в темноту своими вершинами и казались бесконечными.

Отворив окно, Прохор Порфирыч присел к окну с папирской; хмельная голова его клонилась на грудь. С крыши лил дождь; где-то вдали с легким гулом вода била в пустую еще кадучку.

— Господи! — шептал Порфирыч. — Сохрани и помилуй ррраба твоего!

Лил дождь.

— Ка-арра-у-у-ул! — бушевало где-то далеко.

У. ИДУТ ДНИ И ГОДЫ

«...Горе по горю», — говорит пословица, а стало-быть, и в Растеряевой улице все по-старому. Только вид ее и физиономия пзменяются сообразно временам года: вот отошли

ясные, свежие осенние дни, поднялись со всех концов неба сизые тучи, заморосил пескончаемый осенний дождь — подошла глубокая осень. Растворилась грязь, настала непроходимая топь, и отовсюду навалилась какая-то непроглядная тоска. Ежятся голуби под князьком крыши, пряча носы в перья, и встряхивают в студеных просонках мокрыми крыльями. Ежятся обыватели и устами старух говорят: — «Господи! хотя бы зима поскорей!..»

Но вот пачались крепкие утренние заморозки; подошел Варварин день, повалил пухлый, рыхлый снег. В одну неделю покрыл он и улицу, и крыши, и верхушки заборов нежным и рыхлым снежным пологом, из-под которого, словно лица мертвецов из-под савапа, смотрят черные, гнилые, полуразрушенные растеряевские лачужки. Ударил мороз, повисли на крышах сосульки, понеслись ледянки, зашумела мятель и завывала по-волчьи в развалившейся трубе.

— Эка стыдь, эка стыдь! — твердят старухи, кутаясь на холодной печи. — И когда это только весна придет!

А тут, глядь-поглядь, и весна: вдоль всей улицы с шумом несутся потоки, унося с собою, в какую-то неизвестную сторону, все, что только накопилось, все, что было выкинуто на улицу зимою. Но эта картина топи и разрушения не производит однако того мертвящего впечатления, какое бывает осенью. Теплые, блестящие, греющие лучи солнца, воздух, окрашенный золотом этих небесных лучей, зовут жить. Без умолку трещат воробьи, громко, хоть и устало, каркают отошальные вороны; пасильпо выпихнутая из закуты корова, еле передвигая ноги, выползла на середину улицы, да так и зачоченела под благодатными солнечными лучами, по целым часам не ворохнется она ни одним членом; впалые бока ее, подставленные солнцу, чуть колыхнутся едва приметным дыханием; глаза тупо смотрят в одну точку. Иногда, разогретая теплом солнечных лучей, она медленно подгибает колена и валится боком на теплую и мокрую землю, испустив глубокий вздох. Галки и вороны бодро разгуливают по ее дымящейся спине, поклевывая в нее острыми носами, по счастливое в эту минуту животное не замечает обиды.

Подошла страстная неделя.

Громко загудел звучный колокол, а игривый ветер разнес эти звуки по окрестности.

В эту пору хороша даже и Растеряева улица.

А дни идут все теплей и ярче. В яркой зелени дерев исчезли черные вороньи гнезда; под заборами и посреди улицы пролегли извилистые, крепко протоптанные тропинки; солнце начинает припекать.

— Вот и лето! — говорит обыватель и, сказать по совести, говорит не без тайного ужаса, потому что впереди, в неизвестном количестве будущих годов, видится ему то же тоскливое ожидание проливных дождей, вьюг и мятежей.

И опять все то же! То же и в жизни. Правда, между постоянной борьбой с нуждой и ежеминутными отходами от нее в кабаке, в наших правах бывают минуты, когда несчастным растеряевцам удастся «отчунеть», т. е. когда в отуманенные головы гостем вступает здравый рассудок; но область, над которою хозяйничает этот рассудок, так мала, что об ней можно говорить только между прочим, хотя, повидимому, рассудку есть над чем поработать: в эти минуты весь мир божий, от понимания тайн и красот которого растеряевец почти отвык, является множеством неразрешаемых вопросов. В ту пору ново все, что ни попадется на глаза. Между тем крошечные минуты «отчуждения» плохой помощник в таком множестве запутанных дел... Убитый обыватель наш в ужасе успевает только схватиться за свою разбитую голову и, не устояв под напором нахлынувшей на него тоски, спешит снова усесться в том же властительном кабаке. Не обладал способностью изображать всю трагичность¹ этих коротких минут, я тем не менее буду продолжать мой рассказ о Растеряевой улице, удерживаясь по возможности в области деяний, совершающихся в трезвом уме и здравом рассудке, хотя и не ручаюсь за то, что желание это может быть осуществлено. Трудно не «пить» в Растеряевой улице. Впрочем, мы познакомимся и не с пьяницами только.

¹ Т р а г и ч н ы й — ужасный, потрясающий.

Оставим на время Прохора Порфирыча, — он живет так, как жил и прежде, — и будем рассказывать о других растеряевских «замечательных» личностях. Первое место между ними, без сомнения, принадлежит растеряевскому «и иных мест», т. е. иных переулков и закоулков «растеряевской округи», известному врачу, или, как он сам себя называет, «медику» — Ивану Алексеичу Хрипушину. О нем мы теперь и поведем речь.

VI. «МЕДИК» ХРИПУШИН

Военный писарь Хрипушин с давних пор слыл в растеряевской округе (и в особенности среди растеряевской чиновной мелкоты) за человека, обладающего весьма большими познаниями, и за искусного врача. Будучи человеком талантливым, он не только умел избегать общей участи наших доморощенных талантов, т. е. одиночества и беззащитности, но напротив постоянно внушал к себе уважение и даже страх. В объяснение этого должно сказать и то, что он ни в чем не следовал примеру наших доморощенных талантов: он не выдумывал *perpetuum mobile*¹, не ломал головы над устройством какой-нибудь хитрой машины, из-за которой забываются жены и дети и которая оказывается уже выдуманной. Нет, талант Хрипушина был из непогибающих. Цели его были гораздо проще: ему желательно было каждодневно посещать по возможности все растеряевские кабаки и в каждом проглотить по рюмочке.

Достойные цели эти достигались Хрипушиным весьма успешно. Одной из главных причин этих успехов была, по правде сказать, самая его физиономия. От роду никто не видывал более убийственного лица. Представьте себе большую круглую, как глобус, голову, покрытую толстыми рыжими волосами и обладавшую щеками до такой степени

¹ *Perpetuum mobile* — латинское слово — вечное движение, непрерывно действующее без притока какой либо внешней энергии. В механике вопрос *perpetuum mobile* признается неразрешимым.

крепкими и глазами, сверкавшими таким металлическим блеском, что при взгляде на него непременно являлось в воображении что-то железное, литое, что-то вроде пушки, даже заряженной пушки. Эта кованная физиономия была вся налита кровью, которая до хрипоты стиснула его коротенькую шею и выпирала наружу огромные серые глаза, которые сами по себе могли поразить человека робкого. Маленький, как пуговица, нос и выпуклости щек были зарисованы множеством синих жилок. Общий эффект физиономии¹ завершался огненным цветом усами, торчащими кверху наподобие кривых турецких сабель. Все это, взятое отдельно и в совокупности, делало, как увидим, удивительные вещи.

Все другие достоинства Хрипушина терялись перед громадностью впечатления его физиономии и служили только как бы подкреплением ее ужаса. К этим качествам его относилась между прочим и медицина, которая никогда не получила бы у растеряевцев должного уважения, если бы об этом не позаботился Хрипушин.

Все, что только способно произвести такой эффект, какой производит на детей сказка о жар-птице, все было тщательно собрано им и в разное время заявлено пациентам: рассказаны были случаи с лягушкой, засевшей какими-то судьбами под череп одной купчихи и искусно вырезанной оттуда доктором-мужиком, и т. п. Первое впечатление, произведенное Хрипушиным на пациента², было всегда так велико, что никакая нелепица не могла повредить его авторитету в глазах слушателей. Напротив, слушатель всеми мерами стремился к тому, чтобы как-нибудь объяснить себе причину только-что изображенного Хрипушиным чуда, и, не объяснив, ждал себе спасения все-таки от Ивана Алексеича. В таких случаях лавировка, которую производил Хрипушин, стараясь избежать объяснения, была опять-таки вполне достойна его таланта. Он начинал, по обыкновению, сиздалека, понемногу отклонялся от предмета и доводил

¹ Эффект физиономии — впечатление лица.

² Пациент — больной.

дело до того, что успевал осушить с пациентом не одну бутылку водки, после чего начиналось пение духовных гимнов¹ и было не до объяснений. Бывали, впрочем, случаи, хоть и весьма редкие, когда пациент весьма настойчиво обращался к Хрипушину за объяснением непонятной вещи. Тогда Иван Алексееч, с прежнею бодростью и готовностью, снова брался объяснять дело и снова на середине фразы восклицал:

— Да вы, Иван Иванович, лучше всего вот как... Вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеечек, а я вам всю эту комиссию в книжке доставлю. Рассказывать всего не расскажешь, а вы бы сами взяли книжечку... Ей-богу! Все, авось, почитаете...

— Ну что-ж, сделай милость!..

Хрипушин получал требуемую сумму, засовывал ее за обшлаг рукава, где хранилась у него целая кипа каких-то бумаг, и говорил:

— И во сто раз будет для вас лучше. Опять книга редкостная и (прибавлял он шопотом) строго воспрещена.

— Э-э?

— Да-с! Следят-с, и даже весьма опасно... так что ежели в случае чего, боже избави...

— Бог с ней и с книгой! — говорил, махнув рукой, пациент: — попадешься еще... Ну ее! Не поси!

— Как вам будет угодно!

— Нет, нет!

— Ну, как угодно... До приятного свидания!

Таким образом Хрипушин выходил сух из воды.

Между множеством черт, усиливавших влияние Ивана Алексееча, была непроницаемая таинственность, которая окружала его. Никто не знал, какого он происхождения, откуда и как попал в наш город. Вопросы эти рождались в умах пациентов потому, что сам Хрипушин иногда намекал на свое благородное происхождение, проницательно и зло подтрунивая над своею солдатскою шинелью. О таинственности происхождения Хрипушина заставляли думать и не-

¹ Г и м н ы — песнопения.

моверные познания, которыми он умел блеснуть где нужно. Растеряевцы полагали, что Иван Алексеич знал решительно все, по полное тержество высокопросвещенного человека Иван Алексеич выносил из бесед с пациентами, состязаясь с ними по предметам, знакомым для них. Главною темой для этих состязаний было священное писание. Растеряевский обыватель-чиновник всегда с любовью вспоминает свою семинарскую жизнь, вспоминает греческую грамматику, когда-то ненавидимую им, герминевтику¹, гомилетику² и пр. Годы чиновничества, конечно, не давали ему возможности ушиться вполне прелестью воспоминаний; они выедали в самое короткое время все прежние познания, так что из греческой грамматики растеряевец помнил только: «альфа, вита, гамма³», а из герминевтики и из гомилетики только одни названия наук... С такими учеными Хрипушин мог справляться сразу, несмотря на то, что, при всей скудости оставшихся знаний, они были народ задорный и любили спорить о высоких предметах, особливо под пьяную руку. Часто среди глухой полночи, в облаках табачного дыма и неистового оранья песен духовного и светского содержания, на пирушке у какого-нибудь чиновника, Хрипушин парочно заводил спор о высоких предметах и, махая у потолка фуражкой, кричал, покрывая голоса всех:

— Не соглашусь!.. Нельзя! никогда!

— Иван Алексеич! Позвольте..

— Не могу! Опровергну!..

— Пей!

Верх брал, конечно, Хрипушин, ибо впоследствии все спорящие настолько упивались вином, что языки их прилипали к гортаням, а Хрипушин, которого не могли спить никакие попойки, говорил уже один, и непременно тоном победителя.

¹ Герминевтика — семинарская «наука», объясняющая религиозные книги («библию»).

² Гомилетика — семинарская «наука», изучающая церковное проповедничество.

³ «А л ь ф а, в и т а, г а м м а» — названия греческих букв — а, б, г

— Эх, вы! — говорил он, покачиваясь пад бесчувственными собратиями: — спорить! Да имешь ли ты столько ума, чучело?

На пациентов женского пола, с которыми ни о каких науках говорить было невозможно, Хрипушин действовал более осязательною таинственностью. Так, входя, он имел обыкновение бросать фуражку в угол и затем с мрачной физиономией говорил:

— Здравия желаю!

— Иван Алексеич! зачем вы шапку бросаете?

— Оставьте без внимания, — мрачно говорил Хрипушин. — Это мое дело... Как ваше здоровье?

— Иван Алексеич, батюшка, возьми шапку на окно: право, душа не на месте.

— Сделайте ваше одолжение, не заботьтесь! это дело мое-с... и взять я ее отсюда не могу... Успокойтесь!

К довершению ужаса, Иван Алексеич, знавший, что пациентка следит с напряженным вниманием за каждым движением его, начинал пристально смотреть своими огромными глазами в угол, шевелил усами, едва заметно качал головой и принимался грозить пальцем...

— Батюшка! Голубчик! — вскрикивала чиновница, хватая Хрипушина за рукав. — Оставь! Брось!.. Ради Христа! не мучь!

— Хе-хе-хе!.. Да будьте покойны, что вы-с?

— Будет, будет, ради Христа!..

— Не беспокойтесь! — улыбаясь, говорил Хрипушин. — Вреда никакого нету... Только что... Да вы, Матрена Ильинична, вот что... вы позвольте мне хоть двадцать пять копеек: сварю я вам одну специю...

Но как при такой непсходной таинственности, окружавшей непроницаемым мраком происхождение Хрипушина и историю его жизни, как, повторяю, при этом не возбудить подозрения хотя бы просто-напросто «в беспаспортности» и не попасть в квартал? Хрипушин глубоко понимал это и для охранения своей особы от беспокойств и лишений, причиняемых кварталом, сумел заставить полюбить себя, как родную, необыкновенно умную, но загнанную и забро-

шенную силу, которой не понимает никто, которую всякий может обидеть и засадить в острог. Пациенты любили Хрипушина и дорожили своим медиком, как раскольники берегут и жертвуют всем ради своих понов. С целью достигнуть этой любви, Хрипушин прежде всего старался поднять упавший патриотизм растеряевцев. Во время севастопольской кампании он производил в нашей стороне неописанный фурор¹... С каким удивительным искусством передавал он подвиги солдата Кошки, ускользнувшего из-под носа целой французской армии! Не забыта была и баба, которую захватили на английский фрегат², для того чтобы отнять моченые яблоки, которыми она торговала, — без конца!.. В обыкновенное мирное время Иван Алексеич действовал тоже при помощи разных иноплеменников, только картины выбирал не столь батальные. В мирное время он упоминал о том, как англичане предложили сто миллионов тому, кто «с одного маху» нарисует вот этакую штуку... И что же! Ни один из народов не мог этого сделать... Взялись «наши» — и в одну минуту! От миллионов наши, конечно, отказались и попросили полштоф вины и фунт паюсной икры. Потом, благодаря Хрипушину, растеряевцам было известно, что те же англичане предложили двести миллионов тому, кто год пролежит на одном месте; наши опять взялись — и пролежали втрое больше означенного англичанами срока... Рассказы в таком роде тянулись до тех пор, пока слушатели-пациенты вполне не убеждались в превосходстве нашего народа над всеми народами мира. Когда это было достигнуто, Хрипушин тотчас же принимал унылый вид и с грустью говорил:

— А как у нас этих-то людей ценят? стыдно подумать! стыд! срам!..

П затем начинались доказательства: тут упоминалось и о трех денежках в сутки, и об участии изобретателей разных секретов, о механиках-самоучках и т. п. Затем Хрипушин паходил удобным выдвинуть на сцену наконец и себя:

¹ Ф у р о р — здесь успех.

² Ф р е г а т — военное судно.

— Да вот, — кротно говорил он: — хоть бы и мое дело... Слава богу, пятнадцать али больше годов пользую публику и никогда от нее неудовольствия не видал, а между прочим, позвольте вас спросить, какое же я себе награждение вижу?.. Шинелишка-то эта да фуражка? — это, что-ль? Да ведь это и все, на всю жизнь! Еще и теперича случается, иной раз не евши сутки-двое проходишь; ну, а как старость-то придет, тогда как?

При этом Хрипушин вынимал из обшлага рукава скомканный в кулак и изодранный клетчатый платок, торопливо утирал нос и слегка касался глаз, на которых показывались слезы. Благодаря частому морганию заблеставших слезами глаз и в особенности благодаря скомканному, рваному клетчатому платку, Хрипушин приобретал полное сочувствие публики.

— А случись доктор какой-нибудь, будь на моем месте немец? И людей бы морил и миллионщиком бы сделался?

— Это верно! — подтверждали слушатели.

— Да уж я вам говорю! А что же он, будьте так добры, особенного-то имеет?.. Знаем-то мы, пожалуй, и почище его кое-что... Ну, а спешит-то чем берет? Н-нет-с, у нас свои не ценят ни в грош! Немцы-с! ученые-с! как можно, чтобы мол, какой-нибудь Иван Хрипушин с ним поравнялся? А Иван-то Хрипушин иной раз, пожалуй, и с ученым бы потягался... А как вы полагаете?.. Да я вот что скажу насчет заочного лечения навряд ли, чтобы со мной кто равенство имел...

Рассказав несколько действительно пзумительных случаев заочного лечения, причем иногда приходилось лечить, не видя пациента и не зная его болезни, так как пациент старался держать это дело в секрете, он восклицал:

— А ну-ко-сь немец-то?.. Что он тут выдумает? Язык смотреть? Э-ге, брат!.. Кроме языка еще много чего есть... Позвольте, будьте так добры, уж еще рюмочку... Язык! Нет, ты попробуй этак-то, когда тебе ничего не показывает, тогда я с тобой поговорю!

Хрипушин выпивал вторично и прибавлял:

— А наш брат все без хлеба, все середь улицы валяется!..

Таким образом при помощи своих познаний Иван Алексеич достигал того, что каждый день возвращался домой с практики под хмельком. Жил он в глухой улице, и не один, как были все уверепы, а с раскольницей-женой, от которой ему не было житья ни днем, ни ночью. Можно, не ошибаясь, сказать, что буйная супруга Хрипушина, выгонявшая своего мужа из дому единственно ради его рыжих волос, и была причиною того, что Хрипушин из боязни, чтобы не умереть с голоду, выдумал свою медицину и всю свою изумительную эрудицию¹. В доме супруги он делался агицем, терял всю свою солидность и думал только о том, как бы защитить свою голову от ударов супруги, грозивших обрушиться на него каждую минуту.

Ко всему этому мне остается прибавить немного. Костюм Хрипушина был: солдатская старая шинель с разнокалиберными пуговицами и воротником, затянутым до невозможности. На голове он носил фуражку, внутри которой помещался платок. Насчет способа лечения должно сказать, что Иван Алексеич избирал средства преимущественно радикальные: у одного чиновника, например, с детства сидел в ухе кусок грифеля, — Иван Алексеич предложил ему стать вверх ногами. Один из пациентов его надорвал живот, — Хрипушин брал больного на плечи и, держа за ноги, встряхивал несколько раз. Вообще деятельность Хрипушина была велика и разнообразна, и количество знакомых большое.

VII. ХРИПУШИН ИЩЕТ РЮМОЧКИ

Идет Хрипушин по глухому Томилинскому переулку, одному из бесчисленных переулков растеряевской округи и раздумывает, где бы ему вышить рюмочку и закусить

¹ Э р у д и ц и я — ученость;

икоркой. Кругом стоит полуденная тишина и зной. Где-то, в отдалении, среди густых фруктовых садов скрипят одним кольцом качели; в стороне слышится удар ладышкой в забор и вслед за тем детский голос кричит: «плюцка!» «шестер»! Звук шагов, раздавшийся под окном у мастерской сапожника, заставил хозяина, сидевшего за работой, поднять голову и засвидетельствовать Ивану Алексеичу почтению.

— Здравствуй, здравствуй, друг! — говорит Хрипушин, трогая фуражку: — как бог носит?

— Ничего, Иван Алексеич! Помаленьку... День без хлеба, два дни так... Хе-хе-хе!..

— Доброе дело! Ну, будьте здоровы!

— Счастливо!

Сапожник снова принимается за работу и, тихонько попевая, протергивает обеими руками дратву, постукивает о каблук молотком и поплеывает куда надо, а Хрипушин продолжает свое шествие. За несколько шагов до мелочной лавки он снова принужден снимать фуражку, так как хозяин, завидев Хрипушина, оставил свой зеленый стул, помещавшийся на высоком лавочном крыльце, и раскланывался с ним, держа шляпку на отлете. После обоюдного приветствия Иван Алексеич, по обыкновению, спрашивает: «как здоровье?» Хозяин поблагодарит, объявляя, что все слава богу.

Так идет прогулка Хрипушина в ожидании практики. Но вот наконец и сама «практика».

«Иван Алексеич!» раздалось над самым ухом Хрипушина.

В маленькое, ветхое окошко выглянула физиономия старушки-чиновницы Претерпесовой. Старушка кивала головой по направлению во внутрь комнаты и шепотом говорила:

— Зайди, зайди, отец мой!..

— Здравия желаю! — почтительно произносит Хрипушин, столь же почтительно наклоня на бок обнаженную голову.

— Зайди, батюшка, дело есть!.. Одно только словечко сказать...

— С великим удовольствием!

Хрипушин вступил на маленький топкий двор, нагибаясь в пизенькой двери, пролез в сени и наконец очутился в горнице. Везде на ходу замечал он признаки расстроенного хозяйства, перадения, неряшливости, везде на глаза его попадались вещи сломанные, разбитые, опрокинутые, грязь, немывтые полы и лужи. «Парадная» комната, куда он вошел, веяла тою же пустынностью и отсутствием заботливости: шкап, предназначенный для посуды, был пуст; на верхней полке болталась позеленевшая медная ложка, на нижней помещались тарелки с иззубренными и заклеенными замазкой краями. Все семейство Хрипушин застал в расстройстве и негодовании. Четыре дочери Претерпеевых, одетые весьма небрежно, ходили, надувшись друг на друга. Самая старшая из них, обладавшая кроме невзрачного платья еще каким-то невероятным коком на самом лбу, пукнулась на Ивана Алексеича в передней и сердитым голосом сказала ему:

— Ах, мусье¹ Хрипушин, ради самого бога, хоть вы усостите их!.. Это наконец невыносимо! Спл нет!

— Что же такое-с?

— Да тятенька!

Девица вспыхнула и с сердцем толкнула дверь в кухню.

Иван Алексеич, почувяв общую беду, медленно вошел в комнату и осторожно присел на стул около стола.

— Посмотри-ко-сь сюда, отец, — шептала старушка, поднимая из-за стула пустой графин, на дне которого торчал переломленный стручек. — Вот этих-то три уж!.. а?... День-денской, день-денской, без роздыху! Эка жизнь! Господи!..

Хрипушин молчал и соображал.

— Намедни, — продолжала старушка, наеживая из другой посуды рюмку водки: — намедни три раза из должности присылали, управляющий спрашивал — не мог! Ну, без чувств, как есть, и людей не узнает! а? Эка жизнь!.. Выкушай, Иван Алексеич... Как же быть-то, отец?.. Нет ли чего-нибудь?

¹ М у с ь е — искаженное французское слово «господин».

Старушка умоляющими глазами смотрела на Хрипушина. Тот вздыхал, кричал и прожевывал закуску. Где-то, за перегородкой, слышался невнятный бред спящего человека и злой, нетерпеливый шепот сестер: — «Отдай мою шпильку! Это моя шпилька!» — «Вот еще новости!» — «Марья, отдай! я крикну!» — «Очень пужно! У! бесстыжая!» Хрипушин все кричал и соображал. В комнату быстро вошла старшая дочь, шлепая стоптанными башмаками; в руках у нее был медный изломанный кувшин с водой; не обращая внимания на плескавшуюся из кувшина воду, она с сердцем толкала коленями стулья около окон, с сердцем тыкала пальцем в засохшую землю запыленной ерапи¹ и с таким же ожесточением затопляла забытый цветочек водою.

— Да из-за чего вы изволите беспокоиться? — решил проговорить Хрипушин. — Все, слава богу, благополучно!

— О, пу вас, ради бога!

Слезы быстро наполнили ее глаза, и она бросилась в дверь, стукнув кувшином о притолоку.

— Обеспокоены! — заметил Хрипушин.

— Да, батюшка! — слезно заговорила старушка: — какое же тут тут может быть спокойствие!.. Кажется, дрожим, дрожим!.. Опять, пуще всего в том досада, — ничего не говорит...

— Молчит?

— Молчит и молчит!.. Что ни думали, что ни делали, ничего!..

— Болезнь трудная...

— Ммм... — послышалось за перегородкой. — Н-невозможно!

— Как запущена! — прищуривая глаз, прошептал Хрипушин и покачал головой.

— Запущена? — плача повторила старушка.

— И весьма запущена!

— Батюпка...

— Н-невозможж..! — опять раздалось за перегородкой.

В разных углах дома раздалось всхлипывание.

¹ Ерань (герань) — комнатное растение, весьма распространенное в мелком чиновничьем быту.

— Покой-с! Покой дайте больному! — останавливал Хрипушин рыдавшую старушку.

«Видите?» срыву проговорила старшая дочь, на мгновение появляясь в дверях; глаза ее были красны. «Видите», продолжала она, указывая рукой на перегородку. Хрипушин изумленно смотрел на нее. Девушка, не говоря больше ничего, повернулась и исчезла, хлестнув пружинами кринолина¹ об стену. Настало тягостное молчание. За перегородкой не слышно было никаких звуков, слезы исчезли, но общее негодование и грусть говорили, что беда еще не миновалась.

— Так как же, батюшка? — спросила наконец старушка, вытирая глаза концами изорванной шали.

— Да падобно, Авдотья Карповна, подумать-с... Что вы то печалитесь?

— Ох, отец мой!..

— Вы должны показывать собой пример! Вы — мать! Через ваше уныние, может, еще более у Артамона Ильича подугов прибавляется... Это нельзя-с!.. Да кроме того, с божию помощью, сварим мы кой-какую специю: может оно и полегчает...

— Специю или что-нибудь, что знаешь, батюшка. А не то свози ты его к бабке в Добрую-Гору... Многим старушка помочи дала... Сделай милость!.. Век, кажется, за тебя буду бога молить...

— И это можно... Только не упывайте и не ропщите!.. А насчет старухи как вам будет угодно: могу и за ней съездить и Артамона Ильича свозить...

— Свози, свози ты его, благодетель наш!..

— Извольте, извольте-с... Только не будет ли у вас мелочи сколько-нибудь!.. На первое время...

VIII. СЕМЕЙСТВО ПРЕТЕРПЕЕВЫХ

Лет двадцать тому назад семейство Претерпеевых представляло картину совершенно другого рода. В то время Артамоп Ильич и Авдотья Карповна только-что перебра-

¹ К р и н о л и н — особого фасона женская юбка на тонких стальных обручах-пружинах, бывшая тогда в моде.

лись, после брака, на житье в эту Томилинскую улицу. Артамон Ильич, длинный сухопарый чиновник, подновивший женитьбою свою тридцативосьмилетнюю физиономию, отличался высокою кротостью и вполне подчинялся жене. Авдотья Карповна была маленькая, черноволосая свежая жепщина, насквозь пропитанная хозяйственностью: ни одной щепки, пужной в хозяйстве, она не пропускала без внимания и делала все это без крику, без брани, с лицом постоянно веселым. Впоследствии, когда наконец супруги поселились в своем маленьком повом домике, Авдотья Карповна до того предалась хозяйству, что Артамоу Ильичу решительно нечего было делать. Авдотья Карповна, не уставая, шныряла из кухни в комнату, из комнаты в погребницу, шила, вытирала стекла, выгоняла мух, сдувала пыль и пр. Артамон Ильич благоговел перед женой и тосковал, не имея возможности хоть чем-нибудь содействовать успеху собственного благосостояния.

Счастье самое полное царило в жилище Претерпеевых.

Авдотья Карповна старалась, из угождения к мужу, возвести хозяйство до высшей степени совершенства. Артамон Ильич, не зная, чем угодить жене, безмолвствовал, не пил ни капли водки, не спал после обеда и не носил халатов. Любовь его к Авдотье Карповне, согревшей его сердце, долго стывшее в холодной жизни, была беспредельна. Артамон Ильич, впрочем, не мог с достаточною экспрессиею¹ выразить эту любовь: лицо его оставалось попрежнему спокойным, даже несколько холодным, и о признательности своей он не говорил жене ни единого слова; тем не менее супруги боготворили друг друга.

Шли годы. У Претерпеевых явились дети, из которых остались живы только четыре дочери. Но и увеличение семейства не было еще в силах поколебать совершенно правдивое боготворение, питаемое супругами друг к другу. Явились новые расходы: Авдотья Карповна завела корову и принялась торговать молоком и творогом. На огороде был

¹ Экспрессия — здесь — выразительность.

разведен картофель, и осенью открыта продажа всех овощей. Все шло как нельзя лучше. Авдотья Карповна одна справлялась с нуждами семейства; Артамону Ильичу оставалось попрежнему быть покойным и благоговеть. Он так и делал, потому что, когда однажды, в видах соблюдения расходов, он попробовал отказаться от нового казинетового сюртука, то Авдотья Карповна мало того что сделала ему внушение, но кроме сюртука сшила еще новые сапоги. Сама же Авдотья Карповна, по мере того как подрастали дочери, отказывала себе во всем: она по годам трепалась в двух старых ситцевых платьях и носила наль, которую за негодностью не хотела надевать даже ее бабушка. Вследствие этих сбережений в комнате дочерей появилось четыре новых сундука для приданого, и в них уже покоилось по нескольку трубок хорошего полотна.

Этими урезываниями собственных нужд в пользу будущего приданого заботы Авдотьи Карповны о дочерях не ограничивались.

Однажды Авдотья Карповна объявила мужу, что желает отдать старшую дочь Олимпиаду в пансион. Артамон Ильич давно уже догадывался об этом желании супруги и, по правде сказать, боялся его. Разные одинокие размышления привели его к убеждению, что «образованность» не принесет его дочерям ничего, кроме гибели. Он обдумал это во всех подробностях и поэтому что ж мудреного, что, когда жена обратилась к нему за советом, сердце его екнуло. Где возьмет он силы победить этот умоляющий взгляд супруги? Разве хватит у него духа разбить так давно лелеянную мечту?

— Как же ты думаешь? — спрашивала убитым голосом Авдотья Карповна, пелугавшаяся бледного лица мужа. — Али уж не отдавать? — прибавила она с замирающим сердцем.

— Нет! нет! — воскликнул Артамон Ильич: — отчего же?

И Олимпиаду отдали в пансион.

В первый раз Артамон Ильич допустил в своих отношениях с Авдотьей Карповной неправду, и душа его была воз-

мущена. Непокойна была душа и у Авдотьи Карповны; она подглядела бледность на лице мужа в то время, когда дело шло о пансионе, и со страхом подумала: «не проста это!» Почудилось ей, что Артамону Ильичу вовсе не хотелось учить дочь.

«А если он не хотел этого, — думала Авдотья Карповна: — стало-быть, имел основательные резоны. Артамон Ильич не такой человек, чтобы сдурю что сделать...»

Когда эти соображения залетели в голову Авдотьи Карповны, она в первый раз почувствовала перед мужем какую-то провинность и трепетала каждую минуту, боясь увидеть доказательства собственного промаха. Устроив дочь в «пансионе», она с особенною внимательностью принялась следить за каждым движением Артамона Ильича, за каждым изменением физиономии мужа. Прошло много лет, сотни куличей и сдобных булок было поднесено начальницам Олимпиады в день их тезоименитств и в высокаторжественные праздники; дочь перевели уже в последний класс, а Артамон Ильич попрежнему безмолвствовал, попрежнему не спал после обеда и не пил водки. Все было как должно. Раз даже, когда сама Авдотья Карповна чуяла беду неминуемую, Артамон Ильич ни на волос не изменил своей тихости: Олимпиада явилась с просьбой свозить ее в театр.

— Все бывают, — кисло говорила она: — а я нет! Я хочу в театр!

Артамон Ильич молча сделал дочери удовольствие. Как Авдотья Карповна пристально ни смотрела на мужа, в эту минуту она ничего не заметила и порешила-было совсем успокоиться, как случилась новая история. За несколько месяцев до выпуска Олимпиада обратилась к родителям с предложением распустить на всех ее платьях складки. Просьба эта была произнесена таким капризным тоном образованной барышни, с такими энергическими надуваниями губ, что Авдотья Карповна помертвела. К довершению испуга ее Артамон Ильич, преспокойно сидевший у окна, при последних словах дочери повернул голову и посмотрел на нее пристальным взглядом.

Складки были распороты. Олимпиада удовлетворена,

Артамон Ильич неизменен, но в жизни супругов не было уже чего-то. Не было правды. Авдотья Карповна, чувствующая свой промах перед мужем, понимавшая, что у Артамона Ильича на душе не сладко, приписывала его муку себе. всеми мерами старалась сделать ему угодное и делала все поэтому против собственной своей воли, которую она ставила ни во что и не верила ей. Таким образом благодаря дочери супруги незаметно разъединились. Между ними не было уже той откровенности, какая царила прежде. В каждом последующем их действии присутствие «конфуза» делало несообразности, каких они никогда и ожидать не могли. Предметом этих несообразностей была все та же Олимпиада, которую все более и более начинала одолевать «образованность».

При каждом требовании ее Авдотья Карповна, из угождения мужу и большею частью против собственного желания, восклицала:

— Как это можно!

— Нет! нет! — прерывал Артамон Ильич, пораженный в самое сердце несообразным желанием дочери: — что ты, Авдотья Карповна? Отчего же и не сделать ей удовольствия? Худоого нет...

И удовольствие делалось с общего согласия. Наивные супруги начали конфузиться друг друга и хотели взаимным угождением прикрыть свою наготу словно листком. Благодаря этой добродушной стыдливости, все требования «образованности», проявлявшиеся в Олимпиаде, удовлетворялись вполне. Этому кроме того много способствовала безграничная любовь к дочери, которую они не решались огорчить. Таким образом Олимпиада Артамоповна, смертельно тосковавшая в доме родителей, все время по окончании курса проводила в одном «барском» семействе, где была ее подруга по пансиону. Артамон Ильич знал, что семейство это принадлежит к числу разорявшихся дворян. еле дышащих на последние крохи, но все-таки сам провожал дочь свою туда на вечера «с танцами», так как разорявшееся семейство, при малейшей возможности вздохнуть, тотчас же задавало балы и разные затеи. Балы эти и другие прихоти

Олимпиады Артамоновны повели за собой невероятные для супругов расходы. Явилась надобность в платьях, лентах. Целые дни в доме Претерпеевых шла кройка материй, и шитье нарядов; растеряевская портниха или, как ее здесь называют, «модница» имела здесь полный простор для своей деятельности. Все это в конец измучило обоих супругов. Артамон Ильич потерял всякое соображение, Авдотья Карповна — всякую расторопность; она как-то осовела и целые дни еле передвигала ноги, будто только-что вышла из жаркой бани. В таком парализованном состоянии супруги опростоволосились до того, что, по желанию Олимпиады Артамоновны, устроили в своем крошечном жилище званый вечер, ибо этого требовало «приличие», как справедливо заметила дочь. Услыхав предложение о бале, Авдотья Карповна подумала про себя, что в самом деле надо же отплатить господам за их радушие к дочери, но, под влиянием побледневшего лица Артамона Ильича, воскликнула:

— Чтò ты! Чтò ты! Где нам балы задавать... Вот еще, господи!

— Нет, нет! — восклицал Артамон Ильич, посоловешший от этой затеи. — Отчего же? Мы, слава богу, не нищие!

И, в доказательство своих слов, он бросился в лавку за покупками, дрожа всем телом.

— Вот как у вас понче, Артамон Ильич! — сказал ему лавочник. — Бал!

— Голубчик! — почти со слезами прервал его Артамон Ильич. — Не говори!

Во все время «бала» Артамон Ильич и Авдотья Карповна ходили на каких-то истуканов с оловянными глазами; Артамон Ильич дошел даже до того, что, когда кто-то из молодых людей пожелал закурить папироску и попросил огонька, он не двинулся с места и страшно испугался. Но когда забренчало фортепиано и начались танцы, Артамон Ильич очнулся: на физиономиях кавалеров и в их поступках он заметил что-то пехоршее; он видел, как кавалер, взявший Олимпиаду на польку, подмигивал соседу и старался половчее обхватить талию своей дамы; он видел, как

в ответ на это другой кавалер многозначительно покашливал и слегка поддакивал ему утвердительным кивком головы. Иногда Артамон Ильич, словно в забывчивости, делал шаг по направлению к танцующим, чтобы остановить дочь, повисшую на руке кавалера, но мысль, что эти кавалеры и все эти благородные барышни будут смеяться потом над Олимпиадой, останавливала его, и он снова тащился в угол. В другой раз он инстинктивно отправился в сад, куда перед тем скрылась Олимпиада с кавалером. Но едва он сделал шаг, едва услышал издали веселый разговор дочери, как ноги его почему-то не пошли дальше. Как он проклинал этого негодного кавалера! Наконец, когда дочь его сердито крикнула: «Это что за новости?» Артамон Ильич бросился к беседке и хотел оборвать кавалера, но почему-то только кашлянул и поспешил уйти.

Рано ли, поздно ли, а все эти увеселения кончились. Олимпиаде Артамоновне пришлось жить исключительно в доме родительском, и она действительно странно скучала. Гнев ее возбуждало все, начиная от захолустья, где жили они, до кривого зеркала, в котором самое ангельское лицо превращалось в лицо сатаны. Кроме того Олимпиаду Артамоновну мучило то, что после разлуки с «высшим» обществом ей решительно нигде было показать себя и своих нарядов; единственный пункт, где собиралось общество, была церковь, по кого же приходилось ей встречать здесь: мастеровых, сапожников, мещан, чиновников с запахом водки и с небритыми бородами. Она одна по целым дням сидела дома, и ей не с кем было слова сказать.

— Отвращение! — с сердцем говорила она.

Артамон Ильич безмолвствовал.

Прошло три года; подросли другие три дочери, образование которых было возложено на Олимпиаду Артамоновну и которые вследствие этого не знали ровно ничего; они позаимствовали у сестры только манеру надуть губы, весьма выразительно говорить: «отвращение», и начали выступать против родителей с собственными протестами, пользуясь тем, что протесты сестры переносят родители беспрекословно. По примеру сестры, они роптали насчет

складок и т. п. Авдотья Карповна, не считая их образованными, пробовала было прикрикнуть на них:

— Вы-то что? вам-то какого еще рожна недостает? — сердилась она.

— Маменька! Это что такое? — вступалась Олимпиада. — Так только на горничных можно кричать... Мы не горничные!

Авдотья Карповна замолкла. Протесты таким образом повалились на стариков градом со всех сторон... Года через два-три они уже сводились, к счастью, на одно только требование «жениха». В недовольных физиономиях дочерей родители явственно читали это требование; даже Олимпиада Артамоновна, кажется, не прочь была в настоящую минуту от посещения хотя бы и растеряевского кавалера.

«Ну, Артамон Ильич», сказала наконец как-то Авдотья Карповна мужу: «Тащи женихов, наших-то, палатских!»

— С великим, матушка моя, удовольствием! — обрадовавшись, отвечал Артамон Ильич.

Никогда супруги не были так радостны и веселы... Но радость их была недолга.

По всей «растеряевщине», во всем соседстве Претерпеевых про них шла уже молва. Томилинские дамы были обижены неприглашением на балы, томилинские кавалеры — пренебрежением к ним, по случаю знакомства с петербургскими и высокоблагородными, а главным образом вследствие того, что им не удалось отведать тех дорогих вин, которые два года тому назад покупались для благородных гостей. Все это обрадовалось и возликовало, когда, во-первых, узрало от лавочника, что три целковых, должны за триаиновые свечи, до сих пор не заплачены Претерпеевыми и, во-вторых, когда увидело самого Артамона Ильича, с особенным рвением желающего завлечь к себе нашу томилинскую молодежь.

— Ай!.. подошло! — радостно подмигивая друг другу, говорили чиновники и перемигивались.

— Что же это у вас господа-то помещики петербургские не бывают? — спрашивали они, подсмеиваясь над Артамоном Ильичем.

— Уехавши-с!.. Давным-давно-с!..

— Гм... Уехали!.. Ну, а Олимпиада-то Артамоновна отчего такие завсегда тоскливые?..

— Ах, господи Иисусе Христе: — вскричал Артамон Ильич. — Чего тоскливые? Да господь ее знает!

— Господь! — поддакивали чиновники и подмигивали одним глазом.

Таких «кавалеров» Артамон Ильич завлек в свое жилище только тогда, когда обещал угостить вишнежкой и па закуску подать маринованных пискарей. Кавалеры наконец пачали посещать Претерпеевых. Но, господи, что это были за кавалеры, что это были вообще за люди!.. Обезображенные бедностью и одиночеством, они словно дикие звери смотрели на постороннего человека. Один вид искаженных физиономий, эти грязные малишки с торчащими из-за галстука тесемками, эти вечпо испуганные лица, редкие прилипнувшие на висках и на лбу волосы — все это в совокупности могло возбудить отвращение не только в Олимпиаде Артамоновне, но и вообще в человеке, не выносящем неоприятности. Ни один из них не умел сказать путного слова, то-есть просто-напросто кавалеры эти не говорили ничего: об чем им было говорить с такой барышней, как Олимпиада Артамоновна, которая говорит по-французски, играет на фортепиано и в разговоре употребляет слова в роде: «афрапировало»¹ и пр. и пр.? Они чувствовали себя несколько свободными только тогда, когда Артамон Ильич просил их выпить водочки; тут они делались истинными артистами, потому что искусство глотания рюмок было доведено ими до высшей степени совершенства. Тут они на взгляд Олимпиады Артамоновны представлялись просто «мужиками»... Отвращению ее не было пределов. Вслед за пей томилинских кавалеров забраковали и другие сестры. Артамон Ильич хотел-было вразумить дочерей, что иначе и быть не может, хотел-было заговорить, но, увидав, что Авдотья Карповна сочувствует дочерям, стал поддакивать жене и предложил отказать кавалерам.

¹ «Афрапировать» — поражать.

— Как это можно! — возразила Авдотья Карповна, по обыкновению, против собственного желания.

— Нет, нет! — в свою очередь возражал ей муж. — Нельзя... Великая неволя с такими пьяницами!

Кавалеры томилинские были изгнаны. Тут-то они и показали себя во всем блеске. Застенчивость и конфуз, одолевшие их при Олимпиаде Артамоновне, заменились тою высокою наглостью, на какую способны только одичалые люди. Без ругательств они не могли пройти мимо ее окна и старались, чтобы она непременно слышала их слова. В церкви, на улицах указывали пальцами, примаргивали, присвистывали. Целые истории пущены были в публику про претерпеевскую барышню: рассказывали, что не дальше, как третьего дня у Претерпеевых был помещик Арапников, наделавший в прошлом году шуму своим кутежем с актрисой, и будто бы подарил ей брошку. Некоторые «дамы» рассказывали, что они сами своими глазами видели эту брошку. Другие прибавляли, что Олимпиада была уже вместе с матерью в гостях у Арапникова, и ссылались, в подтверждение этих слов, на извозчика Гришку, который будто бы из гостей привез одну мать. Томилпнская скука подхватила на удочку эти новости и целые дни трубила о претерпеевской барышне. Везде, где только ни показывался Артамон Ильич, с ним, не церемонясь, начинали разговор о его дочерях...

Артамон Ильич так упал духом, так был убит всем этим, что, думая восстановить истину, пытался вступать с клеветниками в горячий спор и, не одолев, почти со слезами начинал умолять:

— Неправда! — говорил он: — все лгут! Как не грех перед богом?

— Мы, брат, знаем, — отвечали ему.

— Да не верьте вы, Христа ради! Какой это такой и Арапников есть на свете, мы его и в глаза не видали. Я — отец! я знаю!

— Ничего ты не знаешь, хоть ты и отец. А спроси-ко-сь ты извозчика Гришку, он тебе кое-что порасскажет.

— Господи! — произносил с отчаянием растерзанный

Артамон Ильич и умолял только об одном: не рассказывать этих слухов больше никому.

Но этими мучаками на улице и в канцелярии мучения его не исчерпывались. Дома мучило его сожаление своих дочерей, своей жены и вид нищеты. Дочери знали, что про них толкуют томилицы; были обижены ими и поэтому злы... Как на корень зла, пегодование дочерей прежде всего обрушилось на Артамона Ильича, который решительно ничего не умеет сделать, даже жепиков для дочерей не мог отыскать и пригласил каких-то тряпичников, которые врут про них без умолку всякие нелепости. К довершению картины общего расстройтва в семействе Артамон Ильич заметил вражду между самими сестрами; они поминутно ссорились между собою за ленту, за булавку, и причину непосещения их молодыми людьми приписывали Олимпиаде в той же мере, как и отцу. — «На тебя никто не угодит! — говорили они ей. — Графа тебе, что ли, пужно? Бешеная!» Артамон Ильич видел, как с каждым днем под влиянием тоски и злобы увядали свежесть и красота его дочерей. Видел, как Олимпиада Артамоновна, сама постигнувшая свои ошибки, смотрела на него, как на дурака, не умевшего остановить ее во-время; видел, как его любимица-дочь ходила в изорванных платьях, в стоптанных башмаках, наконец чуял злобу и пегодование, царившие над всем его домом; понял, что все пропало, все лезло врозь, и желание их с женой сделать жизнь детей лучше — не удалось, и вот он сразу запил, а через год-другой сделался просто-таки «горьким пьяницей».

«Растеряевщина» не ожидала такого окончания. Она сжалилась над Артамоном Ильичем. Всякий, кто от скуки сплетничал на его семью, спешил помочь ему, если видел, что Артамон Ильич упал на тротуаре и не может подняться.

— Артамон Ильич, батюшка! Что с вами? Вставайте, сделайте милость! — говорил испуганный сосед. — Пожалуйте вашу руку. Я вам подсоблю.

— Не стою! Н-не стою! — кричал Артамон Ильич. — Н-не стоит дураку помогать!.. Дурак! Дурак я!

— Вставайте скорей, бог с вами! Увидят люди, — что хорьшего..

Артамон Ильич не соглашался. Если же соседу и удавалось вымолить его согласие, то и после того возни с ним было еще много.

— Вставайте, вставайте! — говорил сосед.

— Нет, позвольте! — вырывая руку из руки соседа, лепетал Артамон Ильич. — Кто вы?.. В первый раз в жизни вижу вас!..

— Будет вам, ради бога!..

— Нет, позвольте!.. И решается оказать помощь беспомощному?.. Кто вы, благодетель мой?..

— Сосед! Сосед ваш... Иванов... Вставайте!.. Дайте руку!..

— Извольте-с!.. встану!..

Сосед начинал подымать Артамона Ильича, полагая, что наконец все кончено, как вдруг Артамон Ильич вырывал назад свою руку, снова падал на тротуар и бормотал, стаскивая с головы шапку:

— Нет, позвольте... Я перекрещусь!.. Бога я поблагодарю... за вас!.. Он!.. Он, батюшка... владыка, послал...

И Артамон Ильич нетвердою рукою крестил свое лицо, мгновенно затопленное слезами.

Дома Артамон Ильич был молчалив и, явившись в нетрезвом виде, старался забиться куда-нибудь в угол, в чулан, на погребницу, а при появлении слова кого-нибудь из семьи закрывал глаза, притворяясь спящим. Никогда от него не могли добиться слова. Недуг Артамона Ильича вконец расстроил семью. Разоренье дошло до высшего предела. На службе держали его только из жалости и грозились выгнать, если дела пойдут в таком виде «вперед». К бесчисленным заботам Авдотьи Карповны прибавилась забота о муже. Она ничего не жалела, лишь бы поставить его на ноги: запахарки и разные умные люди шептали над ним, отчитывали по «черной книге», поили всякой всячиной, но ничего не помогало. Хрипушин, неоднократно пользовавшийся Артамона Ильича, оправдывал неуспех лечения тем, что ему никогда Авдотья Карповна не давала

докончить его как следует; непременно поторопятся, позовут другого, и все, что сделал он, Хрипушин, пропадает ни за что. Такие оправдания поддерживали в Авдотье Карповне веру в знаменитого медика, и она решилась еще раз обратиться к нему.

После свидания, изображенного в первой сцене, Хрипушин дня через два подъехал к дому Претерпеевых на телеге. Артамон Ильич только что проснулся и был трезв. Когда ему объяснили причину приезда Хрипушина, он тотчас же согласился с женой насчет познаний бабы-знахарки и не сомневался в собственном исцелении, хотя вполне знал, что никакая Добрая-Гора и никакой Хрипушин не сделают ни на волос пользы.

Артамона Ильича усадили в телегу; рядом с ним сел Хрипушин. На перекрестке медик и пациент перекрестились, пожелали себе успеха и повернули за угол... Вослед им долго смотрела из окна Авдотья Карповна...

Выехав в поле, Хрипушин почувствовал, что ему совестно перед Артамоном Ильичем, лицо которого ясно показывало, что он ни на волос не верит волхованиям¹ старух и Хрипушина, а едет лечиться единственно из угождения семье.

Долго между обоими ими тянулось самое мучительное молчание. Артамон Ильич заговорил первый:

— Это ты лечить меня, Алексеич, собираешься? — сказал он с горькой улыбкой.

— Да надо бы, Артамон Ильич, — смешавшись, заговорил Хрипушин. — Надо бы вам... того... попользовать вас.

— Э-э, голубчик! — перебил пациент. — Друг! — присовокупил он, касаясь плеча извозчика. — Повороти-ка ты лучше всего налево... Вон туда!..

Слева от дороги торчал кабак.

Возница стал поворачивать. Хрипушин безмолствовал.

Артамон Ильич проснулся в траве около кабака на другой день к вечеру. Хрипушин, успевший во время припадка

¹ «Волхования» — колдовство, гадание.

своего пациента дать несколько благих советов целовальничихе и ее старухе-свекрови, стал торопить его домой. Ему нужно было доставить Артамона Ильича трезвым. Скоро они собрались и поехали.

— Хоть по крайности, если уж излечить вас нельзя, — въезжая в Томилинскую улицу, говорил Хрипушин: — по крайности фигуру-то свою хоть на минуту соблюдайте.

— Фигуру-то я... я соблюду! — согласился пациент.

После общих надежд на благополучие, надежд, особенно ревностно подтверждаемых самим Артамоном Ильичем, на столе в горнице закипел самовар, и Авдотья Карповна вступила с Хрипушиным в самый дружеский разговор. Артамон Ильич вышел пройтись в сад. Здесь он прилет на скамейке в беседке и долго-долго рыдал.

В соседнем саду слышался веселый смех, и скоро в беседке, отделенной от Артамона Ильича забором, послышалось бряканье чашек, шипение самовара и наконец разговоры.

— Чем же угощать вас, господа? — говорил сосед Иванов, оказавший вчера Артамопу Ильичу помощь на улице.

— Что за угощение! — отвечали любезно гости, и один из них тотчас же прибавил, понизив голос:

— Соседки у вас, Семен Семеныч, — вот это разве...

— А, поправились? Хотите, посватаю?..

— Неужели же возможно?

— Это уж наше дело!.. Хотите?..

— Брюнетка особенно недурна... Вот бы!..

— Э-э-э! — перебил хозяин: — вот вы куда! Олимпиаду! Нет-с, уж на этот счет — извините! Эту я для себя берегу.

— Подлецы вы, каналы, мерзавцы! — во всю мочь гаркнул Артамон Ильич и опрометью бросился из сада на двор, со двора на улицу...

А Хрипушин и Авдотья Карповна восседали за самоваром и продолжали дружескую беседу. Хрипушин истощил наконец все аргументы, которые подтверждали его убеждение в окончательном исцелении Артамона Ильича; в заключение своей беседы он уже взялся за шапку и хотел-было упо-

мянуть: — «Нет ли, мол, у вас, Авдотья Карповна, хоть сколько-нибудь мелочи...», как неожиданно под окнами послышался знакомый голос Артамона Ильича.

— Н-невоз-зможно! — бормотал он, стукнувшись плечом в ставню.

Хрипушин, завидев беду, незаметно юркнул вон из комнаты и скрылся.

IX. ОСИРОТЕЛАЯ СЕМЬЯ

Артамон Ильич Претерпеев умер; горький недуг, охвативший его в последнее время, скоро свел бедного чиновника в могилу. Авдотья Карповна, казалось, совершенно ослабевшая от несчастий и расстройств семьи, после смерти мужа неожиданно снова очнулась, пришла в себя и поняла, что теперь только от нее зависит все: пицета, исчезновение последних средств к существованию, общее несочувствие или какое-то враждебное отношение к семье Претерпеевых всех знакомых и соседей — все это сразу обрушилось на одну Авдотью Карповну. Бедная женщина вся была в какой-то припадок хлопотливости и суетни, целые дни шмыгала она своими слабыми, старческими ногами по городу; на плечах ее был надет какой-то невероятно ветхий люстриновый салон, сгнивший у подола и носивший на спине радужобразные лянные полосы; ветхая, запыленная и искалеченная шляпка, засаленное прошепье, крепко прижатое к груди, — жалостью и тоскою веяли на встречного человека, а тусклые, совершенно безжизненные глаза, в которых нельзя было приметить ничего, кроме тупого страха, заставляли встречного сомневаться в твердости ее рассудка. Целые дни убогую фигуру Авдотьи Карповны можно было видеть то на том, то на другом перекрестке, то на том, то на другом крыльце канцелярии или палаты. Каждый день во всех передних знатных и сильных особ Авдотья Карповна успевала десятки раз упасть на колени, хватать вельможные ноги и получать утешительный ответ: — «Все, что только от меня зависит...» и пр.

Помощь и работу дали ей такие же горемыки, понимавшие размеры печалей Авдотьи Карповны, или богатые купцы, старающиеся успокоить свою совесть с помощью черствых кусков кулебяки и позеленелых екатерининских¹ пятикопеечников.

Целый день такой неустанной гоньбы по городу, мольб, просьб и слез доставлял Авдотье Карповне возможность не сидеть вечером без огарка сальной свечки и не мучиться без чаю и сахару более трех дней. Вечером, иногда очень поздно, возвращалась она в Томилинскую улицу и, залыхавшись, выкладывала перед семьей добычу с общественной благотворительности. Нищета и ужас положения были так велики, что ни одна из дочерей Авдотьи Карповны не решалась пустить в ход доморощенной критики и с покорностью пожевывала засохшую, черствую купеческую кулебяку или принималась за шитье и штопанье белья казенных рабочих, или вообще за какую-нибудь другую, не совсем сообразную с званием их работу. В эту пору даже Олимпиада Артамоновна не решалась уже более усаждать речь свою французскими оборотами. Иногда только, когда ей приходилось довольствоваться только соленым огурцом вместо обеда или шить какую-нибудь слишком пикантную часть мужского туалета, она решалась подумать, что такое занятие способно ее унизить. Труд в то время считался делом унижительным.

Так и пошли дела Претерпеевых.

Месяцев через семь-восемь после смерти Артамона Ильича все позабыли о существовании семьи Претерпеевых. Зипушин, знавший по слухам о печальном положении их, находил особенно приятным для себя возобновлять знакомство, прерванное смертью пациента; кроме того он решительно не надеялся отыскать у Авдотьи Карповны не только ничего по части «мелочи», но положительно был уверен, что когда-то хлебосольная хозяйка эта не найдет возможным теперь наделить ему даже малую порцию

¹ Времен императрицы Екатерины — вторая половина XVIII века.

увеселительного напитка. Хрипушин поэтому и не заглядывал к Претерпеевым по крайней мере с полгода и, по всей вероятности, не заглянул бы сюда никогда, если бы к этому времени в пашей улице не зачужались признаки нового времени. Хрипушин ощутил их на убыли пациентов, на проявлениях какой-то недоверчивости в них и на весьма ощутительной скудости угощения. Не раз с горечью запускал он растопыренную пятерню под фуражку и, царапая свою голову, решительно недоумевал, где бы найти тихое пристанище, т. е. приличную порцию очищенного и ошалеющую от скуки пациентку.

— И что ж это за время! — вскрикивал он, хлопая себя по бедрам и в ужасе выбегая на улицу после неудачного визита. — И где же это видано? В какой земле? Чтобы ежели, например, ты пользуешь человека и как есть всей душой, а он тебе только всего, что: «будьте здоровы»? И где же это самое благородство? Ну хоть бы же он на смех, хоть бы он мне в рожу-то плюнул: па, мол, подрюмки, сплюсни свое сердце... А то... Ах!..

И Хрипушин снова в ужасе хлопал о свои бедра, качал головой, ахал и почти бегом пускался куда глаза глядят, на «авось».

Раз, в припадке отчаяния, вследствие отсутствия всякой возможности где-нибудь выудить выпивку, Иван Алексеевич решился на последнее средство — зайти к Претерпеевым. Не без внутреннего волнения подходил он к знакомому домику, чувствуя всю тяжесть картины, которая ожидает его там. Каково же было его удивление, когда вместо печалой и вздыханий он встретил в семействе Претерпеевых всеобщую радость!.. Вся семья Артамона Ильича обступила Хрипушина с радостными восклицаниями: «Слава богу!» «Слава тебе, господи!» Все хватало его то за один, то за другой рукав, тащили каждый в свою сторону, чтобы рассказать какое-то неожиданно-приятное происшествие, и чуть даже не целовали. Авдотья Карповна, захлебываясь от восторга и дрожа всем телом, пробилась наконец сквозь толпу дочерей и за плечи усадила на стул дорогого гостя.

— Погодите! Погодите! — умоляла она дочерей, усажи-

наясь рядом с Хрипушным. — Дайте вы мне хоть словечко... хоть словечко!..

— Иван Алексеич... нет, посмотрите, что... Мусье Хрипушин!.. — трещали, не переставая, дочери. — Позвольте, мамонька, дайте, я расскажу!

— Дайте вы мне, Христа ради, хоть одно-то словечко!

— Позвольте, барышни, в самом деле! — вмешался Хрипушин. — Позвольте маменьке... Ах ты, боже мой! а?.. Слава богу!.. Слава богу!.. Рад! Ей-ей, рад!..

— Так рады, так рады!.. — голосили все. — Посмотри-те-ко-сь, какое дело-то! — говорила Авдотья Карповна. — Изволишь видеть, отец мой... Пошли мы к обедне...

— Авдотья Карповна! — перебил Хрипушин: — одну минуту! Нет ли, Христа ради, одной росинки! Верите ли, все нутро изожгло! Ах бы в ножки вам поклонился!

К общей радости графин с перечным стручком оказался не безнадежно пустым. Хрипушин, торопившись слушать интересный рассказ хозяйки, впопыхах проглотил три довольно объемистых рюмки, крякнул, черкнул ладошью по мокрым усам и торопливо произнес:

— Ну-те-с, матушка, благодетельница?

Авдотья Карповна развела руками и как бы в недоумении пачала:

— И не знаю, как это тебе рассказать-то!.. И не знаю, как мне бога благодарить!.. Видишь, отец мой: пошли, говорю, мы к обедне... Месяца полтора тому будет... Стоим у сторонки этак кучкой, ровно бы прокаженные какие, молимся так-то, дескать, когда это господь-то по нас пошлет? Унываем мы таким мапером, а Лимиада все что-то на сторону поглядывает... — «Что ты это, говорю шопотом, все на сторону поглядываешь?..» — «Да, говорит, воп посмотрите, какой-то, говорит, мужчина на нас покашивается...» Оглянулась я: точно, стоит мужчина нет-нет да на нас глазом и замахнет... все покашивается...

— Покашивается? — глубокомысленно спросил Хрипушин.

— Все покашивается.

— Гм... да-да-да... Ну-с?

— Хорошо! Выходим из церкви, идем домой и, между прочим, пет-нет да обернемся назад, глядь — и он обернулся!..

— Цссс...

— Что за чудо? — думаем. — Что ему от нас? Думаем себе: верно, так что-нибудь. Однако же прошла неделя... идем к обедне... глядь: опять он!.. Опять он все это как-быдто бы...

— Покашливается? — перебил Хрипушин.

— Да-да! Все как будто бы глазом поровит.

— Что ж? Слава богу! — в умилении произнес медик. — Олимпиада Артамоповна! Как вы полагаете?.. — продолжал он, ядовито прищурив глаз.

— Вот глупости!

— Отчего ж? Пуцай его! ничего!.. Слава богу! Ей-ей!.. Ну-с, матушка, Авдотья Карповна?

— Ну, друг сердечный, так это дело и пошло... Где мы, глядь — и он торчит!

— Вот тут самое интересное! — сказала Олимпиада не без иронии.

— погоди, не перебивай!.. Дай ты мне договорить!

— Дайте, барышня, маменьке вашей договорить... Ну-с?

— Ну, хорошо!.. Так все это и идет... Раз сидим мы так... дома сидим... скучаем... вдруг подъезжает мужик: — «Здесь, говорит, такие-то живут?» — «Здесь...» — «Прислано вам, говорят, вон камуста... в депь ангела...» (точно, Стеша была именинница). — «Кто прислал?» — «Не приказано говорить...» Пытали, пытали — пет!.. Так мы расстрогались, даже заплакали, право!

Хрипушин глубоко вздохнул:

— Ревем, — со слезами продолжала Авдотья Карповна: — и думаем: где это такой благодетель есть?.. За что нам господь милость свою посылает?.. Немного погодя, глядь, воз картофелю... фунт чаю... сахару... и все неизвестно от кого!.. Целковых, поди, па пять он, батюшка, нам всякой провизии презентовал! Каково это?

Хрипушин долго молчал, опустив голову вниз.

— Слава богу! — произнес он, пожав плечами и вздохнув. — Слава богу!

— Думаю я так, что беспрерывно он это посылает?

— Это который все покашляется-то?

— Да? — вопросительно произнесла Авдотья Карповна.

— Больше некому — заключил медик. — Больше некому!. Он... Олимпиада Артамоновна?.. Как вы полагаете?

— Будет вам, пожалуйста!

— Хе-хе-хе!.. Он, он, он-с!.. Что-ж? Слава богу!..

— Сколько мы ни разведывали, — начала снова Авдотья Карповна: — никто не знает... Наконец вчера принесла от него баба погу телятины... Стали мы ее молить-просить; сначала-то не подавалась... ну, а потом, видит наше умиление, сказала: чиновник, впрямь, Толоконников...

— Белокурый?.. — встрепенулся Хрипушин.

— Вот! вот! — заговорили все разом: — всхохлаченный такой!

— Знаю!.. — стукнув рукой об стол, закричал Хрипушин. — Знаю!

— Лицо этакое еще суровое...

— Знаю!.. знаю!.. Теперь я понимаю... А? Ай-да Семен Иванович! Покашляется! Каков?.. Попроберу!.. Попроберу вот как!... хе-хе-хе... Каков? Позвольте-ко мне полрюмочки!.. Каково? Молодец!..

Хрипушин, пользуясь общим восторгом, успел опорожнить графин и собрался тотчас же отправиться к Толоконникову для пробрания последнего сообразно его проступкам.

— Попроберу-с! — подмигивал и обращаясь к Олимпиаде Артамоновне, говорил Хрипушин. — Попроберу-у! Нельзя! Как можно? Нет!..

Авдотья Карповна убедительно просила медика передать этому благодетелю самую безграничную благодарность. Хрипушин обещался примерно наказать преступника и дал слово притащить его в будущее воскресенье к Претерпеевым, дабы сама Олимпиада Артамоновна распорядилась с кавалером, как только ей будет угодно.

Уходя, Хрипушин, вследствие неустойчивости ног, нале-

тел плечом на притолоку и, пользуясь этой остановкой, снова обратился к Олимпиаде Артамоновне:

— Барышня! — сказал он нетвердым языком: — как вы полагаете?.. Покашляется-то?.. э-э? хе-хе-хе!..

Х. ЖИЗНЬ И «НДРАВ» ТОЛОКОННИКОВА ¹

Семен Иванович Толоконников принадлежал тоже к числу кавалеров «растеряевской округи», и следовательно сердца «наших» дам и в особенности их сундуки с приданным были не совсем безопасны от посягательств этого юноши. Юноша этот имел от роду около тридцати шести лет, был с виду угрюм, богомолен и, что всего удивительнее, не пил ни капли водки... Такие качества его, повидимому, могли бы сулить томилицким дамам полное счастье и благодетствие, между тем на деле выходило не то, так что слово «небезопасны» я употребил с полным основанием. Прошлое Семена Ивановича до поступления его на службу было обставлено множеством разного рода оскорблений: в детстве, в доме родителя своего, дьячка села Толоконникова, он был много бит, единственно ради непроходимого сна и обжорства, которыми были переполнены все годы его детства; в училище он был предметом общего поношения ради неспособности к наукам; затем, исключенный из последнего класса духовного училища, поступил на службу в одну из палат и здесь к его мизантропии ², начинавшей проглядывать в отрывистых ругательствах к сослуживцам, прибавилось еще несколько весьма резонных причин. Неповоротливость, угрюмость и деревенщина, одолевшие Семена Ивановича, сделали то, что он стал какою-то притчею во языцах чиновников и на долгое время доставил им материал для развлечений во время курения папирос в коридоре. Первые годы служебного поприща Семена Ивановича были

¹ Под фамилией «Толоконников» здесь изображено то же самое лицо, которое в очерке «Дела и знакомства» носит фамилию Богоборцева. (примечание автора)

² М и з а н т р о п и я — человеконенавистничество.

едва ли не самыми тягостными в его жизни. В эту пору общее полупрезрение, которым был он окружен, заставило его подумать о себе: у него начало шевелиться в груди что-то вроде сознания, что он несчастный человек, что его надо жалеть, а не пасмехаться над ним; а так как над ним насмехались, то он, жалея себя, стал чувствовать потребность мести кому-то... Деревня, училище ни на волос не подготовили его к чиновничьей жизни, к чиновничьим интересам и «выбится в люди», отомстить путем чиновничьим он не мог никак; сколько он ни ломал голову над этим предметом, сколько он ни старался выучить себя разговаривать и даже ходить так, как его сотоварищи, ничего не выходило из этих многотрудных стараний... Тоска его, по всей вероятности, была бы безысходна, если бы, к счастью Семена Ивановича, ему не предложили другой должности. Новика этой должности для Семена Ивановича состояла в том, что его поместили в отдельной комнате, в самом углу здания, вдали от тех частей палаты, где кипит рон опротивевших ему чиновников. Семен Иванович занимался исключительно печатанием конвертов и отправлением их на почту. Чиновники забегали сюда только на одну минуту. Семен Иванович целые дни оставался в обществе молчаливых сторожей и в обществе бобровой шубы господина управляющего, которая безмолвно висела на гвозде как раз против физиономии моего героя. Тишина здесь была неопишуемая. Отсутствие людей и человеческих звуков доставляло Толокошникову истинное удовольствие и незаметно повело его на мысль, что одиночество есть настоящее средство для достижения более или менее счастливой жизни. С этого времени, не отдавая себе обстоятельного отчета в своих поступках, стал Семен Иванович устраивать собственное хозяйство.

Со времени поступления Семена Ивановича на должность прошло уже более пятнадцати лет, а он попрежнему живет один-одинешенек. Хозяйство его доведено до высшей степени совершенства; посмотрите, чего-чего только нету у него: в шкапу, в верхней половине, все полки заставлены

посудой, которой хватит на пятьдесят человек. Тут и вилки дюжинами, и ложки, и чашки и пр. и пр. Все подобрано под одну масть, «под кадриль», как выражается Семен Иванович. Нижняя часть шкапа, т. е. комоды, битком набиты бельем разных сортов и видов; попадаются даже принадлежности женского туалета и тоже все дюжинами, все по-вельское, нетронутое... По стенам лепятся сундуки. Откройте их и загляните туда: платье, и летнее и зимнее, положено целыми ворохами, моль бродит по нем, потому что Семен Иванович никогда еще не решился надеть и поносить этого нового платья, — все ему чуждо, что в нем самом или вокруг нет чего-то такого, что бы дало ему право стать наравне со всеми, быть как другие, и ему стыдно было одеваться так, как одеваются другие. «С чего такого, подумают люди, вырядился?» — полагал Семен Иванович, и платье гнило в сундуках, ожидая счастливого дня... Хотите вы папирос, Семен Иванович тотчас же предложит вам их во множестве сортов, легких, крепких, хоть сам никогда не выкурил ни одной папиросы. Хотите вы выпить водки или вина, Семен Иванович мгновенно представит вам то и другое, хотя сам никогда не брал капли в рот. Словом, все, «что только вашей душе угодно», все найдется у Семена Ивановича. Все это лежит недвижимо, паготовлено на пятьдесят «персон», ждет кого-то. И все никого нет, все героя моего одолевает тоска по чем-то, все оп нет-нет да прикупит, для собственного утешения, новый подсвечник, или сошьет новую шинель на вате и тотчас же навеки погребет ее в сундуке. Людей знакомых, вообще хоть какого-нибудь человеческого общества, у него нет. Каким-то чудом избежал он пьянства¹ и поэтому никак не мог завести знакомства с чиновниками, так как вся жизнь провинциальной чиновнической мелкоты только и держится (двадцать лет назад было так) на выпивании, похмелье и опять выпивании. Из них могли рассчитывать на его знакомство только люди престарелые, прослужившие двойные служебные

¹ Его спасала «охота», любовь к курам, к бойцовым петухам, кулачным боям и т. д. См. гл. III. (Примечание автора.)

гроки, непьющие и ропщущие, как и Семен Иванович, па весь божий мир, или, напротив, новички чиновничьего мира, юноши неопытные и тоже страдающие. Семен Иванович мог даже первенствовать между теми и другими; но он знал, что никуда негодные старцы и неперившиеся юноши не составляют людей «настоящих», самостоятельных, к которым бы Семену Ивановичу хотелось принадлежать. Из таких людей, в ряду его знакомых, был только один купец, который хотя и допускал его откушать чайку, но особенной важности особе его не придавал. Надо было еще чего-то...

Мало-по-малу тоска Семена Ивановича начала выливаться в более определенные формы и заявлять более определенные требования. С течением времени, все с большей и большей раздражительностью начал он принимать к сердцу такие вещи, как, например, похвала какому-нибудь постороннему лицу. С завистью слушал он, как какая-нибудь кухарка рассказывала про строгость господ и боялась опоздать домой хоть минутой. Семен Иванович в этом страхе кухарки видел силу и власть барина и считал его не только настоящим человеком, имеющим право жить, но и человеком необыкновенно счастливым. Услыхав какой-нибудь подобный этому рассказ кухарки или горничной, Семен Иванович тотчас приравнивал себя к строгому барину и находил громадную разницу... «...Нобось, — думал он, — моя Авдотья этак-то не задрожит!..»

И Семен Иванович вздыхал...

За слишком долгое отсутствие всех приятных ощущений, какие доставляет жизнь, Семен Иванович, в вознаграждение своих долгих страданий в одиночестве, начал требовать с какою-то болезненною жадностью самого безграничного уважения. Разговоры кухарок про строгих господ, хорошие отзывы о «других», вообще все, что составляло чуждую ему жизнь провинциального общества, — все это навалилось на него какою-то громадною тяжестью и заставило его жаждать власти хоть над курами. Таким образом из Семена Ивановича выходил давно знакомый нам отечественный самодур. Постороннему наблюдателю это казалось совершен-

по ясным, по сам Семен Иванович очень смутно постигал, чего ему хочется. Самодурство как-то уродливо копошилось в нем.

Вот сидит он один в своей комнате; он только-что воротился от всенощной; кругом комнаты у потолка и особенно в углу ярко горит множество лампад; в комнате душно, пахнет деревянным маслом и тишипа. Семен Иванович отшил чай; благоговейное ли мерцание лампад или торжественная тишипа действует на него, только он упорно молчит; изредка, среди безмолвия, раздается едва слышное пение: «Услыши, господи, молитву-у мо-ою...» и потом глубокий-глубокий вздох... Слова тишипа, снова пение: «Ду-ушу мою к молению...» — снова еще более глубокий вздох...

— Господи, господи! — наконец громко произносит Семен Иванович.

Входит старуха-кухарка. При всей привязанности к женскому полу, Семен Иванович никогда не мог осуществить своей мечты — нанять молодую бабу. Делалось это, конечно, по тем же самым причинам, по каким он не мог носить нового платья. Кухарка, крихтя и охая, направляется к столу.

— Что ты?

— Самовар убрать.

Семен Иванович чувствует потребность добыть из кухарки хоть какую-нибудь крупницу утешения своему наболевшему самолюбию.

— Возьми, — говорит он кротко и потом прибавляет по безоговорочности: — то-то, брат, Авдотья, у нас все так! Барин-то когда чай отшил, а ты только, господи благослови, трогаешься за самовар.

— Нешто у меня сто рук-то?.. Небось, не одно дело...

— Молчи! — раздражительно, но неторопливо произнес хозяин. — Ма-алчи! Ты про дела говорить не смей... Ты..

— С чаю ж такое не говорить-то? Экося дело какое!

— Не говори, Авдотья! Слышишь, или нет?..

Семен Иванович грозно приподымается с дивана; Авдотья отступает, прижав к груди самовар.

— У тебя дела? — продолжает хозяин. — А где же это ты рожу-то нажевала? Пришла, как щепка, а теперь эво рыло-то... все это от делов?.. Ах, ты, бессовестная тварь!.. У тебя дела!

— Ну, пошел мутить!

— Нет, погоди... Стой! Я говорю, где ты нажевала рожу?

— Ты на меня не кричи! Чего ты, воевода какой отыскался!.. — вскрикивает в свою очередь кухарка. — Каки-таки вишь дела! Мало, что-ль, делов-то? У тебя добра-то эва навалено... все прибери!

Семен Иванович, побагровевший и готовый на отчаянную брань, вдруг почувствовал, что фраза кухарки пасчет избытка добра пролила в его сердце нечто беспредельно-страдное; он утих и молча опустился на диван.

— У тебя, — продолжает в том же воинственном тоне кухарка: — эва что всего понапихапо!.. Где ни повернись... Ровно бы помещик какой живешь, а я, небось, одна... Каки-таки дела!.. Эва-а!

— Ах, дура! — кротко говорит хозяин: — сравнила с помещиком!

— А то что же? У иного помещика еще и этого-то нету... А у тебя погляди-ко-сь! Все убери да подмети.

— Ах, дура, дура! — сладко произносит хозяин.

— Вот-те дура!.. Что платья, что белья, что чего!.. Все нанасено, незнамо про кого только... Тебе с меня взять нечего, я — человек старый... кабы жепу взял, тогда и взыскивай с нее! Да и в ту пору с твоим богатством еще не управишься... А то — одна! Нету делов!..

Семен Иванович безмолвствует. Кухарка направляется к двери.

— Погоди! — нежно произносит герой.

— Чего еще?

— Постой... Так, говоришь... помещик... Я-то?..

— Да помещик и есть...

— Погоди, Авдотья... Постой минуточку... Много всего, говоришь?

— Обнаковешно много всего... что одежды, что чего!

— Д-да!.. Слава богу!..

Семен Иванович вздыхает.

Авдотья ждет нового вопроса.

— Итти, что ль?

— Погоди минуточку...

— Чего годить-то?.. У меня, небось, есть где хоро-
диться...

— Погоди же, господи!.. Позволь!

Настает продолжительное молчание. Авдотья ждет. Семен Иванович совершенно расталл от удовольствия, которое доставила ему Авдотья.

— Так ты, Авдотья, говоришь: я вроде как помощик?..

— О, да что это, дитё какое разыскалось! Мне ведь...

— Постой, Авдотья, погоди!

Но Авдотья уже исчезла.

По уходе кухарки мысли Семена Ивановича начали принимать самые разнообразные направления; спачала он, поддаваясь новому ощущению, воспроизведенному словами кухарки, горячо благодаря бога за его милости, шептал: «слава богу», «слава тебе, господи» и вздыхал. Свет лампад весьма гармонировал с настроением души моего героя. Затем наболевшее и наголовавшееся самолюбие его начало требовать какого-нибудь нового удовольствия. Семен Иванович, усевший убедиться, что он, благодаря бога, ничуть не хуже других, потихоньку начал помышлять о том, что, несмотря на преимущества, которыми обладает он перед многими, виденными им лицами, он не получает должного уважения и не имеет нигде права голоса... «За что? — думал Семен Иванович. — Что я? хуже, что ль, кого? Слава богу, кажется?. Пет, погоди!..» При этом он нетерпеливо вскакивал с дивана и тотчас же садился опять. Разгневан-ная мысль его мгновенно вспоминает все оскорбления, которые он хоть когда-нибудь получал: Семен Иванович вспыхивал и решал тотчас же па-ком-нибудь сорвать кровную обиду. В жару негодования он вспоминает все ту же свою кухарку Авдотью, которая за несколько минут перед этим не дослушала его разговоров и ушла, несмотря на то, что он весьма ласково говорил ей: «погоди», «постой».

— Авдотья! — гаркнул он, с сердцем распахнув дверь в кухню. — Поди сюда!

— Это еще чего, вот...

— Не разговаривать! Я эти разговоры-то слышал... Пошла сюда!

Семен Иванович ушел и хлопнул дверью. Авдотья, услышав, как хлопнула за барином дверь, поняла, что дело разыгралось не на шутку, и не без робости вошла в хозяйские покои.

Хозяин в волнении сидел на диване, нетерпеливо болтал ногой и, увидав кухарку, заговорил с ожесточением:

— Когда ты будешь слушать, что тебе говорят? а?

— Господи помилуй! Слава богу, и так слышу...

— Нет, я говорю, когда ты будешь слушать?..

Авдотья не нашлась, что отвечать.

— А? — продолжал хозяин. — Я тебе что сегодня утром сказал?..

— Мало чего ты говорил? У тебя нешто мало приказу-то?..

— Пет, что я сказал?..

— Что сказал, то и сделала... И пачего орать полусту...

— Мол-лчи! Что я сказал?

— Нечего молчать. Говорю, коли спрашиваешь. Сказал: отнеси сапсы в починку, — отнесла... Приказал тарелки переменить, — вот они...

Семен Иванович еще с большим волнением принялся болтать ногою, готовясь гаркнуть пуще прежнего.

— Мало ли, бормотала перепуганная Авдотья. — Вот сказал огурцы пере...

— Чт-тò я сказал?! — не удержался Семен Иванович и вскочил с дивана.

Вышедшая из терпения Авдотья плюнула и скрылась, хлопнув дверью...

— Вот! долой с места! — кричит Семен Иванович; но Авдотья не слышала его.

Хозяин был в волнении. Шагая по комнате и ероша волосы, он ждал, что Авдотья явится и попросит извинения. Но она не являлась. Хозяин каждую минуту порывался

в кухню для того, чтобы объяснить строптивой работнице ее вину, но долгое время не решался этого сделать. Авдотья между тем, очутившись в кухне, сразу чего-то оробела и упорно задумалась над тем, что такое сказывал ей хозяин. Переминая дрожащими руками тарелки, она долгое время перебирала в памяти хозяйские приказания, но ничего, заслуживающего гнева, не находила и убивалась пуще прежнего. Из комнаты доносились сердитые шаги барина. Время тянулось мучительно долго. Наконец шаги послышались в сенях, и барин вошел в кухню. Авдотья старалась не смотреть ему в глаза.

— Гляди! — грозно произнес барин.

Кухарка подняла голову: перед ней стоял разозленный хозяин и держал почти у потолка кошку, схватив ее за спину.

— Вот я что сказал! — говорил гневно барин. — Я сказал, — продолжал он, потрясая кошкой над головой кухарки: — я сказал: запирай кошку на ночь... Куда?

Кухарка трепетала.

— В чулан! — крикнул хозяин, и в то же мгновение па голову кухарки упала с отчаянным визгом кошка, а с потолка посыпался сор, так как хозяин ушел, сильно хлопнув дверью.

— Ах, ты, подлая! — с сердцем заключила кухарка, ногою отбросив кошку в угол.

XI. СЕМЕН ИВАНОВИЧ В ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА

Иногда, впрочем, судьба посылала пищу его голодной душе в формах более или менее скромных, но столь бушующих. В эти минуты угрюмое лицо Семена Ивановича освещалось весьма добродушной улыбкой, и герой мой являлся в новом свете. Вот он высунулся в окно и со вздохом поглядывает по сторонам. У ворот, в двух шагах от него, сидит хозяйская кухарка Прасковья в новом «каленом» каленкоровом сарафане и в цветной косынке на черных,

как смоль, волосах и холодно посматривает своими большими карими глазами на двух молодцов, красующихся у ворот постоялого двора. Молодцы эти — кучера каких-то приезжих господ; они расфранчены как только возможно: лиловые поддевки, красные рубахи, сапоги с красной сафьянной оторочкой; на голове шляпы с павлиньими перьями. Молодцы эти лукаво посматривают на Прасковью и, чтобы заслужить в ее мнении, стараются блеснуть чем-нибудь; они покрякивают на ямщиков соседнего постоялого двора, запрещают им курить папиросы, а сами ни за что не соглашаются погасить своих трубок. Ничто однако не привлекало к ним внимания Прасковьи. Семен Иванович, наблюдавший из окна над ухарством кучеров, попробовал сам попытаться счастья и не без робости произнес:

— Прасковья! а, Прасковья!

Кухарка оглянулась.

— Здорово!

— Здравствуй!

Семен Иванович радовался, что так благополучно началось.

— Что же, Прасковья, муж-то у тебя дома?

— На войне!

— А-а... Его, поди, уж убили?

— Когда бы господь дал!

— Вот как?... Ты, Прасковья, если хочешь, я узнаю, жив он или нет.

— О?

— Ей-Богу... у меня заведены этакие книги... что угодно... Ты вот что: ты зайди ко мне в комнату, на минуточку....

— Чего еще?

— Ей-Богу. Ты чего боишься? Слава Богу, я не какой-нибудь!.. Мы бы с тобою вместе поглядели в книге-то... а? Прасковья?..

— Где такая книга?

Семен Иванович показал ей в окно какую-то книгу.

— Видишь? Тут все: кто убит, кто ранен... все... Прасковья?..

— Ну-ко-ся погляди: Иван из Яковлевского...

— Да ты иди сюда...

— Эва!

— Вот захотела: на улице разговаривать!.. Ты иди сюда!..

Кухарка подозрительно посмотрела кругом и потом нерешительно произнесла:

— Ну гляди: обманешь, не жить тебе.

— Иди! Иди!

Кухарка медленно подпиралась с сиденья и пошла. Каким победным и сияющим взглядом посмотрел Семен Иванович на соседских кучеров!

ХП. СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЗНАКОМИТСЯ С СЕМЕЙСТВОМ ПРЕТЕРПЕЕВЫХ

Семейство Претерпеевых обратило на себя внимание Семена Ивановича по тем-же причинам, по каким слова кухарки, величавшей его помещиком и богатырем, доставляли ему высокое наслаждение. Встретив их в церкви, он заметил, что его пристальные взгляды на них производят падежащее действие: одна из дочерей Авдотьи Карповны тоже начинает поглядывать на него; затем между дочерью и матерью происходит какое-то шептанье, после которого они обе вместе взглядывают на Семена Ивановича... Все это говорило герою моему, что говорят о нем. Скоро Семен Иванович мог убедиться, что об нем не только думают, но даже боятся: после посланки воза капусты Претерпеевы не могли глядеть на благодетеля иначе, как с благоговением. Дальнейшие посланки сахару, чаю и пр. окончательно убедили его в безграничной преданности Претерпеевых; после того как был сделан последний подарок в форме телячьей ноги, а когда Акулина известила благодетеля о том восторге, который произошел, когда узнали имя неизвестного благодетителя, Семен Иванович впал в какое-то сладостное забытие: сама Олимпиада Артамоповна, известная в растеяевской палестине за девицу высокопресвященную и гор-

дую, и та, по словам Акулины, пылала к нему беспредельным благоговешием. Чего ж еще?

Семен Иванович был истинно счастлив. В один вечер прилив доброты и снисходительности к человечеству в нем был так велик, что все живые существа того дома, где жил он, были изумлены не на шутку. Семен Иванович отпускал каламбуры, шутил, вместо двух кусков сахара отпустил Акулине целую горсть, без счета. В довершение восторга Семени Ивановича, церемонная Прасковья решилась наконец напиться у него чаю, после которого и хозяин и гостья уселись играть в карты. В комнате громко раздавались слова: «ходи!» «сдавай!» «держишь, иду пятеркой». — «Нет, когда ты меня полюбишь?» говорил Семен Иванович, с треском выкладывая перед Прасковьей козырную тройку. Прасковья крыла тройку и в свою очередь выкладывала вперед хозяином «хлюст», прибавляя:

— А этого?

— Нет, когда ты меня полюбишь? — продолжал хозяин, торжественно «принимая» карты.

Эта приятная минута, сулившая, судя по развеселившемуся лицу бабы, полное упрочение дружбы, была прервана совершенно неожиданно: на пороге комнаты появилась фигура Хрипушина.

— А, друг-приятель! — радостно воскликнул Семен Иванович.

Но Хрипушин, не отвечая на приветствие, остановился в дверях, развел руками и, поглядывая то на хозяина, то на гостью, заговорил:

— Не похвало. Какое, Семен-то Иванович? а?.. Не ожидал!.. ай-ай-ай!..

Семен Иванович смеялся.

— Да какую еще приятную компаньонку себе раздобыл!.. ах, ты, боже мой!.. Не ожидал!.. Где такую бабочку, Семен Иванович?..

Прасковья тотчас же исчезла из комнаты, шаркая по полу босыми ногами.

Хрипушин засмеялся ей вслед.

— Ну, садись!

— Ох, да уж видно придется у вас, Семен Ивалович, отдохнуть...

Хрипушин сел напротив хозяина и, отирая мокрые от дождя усы, лукаво поглядывал на него.

— Ты чего тарачишься-то? — спросил игриво хозяин

— Будто не знаете?.. Про энтых-то? про томилецких-то?.. ничего слухов нет?..

Хрипушин кивнул головой в сторону и подмигнул.

— Про каких? — словно ничего не понимая, переспросил Толоконников. — Про кого?.. Какие?

— А воз капусты-то?.. «Неизвестно кто»?..

— О-о-о! вон куда!.. Будет тебе! Водочки не хочешь ли?

— Нет-с, позвольте! водочки само собой, а это дело своим чередом!.. Еще не все-с!

— Будет, будет! Оставь! Эко разговор напел!

— Нет-с, позвольте! Приказано благодарить-с, то есть вот как: от души! Даже и слов нет!

Хозяин как бы нехотя попробовал-было еще раз остановить гостя, но тот не слушал его и продолжал:

— Такого, говорят, благодетеля от роду-рождения нашего не видывали! И дай ему господи, на много лет, чтобы, то есть, в лучшем виде... Ей-ей!.. Это, Семен Ивалович, зачтется, поверьте!.. А вы что думаете? Да вы сыщите теперь на всем белом свете одного человека, чтобы он, к примеру, по вашему поступил? Нет-с, бог видит!

Долго говорил Хрипушин в том же хвалительном роде. Хозяин таял от слов его и совсем-было забыл о водке, если бы гость, у которого наконец пересохло горло от длинных монологов, и сам не свернул разговор на этот предмет. После выпивки беседа пошла ровнее: Хрипушин доказывал хозяину преимущество брачной жизни, на что тот возражал:

— Жениться! Жениться можно, да что проку-то?.. Поди-ка, женись, завоешь!

Хрипушин опровергал это мнение и затевал новый разговор: принялся восхвалять Олимпиаду Артамоповну, негодую против слухов, разгуливающих о ней по «растеряевщине», и доказывал, что при своем высоком образовании девица эта могла бы быть примерною супругой. Семен Ива-

нович опять возражал на это, что «жениться молжно, да что проку-то? поди-ка, жепись». Вообще разговоры Хрипушина по части законного брака оказались бесплодными. Хрипушин понял, что нельзя слишком сильно палегать на хозяина с такими предложениями, и решился действовать исподволь. С этой целью он пригласил Толоконникова, именем Авдотьи Карповны, на пирог в воскресенье, на что Семен Ивалович сказал: «подумаю».

В самом деле, намерения Семёна Иваловича были далеки от законного брака. В Претерпеевых он чувал таких людей, которые будут поклоняться ему и носить его на руках и «так», без женитьбы, единственно ради его к ним внимания и кой-каких съестных подачек. Все это подтверждается и дальнейшим ходом событий, которые следовали в таком порядке: благодаря содействию Хрипушина, Толоконников присутствовал на пироге у Авдотьи Карповны. Иван Алексеевич выручал в этот день всех, ел он за семерых и не забывал при этом потешать публику разными анекдотами. Претерпеевы, пристально смотревшие на Семёна Иваловича, не нашли в нем ничего необыкновенного, но вместо с тем решительно не могли объяснить себе его угрюмости и молчаливости, которая, нужно заметить, охватывала моего героя всякий раз, как только он попадал в незнакомое общество.

После этого пириества Претерпеевы и благодетель по видались в течение недели. Бедная напуганная Авдотья Карповна полагала, что бесценный Семен Ивалович забыл их, обидевшись тем, что за все благодеяния его поблагодарили неудавшимся пирогом с его же капустой. Но подозрения эти оказались ложными. В следующее воскресенье, часу в шестом вечера, когда Олимпиада Артамоновна в задумчивости сидела у окна, на тротуаре показалась фигура Толоконникова. Семен Ивалович был в новом сюртуке, который старался спрятать под своим рваным пальто. Увидев благодетеля, Олимпиада Артамоновна издала пропитительный крик, и тотчас же вся семья Претерпеевых столпилась у окна и раскланивалась с Семеном Иваловичем.

— Доброго здоровья! — говорил Толоконников, пеуклюже приподнимая свой картуз.

— Здравствуйте, Семен Иваныч, заходите!

— Что-ж заходить-то!.. как поживаете?..

— Как мы поживаем? Известно как!..

— Семен Иваныч! слыче фейерверк¹ в саду! — совершенно неожиданно и необыкновенно быстро проговорила одна из претерпеевских барышень.

— А господь с ним!..

— И правду.

Всем желательно было пойти в сад и посмотреть фейерверк, но в то же время все почему-то «боялись» посторонней публики.

— Эка невидаль! — продолжал Семен Иванович. — Да опять и отсюда увидим, ежели па то пошло, место высокое, гора... далеко видно...

Все немедленно согласились с этим.

— А в случае ежели пройтить уютно, так и это можно.. Мало ли где? И без толкотни.

Претерпеевские барышни тотчас же оделись и вышли. Семен Иванович повел их па кладбище; здесь уже в самом деле не было ни единой живой души, только какие-то бабы, заливаясь слезами, хоронили ребенка. Семен Иванович направился с дамами прямо к этой могиле и, сняв шапку, достоял погребение. Затем прогулка продолжалась в грустном молчании: все были неприятно настроены похоропами. Семен Иванович вздыхал, говорил о смерти, о загробной жизни.

— Семен Иваныч! воп ракету пустили!

— Ну что же, господь с пей! О-ох, господи боже мой, подумаешь о смерти-то иной раз..

Все вздыхали; вдали, за кладбищенским валом, семинаристы играли в лапту; по шоссе мчались почтовые, весело заливаясь колокольчиками; издали доносились звуки музыки, и из облака пыли, затопившей город, по временам вылетали ракеты.

¹ Фейерверк — потешные огни, игра света для забавы.

— Семен Иванович! вон еще!

— Господь с пей! — повторил Семен Ивaпович.

А Авдотья Карповна прибавила:

— А вот и Артамоша Ильича могилка!..

Это известие уничтожило всякую возможность получить хоть какое-нибудь удовольствие от прогулки. Всеми овладела уныние и скорбь. Претерпеевы воротились домой с растерзанными сердцами.

Такое посещения Семен Иванович начал делать все чаще и чаще. Иногда он приносил какое-нибудь угощение: фунт каленых орехов, десяток яблок. Наконец уважение, выказываемое ему Претерпеевыми, до такой степени разлакомило его, что он уже не мог пробыть минуты, не испытывая приятности этого уважения и раболепства. Семен Иванович решил пасть квартиру у Претерпеевых и таким образом покинул Растеряеву улицу для Томилинской. Ради этого он тотчас же поругался с хозяином, так как переменить квартиру, не поругавшись с хозяином, казалось ему делом невозможным, и принялся перевозить вещи.

В один день, вслед за возами, въезжавшими на двор Претерпеевых, шел Хрипушин; он осторожно держал одной рукой малтник, в другой придерживал полы своей шинели по причине непроходимой грязи и прожевывал какую-то закуску, которая сильно раздула ему щеку.

Вечером, когда в новой квартире Толоконникова было все прибрано и хозяин с удовольствием поглядывал на свое добро, Хрипушин сладким голосом проговорил:

— Вот бы, Семен Ивaпович, жениться вам? Ей-богу!..

Но Семен Ивaпович отделался своей обычной фразой, сложившейся в его голове по поводу этого предмета. Таким образом Толоконников, или «благодетель», поселился в самом центре покоренной его благодетельными областями и продолжал докапывать это покорение, чего требовало его жадное самолюбие. Сначала, с непривычки на новом месте, Семен Ивaпович поступал с хозяевами чрезвычайно предупредительно и вежливо.

— Не пужно ли вам, Авдотья Карповна, сахару?

— Пет, пет, и так много! Покорнейше благодарим!

— Отчего же? Берите, когда есть... Да вам шкатулки не падо ли?

— Что это вы, Семен Иванович! Ей-Богу, вы нас совсем конфузите... Мы и слов не найдем благодарить вас.

— Эва что! — добродушно заключил Семен Иванович, и шкатулка оставалась у Претерпеевых. Точно таким ласковым манером были снабжены Претерпеевы всем необходимым в хозяйстве; в их комнатах появились разные вещи Семена Ивановича: столы, стулья, диваны. Толоконников был ужасно рад, не сомневаясь, что власть его возрастает; но Претерпеевых задавили эти благодеяния.

Все эти шкатулки, самовары и прочие вещи, принадлежащие благодетелю, были чем-то в роде казенных печатей, паложенных в обеспечение чьего-либо прикосновения; Семен Иванович своими благодеяниями паложил точно такие же казенные печати на свободную волю благодетельствуемых им лиц. Благодеяния до такой степени стеснили бедную семью, что недавняя нищета иногда показывалась ей едва ли не лучшим временем против теперешнего. Наравне с самоварами, сундуками и прочими символами величия Семена Ивановича, не менее одуряющим образом действовало на Претерпеевых и самое реальное величие благодетеля. Слушая, с каким трепетом произносится его имя, как дрожит вся семья Авдотьи Карповны, если кухарка разобьет тарелку, принадлежащую благодетелю, или одна из дочерей закапает чаем скатерть, Семен Иванович не чувял под собой земли.

Ни к Претерпеевым ни к Толоконникову никогда никто не показывался, и Семен Иванович поэтому мог благодупствовать, как ему было угодно; поработенная им семья с глубокою робостью внимала каждому его слову и суждению, которые только впервые начали шевелиться в голове Толоконникова и были ипой раз поистине изумительны. Каждое мнение его, как бы оно ни было уродливо, принималось безапелляционно, и поощренный этим Семен Иванович, незаметно для самоу себя, начал понемногу претъявлять новые и новые требования. Избалованная общим раболеп-

ством патура его уже требовала разнообразия. Семен Иванович, являвшийся прежде к хозяевам не иначе как в сюртуке или в шинели, надетой в рукава, начал являться в халате, очевидно уже не страшась отвращения Олимпиады Артамоповны, или приносил девицам какую-нибудь принадлежность своего туалета и просил пришить пуговицу также без всякой церемонии.

Посыгательства Семена Ивановича в таком роде продолжались усиливаться все более и более, так что в один день в семействе Претершеевых происходила следующая сцена.

Семен Иванович, уже разъяренный и надувшийся, стоял против трепещущей семьи Авдотьи Карповны и грозно вопрошал у нее:

— Что я сказал? Я что вчера сказал?

— Семен Иваныч!

— Что я говорил? Договорюся или нет? а?

Семья дрожала и безмолвствовала.

Семен Иванович с сердцем хлопнул дверью и скрылся.

«Что теперь делать? захлебываясь от ужаса, шептала Авдотья Карповна». «Господи! Чай, обедать не пойдет?.. Что наделали?.. Что такое это он говорил?»

— Мы почему знаем? Мало ли что он говорил? — отвечали испуганные дочери.

— Ах, господи! наказал господь!..

Стол был давно накрыт, но Семен Иванович не являлся. Авдотья Карповна, еле таскавшая ноги от страха, поплелась разыскивать его. Она нашла его в саду. Семен Иванович лежал в беседке, повернувшись лицом к стене.

— Семен Иваныч, купать подало! Что вы, благодетель наш, сердитесь? Вы скажите, что вам угодно: мы вам в одну минуту сделаем... А то как же так, не сказавши ничего?

Семен Иванович молчал.

— Благодетель наш! — повторила Авдотья Карповна.

Но ответа не было. Авдотья Карповна, убитая, воротилась в комнату и не знала, что делать. Наконец ей пришло в голову отправить депутатом самую младшую дочь Степу, на которую Семен Иванович обращал особенное внимание и иногда порывался даже обнять ее. За Стешей, не имевшей

в этом походе никакого успеха и не дождавшейся от благодетеля ни слова, отравила Олимпиада Артамоновна, за ней Саша, за Сашей Варя, потом опять сама Авдотья Карповна. Все они робко подступали к лежавшему Семену Ивановичу, робко просили пожаловать кушать и ответом на эти приглашения имели несчастье видеть ту же неподвижную спину благодетеля.

После тщетных стараний Претерпеевы решились обедать одни; аппетит оставил их, кусок остапавливался в горле, и обед прошел среди молчания и тяжелых вздохов. Кухарка убрала наконец посуду и собиралась отдохнуть на печи, как неожиданно в комнату вошел Семен Иванович и в грозной позе остановился перед Авдотьей Карповной.

— Это что же такое? — сказал он: — за мои хлопоты да я же голодный хожу?

— Семен Иванович, да ведь вас звали!

— Все патрескались, а мне куска хлеба нету?

— Да, батюшка! благодетель паш!.. — начала было со слезами Авдотья Карповна, но благодетель вторично хлопнул дверью и вторично исчез.

Через пять минут в беседке опять новая происходила сцена: Семен Иванович попрежнему лежал лицом к забору. За его спиной вся семья Претерпеевых суежилась около стола, таская тарелки, миски с разными кушаньями и пр. Когда все было готово, Авдотья Карповна сказала:

— Семен Иваныч, подано-с!.. кушайте, отец паш, а то щи простынут.

Семен Иванович нехотя повернул к публике голову.

— Это что же такое? — угрюмо и как бы не понимая, в чем дело, проговорил он.

— Обедать-с...

— Это в шестом часу-то?

— Да что ж делать, когда вы не изволили кушать?

— Да какой же чорт обедает ночью? Люди от вечерен пришли и чаю напились, а у нас обед?

— Семен Иваныч!

— Тьфу!

Благодетель быстро повернулся опять к стене и замолк.

Долго семья Авдотьи Карповны и сама она ждали какого-нибудь слова от него. Семен Иванович молчал и, казалось, заснул. Тогда решено было перенести кушанья назад в комнату, так как, стоя на открытом воздухе, они могут быть растасканы птицами или съедены собаками. Едва только это было исполнено, как Семен Иванович снова появился в кухне.

— Где тут, — грустно и кротко, точно агнец, сказал он кухарке: — где тут у вас корки собакам валяются?

— Господи помилуй! Семен Иваныч! батюшка! Что это! Корки! Как можно!

— И корки-то мне нету...

— Господи!

Семен Иванович ушел, не дождавшись объяснения. Через минуту он стоял у низенького забора и разговаривал с соседом-сапожником.

— А? — говорил он. — До чего я дожил! Корки не дают хлеба! а?

— Цсс!.. Воже мой!..

— А? За мою хлеб-соль да я же не имею пропитания? Это что же будет?

— Семен Иваныч, отец наш! — рыдала из окна Авдотья Карповна — Что ты, господь с тобой!

— А? — продолжал Семен Иванович, обращаясь к сапожнику. — Вот как, друг! Попишь, кормишь, а вместо того с голоду околевай!.. а? Верно, только у бога правду-то найдешь!..

— Это точно! только у одного бога!..

— Д-да! Но авось и добрые люди не оставят... Дай хоть ты мне корочку какую... Чай, собакам тоже кидаешь? так мне этакую... собачью!

— Зачем-же-с! мы, Семен Иваныч, с удовольствием...

— Нет, собачью!..

— Что вы! Да мы сколько угодно!

— Нет, дай собачью!..

Только ночью, когда лица всей семьи распухли от слез, Семен Иванович решился войти в свою комнату; в глухую полночь, когда все заснуло, он сам отправился в кухню, вы-

тащил из печи горшок со щами и с жадностью пожирал их среди глубокой тьмы и безмолвия.

Такие штуки благодетель начал разыгрывать все чаще и чаще. Не чувствуя в семье Претерпеевых никакой к себе нравственной, сердечной привязанности и зная, что им в сущности не за что чувствовать ее, он, как истинный деспот¹, находил утешение в безграничном пользовании своими правами над людьми, которые подвержены ему волей-неволей. Изобретательность его в деспотическом желании довести семью до непрестанного к нему внимания и страха вряд ли доходила до высокой виртуозности; вариации, которые он выделывал из преданности Претерпеевых, были поистине изумительны. Упитанный по горло всяким почтением и уважением, Семен Иванович совершенно переродился; он сделался веселее и смелее; никакие насмешки сослуживцев не могли поколебать спокойствия его духа. Раз, когда один из чиновников вздумал было над ним подшутить, Семен Иванович, не говоря ни слова, хлопнул шутника по голове связкой бумаг и прошел мимо.

Но, вместе с возвышением величия Семена Ивановича, упала все более и более нравственная свобода Претерпеевых: все они оглупели, обезумели и превратились в каких-то автоматов, с тою разницею, что у них были сердца, поставленные в необходимость ежеминутно замирать и трепетать.

Однако, при всем их одеревенении, дальнейшие деяния благодетеля были такого свойства, что Авдотья Карповна не выдержала и наконец решилась произнести:

— Да лучше мы милостыню пойдем собирать, чем этакое мученье!

— Да ей-богу! — вторили дочери.

— Авось найдутся добрые люди, не оставят!

Всеми было решено не поддаваться больше фантастическим желаниям Семена Ивановича. Олимпиада Артамоновна

¹ Д е с п о т — властелин.

первая решилась привести это намерение в исполнение и обещалась завтра же пригласить в гости чиповника Сладкоумова, который уже давно засматривался на нее и выражал желание познакомиться с ее маменькой, Авдотьей Карповной, но боялся попасться на глаза Семену Ивановичу.

«Что же в самом деле? — думала Олимпиада Артамоновна. — Докуда это будет?»

Одлажды Семен Иванович, довольный и счастливый, лежал в своей комнате, — дело происходило после обеда. Он совершенно не подозревал, что против него строятся козни, и потому можно представить ужас, который овладел им в тот момент, когда, через отворенную в сени дверь, он увидел фигурку юного писца Сладкоумова. Писец Сладкоумов был в белых, туго-натянутых панталонах, в новом форменном вицмундире, красных вязаных перчатках, а волосы его были густо напомажены. Дерзкий гость, не замечая Толоконникова, осведомился у кухарки: «дома ли Авдотья Карповна?» и вошел в комнату.

Семен Иванович был вне себя. Он узнал, что благодетельствуемая им семья знает людей кроме него и думает не исключительно о нем. Через секунду он узнал еще, что Претерпеевы не только думают о посторонних людях, но имеют дерзость и уважать их, ибо, тотчас после того, как Сладкоумов вошел в комнату, из дверей выскочила Олимпиада Артамоновна и торжественно сказала кухарке:

— Марьюшка! голубушка! ради бога, самовар! поскорее, голубушка!

Олимпиада Артамоновна говорила эти слова с тем же трепетом в голосе, какой привык слышать Семен Иванович только для себя одного. Благодетель не выдержал и закричал:

— Марья!

Явилась кухарка.

— Принеси самовар сюда!

— Там гость пришел.

— Принеси, говорю. Самовар мой!.. Попшла!

Кухарка принесла самовар. Семен Иванович, пожираемый

злостью, думал: — «Пу-ка, пусть узнают, как без меня-то?» и несчастию моего героя, через несколько минут в его комнату отворилась дверь, и кухарка, показав ему какой-то другой самовар, с сердцем крикнула ему:

— И без тебя обошлись!

— Вон отсюда!

— Цалуйся со своим самоваром... Вон соседи дали! Скареда!

— Вон, говорю, бестия!..

— У-у! бариц!..

Благодетель выскочил на двор, вызвал соседа-сапожника — и началось бушеванье.

— Грабители! — кричал Семен Иванович. — За мое хлеб-соль!.. Анафемы!

Сапожник был в недоумении.

Авдотья Карповна, разливая чай и слушая крики на дворе, была ни жива, ни мертва. Чиновник Сладкоумов тоже дрожал как в лихорадке.

Дверь отворилась, и вошел сосед-сапожник с ремешком на голове и уже сильно под хмельком... Семен Иванович угостил его.

— Сахарницу пожалуйте! — грубо заговорил он.

— Возьми, возьми, батюшка! Подавитесь вашим сахаром! — выходя из себя, закричала Авдотья Карповна.

— Печего нам давиться... Мы берем свое!.. Это все наше!.. Давиться! Обирать человека ваше дело, а за все благодаяния только безобразничаєте? Пожалуйте нашу пибиль! Это все наше! Так-то! Семен Иваныч переозжуют...

— Берите! Берите все! — кричала Авдотья Карповна. — Когда нас господь избавит от вас! Господи!

Вся семья Авдотьи Карповны рыдала. Писец Сладкоумов улизнул вон из комнаты и, пробегая по двору, споткнулся о камень, пущенный ему под ноги Семеном Ивановичем.

В этот день Семен Иванович убедился, что могущество его рушилось. Он снова помирился с хозяином старой квартиры; по, прежде нежели переехать, пробовал отомстить Претерпеевым за нарушение покоя его души. Каких-каких ни выдумывал он штук. Объявив Авдотье Карповне: «съез-

жаю с квартиры!», он думал заставить ее слова повергнуться к стопам его; но, к ужасу благодетеля, Авдотья Карповна отвечала: «хоть сейчас!»

Тогда Семен Иванович сказал: «Нет, погоди! Мне еще семь дней сроку, по закону! Нет, врешь!»

— У нас жилец есть на ваше место, Сладкоумов! — говорили ему.

— А! Жилец!.. нет, погоди!

И Семен Иванович продолжал сидеть на старой квартире, отобрав у Претерпеевых свою посуду, провизию, дрова, словом — оставив их в руках самой отчаянной пицеты.

— Семен Ивапыч! батюшка! — умоляли его. — Нам есть нечего! Переехал бы Сладкоумов, все бы как-нибудь, хоть рублишко какой дал...

— Нет еще погоди! Мне и сверх срока пять дней льготы!

Благодетель переехал только тогда, когда узнал, что Сладкоумов женился на мещанке, следовательно жить в Претерпеевых не будет, а другого жильца еще и в комнате нет.

Семья Авдотьи Карповны снова заголодала. Слова горькая вдова принялась собирать сухие купеческие пироги и проливать слезы на подъездах палат и канцелярий.

И вот Семен Иванович попрежнему на старой квартире, попрежнему в Растеряевой улице; у него те же хозяйева, та же старуха Авдотья, и вообще все как и прежде. Вечер. Комната освещена ярким сиянием лампад. Тишина. Семен Иванович и Хрипушин сидят на противоположных концах комнаты, и среди молчания, долгое время ненарушаемого, раздаются вздохи то хозяина, то гостя.

— Вот бы вам, Семен Иванович, жениться теперь: самый раз! — робко говорит Хрипушин, но Семен Иванович отвечает на это глубоким вздохом.

Опять настает молчанье...

— Ну-с. Семен Иванович, — поднимаясь и вздыхая, говорит медик: — пора!

— Куда же ты? — жалобно произносит хозяин.

— Нет-с, пора!

Семен Иванович остается один; тоска гнетет его: он вздыхает все глубже и глубже, и наконец мертвая тишина комнаты нарушается заунывным пением. «Ду-ушу мою!..» закрыв глаза и захлебываясь от тягости наплывающих ощущений, тянет Семен Иванович. «У-услыши, господи, молитву-у мою...»

В комнате попрежнему пахнет деревянным маслом. Ветер бьет ставней. Непсходная тоска!..

Хрипушин шел по темным и пустынным переулкам. Был октябрь в конце; в одно время падал снег и дождь, вследствие чего толь на улицах стояла непроходимая. К ужасам грязи присоединялся порывистый ветер, поминутно сметавший с крыш талую воду и обдававший ею Хрипушина с головы до ног.

— Господи! — стонал Хрипушин с растерзанным сердцем и вязнул в грязи.

ХИ. СЕМЕН ИВАНОВИЧ «У ПРИСТАНИ»

Мало-по-малу Иван Алексеевич стал реже показываться в растеряевской округе и, повидимому, переселился в местности более отдаленные и глухие, глубоко сожалея о своих растеряевских и томилепских пациентах, вечальные встречи с которыми почитал за истинное счастье.

А встречи эти иногда бывали.

Так, он шел однажды по большой городской улице; дело происходило в субботу, и по тротуарам валил народ; шел ко всеобщей в баню, из бани; мастеровые спешили за расчетом, песли самовары, ружья и револьверы.

— Иван Алексеев! — окликнул кто-то Хрипушина.

Хрипушин обернулся и увидел Семена Ивановича Толокопникова: он возвращался из бани.

— Какими судьбами? — воскликнули оба друга разом, пытливо оглядывая один другого.

— Ах, батюшка, Семен Иваныч! а? Сколько лет не виделись-то? Какая перемена!

- Переменишься, брат!
- Ей-бо-огу! Ну, как же господь милует вас?..
- Ничего, помаленьку. Ты-то как?
- Что мы! Наше дело тьфу! Вы как поживаете?
- Слава богу. Слышал, али нет?
- Что такое?
- Женился!
- Семен Ивапыч?
- Я!

Хрипушин отскочил в сторону, вытаращив глаза.

— Вы? женились?

— Я, я! Чего ты оцетипился-то?.. Пойдем-ко! Какая жена-то!

Хрипушин долго не мог опомниться. Семен Ивапович, идя рядом с медиком, рассказывал ему историю женитьбы и жены. Она была дочь одного однодворца, оставившего после смерти сорок десятин земли в приданое двум дочерям; одной из них было в то время двадцать четыре года, другой — шестнадцать; первая была крайне безобразна лицом и только пугала женихов, вследствие чего заслужила несправедливую матери. Умирая, отец начертал в духовном завещании, в видах обеспечения старшей дочери, следующее: «младшая может выйти только тогда, когда выйдет старшая, в противном случае она лишается 20-ти десятин земли, а старшей достаются все сорок». Отец думал, что подобным маневром он не заставит старшую дочь сидеть в девках, потому что если она оттолкнет жениха физиономией, то притянет его землей. Младшая же может выйти и по любви: она молода и недурна. Но этот маневр на деле осуществился иначе: старшая дочь была до того безобразна, что никакие сорок десятин не могли победить отвращения женихов; младшую же не брали, боясь остаться совсем без земли, что не было особенно привлекательно. Из всего этого вышло то, что, кроме отвращения и злобы матери, на Марью (старшую дочь) обрушилось отвращение и злоба молоденькой сестры. Старой девой помыкали, как тряпкой: ей не было покою ни днем ни ночью от упреков матери и сестры. Чтобы хоть как-нибудь победить отвращение

и презрение родных, Марья работала за семерых: мыла полы, стирала белье, ставила самовары, доила коров и пр. Но и это не спасало ее от семейного презрения. В таком виде предстала она глазам Семена Ивановича.

Когда Толоконников, рассказывая историю жепитьбы, дошел до изображения достоинств жены, то остановился на тротуаре и громко воскликнул над самым ухом Хрипушина:

— Так паstraщена, так паstraщена, боже защити!

Медик робко поглядел на Семена Ивановича и увидел, что ответить надо так:

— Что ж? Слава богу!..

— То есть вот как: ни-ни-ши!

— Слава богу! — повторил Хрипушин. — Ей-ей!

Затем, в доказательство «паstraщенности» жены Семена Ивановича рассказал, что во все время его сватовства терпеливая жена его целовала у него руки.

— «Позвольте попросить у вас воды», скажешь иной раз ей, — рассказывал Толоконников. — Тую же минуту несет воду и чмок в руку!.. Каково?

— Чудесно! — бормотал Хрипушин.

Скоро они пришли к воротам квартиры Семена Ивановича.

— Иван Алексеев! — сказал он шопотом, держась за кольцо калитки: — ты погляди-ко вот, что я тебе говорил... как палугана-то!..

— С великим удовольствием!

Едва только пали Семена Ивановича раздались в передней, как из соседней комнаты выскочила испуганная женщина со свечкой в руке.

— Вот жена! — сказал Толоконников.

Хрипушин засвидетельствовал почтение.

Жена Толоконникова была существо истиппо-жалкое; вся физиономия ее носила следы какого-то нечеловеческого утомления и ужаса, который громадностью своих размеров не давал возможности обратить внимание на ее безобразие. Человек, впервые попавший в Томилинскую улицу, словом — человек свежий, при взгляде на эту женщину неми-

нуемо должен был чувствовать боль в сердце и глубокую грусть; по томлинец, и на этот раз Семен Иванович, засиял, как солнце, когда увидел, что Хрипушки разделяет его мысли. С каким-то удовольствием подставил он же ще спину, для того чтобы она сняла шинель, и из снисходительности не допустил ее снять с себя калоши, к которым она было уже бросилась.

— Самовар! — кротко и нежно пропел притворяющийся зверь, входя в комнату.

Жена мгновенно исчезла в кухню.

— Видел? — шепнул хозяин гостю.

— То есть вот как: лучше не надо!

— А?

— Золото! Как есть золото!

— Что еще будет! Ты погляди-ка!

Самовар явился мгновенно. Жена Семена Ивановича с тем же испугом суетилась около чашек и ложек. Муж с удовольствием поглядывал на этот испуг. Наконец он, поторопясь, опустился на диван и, мигнув Хрипушкину, произнес:

— Маша-а!

Жена вздрогнула и чуть не выронила чашки.

— А что я тебе сегодня сказал?..

Семен Иванович подмигивал Хрипушкину и указывал головою на жену, которая безумными глазами бегала по ступам, очевидно, торопясь что-то вспомнить...

— Я... Семен Ивашыч... все...

— Что я сказал?

Знакомая нам сцена тянулась мучительно долго. Наконец, когда зрители увидели, что бедная женщина окончательно выбилась из сил, Семен Иванович подозвал ее к себе и сурово произнес:

— Гребешок! Я сказал: «приду из бани, чтобы гребешок»...

Но жены уже не было в комнате, она бросилась за гребешком.

— Видел? — произнес хозяин.

— Сам бог вам посылает! Истинно: слава богу!

Семен Иванович был доволен и тешился забитостью жены до усталости. Все эти сцены были закончены угощением, устроенным хозяином ради того, чтобы показать жену в новом свете, со стороны хозяйственной. Такие маневры Семен Иванович устраивал перед всеми своими знакомыми, которыми в последнее время обзавелся; знакомые эти были: почтальон, мучной лавочник и дьякон. Все они хвалили Семена Ивановича за его умение обращаться с женой.

Встреча Хрипушина с Толоконниковым доставила медику одну новую пациентку, потому что это была Марья Филипповна — жена Семена Ивановича. Зная, что женский пол в отсутствие мужей гораздо свободнее и предупредительнее, медик являлся к пей по утрам, когда Семен Иванович был на службе. Убеждение в предупредительности женщины обманывало медика, и он всегда получал от Марьи Филипповны водку.

С своей стороны, подобною же предупредительностью платил хозяйке и Хрипушин.

Всякий раз, замечая, что при появлении его Марья Филипповна утирает распухшие от слез глаза, медик заботливо спрашивал:

— Али чем больны?

— Нет, Иван Алексеевич, — это так.

— Как же так-то?

— Скучно!..

— О чем же скучать изволите?

— Да так... просто... скучно сделалось!

— Гмм!..

— С родными не видалась давно... вспомнила, ну и...

— Так, так... Да вы, Марья Филипповна, вот как: вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеек... Я вам сварю одну примочку.

Хрипушинские примочки не помогали, и слезы не просыхали на глазах Марьи Филипповны: ей было о чем плакать. Впрочем, Семена Ивановича она не выпила в своих слезах: она чувствовала, что обязана ему свободой от презрения родных.

Не могу подробно рассказать, что случилось с Претерпеевыми; достоверно только то, что Олимпиада Аргамоновна живет не в Томилинской улице и не в родительском доме; источники ее существования — никому неизвестны, но томилинская и растеряевская «молча» отзывается о них весьма неодобрительно.

Более о ней мы сказать ничего не можем.

XIV. РАЗНЫЙ РАСТЕРЯЕВСКИЙ ЛЮД

Теперь следовало бы возвратиться к жизни Прохора Порфирыча и рассказать благополучное окончание его карьеры. Но у нас есть еще два-три лица из растеряевцев, которых хоть и нельзя назвать «главными» действующими в растеряевском житье-бытье лицами, как Прохор Порфирыч и Хрипушин, но нельзя считать и личностями заурядными. Два-три слова сказать о них необходимо

1. КНИГА

После смерти вдового шапочника Юраса остался сын, болезненный мальчик лет двенадцати, не узнавший вследствие постоянной хворьбы даже ремесла своего отца. Родственники тотчас же запустили свои руки под подушку покойника, пошарили в сундуках, под войлоком и, найдя «ничто», принасленное Юрасом для неработающего сына, тотчас же получили к этому сыну особенную жалость и ни за что не хотели оставить его «без призору». Кабаныи зубы и пудовые кулаки мещанина Котельникова отвоевали сироту у прочих родственников. Сироту поместили на палатах в кухне, водили в церковь в панковых больничного покроя халатах и, попивая чаек на деньги покойного Юраса, толковали о заботах и убытках своих, излещенных через этого сироту. Прележал на палатах сын Юраса года четыре, и вышел из него длинный, сухой, шестнадцатилетний парень, задумчивый, тихий, с бледноглубыми глазами и почти белыми волосами. В течение этих годов лежанья,

от печего-делать прозубрил он пятикопеечную азбуку со складами, молитвами, изречениями, баснями, и незаметно книга в глазах его приняла вид и смысл, совершенно отличный от того вида и смысла, какой привыкли придавать ей растеряевцы. Страсть к чтению сделала то, что сирота решился просить опекуна купить ему какую-нибудь книгу. Опекун сжалился: книга была куплена, и сирота замер над ней, не имея сил оторваться от обворожительных страниц. Книга была: «Путешествие капитана Кука¹, учиненное английскими кораблями «Революцией» и «Адвентуром». Алифан (сирота) забыл сон, еду, перечитывая книгу сотни раз: капитан Кук все больше и больше пленял его и наконец сделался постоянным обладателем головы и сердца Алифана. Но ночам он в бреду выкрикивал какие-то морские термины, легал с палатой во время кораблекрушения и пугал всю семью опекуна не на живот, а на смерть. Котельников понял это сумасшествие по-своему.

— Ну, Алифан, — сказал он однажды сироте: — гляди сюда: оставлен ты сиротою, я тебя призрел, можно сказать, из последнего патужился... Шесть годов, господи благослови, мало-мало по сту-то серебра ты мне стоил... Так ли?

— Я, кажется, до веку моего буду ножки, ручки...

— Погоди... Второе дело, старался я, себя не жалел, сделать тебе всяческое списхождение и удовольствие... Через это я тебе, например, фунгу купил...

— Ах! — вскрикнул Алифан в восторге.

— Погоди... Вот то-то... Ты, может, читавши ее, от радости чумел, а спроси-ко-сь у меня, легко ли она мне досталась, книга-то? Следственно исхарчился я на тебя до последнего моего издыхания... Но так как имею я от бога доброе сердце, то главное стараюсь через мои жертвы только бы в царство небесное попасть и о прочем не хлопочу... С тебя же за мои благодеяния не требую я ничего... По силе, по мочи, воздашь ты мне малыми препорциями. Ибо

¹ Кук Джемс — крупнейший английский мореплаватель XVIII века, свершивший ряд опасных путешествий, знаменитых исследований и открытий, главным образом, в Тихом океане.

придумал я тебе по твоей хворости особепную должность, дабы имел ты род жизни на пропитаппе.

Последнюю фразу Котельников похитил из уст какой-то вдовы, слонявшейся по нашей улице и просившей милостыню именно этими словами, похищенными в свою очередь из какого-то прошения.

Скоро Алифан вступил в повозобретепную Котельниковым должность. На тонком ремне был перекинут через его плечо небольшой ящик, в котором находились иголки, шитки, обрезки тесемок, головные шпильки, булавки и прочие мелочи, необходимые для женского пола. Обязанности Алифана заключались в постоянном скитании по улице, из дома в дом, и целый день такой ходьбы давал ему барыш по большей мере пятнадцатипennyй. Этот пятнадцатипennyй приносил он все-таки к Котельникову, будто бы на сохранение... — «У меня целей», — говорил Котельников.

И Алифан вполне этому верил.

Но книга и капитан Кук не оставляли Алифана и здесь. Замечтавшись о каком-нибудь подвиге своего любимца, он не замечал, как, вместо полутора аршин тесемок, отмеривал три или пять, или в задумчивости шел бог знает куда, позабыв о своей профессии, и возвращался потом без конейки домой. Если Алифану приходилось зайти в чью-нибудь кухню и вступить в беседу с кучерами и кухарками, то и тут он незаметно сводил разговор на Кука и, заикаясь и бледнея, принимался прислаивать подвиги знаменитого капитана. Но кучера и кухарки, наскучив терпеливым выслушиванием непостижимых морских терминов и рассказов про иностранные народы и чудеса, о которых не упоминается даже в сказке о жар-птице, скоро подняли несчастного Алифана на смех. Скоро вся улица прозвала его «Куком», и ребята при каждом появлении его заливались несказанным хохотом; им вторили кучера, натравливая на бедного доморощенного Кука собак. Даже бабы, ровно ни буквы не понимавшие в рассказах Алифана, и те при появлении его кричали:

— Ах ты, батюшки мои, угораздило же его, — Кук!..
Этакое ли выпер из башки своей полоумной...

— В тину вишь заехал... На карапь сел, да в тину... Ха-ха-ха!.. — помирали кучера.

— Кук! Кук! Кук! — визжали мальчишки.

Алифан схватывал с земли кирпич и запускал в мальчишек: смех и гам усиливался, и беззащитный Алифан пускался бежать...

— Ку-ук! Ку-ук! — голосила улица. Общему орапыю вторили испуганные собаки.

Торговля Алифана мельчала все более и более. Обыватели чиновные, и в особенности обывательницы, с улыбкою встречали его и, купив на пятак шпилек или еще какой-нибудь мелюзги, считали обязанностью позабавиться страшной любовью Алифана.

— Ну как же Кук-то этот? — спрашивали они. — Как ты это говоришь, Расскажи-ко.

— Да так и есть...

— Как же это? плавал?

— И плавал-с; вот и все тут...

Алифан, желая избежать насмешек, иногда думал было отделаться такими отрывочными ответами; но влюбленное сердце его обыкновенно не выдерживало: еще пемпого, и Алифан воодушевлялся, — чудеса чужой стороны подкрапчивались его пылким воображением, и картинны незнакомой природы выходили слишком ярко и чудно. Алифан забывал все; он сам плыл на «Адвентюре»¹ по морю, среди фантастических туманов и островов удивительной прелести; воображение его разгоралось, разгоралось... и вдруг неудержимый, неистовый хохот, как обухом, ошарашивал его.

— Батюшки, умру! Умру! Умру! спасите!.. — вопил обыватель.

И Алифан исчезал.

Иногда выслушают его, посмеются в одинаковой мере и пад Куком и пад рассказчиком, продержат от скуки часа три и скажут:

— Ступай, не надо ничего.

¹ «А д в е н т ю р а» (Adventure) — название одного из кораблей, бывших в экспедиции капитана Кука в Тихом океане (1772—1775 гг.).

Плохо приходилось ему. Сипий нанковый халат, спитый опекуном еще в первые годы опекаания, до сих пор не сходил с его плеч, потому что другого не было. Если ипогда Алифан принимался раздумывать о своих несчастиях, то по тщательном размышлении находил, что во всем виноват один капитан Кук. Но было уже поздно!

Таким образом известнейший мореплаватель Кук, погибший на Сандвичевых островах, вторично погиб в трясинах растеряевского невежества, погиб, раскритикованный в пух и прах нашими кучерами, бабами, мальчишками и даже собаками.

А вместе с Куком погиб и добродушный Алифан.

Горестная жизнь его была принята обывателями, во-первых, к сведению, ибо говорилось.

— Вон Алифан читал-читал книжки-то, да теперь эво как шатается... Ровно лунатик!

И, во-вторых, к руководству, ибо говорилось:

— Что у тебя руки чешутся: все за клигу да за книгу? Опа ведь тебя не трогает?.. Дохватаешься до беды... Вон Алифан читал-читал, а глядишь — и околеет как собака.

2. БАЛКАНИХА

Тьма вопросов, являющихся у растеряевца в минуты «отчуждения», требует такого помощника в уразумении их, какою Растеряева улица не видала еще ни разу с того времени, как вытянулись в кривую линию ее косые заборы и приземистые лачужки с своими голодными обитателями.

Поэтому растеряевец с давнего времени привык полагаться на бога, будучи горьким опытом убежден, что спасение его не в руках человеческих. Только что рассказанная история с книгою и факты будничной жизни скажут наивному наблюдателю, полагающему, что в минуты жажды совета и уразумения не худо бы подсунуть растеряевцу нечто общедоступное или даже общезанимательное, — будничные опыты скажут такому наблюдателю, что хлопоты его по этому предмету будут тщетны вполне. Голодный

лунатизм¹ Алифана только подкрепит взгляд растеряевца на непопятную вещь, именуемую «книгою», и попрежнему сомнения его и надежды будут в руках умов мудреных и загадочных, говорящих необыкновенными словами... Такие мудреные умы есть у многих растеряевских баб, одну из которых я тотчас же постараюсь отрекомендовать читателю.

Вероятно, всякому приходилось не раз встречать тип необразованной, но умной бабы, преимущественно вдовы, которая всю жизнь усердно ходит в церковь, пользуется всеобщим почетом, именуется «матушкой», получает за обедней просвиру наравне с генералами и заслуженными людьми. Вот именно все такие качества совмещает в себе Пелагея Петровна Балкапова, иначе Балканиха, ипачо Дунай-Забалканова. Последний вариант фамилии Пелагея Петровна считала самым правильным, объясняя сложность ее знатностью дворянского рода, от которого будто бы она происходила. К несчастью, документы о ее происхождении были затеряны, и хоть она ни на минуту не покидала надежды отыскать дворянство, тем не менее улица наша смотрела на нее как на мещанку, супругу маленького и тощего мещанина. Но даже и в званьи мещанки Балканиха обратила на себя внимание растеряевцев, как женщина умная. Этому главным образом способствовали непостижимые, но самые существенные средства, которые употребляла она для укрощения мужа. Холостяком он слыл за вертопраха и сорви-голову; женившись — присмирел, оглупел, словом — сделался тряпкой. Средства, употребляемые Балканихой для его усмирения, мало того что были непостижимы, можно сказать наверное, не имели в себе ничего зверского, что почти невозможно в наших правах. Пелагея Петровна не крикнула, не топнула, не плюнула супругу в лохась ни разу; в серьезном выражении ее почти мужского лица, в ее строгих, но всегда спокойных глазах, даже, быть-может, в этих небольших усах, которыми была наделена она от природы, было что-то такое, что

¹ Лунатизм — болезнь, при которой подержанный ей человек во время сна поднимается, ходит и производит различные движения и действия, не просыпаясь при этом.

заставляло мужа ее осматриваться, самому придумать себе вину и просить извинения. Вследствие такого постоянно замирательного положения, муж Балканихи начал питать к ней какую-то тайную ненависть, утешая себя возможностью когда-нибудь отплатить ей теми же мучениями, какие испытывал теперь сам. Но Балканиха не изменялась, и неотомщенный муж смирялся все более и более. Супруга приучила его подходить к ручке, по воскресеньям поздравлять с праздником, в известных случаях говорить: «виноват, не попомните!» Дело умирения подвигалось вперед все быстрее и успешнее и окончилось одним весьма трагическим происшествием, о котором рассказывает растеряевская молва. Муж Пелагеи Петровны, привыкший все делать в темном углу, потихоньку, однажды вознамерился отведать па старости лет, стыдно сказать, вареньица! С замиранием сердца пробрался он в чулан, достал и развязал банку, проглотил одну полную вареньем ложку и только-что запустил было ее в другой раз, как неожиданно на пороге показалась серьезная фигура Балканихи...

Супруг вздрогнул, выпустил из рук ложку... и будто бы тут на месте испустил дух!

Пелагея Петровна была так уверена в справедливости своей власти над мужем, что даже в ту минуту, когда увидела труп его и когда, казалось, все земные прегрешения должны бы были забыться, она все-таки, по словам очевидцев, не могла не произнести:

— Вот ежели бы ты как следует пришел бы да попросил у меня вареньица-то, а не воровски поступил, остался бы ты жив-живехонек... А то вот господь-то и покарал!..

На похоронах Пелагея Петровна поплакала в самую меру, отпустив слез и причитаний ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы растеряевские бабы не имели оснований упрекать ее в холодности и бессердечии. Совершив все это по установленному порядку, Пелагея Петровна вступила в новый период жизни — «принялась вдоветь». В ее власти находился небольшой собственный дом с мезонином, огород с несколькими кривыми яблонями, разбросанными там и сям, баня и небольшое количество разного

рода добра, которое сумела скопить она. Из приближенных к ней людей остались с ней неразлучны попрежнему только старая баба Харитониха, исправлявшая все должности от палерстницы до помойки, и приемыш Кузька, самоварщик, о котором будет в своем месте более обстоятельная речь.

Прежде всего после смерти мужа она отправилась пешком к Троице-Сергию¹, так как давным-давно обещалась богу сделать этот подвиг, и, возвратившись оттуда, вступила на дорогу мирного и благочестивого жития. С этих пор начинается ее власть над нашей улицей. Рассказы про угодников божиих, про чудеса были до такой степени обворожительны в ее устах, что все бабы нашей улицы толпами стекались слушать их и выносили из балкавиного жилища самые светлые ощущения. Пелагея Петровна пользовалась однако этою минутною славой: при полной возможности шататься с своими рассказами по дворам и опивать на чаю весь женский пол нашей улицы, она этого не делала; напротив, в самом разгаре первой славы своей она попрежнему сидела с перстяным чулком в руках в своей маленькой каморке и басом пела: «Да исправится», подражая напеву «лаврскому». Авторитет свой она устраивала, не торопясь. Этому много способствовала Харитониха, которая от-нечего-делать находила возможность слышать и знать все, что делается у соседей и вообще по всей улице. Балкавиха слушала ее без малейших признаков любопытства и только иногда, выслушав рассказ, одевалась и шла на место происшествия, где и давала разные советы. «Вы хоть бы согрели у печки одеяло-то, — говорила, например, она: — а то этак-то и в гроб родильницу отправить недолго». Или: «Матушка! видите вы — человек слаб, а вы ему в самое дыхание ладаном надымили. Разве это возможно!.. Дайте ему очнуться, может, он вовсе и к смерти не принадлежит...» И случалось, что родильница, лежавшая под нагретыми одеялами, вдруг выздоравливала,

¹ Т р о и ц а - С е р г и й — «Троице - Сергиевская лавра», монастырь в посаде того же названия, под Москвой, в те времена место богомолья, ныне г. Загорск.

или что человек, который по случаю загула пролежал дня два недвижимо и которого начинали уже душить ладаном, приготовляя на тот свет, вдруг, после совета Балканихи, приходил в чувство и хриплым голосом произносил:

— Ах бы соленького!

Все это служило Балканихе к добру.

— Дай вам, господи, доброго здоровья, матушка Пелагея Петровна, — говорил воскресный растеряевец. — Без вас я, кажется, давно бы душу отдал и опохмелиться бы не пришлось!

Так потихоньку слава Балканихи все росла да росла, хотя, казалось, это вовсе не радовало и не волновало ее. Но это только казалось: в существе же дела она очень была довольна и немало гордилась своею властью. Ее ум, ограничивавшийся в прѣжнее время уходом за супругом и домашними заботами, теперь имел более пищи, развивался и приобретал даже несколько философское направление. Балканиха начинала чувствовать в своей голове ум несказанный: ощущение совершенно новое и приятное, тем более, что вся улица не испытывала этого ощущения, ибо не имела ни минуты свободной па то, чтобы заглянуть в собственные мозговые сокровищницы. Мудрствования и философствования были необыкновенно приятны для нее, и она часто парочко устраивала разные философские маневры, чтоб, во-первых, явственнее познать силу своего ума, а во-вторых, более изощриться в философских тонкостях. Такие маневры устраивала она пока только дома, ибо случаи к этому дома представлялись частые.

Один из жильцов ее был городской извозчик Никита, занимавший у Пелагея Петровны балю. У Никиты была огромная семья, и Балканиха из жалости брала с него только рубль серебром в месяц, с тем однако же условием, что всякую субботу, когда топится баня, Никита должен был выбираться оттуда с семьей и пожитками в сад.

Баня особенно часто топилась зимой, следовательно Никита знал вполне, что такое холод. В той же мере знал он, что такое и голод, потому что с давних, почти незапамятных времен испытывал неопишемую нищету. Кто

из трех врагов, опекавших его, — голода, холода и жапы, — явился прежде, вообще с чего началось его бездомничество, — решить было очень мудро. Пелагея Петровна, как женщина сердобольная, иногда предпринимала походы в области грешной души Никиты, с целью возвратить его на путь истины. Такие походы совершались преимущественно после обеда, когда муха и жара не дают никакой возможности заснуть. В такую пору Балкачиха обыкновенно завешивала окна платками и среди темной комнаты, с жужжащими у потолка мухами, вела отрывочные разговоры с Харитониной. Эта верная наперсница всеми мерами старалась придумать какую-нибудь интересную вещь, над которой бы Пелагея Петровна могла поумствовать: она сообщала сплетни, новости, пересуды. Истощался этот материал, Харитониха поднимала вопросы в роде того, что правда ли, будто рыбки в царство небесное не понадут, и нет ли этому какой-нибудь основательной причины. Если же истощался и этот запас, то Балкачиха вдруг начинала чувствовать потребность доброго дела и приказывала звать Никиту, предварительно справившись, в рассудке ли он?

— Никита-а! — звала Харитониха.

— Сейчас-ас! — отзывался Никита из сарая. — Чего там?

— Пелагея Петровна зовут к себе.

— По-о!.. — злобно рычал Никита, стиснув зубы. — Зачесалось! Опять воловодить начнет... Иду!.. Как только это не совестно мучить человека... Скажи: иду!..

Скоро действительно Никита входит в комнату Балкачихи. Он делает низкий поклон шопотом здоровается, отступает шаг назад к двери, обдергивает рубашку и с пугливым недоумением ожидает вопроса. Пелагея Петровна начинает издали; она задает ему вопрос: «куда душа человеческая надлежит по-настоящему», полагая, про себя, что всякая истинно-христианская душа надлежит в рай.

Никита недоумевает.

— Не понимаешь?

— Мал-делечко точно что... есть препону!

— Ну, ты подумай.

— Слушаю-с...

— Тогда и скажи! Только хорошенько подумай!

— Да уж будьте покойны... Слава богу!.. Али мы...

Приму все силы...

Настает мертвое молчание. Никита думает, по временам взглядывая на потолок; откашливается, потихонечку вздыхает и вдруг говорит, направляясь к двери:

— Я, матушка, Пелагея Петровна, на минуточку...

— Нет, ты погоди!

— То есть... одну только минуту...

— Нет, нет.. постой! Ты сначала скажи, что следует...

— И в самом деле, — соглашался Никита: — лучше же я теперича скажу вам все...

— Ну вот...

— Да тогда уж и отлучусь. По крайности объясню вам. Во сто раз лучше...

Никита понимает всю безвыходность своего положения и с особенным напряжением ума старается разузнать вистипные позымы своей души.

— Ну? — спрашивает Балканиха. — Куда же наша душа подлежит по-настоящему?

— Душ-ша наша, — робко и протяжно пачинает Никита: — душа наша, матушка, Пелагея Петровна, главное поровит по своей пакости как бы например согрешить, например в кабак...

— Глупец. — вскрикивает Балканиха. — Что ты это сказал!

Пелагеей Петровна даже вскочила с своей кровати и подступыла к Никите, который испуганно подался к двери.

— Опомнись! Что ты сказал?! В рай нашей душе по божьему писанию надлежит, а по в кабак!... безумец этакой... в ра-ай!

Никита спохватился: «Так! так!.. в рай! в рай-с!.. это точно. Ах, ты, боже мой! а я эво куда... Ах!»

— Нет, как ты осмелился это сказать? а? — еще ближе подступая, горячится Балканиха.

— Да что будешь делать! Хорошенечко не огляделся. ду и... В рай-с! Будьте покойны! так, так...

— Ай-ай-ай... Видишь ты, как враг-то тебя оплел?.. а? В кабак!.. Следственно душа твоя до какого безобразия искажепа?.. У кого же ты теперича дудешь просить защиты?..

— У кого ж, кроме вас...

Балканиха даже всплеснула руками я, отступая в глубину комнаты, воскликнула:

— Да что ты это? Очумел ты? У б-бога! только у бога одного!.. Сотвори крестное знамение...

— Прощибся! Не подумавши сказал... Виповат! Я было, признаться, и хотел-то это самое сказать, да маленечко, по грехам, не туда прохватил...

Озадаченный философским ухищрением, Никита уже с полным смиренным слушал дальнейшие речи Балканихи и считал непременным долгом соглашаться с ней во всем; да и польза было не согласиться! Она так ярко изображала надшую его душу, стремящуюся прежде всего в кабак, так явственно рисовала ужасы адских мучений, что сердцу Никиты нельзя было не содрогаться: то видел он себя с огненной сковородой в руках, то чувствовал, как в его грешную спину загоняют железный крюк, чтобы повесить над огненной бездной...

— Верно! — произносил он в ужасе. — Верно, матушка, Пелагея Петровна! Ах, справедливо!

Дело обыкновенно сводилось к тому, что Никита пачишал клясться перед образом:

— Ежели только каплю, громом расшиби!

— Смотри! — говорила Балканиха.

— Будьте покойны! Ни в жисть не будет этого!

— Смотри!

— Даже пи-пи! Ни боже мой! Легкое ли дело... ни-ни!

Пожалуйте вашу ручку.

— Цалуй... да сма-три!..

В эти минуты Никита действительно чувствовал такую энергию, о которой в обыкновенное время не мог и представить себе, так как вся рассудочная деятельность его была обыкновенно поглощена надеждою, что «бог не без милости». Тотчас же после нравоучения он решился вдруг

все привести в порядок. Мгновенно, и даже несколько с сердцем, вытаскивал из-под навеса свои ветхие дрожки, устанавливал их посреди двора на солнечном припеке и, обдав водою, принимался скоблить, чистить, мыть. Все кожалье в своем экипаже смазывал густыми слоями сала, ослепительный блеск которого открывал целые миллионы изъянов, незаметных прежде под кучами грязи. Это однако не охлаждало Никиты. «Ничего, живет!», говорил он, взяв в руки оглобли и лавируя с дрожками по балканпихину двору. «Еще как отлично-то!»

Затем подобную энергическую реставрировку¹ испытывала и несчастная кляча, потерявшая от нищеты хозяина и фигуру и способность что-нибудь ощущать: выражение глаз ее в ту минуту, когда хозяин вытягивал ее кнутом, было совершенно такое же, когда хозяин угощал ее овсом. Потом следовали хлопоты в семье, в бане; Никита умывался, надевал чистую рубаху, расчесывал волосы, смазав их квасом, и с особенной любовью, какал может загореться в сердце человека, с твердой верой в будущее благополучие, нянчил своих ребят, целовал их и разговаривал самым дружеским тоном.

На другой день рано утром Никита собирается ехать со двора. Старый армяк его вычищен и заштопан белыми литками; шея обмотана новым, подаренным к крестинам, платком, подпирающим в самую скулы. В воротах он снимает шапку и не перестает креститься во все протяжении пути от ворот до перекрестка. Жена Никиты, с ребенком на руках, долго смотрит ему вслед, стоя за воротами. На перекрестке Никита, нахлобучив шапку, польснул кнутом клячу — и дело пошло в ход. Лошадь потащила своей упругою рысью, оглашая пустынную улицу бряканьем седезенки. Никита размышлял, чувствуя в себе что-то новое, небывалое... Вдруг его качнуло назад, и дрожки остановились, утонув колесами в выбоине перед крыльцом знакомого кабака... Лошадь остановилась здесь по привычке.

¹ Р е с т а в р и р о в к а — отделка заново, восстановление, по старому, обновление.

Пораженный удивлением, Никита долго молчал, опустив руки, и наконец шопотом пробормотал:

— Каково вам покажется?

— Никита Петрович, — весело шептал из окна целовальник: — иди, благословись косушечкой!

— У-у! Ссак-крушен-ние! — рычал Никита, с сердцем вытягивая лошадь кнутом.

Такие не всегда удачные попытки сделать доброе дело не только не убавляли ничего в славе Балканихи, но, напротив — еще более придавали ей весу: Никита, вернувшись домой опять со сломанными дрожками и в разорванном армяке, снова чувствовал себя виноватым перед Пелагеей Петровной, и этот страх не пропадал даром, потому что обыватели нашей улицы видели его и поучались. Ко всему этому Пелагея Петровна постепенно прибавляла новые поводы для уважения. Так, например, она перечитала все книги, найденные у ее жильцов: молитвословы, календари, богослужebные книги, поучительные примеры благочестия, «Камень веры»¹ и пр. и пр. Растеряева улица после этого вытаращила глаза на Балканиху, ибо в разговоре ее стали появляться такие слова, какие растеряевцы от роду своего слыхом не слыхали. Мало того, Балканиха могла каждому растолковать всякое подобное слово. В одинаковой мере понимала она, что такое значит: круг солнца², в р у ц е л е т и е³, и н д и к т а⁴, как и такие тонкости, ко-

¹ «К а м е н ь в е р ы» — религиозное сочинение 18-го века, написанное Стефаном Яворским (митрополитом Рязанским).

² К р у г с о л н ц а — по церковному исчислению определялся в 28 лет.

³ В р у ц е л е т и е — в р у ц е л е т о. В церковном календаре каждому числу месяца была приписана одна из семи букв церковно-славянского алфавита. Поэтому каждый из дней недели в данном году имел определенную букву. Та буква, которой соответствовало в этом году воскресенье, — называлась — в р у ц е л е т о.

⁴ И н д и к т — римское слово, употреблялось там для обозначения нового периода налогового обложения начинавшегося с сентября месяца (после окончания жатвы). В церковной жизни, где новый год начинался с первого сентября, принято было каждое новолетие называть индиктом.

торые объясняют, что такое полиелей¹, преполовение². Рекомендую читателю представить себе, что должен был чувствовать растерявец при взгляде на Пелагею Петровну в эту пору ее славы. Такие успехи она одерживала в то время, когда ей было только тридцать восемь лет от роду. В эту пору вздумал-было посвататься за нее один мещанин, по фамилии Дрыкин, но скоро раздумал...

«С чего это он меня не взял?» — думала Балканиха в то время, когда вся наша улица полагала, что она сама отказала жениху, и совершенно не подозревала, что иногда в голову благочестивой Пелагеи Петровны закрадывалась мысль об отмщении за эту «обиду»

3. МЕЩАНИН ДРЫКИН

Мещанин Дрыкин до постройки огромного дома не был известен почти никому в городе. Лет десять назад до этого времени видели его кой-кто на толкучке в ту самую минуту, когда он, не стесняясь громадным стечением публики, отнимал у жида-солдата нанковые панталоны, утверждая, что означенные панталоны принадлежат ему и хотя, повидимому, гроша не стоят, по что он, Дрыкин, имеет тайную причину считать их весьма ценными, почему и требует с солдата, кроме панталон, штраф в три целковых, да за бесчестие еще какую-то сумму. После этого пассажа встречали его еще кое-где: на нем был длинный изорванный черный сюртук, панталоны, похищенные у жида, картуз без подкладки, в руках держал он тонкую яблоневую трость. Так встречали его в продолжение многих лет, и затем он сразу делается обладателем огромного каменного дома, получая от растерявцев наименование «темного» богача — т. е. человека, который разбогател не то «убийством», не то «грабежом», не то отыскал клад. Как бы то ни было, но, разбогатевав, Дрыкин начал строить дом. Он строил его на широкую ногу, со всеми удобствами;

¹ Полиелей — особая церковная служба.

² Преполовение — буквально середина, половина. День преполовения — среда четвертой недели после пасхи.

ворочал большими капиталами. В эту пору он посватался было за Балканиху, но, почувяв в ней обширный ум, расчел лучшим отказаться и женился на молоденькой. Растеряевское предание говорит, что тотчас после свадьбы молодая супруга Дрыкина, по имени «Непила», отдала приказание мужу, чтобы немедленно были приглашены все полковые музыканты и все господа военные из благородных, какие только есть в городе палицо. В ответ на это муж, не говоря ни слова, отправил ее донть корову, сделав такое жестокое рукопашное внушение, что Непила сразу как бы оглуела, затихла и вообще до того «испугалась», что Дрыкину впоследствии не было решительно никакой надобности в рукопашных внушениях: достаточно было только взглянуть, сдвинуть брови, чтобы то или другое желание его исполнялось беспрекословно. Впрочем, полный порядок, по мнению Дрыкина, воцарился в доме его только тогда, когда он вместе с женой переселился в какую-то маленькую каморку окнами на двор, а в трех этажах каменного дома загорланило население кабаков, харчевен, номеров постоялого двора. Непила целые дни торчала в этой каморке, не показывая глаз на свет божий, а муж ее уселся за воротами на лавочке, в тех же нанковых панталонах, с тою же тростью в руках. Он видимо богател: но это богатство ничего не изменяло ни в его costume, ни в жизни: та же видимая нищета, тот же лук за обедом и пр. Даже кошелек его, казалось, вовсе не тучнел, потому что если какая-нибудь соседская баба обращалась к нему с убедительной просьбой насчет двугривенного, то в ответ на это он запускал два грязных пальца в дырявый карман жилета, вытаскивал заплашневелый екатерининский грош и почти детски-невинным голосом говорил:

— С великим бы, матушка моя, удовольствием, да вот только всего и денег-то у меня... Правда, был об святой гривенник меди; ну, да по времени на себя извел... Что делаешь-то? А с тех пор и денег-то никаких не случалось. И не знаю когда! Да и где теперь деньгам быть? Кажется, вот-вот с семьей побираться пойдешь...

— Ну, извините, — говорила разобиженная баба.

— С великим бы удовольствием, да ведь что будешь делать!.. До приятного свидания...

— И вам также!

После такого разговора Дрыкин крикнет тихонько, постучит палкой по тротуару, держа ее между раздвинутых колен, и возобновит прерванный разговор. На лице его не произойдет ни малейшей перемены, даже улыбки не явится.

Постоянное пребывание Дрыкина за воротами давало возможность познакомиться с его, так сказать, душевными симпатиями. Иногда кто-нибудь из «объегориваемых» им приносил почитать газету. Чтение происходило за воротами. Дрыкин особенно интересовался описаниями церемоний и изображением сверхъестественных происшествий: говорящая мышь, девица, прославшая ровно пять лет и по пробуждении вдруг разрешившаяся от бремени, и пр. Об иностранных землях из тех же газет узнавал он тоже чудеса: упал камень с неба, чугунок под водой и под землей ходит и т. д. Нужно сказать правду, такие известия потрясали Дрыкина. Он ахал и вздыхал: «Боже мой!»—говорил он:— «в других-то землях что делается! а?» Но нужно сказать также и то, что при всей искренности этих вздохов, ежели бы судьба забросила как-нибудь Дрыкина в одну из этих стран, переполненных такими удивительными вещами, то он прежде всего осведомился бы: «почем овес?», а про чудеса едва ли бы и вспомнил за хлопотами. Наивность его решительно не давала никаких шансов к соболезованию над ним по поводу тех ущербов, которые он должен понести в жизни, где, повидимому, так много самых простых вещей и явлений, могущих поставить его втупик. Нет! Ворочая огромными капиталами и имея сношения со множеством народа, он между тем все бухгалтерские книги, кредиты и дебетовые ведет на притолках амбаров и погребов, изображая углем и мелом палки, под которыми подразумеваются у него и люди, и овес, и пр. Кажется, уж как при таком невежестве не промахнуться, как не почувствовать потребности выучиться писать хоть по складам? Однако посмотрите, как он, не прибегая к чьему-либо посредству, сумел напугать своих должников, которые обходят его

жизнище за пять кварталов. Все это может быть объяснено только тем, что в натуре Дрыкина сумели уживаться самые противоположные вещи, смиренно равнялись и давали дорогу первенствующему стремлению «зпать свой карман».

В эту пору жизни мещанина Дрыкина никакая победа над ним не была возможна. Если бы дела продлились в таком порядке, то Ненила не успела бы ни разу вздохнуть свободно во всю жизнь, а Балканиха не имела бы случая восторжествовать. Но господь помог им обемы.

Дрыкин с давнего времени жаловался на боль в глазах. Добрые люди советовали ему пить, по заряду, по два стака на черныбыльного¹ настою, нюхать хрен и пр. Особенно было обращено внимание в этом лечении на то, чтобы суметь воспользоваться лекарством по возможности «до заутрени», до «петухов». В этом почему-то считали тайлу лечения; однако, несмотря на всю силу доморощенных волшебств, дело кончилось тем, что Дрыкин ослеп.

В одно утро он открыл глаза, тер их кулаками, таращил, крестился и наконец почти со слезами сказал:

— Непилушка! ведь я не вижу!

— Что ты?

— Господи! Господи! что ж это такое? Ведь ослеп!..

Дрыкин заплакал. Ненила сначала в недоумении смотрела на мужа; потом ей вспомнилось что-то очень далекое, на лице появилась краска.

— Ослеп? — спросила она.

— Ослеп! как есть ослеп!

— Слава тебе, господи! — с истинным благоговением заговорила она. — Слава тебе, царю небесному. Ослепи ты его, прода, навеки нерушимо...

— Жен-на! Побойся бога! — стонал муж.

Но жена, вместо сожаления, захохотала и весело стала дразнить его:

— Ну тронь?.. Ну сделай твое такое одолжение, тронь? Найди меня!.. где я? ха-ха-ха!

¹ Черныбыльник — особое растение, вид полыни; корень черныбыльника, по народному поверью, употреблялся как средство от падучей и других болезней.

— Б-боже мой, бож-же мой!..

С этих пор в доме Дрыкина пошло все вверх дном. Ненила, которой в эту пору было только двадцать шесть лет, тотчас же изгнала жильцов; вместе с ними выгнала вон из компат своих ребят, которых она терпеть не могла за их безобразные рожи, — и зашпоровала. Начала она переменять платья по пяти раз в день; явились у нее толпы приятельниц и виццо в полунштофе; целые дни шло щелканье орехов, и частенько подгулявшие бабы визгливо орали песни.

Дрыкин стоил, лежа в своем подвале.

Также безобразия Ненилы продолжались по крайней мере с полгода; к концу этого времени она успела нагуляться «на все» и поугомонилась, не переменяя, впрочем, своих отношений к мужу. За воротами, куда Дрыкин наконец-таки опять перебрался, шло попрежнему обделывание дел, но уже в степени гораздо меньшей против прежнего, ибо денежные расчеты Дрыкина постоянно перебивались мыслями совершенно побочного свойства.

— Ты говоришь, ударить ее? — говорил он, раздумывая, своему приятелю. — Ударить! Голубчик! как же ты ее ударишь, когда...

— Жену-то?

— Не про то! теперича положим так: ну, даст мне господь, ошарашу я ее; но она заместо того пустит в меня из двадцати местов. И палочьем и чем угодно...

— Так того: в сонное бы время, — басил приятель. — Чать, знаете местоположение-то?.. Ну, вот тут бы ее и пристукнуть?

— Голубчик ты мой! — жалобно говорил Дрыкин: — ну хорошо, пуцай я ее разов пяток кокну в голову-то, но ведь получит она через это пробуждение и следственно опять-таки меня, боже защити, как?

— Мудрено!

— Так мудрено, так, друг ты мой, мудрено, даже весьма опасно!..

В эту пору распутицы семейной жизни Дрыкина, Пелагея Петровна имела полную возможность одержать над ним какую угодно победу; это было тем легче, что слабые стру-

пы супругов не таились и были паружу. Припимал в расчет свойство этих струн, Балканиха находила весьма удобным и приятным для себя мутить между собою супругов. Делалось это с затаенной улыбкой и смехом. Главное орудие для супружеских стычек Пелагея Петровна имела в распущенном хозяйстве. Стоило ей показаться на дворе у Дрыкиных, как зоркий глаз ее тотчас же подмечал множество неисправностей: кухарка потихоньку снабжает хозяйским молоком свою родственницу; приказчик, вместо пуда сена, отпускает проезжающему половину, и этот последний обещается вперед не стунать ногой на постоянный двор Дрыкина; под сараем кто-то кричит: «Поддай!» — «Нет! врешь!»

Пелагея Петровна только головой качает и идет в сени; здесь раскрыты двери в чулан, в кладовую, в кухню: кто хочет — приди и возьми все, — ни одна душа не хватится и виноватого не сыщешь. Запасшись таким материалом, Пелагея Петровна являлась к Дрыкину и, поздоровавшись, начинала:

— Ну, отец, уж и хозяйство у тебя! Уж хозяйство! И что только это, дивлюсь я, жена у тебя смотрит?.. а?..

— Матушка!.. — почти плача, говорил Дрыкин.

— А? Везде крадут, везде тащут, все робеет; кажется, приди вор, возьми все, и не хватятся... Что это такое? Что-ж ты на жену-то смотришь?

— Да, милая моя! Ну положим, точно что, быть может, я ее и того... чем-нибудь... но ведь она в отместку и палочьем и...

— Да как же она смеет?

Дрыкин бледнел от злости и бодро произносил:

— И в самом деле?

— Доживешь, — продолжала Балканиха: — покуда по миру пойдешь побираться... Легкое ли дело, все на выворотку!.. Ах, ты, боже мой! а?.. — качая головой, говорит она и идет в другую комнату.

— Ах, боже мой! — продолжает она, подходя к Непле. — Я смотрю, смотрю на тебя: господи! кажется, в чем только душа держится... Похудела, осунулась... И как только ты это со слепым дьяволом живешь!

— Мочи моей нет! Убью я его!

— Имению! Скажите на милость, слепая тучела этакая, совсем молодую женщину...

Ненила схватывала половую щетку и как стрела налетала на мужа, который, в свою очередь, доспевал по возможности «кокнуть» супругу...

В ту же минуту Балканиха умела выскользнуть из комнаты; стоя за воротами, она прислушивалась к шуму битвы, происходящей в доме Дрыкина, и, с улыбкой глядя на небо, во всеуслышание говорила:

— Господи помилуй! Господи помилуй!

Счастливо живет наша Балканиха до сей поры и по-прежнему пользуется общим почетом. Дает советы и принимает за них посылные приношения. Только порой еще и теперь досадует она, что не удалось ей прибрать к рукам старого Дрыкина.

Возвратимся теперь и к Прохору Порфирычу.

XV. ПРОГУЛКА

В жаркое послеобеденное время, по глухому переулку, в тепи у заборов, шли два обывателя. Первый был известный читателю Прохор Порфирыч, другой — самоварщик Кузька, воспитанник Пелагеи Петровны Балкановой. Это был здоровый малый, лет семнадцати, с широким разжиревшим лицом, вздернутым носом и маленькими глазами, в которых проглядывало выражение какого-то непонятного негодования.

Оба приятеля были в «лучших» костюмах: Прохор Порфирыч, известный в нашей улице за изящнейшего джентльмена, в настоящую минуту совершенно оправдывал этот титул; все, что только отыскал он в своем сундуке аглицкого и французского, все было надето на нем. Незастегнутый сюртук, распахиваемый ветром, открывал пятившуюся вперед манишку и франтовскую жилетку, застегнутую на одну пуговицу. Новый шелковый галстук, из-за которого

чуть-чуть показывались кончики воротников, скрипел и издавал какой-то металлический треск, далеко слышавшийся кругом во время безмолвного шествия. Нельзя не сказать, что такой наряд доставлял моему герою истинное удовольствие; держа обе руки назад, он гордо выступал вперед, холодным взглядом окидывая фигуру Кузьки, который представлял совершенный контраст¹ с его джентльменской² фигурой. Кузька был одет тоже во все новое; по его наряд в сравнении с нарядом Прохора Порфирыча не стоил ни полшки. Несмотря на пестерпимую жару, Кузька парадился во все теплое: на голове у него был драповый новый картуз на вате; на плечах, кроме сюртука, драповая же ваточная чуйка с бархатным высоким воротником; шея была подвязана новым платком, но подвязана так, что Кузька не мог свободно повернуть голову и вздохнуть; кровь прилиwała к голове и стучала в мокрых от поту висках. Отправляясь на богомолье в село З—во, где по расчетам Кузьки должна собраться большая публика, он счел за нужное нарядиться во все лучшее, ибо в этом считал необходимое условие всякого праздника. Ко всем этим неудобствам его костюма нужно прибавить узкие выростковые сапоги, надетые на шерстяные чулки, и накопец глубокие калоши. Кузька прихрамывал и отставал.

— Ты ежели хочешь итти, так иди! — строго сказал ему Прохор Порфирыч: — мне с тобой возиться некогда. Этак мы к ночи не доберемся.

— Не сердись! — уныло сказал Кузька.

Порфирыч посмотрел на его раскрасневшуюся физиономию, по которой градом лился пот, и проговорил:

— Ишь рожу-то пажевал!..

— Да будет тебе, ей-богу! — беззащитным голосом протянул Кузька и обтер лицо колючим драповым рукавом.

— Пу иди, иди... Брюшу!

Кузька, повидимому, очень дорожил компанией спутника, потому что устроил шаги и скоро поровнялся с ним.

¹ К о н т р а с т — противоположность.

² Д ж е н т л ь м е н — английское слово, здесь для обозначения приличного, франтовского вида.

— И кто это только праздники выдумал? — бормотал он шопотом, чувствуя во всем теле нестерпимый жар.

Приятели молча продолжали шествие по пустынным переулкам. Жаркий ветер по временам дул в их запыленные лица и чуть-чуть шевелил запыленными листьями корявых яблонь, ветки которых перевешивались кое-где через заборы.

От жары народ попрятался в дома; везде были закрыты ставни; спали люди, спали собаки. А солнце жгло и палило не уставая...

Исчезли последние дворнички самого отдаленного переулка, и путники вышли в поле. Пыльный и узенький проселок извивался по небольшой возвышенности, отлого спускавшейся к болотистому дну неглубокой ложбины. Здесь, через трясину, перекинут маленький мост без перил, запрудивший собою зеленую и гнилую болотную воду. На противоположном возвышении холма красуется новый кабак: около крыльца воткнут в землю длинный шест, к концу которого привязана пустая бутылка.

Народу идет «видимо-невидимо», преимущественно бабы, девушки и молодые мужчины всех классов и званий. Прохор Порфирыч идет молча, будучи обуреваем своими тайными размышлениями.

Размышления его имели довольно глубокомысленное направление. Как уже известно, во всей улице нашей он был египетский человек, умевший обходиться без кабака, без разбитого глаза и всегда имевший изящный костюм. Благополучие Прохора Порфирыча было до сих пор прочно до изумительности; но последние трудные времена до такой степени оказались трудными, что поколебали даже и его благополучие. Даже он вздохнул не один раз. Самое решительное желание рабочего народа было желание войны; «хоть бы подрались где-нибудь, — толковали рабочие: — все больше было бы сбыту на оружейный товар». По войне как на зло нигде не случалось. Прохор Порфирыч, в эту трудную пору, до того упизил свой авторитет, что решился даже обратиться за советом и сведениями к Пелагее Петровне. Эта дама не дала ему, впрочем, положительного

ответа ни на один вопрос, а насчет войны отозвалась, что «не слышать».

— Точно что, — говорила она: — где-то заседают об этом деле, насчет того — где и как; но будут ли воевать или нет, наверно сказать нельзя.

Стали поэтому грездиться в голову Прохора Порфирыча мысли о женитьбе и следовательно отчасти и о любви. По эту последнюю вещь он тотчас же подвергнул собственной критике и убедился в полной ее невыгоде, тем более, что он в совершенстве знал женский пол нашей улицы. Понадеяться на этот пол было весьма опасно; в доказательство этого он мог привести множество примеров. Не дальше как вчера он пробирался ночью, держа сапоги в руках, к своей соседке, у которой муж на минутку отбыл в село Селезнево для излечения от застоя. Недели две тому назад встретил он в городском саду одну особу женского пола, которая несла из дому ужин брату-целовальнику, и имел с ней нечто секретное, после чего еще раз убедился в правоте своего взгляда на женский пол. Положительные желания его насчет этого предмета состояли в том, чтобы взять жену с состоянием, не обращая внимания на физиономию и возраст; при этом область любви он намерен был уступить супруге в полное распоряжение, а сам предполагал заведывать исключительно капиталом, мечтая об осуществлении одного наивыгоднейшего предприятия. По мнению Порфирыча, самое выгодное занятие — кабак. В качестве умного человека, он устроит кабак около какой-нибудь большой фабрики, будет давать рабочим в долг, под условием получать деньги из рук хозяина, который согласится на устройство кабака около фабрики, потому что Порфирыч предложит ему «профит», т. е. вместо, например, пяти рублей, будет брать только четыре, а за рабочим запишется все-таки пять. В воображении Прохора Порфирыча кабак этот рисовался какою-то разверстою пастью, которая, не переставая, будет глотать черные фигуры мастеровых. Картина и план были весьма эффектно и выгодны; не находилось только невесты с капиталом. Давно уже пустился он за поисками того и другого, но удачи особенной не видал.

Размышления по поводу этих обстоятельств и этих надежд одолевали его голову в то время, как он шел на богомолье в Э—во. Кузька молча следовал за ним, стараясь не отставать.

— У тебя много-ль денег-то? — спрашивает его Порфирыч, не поворачивая головы.

— Да, пожалуй, целковых два набору. Ты, Порфирыч, бери их... Бери все.

— Вона!.. Я на всякий случай... Кабы с купца получил...

— Чего там с купца! Бери все... Куда мне их? Я и не приберу... Только ты меня не кидай...

— Куда же я тебя кину?

— То-то! Уж сделай милость, голубчик... Ежели бросишь, что я один-то?.. Легче же во сто раз воротиться...

— Ну да ладно, не брошу! «Экая осина какая!» — подумал Порфирыч и замолчал снова.

А Кузька очень радовался, что будет иметь верного защитника и руководителя.

Нелагея Петровна, приходившаяся Кузьке теткой, взяла его на воспитание, когда ему было три года. Не любя мужа и не имея детей, она отдала весь запас жепской любви воспитанию своего приемыша. Главные старания ее состояли в том, чтобы освободить Кузьку от тех несчастий и пороков, которыми видимо страдала наша улица. Поэтому Кузька с малых лет постоянно находился при ней, получая ласки в виде непрерывной еды. Общество мальчишек было для него чужим: он один катался на ледянке около ворот, не смея и боясь присоединиться к компании, и целые дни проводил в обществе старух, привыкнув к существованию в общих растеряевских интересах. Кузька был усыплен и за кормлен до такой степени, что никакая новость, никакой любопытный факт, который ему приходилось видеть в первый раз в жизни, не привлекали его внимания. Нужно было долго долбить одинаково сильными впечатлениями в окаменелую голову его, чтобы пробрать и заставить его заинтересоваться и жить. Но когда наконец он раззадоривался, — удержать его было трудно. На самоварной фабри-

ке, куда Пелагея Петровна поместила его, в первый год затылок его был всеобщей наковальней, на которой пробо- валась сила хозяйских и товарищеских кулаков. На второй год он понял, в чем дело, и, развиваясь далее, поровил- было уже отведать прелестей кабаков. Пелагея Петровна во-время спохватилась, и тут началась реставрировка его развращавшейся души при помощи розог. Каждую субботу Пелагея Петровна припасала для своего пасыпка по мень- шей мере два пучка. Такая классическая система сделала то, что Кузька, будучи уже взрослым малым, был глупее всякого растеряевского ребенка. Огражденный стараниями Петровны от развращенных нравов, Кузька, по планам этой дамы, имел уже все шансы на счастливое и безмятеж- ное житие. Страх, который чувствовал Кузька к своей пе- стунье, заставлял его всеми мерами следовать ее теории насчет собственного благосостояния и выискивать в расте- ряевских правах такие проблески жизни, которые не со- прикасаются с кабаком, не посят в недрах своих увечья, разбитого глаза, сибирки и пр., — так как в самом деле «не все же кабак»...

Но каково же было изумление Кузьки (выражавшееся, впрочем, самой неопределепной тоской во всем теле), когда продолжительный опыт доказал, что помимо кабака, поми- мо проклятий собственной жизни, — в растеряевских пра- вах нет ничего более существенного. Чем делиться расте- ряевцу с своей семьей, которая, в большинстве случаев, тоже дает правоучение в форме непрерывных упреков? В этой ли голодной и холодной семье найти хоть какую- нибудь дозу удовольствия, лихорадочно необходимого после долгих трудов? Но, главное, под силу ли трезвому человеку перейти то море нужд, которое тянется и тянулось без ко- ца? Насущный и ежеминутный вопрос растеряевской жиз- ни — нужда. Под ее влиянием паши удовольствия, радости, словом — вся физиономия жизни. Кузька, благодаря попе- чениям Балканихи, не знал нужды и следовательно не мог жить в Растеряевой улице. Ему не зачем было жить здесь. Посмотрите, с какими усилиями добывался он этой жизни «без кабака» и чем вознаграждались эти усилия.

Вот стоит он за воротами, в жаркий летний полдень. По причине праздника, все пообедали рано, и поэтому на улице ни души. Кузька стоит на солпечном припеке, босиком, и со злобою скребет затылок, стараясь хоть чем-нибудь развлечься. Ветер треплет его панковые шаровары и красную распоясанную рубашку. Все окружающее знакомо ему до мелочей. Но вот, под забором, спит чья-то собака. Выражение лица Кузьки делается определеннее; он осторожно достает кусок кирпича и, отставив ногу, развертывается камнем в собаку... Пыль столбом взвилась у забора, и собака с визгом и лаем понеслась прочь, поджимая раненую ногу...

Визг собаки доставил Кузьке некоторое удовольствие: он слегка скосил губы на сторону и вернул головой вбок. И опять скука! Кузька замечает наконец, что на углу, в тени, мальчишки играют в бабки. Он вдруг почему-то принимает самую зверскую физиономию, торопливыми шагами идет туда и сбивает погою все бабки прочь.

— Ну чего ты? — пищат мальчишки.

— Прочь! — кричит Кузька, разгояя толпу затрещинами.

— Что они, трогают тебя? — заступается баба.

— А другого места разве нет им? — возражает Кузька.

— Ах, ты, разбойник этакой! Постой, я вот Пелагею Петровну скажу, — кричит баба вслед Кузьке.

— А по мне говори!.. Что она мне сделает?

— Вот увидишь, что!

Кузька скопфужон. Снова попав в область самой мертвящей скуки, он не решается больше искать развлечений на улице и идет в сарай. Здесь Никита чистит лошадь. Кузька медленно оглядывает давным-давно знакомый ему сарай.

— Тебе чего пужно? — строго спрашивает его Никита.

— А тебе что?

— Ты чего тут не видал?

— Да вот хочу. Что, тебе жалко?

— Ах, ты, дубина! — укоризненно говорит Никита. — Пелагея-то Петровна мало тебя бьет!.. Тебя, по совести-то, надо дубиной, да получше...

— Чего ты, ругаешься-то? Что за бариц уродился?

— Подлец! Именно подлец! Ну чего ты здесь?

— Хочу!

— Дубина!

— Ну-ну, тропь!..

— Глупцы! — раздавался голос Пелагеи Петровны — и порядок восстанавливается. Разозленный Кузька завалился спать где-нибудь на чердаке за трубой и с горя спал как убитый. Просыпался он рапехонько утром и тотчас, с голоду, принимался путешествовать по чуланам и кладовым, отыскивая что-нибудь съестное. Спросонюк он действовал во время похищений очень неаккуратно: ронял горшки, опрокидывал банки. Разбуженная стуком, Пелагея Петровна являлась на место преступления, и Кузька получал достойное.

Помимо полной невозможности отыскать себе хоть какое-нибудь развлечение, Кузька был еще несчастлив в том отношении, что в качестве семнадцатилетнего ребенка становился втупик перед самыми обыкновенными человеческими отношениями; весь мир божий казался ему множеством совершенно отдельных предметов, которые друг с другом не имеют никакой связи. Если же порой у него и мелькала иногда мысль, объясняющая то или другое явление, то Кузьке делалось как-то неловко, не по себе. Случалось, увидит он пригожую девушку и почувствует при этом нечто особенное; он почти понимает, в чем заключается это нечто; но это кажется ему уже чересчур странном, и Кузька без разговоров выкидывает какую-нибудь безобразную штуку... Девушка, например, улыбается и посылает ему поцелуй, а Кузька показывает ей кулак, присовокупляя: «На-ко!» В заключение рассердится сам же на себя и со зла хватит камнем в собаку..

Между тем количество богомольцев, по мере приближения к З-ву, увеличивалось. Девушки шли толпами, звонко смеялись, расходились по густой и высокой ржи, плели венки из полевых цветов. Встретилась на пути жиденькая рощи-

ца, и богомольцы рассыпались между деревьями. Молодые люди, на которых девушки смотрели с выразительными улыбками, присоединялись к ним и шли вместе. Некоторые из молодых людей, понимая по своему смысл этих выразительных улыбок, припасли по две и по три бутылки паливки да м с к о й, сохранив ее в глубине своих карманов.

Слышались разговоры.

— Ну-ко, кто кого? — спрашивал один юноша у другого, показывая из-под полы горлышко бутылки. — Не хочешь ли потянуться?

Прятели вламываются в рожь и приседают. Скоро опорожненная бутылка, словно ракета, взвивается вверх.

— Вот они богомольцы-то! — подтрунивают бабы. — Вот так богомольцы!

По пыльной дороге то и дело проносились купеческие тележки с крепкими и статными лошадьми, изредка тащились извозчики дрожки с седоком-чиновником, приготовлявшимся испить до дна чашу наслаждений, о которой означенный чиновник так много слышал от приятелей. Вся громадная толпа путников подвигалась весело вперед. Солнце начинало садиться: тени прохожих вытягивались по земле до громадных размеров. Вот пакопец и село. Богомольцы спускаются с высокого холма, огibaющего с двух сторон низменный луг, переходят небольшой, трепещущий от ветхости мост и вступают на середине сельской улицы. Направо тянется длинная линия просторных изб, с сараями позади; налево, на возвышенном холме, красуется помещичий дом и церковь, к которой примыкают дома причта. Обе эти стороны разделены небольшим ручьем с болотистыми берегами.

Вся сельская улица против домов запружена пародом. На земле кипят самовары и идет веселое чаепитие целыми компаниями. Кавалеры всяких сортов лавируют мимо жещин, занявшихся чаем, выказывая необыкновенные грациозные телодвижения. По мере того как надвигались сумерки и тетки, конвоировавшие молодых девиц, толпами отправлялись в церковь, тайные цели кавалеров делались яснее. Девицы, схватившись под руки, весело разгуливали

по сельской улице; кавалеры тоже целыми взводами двинулись им навстречу, обжигая девиц многозначительными взглядами, и наконец решались вступить в разговор.

— Отчего же вы не в церкви?

— А вам какое дело?

— Как какое? Помилуйте!..

— А вы лучше отстаньте...

— Н-нет-с...

Начинается разговор, сплошь состоящий из какой-то чепухи; тем не менее в конце разговора кавалер считает себя в праве задать наконец вопрос шопотом и на ушко:

— Вы где почете? — шепчет он.

— У Семливестра, — отвечает девица.

— В сарае?

— Да!

— Так следовательно, — говорит он вслух: — вы, напротив, того мнения, что любовь...

— Отвяжитесь, ради бога!..

Люди опытные знают наизусть способ ведения сердечных дел, а люди неопытные, напротив — в крайнем стеснении.

Прохор Порфирыч и Кузька тоже были в толпе гуляющих. Кузька решительно не понимал, из какого источника льются эти пескончаемые разговоры кавалеров и дам? Где отыскать предметы для этих разговоров? Он был крайне сконфужен и плелся вслед за Прохором Порфирычем, как осужденный на смерть, тогда как последний видимо успевал.

Внимание его было привлечено одной женщиной, очень недурной и миловидной, которая была в 3-ве без подруг и одна сидела за самоваром. Она постоянно конфузилась и бросала на мужчин испуганные взгляды.

Прохор Порфирыч заметил это и погнался от себя Кузьку.

— Отойди! — сказал он: — мне нужно!..

— Да куда ж я? — запыл-было тот.

— Отойди прочь, говорю... Отстань!..

Кузька с горечью отошел от него и выбрался на самый конец села, где не было ни души. Здесь он расположился на траве и вздохнул свободнее. Прохор Порфирыч тотчас пустил в ход всю свою опытность «по женской части».

Девушка конфузилась, потом украдкой взглянула на него, Прохор Порфирыч ответил ей легонькой улыбкой; девушке, как кажется, очень понравилось это; но мой герой, «зная женский характер», побаловал пезнакомку улыбкой всего только один раз и потом напустил на себя необычайную серьезность. Такой прием Прохор Порфирыч считал очень удобным в применении к женскому полу, и, действительно, девушка стала интересоваться им. Несмотря на свою видимую холодность Прохор Порфирыч старательно следил за девушкой, всеми силами стараясь разрешить — кто она такая. На замужнюю пепохожа, — таких молодых жей мужья не отпускают от себя в З—во. Пепохожа также и на девушку, потому что около нее нет ни одной пожилой присматривающей родственницы. Считать ее «из этаких» он тоже не мог, потому что в ней не было ни нахальства, ни бойкости. Прохор Порфирыч недоумевал: не вдова ли? — думал он: но и на вдову тоже не было похоже: непременно уж был бы около нее кто-нибудь старший. Не разрешив этих вопросов, Прохор Порфирыч репился во что бы то ни стало попасть на ночлег в тот именно сарай, где поместится и красавица.

Часов в девять вечера улица начала понемногу пустеть. Старухи возвращались от всенощпой и укладывались спать в избах; самовары исчезли, изредка попадались кое-где фигуры пьяных мужчин. Сарай, помещавшиеся позади изб, были полны молодежью. Прохор Порфирыч стоял на улице и шопотом разговаривал с хозяином одного двора.

— Будьте покойны! — говорил хозяин.

— Здесь ли?

— Здесь, уж я вам говорю. Пожалуйте!

Порфирыч и хозяин вошли задними воротами к конопляникам и направились к сараю.

— Уж я вас, — говорил хозяин дорогою: — в самое лучшее место положу.

Они вошли в темный сарай; сквозь плетеные стены его едва-едва прокрадывался лунный свет. В непроницаемой темноте со всех сторон слышался шопот, подавляемый смех и изредка многозначительный кашель.

— Где ж бы тут лечь? — спросил Порфирыч у хозяина.

— А вот-с я сейчас, — сказал тот и зажег спичку. Яркий свет открыл довольно живописную картину: во всем сарае, на разбросанном сене лежали вповалку мужчины и женщины. Женщины при свете тотчас «загомосились» и принялись прятать голые ноги под белые простыни, закрываясь ими до самых глаз.

— Да вот место! — сказал хозяин.

Прохор Порфирыч взглянул в угол, предназначавшийся для него, и увидел знакомую девушку, так интересовавшую его. Она чуть-чуть выглянула из-под «бурнуса» и тотчас снова завернулась с головой.

Спичка погасла. Прохор Порфирыч ползком пробрался между лежавшим народом и достиг своего ложа. Девушка отодвинулась в угол.

— Ничего-с! сделайте милость, не беспокойтесь... — проговорил вежливо герой.

Во всем сарае было какое-то бессонное молчание.

— Куда ты? куда тебя дьявол песет?

— Мне сенца!

— Я тебе задам сенца!

— Что вы орете? Вот удивление!

Снова наставало молчание и потом снова разговор.

— Подальше, подальше, батюшка! У меня свой муж есть.

— Вам беспокойно? — спросил Порфирыч соседку.

— Нет, ничего-с!

— А то не угодно ли, вот сюда?

— Нет, нет, — шептала та.

— Да что вы опасаетесь? Будьте покойны. Я не какой-нибудь...

— Уж вы этого не говорите. А я вам прямо скажу, я не на это сюда пришла.

— Да помилуйте! Даже на уме не было! Я вот перед богом скажу вам, всей бы душой познакомиться желал.

— Это зачем?

— Как-с зачем?.. Позвольте ваше имя-отчество?

— Раиса Карювна.

— Так, Райса Карповна, что же вы тятеньку имсете?
— Нет, ни тятеньки, ни маменьки нету, померли.
— Что же, стало-быть, вы у родственников изволито жить?

— Н-нет... Я не здешняя.

— Приезжая?

— Елифанская... из Елифани.

— Да-да-да... И что же теперича вы здесь... при месте?

Девица промолчала.

— Или в услужении?

— Н-нет... Я... Да вы заругаетесь!..

— Ах! Что это вы? Как же я смею? Неужели этакое свищество позволю?

— Я... Господина капитана Бурцева знаете?

— Это которые полком тут стоят?

— Они.

— Ну-с?

— Ну, я при них...

— То есть как же это: по хозяйству?..

— Нет... Я, собственно... Как они просуждали, и видят — я сирота... «Поедем», говорят... Ну я, конечно...

— Да-да-да... Что ж? дело доброе.

— Вот вы насмехаетесь!..

— Чем же-с?.. Даже ни-пи.

«Э-э-э! — подумал Порфирыч: — вот она птица-то!» — и замолчал.

Тишина в сарае продолжала быть бессонной, и это очень растрогало Порфирыча; он вздохнул и обратился к соседке с каким-то вопросом.

— Ах, оставьте!.. Я и так уж!..

— Что такое?

— Да самая горькая...

— То есть из-за чего же?..

— Голубчик! Лежите смирно! Я вас прошу.

— Помилуйте, из-за чего же горькие? Будьте так добры... Обозначьте!

— Они уезжают: капитан-то...

— Н-пу-с. Что же? И господь с ними...

— Хотели меня замуж выдать, да кто меня возьмет?

— Как кто? Конечно, сжали бюджет от них помощь...

— Они дают деньгами...

— Много ли?

— Полторы тысячи...

У Порфирыча захватило дух.

— Ка-как?.. Пол-лтор-ры... Вы изволите говорить, полторы?

— Да... Перед венцом деньги.

— Раиса Карповна, — проговорил Порфирыч. — Верно ли это?

— Это верно.

— Я приду-с... К господину капитану... Приду-с!

— Голубчик! Вы надсмехаетесь?

— Провались я на сем месте... Завтра же приду!..

— Ах, миленький.. Обманываете вы... Я какая... Вы по захотите...

— Да я скорей издохну... Деньги перед венцом?

— Да, да... Уж и как же бы хорошо!.. Не обманете?

— Ах!.. Раиса Карповна!.. Да что ж я после этого?..

— Голубчик!..

Между тем Кузька, улегшийся на траве за селом, был в большом унынии: ничто не могло расшевелить его настолько, чтобы заставить разделять общее удовольствие; его одолевала полная тоска. Долго лежал он молча. Взошел месяц, над болотом стал туман, заквакали лягушки, и в селе не слышалось уже ни единого человеческого звука. Наконец тошно стало ему здесь. Он решил идти в село на почлог.

На сельской улице не было никого; только на одном из крылец сидел хмельной дворник и разговаривал с бабой, стоявшей на улице.

— Арина! — говорил дворник.

— Что, голубчик?

— Уйди, говорю, отсюда.

— Илья Митрич! За что-ж ты меня разлюбил! Господи! Сирота я горемычная!..

— Арина! говорю: уйди! Слышишь?..

— Илья Митрич!

— Я говорю, уйд-и!

Кузька вошел в первые отворенные сени, спросил у хозяина позволения ночевать и лег с глубоким вздохом, надеясь, что может быть завтра будет легче на душе.

Но надежды его не сбылись и завтра. Во-первых, он снова был без руководителя, так как Прохор Порфирыч совершенно увлекся ночной соседкой, чему в особенности способствовали полторы тысячи «перед вещом». Второе несчастье Кузьки состояло в том, что утро другого дня не имело даже и того напряженного веселья, каким обладал вчерашний вечер: публика рано начала собираться в город, так как все самое интересное в празднике было уже вчера. Девушки и кавалеры, встречаясь друг с другом при дневном свете, были даже нелюбезны.

Публика разбредалась. На сердце Кузьки становилось все тяжелей и тяжелей: он не выносил с гулянья ни одного приятного ощущения; рубль семь гривен, которые он пожертвовал себе на увеселения, были целехоньки. «Неужели же, — думалось ему: — с тем и домой воротиться!» Как за последнюю надежду, ухватился он за мысль — снова пойти в кабак.

В кабаке было множество посетителей... Они говорили с пьяных глаз что-то совсем непопитное, спорили, жаловались. Внимание Кузьки было привлечено компаниею подгулявшей молодежи.

— Нет, не выпьешь! — кричал один.

— Ан врешь!

— Что такое?

— Да вот Федор берется четверть пива выпить на спор.

— Дай, об чем?

— И спорить не хочу...

— Нет, нет, пушай его! Друг, пива!

— Поглядим...

Явилась четверть пива в железной мерке; Федор пере крестился, поднял ее обеими руками и принялся цедить.

Публика следила за ним с особенным вниманием.

— Нет! — произнес неожиданно Федор и хлопнул четвертью об стол.

«А-а!..» послышалось со всех сторон. Охмелевший Федор присел к столу. Глаза его смотрели бессмысленно.

Кузька, в минуту неудачи Федора, вдруг почувствовал в себе сознание чего-то небывалого. Громадные нетронутые силы, давно ждавшие какого-нибудь выхода, зашевелились. Он видел теперь перед собой такое дело, которое понимал вполне и которое могло прославить его по крайней мере в 3-ском кабаке. Кузька чувствовал, что теперь ему предстоит сделать первый сознательный и смелый шаг. Он смело подошел к гулякам и проговорил:

— Что дадите, я выпью четверть?

— А ты чем стоишь?

— Берите, что есть: рубль семь гривен.

— Ладно! А с нашего боку, ежели выпьешь, пей сколько хочешь и чего твоей душе угодно... Деньги наши... Идет?

— Кричи!..

— Пивва! — заорала компания.

Скоро все общество в кабаке столпилось около Кузьки, который удивлял всех своим богатырским подвигом. Четверть пива быстро подходила к концу: Кузька ни разу еще не передохнул, только лицо его медленно наливалось кровью, глаза выкатились и сверкали белками...

— Ах, прерва! — говорил удивленный зритель.

— Батюшки, шатается! — вскрикнул другой: — шатается!..

— Держи, держи его... Распибется!..

— Уйти от греха! — прошептал третий и выскользнул из кабака. На улице он слышал, как в кабаке что-то грузное рухнуло па-земь...

ХVI. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ

Мне остается прибавить еще очень немного: Кузька умер в больнице, в бреду. Сонные нервы его были разбиты слишком непривычным хмелем. Прохор Порфирыч, напро-

тив того, с успехом сделал второй шаг на поприще своего благосостояния: он явился к господину капиталу Бурцеву, объяснил ему свое желание вступить в брак и особенно настойчиво изложил условия этого брака. Фразы: «полторы тысячи» и «перед венцом» занимали достаточную часть в его объяснении. Несмотря однако на видимую корысть, согласие было дано... Более всех радовалась бедная невеста, которая и не чаяла, как вырваться на божий свет... Она безмолвно благоговела перед своим женихом и из метрессы¹ превратилась в покорное, любящее существо, готовое на всякую жертву.

— Голубчик! — с любовью шептала она, бродя вслед за Прохором Порфирычем по саду, куда капитан отправил их переговорить: — милый мой!..

Мой герой и здесь не уронил себя: видя в невесте неподдельную любовь, он постарался с своей стороны отплатить ей за это как можно благороднее. Для этого он вежливо задавал ей вопросы насчет того, — «не мешает ли, мол, вам табачный дым?», подхватывал упавший платок, подносил благовопный букет и среди всякого рода вежливостей не забывал присовокупить:

— Так уж сделайте милость, чтобы это было верно, — перед венцом-то!

Метресса — любовница,

Б У Д К А

ОЧЕРК

I

На углу двух весьма глухих и бедных переулков уездного города стояла будка; физиономия ее походила на те беседки с колоннами и куполом, которые встречаются на лубочных изображениях иностранных вилл, причем обыкновенно впереди виллы¹, в воде, плавают два лебедя друг против друга, сзади видны деревья, а по дорожкам прогуливаются господа в шляпах набекрень, в черных фраках, дети с обручами и дамы с зонтиками на плече; походила она также на те храмы муз², которые обыкновенно изображают на занавесях провинциальных театров; такому сходству весьма способствовала старинная архитектура будки; она, действительно, была с колоннами и куполом; а камешные, ободранные стены ее были круглы; по некоторым, по видимому, весьма ничтожные вещи, как, например, измазанная дверь с клоками истерзанной рогожки и войлока, приземистая черная труба, венчавшая вершину купола, и в особенности жестяная алебарда³, видневшаяся всегда у колонн, весьма красноречиво доказывали наблюдателю, что видимое им здание не есть храм муз, но есть кутузка, или сибирка; тем более, что громадные калоши будочника Мымрецова, набитые для тепла соломой и постоянно торчавшие перед

¹ В и л л а — загородный дом, дача.

² М у з ы — по представлениям греческих мифов—богини искусств и наук, девять дочерей бога Зевса.

³ А л е б а р д а — древнее оружие пешего воина: топор и копьё на длинной деревянной пике.

будкой на улице, — ни в каком случае не могли напоминать лебедей, плавающих перед иностранною виллой.

На тонецких почернееших колонках будки всегда трепетали по ветру какие-то писаные и печатные лоскутки, на которых значилось, что такого-то числа военною и гражданские чиновники приглашаются пожаловать в парадной форме... Что того же числа в мещанской управе¹ будет происходить торг и переторжка на имущество мещанки Степаниды, состоящее из утюга и кровати, оцененных в тридцать копеек... Что в зале дворянского собрания имеет быть бал, почему благоволят надеть белые жилетки те, кои и т. д. Но страна, где стояла будка, не имела ни парадной формы, ни тридцати копеек, чтобы овладеть обольстительным имуществом Степаниды, ни, наконец, белых жилетов; и поэтому-то пропаганда будочника Мырцеова по исчисленным вопросам была совершенно ничтожна; закутавшись в казенную шубу, он, правда, постоянно торчал около той или другой колонки и, повидимому, сторожил эти писаные и печатные лоскутки, но, в сущности, смысл и содержание их были ему известны ровно столько же, сколько и жестяной алебарде, которая тоже торчала рядом с Мырцеовым, только у другой колонки... Оба они пропагандировали нечто другое и следовательно недаром мерзли на ветру...

Будочник Мырцеов принадлежал к числу «неспособных», т. е. людей совершенно негодных в войске. Эти неспособно-большую частью происходят или из обделенных природою белоруссов, или из русачков северных бесхлебных и холодных губерний. Мачеха природа и лебеда пополам с древесной корой, питающей их, загодя, со дня рожденья, обрекает их быть идиотами и богом убитыми людьми; она наделяет их непостижимою умственною неповоротливостью и все почти задавленные стремления человеческой природы сводит на жажду водки, которую они поглощают в громадных размерах; они умеют папиваться молча, не произнося ни единого слова; молча дерутся в кровь и, валяясь где-нибудь в глухом и безлюдном переулке, почти в беспамят-

¹ Мещанская управа — сословное административное учреждение.

стве умеют бормотать только одно: «виноват», ни на минуту не выпуская из скудного и запуганного воображения образ грозного начальства.

Начальство вообще панически¹ действует на них; при виде его несчастные «неспособные» вытягиваются в струнку, замирают и задыхаются в воротнике, стянутом тугоплатуго; виски, намазанные для праздника свиным салом, начинают потеть, а глаза получают способность пускать слезы.

Кроме мачехи природы, последние признаки человеческого существа из них выколачивает военная муштровка²; в древние времена результаты ее отдавались у неспособных на скулах, под скулами, на спине и далее.

«Муштра» комкала их, переламывала в нескольких направлениях, как какую-нибудь палку или доску, и, оставив в жпвых только косицы, намазанные свиным салом, сдавала в провинции на разные должности: в «хожалые», пожарные и пр. Воины эти, вступая на новый пост, непременно имели разные увечья и вывихи — разорванную в драке губу, выломанное ребро, ухабы и ямы в голове и спине; соединив эти приобретения с тем наследием природы, о котором уже упомянуто, они представлялись субъектами самого страшного свойства; никто никогда не мог вдолбить им в голову чего-нибудь, не относящегося до их пожарной специальности, и в свою очередь тоже и от них нельзя было добиться чего-нибудь. Самый краткий разговор с таким существом всегда оканчивался тем, что начавший разговаривать прерывал речь, с ожесточением восклицая:

— Да что ты? Ты оглох, что ли?

Но субъект не оглох, — он просто был «неспособный».

Будочник Мырцецов обладал всеми упомянутыми увечьями в полном объеме; все эти вывихи, переломы имелись у него даже в сверхкомплектном³ количестве, делая из него угрюмую, неповоротливую фигуру, весьма походившую

¹ П а н и ч е с к и — безотчетно устрашающе.

² М у ш т р о в к а — строгая выучка.

³ С в е р х к о м п л е к т н ы й — излишний против положенного счета.

па корень дерева, глубоко сидевший в земле и вывернутый оттуда силою бури; видно было, что тут происходило и упорство, с одной стороны, и сокрушительная сила, с другой: корень вывернут из земли изувеченный и бездушный.

Посмотри на то, изувеченность и умственное оскудение были главною причиною того блистательного успеха, с которым Мырцев занимал предназначенный ему пост; можно даже сказать напервое, что успех этот мог увеличиваться и возрастать по мере того, как течение времени и драк будет выхватывать у него новые ребра и делать новые ямы в голове. Только при таких условиях раскраденный умственный капитал его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, мог сосредоточиться и даже впитаться в главные его обязанности; обязанности эти состояли в том, чтобы, во-первых, «тащить», а во-вторых, «не пущать»; тащил он обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали. Словом, где только человек находился в положении, определяемом фразою «ни назад, ни вперед», там напервое Мырцев принимал живейшее участие; говорят, что с течением времени Мырцев до того въелся в это тасканье, что в людях, начал замечать только шивороты и этим отличал людей от бессловесных животных и неодушевленных предметов: постыду-то Мырцев и жестяная алебарда были представителями шиворотной пропаганды и следовательно встарем мерили на ветру.

Забота о шиворотах поглотила все его существо, так что в ней, как бездонной пропасти, почти бесследно исчезала последовательная нить его философии и свойства его, как семьянина; о семейных отношениях к его супруге можно сказать, что он и жена жили не так, как живут кошка с собакой, потому что несходные качества этих животных размещались в одной супруге, и Мырцеву осталась роль бесчувственного пня, на который могут брехать собаки и царапать лапами кошки, не надеясь получить в ответ ничего, кроме мертвого равнодушия и поплевываний в угол, и то вследствие приятного ощущения, доставляемого махоркой. Гробовое молчание и угрюмость решительно не да-

вали возможности разглядеть в подробности все личные особенности Мыррецова; несокровенным было то, что он очень любил тютюн, услаждавший его 3 минуты отдыха, и что три денежки в сутки да ковриги казенного хлеба с нумерами на верхней корке, написанными мелом, поддерживали его изувеченное существование на славу множества шиворотов, и только; мрак угрюмости и молчания непроглядною пеленою покрывал тайну происхождения его других желаний и убеждений. Так, нам уже известно, что он умел, в качестве илота¹, наливаться молча; по праздничным дням он угрюмо шатался из двора во двор и везде лил в себя водку, не зная решительно границ этому литью и не подозревая, что желудок его — не бездонная пропасть. Целые яедыли после этого он мучился грудью, поясницей, головой, но на следующий праздник история повторялась в том же порядке. Такою же таинственностью покрыта его страсть копить серебряные пятачки. Почему он с лихорадочной жадностью завертывает тихомолком каждый пятачок в тысячу тряпок? зачем так далеко прячет их в шерстяной чулок и засовывает потом под крыльцо? Неужели он думает нажить богатства и сокровища? Неужели об этих сокровищах он так усердно молит бога, оставшись вечерком один, не спускает с крошечного образочка своих глаз, падает на колени и так крешко-крепко бьет себя кулаком в грудь?..

Мыррецов объясняет эти молитвы и собиранне пятачков тем, что скоро он пойдет в свою сторону: он дожидается только времени, когда перестанут у него ныть кости, руки и ноги... Он ждет, пока у него отойдет хрипота в груди, мешающая ему свободно дышать, и тогда он непременно уйдет к своим..

II

Вообще таинственные свойства души Мыррецова совершенно необъяснимы, и мы, не имея права умозаключать них, прямо переходим к его деятельности.

¹ И л о т — в древнегреческом государстве Спарте, так назывались рабы, отдаваемые государством в работу гражданам.

Деятельность эта, т. е. тасканье и хватание за шивороты, не прекращалась у Мырцеова ни на одну минуту: утром он обыкновенно отпраплялся в часть и рапортовал пачальству о своих успехах, излагая речь сообразно с своею изувеченностью и искалеченностью.

— Ну, — спрашивал его квартальный, перелистывая какие-то бумаги: — ты что же это там с бабами-то воюешь?

— Помилуйте, вашскобродие, я только-что отпихнул ее от себя...

— Кого?

— Эту самую даму... Смоленскую...

— Какую Смоленскую?

— Да которая, например, шельма сама... Гордеиха приказывает ее узять, а она говорит: «я, говорит, с этой дрянью не пойду». Она, вашскобродие, меня дрянью назвала...

— Ну?

— Ну, я ее и отпихнул... говорю: «ты мне не нужна!» А разодравши они были прежде... Я подбег, они уж разодравши были... и уж глаз расшибли... в том числе...

— В каком числе?

— В числе драки-с.

— Чорт тебя знает, что ты городишь! Посади!

— Помилуйте!

— Ступай!

Обыкновенно дела шли таким образом, что Мырцеов не успевал возвратиться домой, как где-нибудь на пути к будке ему навертывалась практика; но иногда прямо из части он приходил в будку, расстегивал шинель и, сладостно поплывывая, курил тютюн. В эти минуты он не слыхал, как жена его, орудовавшая у печи, костила его по какому-то случаю и замахивалась на него ухватом; угрюмо и безмолвно наслаждался он махоркой; но когда махорка выгорала в трубке и Мырцеову предстояла необходимость ограничиться созерцанием возносимых над его головой ухватов, ему вдруг делалось скучно и тоскливо: выйдя на крыльцо, он тревожно поглядывал в одну и в другую сторону, ища поживы, снова возвращался в будку и начинал

чувствовать, что у него болят руки, ноги, поют кости... Ему непременно нужно было куда-нибудь торопиться, ловить что-нибудь или кого-нибудь.

Судьба обыкновенно недолго держала его в таком томительном состоянии.

Вот отворилась дверь, в будку попало холодом, и вслед затем появилась фигура женщины в истертой синей шубейке, с лицом, облитым слезами и покрытым темными, словно чернильными пятнами. Слез и пятен достаточно Мымрецову, чтобы увидеть под ними шиворот. Он начинает торопливо застегивать шинель и говорит:

— Где? — намекая тем на местонахождение шиворота.

Ему не нужно знать, почему и что? — он давно убедился, что в этих слезах и снычках ничего не разберет сам черт.

— Ох, да недалечко, родной!.. — говорит старуха. — Тут-от-ка вот... к полю... Уж и нагазал господь... О-ох!

— Потому нам нельзя допускать дебошу... — торопливо говорит Мымрецов, надевая шапку. — Где тесак?

— Сократи ты его! Сделай твою милость...

— Палка где? Потому мы не допускаем, коли ежели шум, например... Пам этого нельзя...

Палка найдена, и Мымрецов исчезает, куда призывает его долг, а будочница, от-печего-делать, занимается исследованием причины снычков и слез; она знает все, что ни делается в округности.

— Сынок, ай нет? — спрашивает она старуху.

— Ох, нет, родная, не сын! Нету сыновьев-то. Зять!

— Зя-ать?.. А то вот тоже у соседей попожовщина идет — ну, там сыновья!..

— Зять, зять, родная!.. Кровную детищу отдала — загубила. И ровно враг меня обошел, как отдавала-то я!.. За вдовца отдавала-то! копокрад, родная!.. Которые родные в то время случились, «что ты, говорят, делаешь? Что ты в гроб-то ее заживо кладешь?..» Дочку-то... Нет! Отдала... Прельщение от него уж очень большое было! «Век, говорит, кормить буду... до смерти»... Искусилась, да вот и вою... Только-что, господь благослови, повенчали их, ан гляжу — уж он ее...

При этом старуха сделала руками такой жест, как будто хотела представить, как полощут белье...

— Опосле этого-то он недолго ее помучил — в солдаты ушел, охотою... В те поры мы с дочкою-то все бога молили, чтоб ему голову бы снесли прочь... Все, бывало, черкесов да кизильбашей¹ этих помпнали в молитвах — не утаю, родимая! Остались мы с дочкой да ребенок — троечкою; дочка-то пошла по портомойной части, а я так, на старости, с ребенком... Сама знаешь, касатка, портомойную-то часть. Теперь возьми зимнее время — бесперечь на речке, у прогуби, руки и ноги стынут, да опять целый божий день согнувшись — легко ли дело! Уж она, бывало, придет домой, в чем душа... в чем только душенька!.. А там, глядишь, в ногу вступило, там в груди не пускает... Трудно, трудно было! Ну, все жили... Пять годов этак-то мы мучались, и в теперешнее время бога бы благодарить надо: ходим не отрепанные, дите, внучек мой, тоже не без призору, чай пьем каждый божий день, а по праздникам иной раз и в накладку, бывает, разоряемся. Помаленечку! Только было выскреблись, ач господь и прогневался... Кровоопийца-то наш, Пилат-то² пришел ведь! Эдакая образина! Царица небесная... Глянула я на него, как он почью-то к нам ввалился, — так меня ровно бы тряс какой схватил... Трясусь вся! И дочка-то тоже в трясение вышла... Трясемся мы, что сделаешь-то! Стала это я его потчевать (сама знаешь, голубка, «не для зятя собаки, для милого дитяти»...), а сама так вот и взлетываю... Хочу-хочу чашку ему подать, а руки-то кверху, а сама-то я в сторону... Порхаем с дочкою, ровно перепелки... И слова-то выговорить не могу: тра-ла-ла — только всего; хоть возьми вот топор да отсеки язык — все то ж самое! А Пилат-то наш заприметил это. — «Что это, говорит, родственник мой, не вижу я в разговорах ваших настоящего порядку?.. Чем вам этак-

¹ К и в и л ь б а ш и — старинное русское название некоторых кочевых племен.

² П и л а т Понтийский — римский наместник в Иудее, по смыслу религиозной книги христиан «Евангелие», осудивший Иисуса на распятие.

то друг друга с ног сшибать, лучше же ты, теща, представь нам штоф вина»... Я, было, ему: «На что вам, Максим Петрович, такую прорву вина? (вежливо стараюсь)... Вы, говорю, неравно с этакой пропасти начнете над нами мудрить». — «Намерение, говорит, мое такое, чтобы штоф...» Пошла я, горюшко мое, принесла... Пьет он вино-то и дочку мою потчует. Никогда вина в рот не бравши, очень ее растомило... — «Сем, говорит, Максим Петрович, я прилягу, растомило меня»... Ляг она, да и засни. Как оп, сударушка моя, увидала ее тихий, приятный сон, тою ж минутою хватя ее — и давай... — «Ты, говорит, меня не любишь... Муж пришел, пять лет не видались, а она только приткнулась к постели и захрапела...» Я бросилась разнимать, говорю: «Что вы, что вы, Максим Петрович! вы этак посуду перебьете... (безжливо с ним стараюсь), тут, говорю, на десять целковых добра», — а он-то ее...

Старуха опять повторила жест полоскания белья и замолкла, всхлипывая.

— На утро, родимушка, ушел он в деревню, к своим... Через неделю приходит. Поцеловались они, честь-честью; думала я — на добро этот поцелуй, а вот что вышло... Сел он на кровать и говорит: «Я, говорит, супруга моя, беру вас в деревню... с собой жить, чтобы по мужицкому положению». — «Нет, — говорит дочь моя: — невозможно этого сделать; потому — у меня свое хозяйство... Каков, говорит, есть на сем свете грош, — и того я от вас, Максим Петрович, не видала; кровными трудами копила, мне этого не бросать». — «А ежели, говорит, я поскопного масла набил на пять целковых и картофелю запасил — это как? Могу я бросить или нет?» — «Воля ваша! — отвечаем: — у нас посуда... теперь, ежели ее продать, что за нее дадут? Окромья того, мы от роду не едали вашего свиного кушанья... Будьте так добры!» — «Ну, а ежели, например, я набил поскопного масла?» — «Воля ваша... У нас тоже утюги, тарелки...» — «Не бросать же мне!» — говорит. — «И нам тоже не бросать!..» Тут мы и стали; он говорит: «у меня то, другое: масло, веревки...» А мы говорим: «и у нас тоже, батюшка, вилки, ложки...» Он опять

значит: «картошка, дрова, сбруя...» А мы своим чередом: — «утюги, мыло, доски...» — «Не бросать же мне?» — «Да и нам тоже не-из-чего бросать!..» — «Ну, а ежели, говорит, я возьму да по-свойски поступлю, например?» — «Воля ваша! — у нас посуда!..» — «А ежели я возьму да не помирволю?» — «Не бросать же нам...» Тут, милая моя, он поднялся и сделал с нами, с женщинами шум... Ах, и очень большой шум сделал!..

В это время на улице раздался крик и плач; рассказчица выбежала на крыльцо будки и увидела следующее: посреди дороги шел Мырцецов и увлекал за собою прачку, дочь рассказчицы; Лонтгийский Пилат, т. е. солдат, шел сзади жены и, подталкивая, говорил:

— Нет, ты свинова кушанья не едала — отведай! Опробуй его, матушка!..

— Дитю - то! дитю - то у него отымите! — вопияла прачка.

— За что-ж дочку-то? дочку мою за что? — не понимая, как все это случилось, кричала рассказчица.

— Разговаривать! — отвечал на все вопросы и просьбы Мырцецов, зацепивший прачку потому, что она первая подвернулась ему под руки; он, должно-быть, знал, что у каждого из них своя посуда, и следовательно, кого ни схватить из них — все одно и то же.

III

Совершив этот подвиг, Мырцецов направился было в будку, чтобы озаботиться насчет тютюну, но едва он отворил туда дверь, как тотчас же получил новый адрес шивороты и торопливо отправился за ним; будочница выслушивала уже новую историю; рассказывала ее какая-то весьма полная дама; под ковровым платком, покрывавшим ее плечи, казалось, покоился какой-то битком набитый чемодан; но в сущности чемодана там не было никакого, а была массивная грудь дамы; волосы ее были причесаны именно так, как чешется дворничиха Дарья, желающая быть дамою и Дарьею Андреевною: прядь волос с середины лба загиба-

лась к затылку, где торчала коса величипой с пуговицу; по бокам этой пряди волосы падали на виски и уши, на подобие каких-то блинов или ушей лягавой собаки; в такой раме заключалась конусообразная физиономия с маленьким носом и окороками вместо щек. Дама эта имела собственное «заведение» и хозяйство, и так как деятельность ее совершалась преимущественно в области драк и буйств, то она была коротко знакома с будочницей и иногда делала ей сюрпризы¹. На этот раз дама принесла кусок сахара и щепотку чаю, завернутые в бумагу. Обрадованная вниманием дамы, будочница из всех сил суетилась около самовара, который изрыгал клубы дыма, и в то же время слушала историю, которую, не спеша, рассказывала дама.

Дело в том, что дама была очень оскорблена отсутствием в людях совести: одна из девушек, которыми держится хозяйство дамы, несмотря на ее благодеяния, в роде чая в накладку, никак не хотела оценить всей глубокой доброжелательности своей опекуниши; она не слушала ни одного ее совета: если, например, дама доказывала, что «чем сидеть сложа руки или улизнуть куда-нибудь на извозчике, — лучше отправиться с салазками на речку и перестирать собственное белье», — то неблагодарная словно и не слышала этих слов и более старалась удрать хоть в ближний кабак, только бы не «спокойно» сидеть среди хозяйства дамы. Непокорность и дебош этой жепщины достигли наконец того, что она совершенно исчезла от дамы и вот уже почти две недели скрывается в жилище горького пьяницы, портного Данилки.

Во время этих рассказов обе дамы не переставали ни на минуту наливать себя кипятком, обливались ручьями пота, обтирали мокрые и толстые шеи какими-то тряпками и говорили:

— Ну и где же, позвольте вас спросить, — говорила дама: — где же теперича у людей эта совесть?

— Степанида Петровна! — с глубоким сочувствием ответствовала будочница, захлебнувшаяся дареным чаем: —

¹ С ю р п р и з — нежданный подарок.

красавица ты моя! Ну где же, например, скажите мне на милость, это совесть у людей, я все думаю?..

А между тем именно во имя этой исчезнувшей совести действовала та неблагодарная женщина, которая покинула благодетельную даму и приютилась у портного Данилки.

Это было две недели тому назад.

В одну темную ночь Данила, «урезавший» сверхъестественную муху, шатался по пустынным и сонным улицам с какой-то крайне убогой женщиной под ручку и вместе с нею оглашал снящий город самыми удачными песнями. В песнях главным образом преобладал элемент¹ самого скорого отъезда из здешней грустной жизни — куда-то... «Мы найдем себе курьерских, развадчайных лошадей», — пели гуляки темною ночью и шатались по темным улицам.

На утро Данилка открыл глаза, увидел свою убогую каморку и еще более убогую подругу. Узнал он также, что вместо головы у него на плечах пудовая гиря, и что опохмелиться нет никакой возможности. Все это заставило его с грубостью отнестись к приятельнице.

— Это почему такое здесь? Ко дворам бы пора...

— Чутьocky только погреюсь, Данил Гордеич. Уйду-с...

— То-то, поспешать бы...

— Уйду, уйду-с! Растоплю печку и побегу...

— Ну, и более ничего, с богом... только всего...

Два полена, выглядывавшие из печки и покрытые снегом, скоро затрещали, в конуре Данилки запахло дымом, пробивавшимся сквозь дырявую печь. Подруга сидела на полу и грелась, ежась плечами.

— Сюю минуточку уйду-с... — шептала она. — Не побеспокою... Озябла, признаться, бегала... Вам, Данил Гордеич, опохмелиться бы хорошо теперича...

Данила Гордеич, убежденный, что опохмелиться нечем, сурово смотрел на подругу.

— Это мое дело... Боле ничего!

— Право-с... Я, признаться, сбегала... Не угодно ли? Это вам для просвежения...

¹ Э л е м е н т — начало.

Оборванная жепщпа подседа к нему и поднесла стака вина.

— Это ты где же доньги-то взяла? — не изменяя суровости, сказал Данила: — ты, гляди, по карманам где не нашарила ли?

— Я, признаться, точно что... ну, нету у вас по карманам ничего... Да вы не бойтесь! Я чужого отроду не брала... Вот неколду у вас в жилетке нашла, вои она... Извольте. Это вы не беспокойтесь... Кушайте!

— То-то... Вы мастера по чужим карманам нашаривать...

— Нет, нет!.. Где уж нам, голубчик, на чужое добро льститься... На свои, признаться, двенадцать копеек сбегала... Кушайте... Оно освежает...

— Вы это мастера облущить кавалера... — сказал Данила Гордеич и выпил. Выпил он, почувствовал просвежение и продолжал молча смотреть на подругу.

— Все-то разворовало, раскрадено, — говорила она шепотом, прибирая какие-то гвозди и палки: — ишь, натекло с окошка-то!.. Аль это у вас некому степену-то заткнуть, ишь песет оттуда, ровно из погребца...

Так шептала она, изредка прибавляя: «сейчас, сейчас, батюшка, уйду» — и Данила Гордеич почувствовал, что в этом прибирании, в этой заботе о просвежении пету никакого желанья нашарить в карманах и обокрасть... Думал-думал он, молчал, соображал, но в голове его ничего путного не происходило: не являлось ничего такого, что было ему очень пужно теперь, что ему именно теперь хотелось узнать... Но зато в груди его что-то поднималось и буровило...

— Ну, покорнейше вас благодарю, обогрелась... теперь...

При этих словах грудь портного с боков сдвинуло что-то.

— Ты! — крикнул он весьма громко.

— Что, голубчик?..

— Оставайся!

Женщина изумленно посмотрела на него.

— Не ходить?

— Совсем оставайся... Не пущу!.. Боле ничего!

Данила Гордеич повернулся-было спиной к своей уходившей подруге, но тотчас же вскочил и заговорил:

— Да что там? вот разговаривать!.. Беги-ка за водкой...
полштоф!

— Не прогонишь? — чуть не рыдая, говорила женщина. — Голубчик!

— Я говорю, беги!.. Х-хе... Да я их, чертей!.. Ну-ка-ся, вот эту штуку захвати в кабаке-то оставить.

— Чужая ведь! Данил Гордеич — заказная!

— Расшевеливайся! Заказная! Я их! погоди!.. Да семка я с тобой... Что там!

С этих пор настало новое пьянство, пропивалась заказная работа, пелись песни, постоянно слышались слова: «чорт их возьми!» «погоди!» «я их!»

Пьянство это дышало какою-то надеждою и не носило того тягостного оттенка, с которым Данилка пьянствовал до сего времени. Новые чувства, расшевелившиеся в нем, выражались как-то странно. Иной раз он вдруг задумает что-нибудь открыть своей подруге, попытается что-то сообщить и скажет: «Чуешь, ай нет, что я говорю?» Потом схватит ее за руку, сжмет ее крепко-накрепко, скажет: «так аь нет?» — хлопнет со всего размаха своей ладонью по ладони приятельницы, словно барышник на конной, потом опять начнет ломать ее пальцы в своей руке и заорет:

— Поц-ни-маешь, ай нет?

— Понимаю, Данил Гордеич, пошимаю-с!

— Ну, я боле ничего! Так я говорю?

— Так, так...

— Ну, я шабаш!.. Только всего!

Пропивание чужого добра шло довольно долго. Подруга Данилки, зная, что остановить этого пропивания невозможно, заботилась только о том, чтобы друг ее не разбил себе головы: остальное «наживется».

К концу двух недель после первой встречи настала в копуре Данилки тишина и труд...

— Что за шум! — заговорил Мымрецов, появляясь в одну из таких необыкновенно тихих минут. — По какому случаю дебош?

Мымрецову не могло даже представиться, чтобы не было буйства там, где появлялся он.

— Потому, мы не допускаем, чтобы, например, дебош...— продолжал он, хватая Данилку.

— Кузьмич, друг! — завопил портной: — что ты?

— Не бунтуй, бунту не заводи! И теперича женский пол, ежели...

— Женюсь, женюсь, брат! в закон беру, аль ты очумел? за что ж в часть-то? в закон! хоть сейчас под венец.

Мымрецов выпустил шиворот Данилки и остался среди конуры в большом недоумении.

— Что ты? — продолжал Данилка укоризненно. — А я-было в намерении моем на брак мой тебя хотел потребовать, но ежели ты меня в поволочку...

Долго Данилка укорял Кузьмича в несправедливости его желаний и развивал планы насчет будущего семейного счастья с Аленой Андреевной, которой он задумал передать на руки свое добро и хозяйство нажитое. Речи его были до того сильны, что Мымрецов не осмелился снова посягнуть на свободу Данилки, а только прибавил:

— А все, Данила, надо бы тебе по делам-то в части высидеть... Потому дебош очень большой ты затеял. Очень большой шум!

IV

Надо сказать правду, что случаи, подобные вышеприведенному, когда шиворот, попавший уже в руки Мымрецова, неожиданно исчезал из них, бывали с нашим героем довольно часто. В такие минуты он решительно не мог ничего сообразить и предавался глубокому унынию.

— У нас этого нельзя, — бормотал он, возвращаясь домой, например, от Данилки: — мы не дозволяем этого, чтобы вырываться... Так-те.

Течение времени, конечно, успокаивало его, но бывали моменты, до того потрясающие, что потом нужно было много удачных тасканий, чтобы привести Мымрецова в нормальное состояние.

Вот, например, однажды темным зимним вечером в будку просунулась голова сыщика.

— Живо! Собирайся! — крикнул он Мырццову и снова захлопнул дверь, чтобы созвать еще двух подчасков; сыщик торопился по случаю одного важного дела, в котором принимали участие многие уездные сановники: вечером того же дня у почтовой гостиницы, сзади одного дормеза¹ был итрезан каким-то вором чемодан. Надо было разыскать вора.

Мырццов скоро был готов и вышел из будки, чуя поживу; на улице его ожидали сыщик, сидевший в саях, и два солдата.

— Куда ж нам натрафить? — спросил сыщик.

— Теперь, вашескобродие, надо бы нам в почлежные дома утрафлять... — сказал солдат.

— Да застанем ли кого? Прохоров! есть там кто, как ты думаешь?

— Надо быть, вашескородие, — отвечал Прохоров: — потому к полночи там этих мошенников самая густота собирается...

— Главная причина — па след-то попасть...

— Так точно, вашескобродие! — присовокупил Прохоров.

Войнство двинулось в путь. Ночь была ветренная; оголенные деревья стучали сучьями, между которыми свистал ветер. Почлежный дом, куда вошли сыщик и солдаты, представлял ужасающее зрелище. Это был длинный старый дом, в котором когда-то жили господа — бояре или богатые купцы; теперь этот дом сгнил, обвалился; вместо ворот стояли одни притолки; осевшая посредине крыша выперла полукругом всю стену, смотревшую на улицу: ставни днем и ночью были заколочены, а сквозь щели в них виднелись гнилые решетки рам без стекол или стекла, напоминавшие торговую бапо; внутренность этого жилища была не менее ужасна: повсюду в полу виднелись глубокие ямы; в разных местах подпорки подпирали нависшие кипзу потолки, ободранные стены были голы и украшались только гирляндами пакли, торчавшей между бревен. Черный ночник, накопивший на стене длинную черную полосу, загибав-

¹ Дормез — старинный, весьма поместительный и крытый дорожный экипаж.

шуюся на потолок, колебался от ветра, дувшего отовсюду, и едва-едва освещал массу храпевших и охавших людей; все они лежали в повалку, на полу; тут виднелись солдатские шинели и деревянные ноги вместо настоящих; мелькали узлы богомолки, перевязанные покрывками; виднелись мешки плотников, тряпье, лохмотья. Появление будочников произвело некоторое волнение; все закопошилось и вдвойне заохало. Несколько солдатских шинелей исчезло, укатилось в соседние, еще более холодные и темные комнаты. Среди ночлежников если не все, то большинство были люди вовсе не подозрительные; так называемых «пешковых» не пускают по ночам на постоянные дворы, и этим безвыходным положением пользуются ловкие люди; они нанимают за бесценок какую-нибудь развалину и загоняют туда одиноких ссыльтальцев, собирая с них деньги за ночлег. Несмотря на это, будочники бесцеремонно относились ко всякому из этой оборванной и одинокой толпы.

— Разговаривай! — кричал Прохоров, самый опытный в сыскных делах. — Это что за узел?

— Сухарики, отец, сухарики, батюшка... хоть все обыщи...

— Сухарики! Ну-ка, ну... куда съешь-то?

— Куда мне совать! Господи-батюшка!

— Говорю, подай! Это откуда платок? Э-э, брат! Да ты кто такая?..

— Странница, отец родной, спитаюсь.

— Покажи-ка вид ¹... Э-ге-ге! Возьми ее... эй!

— Голубчики!..

— Покрепче приструни!.. Слышишь! Это что?

— Соль, соль, отец родной!

— Повернись... Ну-ка, встань, поворачивайся!.. Ты кто такой? Вид есть?

— Плотник... рабочий...

— Вид покажи!..

— Да он у меня, вид-то...

— Эй! Привяжи его к богомолке... там разберем!

¹ В и д — здесь в значении паспорт.

Все население почлежного дома встало со своих мест, закопошилось, перетряхивало тряпки, лохмотья, охало... Повсюду слышались слова: «хоть всеё обыщи... Господи...» и тут же раздавалось: «Эй, ты! Ну-ка, повернись... Отставно-ой? Нет, погоди!» и т. д.

— Что зарылся-то? у меня, брат, прижукнуться мудроно! — произнес Прохоров, остапавливаясь около одного спавшего человека. Это был дряхлый старик, почти раздетый и седой, как лунь; из-под дырявого кафтанишка, которым накрылся он, виднелись две маленькие шершавые детские головки.

— Господи помилуй!.. — зашептал старик, поднимаясь.

— Чешись! — перебил Прохоров: — разговаривай!.. Вид покажи!

— Есть, есть... Пашпорт есть! — кротко и торопливо шептал старик, ощупывая свое логово. — Есть...

— Это чьи дети? Покажи-ка узел...

— Внушки, внушки... батюшка... Погорелые! Было все, стало — нету ничего! Дочернины детки-то!

— Узел чей?

— Чужой узел... чужой! Нету узлов.... Ни узлов, ни-и... ничего нету! Побираемся... где узлам быть, постелиться нечем!.. Нету.

— Пашпорт!

— Есть, есть!.. Это есть!.. уж где разутым, раздетым...

— Он пьяница! — раздалось вдруг из толпы почлежников. — Вы ему, ваше благородие, не верьте... Ему добрые люди помогают, и то он не имеет своих правил...

— Помогают, батюшка, помогают!.. — так же кротко отвечал на это старик. — Слепыми полушками помочь оказывают...

— А тебе мало? — слышалось в толпе. — Твоего внука-то намедни барин одел, а ты снял с него одежду-то... где она? Пропил!

— Проел я одежду, кормилец, — не пропил. Дай бог барину — точно наградил... И франтоватым одеянием даже наградил... Ну, проел я его. Да! Нету ничего...

— Нет, вы бы его, ваше благородие, в частный дом...

Потому смущение от него большое... Вы бы его, вашбродие, спапали бы.

— Нельзя, голубчик, нельзя! — кротко продолжал старик, глядя в землю. — Невозможно этого... Не за что спалать-то!.. И шивороты-то у меня настоящего нету... Не уймешь.

— Вы ему, вашескобродие, не верьте! — прибавил голос из толпы. — От него и на нас маразь¹ идет...

Но нельзя было не верить старику: у него, действительно не было порядочного шиворота... Мымрецов, высвобождавший руку из правого рукава, чтобы соколом налететь на пьяницу, при последних словах старика совсем остолбенел и потерял сознание. Таким образом, благодаря отсутствию шиворота, старик остался нетронутым в своем логове, со своими дочерними детками, с холодом, голодом и правом на побиршество.

Да, бывали, бывали подобные пропсшествия с Мымрецовым. Почему это он не торопится и не суетится, как обыкновенно, а не спеша, вяло, нехотя идет на призыв? Это верный знак, что нет места его теории в предлагаемом деле.

Вот его пригласили на пивзаваренный завод, где один рабочий, испуганный рекрутчиной, бросился в котел с кипятком и обжегся. Мымрецов молча и угрюмо смотрит на охающего и распухшего мужика и ясно видит, что некуда его тащить. Желая успокоиться, он дает оборот своим мыслям: «нельзя ли его, по крайней мере, не пущать?» Но и это оказывается невозможным. Чтобы окончательно не скомпрометировать² себя перед толпой народа, Мымрецов наконец решается объявить свое суждение:

— Ну, что ж зевать-то?.. По какому случаю шум?.. Уж ежели ты, к примеру, влетел в котел, следовательно ты здорово, например, обжегся... Будем так говорить... Чего ж зевать-то?..

¹ М а р а л ь — искаженное слово — вместо мораль, что означает — поучение.

² С к о м п р о м е т и р о в а т ь — поставить в неловкое положение перед обществом, опозорить.

Затем он ушел, а умирающий продолжал лежать и охать...

Бывали такие случаи.

А в доказательство того, что судьба вознаграждала Мымрецова за эти страдания, вернемся к сыщику.

— Теперь нам надо, вашекобродие, поспешить... — говорил ему Прохоров, выбравшись из ночлежного дома. — Попусту много промешкали... Надошь нам поторапливаться, а то вор-то, поди-ка, где уж щелкает...

Но вор, впрочем, недалеко ушел от них. Он притаился в лачужке в конце города, в овраге; здесь жила его жена с ребенком и какой-то старый солдат-налека. Чемодан был давно распакован; в нем оказалось роскошное детское белье и разные туалетные вещи.

Мало было поживы вору от этого добра. Роскошь его слишком приметна для того, чтобы не навести в этой бедной стороне на вопрос: «где ты взял этакое?» Тем не менее похититель кое-чем воспользовался и успел спустить. При разборке чемодана старый солдат получил в подарок пожик из слоновой кости и коробку пудры с золотыми украшениями. Когда сыщик с солдатами подобрался к лачуге, внутренность ее была ярко освещена; на полу, около развороченного чемодана, спал, закрывшись, человек — это был вор.

Солдат сидел на лавке и повертывал в руках то ножик, то коробку, ухмылялся и бормотал:

— И духовитая, провалиться ей!.. Пойду в свою сторону — снесу... Надумают же!.. Эва, пожик-от, тупой!.. Ни то им резать, ни то шут его разберет... Песок не песок, а поди, чкинься укунить!..

Старик похал коробку, качал головой и ухмылялся.

Прямо против окна стояла жонщина, высокая и красивая, на руках ее был мальчик, не больше году от рождения; на нем была надеты одна из роскошнейших краденых рубашечек, не закрывающаяся, впрочем, ни грязных рук, ни ног, ни чумазого детского личика.

Мать подбрасывала его к потолку, тормошила и, слегка щекоча ему грудь, говорила:

— Ну чем не графский барченек? Ну чем ты только не красавчик, чем не ангелочек?

— Отворяй! — загремев кулаком в окно, гаркнул Прохоров.

В лачужке заметались; солдат начал торопливо прятать пудру в сапог; спавший человек вскочил, бросился в дверь, но его встретил Мырцев.

— Вот он — ты! — сказал будочник.

— Вот он, вот он!.. — бессознательно бормотал вор, остановившись.

Скоро Мырцев был удовлетворен.

У

Теперь необходимо обратить внимание на самую будку, так как деятельность Мырцева, несмотря на довольно большое разнообразие, в сущности решительно неисчерпаема; всякий шиворот непременно совмещает в себе целую драму, а пересчитать эти драмы — нет физической возможности. Поэтому-то мы и обратимся к правам самой будки.

Кроме Мырцева, его жены и случайных посетителей, иногда проводивших здесь тягостную ночь, в будке были еще постоянные жильцы; это были бедняки, не имевшие места, где бы преклонить голову. Если у них было что перекусить и выпить, они делились этим с будочниковой супругой и старались не запруживать будку своими нищими телами; в минуты безденежья и бесхлебья они прямо шли в будку и говорили будочнице:

— Авдотья! Мы к тебе...

— И когда только это провал вас возьмет! — гневно отзывалась будочница, но не гнала их, — во-первых, потому, что добрые сердца бывают и в храминах и в хижинах, а во-вторых, потому, что от жильцов частехонько перепадали на ее долю довольно вкусные и жирные куски пиროгов.

Жильцы ее принадлежали к артистическому классу «мастеровщины» и составляли захолустный оркестр. Состав и свойство этого оркестра довольноковы; чтобы

познакомиться со всем этим покороче, мы должны зайти в будку в один из дней зимнего мясоеда¹.

В печке трещат дрова; в теплом и гнилом воздухе висит полоса дыма и слышится довольно плотный букет махорки; будочница орудует ухватом; Мырцов занят отдыхом и молча поплевывает в угол. В это время в будку входит старичок-мещанин; сначала он крестится, потом кланяется хозяевам и, стряхнув с рукава и воротника снег, говорит будочнице:

— Что, любезная, здесь Иван, музыкант, проживает?

— Это который на скрипке?

— Этот.

— Здесь... Да шут их знает, шатуны этакие... их, поди, с собаками не сыщешь...

При этом будочница подняла ухват кверху и постучала им в потолок.

— Сейчас! — глухо отозвалось с потолка.

— Аль они у вас под крышей зимуют? — спросил мещанин.

— А то где ж? Тут, чай, сам видишь, негде повернуться двоим... А иной раз пьяниц наволокнут: хоть возьми, завяжи глаза, да беги вон...

— Так, так, — подтвердил мещанин.

— А что ж, думаешь, под крышей... — продолжала будочница. — Там им, погляди-ка-сь, какое тепло-то!.. Труба горячая, что твоя лежанка...

— Так, так... Место духовитое... Труба дает теплый дух.

— Там им за первый долг валяться-то!..

— Это справедливо, — место хорошее... место милое!

Мещанин сел на лавку, погладил свои седые волосы и огляделся.

— Мешкают они что-то... — сказал мещанин помолчав.

— Товарищей скликают... Что вы, — свадьбу, что-ль, знаете? — спросила будочница.

¹ Мясоед — период зимы, определяемый в церковно-бытовом исчислении от праздника Рождества (25 декабря ст. ст.) до начала так называемой масляной недели.

— Да что будешь делать, матушка!

— Кто такие?

— Кушаковы, мещане... здешние жители. Вот внучку просватал за кондитера Ваньку...

— Это хромой-то?

— Хром, матушка, точно что хром!.. Ну, доктора обещались оттянуть эту хромоту-то... Беспременно, говорят, оттянем в другое место... И примочку дали, дай бог здоровья... Примачивайте, говорят, через два часа по столовой ложке...

— Ну, дай бог!

— Уж мы и сами бога молим... К спине бы ее, хромоту-то...

— В спину? — спросил Мырцев, неожиданно услышав слово, так близко подходящее к шивороту.

— К спине, к спине, друг! Потому, надо так сказать: которая это нога кондитерова, то она более двадцати годов изувечена; пу, имеем упование на господа...

— Пьет-то он дюже! — с соболезнованием проговорила будочница. — А уж и девочка ваша!

— Девочка, одно слово! Рукоделью обучена...

— Первая по здешним местам девушка! Уж и мастерок!.. ах!

— Ну, да ведь где, матушка, непьяного-то возьмешь? Кто не пьяница-то по нынешнему времени?

Мещанин вздохнул.

— И тяжка же наша женская часть! — заговорила будочница, смотря в печку. — Живет девушка певинная, чувствует про себя всякую любовь, а наместо того — хват! да за пьяницу... На увечья да на каторгу!..

— Родная, — грустно сказал мещанин: — нету непьяниц-то, нету их! У кондитера у Ваньки, по крайности, сейчас пятьдесят целковых есть! Да платье, поглядь-ка-сь, какое невесте подарил! Только что в двух местах маленько тронута, а то все чистое, можно сказать — муре! Так-то-ся!.. Самта-дубовое обещался — случай есть... Вот и гляди на него, каков он кондитер-то...

При этих словах будочница замолкла. Мырцев, слушая

эти разговоры, начал как-то таинственно побряхтывать, пошевеливаться, и будка неожиданно услышала следующую речь:

— Ну, тоже, — не спеша начал Мырецов: — и мужская часть через женскую часть не то чтобы очень благополучно хлеб свой ела...

Тут он остановился, тряхнул головой книзу, завернул лицо в сторону и продолжал:

— Также и нашему брату само собой по башке от дамского пола влетает...

С этими словами он вдруг направился к двери.

— Да как вас не бить-то? Как вас. кровопийцев наших, не бить? — загорячилась будочница.

— Да, брат! влетает препорядочно-хорошо! — заключил Мырецов и скрылся на улицу.

В это время в будку вошел человек лет тридцати, с доброй, но как будто заспанной, отекшей физиономией. Он был в сером армяке с широким квадратным воротником, лежавшим на спине; на шее виднелся ситцевый платок, туго завязанный крошечным узелком. Армяк был подпоясан кушаком; походил он на дьячка. Человек этот был застепчив и робок; добрые глаза мигали часто, словно стыдились чего. За ним вошло еще двое.

— Доброго здоровья! — сказал армяк мещанину мягким и заискивающим голосом.

— Здравствуй, друг? Ты — Иван-то?

— Мы-с... Музыка требуется?

— Да, брат... Вот свадьбу затеяли...

— Дело доброе!.. Дай бог час!.. Конечно... Вам один инструмент требуется?

— Да хоть и поболее — все равно. Что уж...

— Да на что вам поболее-то-с? Конечно, что звуку более — ну, настоящего увеселения не будет-с... Поверьте, так! Нам это дело вот как известно... Теперича, например: труба или опять генералбас¹ — через них только рев поднимается на балу, ну, к танцу он не трафит; танец требует

¹ Генералбас — духовой музыкальный инструмент.

аккурату, чтобы нога действовала в существе, но не то, что ежели мы забарабаним, очертя голову! В то время может произойти невесть что...

— Это так! — подтвердил мещанин.

— Поверьте, так! Мы на своем веку поработали довольно... Мы знаем-с. Нет лучше, как скрипка: тихо, чудесно... А за ценой мы не постоим...

— А за ценой мы не погонимся... — прибавили два другие лица.

Костюмы этих лиц не отличались доброкачественностью. Один из них, худешкий и сухой человек, лет сорока, был в чуйке, старался быть гордым и держать себя в порядке. Другой был в сюртуке, воротник которого терялся в каких-то тряпках, намотанных на шею. Сюртук был засален и застегнут на верхнюю и нижнюю пуговицы; боковой карман отдувался. Человек в сюртуке имел широкое и рябое лицо, выражавшее равнодушие и весьма покойное состояние духа; лицо это очень походило на тарелку с кашей, густо намазанной маслом.

— Что же, — спросил мещанин: — и эти молодцы по музыкальному мастерству?

— Н-пет-с! — умильно отвечал армяк. — Нет-с, опп этому не учены...

— Мы не учены...

— Мы только что вместе ходим-с! — продолжал армяк. — У нас значит общее, собственно по бедности. Так как, оставши без куска хлеба — куда я денусь? Которые были по оркестру товарищи, еще при барине, — тоже разбрелись... Струменту не было... с рукой тоже не хотелось, а кормиться надобно... Ну вот попался добрый человек, Петр Филатыч, дай бог им здоровья, инструмент свой доверяют...

— Это точно, что справедливо он говорит! — подавшись вперед, произнес человек в сюртуке. — Потому эту скрипку мне один помещик подарил, как, значит, из послушников монастырских выбыл я..

— Каким же манером в монастырь-то угодил?

— Да собственно таким манером, что ружье у одного

приятеля моего было... — спокойно объяснил стуртук. — Раз он, приятель-то, баловался-баловался этим ружьем — «эй, говорит, берегись, застрелю!» Шутил. Я думаю ты шути-шути, а тоже пулюю как двинешь, не очень тобы превосходно будет. Взял да и заслопился рукой. А он как брякнет! Да два пальца мне и отшиб... Извольте посмотреть! Ну, судить. Что, что такое? Ну, выгнали нас, исключили... В училище духовном был я в ту пору... Входил я с прошением, так и доступа мне не было... Начальник случился робкий, увидал эту руку-то, например, в крови — «уведите его, говорит, он меня убьет!» Так я и пошел за разбойника... Безрукий человек, куда ему! Думал-думал — и вступил в обитель.

— Да, да, да! Ну, а из монастыря-то отбыл?

— А из монастыря я по искушению отбыл... Мысли разные смущали.

— Бесы! — шепнул армяк и кашлянул.

— Ну их... Что ж... — неохотно произнес рассказчик. — Гласы были: «Что ты, говорит, измождаешься?.. Лучше ты утрафь отсюда... Птицы небесные и те, например...» Ну, я и того... Искусился да и ушел. Через соблазн. А оттуда, бог дал, к помещику одному мелкопоместному детей учить: читать, писать... Только помещик-то этот очень пил. Придерживался. Капиталу настоящего не было: душ всего шесть да собака борзая, а детей куча, да и вино это самое... Я в то время пичего этого не одобрял, да и посейчас не лют, — так балуюсь. Ну, а тогда в компании-то с хозяином и начал... Помаленьку да помаленьку... Бывало, жена-то воет-воет, а мы — знай свое... В полночь рыбу затеем ловить, или в галок из окошка стрелять, — это у нас во всякое время коротко и ясно. Сколько раз тонули, чуть детей не перестреляли, — все сходило, а тут вдруг и случись беда... Напились мы с ним, с помещиком-то, одна да и поехали вместе. Дордгой начинь у нас спор, слово-за-слово, я рассерчал да как цапну барина-то по голове!

— За что?

— Да это мне и теперича неизвестно... Цапнул я его, а он и покатысь, покатылся да и помер... Ну, дело затея-

лось, меня в тюрьму... После этого, как, значит, я себя на отделку замарал, — пету мне пропитания, — никто не берет, боятся: «он, говорят, убьет!» Некуда мне деться... Взаялся за скрипку, думаю — обучусь... Жена помещикова еще скрипку-то не отдавала: «Ты, говорит, мужа убил... Нам самим есть нечего... Нам самим скрипка нужна...» Не отдает! Ну, кое-как я ее отбил да вот я пускаю в прокат. Скрипка хорошая...

— Скрипка хорошая! — подтвердил серый армяк: — только что щелочка...

— Ну, что там щелочка? — возразил сюртук. — Авось, я знаю... Кажется, своими руками ее заклеил.

— С этими щелками да скрипками, — прибавила будочница. — вы у меня, черти этакие, целое полотнище из юбки выдрали!.. Ох, музыканты!

— Щелочки той и помину нет, что ты! — продолжал сюртук.

— Да что ж я? — робко зашептал армяк. — Али я что-нибудь?

— Это, брат, скрипка итальянская!

— Я говорю: скрипка превосходная, что вы, Петр Флатыч? Так вот-с, — обратился армяк к мещанину: — скрипка ихняя, а струны Иван Ларивопович от себя держут.

— Моя часть — струна! — сказал сухой и сердитый человек. — Мы, милостивый государь, струну держим дорогую, но не какую-нибудь собачью дрянь, позвольте вам заметить... Потому нам нельзя как-нибудь!.. Ежели я только что и дышу струною, так уж я должен, чтобы она в полном звуке была... Так или нет-с? Положим, что я теперь во временной нужде; потому мне надо господина Приготовова дожидаться, я у него сейчас буду тыщу рублей получать... Я его на руках своих вынянчил, он не забудет старика, потому это против бога... А что с этими пьяницами мне долго не возиться, — это я вам верно говорю...

Старик с гордостью и даже с ожесточением произносил свою речь, презрительно поглядывая на своих товарищей.

— С этими пьяницами не нажить мне долго... Я этого не люблю... Я знаю порядок... Я этим не нуждаюсь...

Гордость и презрение, слышавшиеся в этих словах, почти обидели мещанина. тоже с гордостью приготовлявшегося устроить трагическую свадьбу с музыкой... Среди раздраженной речи поставщика струн, мещанин поднялся и сказал:

— Ну так как же?

— Да как прикажете! — снова заговорил армяк. — Сейчас — сейчас готовы; завтра — завтра. Как угодно...

— Ну, там скажемся. Ладно. Только чтобы уж аккуратно было... Свадьба хорошая...

— Само собой!.. Так мы трое, значит, и прибудем-с. И для музыки, собственно для искусства, ну, а они так... Пирожка там, чего-нибудь.

— Мы для пропитания! — прибавил скюртук.

Мещанин сторговался и ушел.

VI

Спустя несколько времени происходила свадьба.

В запотевшие стекла любопытные зрители могли видеть внутренность лачуги, битком набитой гостями. Среди всеобщего молчания суетились какие-то женщины, поднося водку и поминутно раскланиваясь, в отдалении слышались звуки настраиваемой скрипки и мелькала фигура ее владельца с пирогом в руке и за щекой. Видно было также, как полупьяный кондитер, сидя на диване, притягивал к себе молодую жену, старавшуюся уйти от него; упругий стал ее неохотно покорялся его ласковым объятиям, и грустное лицо чуть не плакало, но все-таки улыбалось. Невеста наконец вышла в другую комнату и залилась слезами; несколько пожилых женщины припались ее утешать.

— Что ты? что ты, родимая? Ты подумай, какой человек. Одно — кондитер.

— Больной... и нога.. увечный!.. И ухо болит!..

— Ухо? Ах, ты касатка моя! Да ты пройди весь свет — такого уха не найдешь!..

— Нет, нет...

— Ну а ежели и болит, эка беда какая!.. Уж и заболеть

нельзя! Скажи на милость!.. Ты бы и не думала об этом...
А уж ежели не нравится, возьми да отвернись...

— Отвернись, а он изобьет!

— Ни-ни-ни! Ни боже мой!.. Не такой человек! Просто-напросто попроси у него позволенья, тихо, благородно: «Позвольте, мол, Иван Капитоныч, с краю мне... Уж знаю, мол, что это не порядок! ну, что будешь делать, — приучена!.. И сама, мол, не рада, ну не могу!..» Ни-ни-ни!... Слова не скажет! что ты? Ведь ишь ты что... Ах, ты! голубка моя! уж и смех же с вами, с девушками...

В это время серый армяк с отчаянною быстротою заиграл какую-то пьесу. Скрипка и струны были не особенно звучны: они папоминали не звучное и не стройное, но визгливое и раздирающее душу причитанье старухи.

Общество расшевелилось и зашумело.

— Эй, бабы-ы! — кричал подгулявший кондитер. — Жену чтоб сюда!.. Супругу!.. Это почему такое?

Прислушиваясь к свадебному бушеванью, Мырцов стоял на крыльце будки, рядом с алебардой и, должно быть, ей поверял свои одинокие разговоры.

— По какому случаю шум? — бормотал он: — мы не допускаем, ежели, например...

Но мы уже знаем, что «не допускает» Мырцов, и не будем потому досказывать историю свадьбы, которая и женихом, и невестой, и драматическими солистами ¹ оркестра, кажется, сулит ему большую практику в самом скором будущем.

¹ С о л и с т — артист, исполняющий свою партию в одиночку, в противоположность — хористу,

НАБЛЮДЕНИЯ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

1. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

1

Несмотря на то, что новые времена² «объявились» в наших местах еще только винтовой лестницей нового суда и недостроенной железной дорогой, жить всем (таков говор) стало гораздо скучней прежнего, ибо вместе с этими новостями пришло что-то такое, что уничтожило прежнюю, весьма приятную и певучую зевоту и томпт, и мешаает. Никогда не было такого обилия скучающих людей, какое в настоящую пору переполняет решительно все углы обще-

¹ Под общим заглавием «Разоренье» в собрании сочинений Глеба Успенского были помещены три произведения, печатавшиеся в журналах как самостоятельные, с особыми названиями: I. «Наблюдения Михаила Ивановича», II. «Тише воды, ниже травы» и III. «Наблюдения одного лентяя». Включая эти три произведения под общим названием «Разорение» в собрание своих сочинений, Успенский писал: «по первоначальному плану «Разорение» должно было составить одну большую работу, в которую должен был войти весь материал, расплывшийся потом на три части. Обстоятельства чисто личного характера заставляли меня часто на долгое время прерывать работу и, когда она потом начиналась после долгого перерыва, — придавать ей форму работы самостоятельной, как будто бы она не имела никакой связи с рядом предшествовавших очерков». Однако печатаемая здесь эта первая часть «Разоренья» — «Наблюдения Михаила Ивановича» — представляет собою все же законченное художественное целое и имеет самостоятельный интерес для читателя как отдельная повесть.

² Новые времена, — времена, наступившие после проведения так называемой крестьянской реформы 1861 г. (манифест 19 февраля).

ства, от лучшей гостиной в «Дворянской» улице до овощной и мелочной лавки Трифонова во Всесвятском переулке. Все это скучает, томится и вообще чувствует себя неловко.

Без сомнения, существует большая разница в формах тоски, наполняющей гостиную, и тоскою лавки; но так как нам приходится говорить о последней, то мы должны сказать, что упомянутая лавка и замечательна только потому, что служит пристанищем для тоскующего населения глухих улиц. Людям, потревоженным отставками, нотарюсами¹, адвокатами² и прочими знаменьями времени, приятно забыться вблизи хозяина лавки — Трифонова, плотного, коренастого мужика, выбившегося из крепостных, любящего разговаривать о церковном пении, женском поле, медицине, словом — о всевозможных вещах и вопросах, за исключением тех, которые касаются современности. Среди современности господствует дороговизна, неуважение к чину и званию, неумение оценить человека заслуженного. У Трифонова же идет пение басом многолестий, варские микстур и целебных трав «против желудка», а сам хозяин ходит босиком и необыкновенно спокойно чешет желудок, ввиду самых разрушительных реформ. И к Трифонову идут... И когда бы вы не зашли в лавочку, вы всегда найдете здесь двух-трех человек, ропщущих на неправды нового времени.

— Я говорю одно: иди и ложись в гроб! — взволнованным голосом говорит обнищавший от современности купец. — Нонешнее время не по нас... Потому нонешний порядок требует контракт³, а контракт тянет к нотарюсу, а нотарюс призывает к штрафу! Нам этого нельзя... Мы люди простые... Мы желаем по душе, по чести.

— Железная дорога! Ну что такое железная дорога? — говорит длинный и сухопарый чиновник Печкин, в непромо-

¹ Нотариус — особый чиновник, свидетельствующий договоры, обязательства и всякого рода сделки.

² Адвокат — правовец, берущий на себя защиту подсудимого, ведение тяжко или других дел в судах по поручению частных лиц. В настоящее время слову «адвокат» соответствует — правозащитник.

³ Контракт — письменное условие, письменный договор.

каемой шинели. — Ну что такое железная дорога? Дорога, дорога... А что такое? в чем? почему? в каком смысле?..

Много приходится Трифонову выслушивать излияний в подобном роде, но все это не составляет для него особенной трудности, потому что он, собственно говоря, и не слушает, что ему толкуют, и нуждается в приходящих и тоскующих только потому, что ему нужно кому-нибудь объяснить и свои размышления по части пения и врачевания.

— Ну хорошо, — как будто бы отвечая купцу, говорит он по окончанию его речи. — Ну, будем говорить так: советуют шить сапоги из белой собаки. Предположим так, что я возьму и собаку... Но в каком смысле белая собака может облегчить ломоту?..

И купец и чиновник, получившие такой ответ на свои сетования, никогда не претендуют на Трифопова; напротив, они весьма довольны этим невмешательством, ибо им, как и всякому, пораженному тоскою, хочется отыскать такой уголок, где он мог бы выкричать, заняв чужое чужое пота-рпуса, свою железную дорогу без помехи. И так как большинство посетителей стоит именно за это невмешательство и уже привыкло говорить свое, не слушая друг друга, то всякий, желающий вести настоящие разговоры, т. е. отвечать на вопросы, возражать и т. п., должен невольно покоряться общему ходу беседы и разговаривать сам с собою.

В лавке Трифопова бывает всего один из таких посетителей, пользующийся особенным невниманием потому, во-первых, что звание его, как шатающегося без дела заводского рабочего, уже само собою уничтожает всякое внимание к нему среди присутствующих в лавке чиновников и купцов, и, во-вторых, потому, что разговоры его тоже не идут в общую колею. И поэтому никто из посетителей не замечает, как тощая фигура Михаила Ивановича (так зовут этого человека), весьма похожая на фигуру театрального ламповщика или наклеивателя афиш, топчется то около купца, то около чиновника и сильным голосом, в котором слышится чахоточная нота, пытается вступить в разговоры.

— А-а-а! — радостно оскаливаясь, говорит Михаил Иванович купцу, вытягивая вперед голову и складывая назад руки. — А-а-а!.. не любишь!.. А тебе хочется по старинному, с кулечком к приказному через задний ход?.. Заткнул ему в глотку голову сахару — и грабь!.. Нет, погодишь!.. Нонче вашего брата оболванивают!.. Ноне, брат, погодишь!.. Нет, повертись!.. Наживи ума!

Кашель прерывает его речь; но Михаил Иванович не жалеет своей груди и, ответив купцу, тотчас же поворачивает свою вытянутую голову к чиновнику.

— А-а-а!.. Прижжучили!.. — хрипит он. -- Оччень, очень великолепно! Очумели спросонок? Дороги чугунной не узнаёте? Я вам покажу чугунную дорогу!.. Дай обладят, я тебе представлю, коль скоро может она простого человека в Петербург доставлять! Смахаем в Питер к Максиму Петровичу, — так узнаешь дорогу!.. Н-нет, мало! Очень мало... О-ох бы хорошенько!..

— Ну хорошо... будем говорить так... — раздаётся басистый голос Трифонова, и в ту же минуту Михаил Иванович обращает к нему пристальные, волнующиеся глаза, какими смотрит голодная собака на кусок. — Предположим, ежели буду я мешать микстуру палкой...

— Палкой? — хватаясь за слово, тоже как собака за кусок, вскрикивает Михаил Иванович. — Нет, пора бросить!.. Ноне она об двух концах стала!.. Пора шваркнуть ее, палку-то!.. Д-да! Порассказать в Питере — ахнут! Ноне она об двух концах стала... Д-да!.. Позвольте вам заметить...

При последних словах Михаил Иванович энергично тряс головой; но едва ли десятая часть его слов доходит до ушей посетителей, слишком плотно заткнутых потариусами и железными дорогами. Кроме заморенного, незвучного, а как-то шумевшего голоса, который уже сам собою уничтожал силу его выражений, невмешательство посетителей было так велико, что к концу вечера Михаил Иванович принужден был прибегать к содействию неодушевленных предметов.

— Пора простому человеку дать дыхание! — надсдается он перед кулечком с капустой. — Довольно над ним

потешаться, разбойничать! Дайте ход! Что ж вы, ребята, вам разбойничать? Пора и вам охнуть!.. Нет, вы не охните бы!.. Дай в Питер смахать, — я покажу!..

Кулек с кочнями долго и внимательно выслушивал речь Михаила Ивалыча на разбойников и грабителей. Безмолвно соглашался с его намерением насчет Питера и так же безмолвно провожал его, когда Михаил Ивалыч, с сердцем выдвинув шапку, уходил вон из лавки.

Перебравшись через длинную деревянную площадь, в углу которой помещается лавка Трифонова, он обыкновенно направлялся к подгородной слободке Яндовищу, иногда пешком, а иногда на беговых дрожках. Миновав Яндовище, он выезжал в поле, на большую уездную дорогу. Здесь, в трех верстах от города, стояло сельце Жолтыково, с чудотворной иконой и разорившимся барчуком Уткиным, у которого Михаил Ивалыч имел пристанище в кухне и исполнял разные поручения: ходил к бабушке барчука с письмами о дельгах, узнавал в городе, пет ли какого «представленья», гулянья и проч.

2

Как бы ни странен был Михаил Ивалыч, набрасывающийся на людей, не обращающих на него ни малейшего внимания, и объясняющий кульку необходимость хода для простого человека, но его злость на прошлые времена, среди людей, проклинаящих времена настоящие, обязывает нас к более обстоятельному знакомству с историей большой его груди.

И это знакомство тем легче, что Михаил Ивалыч сам ищет человека, с которым можно бы было потолковать. Неудовлетворенный беседою с кулком, он прилипает ко всякому, кто хотя мельком взглянет на него, кто хотя от нечего-делать задаст ему вопрос или ответит ему. Возвращаясь например ночью от Трифонова в Жолтыково, он зорко выслеживает нет ли где огонька и следовательно вопроса и разговора. И где бы ни мелькнул такой огонек — в караулке ли господского сада, в кабачке ли — Михаил

Иваныч тотчас привертывает к нему свои дрожки и заводит беседу со всякими, кто попадетсЯ ему на глаза.

— Да как же с ними, с чертями, не разругаться! — дребезжит его заморенный голос среди пустынного кабака, где сальный огарок освещает курчавую голову целовальника, покоящегося за стойкой, и высокую фигуру угрюмо-пьяного, понатывающегося мужика. — Как их, бесов, не лаять, не хаять? — продолжает он, намекая своими словами на трифоновских посетителей. — Ты думаешь, ему это и в самом деле чугулька помешала? Ем-му зацарапать нечего в лапу!.. Будьте вы покойны!.. Ему не дозволяют по нынешнему времени разбою, — вот он и скулит, как пес: что такое чугульная дорога?..

Сделав несколько торопливых шагов, Михаил Иваныч близко подходит, почти подбегает к угрюмому слушателю и продолжает:

— Купец-то вон в гроб просится: «заройте меня живого!..» Эва! новые порядки, вишь, ему не по вкусу... А все потому, что ему с приказным нельзя оболванивать простого человека. И слава богу! И даже так, что поздоровее бы господь-батюшка их хлестнул... Очень великолепно! Потому они заморили, задушили простого человека. Через ихнее обирание простой человек дураком стал... болваном...

Говоря так, Михаил Иваныч не может остаться на одном месте. Гнев заставляет его поминутно отходить от слушателя и тотчас же возвращаться к нему.

— Почему простой человек — дурак, болван? Почему он в жись свою сладкого куска не едал и сапог цельных не нашивал? Почему он вместо этого получал по скуле?.. Потому што его сапоги-то чужие носили... Брат!.. Голубчик!.. У чиновника-то, что чугульку лает, небось вон дом... А на какие он труды нажил?.. Жалованья ему всего грош! Откуда-а? — с нас! с нас, христианская душа! Наше все, хрусталь!

Михаил Иваныч любил посылать слушателям эпитеты вроде «хрусталь», «птичка» и пр., не замечая, как и на этот раз, что они не совсем соответствуют тем лицам, к которым относятся. Михаилу Иванычу некогда было разбъ-

рать, что пьяный мужик в грязи далеко не походит, например, на хрусталь: ему нужно было говорить, высказываться.

— На наши! Все на наши, брат!.. Купец брюхо наживал по какому случаю? — по тому случаю, что с рабочих, либо так с мужиков лупил; у мужика совесть, а у купца ее нету, — вот он и загребает его когтями-то. Вот по какому случаю происходит брюхо! Все они дома строили и животы растили на наш счет, а наш брат получал по скуле... И немало их было! Ох, и вне-мжа-а-ло, купидончик, было их! Задушены мы ими — так ли аккуратно..

Михаил Иванович, произносящий последние слова с особенною протяжностью, вдруг словно вспыхивает и подлетает к самой бороде слушателя.

— Почему я нищий? — почти кричит он, ударяя себя кулаком в грудь и пристально смотря в лицо мужика. — Скажи ты мне, на каком основании до тридцати лет я дожил, нету у меня ни крова, ни приюта? **Отвечай:** имею ли я равномерную с благородным человеком душу? Говори мне!..

Часто случается, что во время этих рассуждений Михаила Ивановича слушатель успевает заснуть или уйти; но можно сказать наверное, что, в пылу гнева на прошлые времена, Михаил Иванович решительно не замечает этого; слушателем его может быть курчавый затылок спящего целовальника, ползущий по стойке таракан — все равно! Теперь уже нужно иметь только точку опоры для взора; ни вопросов, ни ответов не требуется; все, что накопилось в его груди, вырвалось наружу и хлынуло рекой.

— Отвечай мне, — вопрошал он затылок целовальника: — на каком основании обязан я быть дубьем, ходить ошупкой? Пред кем я грешен, пред кем виновен? А потому, что я простой человек! Простого звания! На этом основании я и виновен... Всякому мой хлеб был нужен! Кабы я ел свой-то, трудовой хлеб, сполна, значит, получал бы, что мне следует, — я, может быть, человеком бы был... Милашка моя! Может быть, и я бы все понимал, всякую причину, что к чему... А то, рассуди ты сам, как мне ослом-дуроломом

не быть, коли я с малых дён нищим был! Ведь мне кашито с малых дён в рот не влетало, дубина! А почему я недостойн каши? Почему в нашей губернии, коли кашу на стол, баб и ребят вон? А на том основании, что она другим требуется... Теперича десятнику потребна корова, — он к мужику: из каши-то нашей горсточку себе... Сотскому требуется телега, чтоб столярная, например — он опять к нам, уж поболее зацепляет... Старосте охота пчел держать... голове требуется овец дуртами гонять, чиновников угощать, дом строить, хоромы — все к нам, все из нашей каши! А там и над головами, и над старшинами, и над прочими—еще выше были; те уж, брат, на тройках к нам залетывали с бубенцами и все спаживали, что-которое осталось, — ровно пожаром... Тем поболее пчелы требовалось, тем, братец ты мой, в благородстве надобно состоять, гулять в шляпах, в тряпках!.. Вот оно по какому случаю мы и побирались и просили у проезжающих Христа ради, и ровно собаки куску радовались!.. Вот оно почему. С этого с голоду-то и родители наши помирали, и сиротами мы оставались... Вот оно что, друг ты мой, купидон, дубина стояросовая, рыжий чорт!..

Безмолвствующий затылок не слышит этих ругательств, и Михаил Иванович может беспрепятственно срывать на нем свой гнев и делиться своими обидами с мертвой тишиной пустынного кабака.

— Вот отчего! — продолжал он. — По тому случаю мы дураки, что прижимка, например, обдерка над нами была большая напущена! Вот чиновник-то орет: «плохо жить стало»; а ведь этакую дубину мы прокармливали, мы ему, шалаю¹, сюртуки, манишки шили... Я это знаю; я видел, поверьте нашим словам! Потому я не в одной деревне терпел от этого разбою, я и в городе его видел... Городской разбой пуще деревенского был... Тут простому человеку совсем дыхания не было... Привела меня тетка в город, напшились добрые люди — мещане, взяли меня жить к себе.

¹ Ш а л а й — новотворка, образовано от слова «шалить». Ш а л ь — дурь, баловство.

Девушка была у них одна... Чтò за умница! Грамоте меня стала обучать, и, может, господь бы дал, в люди бы вышел... человеком бы был (при этих словах Михаил Иванович с особенною силою ударил себя в грудь, нагибаясь над сонным слушателем). Человеком бы-ы! Так ведь нет, — не дали! Словно они дожидались меня, сироту, потому только было я в тепло-то к мещанину попал, а уж из кварталу бежит скороход. — «А где здесь заблуждающий мальчишка?..» — «А чтò?» — «А то — пожалуйста его в часть». А зачем? Чтò я преступил? А то, что солдату трубочки надо покурить, водочки хлебнуть, — вот он и волочет меня в квартал, потому, знает, придут, выкупят... Да еще чтò-о! Везет меня в квартал-то на извозчике, да с извозчика-то колупнет: «где билет? был у исповеди, у причастия?» Да не на одном извозчике-то везет, а норовит от биржи до биржи, по закону, и со всех получить на свое прожитие; потому всем им, кроме мужика, не с кого взять. Без мужика-то им нечего старшему дать; а старшему тоже ведь надоть помазать квартального, а квартальному — частного¹... Все на наш счет. Доброму человеку дря было не изжить. Вон мещанин-то мне пользу хотел сделать, добро — так они на него набросились, как скорпии!² Подлая тварь! Пойми!.. Вот по какому случаю я чиновника-то ноне у Трифонова оборвал... Может, потому я и мучаюсь, что требовался ему каменный дом, либо хомут новый, — и оп меня в квартале томил и мещанина разорял... У-у! чтоб вам!.. А мало их было охотников-то трубочку покурить, сладкого кусочка пососать?.. Города строили! Чтò вы? Сделайте милость! С чего нашему городу быть?.. Кабы бабы наши кашей лакомилась, небось бы не очепшо-то много этак-то народу к осьмому часу к киятру разлетались на жеребцах... Н-нет, брат!.. Н-не очень! а то... «Эй, кричит, задавлю, мужик! Берегись, мол». — Эво ли заг-гибают! Не знают, на какой манер сытость свою разыграть, — а наш брат нищий и чу-

¹ Ч а с т н ы й пристав, полицейский чиновник, ведавший какой-либо частью города (полицейская часть).

² С к о р п и я — скорпион — ядовитое насекомое с жалом в конце хвоста.

новой ходит! Я, брат, видел, как из кварталу меня господа чиновники Черемухины «вынули» на прокормление; тут я уведомился, сколь они с чужих денег ошалели, — пиры да банкеты¹, да кувыркашья — весь и сказ!.. Голоды они — мужик, простой человек, терпит, дает им корм, а накармивит он их — опять толже ему вред и от эфтого... Теперь че посуди: жил я у мещанина; жена у него померла; осталось у него три дочки... то есть, я тебе говорю, девушки... Что же, брат! Выбегут это на улицу погулять, аи уж тут с сытыми утробами погуливают разные народы... Вот и кодесят. — «Мы вас замуж возьмем, благородные будете»... А тем и любо! Потому благородными превосходнее быть, не чем этак-то, как оне, по ночам иглой тачать, слешуть... Ну — и... Теперь вот на! поди! глянь!.. ровню как рваные тряпки по лужам валяются! Полюбопытствуй — поди!.. Может, теперь бы у меня такая ли супруга-способница была, коли б не сытость-то эта краденая. Я почесть подлюда дорывался, чтоб она на меня, на чумарзого, взглянула; да по ночам ворочал на заводе в огне да в пламени, чтоб мне лишний рубль достать, ей купить гостинчика полакомиться... А чиновник-то налетел с мадерой², да с гитарой, да с шелковым платком — аи и взял!.. И шип под нос! Наш брат, ободранный человек, песню-то поет, ровно режет ножом, потому голос-то наш в огне перекипел, а тот запоет песенку любо-два — ай-люли! Потому в огне он не горел, а больше нашего брата очищал. И бел он, и мадера, и на гитаре, примерно!.. А нашего брата по скуле! Он возшваркнул ее, Аннушку-то, разорвал ее, словно собака тряпку завалящую, да и побег к осьмому часу к киятру, а наш брат только жилы свои в работе иссушил попусту; потому нам ее уж взять нельзя, Аннушку-то! уж нам невозможно этого, уж она набалована! Ей уж дай платочек шелковый... Он — шелковый-то платок — и нашему брату подходит

¹ Банкет — большой вванный обед или ужин.

² Мадера — крепкое, несколько горьковатое вино, первоначально вырабатывалось на острове Мадера и Канарских островах; затем вошли в употребление подделки под этот тип вина.

к лицу, да нам об этом надо бросить думать... вот! Потому мы обязаны быть дураками, ошалелыми, коркой дорожить, по-собачьи жить, — потому наш хлеб другим надобился... Слышишь, рыжая ты шельма? Другие наш хлеб ели, бешеная ты собака!..

— Вон! — внезапно поднимаясь во весь рост, гремит громадная фигура целовальника, сообразившего, что причиною некоторого беспокойства, испытываемого им во сне, было непрестанное разглагольствование Михаила Иваныча. — У-дди! У-убью!..

Перепуганный сжатыми кулаками и вытаращенными глазами целовальника, Михаил Иваныч пятится к двери, зажимая рукою рот, чтобы рассвирепевшим кашлем еще больше не рассердить врага; и так как враг в скором времени выказывает намерение броситься к нему из-за стойки, то Михаил Иваныч и исчезает вон из кабака. Спустя минуточку дрожки его дребезжат среди темной дороги к Жолтикову. Но необходимость высказаться не прекращается красноречивым внушением целовальника насчет молчания. Михаил Иваныч снова ищет слушателя, огонька, и снова, увидев его, погоняет свою лошадь. И везде, куда бы он ни привернул свою лошадь, — в караулку ли при господском саду, на мельницу, к постоялому двору, — везде слышится его чахоточная речь.

— И очень великолепно, коли кого из этих грабителей чем-нибудь да припрут! Рад я! Душевно! Одна мне и утеха, что на это поглядеть. Потому ошалели мы от них, дураками и нищими стали... В прежнее время чиновник-то трифоповский — он бы меня в гроб воцарил ни за что... А теперича — погодишь!.. И слава богу!.. Теперича еще и простой человек с ними, пожалуй, потягается... Да-а!..

И затем, в подтверждение слов о господстве в старое время прижимки над простым человеком, Михаил Иваныч приводил множество фактов из своей биографии. И действительно, фактов этих перебивало на его спине достаточное количество, потому что, в качестве сироты и простого человека, он отведал прижимку и в деревне, и в городе, где жил у мещанина, изнывал в квартале, побирался, и нако-

нец в казенном заводе, в качестве рабочего. Результатом этой «прижимки», по объяснению Михаила Ивапыча, было одурение и обнищание простого человека, что и можно видеть на нашем рабочем, па нашем простом мужике, невысшимых без «зелена вина». Если сам Михаил Иваныч ушел от этого отупения и умеет рассуждать о прижимке, то этому есть особенная причина, о которой Михаил Иваныч рассказывает не с злостью и негодованием, волнующими его при воспоминании о прошлом, а с какою-то необыкновенной нежностью и внимательностью.

— А потому, — говорит он, разъясняя этот вопрос: — что я имею просияние моего ума!.. Вот-с на каком основании я всю эту разбойничью механику понимаю и чувствую, и знаю! Простой мужик делается от этого балбесом, но я, по моему понятию, получаю чахотку... Вот-с на каком основании. В течение времени моей жизни встретил я человека, который по щеке меня не бил, но внедрил в мою душу понятие...

Михаил Иваныч любил поняньчиться с этим воспоминанием из своей несчастной жизни и говорил, не спеша, останавливаясь:

— Ну, в то же самое время, — продолжал он: — надо сказать так, что и этот человек, благодетель мой, в первоначальное время нашего знакомства тоже по щеке меня щелкнул довольно благополучно... для собственной моей пользы... Именно-с «для пользы», по той причине, что наш брат, простой человек, столь от разных народов за все про все наскуден, что и пользу ежели хочет ему сделать, то и в ту пору без рукопанья не обойдешься... По этому случаю благодетель мой, Максим Петрович, в достаточной степени меня с печи за волосы сгромыхнул в первоначальное время знакомства... Такое было дело: докладывал я вам, что из части, когда мешанин помер. взяли меня на прокормление чиповники Черемухины. Бывши в побирунках, в нищих, с холоду да с голоду, да с кварталу, очень мало я в ту пору на человека сходствовал, потому что, живши в квартале, коротко и ясно можно потерять человеческий лик и получить собачью манеру. По этому случаю, когда

меня ввели в черемухинскую кухню, то стал я хватать съестное, например, съедобное. Стал рвать, набросился... Кухарка назвала меня в ту пору «волчий рот». И так я набрасывался, так набрасывался, до забвенья доходил. Отъедался-отъедался я тут быстро, поспешно: вся прислуга у них очень торопливо отъедалась и щеки нагуливала, потому мужики всего наташат, не жалко, — ешь! Хорошо. Как только привык я к сладкому куску, стал я свою бедность вспоминать, и стало мне страшно: ну-ко да выгонят отсюда, — что тогда? Страшна мне корка собачья показалась!.. Стал я об себе думать... И делаю такое замечание, что у всех народов идет грабеж. Кухарка и кучер с мужиков, барин и барыня с мужиков, все, повсюду, повсеместно идет ограбление человеческое... Думалю: мужик мне не даст, с кого мне?.. Думал-думал, затруднился в мыслях, глянь — бежит ко мне на печку барчук махонький, Черемухинский сынок: «скажи сказочку...» Изволь. Сказал. Он и повалился ко мне на печку шататься, сказки слушать. «Э, думаю, друг-приятель: надо-быть, тебе в хоромах хвост-от присекают, что ты во мне, в мужике, получаешь нужду...» Подумал так-то. Бежит барчук: «скажи сказку...» «Дай копейку!» Этак-то резанул! «Дашь — скажу, нет — не будет рассказу. Я и то, мол, язык весь отколотил, рассказываючи тебе!» Припугнул его таким манером, и стал он мне пяточки да грошники таскать, и стал я их попрятывать... И так-было ловко научился я поколушывать с него: ал тут-то и подвернись ко мне человек... Максим Петрович... семинарист, племянник Черемухинский. Часто он к нам в кухню хаживал, дожидался, пока дяденька, сам Черемухин-то, проспится, — полтинничек у него попросить... Когда тверез — тихий такой... «На сапоги», говорит... А Черемухин: «То-то, говорит, на сапоги?..» И сердито на него смотрит, а тот боится. Это когда тверез. Ну, а коли ежели да пьян, так уж тут никакого страха для него нету... Тут уж он кричит, бунтует... И дяденьку-то так-то ли поливает... «Взяточники, разбойники!.. Докуда вы разбойничать будете? Провались вы и с полтинниками!..» Раз зимой скинул с себя полушубок и шваркнул его об землю. «Подавитесь вы

им!..» и ушел. Бывало так, что и стекла он выбивал в дому, и ворота испиывал ругательскими словами. Вот я на этого человека и наскочил... От него я и получил вдохновение, например. То есть спачала-то он меня за виски отворочал, а потом уж объяснял мне существо... Лежу я с барчуком на печке и делаю с ним подлый поступок: продаю ему кошелек, а в обмен требую с него серебряную цепочку... Кошельку цена копейка, а цепочка стóит пять серебром. Желая я ее получить. Барчук ничего не смыслит: взял да и поменялся, а потом рассмотрел — и в слезы.. «Отдай!» плачет. А я ему: «Нет, говорю, не отдам, потому что ты видел, что покупал. Назад не ворочают. Где у тебя глаза были?..» По-базарному поступаю... Максим Петрович пьяный сидел-сидел, слушал-слушал, да шарах меня за волосы с печи... «Мошенник! вор!.. С каких лет мошенничаешь! И без тебя много мошенников!..» Да за ухо... за ухо... Тут он меня щекогурпл... Цепочку отнял, шваркнул: «краденую воруешь!..» С этого дня стал я его бояться... Страх почувствовал; боюсь встретиться... Аи раз песу водку господам из конторы, он — и валит с приятелями пья-я-пый «Что такое? Стой! Куда? Водка!.. Неси к нам... Там, брат (у дяди-то), за другою четвертью пошлют, там есть па что выпить...» Тут они меня поволокли в свою квартиру: боность целокрытая, таракапы... Я сижу, боюсь. — «Чего ты? Халуй! Раб!.. С каких лет мошенничаешь!..» Поругали вторятельно, а потом сжалились. «Поди сюда, — говорит Максим Петрович. — Ты залем мошенничаешь? Жить надо? Так пеншто грабежом-то хорошо будет?.. Давайте книжку, я его обучу... Как ты думаешь, грамота лучше грабежу?» И сейчас стал меня учить. Тут я ничего не понял, потому пьяные они были; мало-мало погода и сам к ним пошел... «Обушите», говорю. Там их много кутейников-то было: кто слово покажет, кто так что-нибудь... Я и нахватался, и не умею вам сказать, каким манером, только что стал я тут понимать, почему это наши брат в дырах, в лаптях, например. И в первый раз в голову мне влетело: «за что же, мол, этак-то?..» Разговоры ли ихние, Максим Петровича, или грамота, уж верно не могу объяснить, а что страсть сколько

я разбойников вдруг увидал! И, может, господь мне и больше повятня бы дал, только что пошло вдруг во всем расстройстве....

«— С войны это расстройство пошло... Целые дни, бывало, стоишь на улице, смотришь, как везут на войну пушки да сабли. «Этакие, дивовался народ, на человека страсти припасены!» Пошли тут наборы, мужики, бабы ревут, голосьба по всему городу. У Черемухиных идет огребанье невиданное, пьянство, жранье — боже мой!.. «Господи! — помню, жена Черемухина плачется: — когда это все кончится!..» Ан скоро и кончилось... Пришла война, налетели ревизоры, всех взяточников повязали... Тут пошло швырянье — упаси бог! Один — вор, другой ополченцам сапоги на картонной подошве делал, третий в рекруты забривал без закону... Стали кидать, швырять подложами: один вниз, другой вверх, третий торчмя головой... Черемухина выгнали в другую губернию. Максим Петрович так-то ли поспешно в Питер ускакал. «Прощай, говорит, помни. Выпишу». Однако же не выписал. Стал я у Птицыных жить, у генералов, и там пошло все врозь. Все сыновья ворами оказались. Плач идет между грабителями. Поглядел-поглядел я, впку — не до меня им... Надел картуз, пошел своего хлеба искать. В ту пору за казенный завод стали принимать людей со стороны, не казенных, стал-быть, — я и попал в завод... В лесу страшно, когда ежели гром да молонья, а тут в заводе еще страшней. Потому в лесу — дело божье, непонятное, там страх берет, а тут злость — потому видишь, из-за чего гром-то идет, из-за чего молота молотят, пожницы разеваются, и нап простой человек не доест, не допьет, а в огне горит... Пить бы надо — слаб, не мог, а все больше злился, потому которые я получил от Максима Петровича мысли, то никаким родом они у меня из головы не выходили. Злился-злился я, бесился-бесился, да однова подгулял и махнул в арендателя¹ камнем... Спасибо, сквозь колесо камень прошел, а то б в каторге быть. Да еще то облегчило,

¹ Арендатель — искаженное слово, правильно: арендатор—наниматель.

что ночью дело было, не могли вызнать, кто такой, так что собственно по подозрению шесть месяцев высидел... Вышел из заключения, вижу — везде я бунтовщиком оказываюсь, никто не берет, и на частные мастерские не допускают... Остался я один; на кого надежда? Окромѣ Максима Петровича кто ж мне защитник? Дай обладают чугунку... Я на него надеюсь... Нонче, брат, и им очень тоже мало готовых кусков: не то время идет. И рад я, коли ежели кого из них припрут, рад... Купец-то вон: ох-хо-хо, кряхтит! хорошо! отлично!..

3

Михаил Иванович, известный давно на заводе за строптивого и непокорного человека, последней своей историей с камнем и арендатором окончательно повредил себе; так как все частные заводчики смотрели на ропот его не иначе, как на бунт, то Михаил Иванович, выгнанный с завода, остался буквально без куска хлеба, ибо его пижде не принимали. В ту пору его можно было встретить в небольших подгородных деревеньках, где он писал бабам письма и прошения, получая за работу яйцо, кусок хлеба. Письма выходили такого рода: «Честь имею известить вас, единородная дочь паша, Авдотья Андреевна, что мы, родители ваши, с мая месяца сего.... года, состоим без куска хлеба, в полном смысле этого слова, и почтительнейше уведомляем вас, что подавания от мирового посредника¹ с сего... месяца настоящего сего года прекращены» и т. д. Извещая о деревенских новостях, Михаил Иванович всегда умел среди неурожаяев и подаваний вставить некоторые фразы, обретавшиеся в фонде² его образования и просияния. Но такой работы было мало. Работы «мужицкой», молотбы, косбы — он исполнять не мог: у него болели ноги от стоячей заводской работы, и поэтому долгое время пробавлялся, чем мог, и скитался, где пришлось. Среди этой нищеты и оди-

¹ М и р о в о й п о с р е д н и к — выборная должность, которая была временно введена в 1861 г. для разрешения несогласий помещиков с крестьянами.

² Ф о н д — основной источник.

ночества в голове Михаила Ивановича воскресло воспоминание о Максиме Петровиче, и больная душа его тотчас же наполнилась какою-то неопределенною надеждою на его помощь, а больная, забитая голова довела эту фантастическую надежду до громадных размеров. Большие быстрые глаза голодного Михаила Ивановича и его фразы насчет этих надежд, насчет чугунок и Петербурга — весьма рассмешили юного потомка господ Уткиных, когда тот однажды вечером, проезжая по дороге на старой громадной и худой лошади, случайно наехал на Михаила Ивановича, лежавшего в канаве и бормотавшего:

— Нет, брат, не то время! Дай чугунок обладут!

О барчуке Уткине нам покуда надо знать только то, что денег у него не было; что жил он в имении, подлежащем опяся; думая, во-первых, основательно заняться подготовлением к практической деятельности, он в то же время не менее основательно думал и овладеть приказчицей дочерью, и все эти вопросы разрешал внезапным выстрелом из ружья в глубине отцовского сада, разговором с приезжим из города гостем о современных вопросах, которые прерывались тотчас же по появлении где-нибудь вблизи деревенской бабы, поездкой в город на гулянье и т. д. Из всего этого следует, что барчук скучал, и, среди скуки, лежащий в канаве при дороге Михаил Иванович мог обратить на себя его внимание.

— Вы кто такой? — спросил барчук, когда Михаил Иванович выскочил из канавы.

— Отставной рабочий... с заводу-с... Выгнал за бунты.

— За что?

— За непокорность, потому что я разбойничать им не позволял... Не согласен я на это! Дорольно.

Эти речи до того показались Уткину ни с чем не связанными и до того заинтересовали его, что он позвал Михаила Ивановича к себе поговорить, а потом, боясь скуки, сказал Михаилу Ивановичу, чтобы тот оставался у него в усадьбе.

Михаил Иванович поселился в кухне и в короткое время пошел у всех за большого чудака. Не один барчук смеялся всякий раз, когда из уст его выходили слова вроде: «при-

жнижа», «к осьмому часу, к княтру», «уведомился» и пр. Причины этому были его рваные локти, поставленные рядом с Петербургом и чугушкой. В сущности же Михаил Иванович был человек, потерпевший от отечественной прижимки в тысячу раз более других вследствие того несчастия, которое он определял словом: «просияние ума», человек, которому осталась одна утеха: созерцать затруднения, выпавшие, благодаря «новым временам», на долю людей, привыкших жить на чужой счет.

2. В ОЖИДАНИИ ЧУГУНКИ

1

Исполняя некоторые поручения барчука, Михаил Иванович хотя и не ел даром господского хлеба, не я не был особенно завален работой, так что, помимо поездок в город по поручениям, у него оставалось еще достаточно времени, чтобы отдохнуть, отдышаться на свежем воздухе. И в Колтыкове была к этому всякая возможность. Стоит оно на высоком холме, окруженное лесами, оврагами, лугами. Замерзший городом, Михаил Иванович благоговейт перед природой, как не может благоговейт деревенский житель; гроза здесь не то, что в городе, в рабочей слободе. Там гром колотит в крышу, шатает печную трубу, за которую нужно платить печнику: результаты ее — грязь по колесу и лужи, по которым люди ходят с проклятиями. В деревне это явление принимало другой вид, и Михаил Иванович мог определить его только словами «премудрость», «благодать»... Собака деревенские, караулящие от лихих людей, тоже возвышала, по его понятию, деревню перед городом, где ту же должность исполняли будочники, сворачивающие скулы.

— Собачка, — говорил он: — она умница; я с ней могу поиграть, а с хозяином у меня игра слабая...

Густой старинный сад, весь изрезанный зарастающими дорожками, также мапшт Михаил Ивановича: по целым часам он бродит в этих заброшенных аллеях, слушая птицу, шум засеки, а иногда и засыпает, сидя на подгнившей бледно-зеленой скамейке. Но озлобленная прижимкой душа Михаил-

ла Иваныча не могла долго быть спокойной, тем более, что на каждом шагу попадались вещи, где Михаилу Иванычу выглядывал чужой труд, потраченный без толку.

— Михаил Иваныч! — говорит барчук, торопливо проходя мимо него по саду, чтобы выстрелить из ружья в галку: — так «уведомилась»?

— Я довольно аккуратно в жизни своей уведомился, как простому человеку... — пачипает Михаил Иваныч вслед барчуку; но в этот момент раздается выстрел, крик разлетающихся галок и лай собак.

— Эх, ума-то нагулял! — пронычески шепчет Михаил Иваныч, качая головою. — Сколько, чай, хребтов на эту-кую-то тетерю пошло?... Прок!

— Были у Сипицына? — возвращаясь с убитой галкой, спрашивает барчук.

— Был-с.

Михаил Иваныч говорит с сердцем, но старается скрыть это.

— Афиш не было-с, разобраны! — продолжает он.

— Что ж в городе?

— На столбу объявлено воздухоплавание слона... в Эрмитаже. Рубь за вход.

— Чорт знает что такое!

— Во всех Европах одобряли монархи, — прибавляет Михаил Иваныч, не скрывая негодования и как бы говоря в то же время: «стоишь ли ты слона-то смотреть?»

По уходе барчука на траве остается мертвая птица. Михаил Иваныч смотрит на нее и говорит:

— Вот это господское дело!.. Хлопнул — и пошел. А ружье кто ему выработал?

Достаточно такого случая, чтобы все соображения Михаила Иваныча об участи простого человека поднялись пеленами дыма. Через пять минут по уходе барчука его уже можно встретить в кабаке перед целовальником.

— Не беспокой!.. Оставь меня! — умоляет целовальник, с трудом приподнимая тяжелую голову, покойно лежащую на локтях. — Не беспокоивай меня!

— До-ку-уда-а? — надсадается Михаил Иваныч. — До-

куда бедному человеку разутым ходить? Что на него работали, сколько денег на него даром пошло?..

— Михайло! — вскрикивает целовальник. — Какие мои слова?

— Ха, ха, ха, — грохочут через несколько минут на мельнице. — Кормили, пойли яво, а он — в галку?

— Д-да-а, брат!.. Кабы ежели бы он отдал...

— Держи карман, — отдал!.. Хо, хо, хо!..

У Михаила Ивановича так много накипело в груди, что никак он не в состоянии выслушать всего, что он желает сказать. Это обстоятельство служит причиной, что все считают его чудаком, который почему-то злится, толкуя о какой-то галке или о ружье. С другой стороны, постоянная насмешка всех, от барчука до приказчика, и отсутствие достаточно внимательных слушателей заставляет его чувствовать себя совершенно одиноким, покинутым. Михаил Иванович, у которого на уме одна мысль, что с открытием чугушки ему совершенно необходимо съездить в Петербург, вдруг начинает беспокоиться, что чугушка уже открыта и ушла без него. В таком случае, если бы у него и не было поручений от барчука, он выпрашивал беговые дрожки и ехал в город.

Часу в восьмом утра дрожки его торопливо мелькают по березовой аллее, пролегающей мимо церкви и поповских домов. Михаил Иванович, подкрепленный свежестью и блеском летнего утра, весело похлестывает лошадь и весело смотрит вперед, не обращая внимания на то, что какой-то краснобай кричит ему:

— Ушла!.. В почь ушла!.. ха, ха, ха!

Эта насмешка заставляет его еще поспешней добираться до холма, с высоты которого открывается вид на город, изобилующий золотыми крестами, красными и зелеными крышами.

Картина эта не останавливает его внимания: — он смотрит левей, где видна желтоватая насыпь дороги, недостроенный вокзал и толпы людей с тачками...

«А ведь пожалуй и ушла!» — думает он и быстро подкапывает к вокзалу.

— Что, ребята, не ушла машина? — адресуется он к рабочим на лесах.

— Нет еще!..

— Ай не обладили?

— Облаживаем.

— Ладьте, ребята!.. Ладьте, матушки!.. Проворней!

Так как Михаилу Иванычу всегда остается очень много времени, то он позволяет себе шажком объехать вокзал, оглядывает его и говорит:

— Тут ума надо!..

— По три сажени дров жрет с-маху! — кричат рабочие с лесов, стуча топорами и шурша штукатуркою.

— Стойт! Стойт этакой шутовке и поболе!.. — с увлечением говорит Михаил Иваныч и в заключение прибавляет: — Ну, ладьте!.. Облаживайте, ребята! Старайтесь, чтоб ошибки какой не было!..

2

Путь лежит в город через слободку Яндовице, где у Михаила Иваныча между рабочим народом много знакомых, так как здесь он сам жилав долгое время. При въезде в улицу, начинающуюся кузней, лицо Михаила Иваныча торяет то оживление, которое придало ему утро и чугунка; лошадь, которую он пачипает называть «горькая», «мертвая», идет тихо: Михаил Иваныч едет по тому царству пражехи, от которой единственное спасение — Максим Петрович; ибо ни в этих домишках, осевших назад во время приколачивания к ним нумера, ни в этих трубах, похожих на решето, ни в этих воротах, слепленных из дощечек, решительно не усматривается того, по поводу чего Михаил Иваныч мог бы сказать: «не то время!» — как это он говорит при виде доживающего произвола...

— Ваня! — грустно сказал Михаил Иваныч, останавливаясь у одной кузни, лепившейся рядом с крошечным двориком.

Высокий, черный и худой человек, стоявший в глубине кузни у пылающего горна, только обернулся на эти слова вытаращенными глазами и не сказал ни слова.

— Ванюша! — повторил Михаил Иванович, привязав лошадь и входя в кузню. — Что-о? Здорово! Обмякли дела?...

Вместо ответа Ваня сердито и торопливо засунул железо в горн и, попрежнему не говоря ни слова, вышел из кузни, причем большие вытаращенные глаза его как бы сказали: «в кабак». Идя проворно сзади шедшего Вани, Михаил Иванович видел, как он, не оглядываясь и как бы мимоходом, овладел железным баутом¹, видневшимся из-за ставни одной хибарки, и юркнул с ним в кабак. Пужно было не более секунды, чтобы оторванный баут был грохнут на кабачную стойку, чтобы целовальник, мельком взглянувши на него, спихнул его куда-то в яму под стойку и выставил водку.

— Это так-то? — сказал Михаил Иванович, взглянув на Ваню.

Но Ваня, молча совершивший все это, так же молча и торопливо выпил стакан водки, отшел в угол и, обернувшись оттуда, буркнул Михаилу Ивановичу:

— Обмякло!..

И снова сжал рот, загадочно смотря на Михаила Ивановича глазами, какими смотрят немые. Михаил Иванович тоже смотрел на него.

— Они потеряли всякий стыд! — пояснил целовальник — потому что они в настоящее время обкрадывают друг друга в лучшем виде. Даже удивляешься!.. — прибавил он стыдливо.

Но Михаил Иванович, не обращая внимания на это объяснение и глядя на Ваню, видел, что прижимка цветет и не увядает. Она изуродовала человека до того, что он лишился возможности выразить то, что у него на душе, а может только туго смотреть и вертеть кулаком в груди...

— Убечь от вас — одно! — сказал Михаил Иванович, вздохнув и отводя от Вани глаза. — Надо, надо убечь!

— Что, душеньки, — робко произнесла женщина, войдя в кабак: бауту не получали ни от кого?

— Какже бауты-с? — гордо ответил целовальник, не

¹ Б а у т — железный болт.

поднимая глаз. — Что такое-с? Что вы считаете?.. У вас нет ли чьих?..

— Я вить так... чуть... что ты?

— То-то-с!.. Почему у Андрея трех досок в крыше нету?..

— Увспросить нельзя! — сказала женщина, улыбаясь беззубым ртом. — Набрасывается!

— Отыщите-с! — заключил целовальник.

— То-есть только бы господь вынес! — испуганный этим обманом и грабежом, проговорил Михаил Иванович. — Надо, на-адо в Питер!.. Что это тебя ест? — отнесся он к Ване, который все время сповал и останавливался, как зверь в клетке.

— Жена! — брякнул тот, схватил стакан водки и одним шагом очутился на улице.

Михаила Ивановича рвало за сердце.

— И что это еще эти шкуры выдумывают? Где она? Я ей... — сердито говорил он, догоняя Ваню. — Чего они еще мудруют, не умудрятся?.. Везде нашего брата обещают, а тут домой придешь избитый да измученный, и тут тебя еще ошпают! Одурели! Баловаться-то не с чего... Ошалели!..

Говоря таким образом, он дошел до иванова жилья и отыскала его жену. Это была изможденная, какая-то сырая женщина, вялая, словно полинялое платье, в котором она была.

— Что вы, Федосья Петровна, забунтовали? Что вы заставляете мужа воровать чужое да в кабак таскать? Почему так? Али вы не знаете, что и без этого наш брат терпит? Что вы-с? Себя пожалейте...

— Я, Михаил Иванович, не бунтуюсь... — едва внятно и испуганно проговорила жена Вани.

Смущенный тоном ее голоса, Михаил Иванович уже гораздо тише продолжал:

— Как же не бунтуетесь? Уж с чего же пибудь да пьет он? Уж что-нибудь да...

— Потому что Иван Иванович в том имеют сердце, что я не своим делом занимаюсь.

— А вы бросьте! У вас свое хозяйское дело на руках. Что вам в чужое дело соваться? Вы и с бабьим-то делом много помочи окажете... Вы, значит, держитесь своего...

— Чего ж мне, Михаил Иванович, за свое дело держаться, коли нету у нас никакого хозяйства? Печка развалится, и совсем без печки останемся. Что я буду хозяйствовать? — полена дров нету.

Михаил Иванович оглянул жилье и молчал.

— А Иван Иванович в том сердчат, что я им хочу помочь оказать. Когда у меня женского дела нету, я мужским хочу заняться... Думаю: обучусь я ихнему мастерству, все что-нибудь добуду для дома... За это они и сердчат, я бьют, коли увидят, что я на станке занимаюсь. «Не твое дело! Что ты, баба, можешь!..» Только у них и слов: «Не видано этого, чтобы баба...» — и бьют... «Дайте мне обучиться!» — а они...

— Ах, он, старосовая дубина! — озлился Михаил Иванович и вскочил. — Чучело! — закричал он на Ваню. — Что ты мудруешь? Да что вы? Вы очумели совсем...

Ваня стоял к нему спиной и не отвечал.

— Как же ты не понимаешь, что жена хочет тебе пользу делать? Это вот никто тебе помочи не давал, так ты и не веруешь...

— Не видано! — буркнул Ваня и заворочал мехами.

— Да дай ты ей обучиться-то, дубина!.. Попадись к вам человек с понятием, вы его в гроб вгоните... Вы очумелые...

Михаил Иванович долго вразумлял Ваню насчет пользы, которую ему хочет оказать жена; но в голову его собеседника решительно не входила мысль о том, что жебина затея может иметь благоприятные результаты. Да и кроме того ему было обидно за жену: «Жена не на это задана»... Словом, ему было скучно утратить в жене женщину и получить «работницу»... Он молча ворочал мехами и калил свое лицо среди летевших искр. Кроме отрывистого: «не видано», Михаил Иванович не мог добиться ни слова.

— Ну, чорт тебя возьми! — взбешенно проговорил он и ушел. — Тут с вами сам пропадешь. Вот сделай, сделай с ними!.. Ах, убегу, убегу!

— Надбавка? — это, брат, верно будет! — донеслось до Михаила Ивановича, когда он старался поскорее выехать из этой ужасной стороны.

Эти слова, произнесенные весьма довольным голосом среди стонущего царства прижимки, заставили его остановить лошадь.

— Кто надбавляет? — отрывисто спросил он высокого подгулявшего рабочего.

— Проезжай! — закричал тот.

— Пошел своей дорогой! Допросчик нашелся!.. — прибавляет другой спутник.

— Ты не зевай! — оборвал его Михаил Иванович. — Я, брат, сам зевать-то умею; а коли ежели у тебя спрашивают, отвечай по-человечьи. Что я тебе сделал? Что ты пособачьи лаешь?.. Кто дает надбавку?

— Хозяин! — тоже отрезал рабочий сердито и пошел в кабак.

Михаил Иванович не оставил его и отправился вслед.

При его входе небольшой котелок, хранившийся под полкой одного из рабочих, тем же порядком, как и баут, загремел под стойку. Два друга уселись за вышивкой.

— Кто такой надбавщик явился? — спросил Михаил Иванович.

— Говорю: хозяин, новый... молодой...

— Надбавил?

— Ожилаем!.. Потому большое страдание есть в нем об нас... Обхождение благородное... Собрал всех посередь двора, пил чай вместе... увместях с нами... «Вы, говорят, потеряли образ божий... лик, например... от этого вы и...»

— Ну, пу! — попукал Михаил Иванович.

— Ну... призывает к себе, лежит на диване и разговаривает: «Идешь ты, говорит, по базару, видишь картину, а понять не можешь, — обидно тебе?» Мы ему: «обнаколенно нам стыдно...» — «Ну, надо грамоту»... Календари выдал...

— Выгел?

— Дар-ром! Эва... Так — «на!» Чтобы справка была...

какой, например, теперича ответ и за что... в какое время... и все такое...

— Старается, чтобы мы к нему чувствовали стыд!.. присовокушил другой товарищ рабочего. — Теперь у нас стыда нету. Мы разобьем рожу, идем как распященные, словно господа в шляпках, — нам горя мало! А в то время, чтоб мы стыдились этого... Вот в чем! — «Чтобы мне, говорит, не страшно было подойти к вам... потому вы вроде чертой!»

Как ни благородны были планы нового «молодого» — из московских — хозяина, но Михаил Иванович, узнавший прижимку во всех видах и оболочках, не мог не заметить ее и здесь, хотя, быть может, хозяин и не имел ее в виду. Но так как тот же хозяин, требовавший от рабочих образа божия, сам пожертвовал им только компанией за чайным столом да календарями, которые стоят ему грош, то злоба Михаила Ивановича закипела еще сильнее.

— Эх, чумовые! — сказал он, трясая головой. — Пеладен ваш хозяин-то, погляжу я...

— Остаться, не говори!.. Елова голова!.. Чай пил...

— И-пеладен!.. — настаивал Михаил Иванович. — Зачем тебе стыд?

— Эва! Для аккурату... само собой... чтоб я его чувствовал...

Рабочий остановился.

— Ну, а коли ежели ты чувствовать его будешь, складней будет али нет? Уж тогда ты не понесешь котелка в кабак?

Рабочие молчали.

— Теперича у тебя стыда нету, и то ты котлы в кабак таскаешь, а как да стыд-то у тебя будет — ты и совсем прошьешься. Теперь и без стыда ты пужлив, теперь тебя хозяин и без образу может оболванить по вкусу... А со стыдом ты еще пужливей будешь. Тебе уже будет стыдно к хозяину грубо подойти... Не нужно нашему брату стыда-то! — зашумел Михаил Иванович. — Не падо-о! С нас драть стыда нету, а нам требуется вдвое того... Эх, тетери!..

— Это, брат, ты верно!.. Это ты...

— Он чаю-то с вами на двугривенный выпил, а ты вон уж котелок-то женин тащишь... Тебе неловко к нему подойти, попросить... Ты и будешь свое таскать, жену, ребят грабить... А прошьешь, он тебя за грош возьмет: «кабы ты имел образ, я б тебе больше...» А ведь и образ-то ты от него потерял!..

— А именно, что женин я котел схалал!..

— Ну, па что тебе календарь?..

— Да я его пропил! — закончил мастеровой, и громкий хохот раскатился по кабаку.

— А зеваешь, дурак! — сказал Михаил Иванович мастеровому. — За что ты меня облаял вчера? Спросить у тебя, у дурака, нельзя ничего. После чаю-то ровно собака сделался... Надба-авка! Осел лохматый!

Хохот продолжался; но рассерженный Михаил Иванович ушел, не сказав никому ни слова.

Такие сцены наполняли безнадежностью душу Михаила Ивановича, и всякий раз, насмотревшись на них, он искал случая сорвать на ком-нибудь сердце. «Куды лезешь!» кричал он тогда встретившемуся купцу: «держи левой, елован голова!» — «По-о!.. Я, брат, тебе за эти слова...» — «Поче, брат, и я тебя ожгу, держи своей дорогой... Что купец, так и при на человека?..» В эти минуты ему необходимо было утешиться зрелищем сцен, где бы человек, имевший в руках власть над простым человеком, сам попал в лапы к прижимке. И такой уголок был у Михаила Ивановича.

— Пойдем к Аринке! — говорил он, хлестнув лошадь вожжей.

4

Арина принадлежала к числу тех субъектов, которые «в нынешнее время» поднялись снизу вверх. Михаил Иванович недолюбливал ее за то, что она занималась ростовщицеством, то есть все-таки более или менее разбойничала; но он охотно прощал ей это занятие ради тех страданий, которые она вынесла во время долгого подневольного житья в крепостных. Вся улица, где стоял дом ее господ,

называла этих последних зверями, и действительно это были какие-то охотники воевать над простым человеком. Подъезжая, например, к дому, барин не звонил и не стучал в дверь, а только провозглашал: «ворота!», — будучи почти уверен, что голос его не может достигнуть кухни, стоявшей в глубине двора. Крик этот повторялся несколько раз до тех пор, пока кто-нибудь из прислуги случайно не замечал барина и не открывал ворот. Но барин сидел на морозе, ждал: и начиналось дранье и бушевание. Не было ни у кого такой замороженной, забытой прислуги, как у этих господ. Она находилась у всех соседей в глубоком презрении, потому что слыла за воров и мошенников: нельзя было повесить сушить белье, пустить дымят на улицу, чтобы все это тотчас же не было похищено ими. Арина находилась в числе этой замороженной прислуги и всю жизнь не видала свету божьего. Среди этого житья она сделалась совершенной дурой. Странно было глядеть на ее испуганные глаза, когда она, бывало, поздним вечером пробиралась в какую-нибудь соседскую кухню и тайком продавала здесь молоко или какой-нибудь платок, цена которому была грош. Не одни Михаил Иванович мог уважать ту непомерную силу терпения Арины, которое помогло ей, среди этого варварского житья, скопить кое-какие крохи, доставившие ей впоследствии завидную долю влияния над благородными. После крестьянской реформы¹, господа ее, убитые необходимостью отнять свои руки от щек и волос рабов, как-то скоро исчезли с лица земли — умерли. Арина, в эту пору уже старая женщина, подыскала себе какого-то юного дуралея из кучеров, женила его на себе и стала отдавать под проценты деньги. Так как вместе с крестьянством рухнуло и благосостояние и чиновной мелкоты, населяющей переулки, то Арина в короткое время сумела изловчиться в пользовании такими терминами, как «строк», «процент», «под расписку», загнала в недра своих сундуков

¹ Крестьянская реформа, последовавшая в силу манифеста 19 февраля 1861 г. об «освобождении» крестьян от крепостной зависимости от помещиков.

беспорочные пряжки, шпаги, мундиры с фалдами, купила дом и могла жить в свое удовольствие.

— Ешь! — говорила она своему супругу.

— Надоело... будя! — потягиваясь, говорил тот.

— Чего ж тебе? Может, тебе чего сладкого, либо моченого?

— Пожиже ба! С кислиной ба чего!..

— Ну, и с кислиной. Вот об чем! Коли бы не было...

А то ведь — скажи... Слава богу!

Говоря так, она любила порыться в своих сундуках, полюбоваться своим добром, переложить его с места на место, развесить все эти мундиры по заборам и посередь двора, ходила при этом близ них и утомленным голосом говорила слушателю: «куда человеку беспокоинно, коли ежели денег у него много... Ах, как ему беспокоинно!.. Только мученье через это... Ох, деньги, деньги!..»

Миханлу Иванычу было приятно полюбоваться этим торжеством замороженного человека, и он заезжал сюда отвести душу, хотя в сундуках Арины покоились его две рубашки и жилетка.

— Ну, что, карга, — говорил он, входя к Арине: — как грабишь? Все ли аккуратно оболваниваешь?

Арина, одетая в ваточную кадавейку, подносит водку какому-то мужику и говорит, не обращая внимания на Миханла Иваныча:

— Кушай-ко-сь, Иван Евсеч... На доброе здорвье, дай бог вам счастливо!..

— Дай вам, господи! — говорит мужичок. — Коли ежели бог даст, укупим его у господ..

— Чего это? — вмешивается Михаил Иваныч.

— Дворец господский имеем намерение...

— Дворец!.. — жеманно и как бы недовольно говорит Арина. — Дворец господский укупают... словно бы диво какое.

— Важно, важно, брат! Тяни его! Вытягивай из чулка-то перстяного, что утаил... Именно богатое дело!.. Вали!

— Хе-хе-хе!.. с мужиком мы тут... признаться... — хихикал лысенький Евсеч.

— Полезайте! — злобствует Михаил Иванович. — Очень превосходно! Вали в лаптях в хоромы, чего там? Утрафьте прямо с корытами да онучами... Чего-о? Именно! Хетектуру¹ эту барскую — без внимания...

— Хетектура нам — тьфу!.. Что нам с простору-то! Простору в поле много...

— Что с него с простору? — тем же топом присовокупляет Арина.

— Нам главная причипа — железо! Мы из яво, дворцато, железа одного надергаем — эво ли кольки!..

— Дергай, брат! Выхватывай его оттудова...

— А которая была эта хетектура, камень, например, кирпич, редкостные! Кабаков мы из него наладим по тракту с полсотни... Верно так!..

— Разбойничайте, чаю там! запрету не будет!..

— Какой запрет? Мы дела свои в аккуратности, чтобы ни боже мой...

— Ну, выкупайте! Дай бог вам! — заключает Арина.

При выпивании водки хитроватые глазки Псапа Евсеича замуриваются, вследствие чего все лицо его изображает агнца непорочного.

«Пшь, — думает Михаил Иванович, глядя на нищенскую фигурку Евсеича! — узнай вот его!..»

По части торжества прижимки, исходящей уже из среды «простого звания», у Арины большая практика.

Не успев потешить Михаила Ивановича убогонький мужичок, как сама Арина выступает на сцену с рассказом, тоже приятным для Михаила Ивановича.

— И что это, я погляжу, — говорит она, улыбаясь и как-то изнемогая: — и сколько это теперича стало потехи над нашим братом.

— Ну, ну, ну! — торопит Михаил Иванович.

— Даже ужас, сколько над ними потехи!.. Онамедпи влет-шатается... — «Я ополчепец... возьмите в залог галстук... военный...» Смертушки мой, как погляжу на него!

¹ Хетектура — искаженное слово вместо «архитектура» — строительное искусство.

Все хохочут: и Михаил Пвалыч, и Евсепч, и дуралей муж Арины оскалил свое глупое, толстое и масляное лицо.

— «Что ж это вы, говорю, по вашему званию и без сапог? — трясясь от смеха, едва может произнести Арина. — Верно, говорю, лакей унес чистить?»

Смех захватывает у всех дыхание, так что в комнате царит молчание, среди которого смеющиеся хватаются за животы, закидывают назад головы с разинутыми ртами и потом долго стонут, отплевываются и отчихиваются.

— Хорошенько-о! Хорошенько, бра-ат!.. — красный от смеха, говорят Михаил Иванович, нагибаясь к Арине и хлопая ее по плечу.

Эти сцены подкрепляли Михаила Пвалыча и приятно настраивали его упавший дух. Но так как на пути в Жолтиково он имел обыкновение заезжать в лавку Трифопова, то ропот посетителей ее снова начинал злить Михаила Пвалыча, и он начинал набрасываться на купцов и чиновников, как собака.

— Хижина дяди Тома¹, исполненная декоратором Федоровым... на открытой стене, — сурово докладывал он барчуку, возвратившись в Жолтиково, и порывал уйти.

— Куда вы? Погодите! — останавливал барчук, лежащий на кровати без сапог, с книгой в руках, в которой он перевертывал по тридцати страниц сразу, думая о приказнице дочери и порывая при первой возможности отделаться от книги. — А в театре?

— Больше ничего-с! С бенгальским освещением² грота... волпебное... Рубь! Одобряли монархи...

И никогда скучающему барчуку не приходилось получить от Михаила Ивановича другого, более ласкового ответа. Он уходил и воштал где-нибудь перед пьяным дьяком:

— Ты думаешь, это ему чугунная дорога в самом деле составляет препону?.. Ему запар-рапать нечего... во-от!..

¹ «Хижина дяди Тома» — произведение американской писательницы Бичер-Стоу, — повесть из жизни негров.

² Бенгальское освещение — смесь разных веществ, горящая ярким разноцветным пламенем.

— Оставьте, будет вам!.. — останавливали его.

Так проводил Михаил Иванович время, ожидая чугунную дорогу и утешаясь созерцанием обнищавшего «благородства».

3. РАЗОРЕННЫЕ

1

И нельзя сказать, чтоб время убавляло эту потеху: напротив, количество людей, поставленных бездоходом в трогательное и смешное положение, увеличивалось с каждым днем. Если бы сердце Михаила Ивановича не помнило того сладкого куска, который в дни его нищенского детства случайно попал ему в кухню Черемухиныч, то он бы мог устроить себе славную потеху, любуясь их теперешним разореньем. Но Михаил Иванович помнил этот кусок и когда однажды, явившись к Арине, чтобы отвести душу, узнал, что они разорились, сумел схоронить в глубине души свою злобную радость, хотя имел на нее полное право, если принять в расчет прошлое Черемухиных.

Черемухины, Птицыны и другие родственные фамилии с давних пор составили одно лихоимное¹ гнездо, калих везче было много и которые дорого обходились народу. Родовладельцем этого гнезда был некто Птицын, прибывший в наш город из какой-то другой губернии, по приказанию начальства, которое, оцепив его «рвение и эпергию», дало ему теплое место и возможность быть сытым. При поселении Птицына на теплом месте, семейство его состояло, во-первых, из глухой женщины матери, умевшей говорить только одну фразу: «в карман-то, в карман-то норови поболе»; во-вторых — из жены, которая конкурировала² с мамашей в более широком понимании и изложении мыслей насчет кармана; затем — из нескольких сыновей, воспитанных в страхе божием и в привычке к «доходам», согласно учениям бабки и матери, и нескольких молчаливых и забытых

¹ Л и х о и м с т в о — взяточничество, вымогательство поборов, взимание чудовищных процентов и пр.

² К о н к у р и р о в а т ь — состязаться.

дочерей. Все это население, немедленно по прибытии в наш город, обзавелось благоприобретенным домом о множестве задних ходов и расправило свои необыкновенно цапкие руки, разинуло свои глубокие пасти, потянуло к этим рукам и пастьям толпы просителей и стало жить, получая пряжки и благоволения. Безропотные дочери были выданы замуж за людей, тоже желавших быть очень сытыми. Люди эти тоже расправили пасти и цапкие руки, тоже обзавелись сенями и задними ходами, и таким образом в конце концов все вместе образовали один огромный взяточный «полип»¹. Но внешнее обличье и жизненный обиход людей, из которых этот «полип» состоял, не представлял для постороннего наблюдателя ничего особенно возмутительного. Все это были только обыкновенные чиновники с зелеными непривлекательными лицами, с потухшими глазами, сгорбленными спинами. На просителей они в действительности вовсе не накидывались, а напротив — шепотком, потихонечку разговаривали с ними в сенях или на задних крыльцах; денег у них не выхватывали, а принимали их тогда, когда просители долго перед этим ползали на коленях, умоляли. Полученные ни за что, ни про что чужие деньги устроили в среде этого гнезда самые идилические нравы²: советы глухой и пачинавшей слепнуть бабки насчет кармана рстречались с улыбкой, которую посылают взрослые детям, принимающимся рассуждать о незнакомом предмете, ибо все представители гнезда понимали насчет этого втрое более. «Что вы учите, без вас знаем!» — самодовольно говорила ей родоначальница гнезда, жена Птицына, и павой ходила по дому среди семейной беседы. О грабежах не было и помину, толковали об отвлеченных предметах, о душе, о царствии небесном; ходили к обедне, пили, спали, целовали друг у друга ручки, делились добычей поровну, пьянствовали, родили, крестили и среди этой печеловеческой

¹ П о л и п — ветвистое животное, похожее на растение (губка, бодяга, гидра и т. п.).

² И д и л л и я — поэзия мирной сельской жизни, здесь «и д и л л и ч е с к и е нравы» — сказано в значении наивного благодушья.

атмосферы растили детей... Птицын утопал в счастье среди этого благолепия, гладил взяточников-детей по голове, точил слезы, совершал объезды по губернии, причем деревенские пачальники и огоренные деревни пели «многая лета», единодушно отдавали последние крохи на поднесение хлеба-соли и пр.

Пирожья на чужой счет шло долго. Все гнездо объелось и опало до потери сознания, что могут существовать на свете ревизоры, до потери счета нарожденному числу детей; многое множество было поглощено этою прорвою чужих денег, трудов, слез... и наконец настала война, пошел обличения... Гнездо разорено было мгновенно. Черемухины, устроившие свою жизнь на общих, вышензображенных основаниях, были выгнаны и переселились в другую губернию. В семье Птицыных шел вой и плач. Исчезновение кармана, из которого можно было произвольно выхватывать, сколько душа желает, подорвало даже и идиллию семейной жизни.

— В карман-то, в карман-то корови! — едва дыша, лепетала бабка.

— Прокарманили, матушка!.. Нечего накарманивать-то, — плакала ее дочь и с нежностью гладила по голове сына, попавшегося в двадцати уголовных делах. — Поцелуй меня, зайчик мой! — говорила она ему.

— Отстаньте вы к... богу... с поцелуями! Нашли время!.. До чего вы меня довели? — оскальчивался сын на матушку, которую ему не за что было уважать. — Что я от вас видел, пользу какую? Вам только подавай... ризу сделать дали обещание... Ну и хватал.. Вы — мать, разве я могу послушаться?..

Птицын лежал в параличе, и над ним тот же рабски-покорный сын срывал свой гнев.

— А называется генерал! Не умели во-время подмазать ревизора... Вам жаль... А небось как с меня, так «подавай!» Как припесешь, — «умник»... А-а! Бог вас наказывает... Какой вы отец?.. Удавлюсь вот возьму!..

Неудивительно, что сын мог говорить родителю таким образом: они были равны в хищничестве.

Такие сцены заставили уйти Михаила Ивановича и искать своего хлеба, и он с тех пор не видал ни Птицыных, ни Черемухиных до настоящего времени. В этот большой промежуток Черемухины успели прожить на чужой стороне все наворованные деньги, сам Черемухин успел умереть, а жена его, раздав старших дочерей замуж, воротилась с младшей дочерью, семнадцатилетней Надей, жить на родину. Это была несчастная, невинно страдающая женщина. Грабеж и пьянство терзали ее в доме отца, по воле которого она вышла за Черемухина и снова попала в область какого-то рабского произвола, где ей было вдвое тяжелее, потому что, в качестве жены, она должна была разделять хищнические права супруга. Ее мучило то, что дети ее выходят среди этой атмосферы какими-то уродами, тоже лгунами и льстецами. Она что-то все хотела сделать, старалась поправить, но ничего не сделала, а только мучилась, молилась в то время, когда хрипел пьяный муж, и под конец терпела от этого мужа самые страшные истязания: почему-то одна она оказалась в его глазах виновницею всех его несчастий и достойна была поэтому всяких мучений. Уважения между ними не было никакого, ибо Черемухин взял ее тоже потому, чтоб, под защитою Птицына, «делиться» с кем нужно. Возвращаясь на родину, она думала чем-нибудь согреть свою измученную душу, но это оказалось невозможным.

— Ты здешний, голубчик? — спросила она у извозчика, въезжая в свою губернию.

— Здешний, матушка, казенный!

— Что, помнишь ты, был у вас начальник?..

И она назвала фамилию отца и мужа.

— Как не помнить! Этаких разбойников да не помнить!

— Довольно, довольно, голубчик... Не про тех!

— Что он сказал? — спросила Надя.

— Так, не про нас, ошибся... Так, сдуру! — старалась она замять злые мужичьи слова.

Холодно ей было на родине.

Товарищи мужа, скомпрометированные тем же, чем и он, сторонились от нее и, как пьянчужки, отрезвленные

в квартале, сердито смотрели друг на друга и на нее. Иные из них, перебравшись в новые суды, перестали нюхать табак, стали курить сигары, обрились, умылись и старались казаться людьми совершенно новыми или отделанными заново. Все знакомства, все старинные приятели как будто и не существовали: все они держались на «дележе» и кончились вместе с ним. Все было пусто кругом. Но переносить личную бедность было бы не так трудно и больно для Черемухиной, если бы она не пошпиралась теми, которые сумели выбиться, подобно Арипе, из нищеты в люди. Примеры такого превращения приходилось встречать довольно часто; всякий из превращенных считал своею обязанностью взглянуть на разоренных господ как на ровню, на что, конечно, имел полное право. Однажды, не дотянув до получения пенсии, она пошла заложить воротник к Арипе, и если бы не Михаил Ивалыч, бывший тут и узнавший Черемухину, Арина бы потешилась над бедной, измученной женщиной, которая когда-то покупала у нее молоко.

— Ай вы разорились?.. — рассматривая воротник, говорила она с жеманною небрежностью.

— Богу так угодно...

— Много вас этаких-то... Жили-жили, что нажили?.. Что ж тебе дать за оборох твой?.. рупь... более нельзя.

— Ну, ну, полегче! — заступился Михаил Ивалыч. — Оборох? У тебя много ли таких оборохов было? С тебя не бог знает что тянут: три-то рубля он двадцать раз стоит...

Михаил Ивалыч говорил тем суровым тоном, в котором слышалось почти согласие с Арипой.

— Вышмай-ко дельги... чего там?.. Со всяким случается...

— Воля божия, — говорила убитая Черемухина. — Мы должны ей покоряться.

— Обпаковешно... Вышмай, вышмай! зелепую-то!.. — заступался Михаил Ивалыч.

Благодаря заступничеству Михаила Ивалыча, Арина не смела продолжать своей потехи над Черемухинными, и с этих пор, в ожидании железной дороги, Михаил Ивалыч стал заходить к ним посидеть, покалякать.

Чтобы избежать всяких обидных столкновений, Черемухина жила в глухой улице, в дешевой квартире, не заводя никаких новых знакомств и не возобновляя старых; жила она небольшим пенсионом, постоянно была дома, постоянно что-то вязала, выбрав себе местечко у окна, выходившего на двор, и думала. Было о чем ей подумать. Не последнее место в ее размышлениях занимала дочь Надя, которой было уже восемнадцать лет и которую надо было «пристроить». Но желихи покуда не являлись, и Черемухина полагала (про себя), что народ избаловался, молодежь рыщет и не думает жить по-человечески. Что касается до Нади, то она покуда не испытывала ничего, кроме зверской скуки. Она успела уже познакомиться с хозяином-мещанином и его женой; узнала от них, что «канка» есть то же, что индюшка, и что занятия хозяина в течение шестидесяти лет состояли в том, что он скупал этих индюшек и отправлял их в Москву. Узнала также от солдата, который, возвратясь с ученья, любил посидеть на крыльце и покурить трубочку, что прежде был тихий учебный шаг и скорый шаг, а теперь осталась одна пальба, а шаг запрещен. Знала она также всех мальчиков, пускавших змей среди улицы; ходила по хозяйскому саду, видела, благодаря его низеньким заборам, что делается в других садах; посещала родных и нигде не находила ничего, кроме скуки. Даже лица, к которым она обращалась с известием: «мне скучно», — солдат, хозяин, хозяйка, — падали ей и прискучили точно так же, как прискучила улица, на которую выходили окна дома, сад, забор против окон.

Появление Михаила Ивановича, как нового лица, было одинаково приятно как для Черемухиной, которая не видела в нем открытого врага, так и для Нади, которая в сопровождении его могла идти, куда ей хочется.

Михаил Иванович помнил Надю маленькой девочкой. В детстве он ее иногда катал на салазках; увидав ее теперь взрослой и невестой и не находя в ее молодости ни разоренья, ни прошлого, над которым бы можно было потешиться простому человеку, решительно не мог сердиться

вблизи ее и робко ежился где-нибудь у двери, если заходил посидеть; а если провожал куда-нибудь Надю, то шел позади нее, как лакей.

Посещали они попрежнему тех же разоренных родных.

Как один из множества результатов прижимки, — дом Птицына, дедушки Нади, представлял в ту пору нечто забытое, заброшенное всеми. Сыновья и родственники разбрелись в разные стороны и, отвертевшись от уголовных дел, имели где-то какие-то весьма современные места — «обрусыли», «водворяли», «описывали» движимое и недвижимое. Птицын, его жена и бабка, которая была еще жива, и сын Ваня, бывший во времена лихолетья и процветания еще мальчиком, все со дня на день ожидали смерти и, умирая, лежали в четырех разных комнатах, на четырех разных кроватях. Действительно умирающими были в сущности трое: бабка, Птицын и сын. Жена Птицына слегла за компанию. Обыкновенно она проводила время в ругательствах и брани, которая обрушивалась на мужа и бабку. Так как на умирающего сына обрушиваться было не за что, а еще дышавший муж и бабка не доставляли достаточного материала для ругательств, ибо не оказывали никакого сопротивления, то распеканию подвергался всякий, кто только чем-нибудь затрогивал ее внимание. С этими целями она очень часто вставала со смертного одра своего, высовывала голову в окно, и звонкий голос ее долго раздавался вдоль улицы...

— Что ты делаешь, сиволалый ты этакий мужлан? — кричала она на водовоза, зацепившего колесом ведро, поставленное на углу дома на случай дождя. — Дубина!..

— Ну не больно! Не бывал дубиной!.. — отгрызался водовоз.

Этого было довольно, чтобы все оскорбленные временем испуганности Птицыной закипели кипучей смолой.

— Ка-ак? Мы подлые? — восклицала она, захлебываясь от гнева, и, чтобы оправдать этот гнев, приписывала водовозу такие слова, каких он и не думал произносить. — Как? Я подлячка?.. Ах, ты!.. Да я тебя в старое-то время в порошок бы истерла и по ветру рассеяла. Ах, ты... Да я...

Скоро помрачался ум ее среди таких восклицаний, и через несколько времени можно было слышать, как из уст ее вылетают самые нелогические фразы.

— Мы здесь тридцать восемь лет живем, а не подлые... не подлячка я... не подлячка!.. У меня сыповья... в Польше, а... я не подлая!

Навоевавшись вдоволь, она шла на смертный одр, чувствуя необходимость послать за священником; но, отдышавшись, не посылала.

Но очень часто Надя, входя во двор дедушки, в сопровождении Михаила Ивановича, встречала уходивший домой причт: батюшку и дьячка, которые были призываемы если не к барыне, то к барину или бабушке, или Ване.

— Умер дедушка? — в испуге спрашивала Надя.

— Живы, все живы! — улыбаясь, басил дьячок, любивший поговорить. — Они уже лет пять все отходят-с...

— Земля не принимает! — бормотал про себя неумолимый Михаил Иванович.

— Хе-хе-хе... Нет-с! Телосложение крепкое-с... — пояснял дьячок. — Крепки оченно! Кажется, вот-вот, — и-нет, оживают!.. Крепковаты, господь с ними.

— Крепки с чужого-то! — ворчал Михаил Иванович... — Кабы со своего... А то с чужого-то, поди-ко, сладь с ними!

— Хе-хе-хе... Истинно что так! — соглашался дьячок. — Оченно много разного гепералитету по вопешному времени преставляется, но с упорством! Кажется, вот совсем глаза закатились, а он, глядишь, очнулся да по щеке кого-нибудь и благовестил... Хе-хе-хе!..

Во время этого разговора Надя стоит поодаль, ожидая Михаила Ивановича: без него ей страшно и жутко войти в этот мертвый дом, в этот пустынный двор, зарастающий травой. Рассыпанная бочка и гнилая, словно истаявшая на дожде водовозка, пустые сарай и грязная корова — все это отдавало такой пустышностью и заброшенностью, что Надя, прежде нежели идти далее, непременно обращалась к Михаилу Ивановичу.

— Михаил Иванович, идите сюда! — говорила она нетерпеливо — Будет вам разговаривать.

— Ишь, — говорил Михаил Иваныч, следуя за Надей и глядя на разоренный двор: — ишь, пагорожено!..

И при этом ему представлялся тот же двор, оживленный жирными кучерами, толпами просителей, смеющимися кухарками и другими атрибутами¹ счастливого времени Птицыных. «Заглохло! запустело!» бормотал он, останавливаясь и оглядывая кругом. «Ишь, на чужое-то натаскано сколько.

Надя не сразу входила в дом дедушки. Окна, занавешенные платками и одеялами, заставленные щитами из каких-то лоскутьев разноцветных обоев, рисовали ей такую крошечную тьму, парящую внутри, что она невольно шла в сад. Но и здесь стояли заброшенные деревья с гнездами паутины; в густой траве еле заметны были следы дорожек, беседка стояла без дверей. Михаил Иваныч оглядывал все это, вытаскивал ногою откуда-нибудь пустую бутылку и говорил:

— Провать умели! Все хинью² пошло, все прахом...

— Михаил Ираныч, за что вы не любите дедушку? — спрашивала Надя.

— Да за что ж мне его любить-то?.. Вашему родителю я обязан: он меня призрел а дедушка ваш мало кому пользы сделал.

— Отчего мне не хочется к ним итти? — спрашивала Надя, не имея надлежащих оснований вступаться за дедушку.

— Да чего хотеться-то?.. Кабы вы его любили. А то и вам его не за что любить-то.

Надя молча думает о чем-то, но наконец говорит, лениво поднимаясь с лавки:

— Нет, люблю!

— За что любить-то?..

Надя не отвечает, потому что действительно не понимает, почему ей чужно любить дедушку. Однако она еще раз кивает головой, как бы повторяя: «нет, люблю...»

¹ А т р и б у т ы — отличительные признаки.

² Х и н ь — местное слово, овначает — ахинся, гиль, вздор; пустяки.

— Авдотья! — говорит она кухарке шепотом, входя в кухню. — Что дедушка?

Прежде нежели ответить, кухарка с упорным молчанием ворочает какими-то корчагами, ушатами и отвечает совсем не на вопрос:

— И только бы, только бы вынес господь!..

Авдотья постоянно проклинает Птицыных, потому что жизнь ее в их доме действительно каторжная. На всех четырех умирающих она одна прислуга; в кухне над ее головой висят четыре колокольца, за которые умирающие дергают каждую минуту, требуя то того, то другого, вследствие этого в кухне ежеминутно идет звон, от которого Авдотья потеряла человеческий смысл. До нее здесь перебивало множество народу, и каждый из них не мог выжить одного дня, и Авдотья жила только потому, что ей некуда было деться с двумя своими ребятами.

— И какой демон уживет здесь! — говорит Михаил Иванович, глядя на звонки. — Ишь, колокольню какую выстроили! кажется, тыщи рублей не возьму, чтобы мне тут... тьфу!

— Сама-то вдарит, вдарит в колоколец, в полночь, так с печи кубарем и летишь.. Всех ребят дураками сделали.. С испугу плачут! — дрожащим от гнева и трудов голосом говорит Авдотья, продолжая ворочать корчаги. — Барин — тот делает удар легкий. Барчук еще тише, а бабка да сама — так уж ровно бешеные! Пуше всего сама: поминутно... Бабка — та очнется раз в день а то и два, да уж и дернет! Прибежишь к ней, а она этак-то ровно рыба рот разевает: «в карман-то», говорит...

— Опоздала! — радостно кричит Михаил Иванович, удерживаясь при барышне от более веских выражений. — Ушли карманы-то, убежали... хе-хе-хе... Ишь как они привыкли в чужим карманам, так это даже удивительно, ей-богу...

— Что ж дедушка? — спрашивает Надя, как-то обесспелев от этих разговоров, и, узнав, что дедушка и бабушка живы, еле плетется в комнаты.

В комнатах прежде всего поражал мрак и духота, пропитанная ладаном и запахом лекарств. Среди этого царства

смерти нельзя было бы пробыть одной минуты, если бы мертвую тьму не нарушал голос стонавшей и ругавшейся генеральши.

— Ну какой ты генерал? Ну, как тебя возможно назвать генералом? — вопияла только-что особорованная женщина, стоя над умирающим мужем. — Что ты нажил? Куда ты от меня прячешь, кому готовишь?

— Н-нету у меня! — еле произнесит муж. — Нету!

— Как у тебя нету, когда ты все на сыновние да на зятнины деньги жил? Куда девал? Умрешь ведь... тебе жить одна минута... Говори, куда девал?

Но муж уже не отвечает.

— В гроб ты меня вогнал! Кабы знала бы, не вышла бы за тебя... этакого тирана... этакого душегуба! Ты всех нас в нищие ввел... Ты сына в гроб вогнал погляди вои по-ди, полюбуйся на сына-то!

— Михаил Иваныч! — держась за его рукав, говорила Надя в передней: — я не пойду к ним...

— Дожили до каких делов! — качая головою, говорит Михаил Иваныч. — Теперь вот господь наказывает, сами себя едят; ишь, грызутся!

Большую частью, при входе Нади, генеральша спрашивает: «кто там?» — и тогда Наде приходилось целовать ее ручку и сидеть у одра, слушать оханье и брань с мужем, лежавшим за стеной. Михаил Иваныч в такое время стоял в передней и злился; а когда ему приходило в немоготу, он отправлялся дожидаться барышню за ворота. Но иногда им удавалось прямо из передней пробраться в комнатку, где лежал умирающий Ваня, который один только из всех полумертвецов птицынского семейства пользовался симпатией даже Михаила Иваныча.

Самый сильный удар, какой только могла панести жена Птицына мужу, состоял в упреке, что он уморил сына, хотя в гибели этого человека принимали одинаковое участие и отец и мать Вани. С детских лет Ваня не был похож на то, что его окружало. Словно испугавшись того буйства и произвола, которые царили в его семье, он как будто бы отвернулся ото всех, притаился и пошел своей дорогой.

У него стала развиваться страсть к музыке. Михаил Иванович помнил, как, бывало, ранним утром, маленький, белокурый, очень похожий на тощего котенка, Ваня, боясь испугать родных, осторожно пиликает где-нибудь в уголке на желтенькой скрипке, купленной в игрушечной лавке за двугривенный. Но в этом мире грабежа и веселого житья такое дело мальчика никому не казалось делом. Смурыганье ветвердого и дрянного смычка, пытавшегося извлечь из дрянных струн и из дрянного инструмента «Возле речки», непременно сопровождалось колотушками, дерганьем за ухо, ударом в затылок. Мать говорила: «Что ты, очумел, под воскресенье?» — и хлопала по затылку; то же самое делали братья, не говоря ни слова; то же самое делал отец, говоря: «учился бы лучше, по два года сидишь в классе». Но поволочки эти оставались без ответа со стороны Вани. Удар в голову заставлял его жмурить глаза, каплями пота покрывал его лоб с прилипнувшими белокурыми волосами; голова его, отдернутая за ухо, снова еще плотнее прилипала подбородком к грифу скрипки, и смычок все-таки пилил тихо, едва слышно, но рука, державшая его, судорожно сжимала его. Этокое упрямство вооружало против него родных. Отец Вани, в благодарность за то, что пачальство отличило его, дав теплое место, хотел всех детей повергнуть на пользу отечества и заставил Ваню служить, когда ему было не более шестнадцати лет. Духота канцелярии, интересы чиновников были совершенно несхожи с тем настроением духа Вани, которое образовала в нем страсть. Он мучился этой канцелярией, терпел тысячи оскорблений, чах в постоянных попреках его глупости, срамящей отца, и все молчал, и все бился вперед. Прямо из канцелярии он бежал к полковым музыкантам, заводил дружбу со всяким скрипачом, долго корпел по ночам, списывая ноты. Каких трудов стоила ему новая порядочная скрипка, сколько нужно было времени ждать, пока соберется десять целковых на ее покупку, так как мать Вани отбирала у него все жалованье, оставляя на этот предмет полтинник в месяц. Его называли «гудошник», «скоморох». Тяжкая болезнь заставила обратить на него внимание родителей. Им было

жаль его как сына, тем более, что до отца стали доходить слухи о его таланте: какая-то приезжая знаменитость случайно услышала его и протрубила о нем вплоть до скудного талантами Петербурга, приписывая себе честь открытия. Знаменитость перерыла его ноты, которые он тщательно сохранял в своем уголке, и откопала какие-то композиции¹, в которых оказалось пропасть нового: «Скачет галка по ельничку» — русская песня и баллада Пушкина «О спящей царевне» — привели ее в восторг.

О Ване заговорило музыкальное общество города; к нему приезжали губернские знаменитости; Ваню тащили в люди, в свет: — его отец начинал гладить по головке. Но Ваню убила радость, которую он перенес в эти минуты; в обществе он терялся, делался дураком, и большая фигура его, с запуганными глазами, с странными смешными усами, в старом, задешево купленном фраке, была не больше как смешна.

И Ваня лежал и умирал.

Комната его была вся обвешана лубочными картинками, изображающими смерть с косой, ад, геенну, страшный суд. Он был так болен, что считал себя возгордившимся перед богом, виновным в непочтении отца и матери, которые успели ему доказать, что он глубоко грешил, играя под воскресенья и под двенадесятые праздники. Религиозный ужас охватил его в последние дни, и он лежал, обернувшись к стене, не говоря ни с кем ни слова...

Появление Нади и Михаила Ивановича не пробуждало его от забытья.

Несмотря на грустную картину умирающего, в комнате Вани Наде было легче дышать: здесь было чисто и тихо; все нотки и тетрадки Вани были аккуратно собраны и сложены в одно место, и Надя любила их разбирать. Каждый листок в этих бумагах говорил о том непомерном труде, с которым Ване стоило составить себе маленький уголок, отдельный от широких нравов семьи. Чего нет в этих бу-

¹ Композиция — здесь в значении музыкального произведения.

кагах? Вот случайно уцелевший номер газеты с фельетоном о каком-то музыкальном вечере в Петербурге. Как тщательно и аккуратно сложен он! Автор его мог бы умереть спокойно, если бы знал, как ценятся где-то в темном уголке его строчки, нахватаанные, может-быть, ради хлеба. Вот портрет какого-то музыканта, вырезанный из какого-то измятого журнала: но он расправлен, старательно наклеен на картон. Вот афиша о концерте, в котором Ваня участвовал в первый раз.

— Уморили человека! — говорил Михаил Иванович, рассматривая валины бумажки. Надя не слышит его и не отвечает. В руках ее какие-то лоскутки, вверху которых написано: «в газету послать». Это какие-то отрывки из недоконченных писем, рассказов, в которых видно неумение владеть пером, видно, что мысль убита у писавшего человека. Но содержание этих лоскутков почти одинаково.

«Дует¹. Рассказ И. П—на. В один майский вечер, из —ской улицы вышел на большую улицу один человек... У него была скрипка. Но в этот восхитительный вечер молодому человеку сделали подлость. Съедобин, губернский франт, хотя и дурак, стал подтрунивать над моим костюмом, говорил, что у приказных снимают сапоги...»

Рассказ прерывался. За ним следовал другой с описанием пюньского вечера; но во всех их, на трех строках, описание красот природы уступало место описанию какой-нибудь мерзости, которую откалывали перед «одним человеком» либо барышня, либо барчук. Почерк последних строк каждого лоскутка ясно говорил о том, что мерзостей и гадостей сделано автору в тысячу раз больше, нежели было красот во все августовские, майские и другие вечера в мире. Слушая осторожный шопот Нади, читавшей эти почти безграмотные, но грустные листки забытого человека, Михаил Иванович и здесь находил вещи, объясняемые его взглядами.

— Ишь! — шептал он. — За что они над человеком

¹ Д у е т — музыкальная партия (песнь или игра) на каком-либо инструменте, выполняемая вдвоем.

издевались? Вот чужие деньги-то!.. Только бы потеху из всего сделать! Разве им понять серьезного человека?

Надя уходила с тяжелым чувством из этого дома.

4. ПРОДОЛЖЕНИЕ СКУКИ И СКИТАНИЙ

1

Так как чугуинная дорога все еще не достраивалась, то Михаил Иванович продолжал проводить время попрежнему и стал шататься к Черемухиным все чаще и чаще, потому что здесь, среди покорных обстоятельств людей, ему было как-то покойнее негодовать. Отравленный прижимкой, о которой было уже обстоятельно рассказано Черемухиным, Михаил Иванович однако и здесь, среди покоя, не забывал толковать о новых временах, о своих планах, а главным образом о грабеже и разбое.

— Надежда Андревна! Надежда Андревна! — торопливо шептал он, догоняя Надю, гулявшую в саду: — гляньте-ко: вон взяточник на солнце греется.

Надя, от скуки гулявшая по саду, смотрела, куда указывал ей Михаил Иванович. На лавочке, в соседнем саду, сидит отставной чиновник в халате и, подставив солнцу спину, потирает ее кулаком и поводит плечами.

— Ишь, словно кот хмурится!.. Кости свои оттаивает... Он теперича приструнен: а вы дайте ему оттаять, пойдет щелкать по карманам — любо два!.. Надежда Андревна! — восклицал он через минуту: — Эво-эво... еще! Вон грабитель на одеяле растянулся... Ишь нажевал утробу-то!

Надя рассматривала рекомендуемых ей Михаилом Ивановичем разбойников с тем недоумением и любопытством, с каким дети глядят, например, на рыбу, плавающую в корыте. Она шевелит перьями, дышит, смотрит и, должно быть, о чем-то думает. И хотя существо оттаивающих грабителей было ей в той же мере незнакомо, как и существо размышлений молчаливой рыбы, но бормотанья Михаила Ивановича об этих предметах внесли в ее скуку какую-то неприятную черту. Надя слушала и смотрела на Михаила Ивановича только потому, что не на кого было смотреть и не-

это было слушать, и, несмотря на полное почти равнодушие к его суждениям, дедушки и бабушки стали скучны не только потому, что у них духота и темнота в комнате, а потому, что в них самих было что-то дурное, что они почему-то дурные люди. Улица и забор, видный в окно, и сад, помимо того, что надоели ей своим однообразием, получили еще какую-то особенную ненависть Нади вследствие того, что кругом их и за ними жили и живут опять-таки дурные люди.

— Скука, Михаил Иванович... слышите, что я говорю? Скука... — говорила она, лениво проходя по комнате и лежа на старом диване с старинной «Библиотекой для чтения»¹ в руках.

— Скука! — ухмыляясь, говорил Михаил Иванович, сидя или стоя где-нибудь у притолки: — а потому, что обмякла прижимка.

— Что?

— Прижимка обмякла... нету того грабежу... Через это вы и скучаете.

— Да разве я кого ограбила? — с неудержимым смехом спрашивала Надя.

Михаил Иванович не смущался смехом и отвечал:

— Вы не грабили-с, а женихов стало меньше... вот из-за этого и скука. В прежнее время жених был охоч; доход простого человека у него был верный, он брал даму, не боялся... Первое дело — без дамы ему нельзя. Второе дело — ему одному не разорваться: он хватает, жена должна прятать. выходит — «семейный дом». И девицы, женск пол, скуки не знали. Потому мало-мало в возраст пришла которая сейчас села к окошечку с шитьем, для близиру, а он уж грабитель-то и подползает... А он уж где-нибудь и пошевеливается... Уж он где-нибудь тут, по-близости! Ну и свадьба, и пошла девица домой, пошла она в чулан таскать подарки дареных. Только у вас и дела... И скуки нету... А теперь труднэ так-то!

«Подползает», «пошевеливается» и другие фразы, свой-

¹ «Библиотека для чтения» — журнал.

ственные простому званию Михаила Ивановича, смешила Надю. Посмеявшись над ними, она снова углублялась в чтение глупейшего романа, по имени «Ветка фуксии», и как-то, почти без собственной воли, снова задавала Михаилу Ивановичу вопрос:

— Как будто только и дела, что цыплят таскать, — говорила она, не глядя на Михаила Ивановича и перевертывая следующую страницу.

— Да больше у вас делов и нету... Какже у вас, у благородных, дела? Все у вас готовое, заботы вам нет; приходит супруг из должности, вы его спрашиваете: «Хорошо ли, душенька, служил?» — и в губы его... А он вам: «в каторжную работу сослал двадцать персон» — и на оборотку вас в губы... Какие у вас дела?..

Надя едва улыбается на этот ответ Михаила Ивановича и окончательно забывает его, заинтересовавшись героиней романа. Роман прочтен; Надя снова ходит по хозяевам, разговаривает с солдатом, смотрит, как хозяева кормят цыплят, и вдруг опять, среди этой скуки, неожиданно припоминаются слова Михаила Ивановича. «Какже у меня дела? — думает она. — Не оттого ли скука в самом деле, что женихов нету?..» Она думает, и — глядишь — при следующем появлении Михаила Ивановича — снова задает ему вопрос:

— А если я не хочу ваших женихов?

— А вам этого пельзя!.. Жених требуется, только он очень мудрен нынче стал, вывелся. А без женихов вам невозможно. Потому вы так прилажены...

— Как я прилажена?

— А так, чтобы на чужое жить... Теперича маменька вас кормит, одевает, а замуж выйдете — супруг станет награждать... Вы так приучены!.. В прежнее время в вашем звалии все на чужое жили... Вы извольте взглянуть на прабабушку вашу... Им, может-быть, сто годов, опе чуть дышат, а очнутся — первым делом лопочут: «в карман-то норови!» Ишь ведь-с! С малых дён все на чужое приучена... Или опять дедушку вашего возьмем с бабушкой. Дожили они до веку, до шестидесяти лет, и нет у них других слов между собой, кроме ругательств... Чай, сами

слышали, как она его честит?.. А потому, что ей скуча! Покуда па чужое жили, покуда таскали ей дары, например, она и мужа любила и жила весело. Как чужой карман из рух ее выхватили, — они врозь. И помянуть им на старости нечего! А кабы они своим трудом кусок-то брали, кабы в оных оглоблях-то шли, небось бы нашлось, что в этакое преклопе вспомянуть. А то воп набрасывается на всех, только и всего... Делов пикаких не было, вот из-за чего!..

— У вас все никто ничего не делает! У вас все па чужое...

— Обнаковенно! Ваш дяденька-то, Иван Петрович, вон упирают; а по какому случаю? — потому, что над ними потемались в людях, не понимали ихнего сурьезу... Сами читали в сочинениях у них... Разве я, примерно, посмею этак-то хаять человека, как они его хаяли? А потому, что с чужого, с жиру... Им бы только баловаться... И баловались все... Как же не все-то-с? Из-за чего мы ободраны?

Тут начинался длинный рассказ о прижимке, которого Надя почти не слушала, пбо Михаил Иванович успел уже изложить его несколько раз. Но скука ея еще более делалась содержательною. Непременные результаты всеобщего ничегонеделания, которые она видела собственными глазами, заставляли ее снова адресоваться к Михаилу Ивановичу.

— А у меня есть дело? — вдруг спрашивала она его.

— Какое у вас дело? У вас нету. Кабы вы были простого звания, у вас бы было дело. У простого человека делов много... Он скуки не знает... Никто не привидывал, чтобы, например, мужик шатался да валялся этак-то, да зевал: «мне скучно!» Отродясь и не было такого мужика... у простого человека забота, скуки нету... Дела у него...

— Какие дела?

— Мало ли делов-с! Делов простому человеку много!.. Возьмите вот Авдотью, у дедушки служит... Башмак на ней падет — он у ней свой!.. Надыть его выработать. Вот она год целый ворочает корчаги да ушаты, и сошьет башмаки... вот и дела!

И Михаил Иванович высчитывал множество простонародных дел, вращавшихся в области «обуви» и «одежи»

и прочих незамысловатых предметов. Надя высказывала сомнение насчет того, чтобы кухарке было особенно весело среди этих дел, на что Михаил Иванович приводил тот довод, что хотя кухарке и не весело, но зато ее и не клянет никто так, как клянут ее дедушку, жившего гораздо веселей кухарки... В подтверждение своих слов о вреде этого веселья на чужой счет, он приводил еще и тот факт, что дедушка Надя не может умереть в течение пяти лет, обзавелся болезнями, которых не узнают доктора, тогда как с простым человеком ничего этого будто бы не бывает.

Несмотря на односторонность взглядов Михаила Ивановича, бормотанье его о грабежах и разбоях сделало то, что в голове Надя зашумел целый рой совершенно новых для нее размышлений. Прежде всего почему-то оказывалось, что скука ее происходит от того, что нет женихов: по если и случился бы жених, то ей придется заниматься какими-то злодейскими и гадкими делами, примером чему — дедушка и бабушка и умирающий Ваня. Причина всех этих злодейств — чужие деньги. Надо иметь свои. Своих нет. Свои — у кухарок, у кучеров. У них нет скуки. Неужели надо идти в кухарки?

2

Таким образом результаты, добытые Михаилом Ивановичем среди житья в области прижимки, оказались пригодными для тех лиц, нравы которых в прежнее время держались этой прижимкой, слагались благодаря ей в известные формы и уничтожились, развалились сами собою вследствие того, что прижимка «обмякла». Новое время незаметно строит новые нравы, и никакой Михаил Иванович в мире не подозревает того, что бормотанье его о чужих деньгах, о жизни на чужой счет может заставить кого-нибудь крепко задуматься; точно так же, как никакая Надя, из числа множества подобных Надей на русской земле, с тоскою и томлением проводящая дни за днями, решительно не подозревает, что время донесет к ней, устами которого-нибудь Михаила Ивановича, такие думы и тоскования, о существовании которых она и слыхом не слыхала.

С течением времени из множества запутанных вопросов ~~начал~~ особенно выступать один, и именно насчет того, что ~~почему-то~~ действительно требуется женишка. В том оди-
зково были согласны и мать, и солдат, и хозяин, и Ми-
лан Иваныч; все они хором вопияли о необходимости этого
предмета, помощью которого все вопросы решаются сразу.
Все это сердило Надю. Но скоро к этому хору присоединил-
ся еще повый голос, который сумел так повернуть дело, что
Надя даже стала бояться пренебрегать женихами.

Голос этот принадлежал Арине-закладчице. Пользуясь
тем обстоятельством, что Черемухина была ей «подверже-
на» вследствие заклада ей воротника, Арина стала время
от времени посещать ее, дабы в то же время потешить себя
созерцанием ее разорения. Входила она обыкновенно рас-
качиваясь и охая и полагая при этом, что так именно посту-
пают благородные дамы и богатые люди. Жеманно позд-
ровавшись с Черемухиной, она, кряхтя, усаживалась на ста-
ринное кресло и вступала в разговор.

— Ну, как живете? — утомленным голосом говорила
она. — Эко бедность-то у вас какая!.. Чать жить-то вам
печем?..

— Мы пенсию получаем, — не глядя на Арину отвечала
Черемухина и старалась скрыть свой гнев в вязальных
спицах, которые необыкновенно проворно начинали ходить
в ее руках.

— Велика ваша пенсия! — чать копейку какую вы-
дают... Ноне, брат, очепно трудно вам!.. Так-то-ся!.. Что ж,
дочку-то замуж норовишь?..

— Не век же в девках ей сидеть...

— Ну, мудрено это для вас!.. Кто ее возьмет, нищую-то?

— Не все миллионщицы...

— Ну, и без гроша-то тоже не очень много охотников
найдется... За дьячка, пожалуй, выдашь...

— Придется, так и за дьячка выдам! — соглашалась,
скрепя сердце, Черемухина, чтобы хоть как-нибудь зажать
этот злой рот.

— Чему приходится-то? Приходится-то нечему, и так
выдашь, не минешь. Чему тут приходится? Ноне, брат, не

то время! Не старое, сударыня, время стоит. В прежнее время с доходов сколько хошь жен набери, по сту дитев в год рожай, — всем хватит... Ну, теперь не очень-то!.. Много тоже из вашего брата пошло на улицу молодцов закликать... Воп у нас генеральская дочь, а глянь-ко-сь: день в день по утрам домой приходит, шатается... Так-то-ся!.. Кто ее возьмет? — заключила она, кивая на Надю и вглядываясь на нее весьма несимпатичным взглядом.

Налюбовавшись над разорением Черемухиных, Арина наконец поднималась с кресла, говоря, что «посидела бы, да, вишь, стулья-то у вас еле живы... голову свихнешь», и уходила.

— Эко бедность-то, бедность-то какая!.. — шептала она при этом и, покачивая головою, оглядывала все углы в жилище Черемухиных.

Такие посещения Арины сделались все чаще и чаще, и, благодаря ее разговорам об участи Нади и о том, что ее никто не возьмет, «жених» принял в глазах последней какое-то неотразимое значение. Тон, которым говорила Арина, очень близко подходил к тону ругательства; Надя как-то перепугалась своего положения. Не зная, почему ее бранят, и не зная, как «заслужить одобрение», т. е. приобрести хоть сколько-нибудь спокойнее состояние духа, она, благодаря рассуждениям Арины, потеряла всякую надежду достигнуть этого с помощью даже жениха, ибо оказывается, что ее еще и не возьмет никто.

«Кто ее возьмет?..» — звучало в ее ушах даже вприсонках.

И если принять в расчет обстановку Нади, томившейся среди какого-то захолустья, битком набитого отживающими людьми, к которым сама собою уничтожилась всякая симпатия, то будет понятно, почему в это время Надя охотно бы вышла за любого, пожелавшего сделать ей предложение. Беззащитность ее нравственного и материального положения была до того велика, что, ради необходимости как-нибудь разрешить ее, она стала даже ободрять себя в намерении выйти поскорей замуж, подкрепляя это намерение тем, что дедушка и бабушка, нравы которых сделались

для нее страшными, — старики, умирающие люди, а что молодые живут не так.

Это намерение было бы приведено в исполнение самым поспешным и самым легкомысленным образом, если бы в жизни Нади не произошло одно случайное обстоятельство.

5. ЗЕМНОЙ РАЙ

1

В числе знакомых Нади было, между прочим, семейство Печкиных. С этим семейством Надя познакомилась, во-первых, потому, что Софья Васильевна, жена Печкина, оказалась подругой ее детства, а во-вторых, потому, что сваха, уже начавшая свои посещения, отозвалась о Печкиных почти с благоговением.

— Пройди ты всю подвселенную, нигде ты этого рая земного не сыщешь!.. — говорила она Наде: — Софья-то Васильевна — вот как ты же, сирота, еще голей тебя была, а теперь гляди-ко-сь! Ровно принцесса живет... Да что ей? Ни о чем заботушки нету, живет за мужем, ровно за каменной горой, даром что за не очень-то молодого выскочила...

В словах свахи скрывалась тайная цель сосредоточить внимание Нади на пожилом телеграфисте с рыжими волосами и с полупольским выговором. Но Надю главным образом интересовало видеть подругу, с которой она не видалась с тех пор, когда еще маленькими девочками они катались на санках, и которая теперь живет в земном раю; да и скука, требовавшая чего-нибудь нового, кроме бормотаний Михаила Иваныча о грабежах, тоже в достаточной степени помогла скорейшему посещению земного рая. Михаил Иваныч, зная Печкина как посетителя трифеновской лавки, взялся ее проводить туда.

Узенький переулок, где был рай, приветствовал наших путников, помимо пустынности и тишины летнего полдня, длинными заборами, тянувшимися по одной стороне его, и несколькими домами, смотревшими в эти заборы с другой стороны; наглухо захлопнутые и мертво-молчаливые во-

рота дома Печкиных, с своей стороны, прибавили некоторую дозу тяжести к тому тяжелому впечатлению, которое производил переулочек. Но скука Нади, жаждавшая какого-нибудь исхода, сумела перетолковать эту смерть, носившуюся по переулочку и веявшую от ворот, в смысле плотной ограды, окружающей более спокойную, нежели ее, жизнь.

Помощью веревки, протянутой через забор к колокольчику, из недр рая были извлечены предварительно несколько собак, оскаленные, захлебывающиеся рыла которых внезапно появились в десятках незамеченных до сих пор дыр: в заборах, в подворотнях, на вершине заборов и пр. Стараниями Михаила Ивановича и кухарки, отворившей ворота, полчища, охранявшие райские двери, были разогнаны.

— Дома барыня? — спросила Надя кухарку.

— Где им быть... Стал-быть, дома...

— Что она делает?

— Что ей делать? Почивают поди, либо так...

— Делать ей нечего, обнаковенно! — подбавил Михаил Иванович.

— Обнаковенно! — согласилась кухарка: — делов у них нету никаких. Чего ей еще?

Говоря так, она между тем с большими усилиями отнимала от двери сеней довольно толстую палку, которою двери эти были приперты, и, когда палка была брошена на землю, кухарка прибавила:

— Ишь, вогнал как, насилушки одолела...

— Кто это? — сделав шаг в сени, не могла не спросить Надя.

— Да это наш... барин!.. — улыбаясь отвечала кухарка. — Бережет ее... чтоб не было ей беспокойства... Тоже боится, не ушла бы!..

— Как не ушла?

— Да так ему взбрело: не ушла бы, мол!.. А куда ей уйти-то?.. Коли бы у нее дело... а то... куды ей? Ей и так некуда... Никакой заботы нету, ровно царица...

Михаил Иванович не упустил случая поддакнуть при словах кухарки: «кабы дело». Но Надя сначала посмотрела на них на обоих и, словно задумавшись, тихо пошла вдоль

пустынных сеней. Шаги ее сделались еще тише, как будто даже боязливее, когда тяжелая дверь, обитая войлоком, ввела ее в переднюю, в которой, кроме темноты, со всех сторон пахнул на нее спертый, тяжелый воздух с запахом сырой гнили. Наде хотелось кашлянуть. Но тишина остановила ее от этого. Та же тишина и тот же воздух преследовали ее в двух-трех комнатах, по которым она шла вслед за кухаркой и где декорация рая состояла из продавленных стульев, пыли на пошатнувшихся столах, зеркала с каким-то рисунком вверху рамы, картин, вроде схимника¹, посещаемого Александром благословенным², зеленых штор, пожелтевших снизу и в десять раз уменьшавших то количество света, которое за минуту ощущала Надя на улице. Слово туча вдруг напеслась на ясное небо, когда она вошла в этот рай, и она совершенно испугалась, вместо того, чтобы обрадоваться, когда кухарка вдруг довольно громко произнесла:

— Вот они... Пожалуйте... Почивали!..

На широкой кровати, с измятой периной и множеством толстых подушек, восседало какое-то растрепанное существо с развязавшейся косой, спутанными на лбу волосами и необыкновенно испуганными глазами. Из-под желтой, покрытой пятнами блузы, с распахнутым у горла разрезом, высовывались ноги, из которых на одной чулок спускался почти до полу, а на другой его не было совсем; королева или принцесса, словом — обительница земного рая, упиралась руками в перину, что вместе с сонным выражением глаз напоминало человека, над которым внезапно раздался выстрел. При виде этого существа Надя остановилась в некотором изумлении, и в комнате некоторое время царствовала бы мертвая тишина, если бы не залегший во время сна нос королевы, который прорезывал эту тишину разнотонными отрывистыми звуками.

¹ С х и м н и к — монах, принявший схиму, т. е. особый монашеский чин, требовавший соблюдения очень строгих правил поведения.

² Александр Благословенный — так величали императора Александра I.

— Соня... Сонечка! — с робостью начала Надя; но прежде, нежели ей удалось расшатать это райское спокойствие, ей нужно было не робким, но усиленно-громким голосом повторить, что «помнишь ли... Надя!.. Я — Надя Черемухина... На санках-то...» Нужно было также потрогивать Софью Васильевну за плечо, за руку... Но когда Софья Васильевна наконец поняла, в чем дело, и несколько раз поцеловалась с Надей, крепко ее обнимавшей, испуг ее с внезапною быстротою заменился слезами, которые хлынули целым потоком, как вода на прорвавшейся плотине... Лицо и тело Софьи Васильевны, продолжавшей сидеть на кровати, как-то вдруг осели, раздались в стороны, сделались шире, и по всей их ширине бушевал поток рыдающего трепета.

Надя глядела на это трепещущее и рыдающее существо, слушала ее захлебывающиеся слова: «Надя!.. милая... Надя!» и вдруг ей стало досадно. Во всем этом не чувствовалось даже ни того ничтожного интереса и смысла, которые все-таки были в захолустье, где жила Надя. Эта досада, уменьшавшаяся по мере того, как слезы начали мало-помалу пересыхать на распухом и раскрасневшемся лице Софьи Васильевны, вдруг была еще более усилена появлением нового лица.

Среди новых всхлипываний Софьи Васильевны понесся из передней крикливый, рассерженный, но старческий и дребезжащий голос ее супруга.

— Кто такой? Ты что? Что такое? Это что? Что это такое?.. — бормотал он, натываясь на растворенные двери крыльца, на валяющуюся палку и с изумлением встречая в передней фигуру Михайла Иваныча.

— Что ты? Что ты орешь? — донесся до Нади не менее негодующий ответ Михайла Иваныча, который не мог относиться к Печкину равнодушно, зная его мнения по трифоновским беседам. — С барышней пришел, что, орешь-то? Хапнуть не дали?

— Что мне с барышней? Что такое — с барышней? Я болен... С барышней... с барышней! Все расперто!.. Что такое? Софья! Что это такое?..

Слова эти, раздавшиеся почти одновременно в передней, в зале, гостиной, вместе с торопливыми звуками шагов, наконец раздалось и вблизи Нади, в спальне, где на пороге появился Печкин, длинный и дряблый чиновник, с растерянным, кислым и осерженным лицом. Не обращая на Наде никакого внимания, он бросил шапку, фильдекосовые черчатки, скинул сюртук и все время вопил:

— Что это такое? Акулина! Соня! Болен я! Господи...

— Дай ей с барышней-то повидаться! — усовещевала Печкина кухарка.

— Что такое? Барышня? Что мне барышня? С барышней, с барышней... Я болен... Говорю вам, меня баба сглазила... Господи!.. Росперто... растворено... Да сделайте милость.. Софья! Спрысни!.. Спрысни, ради Христа!

Сердитая чужь, которую Печкин сыпал, не переставая, и сопряженный с этою чужью гвалт заставил Надю уйти в другую комнату. Отсюда она с большим испугом глядела на этих людей, обитателей рая, кропивших и брызгавших друг друга святой водой, сердившихся, кричавших, испуганных и в помрачении ума натывавшихся один на другого.

Все это до того изумило ее, что она, издали сказав Софье Васильевне: «прощай», «приду», бегом бросилась вон из комнаты.

— Михаил Иванович! — крикнула она ему в каком-то изнеможении, и тот, отвечая на отчаяние, слышавшееся в ее голосе, бросился вслед за ней.

Очутившись на улице, Надя перевела дух и, взглянув на Михаила Ивановича, сказала:

— Господи! что это?..

— Черти! — отвечал Михаил Иванович. — Облопались... Сглазила! Ишь ведь что выдумает! сглазить такого дьявола... Ему зацарапать нечего в ла-апу!..

На этот раз обыкновенные бормотанья Михаила Ивановича насчет грабежей не казались Наде скучными; напротив, они освежали ее голову, пораженную сценами райской жизни, обставленной припертыми воротами и одуревшими людьми.

А в сущности будущность Нади едва ли могла быть лучше участи Софьи Васильевны, которая действительно пользовалась самым лучшим положением, какое только возможно в том кругу, где живут не трудясь. До замужества с Печкинским, полтора года тому назад Софья Васильевна имела решительно те же самые шансы на самостоятельную жизнь, как и скучавшая в настоящее время Надя. По выходе из пансиона она, как спрота, жила у вдовой пожилой тетки, где занятия ее состояли в том, что она тихонько ходила из комнаты в комнату, тихонько читала «Юрия Милославского»¹, тихонько поливала цветы. Были ли у нее какие-либо планы насчет будущности — решительно неизвестно; пансионская наука, представлявшая смешенье Гибралтаров² с заповедями Мамаев³ с перешейками, особенно определенных целей в жизни ей не дала, сделав из нее существо, о котором, при самом тщательном наблюдении, можно было сказать только, что она румяная и добрая. Все это, так сказать, обязывало Софью Васильевну отнюдь не делать шагу на том пути, где ничего не могут сделать перегоревшие в огне руки Михайлов Иванычей, и идти только туда, куда ее поведут и где ей помогут. И вот является какой-нибудь руководитель, которому нужна жена, берет ее, ведет в свой дом и наполняет пустой сосуд собственными интересами. И каковы бы ни были они, всякая Софья Васильевна должна быть несказанно благодарна за них, ибо чем бы могла наполнить она свое существование, если бы у мужа не было охоты водить кур, если бы он не любил драться, напиваться, если бы не направил взятого им автомата к интересам толкотни на базаре, крика с торговцами, дебоша с кухаркой по случаю

¹ «Юрий Милославский» — исторический роман М. Н. Загоскина.

² Г и б р а л т а р — мыс на юге Андалузии у Гибралтарского пролива, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном.

³ М а м а й — татарский хан золотой орды XIV в., потерпевший поражение от русских в битве на Куликовом поле;

пропавшего куска сахара? И если принять в расчет, что путь, по которому должны идти все, имеющие в запасе для только румянец, усеян дебошами супругов, увечьями и прочими ужасами захолустной тишины, то положение Софьи Васильевны делается действительно райским, ибо Павел Иванович Печкип, взявший ее для собственной надобности, избавил ее от всех вышеупомянутых терний, ибо женился на ней в то время, когда всякая возможность к интересам, вращающимся между курами и пьяными драками, была устранена.

До сорокапятилетнего возраста Павел Иванович не чувствовал крайней необходимости в супруге, так как, принадлежа к числу людей, успевших по службе, и не употребляя водки, он один вил свое гнездо, при самой незначительной помощи толстой и жирной бабы, которая жила у него единственно только для порядка. Тщательность, с которою Павел Иванович вникал в целость кусков сахара и копейк, придержаных бабою у себя во время покупки провизии, делала его самого более похожим на бабу, нежели па чиновника. Благодаря этой рачительности у него вырос собственный дом, собственное хозяйство, и благосостояние вообще достигло до такой степени совершенства, что в помощнице или жене не чувствовалось ни малейшей надобности. Только некоторые порывы жирной бабы, норотившей по временам отправить в деревню к «своим» какую-нибудь ложку или носовой платок ценою в гривенник, заставляли от времени до времени вступать в разговоры со свахой насчет невест, но, благодаря находчивости бабы (у которой в Москве, в воспитательном доме, было несколько ребят), все неприятности с барином улаживались, устраивались, и переговоры со свахой оканчивались ничем. Павел Иванович никогда бы не задумался насчет женитьбы серьезно, если бы руководствовался интересами исключительно хозяйскими, и если бы дух времени не ворвался в среду его установившегося мпросозерцания. Необходимо заметить, что внутренний мир Павла Ивановича был до сего времени тоже в полном благосостоянии: он никогда не думал о том, почему, например, начальство может получать двойные

прогоны, распекать, выгонять, гнуть в бараний рог, и почему в то же время он, Павел Иванович, ничего этого делать не может?

Почему он, отправляясь на службу, должен строчить разные бумаги, брать взятки, вытягиваться перед советником¹, и почему должны ему давать взятки, требовать вытяжки и пр.? Павел Иванович принял все это с тем же спокойствием, с каким люди убеждаются, что солнце светит, что под ногами — земля, а над головой — небо: об этом даже и не думают. Павел Иванович делал все это исправно и жил поэтому весьма счастливо до тех пор, пока время не пошатнуло этого мирозерцания. С некоторых пор стало оказываться, что взятка — вещь гнусная, и что Павел Иванович — подлец, тогда как он считал себя честным человеком. «Разве я что украл?» — говорил он в подтверждение этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало заменяться какими-то щелкоперами², которые носили пестрые брюки, курили в присутствии сигары, не брили бород, выгоняли воп без суда и следствия, не желали видеть доказательства честности в беспорочной пряжке. Все это и множество других либеральных реформ, похожих на снисхождение к пестрым брюкам, вломились в умственный мир Павла Ивановича и произвели в нем потрясение. Павел Иванович впервые стал ощущать тоску, возвращаясь из должности в лоно своего благоустроенного хозяйства; впервые под ее влиянием он стал ощущать, что разговоры после обеда с бабой о разных разностях, которые в прежнее время он так любил, не идут к делу и не помогают. Как человек набожный, он возлагал большую надежду на помощь божью, надеясь, что все эти брюки, честности и бороды «прейдут», ибо посылаются в наказание народам за беззакония и блудную жизнь; но в сущности это были только самые легкие удары начинавшегося землетрясения. За бо-

¹ Советник — должность крупного чиновника, члена какой-нибудь палаты, или крупный чин — «статский советник», «действительный статский советник» и т. п.

² Щелкопер — пустой хвальбишка.

годами пришли времена, когда вдруг мужики перестали давать взятки. В былое время Павел Иваныч напишет бумажку и знает, что ему сейчас дадут, и что потом это дающее он положит в карман; а тут пришло так, что он только пишется бумажки, а в карман ничего не кладет и не знает, чем запить оскорбленную руку. Затем пошли новые суды, пеповиновение в народе (а в том числе и в кухарке). И все это вместе внесло в душу Павла Иваныча множество самых непримиримых вещей; не говоря о существовании этих вещей, можно указать только на силу их томительности, исходившей из того, что Павел Иваныч припужден был всеми этими повизнами к размышлениям о чем-то таком, о чем он прежде и не думал. Ради забвения этой тоски, с которою непосредственно соединялись боль в спине и крестце, ломота костей, пытка рук и ног, Печкин стал шататься в лавку Трифонова, которая уже успела прославиться своими успокоительными свойствами. Но у Трифонова хотя и было очень много вещей, совершенно не напоминавших современности, однако же не получалось и полного успокоения, потому что и сюда от времени до времени залетали слухи о новых судах, о честности, о железной дороге... В конце концов все это до того повалило Павла Иваныча, до того уронило его в собственном уважении, что требовалось какое-нибудь решительное средство для того, чтобы привести в порядок его душу и оживить ее.

Он решился жениться, обновить свою жизнь; для этого он вышел и взял Софью Васильевну, которой самой некуда было идти и которая без посредства Павла Иваныча должна была погибнуть, как муха, или весь век потихоньку поливать цветы и утрачивать румянец. Румянец этот первоначально был «поражен счастьем», видя его в 45-летнем Павле Иваныче, и стал громко и горько плакать; но когда был поставлен под венец и спрошен: «согласны-ли», — то отвечал, что «согласен». После этого он перестал плакать, сказал себе: «ну что ж», окаменел, одеревенел и, в качестве пустого сосуда, начал наполняться интересами супруга. Окаменение и одеревенение являются прямым результатом житья под чьею-либо властью. Софья Васильевна не

могла избежать его, но зато самая власть, взявшая ее, была изумительно ничтожна: она требовала только одного, и именно только того, чтобы Софья Васильевна признавала ее за эту власть в то время, когда все считают ее за ничто. Софье Васильевне незачем было беспокоиться, что муж пьян и разобьет голову, прибьет ее и пр.: Павел Иванович не бил ни одной калли; незачем было ей тревожиться хозяйством, устройством спокойя, благоденствия: все это было устроено прежде ее прихода; ей нужно было только слушать ропот Павла Ивановича на современность, и лучше, ежели бы она не понимала его. Софья Васильевна была счастлива и в этом отношении, ибо ропот Павла Ивановича был лишен всякой логики. Разозленный, например, сразу множеством новых явлений, он в бешенстве ходил по комнате и вопил:

— Железная дорога! Ну что такое железная дорога? Железная дорога, железная дорога! А что такое? в чем дело?.. неизвестно!

Отвечать что-нибудь на такие фразы или возражать на них — вещь весьма не безопасная, ибо Павел Иванович и сердится на железную дорогу собственно только потому, что она,ряду с другими явлениями, тоже как будто возражает ему и мешает с прежнею ясностью видеть кругом себя. Софья Васильевна не понимает ничего и молчит. А Павлу Ивановичу легче: его слушают.

Таким образом у Софьи Васильевны не оказывалось никакой работы, кроме заботы слушать брюзжания Павла Ивановича, и следовательно румянец ее и знакомство с перешейками нашли самый подходящий приют для себя, тем более подходящий, что одеревенение Софьи Васильевны уничтожило и ту тень труда, которая для нее могла заключаться в заботе слушать Павла Ивановича. Она слушала его и не слыхала ничего, и это было отлично.

Так и пошла ее райская жизнь.

Избавленная от всяких забот и трудов, Софья Васильевна могла спать, просыпаться, обедать и опять спать; окаменение ее росло и делалось неспособным воспринять самые раздражающие брюзжания Павла Ивановича, делало их

даже незаметными, несмотря на то, что, согласно с беспре-
стапным наплывом новых явлений, оно делалось как-то
бестолковее и длиннее. Разоренный ум Павла Ивановича,
ободренный сначала появлением Софьи Васильевны, с те-
чением времени снова почувствовал потребность подкре-
пить себя чем-нибудь новым, помимо Софьи Васильевны.
Загроможденная железными дорогами, новыми судами, по-
тариусами и пр., мысль Павла Ивановича выводила его то
к необходимости лечиться, ставить банки, пиявки, то к не-
обходимости усерднее прибегнуть к богу, и наконец, совер-
шенно неожиданно для него самого, привела его к убежде-
нию в необходимости построже смотреть за женой. Это бы-
ло до того ново и до того во власти Павла Ивановича, что
ему снова стало покойнее и легче, если он, возвратившись
из должности, шопотом спрашивал кухарку:

— Что моя жена... ничего?..

Кухарка передавала об этом барыне; по ей было все рав-
но. Точно так же ей было все равно после того, как Павел
Иваныч, в видах нового ободрения самого себя, выказал
намерение запираить ее спаружи, упирая дубинкой в дверь,
и пр. Она продолжала прозябать, теряла человеческий лик
и нрав, теряла с каждым днем даже потребность опрятно-
сти, и таким образом получились те результаты райской
жизни, которые повергли Надю в величайшее изумление.

3

Раздумывая над положением Софьи Васильевны, Надя
постепенно додумалась до того, что Сонечка достойна вели-
чайшей жалости. Под влиянием этой мысли она снова от-
правилась к ней, снова перенесла все эти преграды, слезы,
объятия и добилась все-таки того, что увела Софью Ва-
сильевну с собою. Больших трудностей ей стоило угово-
рить ее не тренетать и не вздрагивать от уличного шума,
который весь и состоял только в том, что какой-то мужик
шел куда-то песок, не бросаться в стороны от прохожих, не
ахать, хватаясь за грудь, при крике лавочного сидельца
и пр. Кое-как наконец Софья Васильевна была приведена
в дом Черемухиных и обласкана; успокоить ее тревогу от-

носительно того, «что скажет муж», — не было никакой возможности, несмотря на одинаковые старания Черемухиной, Нади и Михаила Ивановича.

— Да что ты, матушка? — уговаривала ее Черемухина: — велика беда — раз из дому в гости ушла.

— Что вы уж очень-то? — успокаивал Михаил Иванович. — Велика фря!.. Да шут с ним! пушай-ко-сь подумает, не-чем кольями-то припирать!

Никакое из подобного рода увещаний не могло хоть на вершок поколебать страха, который вдруг стала чувствовать Софья Васильевна к мужу, не внушавшему ей до сих пор ничего, кроме полного равнодушия. Надя водила ее по саду, по двору, знакомила с хозяевами, показывала людей, спавших за заборами на перинах, и пр. Софья Васильевна как-то вдруг начинала радоваться всему, что ни показывала ей Надя, и тотчас же впадала в уныние.

К концу вечера эти старания сделали то, что вместе со страхом к мужу в сердце Софьи Васильевны воспиталось уже крошечное зерно упрямства; ей уже не хотелось домой; а когда Надя предложила ей остаться и ночевать, говоря насчет Павла Ивановича: «пусть его», то Софья Васильевна только залилась слезами, но в ужас не приходила.

Успокаивая ее, Надя шла с ней из сада и тоже несколько испугалась, встретив кухарку Печкиных, которая за минуту пред этим, запыхавшись, вбежала в ворота.

— Матушка, Софья Васильевна! Пожалуйте скорей домой! — испуганно говорила она. — Павел Иванович такой сделали шум, такой шум!

И тут испуганным, как говорится, «на смерть» голосом она рассказала, что Павел Иванович, не найдя дома жены и не зная, где она, распушил ее, кухарку, и хотел тотчас же объявить полиции о розыске сбежавшей с офицером жены. Кухарке нужно было много времени, чтобы убедить барина, что никакого офицера тут не было и в помине, а приходила «барышня». Павел Иванович никого не слушал, кричал на весь дом: «Барышня, барышня? что мне с барышней? что такое? в чем дело?» — и стал бегать по лавкам, рассказывать всем, что — «пришел домой, а жены нету,»

расспрашивал всех: «не видали ли?», — заглянул даже в некоторые кабаки и трактиры. Наконец кухарка, благодаря скуке и наблюдательности обитателей тех улиц, по которым Надя и Софья Васильевна достигли дома Черемухиных, отыскала их и требовала немедленного возвращения.

Досада охватила сердце Пади при этом рассказе и при виде убитой фигуры Софьи Васильевны, которую тащат в какую-то берлогу.

— Она не хочет! Она не пойдет! — сказала она кухарке довольно решительно.

— Как это можно не идти? Где это видапо? — в ужасе отвечала кухарка. И ее слова были подтверждены хором нескольких зрителей, в числе которых был хозяин, хозяйка и солдат.

— Да она хочет быть здесь! — убеждала Надя публику.

— Мало чего нет? Она хочет тут, а муж хочет там!.. Пет, уж это что же?.. Нет, уж иди!.. Как жена может уйти?.. — говорила публика.

— Он, пожалуй, осерчает да прогонит еще! — прибавила кухарка. — Они вон, Павел Иванович-то, чаю не пьют без них... Этого нельзя!

— Да он один напейся, разве по все равно? — отстаивала Надя Софью Васильевну.

— Супруг желает, чтобы вместе! Сударушка! — со всем усердием объяснила ей кухарка: — такое его желание. Должна же супруга ему сделать по вкусу!

— А она здесь желает быть, должен он ей позволить!

— Матушка! — продолжала кухарка: — такое его желание, чтобы чай с нею... Он так желает... Должна она себя же приневолить!

Толпа подтверждала справедливость рассуждений кухарки. Старушка Черемухина, выглянувшая из комнаты, тоже не была против общего мнения, но высказала это довольно осторожно, сказав «вообще», что, мол, конечно, жаль, а все-таки... Но самое полное доказательство правды этих мнений было внезапное появление самого Павла Ивановича. Он то-

ропливыми шагами направился к жене в самую середину толпы, и вслед затем из разгневанных уст его полилась дребезжащая и крайне сердитая дичь и чушь.

— Это что такое?.. Что это такое?.. — захлебываясь от усталости и волнения, задрезжал он, глядя на Софью Васильевну: — я чаю не пил! Ведь это, ведь...

— Я с Надей! — едва внятно произнесла Софья Васильевна.

— «С Надей?» — почти вскрикнул Павел Иванович, выпячивая грудь вперед и растопыривая руки. — Что такое: «с Надей»? Что мне «с Надей»? «С Надей», «с Надей», а я... я чаю не пил!

— Ваша кухарка... — начала было Надя.

— «Кухарка!» — еще громче вскрикнул Печкин и еще больше качнулся назад. — Что мне кухарка? позвольте вас спросить: что такое кухарка? а между тем... а-а... Ведь это невозможно!..

Сердитая чушь, сыпавшаяся из уст Печкина и произносимая довольно громким и крикливым голосом, в соединении с шумными суждениями публики, с каждой минутой привлекали все новых зрителей и праздных наблюдателей. Еще две или три минуты, и на дворе Черемухиных собралась бы толпа. Старушка Черемухина, знакомая с нравами захолустьев, постеснилась предупредить образование формальной сцены и пригласила Печкиных в комнату. Здесь она объяснила Павлу Ивановичу, в чем дело, уговорила его не беспокоиться и затем ласково проводила супругов за ворота.

Надя с грустью рассталась с Софьей Васильевной и долго не могла успокоиться насчет того, что значит в руках супруга такое ничтожное обстоятельство, как «я не пил чаю!..»

По уходе Печкиных захолустье, возбужденное супружеским вопросом, продолжало обсуждать его, и Надя принимала в этих рассуждениях живейшее участие. Желая уронить в общих глазах значение Павла Ивановича, она высчитала перед хозяйской кухаркой, с которой шли разговоры, все его злодеяния в виде колъев, ворчанья и заключила

тем, что если бы ей пришлось с этим человеком пробыть один день, то она бы умерла или уж, по крайней мере, ушла бы прочь.

— И, матушка, — ответила ей кухарка: — ушла! Куды пойдешь-то, посуди сама? Ведь ты для без супруга-то не продышишь! Повертись-повертись на крыльчке да и придешь опять! Кабы вы были простого званья, он бы, муж-то, так-то не привередничал... А то вы благородные: по этому случаю вам надоть исполнять его приказ.

— А простого званья? — спросила Надя: — а ты?

— Я-то? Мой муж этак-то не посмест... ему не расчет надо мной потехи потешать. Потому он знает, что ежели ему рубль серебром понадобится, я ему дам, помогу из своих трудов, из своих достатков, а ежели он пьян напьется, да придет ко мне шуметь, — так я его тоже могу и в часть посадить! Потому я сейчас взяла из своих денег гривепник, дала его будочнику, он его так-то ли прекрасно в часть запрет! Так-то-с!

— Да ведь и он тоже может будочнику дать гривенник?

— С чаво ж не даст? — даст: только ему же хуже... В чужих людях той помочи-добра не сыщешь, что в жене муж, а в муже жепы... Мы не допускаем себя до этого... К примеру сказано... А у благородных-то этого пельзя; благородный-то, хоть «что хошь» мудри над жепой, ей и будочник помочи не окажет, потому, как он барина в часть потащит? Так она и должна себя потрафлять по мужу... Потому ей без мужа не с чем взяться!

Почти то же самое высказывали и другие лица, обсуждавшие этот вопрос: Михаил Иванович, и солдат, и хозяин, и хозяйка, и во всех их речах непременно упоминалось о каком-то «своем труде», «своих деньгах», как единственных средствах, с помощью которых можно избежать всех этих безобразий.

Вечером Надя долго думала обо всем, что пришлось видеть, и решительно не могла прийти к иному выводу, кроме того, что кухарке, действительно, лучше жить, нежели барыне или барышне.

Как ни обстоятельно и ясно Павел Иванович предъявил свои супружеские права и силу мужниной власти, однако же Надя и Софья Васильевна сошлись друг с другом ближе. Надю к этому побуждало сожаление о горькой участи подружки; Софья Васильевна стремилась к тому же почти буквально ради возможности «дохнуть свежим воздухом». Сближение это отчасти внесло некоторую долю разнообразия в скучную жизнь Нади, ибо, благодаря ему, против Павла Ивановича была открыта война, занятие, конечно, не особенно интересное; но в том мире, где умеют только покоряться, где не имеют другого дела, кроме подставления собственной спины под удары, и эту войну можно считать делом. Обе наши подружки принадлежат к провинциальной «толпе», массе; они неразвиты, необразованны и испытывают самые первые, самые ранние симптомы сомнений; и если припять в расчет, что в этой толпе никто никогда не сомневался в том, в чем сомневается Надя, то и война против Павла Ивановича — уже шаг вперед. Наперекор его брюзжанию, они стали все чаще и чаще пользоваться его отлучками в должность, послеобеденными снами для того, чтобы уйти из дому куда-нибудь, на что-нибудь посмотреть, посидеть и погулять в черемухинском саду или просто сказать друг другу: «экая скука!» — и ждать, пока появится разбешенный Павел Иванович. Появления его доставляли Наде некоторую долю удовольствия быть злой и чувствовать себя как будто бы самостоятельной, в степени весьма, впрочем, слабой, ибо вся эта самостоятельность состояла в том, что Надя с течением времени приучила себя без страха смотреть в разгневанные глаза Павла Ивановича и тоже без страха говорить ему, что Софья Васильевна не хочет идти домой, что она остается у пей почевать.

— Вот и все! — с гневом прибавила она.

— Почевать! — восклицал Павел Иванович. — Вот это великолепно! Почевать, почевать, — а что такое? в чем дело? Неизвестно!.. Ведь это... Авдотья Петровна! — обра-

щался Печкин к старухе Черемухиной. — Вы мать... Я муж, разве возможно?.. Она ваша дочь.. Ведь это!..

— Я, батюшка, человек старый!.. — отделивалась Черемухина, чувствуя, что и ее голова разорвется в последнее время. С одной стороны, ей кажется, что нету греха в дружбе и скитаниях ее дочери с женой Печкина, с другой — ей тоже кажется, что Софья Васильевна должна почему-то сидеть дома, ибо и сама Черемухина делала так в течение целой жизни.

И Надя чувствовала полное торжество, когда, несмотря на продолжительное оранье и брюзжанье Печкина, ей удалось обделать такое дело, как оставить ночевать у себя Софью Васильевну и видеть, как разбеженный Павел Иванович плюнет и убежит со двора. Павел Иванович, голова которого, как уж нам известно, была разорена современностью до последней возможности, благодаря этой борьбе с Надей и с женой, получил тоже достаточно определенную жизненную цель и имел возможность восставать против событий, ему совершенно ясных, и уже не враждовал против железной дороги, которая не сделала ему ровно никакого зла. Теперь было уже совершенно ясно, что во всем виновата жена, и о злодеяниях ее он трубил решительно повсюду.

— Вот как, брат, жены-то выпешние! — в гневе кричал он в окно соседу портному и показывал ему чайник. — Сам, брат, засынь, сам раздувай самоварчик, а не хочешь — иди на улицу да издыхай в подворотне. Вот, брат! Голую вял, думал, что за мое благодеяние...

— Ишь, шельма!.. — говорил портной и прибавил со вздохом: — не те тебе порядки, батюшка, Павел Иванович!.. Ты так думал, что за ваши ей благодеяния окажет она вам какое удовольствие, например, — да! а она, например, закрала хвост в то же время... Так-то-с!..

— Да-а, брат! Нонче порядки, брат, пошли совсем собачьи... Ты хочешь так, а тебе вот так!..

— Ты, например, этак вот имеешь желание, а вместо того тебе делают так-то вот! — прибавлял, поясняя, портной и в конце концов получал от Павла Ивановича рюмку водки,

что и составляло тайную цель портного в течение всего разговора.

Но главным пристанищем Павла Ивановича во всех горестях последнего времени была все та же лавка Трифонова. Как ни сильна была у Трифонова привязанность исключительно к самому себе, к своей медицине и пению, но, когда дело касалось женщины или «баб», он не оставался хладнокровным слушателем и всегда готов был произнести суждение на этот счет, причем на суровом лице его мелькало нечто вроде улыбки.

— Что, брат, — говорил Печкин, входя в лавку и в изнеможении опускаясь на стул: — ведь опять хвостом вильнула, ушла!

— А ты спи покрепче!.. — говорил Трифонов.

— Проснулся, хватать! — и след простыл!

— Про что-ж я-то говорю? Храпи поздоровей, кашки наешь, забей брюхо-то, а она в течение того времени будет тебе весьма благодарна... Дубина!.. — начал Трифонов, принимая обыкновенный суровый тон: — л-любовника ищи!.. Гнилая колода! л-любовников разыскивай... Чего хранишь-то?

— Да нету любовников, брат, нету! — в унынии говорил Печкин.

— Да как нету любовников? — сердился Трифонов. — Какую это имеет возможность твоё слово, ежели она бежит от тебя? Плетень! Уж ежели же она хвост треплет, следовательно уж где-нибудь да имеет она свой проступок? Как любовников нету?..

— Да именно я тебе говорю, что нету их! С девчонкой, с Надькой Черемухиной шатается.

— Да черенок ты этакий! Да и у девчонки-то, разгляди-ко-сь хорошенько, уж они там, любовники-то, где-нибудь приготавливают себя... Глупец! Разбери-ко девчонку-то с рассудком, так уж там, брат, они, любовники-то, в значительном благополучии состоят... Нету любовников! Экий постыдный!.. А ежели нету любовника, как же не можешь ты жену свою вогнать в струну!.. И совершенная ты будешь пакля, ежели ты его не разыщешь, потому ежели ты

его сцапаешь, то можешь ты ее супругу, по закону раскритиковать всячески!.. А без этого тебе никак нельзя... Я, брат, учен ими... Они у меня, бабы-то, вот где сидят!..

При этом Трифонов показывал на затылок, и именно этим можно объяснить то рвение, с которым он относился к делам Печкина. Дел этих однако же поправляло участие, которое Печкин находил в лицах ему сочувствовавших. любовников не находилось, и отлучки жепы сделались еще чаще. Не проходило дня, чтобы Софья Васильевна не почевала у Черемухиных или Надя не приходила почевать к Печкиным, и с каждым днем в Софье Васильевне росло отвращение к Павлу Ивановичу, к его скучному дому, глухому переулку, словом — ко всему, среди чего она до знакомства с Надей могла выработать способность спать по 15 часов в сутки. Итти домой от Черемухиной для нее стало столь же противным, как гимназисту итти в пансион, когда на дворе еще воскресенье, и когда дома братья и сестры еще бегают и играют в саду. Всякий раз эти возвращения сопровождались слезами, которые прекращались только тогда, когда Надя шла почевать к ней. Действуя исключительно во имя жажды свежего воздуха, Софья Васильевна с каждым днем все больше и больше привязывалась к Наде и не отставала от нее ни на шаг, доставляя тем Павлу Ивановичу множество неприятностей. Обезоруженный доводами Трифонова насчет любовников, Печкин решительно уже не мог возобновить прежних предосторожностей по части запиранья жены в свое отсутствие и ограничивался только бесплодными воплями, иногда, впрочем, изменяя обычную форму выражения их.

— Позвольте узнать, — говорил он жене, когда та с Надей возвращалась вечером домой: — позвольте мне узнать, неужели я какая-нибудь собака, что... Ведь это наконец... трепать хвосты!..

— Мы не трепали, — отвечала Надя за Софью Васильевну: — мы гуляли.

— Не трепали! Вот это великолепно! Гуляли! Вот превосходно! Гуляли-гуляли, не трепали, не трепали, а что такое? Ведь не в подворотню же мне итти почевать?

На это ему не отвечали.

Во время этих отлучек, прогулок, посещений родных, делавшихся большею частью в сопровождении Михаила Иваныча и воспитывавших в Софье Васильевне дух неповиновения, жизненные встречи и сцены наводили Надю все на новые сомнения и все больше разоряли ее неразвитой, необразованный ум. Война с Павлом Иванычем, в которой супружеские права его играли такую видную роль, невольно заставляла Надю с особенной впечатлительностью принимать только те жизненные факты, в которых виднелся тот же вопрос. Много было этих встреч, и из всех их все-таки можно было вывести то заключение, что самостоятельность, свои деньги, свой труд существуют только у простых людей. Случались, правда, встречи, которые озадачивали Надю, открывали ей совершенно новые стороны жизни, но и они в конце концов оказывались нулем.

2

Между прочим, одна из таких встреч произошла в окружном суде, куда наших подруг затащил Михаил Иваныч, весьма интересовавшийся «новыми порядками». Не зная ни старых, ни новых порядков, Надя и Софья Васильевна были прежде всего испуганы обстановкой суда: нагоем, священником, толпою людей (которых в сущности, было очень немного) и затем впали в состояние полного непонимания того, что перед ними творится. В глубочайшем конфузе слушали они разбирательство какого-то неизвестного им дела и не могли даже прибегнуть за советом к Михаилу Иванычу, который почему-то уселся у самого входа.

— Действительно ли, — обращается председатель к купцу-свидетелю: — рука проходит в тот разрез в чемодане?

— С охотой пролезает, ваше высокоблагородие, с большим удовольствием! — отвечает свидетель. — Потому что он ее, дыру-то, васкобродие, ножичком распорол, эво ли какую! Игру, потому што все он им резал, ножичком-то... Вы у него спросите, у шельмы!..

Председатель остановил купца на слове «шельма» и довольно строго объяснил ему, как тот должен относиться

к подсудимому. Купец, все время отвечавший весьма храбро и подробно, вдруг испугался, замолк, побледнел:

— Потому что, который ножик у него, — лепетал он, спотыкаясь на каждом слове и обтирая руками полы сюртука: — то он даже... васкбродне... может быть...

— Ишь, путает! — говорили какно-то мещане извади Нади. — Того и гляди, «знать не знаю»!

— Настрадаен старинными пустяками! Думает: «как бы самого не упекли.»

Надя и Софья Васильевна слушали и не понимали даже, того, что понимают мещане.

— Подсудимый! Что вы можете сказать па это?

Молодой малый, с плутоватыми глазами, обвиняемый в краже денег из чемодана купца, кашлянул, тряхнул волосами и довольно наивным голосом произнес:

— Ежели он меня упрекает насчет быдто икры, то даже совершенно это напрасно. Потому я ее с малых ден не потребляю...

— Действительно ли вы разрезали? — поясняет председатель свой вопрос.

— Действительно, что я ее, васкбродне, и по сие время не люблю икру... И что в ей скусу?

— Ишь, оглобли-то поворотил! — рассуждают мещане.

Софья Васильевна и Надя понимали только одно, что подсудимый виноват в употреблении икры и за это окружен жандармами и штыками. Не к чести их относится также и то обстоятельство, что они засмеялись вместе с публикой, когда оказалось, что один из присяжных заседателей, пожилой мужик, заснул, свесив с ручки кресла в стиле «возрождения» лысую голову и руку с громадной лопкой. Несчастного разбудили, в кратких словах изобразили ему, что поклясться пред крестом и евангелием и захрапеть — поступок, по меньшей мере, не джентльменский. В свое оправдание глубоко огорченный мужик мог только сказать: «сморало... гнал всю ночь... стомлен...» Наконец ему объявили: «вы больны» — и посадили па его кресло в стиле «возрождения» другого мужика, который вытянулся с испугу, как палка, и с затаенным дыханием и вытаращенными гла-

зами стал слушать, как обвинитель начал «мотивировать», «формулировать», и как защитник потом, в свою очередь стал «объединять факты», в роде икры и дыры, и пр. Не знало, как мужик, но ни Софья Васильевна, ни Надя решительно не были в состоянии произнести о подсудимом надлежащего приговора, потому что неразвитое понимание их было забито и испугано всеми этими — «*da capo*», «*ab ovo*», «*ex abrupto*»¹, «умственный уровень», «декорум»² той среды, где подсудимый», и другими оборотами образованной речи защитников и обвинителей.

В глубоком унынии и сознании своей глупости сидели они и слушали, ничего не понимая.

И вдруг в залу суда вошла молодая, отлично одетая женщина, почти девушка. Все, начиная с походки и развязности, с которою она прошла и села около наших подруг, обличало в пей по малой мере полное знакомство со всем, что тут ни происходит. Но через минуту оказалось, что соседка знакома и не с такими вещами. В маленьких руках ее очутились судебные уставы в отличном переплете; перелистывая их с тою быстротою, с какою вообще перелистывают книги дети, не умеющие их читать, она придавала своему лицу значительную серьезность и шептала довольно громко:

— Боже, как они неправильно решают! Ах, как врут! Почему нет мужа? Где муж?.. Что та-а-кое?.. Икра-а?.. И в окружном!.. Вот мило!.. Да это просто тюремное заключение... Отчего не говорит муж?.. Я не понимаю!.. Со взломом? — обратилась она к Наде. — Ах, вы недавно!.. Вы не слыхали!.. Ужас, что они делают! Где муж?..

Все это говорилось весело, свободно и неволью располагало к сближению, не говоря уже о познаниях молодой дамы во всевозможных судейских тайнах, что возбуждало и зависть и уважение... Под влиянием этих ощущений Надя не заметила, что в разговорах соседки о правильностях и неправильностях суждения главную роль играет муж,

¹ «*Ab ovo*», «*ex abrupto*» — латинские выражения: «*ab ovo*» — букввальное значение — от яйца; в переносном смысле — сначала; «*ex abrupto*» — внезапно.

² Декорум — соблюдение внешних правил.

«который знает все это лучше всех», и не придавала особенного значения тому восторгу соседки, когда из-за прокурорского кресла высунулась и кивнула ей весьма приличная фигура мужа, после чего зала суда огласилась радостным восклицанием: «ах, вот он!», — а судебные уставы упали на пол, и юридические разговоры заменились продолжительными киваньями мужу, посыланием поклонов и поцелуев. Надя не заметила этого, она видела только, что эта женщина все понимает, знает, где правильно и где неправильно, и завидовала ей. Случай познакомил их.

Фигура, выглядывавшая из-за прокурорского кресла, по видимому, удовольствовалась изливанием супружеской любви, которую выказала соседка Нади: она качнула головой, пасупила одну бровь и скрылась. Соседка Нади тотчас же притихла, уселась и снова было взялась за судебные уставы; но так как небольшие часпки с музыкой, болтавшиеся у ней на груди, были занимательны ничуть не меньше, чем эти уставы, то она, как ребенок, принялась баловаться и играть ими, вследствие чего в зале суда заиграла самая смешная музыка. Неуместность этого обстоятельства здесь, среди людей, занимающихся делом, была до того понятна всем, не исключая Нади и Софьи Васильевны, что все они как-то вдруг испугались, потом засмеялись украдкой, вдруг закрыли лица платками, переглянулись из-за них и подружились сразу.

Через четверть часа они уже о чем-то много и скоро говорили в коридоре, выйдя вместе с публикой и пазывая друг друга «душечка»... В тот же день были приглашены «к нам с мужем», а спустя несколько дней Надя и Софья Васильевна были у Шапкиных уже несколько раз.

3

На этот раз Наде показалось, что она действительно попала в земной рай, — не такой, какой сумел оборудовать Павел Печкин. Прежде всего, Шапкины жили в удобном, светлом и чистом доме; в комнатах было светло, красиво: столы, рояль, стулья, полы — все было новое, блестело и не носило на своей поверхности ни пылинки, которая клу-

бами вылетала из всех углов и вещей, находившихся в доме Печкиных. Вместо запыленной и разрушенной фигуры Павла Ивановича, здесь был статный молодой человек с мягким, деликатным характером, с симпатичным, но и солидным лицом, на котором хотя и мелькала довольно часто весьма милая улыбка, но в то же время особенно ярко выступал отпечаток серьезной думы, виднелись следы образованного ума, чему, кажется, способствовали и темные стекла очков. Как и Павел Иванович, он говорил своей жене «ты», но в таком братском обращении решительно не звучало желанья припереть жену палкой или посадить ее на цепь; напротив, между супругами господствовали самое полное согласие и любовь. Но что особенно сильно поразило Надю в их обществе, — это то, что жизнь их была наполнена множеством занятий, уничтожавших всякую возможность к существованию того одурения, которым так блистало райское семейство Печкиных. Возвращаясь домой, муж сообщал супруге, что решили такое-то дело, кто хорошо или дурно говорил в суде. И жена была совершенно поглощена какими-то, совершенно новыми для Нади, интересами. С чувством огорчения за само себя, за свое невежество и с чувством зависти смотрела она на Шапкину, когда та разговаривала об этих непонятных вещах с мужем или принимала участие в суждениях по тому же поводу с его знакомыми, все молодым и умным народом, употребляя в разговоре слова, вроде: «обжаловать», «кассация»¹. Но этого мало. В первый же почти день знакомства с Шапкиным оказалось, что, помимо множества дел, которые занимают голову жены Шапкина, у ней есть и свои «деньги», чего Наде решительно не приходилось встречать до настоящего времени нигде. Она переписывает мужу бумаги и получает от него жалованье. Часы с музыкой куплены на собственные ее деньги; на свои же деньги приобретены ею зонтик и альбом и еще несколько вещей, которые и показывались Наде с особенным удовольствием.

¹ К а с с а ц и я — перенесение дела в высшее судебное учреждение.

О взятках и о чем-нибудь злодейском, обезобразившим для нее, благодаря Михаилу Ивановичу, все — небо и землю, — здесь не было и помину. Напротив, был случай, когда Надя могла видеть страшнейший гнев и прилив негодования у обоих супругов по тому только обстоятельству, что какая-то мужицкая борода осмелилась высунуть голову из передней в залу и промычать: «батюшка!..» По неразвитию своему Надя было сжалась над человеком, который говорил таким жалким голосом и лицо которого носило следы великого горя; но ей тотчас же было разъяснено, что человек этот — не просто человек, а преступник, вор или даже убийца.

— Если бы у тебя или у твоего брата оторвали голову, что бы ты сказала? — возразила ей жена Шапкина. — Неужели ему прощать?..

Надя была побеждена.

Так как к этому времени война против Павла Ивановича утратила почти всякий интерес, ибо даже Софья Васильевна в эту пору могла говорить ему то, что прежде решалась делать только Надя, и так как вследствие этого снова настала скука, то знакомство с Шапкинскими было приятно нашим подругам, несмотря на неприятное ощущение самоунижения, которое испытывали они в их обществе. Это был уголок света, и его нельзя было не любить, тем более, что тот уголок тьмы и разоренья, где жили наши подруги, наземь ли до последней степени, не исключая из числа наземных лиц и Михаила Ивановича, сделавшегося к этому времени волстину бешеной собакой.

Одно незначительное обстоятельство, однако, сильно поколебало эту любовь Нади к Шапкинским и увеличивало ее скуку новыми тягостными размышлениями.

Дело было в мировом съезде¹. Однажды явилась к Наде жена Шапкина и с торжеством объявила, что сегодня муж ее наконец «говорит». Очень жаль, что ему придется мало разговаривать, что нет возможности вполне выказать талант, но все-таки слушать его — наслаждение. Михаил

¹ Съезд мировых судей — судебное учреждение, в котором могли быть обжалованы решения отдельных мировых судей.

Ивапыч тоже отправился вслед за дамами, поместился в задних рядах толпы, наполнявшей небольшую комнату съезда, до половины занятую столами господ судей. Дамы, в сопровождении жены Шапкина, пробрались вперед и поместились на первой лавке, ввиду величественной и необыкновенно привлекательной фигуры Шапкина. Новенький, отлично сшитый мундир сидел на нем превосходно; золотой воротник как нельзя лучше и изящнее оттенял белые, выхлещенные и выбритые щеки; белая рука небрежно поигрывала золотою цепочкою, и величественное лицо хранило печать тайны. Самоунижению Нади на этот раз решительно не было границ, ибо соседка ее, жена Шапкина, помощью продолжительных киваний, улыбок с мужем — доказала самым непреложным образом как трудовую, так и сердечную связь с этим величественным «мужем», который при одном ее появлении озарил свое лицо самою ясною улыбкою.

— Авдотья Тихонова! — раздался голос председателя.

— Слушай, — шепнула Наде Шапкина и кривилась.

— Тихонова... Авдотья?.. Здесь? — «Здесь!» — послышалось в публике, и, после некоторого волнения в толпе, расступавшейся, чтобы дать дорогу Тихоновой, — на среднюю комнату робко выступила пожилая, худая деревенская женщина. На плечах ее, несмотря на летнюю пору, был надет старый и рваный тулуп: из-под полинялого, старенького платка выглядывало испитое и лихорадочно-желтое лицо с ввалившимися глазами. В руках ее был темносиний набойчатый платок. Отделившись от толпы, она прежде всего стала искать глазами образа. «Где у вас бог-то?.. Ай, его пету?» «Ай, воп он!» — шептала она глухо, покашливая и прикрывая рот рукой. Обошав это, она пошла прямо к столу судей и поклонилась. Ее попросили отойти подальше, потом подойти поближе и таким образом установили на надлежащем месте. Приемы бабы не остались без улыбки со стороны публики. Под влиянием игривой улыбки Шапкиной Надя тоже было улыбнулась, но большое лицо бабы и ее нищенская, жалкая фигура уничтожили эту улыбку тем быстрее, что Тихонова, поместившись против

судей, на надлежащем месте, почему-то глубоко вздохнула, сложив на груди руки с платком, и закашлялась.

Среди тишины, прерываемой только легким звяканьем цепей, которыми погrywали некоторые из господ судей, секретарь прочитал следующее: «Такого-то числа и года, в таком-то мировом участке¹, таким-то сельскими начальниками было начато дело против вдовы Авдотьи Тихоновой, обвиняемой в неисполнении приказаний начальства. Имея в доме своем довольно злую собаку, она никак не соглашалась ее убить или посадить на цепь, что было необходимо, ибо она собака дважды напала на сельского старосту, а в последний раз укусила за ногу проходившего мимо дома Тихоновой писаря. Хотя на излечение от укушения Тихонова и выдала писарю, по требованию его, до трех рублей, тем не менее, принимая во внимание неисполнение приказаний сельского начальства, мировой судья² постановил: оштрафовать Тихонову пятью рублями, а собаку застрелить. Тихонова объявила себя недовольной решением, собаки не застрелили и подала в съезд.

Во время чтения этого протокола Тихонова стояла потупившись и по окончании его снова глубоко вздохнула.

— Что вы желаете объяснить суду?.. — спросили ее.

Тихонова замялась, зашевелила платком в руках и глухим, надорванным голосом произнесла:

— Я — вдова, ваше высокоблагородие!.. У меня пять человек детей, мужиков нету, мне невозможно без собаки... Ребята малые, самой не досмотреть, мало ли...

— Позвольте! — весьма деликатно остановил ее председатель. — Вы можете протестовать только против окончательного решения...

Председатель говорил ровно, заученно, словно по книге читал.

Тихонова замолчала: лицо ее покрылось потом.

¹ Мировой участок — район, подведомственный мировому судье.

² Мировой судья — выбранный местным городским или земским собранием, причем требовалось обладание землей или домом.

— Потому что,—начала она взволнованным голосом,— мне без собаки никак невозможно. По моему сиротству, мне требуется собака, чтобы верная, злая!.. Чтоб она лпхого человека не подпускала.. Ну что же, ежели он ломит пьяный в сенцы... Меня ишту, собака пужается.... Она постукает по-хорошему!..

— Потрудитесь разъяснить Тихоновой те основания, на которых она может основать свою защиту! — повидимому потеряв терпение, сказал председатель Шапкину.

Необыкновенная жалость, охватившая сердце Нади при виде запотевшего от испуга лица Тихоновой, при виде ее тщетных усилий обратить на себя и на свои нужды чье-нибудь внимание, жалость эта отлегла от сердца Нади, когда поднялся Шапкин.

— Назначение съезда, — начал тот самым симпатичным и мягким голосом, причем Надя почувствовала самые нетерпеливые и первые подталкивания в бок со стороны счастливой жены оратора: — назначение съезда утверждать или кассировать решения мировых судей; следовательно вы, подавая на кассацию, должны выставить суду неправильность употребления господином судьей тех или других законоположений... Вы подаете на кассацию...

— Да, ваше высокоблагородие, — завила наконец Тихонова. — И что же теперича разрешают собаку к расстрелу!.. Ну, как мне без собаки возможно?.. Что же теперича, ежели я ее на цепь-то посажу, нешто она мне станет помочь даять?.. И на меня-то в ту пору будет она как на злодея глядеть... Спусти ее на ночь, она не стеречь, а убечь воровит. — Ну, что же я с малыми ребятами?..

— Кассационный порядок... — возвышая голос над ревом бабы, попытался произнести председатель, но баба упала на колени, завывала, отставывая собаку, и в съезде воцарилось нечто совершенно неосновательное. С одной стороны, господа судьи и Шапкин выказывали свойства истинных джентльменов, умоляя бабу подняться с колен и помогая ей в этом; с другой стороны, едва баба поднималась и открывала рот о своих нуждах, самым тесным образом сопряженных с участью верной собаки, — как те же джентльмены

немедленно опять валили ее на-земь новым требованием держаться законного порядка обжалования, в чем Шапкин принимал самое деятельное участие. Сердце Нади сжалось после речей Шапкина, которых она не понимала точно так же, как и баба, и если не заплакала от этого при виде плачущей вдовы, так именно потому, что не совсем ясно понимала и ее горе. В пугливом недоумении взглянула она на жену Шапкина, но и на ее лице не было заметно особенного веселья. Недоумевающее, сконфуженное лицо ее улыбалось, но тихо и невесело. Она слезливо поглядела на мужа, полагая в простоте душевной, вместе с Надей и Софьей Васильевной, что в его власти осушить бабьи слезы.

После довольно продолжительного вытья бабы, среди которого перемешивались слова: «собачка», «кассация», «к расстрелу», «идея мирового института», «я вдова... мне невозможно...», «апеллируя¹ на неправильность решения, вы..», «мне легче помереть», суд ушел, потом пришел и тут в растроганные сердца папих дам был нанесен новый удар, ибо Шапкин с своей кафедры² окончательно пошпачил бабу; рассмотрев ее со множества сторон, подведя множество законных оснований, он полагал бы приговорить бабу к штрафу в объеме тех же пяти рублей, но собаку оставить в живых.

По окончании речи взглянул на жену, попрежнему улыбаясь; но жена почему-то покраснела, глядела на Палю, грустную и расстроенную, и на бабу, которая всхлипывала, оттирала синими дырявым платком заплаканное и запотелое лицо и глубоко вздыхала.

Во время «антракта»³ они вышли в сени съезда, чувствуя в груди нечто весьма тягостное. Шапкина уже не хвалила своего мужа, а только отмахивалась платком

¹ А п е л л и р о в а т ь — возражать, обжаловать решение суда в вышестоящее судебное учреждение.

² К а ф е д р а — особого устройства высоко поставленный стол для прокурора на судебном заседании.

³ А н т р а к т — промежуток времени, перерыв.

и смотрела через перила на лестницу, на которой сидели и стояли мужики и бабы.

— Что он? Ай он очумел! — шумел внизу у самого входа, среди кучки разных людей, голос Михаила Ивановича.

Заслышав его, Надя тоже подошла к перилам. Михаил Иванович был совершенно взбешен, что, вместе с отсутствием галстука на худой шее и совершенно нищенским костюмом, придавало его речам печто, действовавшее особенно сильно.

— Ай он одурманел?.. Что он ее гвоздит по башке-то? Он в сорока науках учен, в ста водах мыт, где же бабе деревенской сладить с ним? Докуда?..

— Нет, брат! — слышалось тоже внизу из толпы, окружавшей Михаила Ивановича. — Зубов у нашего брата нету!.. Вот, чего! Покуда зубов не наживем, все нас этак-то куврыкать будут...

— Не дадут! зубов-то не дадут нагулять!.. — бесился Михаил Иванович.

— А кабы она тоже его резанула на свонном наречии, ан и без штрафу бы!.. Он — сто двадцать вторая статья, а она ему — пятьсот тридцать... он ей — тысячу, а она бы ему — миллион, небось бы — присел!

Все необразованные слушатели были согласны в необходимости «зубов» при новых жизненных порядках. Но так как никто из слушательниц достаточным образом не участвовал в этих порядках и не имел достаточного личного опыта, где бы зубы эти требовались, то рассуждения публики на этот счет хотя и припомнились Наде впоследствии, но в настоящее время не обратили на себя особенного внимания, которое гораздо более было поглощено словами разозленного Михаила Ивановича. Ничем не превосходя ни папих дам, ни бабу в понимании юридических наук, Михаил Иванович, подобно им, возмущался жестокосердием господ судей и выражал эту мысль на своем разозленном языке так сильно, что слушательницы были возмущены поступком Шапкина до глубины души.

— Он ошибся!.. — с трудом поборов тягостное молчание, проговорила Шапкина.

В это время в сени вошел сам Шапкин. Надя по чув-

ствовала к нему уже ни благоговения, ни симпатии: она боялась его. Стоя у перил, она не поворачивала головы в сторону разговаривающих супругов, но слушала их шопот с любопытством. Шапкин, успокаивая взволнованную жену, говорил ей, что он не имеет права вступать с бабой в задушевные беседы: что таких баб приходит по сту в день, всем не разъяснишь; что наконец он действовал так, как говорит закон, и что никакого зла он бабе не желал.

— Разве ты не понимаешь, чего она хочет? — говорила Шапкина.

— Разумеется, понимаю... Но видишь, в чем дело...

— Так зачем же ты не слушаешь ее?.. Она говорит свое, а ты свое!..

— Поэтому-то мы оба и правы: она говорит, что ей нужно, а я — что мне нужно.

— Да она не понимает тебя! Ты был в университете, а она?..

— Чем же я виноват, что она не была в университете?

Шапкин улыбался. Жена молчала.

— Я сам в том же положении, как и она. Я не могу ей сделать добра потому, что она тоже не может доставить мне удовольствие быть ей полезным. Когда мы будем вместе с ней по одной книжке читать, тогда все это и кончится...

Потомков еще на тему о всеисправляющем времени, Шапкин ушел. На лице его жены после этого разговора не проходило выражение огорчения.

По уходе его дамы постояли в сенях еще минуты две-три и тихо стали спускаться к выходу. У ворот на улице они встретили бабу. Полушубок ее был расстегнут и концы головного платка развязаны. Отирая платком раскрасневшееся и потное лицо, она сидела на тумбе, положив около себя какие-то узелки, и говорила другой бабе:

— Ну еще всего рада, собачку-то не ухлопали... Как ведь он меня полыхал!..

Шапкина дала ей двугривенный (больше у нее не было с собой) и приглашала ее к себе пить чай; но баба не пошла,

отговариваясь тем, что она и так пять дней дома не была через этот суд и не знает, что теперь с детьми: живы ли.

Все медленно разошлись по домам.

В голове Нади бродила мысль, что не всякое дело образованного мужа может прийтись по вкусу жене. Бог знает, — может, мужу придет охота взять должность обижать да увечить, как выражается необразованный Михаил Иванович, и тогда жить плохо. Тут ей припомнилась взаимная любовь Шапкиных, их поцелуи, нежности, перемешанные с непонятными словами, которые, быть может, и значат дурное, и она охладела к ним, а на душе стало еще тяжелее. Необразованная мысль ее шла ухабами, кривыми дорогами, словом — тем путем, каким шли современные будни, не освещенные никаким запасом знаний, опытов. Много было от этого лишних мучений, потому что каждый опыт, попадая в эту нетвердую, неопытную мысль ее, мучил только и разорял ее.

Грустно возвращались Надя и Софья Васильевна в свою глухую улицу, чтобы снова томиться в однообразии пустоты и скуки, ожидая нападения Павла Ивановича. На этот раз их не сопровождал даже Михаил Иванович, с которым в эту пору происходили разные новости.

7. НЕОЖИДАННЫЕ НОВОСТИ В ЖИЗНИ МИХАИЛА ИВАНЫЧА — ЧУГУНКА

1

Как уже сказано, злость Михаила Ивановича к этому времени достигла самых крайних пределов, так что решительно не было человека, который бы, столкнувшись с ним, не пазвал его бешеной собакой. Причиною такого озлобления было, во-первых, долгое бездельное житье, к которому Михаил Иванович вообще не привык и предел которого был для него совершенно неизвестен; во-вторых — томительное однообразие нищенского и безвыходного положения и, в-третьих — наконец — чугунка, открытия которой ждали с минуты на минуту. До тех пор, пока чугунка не была достроена, когда этого нужно было еще ждать, одинокая,

заброшенная всеми душа Михаила Ивановича могла пробавляться разными надеждами на будущее. Терпеливо ожидая ее, с этими надеждами ему было легче переносить постоянную насмешку над собой, скуку скитаний вслед за скучными «барышнями» среди июльской жары, пыли. Но теперь это делалось совершенно невозможным. Глядя, как с каждым днем около вокзала уменьшаются леса, как двигаются первые тяжелые вагоны, свистят паровики, Михаил Иванович стал чувствовать себя совершенно одиноким, ибо все эти новости рассеивали надежды на Петербург. Оказывалось, что у Михаила Ивановича нет денег, чтобы туда ехать, что даже и ехать ему незачем, а фигура Максима Петровича утратила почему-то всю ту ясность, с которой представлялась до сих пор. Михаил Иванович стал чувствовать себя растерзанным, убитым, но прятал свое отчаяние от насмешек и показывал только злость. В это время он уже не мог, даже у Черемухиных, злиться тихо, как прежде, а, напротив, — норовил всякого оборвать, перекусить пополам.

— Скучно! — говорила Надя.

— Да вот как же! — огрызнулся Михаил Иванович. — Сейчас для вас заиграют в барабаны, в трубы затрубят, чтоб вам веселее! Очевно все об этом в заботе, чтоб вас веселить... Сюю млнута-с!..

Вследствие замечаний старухи Черемухиной, чтобы он избегал попойки, потому, мол, что между простыми людьми неуместно такое шуметь, Михаил Иванович иногда замолкал, а иногда, разозлившись уходил ругаться в другое место. Подобно семейству Черемухиных, ему опротивел и помещик Уткин, и все целовальники, и знакомые в Яолтнкове и на пути к нему. Он шатался то там, то сям, обозванный, худой, не вступая ни с кем в подробные разговоры, отплевываясь и отругиваясь от всех вопросов, задаваемых кем-либо ему, какого бы ловинного содержания они ни были. Кашель и рев в груди, усилившись в последнее время, много помогали ему в этой перазговорчивости.

Случай спас Михаила Ивановича от гибели, от одинокой смерти где-нибудь в поле, — по крайней мере, на время.

Оказалось, что есть люди, желающие и умеющие взять дань с этого кашля, ревушей груди и злости.

Предъявляя эти свойства на крыльце мирового съезда в защиту несчастной бабы, защищавшей свою собаку, Михаил Иванович обратил на себя внимание одного из слушателей. Это был высокий, полный купец. Слышая, как оплается на властей, обидевших бабу, какие он употребляет при этом выражения, купец не мог не сообразить, что перед ним стоит человек, который в грош не ставит цену своей головы. Купец долго слушал его; при особенно веских выражениях отходил прочь, начинал смотреть в сторону или потолок, принимая самое невинное выражение лица, и в то же время не проронил ни слова...

— Чуден! — произнес он с улыбкой, наряду с другими слушателями, когда публика на крыльце начала расходиться, и стал надевать шапку, чтоб идти. Над шапкой он возился до тех пор, пока не разошлись все, и тогда вышел за ворота, неторопливыми шагами пошел за Михаилом Ивановичем, догнав его, тронул пальцем в плечо и проговорил:

— Толкнись в трактир «Утюг»... разговор будет... дело есть!..

И прошел мимо с беззаботностью ребенка, читая по складам вывески.

Михаил Иванович остановился, как-то одеревенел от радости при словах: «дело есть», торопливо пошел вслед за купцом. Тот опередил его; первый пошел в самый грязнейший трактиришко, где его, повидимому, коротко знали, и спросил номерок.

— Какое дело? — пытал Михаил Иванович, войдя в номер. Но купец, не ответив ему, оглянул стены и сказал половому:

— Нет ли потемней комнатки? Дело секретное, не подходит!.. шепнул он Михаилу Ивановичу.

Половой провел их в темную клетушку с темными обоями и окном, заслоненным какими-то постройками и грязными тряпками, сушившимися против него на веревке.

— Какое дело? — повторил Михаил Иванович, когда они усадились около маленького запыленного стола.

— Настоящее будет дело-с... — сказал купец и потрепал водки и чаю. — Просим покорно, — выкушайте!..

Михаил Иванович выпил, закусил и несколько времени молча глядел на купца.

— В каком смысле дело будет ваше? — наконец опять спросил он.

Купец налил чаю, уперся локтем в стол и стал хлебать, повидимому, не спеша, приготавливаясь к самому основательному разговору.

— Кто такие будете?.. — спросил он наконец.

— Рабочий... выгнан за непокорство с заводу...

— Очень превосходно!.. Выкушайте рюмочку.

Михаил Иванович выпил.

— На каком основании имели ваше непокорство?

— А на таком, что большой очень разбой напущен на простого человека.

Две рюмки водки, выпитые среди июльской жары, подействовали сильно на большие нервы Михаила Ивановича, и он в длинном и желчном рассказе передал купцу свои взгляды на прижимку. Одобрение, которое купец высказывал при словах: «рабочий человек ошалел», «зачумлен», придавало его речам гораздо большее количество энергии, нежели водка, и все душевные скорби его были выпущены на волю без всяких ограничений.

Рассказы были, разумеется, все планы насчет Петербурга, Максима Петровича, от которого в деле заступничества за простого человека ожидается значительная помощь.

Купец все слушал, изучая натуру Михаила Ивановича, одобрял и наконец, перевернув двенадцатую чашку, сказал:

— Имеете большое роптание... Очень превосходно! Для нашего дела такой человек требуется, чтобы с ропотом... Толкнитесь завтрашнего числа вторгательно в номерок об эту пору... Может, бог даст, в Петербург съездите... Бульте здоровы!

Как ни темны были дела, предлагаемые купцом, но Михаил Иванович уж был закуплен в пользу их с одного разу;

во-первых, эти дела одобряют его взгляды; во-вторых, сулят ему возможность уйти отсюда, из этого проклятого города, где он страдал и чах целую жизнь. Не разгадав сущности дел, затеваемых купцом, Михаил Иванович с гечением дальнейшей беседы с ним убедился, что лично ему поручаемое дело состоит именно в том, чтобы защищать простого человека, что составляло его заветную мечту.

— Вы обижены, — говорил ему купец, сидя за чаем в комнате: — вы простой рабочий человек, потерпели большое притеснение? Такие ваши слова?

— Так точно! Потому все мы замучены...

— Ну вот-с! Вы так говорите, якобы все. Еще того лучше... Следственно ваше дело роптать на притеснения-с.. Куда вы намерены сами были в Санктпетербурге жаловаться, роптать, папример, то вы и ропщите!.. Производите по вашему рабочему делу шум, больше ничего п не требуется! Шумите-с!.. Перед начальством, папример, сделайте объяснение... По знакомым, чтобы тоже бы шумели! Ропщите, папример, и все тут!.. Больше ничего! Это для нашего дела очень способствует, ежели вы за нашего рабочего заступление окажете в Санктпетербурге.

— За простого человека? — кричал в таких случаях Михаил Иванович, всегда угощенный водкой: — в гроб пойду!

— И чудесное дело!.. Производите ваше роптание в аккурате, и от нас будет вам взаимно...

В необходимости заступаться за простого человека и шуметь из-за него в Петербурге Михаила Ивановича укрепляло несколько разных лиц, которых поочередно приводил в комнату первый купец. Все они выслушивали ропот Михаила Ивановича, предварительно заставив его выпить водки, переглядывались между собою, шептали друг-другу: «па что же лучше?» — и затем объясняли пель его будущей миссии¹ пмеппо е смысле роптания па теперешнее положение рабочего человека.

Такие толки и испытания способности Михаила Ивановича роптать шли довольно долго; но мы не будем останавли-

¹ М и с с и я — здесь в смысле проповедничества.

ваться на них, ибо все заседания в комнате грязного трактира были совершенно похожи друг на друга. За день или за два до открытия чугунки поездка его была решена. Купцы дали ему пятьдесят целковых на расходы, одели его, как одевают вольника на три, на четыре дня, пока ему не наденут на плечи солдатской шинели, сказали, чтобы отписывал обо всем на имя какого-то ничтожного мелочного лавочника, и отпустили его собираться в дорогу.

И в то время, когда задыхавшийся от радости Михаил Иванович бежал к Черемухиным, чтобы сообщить, что он воскрес, что он победил, — между его благодетелями-купцами, в том же номерочке «У т ю г а», шел такой разговор:

— А это, брат, ты акуратно придумал! — говорил один из собеседников коноводу тайного дела: — запустить волчка! хе-хе-хе!..

— Хе-хе-хе!.. — смеялся коновод. — Потому что без волчка невозможно... Ежели мы, примерно, сами пойдем по этому делу... нас, брат, пачнуть там чистить, карманы наши, например...

— Хе-хе-хе... Верное слово!

— Кроме того, мы пужливы.. Тяжелы... Этакое дело нам начать, — так ведь это нас, по нашей глупости, как разграбят-то?..

— Силь-пороха не оставят!

— То-то вот! А как я перво-наперво этакого-то пуцу волчком, как он евшумит там перед пачальством-то, ан уж как тогда волготнее; тогда уж они будут думать: эво, мол, до чего парод пемем-арендатедем прижат, что ровно башенные на последние в Питер бегут жалиться! Как Мишку-то увидят... Ведь что это? Пуля!

— Пуля!.. Это верно! Ну, так надо думать, что башку ему свернут там...

— Это верно! Прямо в огонь лезет!.. Да что же? Первое дело, что своя его поля, а второе, что и башку ежели ему, так и то не бог весть что! Ни кола, ни двора, ни куриного пера... А нам все сходней тогда-то с хлебом с солью подвалить. — так аль нет?..

Разумеется все были согласны с практичностью такого

употребления особы Михаила Ивановича, тем более, что и самое дело, которое намерены были господа предприниматели начать хлебом-солью, не было гуманным¹; партия провинциальных капиталистов, появившихся как-то внезапно в последнее время, намерена была взять у казны завод, находившийся в настоящую минуту в руках немца-арепдатора. Пошатнуть немца сразу было пелегко, потому что в Петербурге он имел хорошую заручку: пужно было произвести особенный говор по вопросу о передаче завода в русские руки, нужен был шум в Петербурге, сделанный фанатиком² страданий рабочего народа: и вот пригодилась и больная грудь Михаила Ивановича и его злость, и его фантастическая вера в «нынешнее время», когда простому человеку «дают ход».

2

Поможет или не поможет Михаил Иванович этим людям в набивании их карманов — мы еще не знаем, как не знает этого и он сам, твердо верующий, что идет шуметь за права простого человека. Вера в это преобразовала его в последние дни совершенно. Злость пропала, и на худом, болезненном лице светилась какая-то детская радость. В новом костюме, стоившем несколько грошей, он, правда, походил в это время на человека, который только-что выписался из больницы: худ, еще нездоров, по рад дышать чистым воздухом, рад глядеть на людей, ходить по траве. Без ругательства распрощался он с желтиковскими знакомыми, с Уткиным, с целовальниками, с дьячками, и все они на этот раз тоже дружелюбно отнеслись к нему; иные даже просили «похлопотать» в Петербурге. Дали ему множество адресов, просили разыскать, купить, написать подробнее «обо всем». Михаил Иванович охотно принимал поручения, целовался с оставляемыми им врагами и в детском умилении говорил:

— Много терпел простой человек, — пора вздохнуть!
Авось найдутся добрые люди, помогут нам!..

¹ Г у м а н н ы й — человеческий, человеколюбивый.

² Ф а н а т и к — изувер, слепо верующий.

Все говорили, что найдутся, и верили этому.

За день до отъезда он совсем перебрался из Жолтикова в кухню Черемухиных и уже не злился в это время на скучавшую Надю и на старуху Черемухину, потому что в эти минуты был счастливее всех. Напротив, ему почему-то было немного даже жалко покинуть их; да и им без него, видимо, было скучно в особенности Наде, которая в эту минуту стала чувствовать к Михаилу Иванычу особенное расположение: без него оставались одни мертвецы кругом нее. Под влиянием этого расположения к Михаилу Иванычу, Надя ее мать и Софья Васильевна спаряжали его в дорогу, как близкого им родного. Ходили с ним в ряды покупать галстук, манишку, каковые вещи, по мнению Михаила Иваныча, весьма необходимы в разговорах с петербургскими людьми; набили ему двести папирос из табаку в гривенник, ибо Михаил Иваныч не решался тратить на пустяки много, когда нужны деньги на хлопоты об участии простого человека. В свою очередь, Михаил Иваныч взялся сделать для Черемухиных доброе дело: сын Черемухиной, Василий, тот самый, который лазил к Михаилу Иванычу на печку слушать сказки, пять лет почти без вести пропал в Петербурге. Где он и что с ним — мать решительно не знала; два года он не писал ни строки; слышно было, что вышел из университета, не кончив курса; но жив ли теперь или умер — бог знает. Михаил Иваныч весьма был рад взяться за это поручение: кроме фантастического Максима Петровича у него в Петербурге не было никого, а Василий Андреевич, брат Нади, должен помнить его более, нежели Максим Петрович, потому, что он не один десяток сказок рассказал ему в детстве.

— А не забыли, скажу, как вы ко мне на печку бегали? а?.. — фантазировал Михаил Иваныч. — Да, помнит! Как забыть! А Максиму Петровичу — прямо в ноги... Земной поклон! Перед богом! «Как ты, скажет, смел купецкие краденые деньги на дорогу брать?» — «Голубчик! Максим Петрович! уж неужто ж так им, купцам-то, и оставлять все деньги-то?.. Довольно они денег-то наших положили в карман. Дай и нам грошник!..» Эх, и человек же!

Минуты всеобщего расположения охмелили Михаила Иваныча до того, что он в последние дни был постоянно немножко навеселе, ибо на радостях решался пропивать в день по двугривенному, по пятиалтынному. В таком радостном настроении он лез целовать ручки у Нади, у Черемухиной, у Софьи Васильевны: попил — погулял с мастеровым Ваней и его женой Фенюшкой; песен запел с ними. пошатался ночью по улицам с мастеровым народом и гармонией и даже выказывал поползновения насчет женского пола, остановившись на улице против проходной девушки с такими словами:

— Дать тебе довогу, красавица, али нет?.. — сказал он, сняв картуз, и прибавил: — проходи, милая, никто же посмеет... Бог с тобой!..

Средя этого гулянья он не упускал случая раз-другой заглянуть на чугулку и расспросить: «не ушла ли?». Успокоенный ответом: «нет еще», шел проститься со старым знакомым, в кабачок, к Трифопову, где на прощаньи весьма основательно сбругал Павла Иваныча, за что заслужил всеобщее олобрепие. Наконец, в одно утро, уж не рабочие, а сторож при железной дороге, одетый, как картинка, объявил, что сегодня в седьмом часу вечера будет из О. первый поезд в Москву...

— Вре?.. — пролепетал Михаил Иваныч, обрадованный до испуга, и долгое время стоял молча с разинутым ртом, чувствуя, что как будто бы все тело его превратилось в элге сердце, бьющееся от великого счастья, и побежал к Черемухиным.

— Облажено! — пробормотал он и стал сию же минуту собираться в дорогу.

Наде вдруг стало страшно тяжело от этого слова «облажено», от этого счастья улететь из разоренного омота, освежить свою разоренную бесплодно тоскующую голову.

Не для одного Михаила Иваныча и Черемухиных этот день был чем-то особенным, не будничным, когда люди умирают от скуки, и не праздничным, когда люди могут пить, спать до обморока и смотреть фейерверк в присутствии господина начальника губернии. В нашу глушь, в нашу

скуку, незащищенную, брошенную жизнь пришло что-то совсем новое, сулящее лучшее будущее и еще не изменившее нашей тоски, нашего гореванья ни на волос. Не один Михаил Иванович ни свет ни заря суетился и торопился на машину; весь город был как-то наэлектризован этой новостью, так что, когда часов в шесть Михаил Иванович, сопровождаемый Надей и Софьей Васильевной, пришел на вокзал, здесь уже были толпы народа. Все это двигалось, было весело, собиралось уехать, улететь; ни одной застывшей щеки, ни одних глаз, заплывших от одурн, нельзя было встретить среди толпы, бродившей по широким комнатам вокзала. Вся эта суета, пробуждение чем-то горьким отзывались в сердце Нади; а Михаил Иванович, в жизни которого события следовали в последнее время с такой быстротой, почувствовал некоторый страх, вследствие чего попросил барышень поглядеть за узелком, скрылся на время неизвестно куда, а возвратившись через несколько минут, имел лицо весьма радостное.

— То есть вот как обладим дела... — сказал он Наде, потряхнув кулаком.

— Вы водки напилсь? — вместо ответа сказала та.

— Да, голубчики! — снимая картуз, залепетал Михаил Иванович: — милые!.. Да как мне не выпить?.. Ангелочки вы мои...

И принялся целовать у «барышень» руки, что хотя и было не особенно заметно среди толпы, однако заставило Наю и Софью Васильевну уйти вперед, на платформу.

Скоро Михаил Иванович разыскал их и здесь. Но от излишней воздерживался, ибо всеобщее внимание было обращено на лес, из которого с минуты на минуту должен был выпорхнуть первый поезд. В ожидании его шли разговоры. Благородные толковали о том, что теперь представляется удобный случай ездить в Москву, в театр. «Утром выехал, к обеду там: умылся, оделся и марш, а к утру опять дома». — «Великолепно!» Другие, из числа тоже «благородных», смотревшие на это дело глубже, рассуждали о подвозе, о расширении. Простой народ, не имевший возможности понять, что оный подвоз и оное расширение

могут образоваться из их дырявых лаптей, трактовал о чугушке кое-что совершенно случайное.

Разговоры публики были прерваны необыкновенно громким криком какого-то сильнейшего горла, раздавшимся откуда-то сверху:

— О-па-а! бра-а-тцы!

Все зашумело, шатнулось и как бы в каком страхе замолкло.

Из глубины просеки темного леса выглянули два красные глаза; донесся жиденький свисток. Это был первый поезд.

— Вот она, матушка! — шептал замлевший Михаил Иваныч в то время, когда среди всеобщего молчания поезд все ближе и ближе подходил к платформе.

— Ах! голубчики мои милые! — слышалось то там, то здесь.

Поезд пришел и остановился. Молчанье сменилось еще более оживленным движением.

Говор. Шум. Смех.

Михаил Иваныч чуть не плакал от радости и беспрепятственно целовал ручки своих спутниц, которые были совершенно подавлены всем, что видели.

— Дай бог вам за вашу доброту! Надежда Андреевна! Софья Васильевна! — бормотал Михаил Иваныч.

— Отыщите брата! Пожалуйста! — просила его Надя.

— Под землей вырою-с! На них надежда! Для вас, для... маменьки вашей... То есть, господи боже мой!

И снова начиналось целование рук, даже кофты, в которую была одета Надя. Долго на спине Михаила Иваныча плясал узел с пожитками от поклонов и намерений стать на колени.

Звонок прервал эти излияния.

— Дай вам бог! — крикнул Михаил Иваныч, махнул картузом и скрылся в толпе.

Затертые толпой, Надя и Софья Васильевна не видали, как Михаил Иваныч, высунув голову в вагонное окно, искал их глазами, чтобы еще раз сказать: «Дай бог вам!»

Они слышали, как застучали колеса поезда, раздались свистки, видели, как повисли над платформой и вокзалом

черные клубы дыма; видели, как дым побледнел; слышали, как постепенно замолкал и наконец совершенно замолк стук и грохот колес.

Поезд выглянул черной массой на новом чугунном мосту, закутал дымом старинную маленькую колокольню маленькой церкви, на которой жиденькие колокола возвещали «третий» звоп, и без звука скрылся. Толпа долго стояла и смотрела ему вслед. Многие почему-то вздохнули, потом пошли по домам, и все о чем-то тяжело затосковали.

8. ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

1

Был душный летний вечер, когда Надя и Софья Васильевна возвращались с железной дороги. Ни той, ни другой не хотелось идти домой в эту скуку, из которой уходят даже Михаилы Иванычи. Надя была крепко грустна и задумчива и не выказывала на этот раз особенной внимательности к горестям Софьи Васильевны, а так как последняя держалась и жила только этим сочувствием Нади и ее внимательностью, то в настоящую минуту и она чувствовала себя совершенно одинокою, подавленною, брошенною. Слезы были близко. Сначала думали они идти ночевать к Печкиным, ибо Софья Васильевна не была дома почти два дня; но мысль о том, какая скука ожидает их в обществе Павла Иваныча, сделала невозможным это намерение. Подумали было идти к Черемухиным, но и там было не веселей: пожалуй, кто-нибудь умер, кто-нибудь отходит. Порешили идти на «бульвар»: было уже довольно темно, так что простые костюмы не могли конфузить их среди разряженных губернских бар. И пошли в той же тоске и задумчивости.

Но на полпути к бульвару тоска их была во сто раз увеличена неожиданным появлением Павла Иваныча. На углу какой-то улицы он наткнулся на них и забермотал:

— Что это? Господи! Ведь это наконец... Что же это такое?

— Мы на железной дороге были! — ответили вместе

Надя и Софья Васильевна, почувствовав, что к тоске прибавилось что-то, похожее на злость.

— На железной дороге! — воскликнул Печкин. — Вот это великолепно! Железная дорога! Уж ежели железная дорога, так мне и... выпячиваться на нее?

— Мы вовсе не выпячивались!

— Не выпячивались! Вот это еще превосходно! Не выпячивались! Не выпячивались, не выпячивались, а в чем дело? Что такое? Неизвестно!

В дрожащем от беготни и раздражения голосе Павла Ивановича все-таки слышалась на этот раз некоторая доля радости, должно быть, потому, что он отыскал жену, и не в обществе подозреваемых им «любовников». Только этим и можно объяснить, почему он шел вслед за женой и Надей, и хотя высказал намерение вернуть их домой, однако пришел вместе с ними на бульвар.

На бульваре играла музыка и происходило обычное провинциальное гулянье. Между темневшими в вечернем сумраке сучьями деревьев, в особенности же около небольшого кафе в русском вкусе, виднелись разноцветные фонари, освещая то жепскую пляну, то стол с чайным прибором. Липовая аллея, тянувшаяся по неизменному берегу реки, около старинной кремлевской стены, была наполнена народом, медленно двигавшимся и весьма скучавшим. Когда замолкала музыка, то в саду настаивала почти мертвая тишина: слышался только шум шагов и шлейфов по песку, стук чайной ложечки об край стакана и возглас: «человек!» Скука, составляющая обычное достояние провинциального гулянья, — так как обществу должно же надоесть исключительное занятие одним гуляньем, — эта скука в пышнейший «день первого поезда» была как-то упорнее и молчаливее обыкновенной. И можно сказать положительно, что «первый поезд» играл в этой всеобщей задумчивости не последнюю роль. То «что-то новое», сопряженное с ним, та новая власть, как бы попускающая заснувший народ вперед которая скрыта в этом событии, и другие элементы его, безусловные, но вломившиеся в наш ум и тронутые им с новою силою, все это как-то отягчало душу всякого,

кто только ни гулял, а стало быть, и ни тосковал в этот вечер на этом бульваре. Не один семинарист из числа тех, которые выступают на гульбище поздним вечером и скитаются по задним аллеям, боясь испугать своим халатом,— не один из них чертил в эту минуту планы будущей жизни в Петербурге, куда теперь так легко попасть и в ожидании которого так беленко живется. Не один подгулявший мастеровой, раздумавшись на лавочке около реки о своей судьбе, подумал о том, что: «Была не была, удеру отсюда! Пропaday!» Не одна Надя и Софья Васильевна завидовали участи улетевших из этого мертвого царства.

Быть может, это толкованье и нельзя признать общим во всяком случае, слегка знакомый нам барчук Уткип, паходившийся тут же, на бульваре, испытывал на себе именно это гнетущее душу содержание нынешнего события. Вялая, тощая фигура его, полулежащая на лавке, едва виднелась в темной тени бузинного куста. Мы рассматривать ее не будем, предпочитая сказать два слова о том, что именно делалось в голове барчука. Чугунка, явившаяся наконец у нас, привела его к мысли, что время идет все вперед и вперед, что «дела» с каждым днем все больше и больше. И все это как-то мимо его! Вспомнились ему без толку загубленные галки, выстрелы в собаку, в окно, приказчиья дочь, бесплодная возня с ней в течение полугодя, чтение книг великих европейских умов, причем перевертывалось сразу по пятидесяти страниц. Все это необыкновенно грустно подействовало на его душу. Напрасно буфетчик Ларивон Сердоликов, содержащий в саду кафе, вывесил объявление о новой киевской паливке, только-что полученной из Петербурга; напрасно только-что приехавшая из Москвы камелия¹ Анна Павловна несколько раз прошумела шлейфом² около самых его ног и даже закурила у него папирску: не было никакого желания с горя пойти в буфет и выпить, или с горя же пойти за Анной Павловной, с горя

¹ Камелия—в буквальном значении—цветок растения из семейства «чайных». В просторечии употребляется для обозначения красивой женщины, красота которой общедоступна.

² Шлейф — удлинённая в виде хвоста юбка.

спеть хором какую-нибудь соответственную ее салону¹ песню, потратить деньги и потом воротиться в Жолтиково для продолжения мыслей «о подготовке», о приказчиной дочери, о самоубийстве и о прочем. Ничто не шло в голову; даже денег в кармане Уткина было более обыкновенного, но они как-то слабо пытались вылететь оттуда на этот раз. Не буфета, не Анны Павловны, не выстрела в галку хотелось Уткину, а, напротив, — «дела» по возможности самого бы современного хотелось ему, чтобы жить и дышать за ним полной грудью. Спустя несколько времени он, правда, пошел и выпил, и даже с Анной Павловной сказал несколько слов, и даже улыбнулся, когда она ударила его зонтиком по плечу, но в конце концов все-таки пришел к прежней скамейке и лег под бузиновым кустом. Под влиянием скуки он не замечал ни публики, ни даже того, что около него на лавочку присел, предварительно извинившись, какой-то оборванный мастеровой с значительным «градусом» в голове, и не слышал, что он что-то бормотал.

— Вашгород! — шептал робко мастеровой. — Ужли пронаду?.. Вашкгород!.. Неунта?.. Да, братец ты мой... Ягодка!.. Да я тебе скажу, это что такое? Игла! а-а! Вот то-то и оно! Я ей примусь оруловать — ах ха! Долбону раз! — готово! Со святыми упокой! Прочина на веки веков! От этого дела гонят, с иглой возьмут... Эх ты-и, бра-ат! Барип! Чуешь, что-ль?.. Чудак ты!

— Что тебе? — произнес Уткин таким тоном, который прямо говорил, что слушать не хотят.

— Ну, не надо! — сказал мастеровой и стал молча перекладывать что-то из-за голенища за пазуху.

Настала тишина.

— Ну, посидели и пора!.. Что хорошего? — донеслось до слуха Уткина с соседней лавки.

Здесь, освещенные месяцем, сидели Надя, Софья Васильевна и Печкин.

— Посидели и будет! — повторил Павел Иваыч, боясь

¹ С а л о н — гостиная.

забрюзжать при публике, но все-таки с признаками некоторого раздражения в голосе.

— Пожалуйста, минуточку! — утомленно пролепетала Софья Васильевна.

— Да по мне, я говорю — все одно. Только что нехорошо. Посидели — и довольно. Что торчать-то?..

— Да что же все в духоте? Господи! — как-то раздраженно сказала Софья Васильевна.

— В духоте, в духоте! — забормотал уже обыкновенным голосом Павел Иванович: — а вот как что-нибудь случится, вот... и будет «в духоте». Ишь! воп какие шатаются! Ну, чего торчать-то? Посидели, чего еще? Ну, и пора. Ишь, воп какие шлюхи, ей-богу...

— Павел Иванович! Да неужели в самом деле лучше сидеть в душной комнате, чем здесь? — начала было Надя, но Печкин, взбесившийся в конец, перебил ее:

— Да, вот мы тут будем умудряться: «ужели», «неужели», а вот как случится что-нибудь. Вот и «неужели» будет...

— Что же случится?

— Да, вот мы тут самое место нашли рассуждать! Самое настоящее место, очень нужно! Ведь, кажется, довольно посидели? Ну что хорошего? Ишь, воп какие шкуры...

Ему не отвечали.

Как ни была разбита голова Уткина в настоящую минуту, однако и в ней нашлось несколько доводов против того, что весьма глупо запрещать человеку дышать чистым воздухом на основании того, что кто-то шляется, и что может случиться какая-то дичь. Он понял, что кто-то почему-то притесняет другого.

— Вашбродь! — буркнул мастеровой. — Извольте послушать!

— Будет, пожалуйста! — умоляющим голосом останавливал его Уткин.

— Да ведь фальшивую дали... Целовальник-то, который... Рупь, например!..

— Отстань!

— Да ведь лавочник-то...

— Убирайся к черту! — впе себя воскликнул Уткин.

Мастеровой остано­вился, добродушно сказав: «Ну, не надо!» и снова стал рыться за голенищем, за пазухой, пере­кладывая что-то из шапки в рукав, из рукава в сапог.

— То есть кабы знал бы... — дребезжал Павел Ива­ныч. — Ну, что толку? Уж, кажется, ведь довольно...

— Ну, пойдем! — отрывисто сказала Надя, быстро под­нялась с лавки и пошла.

Вслед за ними торопливо побежал Павел Ива­ныч, а через несколько минут и Уткин, сообразивший, что «тут что-то есть», пошел тоже вон из сада, куда, действительно, начал стекаться разбитной парод. Музыка, оставленная капель­мейстером¹-немцем на произвол солдата-помощника, играла русские песни, по глухой аллее уже кого-то тащили будоч­ники. Кучка молодых людей, среди которых блистала на месяце кокарда, сверкали шляпы, накрепкие набок, палки, положенные на плечо, громко разговаривая, смеясь, преследовала двух дам, с бронзовыми полумесяцами в больших шиньонах² и с папиросками в руках.

2

Уткин шел почти следом за Павлом Ива­нычем и его дамами. Молча прошли они пустынную площадь кремля, где у лавок бегали на веревках собаки; миновали собор, на высокий и светлый крест которого молился деревенский мужик. Месяц ярко освещал и площадь, и собор, и мужика. Уткин шел тихо, считал часы, которые с переливами били на колокольне, и молчал. И там молчали. Только Павел Ива­ныч, спотыкаясь о камни и стучая о них палкой, не сдерживал уже своего брюзжания.

— Ведь этак торчать... Наконец ведь это... Надо же когда-нибудь домой? Не ло бела же света?

— Ведь домой идем! — говорила Софья Васильевна. Ну что ж тут бормотать-то?

— Да то и бормотать, что дурно. Бормотать!

¹ Капельмейстер — управляющий оркестром.

² Шиньон — женский головной убор.

— Что ж тут дурного? — говорила Надя.

— То дурное-с, что... пехорошо! Дурно, больше ничего! Дурное! дурное, дурное, а-а... в чем дело? Наконец опалеешь!

В таких разговорах они наконец достигли переулка и ворот дома Павла Иваныча.

— С нами голубчик! — не пуская надпной руки, умоляла Софья Васильевна. — Ночевать!

Но какая-то жажда одиночества, овладевшая Надей, на этот раз решительно победила жалость к ней. Наде захотелось быть дома одной, не говорить ни с кем, никого не слышать.

— Нет, милая, я домой! — сказала она, вытаскивая руку.

Напрасно Софья Васильевна упрашивала ее остаться, — Надя попросила кухарку проводить ее домой и ушла.

— Умру-у!.. — слышался Уткину, повернувшему за угол, голос Софьи Васильевны. — Пожалуйста! Завтра! Ра-ади бо-ога!..

— Ну что же? Итти так итти! Не до свету же тут толкаться, — проговорил Павел Иваныч, оставшись с женой у ворот, по уходе Нади.

— Иди ты, пожалуйста! — с меньшим раздражением ответила Софья Васильевна, быстро ушла в калитку и побежала вдоль темных сеней. Тьма, духота и гниль, охватившая Софью Васильевну, едва вступила она в первую комнату, и отсутствие Нади сразу подняло ее тоску до высшей степени. Захотелось сейчас же уйти отсюда, и она бросилась к огню, не обращая внимания на то, что рукав ее платья зацепил какой-то горшок или миску, стоявший на накрытом для ужина столе, и опрокинул все это на пол.

— Это что такое? — воскликнул Павел Иваныч со двора, заслышав грохот падающей вещи. — Это еще что такое? — продолжал он, прибежав в комнату, где у окна стояла Софья Васильевна и старалась отворить плотно затворенную раму.

— Это что такое? Что такое грохнулось?..

Рама распахнулась с шумом и треском.

— Падя-а! Надя! — звала Софья Васильевна.

— То есть, я говорю, тут сам чорт не сживет. — проговорил в величайшем гнѣве Павел Иванович. — Тьфу, ты... боже мой!.. Ну что ты зеваешь на всю улицу?..

Софья Васильевна безответной тишиной переулка убедилась, что Надя далеко, и не раздеваясь, как была, села, почти упала на стул у подоконника, положив на него свою голову.

— Ну какая там «Надя! Надя-Надя»... Опрокинула что-то!.. Чтò такое опрокинулось? — бормотал Павел Иванович, ощупью направляясь к столу, на котором обыкновенно помещался ужин, и что-то искал руками.

— Ну, вот! — бормотал он. — Так и есть!.. И соль! Э-эх-ма! Уж неужели... неужели уж нельзя?.. Так и есть!.. Протекло!.. Эх-ма-а!.. «Надя-Надя»!..

Руки его в это время шлепали по скатерти, по полу, по луже пролитых щей, и потоки гнева увеличивались с каждой минутой. Когда же, поднимаясь с полу, Павел Иванович сам опрокинул что-то со стола, гнев его дошел до высшей степени и заставил его убежать в другую комнату.

— «Падя, Надя»! А что такое? С этими «Надями», прости господи... Тьфу!.. Ад, а не дом! — слышалось в палатке в то время, когда Павел Иванович срывал с себя стуртук и жмлет. — Посуда не посуда, бряк д-земь!.. Больше нам забот нету... «Умру, умру!».. А что такое — умру!»? Позвольте узнать?.. Сам чорт, кажется...

Громко всхлипыванія, понесшіеся из комнаты, где была Софья Васильевна, прервали эти речи. Павел Иванович приостановил свои ругательства, взглянул в дверь и увидал, что жена его все лежит на подоконнике, и шляпка, надетая на ней, колышется и дрожит отчего-то. Софья Васильевна горько плакала.

Павел Иванович поглядел на эту картину, сделал шаг вперед, попробовал-было издали утешить жену, сказав: «эка важность, только пролилось...» Но, видя, что это не помогает, подошел еще ближе и попробовал употребить более сильные утешения... «Ну, будет... Ну, брось, ну, поделуй!.. Ну, сядь на коленки...»

— Отстань ты. ради бога! — вся в слезах едва проговорила Софья Васильевна и снова опустила голову.

В минуту, в две слезы ее перешли в такие громкие, пугающие рыдания, что Павел Иванович, по мере увеличения их, сначала разинул рот, потом подался к двери и наконец во всю прыть бросился на улицу.

Цель его была найти доктора; но, пробежав пустынный переулок и пустынную улицу, он наткнулся у забора на Уткина, который, повернув за угол переулка, медленно плелся вдоль большой улицы, испытывая ту же самую гнетущую тоску, какой были подавлены и Софья Васильевна, одиноко рыдавшая в пустой комнате, и Надя, молча лежавшая лицом в подушку среди мертвенной тишины родительского крова, и множество других народа. Мы не будем распространяться о подробностях того, каким образом Павел Иванович Печкин возвратился домой в сопровождении Уткина, хотя бежал за доктором. Достаточно будет только сказать об этом «случае» и перейти к продолжению наблюдений Михаила Ивановича, так как только этими наблюдениями мы можем объяснять дальнейшую историю Софьи Васильевны и Уткина и новый шаг во взглядах и развитии Нади.

9. СЧАСТЛИВЕЙШИЕ МИНУТЫ В ЖИЗНИ МИХАИЛА ИВАНЫЧА

1

Первый поезд гремит по новым рельсам, оставляя за собою всеобщий испуг простых деревенских людей и клубы дыма, который долго копошится среди придорожных лугов или комом застревает в густых ветвях леса.

Говор и шум наполняют вагон третьего класса, но среди этого шума и говора самый крикливый голос, самая смелая речь принадлежит Михаилу Ивановичу, который переживает поистине счастливейшие минуты. По мере того, как родной город остается все дальше и дальше, плапы насчет Петербурга, насчет дел, которые должны быть сделаны в нем, получают все большую прочность и широту и заставляют

Михаила Ивановича заламывать картуз на ухо, подпирать рукою бок и раздумывать свои впалые, худые и черные щеки посредством буфетов, не забывая поминутно предъявлять права человека, который никого не грабил и не грабит.

Во всех проявлениях Михаилом Ивановичем его прав и надежд принимал весьма ревностное участие некоторый сильно подгулявший мужик, завербованный им в поклонники чуть ли не с первой станции.

Этот человек всегда доказывал полную охоту заорать на весь вагон о справедливости того, что говорит Михаил Иванович.

— Ай нам на пятачок-то выпить пельзя? — обращается к нему Михаил Иванович, когда поезд подходит к станции. — Василей! Неушто не разрешают нам, мужикам, этого? а? Вася? А не будет ли мужик-то почище?..

— Почище, брат! — зевает поклонник: — почище!

— А? Вася? — продолжает Михаил Иванович, обнявшись с мужиком и подходя к буфету: — дозволяют мужикам буфету? Как ты думаешь? за свои, примерно, деньги, примерно, ежели бутерброту мужикам бы? а?

— Бутерброту! — грозно восклицает мужик, вкливаясь в толпу у буфета, но, увидав господ, пугается, снимает шапку и бурчит:

— Дозвольте бутерброту, васкбродь!..

Михаил Иванович обижен таким поступком мужика и долго ругает его за малодушие.

— За свои деньги да оробел! — укоризненно говорит он, отойдя от него в сторону. — И дурак ты, сволдай!..

— Голубчик! — умленно разевая лохматый рот, вынитя мужик. — Милашка!..

— Ай, у них деньги-то цепнее наших? Свинья ты, сволочь!..

Мужик шатается и смотрит на землю, оставив без внимания собственную бороду и усы, которые посят обильные следы позорно добытого бутерброда. Он виноват и готов чем угодно искупить свою вину.

Случаи к такому искуплению представляются часто,

поминутно, ибо Михаил Иванович тоже поминутно делает публичные предьявления своих планов или прав, так как к этому тоже случаев довольно.

Какая-то барыня заняла два места, ест сладкий пирожок и презрительным тоном рассказывает соседу-барину о том, что она никогда не ездила в третьем классе, что быть с мужиками она не привыкла, потому что она выросла в знатном семействе, за ней ухаживали генералы, у ней был очаровательный голос. Как она пела!..

Этого достаточно, чтобы провинившийся мужик понадобился Михаилу Ивановичу.

— Вася! Спой! Мужичкую...

— Спеть, что ли?

— Громыхни, друг! Вот барыня тоже очень хорошо поет! Спой! Нашу! Чего?

— Нашу! Э-а-ах да-а...

Мужик разевал рот и горло во всю мочь.

— Кондуктор, кондуктор! — кричат барин и барыня.

— Кондуктор! — тоже вопиет Михаил Иванович. — Пожалуйста! Разберите дело!..

— Что такое? — спрашивает прибежавший кондуктор.

— Помилуйте! Пьяный мужик кричит бог знает что! Спл нет!

— Он запел! — вступается Михаил Иванович. — Мы по-своему, по-мужичьи поем; ежели вам угодно, вы по-господски спойте. Чего-же-с? Громыхните ваше пение... а мы наше... Г-н кондуктор! Так я говорю? Где об эфтом вывешено, чтобы не петь мужикам?..

Кондуктор решил дело в пользу Михаила Ивановича, при-сокупляя, что в правилах нет пункта, чтобы не петь, и предлагает барыне перейти во второй класс.

— Пожалуйста во второй класс! — прибавляет Михаил Иванович от себя. — Пожалуйста!..

— Па-ажжальте!.. — бурчат мужик.

— Там вам не будет беспокойства... а тут мужики, дураки... Через них вы получаете ваш вред. Потому мы горластые, ровно черти... Вась! Громыхни-ко!..

— Э-о-а-а...

Хохот и гам на весь вагон.

— Что орешь, дурак! — вмешивается какая-то новая фигура, и тоже из мужиков. — Барыня сладкие пирожки кушает, а ты орешь?

— Сладкие? — перебивает Михаил Иванович. — Василий! Чувешь?.. Попробовать мужикам сладкого! Али мы не люди?.. Почему нам сахарного не отведать? Пирожник!..

— Эй!.. Пирожник!.. — вторит мужик.

— Давай мужикам сахарного на пяточок!.. Барыня! Почему платили?

— Кондуктор! Кондуктор!

— Кондуктор! — кричат Михаил Иванович и мужик вместе. — К разбору пожалуйте!

Является кондуктор, узнаёт, в чем дело, — и Михаил Иванович снова прав, ибо нигде не вывешено объявления насчет того, чтобы не спрашивать «почем пирожки». Многочисленность и быстрота побед до такой степени переполняют гордостью душу Михаила Ивановича, что унять его от беспрерывных предъявлений прав решительно нет никакой возможности.

— Позвольте вас просить! — упрямивает его наконец кондуктор. — Сделайте одолжение, прекратите пение!

— Не вывешшено!.. начинает дебоширничать мужик, но Михаил Иванович немедленно зажимает ему рот рукою и говорит.

— Цыц! Васька! Ни-ни ни!.. коли честно, благородно, — извольте! Ма-лячи! «Сделайте одолжение», «будьте так добры» это другое дело! Это, брат другого калибру!.. Извольте, с охотой!

И у буфета следующей станции можно снова видеть фигуру мужика и Михаила Ивановича.

— Вася! Милый! — говорит Михаил Иванович, стараясь глядеть прямо в осовевшие от водки глаза мужика. — Чувал, что ли? «Вы» .. «сделайте милость», ну! не по скуле же!.. Пошмай-ко-сь!..

— Гол-лубчик! — лепочет мужик, обнимая Михаила Ивановича за шею и хороня на его груди бессильную, хмельную голову...

Так Михаил Иванович проводил время в дороге, и мы не будем утомлять внимание читателя подробным изображением его путешествия до Петербурга, так как, помимо вышеприведенных сцен, повторявшихся почти на каждой станции, с ним не произошло ничего существенно нового и любопытного. Приятное расположение духа продолжалось у него всю дорогу, несмотря на то, что мужик, его компаньон и поклонник, на одной из подмосковских станций покинул поезд, причем борода его, усеянная кусками сахарных прожков и бутербродов, долгое время, в виду всех пассажиров, находилась в расвирепевших руках разозленной жены, встретившей его на платформе. Исчезновение такого соратника не уменьшило торжества Михаила Ивановича и не делало его одиноким, так как каждую минуту на место его могло выступить вдвое большее число соратников из той же простонародной публики. Помимо всего этого, не было также недостатка и в возможности предъявить эти права. Поминутно Михаилу Ивановичу говорили: «позвольте пройти», «прошу вас», «позвольте закурить», «извините».

Эти и другие выражения заставили его считать себя не завалящей тряпкой, не собакой, а действительно настоящим человеком, которого не бьют по скуле.

Эти случаи поглощали все внимание Михаила Ивановича во время дороги, так что новизна городов, через которые он проезжал, не оставила в нем особенно обильных впечатлений.

Шумная и разнохарактерная картина Москвы дала ему только возможность заметить, что здесь все на французский лад. Попросил он квасу на копейку, его тотчас же спросили: «вам французского?» Шел мясными рядами и на вывеске увидел золотых поросят с золотою надписью внизу, тоже по-французски, как об этом объявил ему мясник, стоявший на тротуаре в окровавленном фартуке и левый басом: «благоденственное и мирное житие»... И более не было никаких наблюдений насчет Москвы, ибо, во-первых,

извозчики называли Михаила Ивановича «ваше сиятельство», а во-вторых, московский будочник с револьвером и громадными усами, смутившимися-было робкого Михаила Ивановича, сказал ему весьма любезно:

— Вы чего пужаетесь? Вы нас не опасайтесь... подойдите! Мы бросаем по нонешнему времени эту моду, чтобы каждого человека облапоть. например, с затылка и в часть!.. Кто нас угощает, тому мы не препятствуем!

Всего этого было слишком много для запуганной души простого человека и одного этого случая уже достаточно для того, чтобы не любоваться Кремлем, Иваном Великим, царем-пушикою, а прямо пойти в кабак и выинить в приятной компании веселых людей.

Вид Петербурга, к которому обыкновенно поезд подходит долго и тихо, громяхая депами и колесами на беспрестанных переводах рельсов, несколько смутил было бодрый дух Михаила Ивановича. Длинные казармы с тысячами окон, бесконечные кладбища, громадные голые стены домов с белыми траурными полосами на местах печных труб. — все это было так велико, незнакомо и грозно, что сердце его стало как то тревожно биться и замирать, особливо когда поезд стал входить в темную арку дебаркадера, весьма похожую на разинутую страшную пасть, глотающую вагоны, словно куски, фаршированные людьми, и отправляющую их в такой безданный желудок, каков Петербург. Наконец самая близость этого Петербурга, влекущего к себе такое множество настрадавшегося в провинциальной глуши народа, того самого Петербурга, с которым грезят тысячи захолустий, как о чем-то неземном, и который теперь в двух шагах, и тревожный, непопятный простому человеку шум которого уже доносится в вагонные окна, — все это испугало Михаила Ивановича, заставило похолодеть и отрезвиль.

Но если мы через полчаса после прихода поезда отправимся в одну из множества харчевен, усеваящих собою берег узкой и грязной Лиговки, то мы будем иметь случай снова видеть Михаила Ивановича в его прежнем и даже еще более приятном расположении духа.

— Нам это дорого! — говорит он, ударяя себя кулаком в грудь, и тотчас же выпивает залпом стакан пива, который наливает ему петербургский джентльмен-городовой. — Благодарим вас — вот как! — что вы не обидели нас, простых людей! Ну, толкони я ежели бы в наших, в людных местах кого-нибудь этак-то узелком-то?.. — продолжает Михаил Иванович, поднимая с полу свой крошечный узелок и, швырнув его, вопиет: — ведь замучили бы! «Мужик! как смеешь...»

— Нет, у нас слободно! — говорил городовой, наливая пива и себе. — У нас это можно... с вежливостью ежели... Потому у нас порядок.

— Замучили бы-ы! Милый человек! Позвольте вам сказать почему нам дорого! Потому, что мы в наших местах совершенно измучены разною бестолочью... Потому мучение! Да как же-с?.. Помилуйте!.. Почему я не покорствовал?

— Само собой! — говорил городовой. — Потому глупость в провинции большая... В эфтом случае. — Ну, в нашей стороне мы дозволяем человеку... С чего же? Ну, чтобы по распределению выходило — только всего... У нас все распределено: ежели вас в одном месте повреждают, то в другом вам делают починку: выхватили вам руку на Невском, а лечить повезут на Обухов пришепект. Распорядок повсеместно... Выздоровел, иди опять на Невский, запрету не будет... Хочешь — иди в кабак. Только чтобы с вежливостью... Вот!

Такие поощрения со стороны городского, в лице которого простосердечный Михаил Иванович видел представителя самого Петербурга, помимо того, что заставили его поставить в виде угощения Петербургу дюжину пива, развязали язык его до самых жарких излияний жизни простого человека, до самого подробнейшего изложения всех причин непокорства и всех планов насчет хлопот, при содействии Василия Андреича и Максима Петровича, словом — до того, что сам городовой потребовал новую дюжину пива уже на свой счет и вместе с тем предложил Михаилу Ивановичу самую верную и прочную дружбу.

При содействии нового друга, Михаил Иванович в тот же вечер, вместе со своим узелком, был помещен в одном из громадных домов Ямской, населенных столичным сбродом; как друга, его поместили где-то в хозяйской кухне, за ширмами, просили внимательно заботиться об нем и оказывать всякое почтение, ибо этот человек «для нас дорог», как объяснил городской хозяйке.

И Михаил Иванович, смиренный и обессиленный дорогой, пивом и рядом радостных триумфов¹, глубоким сном заснул в душной и жаркой кухне. не слыша, что кругом него за тинкими перегородками шумят и ругаются пьяные люди, звенят деньги среди игроков в трынку, поют пьяные женщины, и не предчувствуя, что этим глубоким сном оканчиваются все его триумфы и победы, все его счастье и вся его гордость.

10. ЧЕЛОВЕК, НА КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ПОЛОЖИТЬСЯ. — РАССКАЗ ЧЕРЕМУХИНА

1

Причина такого быстрого окончания радостей Михаила Ивановича заключалась в том весьма неосновательном убеждении, что, отделавшись от разоренных и умирающих стариков, он уже не встретит разоренья в их детях; но неосновательность этой уверенности обнаружилась тотчас же, как только Михаил Иванович разыскал брата Нади — Василия Андронча. В этом розыске ему особенно много помог новый друг-городовой, который, как оказалось, весьма коротко знал фамилию и местожительство Черемухина, ибо неоднократно носил к нему повестки «пожаловать к мировому». Последнее обстоятельство, впрочем, еще не особенно смутило Михаила Ивановича, находившегося все-таки в самом приятном расположении духа. Не смутило его также и то, что Черемухин жил в каком-то захолустном переулке, близ Николаевской дороги, в одном из громаднейших, набитых всякою нищетою, домов. Поднимаясь по грязным лестницам этого дома, с грязными, оборванными толпами детей,

¹ Т р и у м ф — торжественная встреча.

гробираясь по темным коридорам, переполненным густым, удушливым цикорным дымом, Михаил Иванович чувствовал, что Черемухин живет в большой бедности; но шел к нему, испытывая то веселое ощущение, которое испытывает человек, приготовляясь встретить знакомого, знавшего его когда-то нищим и покинутым.

Василий Андрееч действительно жил в большой бедности и, повидимому в полном одиночестве. О последнем можно было заключить по тому испугу, который выразился на его худом, зеленом лице при появлении Михаила Ивановича, и по той необыкновенной радости, которая озарила это лицо и оживила всю его фигуру, когда он узнал гостя. Встреча их была исполнена непритворной и глубокой радости, и в тот же день узелок Михаила Ивановича был перенесен в каморку Черемухина. Здесь в течение нескольких дней непрестанно пилось пиво, шли рассказы о прошлом, о будущем, высказывались обоюднo самые энергические меры в деле Михаила Ивановича, желавшего, чтобы простому человеку было лучше, и пр. Среди этих разговоров человеческому достоинству и самолюбию Михаила Ивановича было много самой роскошной, самой небывалой пищи. Оказывалось, например, что Василий Андрееч не только не забыл его, но, напротив, с особенною ясностью помнит все самые ничтожные сказки и прибаутки, которые когда-то Михаил Иванович рассказывал ему на печи. Оказывалось, по словам Черемухина, что такую же и едва ли не бoльшую, чем его, радость будет испытывать и Максим Петрович, когда Михаил Иванович его отыщет и придет к нему, и наконец Черемухин дал самое искреннее обещание разыскать этого Максима Петровича, о котором он слышал много хорошего, но которого не видал уже два года. Последнее обстоятельство было особенно приятно Михаилу Ивановичу, ибо все расспросы его по этому предмету у друга-городового были совершенно безуспешны. Друг-городовой уверял Михаила Ивановича честью, что хоть и знает фамилию Максима Петровича, ибо одно время стоял на Выборгской стороне, но что в настоящее время его положительнейшим образом в Петербурге нет.

Недели полторы или около двух между Михаилом Ивановичем и Черемухиным царствовала полнейшая дружба и неподдельнейшая любовь.

Это были самые светлые, благородные минуты в их жизни. Но мало-по-малу эти светлые ощущения пачали помрачаться чем-то новым и не особенно приятным. Несмотря на обещания начать дело и хлопоты в самом скором времени, дел в хлопот однако же никаких не было. Большею частью Михаил Иванович стал оставаться в номере один, так как Черемухин стал надевать его пальто и уходить со двора на целые дни. Возвращался он обыкновенно под хмельком, принимался целовать Михаила Ивановича и снова неподдельною искренностью своих сочувственных разговоров доводил его до восторга. Но дни шли, бездействие тянулось, и Михаил Иванович, оставаясь по целым дням среди незнакомого населения меблированных комнат, стал грустить, ибо все это население, большое, бедное и злое, отзывалось о Черемухине весьма недобрительно; не было, правда, человека, который бы не спорил про него, что он добр, но всякий зато мог сказать два-три факта не в пользу его. Оказывалось, что этот человек ничего не делает, долгов не платит, и если получит иной раз откуда-нибудь деньги, то норовит прогулять их, а не отдать. Так говорило бедное население, у которого копейка стояла на первом плане. Но как бы односторонни ни были эти суждения, Михаил Иванович мог убедиться, что это человек несостоятельный, человек, на которого нельзя положиться, что это какой-то добрый обманщик! Нехорошие ощущения врываются в сердце вдруг и в одну секунду истребляют в нем все, что сделала самая продолжительная радость. С Михаилом Ивановичем было то же: наслушавшись этих суждений, он пересчитал деньги, и оказалось, что большая часть их ушла на Василия Андреича, на выкуп его сюртука, на пиво, которое тот поглощал ради встречи в весьма значительном количестве. Михаил Иванович задумался и затосковал.

Первая натура Черемухина в ту же минуту почувала это и тоже сразу затуманилась. Отношения их быстро изменились. Оба стали чувствовать себя неладно, напья-

женно... Новые факты, новые посещения каких-то людей, спрашивавших рассерженными голосами: «дома ли Черемухин?» — пополнили расстройство. Михаил Иванович стал злиться; ему хотелось напомнить Черемухину насчет денег прямо, но он не мог и только косился на него. Черемухин был, видимо, подавлен этим, грустил и пил.

Еще день, — и настал полный разлад. Нужно было кончить, разъяснить, разойтись...

И это случилось в один из тех мокрых, ветреных дней, когда все население столицы, едва открыв глаза, начинает хворать и злиться. В бедном и действительно больном углу, где жили Михаил Иванович и Черемухин, почти до рассвета начались перебранки, рычания друг на друга, ссора. По мокрым и затоптаным грязью лестницам ходила какие-то худые, сердитые фигуры, в рваных халатах, держась рукою за ревущую и надрывающуюся от хрипоты и кашля грудь и норовя спихнуть ногою попавшуюся на лестнице собаку или вышвырнуть за окно кошку, отвратительно мяукающую на весь коридор, по швырнуть так, чтобы она надребезги разбилась о мостовую двора. Черемухин и Михаил Иванович проспнулись тоже невесело, так как были разбужены солдатом-хозяином, бесцеремонно потребовавшим деньги и украшавшим свою грубую речь выражениями: «вапа братия», «...этак только шеромыги¹...», «...к мировому» и пр. Черемухин почти сейчас же ушел со двора, не взглянув даже на Михаила Ивановича. Михаил Иванович разозлился, тем более, что деньги за квартиру были взяты уже у него Василием Андреем.

Затем полезли в номер Черемухина разные суровые лица, в мокрых пальто, с промоченными до невозможности сапогами, с мокрыми, сломанными ветром зонтиками, и пр. В каждой черте лица их виднелась тысяча смертей, посылаемых отсутствующему Василию Андреечу и, по крайней мере, такое же количество их вручалось Михаилу Ивановичу, со злостью отвечавшему: «нет дома...» В заключение пришла какая-то женщина, лет сорока пяти, весьма похожая

¹ Ш е р о м ы г а — плут, обманщик.

на няньку, начала немедленно шум и не ушла, а осталась ждать.

— Пять суток просижу, а уж дождусь! — говорила она, отирая мокрое лицо платком, дрожавшим в сердитых руках. — Что эт-та такое? Докуда будет? За свои деньги да ходишь? Братъ, так небось сами прибегут, а как отдавать, так...

— Зачем даете? — сурово сказал Михаил Иванович, которому опротивело слушать эти ругательства.

— Да жалко его! Вот что! Мне жалеть-то некого, видишь вот! — гневно сказала баба, и потом, не переставая волноваться и не теряя самого рассерженного выражения лица, объяснила, что родных никого у ней нет, что попробовала она раз помочь молочному брату, но тот, вместо благодарности, выгнал ее в шею из дому. Сама же она ни в чем не нуждается, живет на хорошем месте и скучает без доброго дела.

— Тоже сердце, друг ты мой! Ишь, он какой май! — говорила она про Василия Андрюча: — сколько времени мается. Я еще когда его знаю, и все без помочи... И жаль ведь!.. Да ежели б не бестолочь его, ведь он ничего человек, уж этого не скажи... Тут было дело: чпловник один из ланбарту¹ поступил со мной не очень-то чтобы опрятно. Василий-то Андрюч только вот этак строчку ему написал, тую же минуту на ребенка выдал... Ведь добрый! То-то, друг!..

Женщина объяснила, что ради своей жалости к Черемухину она давно помогала ему, разыскивая его по разным трущобам, что песколько раз терпение ее готово было лопнуть и что теперь, наконец, лопнуло совсем.

— Бог с ним!.. Пушай теперь, как знает! — заключила она и несколько часов кряду просидела, молча и сердито ожидая ненавистного человека. Михаил Иванович не глядел на нее и злился. Неудачливый столичный день с каждою

¹ Л а н б а р т — искаженное слово, вместо «ломбард» — кредитное учреждение, выдающее ссуды под залог движимого имущества.

минутою вырисовывался все отчетливее и отчетливее. Михаилу Иванычу не дали обеда, ибо опять-таки деньги не были заплачены Василием Андреичем, хотя и взяты. В такую-то самую злейшую минуту явился Черемухин — пьяный и грязный. Осажденный воплями бабы, он спьяну промывал улыбку, но заметил, что лицо Михаила Иваныча побелело от этой выходки. Словно грозовая туча, он потемнел и глубоко загрустил.

— Ну, будет! оставь, Авдотья! Ну, я виноват... — говорил он, нагнувшись над столом. — Будет!.. Я все это кепчу... Михаил Иваныч! Пошли-ка, брат, за пивом... Нам с тобой нужно переговорить... Одна бутылка не разорит — что там! Все равно! Посылай!..

Баба притихла и с испугом смотрела на Василия Андреича.

2

Пиво стояло на столе; с одного боку сидел Михаил Иваныч, не глядя на Черемухина; Василий Андреич, сидевший по другую сторону стола, с растегнутым воротом рубашки, без сюртука, тоже не обращался к Михаилу Иванычу, и, сосредоточив потупленные глаза с наморщенным лбом на пивном стакане, говорил:

— Откровенно и по чистой совести я должен признаться тебе, что никаких хлопот, никаких участий в делах твоих принять не могу! Сознаю тебе от чистого сердца, как ни тяжело это. А действительно, брат, это тяжело! Знаешь, что дело правое, выстраданное, вопиющее; знаешь, что за него надо умереть, истратить себя до последней капли крови, — и не мочь... Это, брат, уж как горько и уж как подло! Эти муки я испытываю давно, не в одном только твоём деле; таких новых, честных дел кругом меня кипит в настоящую минуту тьма! Пробовал я браться за них, но нет! Два шага сделал, и чувешь, что не под силу, честней всего уйти назад... Да и диво ли, друг ты мой? Всякое дело такое требует самой полной, самой честной преданности ему, прямоты, правды... и все это у нашего брата в таком крошечном количестве, все это чуть тлеет, чуть дает росток.

Василий Андреич поник головой над стаканом.

— И знаешь ли, — продолжал он, взглянув на Михаила Иваныча: — отчего это тлеет, а не горит полным пламенем? Отчего все это может быть уничтожено одним щелчком, самым ничтожным препятствием?.. Да все оттого же, друг мой, отчего и ты вот, простой человек, — нищий, больной и голодный!.. Помнишь, сколько ты рассказывал мне о прижимке и произволе, от которых одурел, очумел простой человек? — Неужели ты думаешь, что для непростого, для благородного — ну, хоть для такого, как я — этот произвол прошел даром?.. Нет, брат! Ты знаешь, в какой семье родился я. Люди жили припеваючи, но среди этого житья ни мой отец, ни моя мать не могли ни одним словом, ни одним поступком заронить в мою душу первые семена того, чего теперь у меня так бесконечно мало! И именно потому, что жили припеваючи... Твой отец, обшпаннный купцом, ограбленный кабатчиком, возвратясь домой, чтобы вместе с тобой глотать, как ты говоришь, собачью кость, растил в тебе эти добрые семена своим рассказом. Ты учился уважать труд, учился любить ограбленного отца, и — посмотри — сколько ты накопил в своем сердце и любви, и справедливой ненависти, и прочного убеждения! Все это — сокровища, все это нужно, все это делает жизнь человеческую; наконец все это — и любовь, и твердость, и ненависть — нужно просто для человеческой природы! Ты счастлив: ты — постоянный человек... У меня, брат, ничего этого не было!.. Отец мой, возвращаясь домой, за семейной беседой не имел в запасе ни одного слова, за которое я мог бы его любить, жалеть... Подумай-ка, чем он мог поделиться со мною, что бы могло сделать меня энергично-чистым? Напротив, если ты хорошенько подумаешь о том, что могли внушить мне мои предки, мирно разговаривающие о своих успехах в области прижимки или веселящиеся исключительно ради веселья, — ты должен удивиться, отчего я не вышел прямо разбойником, которому ничего не значит задушить человека за грош, а состою только в звании негодного и слабого человека...

Черемухин быстро выпил стакан пива, как-то рванул

всей пятерней свои и без того расстрепанные волосы и сердитыми, пьяными глазами поглядел на Михаила Иваныча.

— Удивиться!—повторил он и, помолчав, продолжал:— В жизни моей — к счастью или несчастью — успех пути в разбойники был ослаблен, во-первых, тем, что мои предки церемонились несколько посвящать меня в тайны своих нравов, а тайны того куска хлеба, из которого делалась моя пелужная кровь... Они предпочитали молчать. Выходили поэтому самые настоящие русские будни, половина которых идет на сон, а другая — на просонки, толкование снов и еду... По крайней мере, я глубоко чувствую всю тяжесть этой чуши на своих плечах, едва ли не каждую минуту. Я не могу забыть этих томительных зимних вечеров с мертвою тишиною, стуканьем маятника и отдаленным храпом... Что значат эти бесконечные слезы, которые я проливал среди мертвой тишины, всеобщего сна и которых не могли увячь никакие просьбы, обещания, угрозы, на помощь которым так охотно приходили наши зимние вьюги, стучавшие непривязанной ставней и гудевшие в трубе?.. Я чувствую, вижу, что этими слезами вся человеческая природа моя протестовала против этой нечеловеческой жизни, которая была кругом меня. Она, голодная, тянула меня, милый друг, к тебе в кухню, на печку, слушать сказку, слышать речь человеческую! Я знаю множество русских людей, которые, дожив до седых волос, не могут вспомнить ничего отрадного, кроме какого-нибудь рассказа няньки — ничего лучшего не было во всю жизнь! Что это значит? В моей жизни было так мало этих случаев, что я до сей поры помню их самым отчетливым образом. Помню я, брат, тебя и все твои сказки про чорта, про кузнеца; но ты не любил меня, перестал рассказывать их, а меня перестали пускать к тебе. Я плакал от этого вдвое сильнее; но мне купили дорогую, но бессмысленную игрушку. Я взял взятку с родителей, перестал плакать, и доброе семя, которое упало в мое сердце из твоих сказок, заглохло. Помню я также, милый мой, и солдата-саложника, который жил у нас в бане... Мне было необыкновенно легко и хо-

рошо всякий раз, когда он сажал меня на свои колени, гладил по голове и рассказывал обо всем, что меня интересовало: о петухе, о канарейке, о собаке. Грудь у него была твердая, теплая и приятно грела мою спину. Руки были сильные и могли поднимать меня к потолку, опускать вниз, так что, не ушибаясь, я мог видеть, что делается на полатах, в печке, на чердаке... Я любил его. А когда этот силач и добрый малый пришел ко мне с заплаканными глазами и объявил, что у него пропали две пары казенных подошв и что за это его накажут, я в первый раз заплакал по-человечески, в первый раз ощутил в себе потребность заступиться за человека и выпросил у отца денег... И это было недолго. Как теперь вижу: грязная улица, среди нее рота солдат и в числе их Абрам. Слезы градом льются из моих глаз, потому что Абрам не может повернуть ко мне лица, которое закрыто каской, ранцем и перерезано чешуйчатыми застежками по щекам. И опять я плакал. На этот раз душевное расстройство было сильнее, потому что Абрам дал мне очень много. Но и это замляли, употребив уже более сильные средства: меня уверяли, что Абрам — вор, в доказательство чего приводились слезы кухарки, у которой, по уходе его, не оказалось платка... и уверяли. Я перестал плакать, взял новую взятку, — не помню, в виде игрушки или сладкого, — и лучшее достояние сердца заглохло под грудю такого сора, как, например уважение к родительскому сну, продолжающемуся пятнадцать часов... Кроме тебя и Абрама, помню я еще кормилицу Алену которую я очень любил и для которой с страшными слезами вымаливал у родителей позволение пробиться со мной и с маленьким братом по полю, где нас обыкновенно встречал какой-то молодой парень, угощавший меня пряниками с золотом. Но и ее прогнали... В этом нечеловеческом мире, где никто никого не любил, она вздумала любить этого молодца; «поймали» ночью в сених и выгнали на дождь и ветер... Вот брат, все! Кроме тебя, Абрама и Алены, в детстве и дальнейшей жизни моей никто не хотел, чтобы я был человек. И если в моем нравственном фонде есть какой-нибудь грош, если у меня

наконец есть силы узнать в себе бессильного человека, то этим я обязан вам, никому больше!.. И кланяюсь тебе до земли! Вместо твоих сказок, вместо добрых рассказов Абрама, простых ласк Алены и ее молодца, заводилось в моем сердце гнездо апатии¹ и пустоты... Средства у предков были к этому большие, прочные и мало-по-малу сделали свое дело блистательно. Сердце мое стало похоже на гладкую мелкую тарелку, на которой валялся один только грош, пожертвованный вам. Всякий, кому угодно, мог класть на эту тарелку все беспрекословно; успех был до того блистателен, что с годами грош этот начал ржаветь и зеленеть. Я подрос: тарелка, за отсутствием вас, наполнялась щедрыми подавниями окружающих, а я принимал все это с полным равнодушием — именно, как тарелка, которой решительно все равно, лежит ли на ней апельсин или грошовая колбаса. Само собою разумеется, что в школе я был «лучший»; кроме меня, была там бездна таких же. Начальство было довольно этим. Ему стояло захотеть, чтобы мы, ради его желанья, стали наушниками, сплетниками друг на друга, — мы охотно исполняли это: в пять минут нас можно было повернуть как угодно и покорить под власть какой угодно чепухи. Правда, были между моими товарищами честные натуры; но с ними нам было страшно. Честный человек с давних пор был рекомендован нам в виде пьяницы, вора, словом — в виде пьяного спартаковского плота: тот внушал отвращение к пьянству, наш честный человек указывал путь к мелководию; он всегда был беден, нищ, убог, говорил страшно, ругался; на него было страшно смотреть. «Дурные» товарищи, само собою, были зачатками этих страшных людей; «дурной» приберет тебя за то, что ты пожалуешься, тогда как, жалуясь, ты исполняешь свой долг, принимаешь на свою тарелку подавние: урока он никогда не знает, потому что играет в бабки; наконец, на твоих глазах, его родная мать со слезами просит начальство высечь его, и ты по совести не любишь его,

¹ А п а т и я — бесчувствие, равнодушие.

по совести делаешься бессовестным. Едва ли не с тем же успехом продолжал опустошение моей души университет; но, по крайней мере, тут я вошел в возраст... да! усы пошли!

Василий Андреич помолчал и вздохнул.

— И потом пошла самая разпохарактерная нравственная арлекинада ¹! (Здесь он махнул рукой.) За отсутствием того настоящего человеческого капитала, из которого могли бы выйти человеческие интересы, я стал наполняться разною дрянью... В этом отчасти помогала и литература. Она потрафляла очень удачно испорченной общественной нравственности; она пихала в ее нравственный желудок самую тонкую и расстраивающую его стряпню. Но обществу приходилась эта стряпня по вкусу; оно брало оброки, взятки, орудовало откупам и разрабатывало их.. Правда, были голоса призывающие, но их было не слышно; по крайней мере большинство, толпа, рать страны не была расположена и, пожалуй, иногда—не могла их понимать... и жилось хорошо, весело. Но мне недолго пришлось попить с моими фондами, то есть с пустотой... Быстро принеслось другое время — заговорили другие люди. Разумеется, они не пробрали бы меня никогда, если бы слова их не начали осуществляться в окружавшей меня массе. Там и сям в толпе показались новые лица. Почему-то вдруг пришлось вспомнить про заржавленный грош, брошенный вами; но, господи, как мало этого гроша было для того нравственного обихода, которому потребовали новые дни!.. Каждое дело, каждое намерение этих дней требовало большого капитала, большой силы, а у меня был грош—страшно стало! Как я ни пробовал порываться в тарелке и поискать, нет ли где еще такого же гроша. — нет! Поминутно между разным тряпьем, гнилью, бессилием я находил плоское, ничеге не сулившее дно!.. Попробовал притвориться, вздумал честно зарабатывать хлеб — не могу! Лепь, скука, мало! Рванусь вперед, за каким-нибудь так пазы-

¹ Арлекинада — шутовское представление, где пестрый шут главное действующее лицо.

ваемым общим делом — на втором шагу начинает действовать вся эта нравственная арлекинада, все сотни направлений; пожелаю подходить к делу не сорока семи дорогам, осеменяемый сорока семью разнообразными взглядами, — и в результате нуль, вред делу. Чувствую, что «не за что» внутри меня держаться хорошему намерению нет правды, нет любви, нет силы убеждения!..

Черемухин опустил голову и покачал ею.

— И тут я пал, братец ты мой! Если бы жив был отец, он бы еще снабжал деньгами, и я бы еще, быть-может, «фигурировал». Но ты вот говоришь: «обмякло» — и я совсем «пас»¹! Ты, впрочем, не думай, что я один только такой.. Массы, массы, друг любезный! — с тою разницею, что у одних больше моего гроша, а другие не совсем попяли свою обязательную смерть и врут или притворяются — не знаю! Есть и настоящие.. ты встретишь — погоди!

Михаил Иванович посмотрел пскоса на Черемухина. Тот сидел молча; но, спустя несколько времени, как-то притворился и сказал с улыбкой:

— Ты однако не думай, что я совсем никуда не похуюю и не расплачусь с тобою и с ней. (Он указал на бабу.) Государству теперь пужна бездна народу.. Нужны учитель, лекаря.. толпы рабочих людей.. Нас не минут!.. Будем где-нибудь наставниками, будем получать с мужиков жалованье, глядеть на разутые ноги детей, тосковать о собственной бесполезности, пить.. Может быть, даже и умрем в руши от водки.. Чего же еще? Самый любимый литературный твп.

Проговорив это, Василий Андрееч совсем ободрился, встал и, заложив руки в карманы брюк, несколько раз уверенною поступью прошелся по комнате; вся осанка его была такая, как будто бы он в самом деле «расплатился со всеми».

В этом последнем случае едва ли не была согласна и баба, сидевшая здесь. Длинный рассказ Черемухина, видимо тронул ее: она почти не понимала, что такое он рассказы

¹ П а с — в карточной игре заявление отказа от участия в игре при отсутствии необходимых для этого карт на руках.

пает; по если бы даже Василий Андреич говорил по-немецки, то и тогда баба сумела бы почувять, что это говорит человек несчастный.

— Ишь, наговорил!.. — сказала она тихо-тихо, потому что чувствовала себя пеловко. — Пришла ругаться, а теперь стало жалко.. Умирать бы уж тебе, право!

— А? бедный, бедный!.. Толку-то нет никакого... дег-то, чай, нету? — разрешила она вдруг свое пеловкое положение, хотя в голосе ее снова звучала суровость... Свечи-то есть ли? Ишь, огарки какие! Поди, ни чаю, ни сахару?

Черемухин ходил по комнате, не слушая ее и задумавшись.

Но баба, почувствовав сожаление и видя, что есть забота, не могла скоро разделаться с этими качествами своей души. Наволочки оказались грязными; вытащена была из-под кровати пара посков, чтобы дома вымыть и принести чистые. Сосчитаны были какие-то лоскутья белья, и оказалась пропажа. Все это тряпье баба собрала, сосчитала, спрятала, словом — проявила непомерную сердечную доброту, что немало изумило Михаила Ивapäчы.

— Ишь, как я об тебе! — слегка улыбаясь, сказала баба и вдруг сердито прибавила: — на, вот, три рубля, смотри — не проверти! ты ведь пойдешь швырять... да отлай!

Черемухин все ходил, молчал и думал.

Баба еще порылась, положила на стол три рубля, еще поворчала насчет того, что «ходишь без калош... Сляжешь... кому ходить?.. Что мать-то к тебе не едет? Писал матери-то?..» — и, еще раз окинув все пытливым взглядом, прибавила:

— Усни-ка, ишь, зеленый какой!.. Спи! право, какие...

И ушла. Видно было, что действительно ей некого любить.

Михаил Иванович сидел и думал. Как и баба, он не понял и десятой доли ничтожных, но все-таки весьма ощутительных страданий Черемухина и злился, и не мог не жалеть Василия Андреича.

— Что это за люди! — думалось ему. — И жаль, и, кажется — убил бы... Тьфу!»

11. ДОМА

1

Михаил Иванович, исцеленный тяжкими страданиями своей заброшенной жизни от возможности понимать бесплодность нравственной муки, переживаемой людьми, подобными Черемухину, не понял почти ничего из его долгого рассказа; но мы все-таки воспользуемся сущностью этого рассказа, который может объяснить нам некоторые непонятные факты, происходившие в это время в покинутой им провинции.

Действующим лицом был известный нам барчук Уткин.

С первого взгляда Уткин, повидимому, совершенно не подходил к типу Черемухина: в нем не было ни одной из черт, неприятно обрисовывающих Василия Андреича. Но это происходило оттого, что у Уткина, во-первых, была бабушка, снабжавшая его деньгами, и ему не было надобности наживать врагов, подобно Черемухину, не имевшему копейки, а следовательно не приходилось становиться к людям в самые неприятные, враждебные отношения; не приходилось быть глубоко-злым и разбирать самого себя с такой основательной злобой, как Черемухин. Была, стало быть, одна полусознательная зюка, способность думать и действовать во множестве направлений сразу, не воспитав в себе жизненными впечатлениями никаких нравственных средств, чтобы быть «просто так» самим собою. Нам уже известно, что вечер «первого поезда», направивший размышления его в направлении «дела», привел его в квартиру Печкиных, где, несомненно, должно было быть «дело»: это было видно весьма ясно из разговоров между супругами на бульваре и на улице. Все это однако не определило Уткину, какого рода прием следует ему принять при начале и продолжении этого дела, пока он не наткнулся случайно на черепки разбитой посуды, валявшиеся на полу. Это обстоятельство разрешило его затруднение.

— Так нельзя-с! — довольно сурово сказал он Павлу Иванычу.

— Господин доктор! — начал было Павел Иваныч.

Но Уткин прервал его.

— Я не доктор-с! — с гордостью сказал он вслед Печанину, выбежавшему на новые поиски. — Тут не припадок, тут вопрос.. Да-с! Так нельзя.. Тут не в аптеку, а в полицию-с!..

— Да и впрямь связать его, да с будочниками! — призовокупила кухарка, ползая со свечкой и с тряпкой по полу. — Ишь, мудрует.. муж!..

При помощи ползавшей по полу кухарки дело было разъяснено окончательно и благодаря его совершенной ясности и полному убеждению, что стоит потратить себя на пользу ближнего, Уткин весьма подробно и резонно изложил перед Софьей Васильевной все, что относится к выгодам независимого куска хлеба. Изложено все это было с полным сочувствием; уверения в том, что «так нельзя», были обставлены весьма подробно, и главное — «независимая корка хлеба», как средство, могущее противостать против всевозможных жизненных преград, была выставлена в весьма привлекательном свете. Все это было сказано торопливо, под влиянием только-что полученных впечатлений, но охота высказаться более и обстоятельнее быстро охватила все существо Уткина, и в конце речи он предложил Софье Васильевне еще раз перетолковать об этом деле, для чего и назначил особый пункт — городской бульвар, «завтра в три часа».

Софье Васильевне, ни от кого не слыхавшей фразы: «так нельзя», которая бы произносилась с такою уверенностью и сочувствием, все это было необыкновенно ново, а положение ее было таково, что выйти из него было необходимо. И средство к этому, в виде «корки хлеба», тоже оказывалось вполне возможным и осуществимым.

Оставалось только знать мнение Нади, по так как и она не имела решительно ничего против возможности выйти по какую-нибудь надежную дорогу, то свидание с Уткиным и состоялось на следующий день на бульваре.

В три часа дня, когда бульвар обыкновенно пуст, а Павел Иванович спит после обеда, в кустах, на ступеньках старой губернаторской беседки, можно было видеть Уткина, Надю и Софью Васильевну. Все они испытывали какое-то новое ощущение и главным образом старались узнать, что из этого выйдет? Более всех это ощущение овладело Уткиным, так как он один из всех специально размышлял о том, что «вот новое дело», и он тут... и все это ново, и т. д. Эти ощущения сделали его веселым, развязным. Он торопливо пощипывал маленькую бородку и говорил:

— Это дело такого рода-с, что... Сносить постоянные оскорбления... это...

— Я скорее готова корку хлеба! — говорила с самым пекренным чувством Софья Васильевна.

— Корку! Разумеется, самостоятельная корка хлеба...

Здесь Уткин стал закуривать папироску и замолк.

— В самом деле, Сонечка так стеснена, — начала Надя, — что если бы какие-нибудь средства...

— Труд-с! — сказал Уткин, бросая спичку. — Стоит только пойти в первый двор, в первый дом и взять заказ белья... Корка хлеба, добытая честным трудом...

Но речь Уткина была прервана: Софья Васильевна, готовая идти в прачки, и в особенности Надя налегли на заказ белья с такой энергией, что в самое короткое время для Уткина подлежащее ему дело стало совершенно ясным. Оказалось, что ему нет никакой надобности разлагольствовать насчет достоинств корки, насчет необходимости свергнуть его и пр. Нужно было одно: идти в первый двор и попросить заказ белья. Если бы Уткин был простой мужик, умеющий войти в первые ворота, остановить первую бабу, и, назвав ее тетенькой или красавицей, прямо объявить ей, в чем дело, то он бы так и сделал. Но у него были сотни разнородных взглядов на предмет, и поэтому как только его дело обнаружилось вполне, вся серьезность и значение его поблекли. Уткин представил себе, как он, барчук, стоит среди двора и просит белья в стирку, и как

потом он идет с узлом. В голове его мелькнула мысль, что так не бывает, что это даже смешно. Он был совершенно согласен с тем, что это нужно, что действительно так, и в то же время находил, что это — невозможная и смешная чушь.

Не знаем, что бы ответил он дамам, если бы его не выручил приятель, проходивший по средней аллее. Это был офицер, возвращавшийся из ресторана, где обыкновенно обедает более состоятельная губернская молодежь. Возвращаясь оттуда, он увидел женщин и прямо пошел на них, как будто это так и следовало. Без церемонии перешагнул он через скамейку, обломил на пути какую-то ветку и, похлестывая ею по ноге, очутился среди общества Уткина, Нади и Софьи Васильевны.

— А! Николай Петрович! — сказал он Уткину и посмотрел на всех такими глазами, в которых не видно было, чтобы приятель Уткина считал «делом» происходившее здесь. Смелость и особенную выразительность этого взгляда поддерживали простые костюмы дам.

— Так пожалуйста! — торопливо поднимаясь, заговорила Надя.

— До завтра! — сказал Уткин. — Это дело такого рода...

— До завтра! — сказала Надя, и вслед затем они ушли.

Уткин и приятель остались одни.

— Эге, батюшка! — многозначительно сказал приятель, но Уткин нахмурился и объяснил, что предположения его неуместны, что тут такое и такое-то дело. Приятель, в качестве современного человека, извинился. «Не узнаешь ведь», — сказал он, взял серьезного Уткина за талию и пошел с ним по дорожке.

— А та, угловая-то, недурпа! — сказал приятель.

— Тут не в том дело! — начал Уткин сурово.

— Я очень хорошо понимаю. Вы, батюшка, уж больше горячо. Ведь я понимаю-с! Читали тоже...

Уткин почувствовал, что обидел приятеля почти понапрасну.

— Она обе недурны! — сказал он мягким, но обидчивым тоном.

— Нет, та, блондинка-то...

— Да они обе блондинки... — тем же недовольным тоном проговорил Уткин...

— Ну, ведь не разглядишь...

Они подошли к реке и сели на лавку.

— А знаете, — сказал приятель: — я, батюшка как-то не долюбиваю блондинок... а?

— Гм! — промычал Уткин, но не возразил, потому что увлекся рассматриванием полуобнаженных баб, колотивших вальками на плотах белье.

— Право, — продолжал приятель и сообщил в довольно продолжительном рассказе все свои сведения о блондинках и брюнетках. Под влиянием этих рассказов взгляды Уткина, незаметно для него самого, приняли весьма веселое направление.

— Да, — сказал он снисходительно: — блондинки вообще...

— Я вам говорю...

— Но эта, кажется, нет. Открытая война с мужем... не шутите!..

— Послушайте! — перебил приятель оживленно. — Будет вам умничать... Знаете? Тащите-ка их пить чай... Денщика по шее... а?

Уткин сообразил, что в подобных случаях многозначительно говорят: «милостивый государь!» — и попробовал сделать серьезное и презрительное лицо; однако же попытка эта, не поддержанная никаким нравственным пособием, тотчас же уничтожилась, и Уткин сказал:

— Не пойдут!

— Ну, вот еще!

И приятель стал убеждать Уткина, у которого вследствие этого очень скоро образовались два совершенно дружелюбные между собою и совершенно различные взгляды на наших приятельниц: не худо бы, — думалось ему, — «обработать» и «вопрос» и «чай»

— Не пойдут! — повторил он уже с улыбкой и прибавил: — неловко!

Скоро, при помощи приятеля и картины стравших белье

баб, обнаружилось, что в нравственном фонде Уткина одновременно могут уживаться и не такие еще взгляды.

Мимо приятелей прошел солдат с комком белья подмышкой и мокрыми косицами. «Кунался?» спросил офицер, когда солдат сделал ему честь.

— Так точно, васкбродне!

— С бабами?

— Там их страсть... копошится...

Приятель Уткина и сам Уткин любопытствовали узнать, где копошатся бабы. Солдат подался к реке и показал — где.

Приятели поглядели по указанию, но пичего не видали.

— Ну что же, — начал офицер: — Лукерья с тобой?.. Ведь ты — шельма!

— Нету-с, васкбродне... второй месяц как прогнал ее.

— Прогнал? Вот неголяп-то! Ты? за что же?

— Не производи обману... Обещалась подарить часы, а вместо того — пету ничего... Этого пельзя!

Солдат остановился.

— Ну? — побуждали его слушатели.

— Ну, пришла она, я ей доказал: «как ты меня обманула», говорю... то и взял ее платье себе...

— Вот скоты! — не без улыбки произнесли слушатели. — Ну?

— Ну, потом стали сечь.

— Как сечь?!

— Чересседельником. Скрутили его влявое и давай... хе-хе... Сначала Матвеев — я держал. А потом Матвеев стал держать — я принялся. еще сорок ударов дал.

— Ну, уж это подло! — сказал Уткин и прибавил: — как же ты ее — по платью, что ли?

Солдат объяснил. Офицер сказал: «вот мерзавцы!» Уткин объявил, что это мерзко, и оба вместе долгое время хохотали. Рассказчик еще долго потешал господ, по их небрежному, но непрерывному понуканию, и наконец ушел. А концу вечера взгляды Уткина на женский пол до того прояснились в известном направлении, что он уже сам сказал приятелю:

— А что в самом деле?.. — но, как бы опомнившись, тотчас же прибавил: — Нет, не пойдут!

На следующий день, отправляясь на бульвар, чтобы вести переговоры, он нес с собою такое громадное количество самых разнородных взглядов на наших подруг, что ни считать, ни распространяться о них мы не решаемся. Все эти взгляды мпрились, жили в нем одновременно, но едва ли могли быть пригодными для осуществления кропечных надежд Софьи Васильевны. Эту непригодность чутьем провела Нада, несмотря на то, что Уткин таким же сочувственным тоном, как и вчера, отзывался о необходимости для Софьи Васильевны свержения ига и пр. Точно так же, как и вчера, в кустах около беседки можно было слышать разговоры о том, что Софья Васильевна уверена в своей готовности есть корку хлеба, что Уткин вслед затем несколько раз подтверждает это, говоря. «Корку!.. Разумеется, корку... Чего же лучше?» Но Нада уже со второго свиданья как-то замолкла, пытливо смотрела на Уткина и ушла домой в раздумье.

3

Таким образом оказывается, что первые шаги «вперед» как у Михаила Ивановича, так и у Нады не были особенно удачны и только убедили их в силе окружающего их разоренья и разнообразия форм, в которых оно проявляется. Ошеломленный и в конец расстроенный Черемухиным Михаил Иванович с каждою минутою расстраивался еще более, теряя всякую возможность разъяснить себе будущие свои планы, по мере того, как входил в более короткое знакомство с обывателями черемуховских номеров. Номера эти содержал какой-то седой старик, отставной солдат. Каким образом он нажил деньги, чтобы завести в Петербурге большое хозяйство, было неизвестно: ни он, ни жена его, молчаливая сгорбленная старушонка, никогда об этом не упоминали; оба они молча и угрюмо толклись в кухне стряпали, таскали дрова, ходили на рынок и бегали в кабак, по приказанию господ жильцов. Посторонний человек как Михаил Иванович, мог глубоко жалеть их, потому что

Большинство жильцов не платило старику денег и кроме того на его счет покупало водку и пиво и занимало на извозчиков. Но в сущности солдат этот несколько не страдал от того, что ему не платят и берут у него деньги, ибо среди молчаливого таскания дров и сосания махорки он тоже по своему понимал дух времени и разоренья и извлекал из них более существенную пользу, нежели Михаил Пивапыч. Сущность этого понимая солдат любил высказывать один-глаз-на-глаз с самим собою. Это случалось по вечерам, когда все жильцы улягутся, уgomонятся; тогда солдат надевал рванный халат и выбирался из кухни в переднюю отдыхать; отдышал он стоя, курил в это время трубку, смотрел на ночник и рассуждал:

— Денег не платят!.. — произносил он. — Хорошо! Ну, ежели пушу я в комнату трудящего человека с верными деньгами?.. — Тут он задумывался и, пососав трубку, заключал: — мне это хуже!.. Во сто раз мне превосходнее допускать благородного человека, без своего капитала, нетрудящего... Это верно! Трудящий своим трудом живет, он копейку бережет, он хозяину подвержен, его могут прогнать, а нетрудящий — он трудом не живет, он живет займом, помощью... занятых денег ему не жаль... так-то! Много их вонче бог послал!.. Одному родня помогает, а другому — вон баба деревенская... видишь вот!

Он запахивал халат, поплевывал и продолжал:

— Теперича пива я им забираю, всякий продукт на свои... ожидаю... ну, получу с лишком! нельзя — за подожданье. Сейчас в одно место записку снесу, в другое и в гретье — за проход мне опять же деньги... Откажут по записке — ожидаю, и опять же он мне заплатит за это надбавку... Рано ли, поздно ли, а уж достанет денег, займет у кого-нибудь... Я и беру все сполна... Получаю свое удовольствие... Потому жить им надо... Буду жить! займут!..

Выработав такой взгляд относительно «нетрудящих людей», солдат крепко и стойко держался его, охотно принимая их в свои апартаменты¹. Узнать человека, имеющего

¹ Апартаменты — покои, помещения.

намерение жить займами, не составляло для него никакого труда. Входит барин, барыня и двое детей и требуют комнату «получше»: это значит, что барин и барыня настолько не обеспечены постоянным заработком, что не имеют возможности одолеть свою квартиру, хоть и похуже... Является хорошо одетый барин и требует комнатку рублей в пять: это значит, что в настоящую минуту он не имеет в кармане и рубля... «Всем жить нужно, все достачут! займут!» — думает солдат и принимает их в недра своего жилья, записывая на стене мелом: за проход, за подожданье и пр. Все это изображено у него просто, в виде папок, которые тем не менее имеют для него каждая свой смысл и значение.

И вот уже два года номера солдата паселяются исключительно «нетрудящим» народом, народом злым, оскорбленным, вспоминающим прошлое и строящим блестящие планы насчет будущего. Так как костюм этого народа находится под залогом у того же самого солдата, то он обыкновенно сидит постоянно дома, в каморках без форточек, в душных облаках кофейного, кухонного и табачного дыма, лежит, ходит взад и вперед по своему логовищу, ведет долгие переговоры с хозяином-солдатом насчет бутылки пива, убеждает, грозит, пьет, вздыхает, напивается, поет, бушует и проклиняет.

Михаил Ивапыч, истощивший свой кошелек до последней возможности и не находя адреса Максима Петровича, обещанного Черемухниным, томился в неприветливых солдатских номерах паравпе со всеми их обывателями. Как я все, он курил, лежал, злился, шатался по коридору, заходил в кухню, смотрел на проходящего по двору мужика и думал: «куда он идет?» — и, повинувшись внезапному взрыву злости, снова в ажитации¹ шатался по коридору и по своей норе.

Среди этой тоски и томительных скитаний, Михаил Иванович перезнакомился со всеми обывателями солдатских

¹ А ж и т а ц и я — здесь волнение, возбужденное состояние духа.

номеров, все они на первых порах возбуждали в нем некоторую долю сострадания и совершенно сходились с ним в положении. Все они одинаково были согласны, что человек живет неправдою, что истинные достоинства ставятся ни в грош, и что хорошо жить на свете могут лишь люди гнусные. Так говорили все вообще жильцы: и толстый человек в угольной камерке, говоривший по-французски, и малепький человек неизвестной профессии, жаловавшийся на жену, и другой человек, покинутый женою, и женщина, жаловавшаяся на тирала-мужа, от которого она ушла, словом — все. Все это всредило раны сердца Михаила Иваныча, доводило его тоску до последней степени и заставляло на последние гроши угощать этих несчастных людей пивом. Но после двух или трех приятельских бесед за бутылкой все эти лица припимали в глазах Михаила Иваныча совершенно другой вид. Толстый человек, под хмельком вспоминая старину, вдруг выходил каким-то перенасытым хватателем взяток, в качестве начальника падающей какой-то «дистанцией»¹ бечевника. Маленький человек, роптавший на жену, оказывался просто деспотом и зверем, ненавидящим свою жену за ее «простое звание», которое его компрометирует перед благородными знакомыми, благодаря которым он давно бы мог получить невесту с капиталом, хотя сам не отказался бы от девчонки простого звания, если бы она не претендовала на брак. Женщина, покинувшая мужа, оказалась разорительницею его самого. Поочередно с каждым из этих лиц Михаил Иваныч сходил, сочувствовал и потом, плюнув и озлившись, уходил прочь, неся в сердце новую рану. У всех из этих людей Михаил Иваныч, кроме того, заметил любимую фразу о том, что «мы свое дело сделали», «расписались, брат, в получении» и пр., которую они весьма искусно отмахивались от Михаила Иваныча в то время, когда он, в первые минуты сочувствия к ним, предъявлял им свои требования и приглашения. Эта фраза особенно сильно терзала его, когда он,

¹ Д и с т а н ц и я — расстояние. Дистанция бечевника — участок протяжения береговой линии.

плюнув на них и снова оставшись один, сидел в каморке и думал о своем положении. В покинутой им глуши остались, по его мнению, просто изверги. Здесь же, в столице, ему хотя и сочувствуют, но одни, как Черемухин, могут только испортить дело, а другие «уже сделали свое дело», разорили, изуродовали, обобрали. Что ж это такое? Где же Максим Петрович, который никого не грабил и вырос в «неблагоприятных обстоятельствах» русской жизни?

Но Максима Петровича не отыскивалось.

Михаил Иванович томился. смотрел в окно и кашлял...

4

Положение Нади было ничем не лучше положения Михаила Ивановича. Мертвый дом с умпраюдек роднею, со всеми этими злодеями, рекомендованными Михаилом Ивановичем и выглядывавшими из-за каждого забора, стоял в полпой неизменности. Попрежнему ругалась измученная звонками кухарка Авдотья, попрежнему старая бабка раз в месяц разевала рот, чтобы крикнуть: — «в карр... ман-то-о»... Попрежнему взборовали маслом генерала и генеральшу и тщетно ожидали их представления на тот свет. Убитый Ваня лежал, повернувшись к стене, молча уткнув исхудавшее, обросшее длинными белыми волосами лицо в подушку. Глаза его были всегда закрыты, и только легкий стон говорил, что это лежит избитый человек. За мертвым и неприступным родительским кровом оставались попрежнему одни бестолковые мучители в роде Печкина, добродетельные и симпатичные «голубки» вроде Шанкиных и пустота, желающая во всем принимать участие, вроде Уткина.

Разумеется, как Михаилу Ивановичу, так и Наде могли встретиться иные люди; но темный угол, где выросли и родились наши герои и где они хотели найти помощь, не мог им представить ничего другого, кроме широчайшего и громаднейшего разоренья, и не было отсюда видно ни одного луча света...

Такое томительное положение продолжалось довольно долго, не представляя никакого выхода, и наконец разрешилось совершенно неожиданно.

Для Нади и Софьи Васильевны это произошло на том же бульваре, в присутствии Уткина. Отправляясь на третье свидание с Уткиным исключительно вследствие просьбы Софьи Васильевны, Надя уже не надеялась услышать от него ничего нового, а главное — никакой правды. Она даже холодно обошлась с ним, молча села на ступеньки беседки, не принимая никакого участия в их разговоре, и ждала Софью Васильевну. Невольно слушая сочувственные слова Уткина, не подвигавшегося ни на шаг к делу, и совершенно искренние излияния Софьи Васильевны насчет готовности есть «корку хлеба», она не могла не заметить, что тут сошлись люди, совершенно ненужные друг другу. И тут в самую поразительную отчетливость припомнилась ей сцена : бабой у мирового судьи: и так точно так же понимали, чего именно хочет баба, и хотели ей сделать, но не могли; припомнились ей также и все разговоры, происходившие на крыльце суда, и в особенности рассуждения о зубах. «Зубы, зубы надо... небось бы!» — припомнилась она.

Все, что было непонятно, выстрадано, передумано, все на мгновение как-то вдруг столпилось в ее голове, она как-то сразу оживилась и вслух сказала себе самой:

— Знать! знать надо... все, все! — повторила она, быстро поднимаясь с ступеньки крыльца беседки.

— Пойдешь или еще будешь? — сказала она Софье Васильевне, не глядя на Уткина.

Торопливость, с которою Надя надевала перчатки, обнаруживая намерение уйти, не дожидаясь, оторвала Софью Васильевну от разговора с Уткиным.

— Так до завтра! — сказал Уткин, делая Софье Васильевне весьма ласковые глаза, и подруги ушли бы тотчас же, если бы в это время не произошло нечто особенное.

Отодвигая сердитою рукою куст, на площадку перед беседкой выступил знакомый нам лавочник Трифонов.

— Вот они, соколики! — заговорил он таким голосом, каким говорят люди, поймавшие вора. — Ишь, жеребца

какого припасли! Где тут еще-то? Их тут, поди, на всех кустах понасажено! Эй, ты, тетерев!

На этот зов откуда-то явился Павел Иванович.

— Правду говорил? — сказал Трифонов. — То-то я слышу: «корку, корку». А вот они тут какую корку... Чего глядишь? Ошарашь жеребца-то по рылу! Пакля! Кабы не разбудил, издох бы — не узнал!..

Павел Иванович и Софья Васильевна были в каком-то ужасе.

Печкин не мог произнести слова и стоял бледный, как полотно...

Уткин прочищал палкой и ногой дорогу в куст.

— Ну, что же? — командовал Трифонов. — Пехтерь! Производи свой порядок, получай жену-то! Докажи ей, шельме, права!

Софья Васильевна вдруг как-то рванулась вперед, побледнела, хотела что-то сказать и вдруг заплакала, зарыдала...

— Домой! — закричал внезапно, что есть мочи, Печкин.

— Эх, ляпнул дело! — передразнил его Трифонов. — Трехонн ее бери под руку-то, подхвати!

Печкин рванулся к жене; но Софья Васильевна, словно окамнившись, схватила руку Нади и побежала вперед по извилистой дорожке.

— Не пойду! никогда! — крикнула она всей грудью, скрывшись за куст.

И тут настало общее смятение. Трифонов, Печкин и множество зрителей бросились вслед за подругами по узеньким и извилистым дорожкам, цепляясь за кусты, ломая сучья, а надо всем садом раздавались крики:

— А-га-а! «Ко-орку»! То-то я гляжу! Ай-да барышня!.. От мужа! Полюбился! Нет, по морде!..

— Домой! — вопил каким-то неестественным басом Печкин.

— Дурак! — слышался голос Трифонова. — Беги налево! Сволочь... Эй, молодец, захвати даму! бей в мою го-

1 Пехтерь — неуклюжий, неповоротливый мешок.

лову! Ничего, за косу.. То-то «корку, корку»!.. Хе-е-е-е-е, бра-ат!..

Долгое время мпожество народу вылетало на середину дорожки из боковых аллей, кричало, ругалось, и исчезало в кустах, и снова кричало... Софья Васильевна и Надя, бегом пробежавшие две-три улицы, пошли тише. Софья Васильевна едва двигалась, задыхаясь от испуга и быстрой ходьбы и не могла произнести ни слова! Надя тоже молчала, но в уме ее еще как-то ярче вылетали слова: «Уйти, непременно уйти — и учиться, учиться, учиться!»

Так они пришли домой и больше уже не ходили к Уткину.

12. КОНЕЦ

Возвращаясь домой, Надя несла в душе какое-то серьезно-радостное ощущение. Виделось впереди не веселое, но умное и дельное.

— Ваня поправляется! — сказала ей мать. — Не знаю, что с ним... поднялся и сидит на кровати.

— И говорит?

— Говорит.. Еле-еле!

Какая радость в этой области смерти!.. У Нади радостно билось сердце при этой вести, хотя она сама не знала почему.

— Господи! — сказала она, глубоко вздохнув и снимая шляпку, по, не кончив этого дела, вдруг почему-то принялась целовать у матери руки.

А мать стала плакать..

И никто из них не мог бы определить, почему все это делается?

Жизнь, жизнь пробуждается где-то около них... и сулит им что-то... тоже жизнь!..

Надя сбегала к Птицыным тотчас же, но ей сказали, что Ваня спит. Ей рассказали, что он устал сегодня: он требовал к себе свои инструменты, рассматривал поты, бумажки, просил все расставить по местам. Все это исполнили. В полуотворенную дверь Надя видела спящего Ваню, около кровати которого на стульях стояла его скрипка без

струн, валялись развернутые тетради нот... Как это было радостно! Поглядев, она ушла домой, долго не спала и встала рано.

День был чудный. Она тотчас пошла к Ване.

Он сидел на постели, худой, с ввалившимися глазами, с головой, при взгляде на которую воображению представлялся череп, с руками и ногами, напоминавшими не труп, а скелет...

— Цела? — едва говорил он матери.

— Цела, цела! — отвечала та, отирая тряпкой пыльную скрипку.

В груди Вани вместо ответа слышались рыдания без слез. Он несколько раз всхлипывал от избытка глубокой радости и каждую минуту готов был упасть в обморок...

Надя поддерживала его.

— Голубчик мой! — говорила она ему (хоть он и не узнал, кто она такая). — Все цело!.. Я все соберу!

— Все, все цело! — говорила мать Вани. — погоди, я вот отца приведу... Хочешь?..

Ваня долго рыдал, склонив голову на грудь и не отвечая на вопрос.

— Зе... млю!.. — наконец выговорил он, и слабо, как мог, потянулся из рук Нади. — Зем-млю!

— Что ему?.. — спрашивала Надя. — Землю?.. Какую землю?..

— Что тебе?.. — спрашивала мать.

— Ему землю хочется поглядеть! — сказала кухарка и вполне поняла мысль больного.

— Надо его поднять! — сказала Акулица: — и к оконку поднести. Пусть поглядит на травку.

Все трое подняли его, худого, с пролежнями до кровавого мяса на всем теле, с неразгибавшимися коленями, и без особенного труда поднесли его к окну. Он рыдал без слез и стонал.

— Ну, вот, смотри, — вот земля! — сказала ему мать. Все цвело и благоухало в глухой улице...

Ваня зарыдал.

— Зеленое!.. — пролепетал он.

И слезы, крупные как градины, затопили его лицо, усы рубашку...

Все плакали...

Мокрая от слез, иссохшая рука Вани тянулась к подоконнику, как бы стараясь взять эту зелень в руки... Попросили прохожего нищего сорвать травку. Тот сорвал и подал Ване.

Ваня сжал траву в руках — и буквально целое море слез затопило его лицо.

Все рыдали тихонько. Вошел старик-отец и, едва взглянув на сына, тоже заплакал...

Глаза Вани были закрыты, руки сжимали траву... Лплись слезы, рыдания, и стояла тишина.

Ваня умирал...

Через минуту узнали и увидали, что он умер.

Мертвого, с мокрым от слез лицом, его положили на постель... Трава с корнями, осыпанными землей, была в его руке...

Какие это были чудные минуты для всех, кто только ни был тут, кто мучил и мучился, кто желал страдать и страдал сам!.. Это были слезы людей, убежденных, что они — ужасные грешники, и узавших хоть на одну минуту, что они ни в чем не виноваты... Жизнь вспомнилась вся, своя и чужая, вспомнилась целиком и вызывала только горячие рыдания.

Все это старое, погибающее, проживши не одни десяток лет, не имело и не могло иметь другой, более пленительной, более чистой минуты!

Но минута эта кончилась очень скоро. Похороны Вани вытащили на сцену рассуждения о расходах, о скупости генерала, снова раздались упреки в том, что он спрятал деньги, что уморить человека он умел, а когда пришлось хоронить этого человека — стал упираться. Несмотря на всевозможные усилия генеральши похоронить Ваню, как генеральского сына, несмотря на всевозможные крики и проклятия, которыми был осыпан генерал Птицын, похороны были самые беднейшие и жалчайшие. Все нищее, что

привыкло не стесняясь плакать, идя за таким неказистым, простым деревянным гробом, как тот, в котором лежали кости Вани, все тронулось за ним большою, рваною, бедною толпою и плакало, не надеясь даже получить за это кусок какого бы то ни было пирога.

Какая мертвая тишина стала в нашем углу после смерти и похорои Вани!

Чтоб уйти от угнетающего смысла этой тишины, Надя забрала с собою к матери все книжки, все тетради Вани. Целые дни она роется в них, откладывая из массы хлама, в котором не последнюю роль играют «Таинственные монахи», «Кузьмы Рощины», проповеди «о грибной пище», арифметику, географию... Она усердно учится и читает, но в то же время какая-то неотразимая сила все сильней и сильней побуждает ее убежать отсюда. Она очень хорошо знает, что надо учиться, трудиться, знать, а вместо того хочется бежать. Смерть разоренного угла до того ясна, до того на каждом шагу доказательна, что Наде хочется нового места, чтоб иметь возможность свободно думать о новом, непохожем на отжившее, будущем...

1. КНИЖКА ЧЕКОВ

ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ НЕДОИМЩИКОВ

I

Иван Кузьмич Мясников, купец и фабрикант, покончив дела, за которыми парочно приезжал в губернский город, возвратился в грязноватый номер грязноватой гостиницы, приказал запрягать лошадей и стал собираться в дорогу.

— Что ж, Иван Кузьмич, мало погостили у нас? — помогая уложить весьма небольшое количество вещей отъезжавшего, говорил трактирный слуга. — Право, совсем и не погуляли в городе-то...

— Нагуляюсь потом... Слава богу, хоть отделался!

— Все ли благополучно покончили?

— Все!.. Хорошо!.. На-ка, вот погляди эту штучку.

Мясников вынул из-под жилета и подал коридорному какую-то маленькую книжку, которую тот с недоумением взял в руки и долго с тем же недоумением смотрел на нее.

— Это что же будет? — спросил наконец коридорный.

— А это, друг любезный, — с довольным и веселым лицом проговорил Мясников: — эта штучка стоит пятнадцать тысяч рубликов! Вот что это такое!

— Этакая муха? Пятнадцать тысяч?..

— Да-да, муха, пятнадцать тысяч... Как ты думаешь? Что?

— Да тут все бумага... все одно, как книжка... Тут денег-то нет нисколько...

— То-то вот и хорошо! Поди-ка, узнай, что это — десть-

ги!.. Чистая бумага, а пятнадцать тысяч в ней весу!.. Называется — чек!

При этом слове лакей повернул перед собою книжку, поглядел на нее с другого бока и уставил ничего не понимающие глаза на купца.

— Это видишь что... Сейчас ты отодрал лоскут и получишь деньги!.. — пробовал-было объяснить Мясников, но так как и при этом коридорный ровно ничего не понял, то хозяин книжки чеков должен был начать рассказывать ему банковые дела со всеми подробностями. Нельзя сказать, чтобы изложение этих дел, продолжавшееся довольно долго, уяснило коридорному значение книжонки, которую он не переставал держать в руках, по временам останавливая на ней внимательный взгляд; тем не менее, когда речь купца была наконец кончена, коридорный вздохнул и в каком-то раздумье произнес:

— Да-да!.. мала-мала штучка, а какую прорву денег вобрала!

Это выражение очень понравилось хозяину книжки.

— Питательная книжка, точно! Именно, что витала!

— Пятнадцать тысяч! — продолжал коридорный: — ведь это в старые годы деревня, да сколько душ крестьян, да лесу... И этакая-то муха слопала!

Слуга замотал головою в знак полного недоумения и отдал книжку купцу, который, продолжая быть вполне довольным, спрятал ее опять под жилет.

— Грехи-грехи! — почему-то пришло коридорному в голову.

Разговор был прерван появлением кучера, который доложил, что все готово.

II

Через час тележка, в которой, закутавшись в мерлушечью шубу (на случай ночных осенних заморозков), сидел Мясников, ехала далеко за городом по проселочной дороге. Иван Кузьмич дремал, болтая головой справа налево и спереди назад. По временам он шарил у себя на груди под шубой, желая удостовериться, тут ли книжка, и всякий раз,

когда рука ощупывала ее, ему почему-то тотчас же припоминалось выражение трактирного слуги: «вобрала»; это слово оживляло его и заставляло невольно припоминать, что именно она вобрала в себя. Но чем яснее представлялись ему составные части этих тысяч и этой книжонки, которая так искусно всосала их, тем менее хотелось спать и становилось как-то скучнее.

Однажды Иван Кузьмич даже вздохнул.

Отчего это? Неужто книжонка «вобрала» в самом деле уж очень много? С другой стороны, неужели в самом деле Иваном Кузьмичом положено в эту книжку так много труда, что мысль об этом труде, явившаяся вслед за вздохом, совершенно успокоила его, — до того успокоила, что он уже не вздыхал больше ни разу, а скоро и совсем заснул?

Необходимо обстоятельнее познакомиться с Иваном Кузьмичом и его деятельностью, чтобы ответить на все вопросы, толпящиеся вокруг книжки чеков.

Иван Кузьмич, как уже сказано, принадлежит к купеческому званию, хотя ровно ничего не имеет общего с тем типом «купца», к которому привык читатель, которого он видел и в лавке, и на сцене.

Между Иваном Кузьмичом и «купцом» старого типа ни в фигуре, ни во взглядах, ни в манере деятельности — нет никакого сходства.

Старомодный купец, как скажет всякий, кто имел с ним дело, жил обманом, богатство приходило к нему темными путями, и слова: «темный богач» так же справедливы по отношению к старомодному купцу, как поговорка: «не обманешь — не продашь» справедлива относительно его деятельности. В нем все было обман. Женился он обыкновенно не на женщине, а на сундуке, но притворялся, что он — семейный человек и живет в страхе божьем, зная, что все в его семье точно так же притворяются и лгут, как и он сам. Обходительность и ловкость, которыми он щеголял перед покупателем, пришедшим к нему в лавку, были не более как средством «отвести» покупателю глаза, «заговорить зубы» и всучить тем временем гнилое, лилючее или спустить против настоящей меры на вершок, а то и на це-

лый аршин, если удастся... Так думали про старинного купца все, да так думал и он сам, потому что, хоть иной раз он и паживал большие кашгалы, хоть иной раз и ловко удавалось ему «обойти» покупателя, — в глубине души он чувствовал, что дело его «нечисто», что каждую минуту его могут уличить и поступить на законном основании, да и на том свете, пожалуй, будет не очень хорошо. Вот почему старомодный купец считал своею глубокою обязанностью радеть ко храму божию, заглушать голос совести стопудовым колоколом или пудовой свечкой местному образу, с которою он обыкновенно, пыхтя и обливаясь потом, пробирался посреди толпы, наполнявшей храм, толкая публику направо и налево. Жертвы храму божьему уснокаивали его душу, сознавшую, что она не очень чиста, но едва ли они могли успокоить его насчет неумолимого закона, которому нельзя ставить никаких свечек, который нуждается в колокольном звоне. И действительно, закон, начиная будочником и кончая губернатором, постоянно стоял над старомодным купцом в самом угрожающем виде. Купец был дойною коровою всех, кто представлял собою какую-нибудь власть. Он давал взятки, подносил хлеб-соль, жертвовал, подписывал на альбом видов, который общество задумало поднести значительному лицу, проезжавшему из столицы, делал иллюминации¹ «в честь»... участвовал карманом в каком-то аллегри² «в пользу» и т. д., не говоря о том, что пирог с приличной закуской — причем всегда должна быть отличнейшая икра и редчайшая рыба (две вещи, неразрывно связанные с словом «купец», как неразрывно связана с этим же словом «листья шуба» и возглас: «книжточку!») — этот пирог не сходил у него со стола для званных и незваных. Квартальный, городничий, частный пристав, брандмейстер³, судейский

¹ И л л ю м и н а ц и я — праздничное освещение города или какого-либо здания, заведения.

² А л л е г р и — розыгрыш с немедленным получением по выигравшим билетам; устраивались с разной благотворительной целью.

³ Б р а н д м е й с т е р — начальник пожарной команды.

крючок¹, ходатай и т. д. все это шло к нему в дом, в лавку и брало деньги, ело икру, рыбу, пило водку, постоянно грозилось и требовало благодарности за спусхождение. Старомодный купец всем платил, всех кормил, чувствуя себя виновным, и только миновав все эти препоны, т. е. накормив, оделив всех, мог завтра опять «заговаривать зубы» и «отводить глаза». Недаром стародавний купец одевался в лисий мех; нечто лисье было во всей его деятельности, а травля, гораздо более оживленная и деятельная, чем бывает травля на настоящую лисицу, преследовала старомодного купца изо дня в день, из года в год. И вот, напугавшись вдоволь, напотевшись за чаем и из страха наказания за свои плутни, этот лиса-человек кончал тем, что под конец жизни прятал свои деньжонки, скопленные обманом и криводушьем, в сундук и, чтобы спокойно дожить остаток дней, должен был притворяться нищим, уверять всех и каждого, что у него за душой нет копейки, а в доказательство справедливости этих слов пытался одной только редькой.

Ничего общего с этого рода типом Иван Кузьмич Мясников не имеет; в физиономии его нет ни той слащавости, которая замечалась у прежнего купца в моменты спуска аршина на четверть против настоящей меры, ни страха, являвшегося при появлении квартального. Напротив, физиономия Ивана Кузьмича — физиономия смелая, уверенная, и эту открытую смелость Иван Кузьмич не скрывает даже в бороду, потому что «по нынешнему времени» он эту бороду бреет. Такая существенная разница между старым и новым представителем капитала объясняется тем, что старый тип считал свое дело в глубине души «не совсем чтобы по-божески», а новый, напротив, ничуть не сомневается в том, что его дело — настоящее, и что отечество также обязано ему благодарностью за то, что он жертвует своим капиталом на общую пользу, и хотя действует из личных выгод, но зато дает другим хлеб, оживляет «мерт-

¹ Судейский крючок — придирчивый и изворотливый чиновник.

ые местности» и капиталы, как пишут в газетах (с которыми Иван Кузьмич частью знаком), — капиталы, которые, по словам газет и по убеждению Ивана Кузьмича, бог знает сколько времени лежали бы без движения, если бы он, Мясников, не приложил к ним своих рук. В этом убеждении Ивана Кузьмича укрепляет общественное мнение, мнение печати и та действительная нищета, среди которой его капиталы, его хлеб — действительно благодеяние. Вот почему взгляд его прям и прост, вот почему ему нет надобности ни виллять, ни бояться: он действует на законном основании. И нет поэтому Ивану Кузьмичу никакой надобности тащить к местному образу пудовую золоченую свечку, чтобы тем успокоить свою совесть, — совесть эта цоккоина, потому что Иван Кузьмич «дает просто оборот своим капиталам», а это не запрещено и в писании ничего грозного на этот счет не сказано. Вот почему и причт¹ того прихода, к которому принадлежит Иван Кузьмич, уж и не ждет от него никакого финансового поощрения, раз навсегда решив, что тут много «не пообедаеть», «не разъесться». Действуя на законном основании, Иван Кузьмич совершенно покоен и с этой стороны, зная наверное, что его никто не посмеет тронуть: на все у него есть патенты, везде заплачено, что следует; без заискивания, без страха, не с заднего крыльца, не тайком в темном углу сунуто, «цидено» в руку, а прямо «заплачено», «что вам следует», и благодаря этому начальство не только не может принять относительно его той угрожающей позы, в которой оно постоянно фигурировало пред купцом старого типа, но по примеру духовенства знает, что тут «больше не ухватишь», и держит себя в почтительном от Ивана Кузьмича отдалении. Словом, сознание, что капитал — сила, что прятать его в сундук — глупость, что делать на этот капитал оборот, что покупать и продавать можно решительно все, что продается и покупается, что получение барыша тоже вполне разрешено и допущено, — все это проводит резкую гра-

¹ П р и ч т — служители культа при какой-либо отдельной церкви (приходе);

лицу между старомодным купцом и купцом нового типа и делает последнего спокойным, уверенным и не боящимся ничего ни здесь, ни там.

И вот вместо того, чтобы по старому обычаю, отправляясь в дорогу по делам, отслужить с водосвятием панутственный молебен, как это делал прежний купец, когда ехал за гнилым товаром в Москву, вместо того, чтобы дать окропить себе лицо и окропить внутренность кибитки и даже внутренность шапки ямщика, Иван Кузьмич, в качестве «нового типа», кладет в карман шестиствольный, заряженный шестью пулями револьвер и совершенно спокойно отправляется «оживлять» мертвые места и капиталы, отправляется в глубину русской глуши, где этих капиталов везде лежат непочатые углы, совершенно недоступные для купца старого закала.

И, словно сказочный богатырь, наделенный непомерною силою денег, Иван Кузьмич начинает буквально двигать горами. Прикоснется он с своими капиталами к дремучему темному бору, грозно шумевшему тучам и грозам: «вороти назад, держи около!»¹ и с материнскою заботливостью дававшего приют тысячам зверей и птиц, и — глядишь — в две-три недели после появления в этом лесу Ивана Кузьмича лес исчез, и уж больше нет этого дремучего богатыря! Разбежался зверь, с шумом, карканьем и плачем разлетелись птицы, и остались одни бревна, кое-где придавившие зайца, спасавшегося бегством, поленицы дров, брусья. А скоро и это исчезнет отсюда, и останется голое, изрытое место да деньги в кармане Ивана Кузьмича, какие-то разноцветные маленькие бумажки, которые тотчас вновь идут в дело, и — глядишь — где-нибудь в другом глухом уголке идет стон и рев, рекою льется кровь быков, свиней и овец... Стадо превращается в мясо, в солонину, в сало, в шкуру, в пуды, в фунты — и все это скоро исчезает, уезжает на скрипучих возах, оставив после себя пустое пастбище да бумажки разноцветные в кармане Ивана Кузьмича, тотчас

¹ «Вороти назад, держи около» — из стихотворения Кольцова

идущие на какое-нибудь новое дело... Но какого бы рода дело это ни было, всегда что-то очень похожее на опустошение, на исчезание, на смерть, чего-то, что было и чего не стало, остается по приведении этого дела к окончанию. Надо отдать справедливость твердости характера и нервов Ивана Кузьмича: он никогда почти не испытывал этого ощущения смерти — ни тогда, когда, треща и крича испуганными птицами и не хотевшими сдаваться топору стволами, падали тысячи деревьев, ни тогда, когда под ножом умирали тысячи быков, тысячи рыб, ни тогда, когда тысячи других тварей, оставленных живыми, с ревом, хрюканьем или беспомощным блеяньем битком набитые в вагоны, крепко-накрепко запертые, увозились на убой неведомо куда. Все это было для него: триста двадцать пять сажень дров, пятьсот пудов сала и столько-то голов скота. Покончив со всеми этими еще недавно живыми саженьями и пудами, он чувствовал только усталость, утомление и убеждался, что деньги достаются не даром, что труда он кладет в них много, и что прозвища: «благодетель», «кормилец», которые иной раз приходилось Ивану Кузьмичу слышать в оживляемых им глухих местах, «пожалуй-что» и справедливые прозвища.

И в самом деле, как, в сущности, ни проста система оборотов капитала, которой придерживается Иван Кузьмич, как ни прост прием обогащения, основанный на том, чтобы в корень извести все, что произвели природа или чужие руки, как ни просто, проглотивши этот многолетний труд природы и человека, положить потом себе в карман чистые деньги, но условия жизни глухих мест бывают иной раз таковы, что и такая система действия, такая голая купля готового добра, такое бесследное уничтожение естественных и трудовых богатств могут по истине считаться благодеяниями, а Иван Кузьмич — действительным благодетелем...

В самом деле, что такое было, например, в деревне Распоясове, где теперь властвует Иван Кузьмич и куда он теперь едет, прежде нежели появились в ней капиталы Ивана Кузьмича.

Лет шестнадцать-семнадцать тому назад вся «округа», ныне облагодетельствованная Иваном Кузьмичом, смело могла быть причислена к одной из самых обыкновенных на Руси глухих местностей... Поля были бесконечные, оживленные только скачущими галками и воронами или фигурой крестьянина с сохой, издали весьма напоминавшего собою тоже ворону. Лес, темнеющий по окраинам этой холмистой равнины, был лес глухой и дремучий; летом, в самый разгар полуденного зноя, в глубине этого леса чувствовалась прохлада, пахло влажной землей, и нога вязла в гнилых сгнившей и тоже влажной листве. Солнцу было трудно проникнуть сквозь густую чащу ветвей и листьев, и только иногда луч его, как алмаз, блестел где-нибудь на поверхности быстрого ручья, гремящего по оврагу, совершенно затерявшегося в обильной растительности... Глушь и тишина царствовали здесь поразительные: лес стоял словно в заколдованном сне. Привольно жилось здесь зверю и птице; великое множество было здесь кустов с ягодами; великое множество рыбы сновало в быстрой речке... И никто не прикасался к этим сокровищам, и никто, казалось, не вспоминал и не думал о них... Раз или два в течение двух-трех лет, в летнюю или осеннюю пору, удавалось кой-кому увидеть выбегающего из лесной чащи сетера, и по этой собаке догадывались, что барин воротился из-за границы и охотится в своих владениях. Нагнув голову и заложив руки назад, рассеянно бредет он вслед за обезумевшей от обилия дичи собакой и о чем-то, повидимому, скучает, о чем-то крепко думает; ружье лениво болтается у него за спиной... О чем же думал барин? Думал он, несомненно, об очень многом, но выходило всегда как-то так, что думы эти ничуть не изменяли печального положения тех мест, где бродил он; несмотря на обилие всего, что росло и жило в лесу и реках, находившихся во власти этого барина, несмотря на громадные пространства полей, — леса эти, и поля, и реки и после его отъезда за границу (он был болен) оставались в том же забвении; кое-где среди

бесконечных владений его торчали черные, нищенские деревянные, виднелся тощий человек, носивший уже кличку «вора» и «неплательщика», потому что действительно покушался прорваться в эти дебри за дровами, за ягодами, за рыбой, поровил урвать тайком, а что «следовало» платить — платил не иначе, как из-под палки.

Богатство стояло забытое, никому ненужное и никому недоступное. У барина пропадал аппетит охотиться в лесу, где каждый выстрел попадал в цель — так было много всякой твари; у мужика не было дров зимою, и он зло в разоренных лачужках, выводился со связанными руками из леса, если, конечно, попадался на глаза сторожу, или уходил без ружья, если тот же сторож замечивал в нем намерение убить тетерьку. Вот в каком виде была распоясовская округа лет шестнадцать тому назад: всего много, и никому нет от этого пользы. Барин скучал, страдал меланхолией¹, мужик бедствовал и тоже терял аппетит жить на белом свете.

Освобождение крестьян сразу покончило с этою обоюдною меланхолией барина и мужика. Как только, благодаря этому событию, что-то такое «отошло» от мужиков к господам, от господ к мужикам, тотчас же и в тех и других появились первые проблески чувства собственности; как только какой-то кусок леса или поля стал чужим, барин сообразил, что все это — «мое», и как только увидел это же самое мужик, то и он тоже сообразил, что ведь это — «наше».

«Мое» и «наше» — ощущения до такой степени были новыми для меланхоликов и до такой степени оказались кстати как для души барина, так для души и желудка мужика, что аппетит к «моему» и «нашему» стал возрастать не по дням, а по часам — и у барина и у мужика.

У старинного управляющего распоясовской округой явилась в это время довольно счастливая мысль; оказалось, что места, на которых издавна сидели распоясовцы, как

¹ Меланхолия — уныние, тоскливая задумчивость, душевная вялость.

раз подходят под что-то такое, что ежели это что-то «округлить» с чем-то — как раз четверо можно получать доходу более против прежнего. Для этого стоит только переселить распоясовцев куда-то в другое место, где им все подстать и «еще лучше прежнего».

Управляющий сообщил этот план барину, и хотя барин колебался в своем решении, но проклятый, совершенно прежде неведомый аппетит к «моему» довел его наконец до того, что он как бы прирос к сознанию, что это — его собственность.

«Ей-богу же, ведь это мое!» — стало все чаще и чаще думаться ему среди всяких соображений за предложение управляющего и против него, и наконец, уехав за границу, он написал из Лозанны управляющему, чтобы он действовал, как знает, «как лучше».

Управляющий принялся за дело, «наши» тоже оцетинились, началась свалка.

Сильно оцетинились «наши». Жажда свалки и победы, имевшей целью, как уже сказано, удовлетворение весьма простых стремлений желудка, успливались теми мечтаниями насчет лучшей жизни, которые тоже как бы пробудились в момент освобождения. Эти мечтания были неопределенны, вырастали под влиянием рассказов древних беззубых стариков о старике, наполнялись правоучениями прохожего богомольца, беглого солдата, но, благодаря почти непроницаемой темноте крестьянской избы во время сумерек, когда, «сумерничая», мужик обыкновенно слушал эти рассказы солдат и богомольцев и предавался мечтам, мечты эти, хоть и неопределенные, уносили его мысли высоко-высоко и далеко-далеко от крестьянской избы... Так далеко, что, пачав песню над ребенком, в которой говорилось, что попевка, лежащая под ним, «попелочка худая, ровно три года гнила», и заслушавшись рассказов и замечтавшись, крестьянка бросала этот грустный мотив и, обращаясь к ребенку, почти с уверенностью говорила: «вырастешь велик, будешь в золоте ходить»... Таковы были вполне песбыточные мечты распоясовского мужика, воспитанные темными, угрюмыми зимними вечерами; они до такой степени подня-

ли дух распоясовских обывателей, что обыватели эти решились в предстоящей битве не жалеть своего добришка, так как, думали они, «наше дело верное!»

— Распоясывайся, ребята! — галдели они. — Не жалеи! втрое воротим... Вынимаи кошели-то! Эй, старик! Чтò у кого есть под печкой — волокн... Обчисво!.. Надо в гóрод посылать человека верного. Дедушка Пармен! Постой за мир! Расправь кости, обхлопочи!

— Пожалейте меня, православные! — говорил дедушка Пармен, восьмидесятилетний старец. — Ох, натерпелась моя спинушка!

— Уважь сиротские слезы! — напдвигались на него распоясовцы. — Кто, окромя тебя, имеет в себе ум? Мы — народ черный, путем света не видали. А ты изжил век, — стало, все как по писаному видишь... Постой за наши животы! Дед, а дед! Побойся бога, не дай в обиду!

— Ох-о-ох, пожалейте мою древность ветхую, детушки! о-о-ох-ох...

— Дед! Пармен! — вопняли распоясовцы: — алл тебе крестьянского разоренья не жалко? Чисто все помрем...

Долго редела толпа, и долго, обливаясь слезами, оборонялся от нее старый дед, по наконец-таки сдался.

— Н-ну! — сказал он, выпрямившись и осушив глаза решительным движением мозолистой, корявой руки. — Коли так, так, стало, божья воля мне потерпеть еще на старости лет!

— Авось бог, паше дело чистое!..

— Видно, уж господь, батюшка Никола милостивый так осудил меня венцом — иду!

— Дай тебе господи! Пошли тебе царица небесная! — голосила воодушевившаяся толпа.

— А чтò деньги дадите, так я единой копейки не покористуюсь...

— Дед! дед! Грех тебе, старому, этак-то говорить... — упрекали его распоясовцы: — такие слова про своего брата. Делай по своему уму, как тебя господь вразумит... Ступай с богом, постой за своих!

И вот старый дед, с котомкой за плечами, с длинной пал-

кой в сухой руке, неровною поступью худых тощих ног, обутых на мирской счет в новые лапти, пошел «воевать» за правое дело. Давненько-таки, признаться, он не бывал в городе, с тех самых пор, как сорок лет тому назад сидел в городском остроге, из которого и пошел прямо в Сибирь. А после Сибири, когда по манифесту ему вышло прощение, он не показывал в город и глаз и отвык от всех городских порядков. А порядки с тех пор шибко изменились; подъячий¹, который, взяв взятку, делал в прежнее время то, что хотел, то, что выходило по деньгам, вывелся. Пармену оставалось одно: положиться во всем на бога, на его милость и указание. Для большего успеха в своем деле он не ел, не пил по целым дням, желая постничеством угодить богу, а мирские деньги ревностно раздавал тем, кто обещал постоять за расноясовцев, причем он слезно плакался и умолял не погубить... Но в то время, когда старец Пармен постился и слезно плакал перед лицами, бравшими его деньги, как-то незаметно пропускались очень важные сроки к подаче прошения, к выслушанию решения, к изъяслению несогласия, к апелляции² в законный срок. Пропускались эти маленькие пустячки потому, что кому-то, знавшему эти вытучки, выгодно было молчать о них перед темным мужиком.

Таким образом выходило как-то так, что едва Пармен возвратившись из губернии, объявлял миру, что все-слава богу, что приказано ждать «тайного чиновника»³, который все поверлет против «их», являлся исправник или становой и объявлял, что:

— На основании тома... статьи... и на основании статьи... тома... уложения⁴... и по случаю пятнадцатого примечания к тому... статье... и параграфу... определено: объявить крестьянам деревни Расноясово, что просьба их

¹ П о д љ ч и й — служащий старинных канцелярий.

² А п е л л я ц и я — обжалование решения суда.

³ «Т а й н ы й ч и н о в н и к» — здесь мыслится не существующее лицо, созданное воображением.

⁴ У л о ж е н и е — собрание законов.

возвращается без последствий за пропущением срока. и «постановление» входит в законную силу...

Так как во время отсутствия Пармена крестьяне тоже возлагали надежды на бога, а убеждение в правоте своего дела основывалось у них исключительно на мечтаниях в темные осенние и зимние вечера и ночи. то, не понимая путем того, что читал приехавший чиновник. они догадывались однако, что в бумаге нет ничего насчет того, чтобы все «повернуть к ним», как обещано, и поэтому говорили, что эта бумага «не та», что подписывать ее не будут...

— Согласу нашего нет! — говорили они.

— Несогласны?

— Никак нет Эта бумага фальшивая, наше дело правое. Дедушка Пармен. так аль нет?

— Фальшивая, детушки, бумага! Не она, не наша! Ступай ты, барин, с ней, откуда пришел!

— Так несогласны? — переспрашивал приезжий.

— Будет зубы-то заговаривать! — отвечала толпа. — Бери ее себе, бумагу-то.. а нам она не нужна! Подделка!

Приезжий все это вносит в протокол, причем Пармена расспрашивают особенно подробно. и затем, написав все это на нескольких листах, отправляют по назначению. Распоясовский мужик везет эту бумагу куда следует и погоняет лошадь. На распоясовских лошадях уезжает и чиновник. Распоясовцы не знают, что, пропустив по своему невежеству сроки, они впутались еще в новое дело. Напротив, после этой «фальшивой» бумаги они как будто ожесточаются относительно размеров жертв, которые нужно принести за свое дело правое.

— Ну-ну, робя, распоясывайся! Распоясывайся, миряне! Закипают дела, не жалей. покоряй их своими животами! Неужто так пропадать?..

— Зачем пропадать? Последнее надоть отдать, а не только что...

— Дедушка Пармен, стой и во вторительном подвиге. Окромс тебя кто же?

— Ты уж ходил — знаешь!

— Приму свою копчину за свое племя!.. Собирайте в дорогу!.. Отдаю вам свой живот, только молитесь бога о грехах моих... Может, это от грехов моих бумага офальшивилась против нас.. Прощайте, православные!.. Простите, чем обидел!

И вновь отправляется Пармен, еще более длинный, еще более худой, вновь принимается молить бога и поститься, и — увы! — не возвращается. Отыскивать Пармена берется дьячков сын, служивший уже в каком-то присутственном месте в губернском городе и знающий, по его словам, все порядки. Он вызывается ехать в город, обещается делать все скоро и дешево: мир, подумав, дает и ему денег, но не пускает его одного, а наряжает в спутники ему мужика из своих, так как человек этот хоть и мастер в бумажных делах, в переписке и отписке, но давно уже известен всему Распоясову как пьяница и человек ненадежный. Перед отъездом ему рекомендуют вспомнить бога и поминать о сиротских слезах... и т. д.

Дьячков сын не жалеет мирских денег на взятки и угощения. В номере на постоялом дворе, где он остановился вместе с мужиком, идет непробудное пьянство несколько дней кряду и такое бесчинство, что депутат и проводник только дивится на господ и «ужахается». Пробовал-было он занкнуться о «наших» делах, но дьячков сын, будучи пьян, только обругал его и как будто даже доказал, что дело их давно пропало, что хлопотать тут уж больше нечего и что все давно пошло своим чередом против них. Но на утро он оправился и отпустил мужика домой, сказав, что он, дьячков сын, останется ждать в городе какой-то бумаги, в которой именно и будет сказано все, что следует...

И опять идет бумага, и опять ее везет становой, и опять в бумаге что-то как-будто «не так». Оказывается, что в то время, как они галдели с дядей Парменом о вторичном его путешествии, я в то время, как пьянствовал в городе дьячков сын, истек еще какой-то срок, день или час, в который можно бы было что-то сделать, а после которого уже решительно «все пропало»

— И поэтому говорю вам по чести: сделайте переселе-

ние добровольно... — прибавил становой. — Это будет вам выгоднее; если же вы будете продолжать упорствовать, то... и т. д.

Несмотря на полную справедливость того, что говорил становой пристав, распясовцы видели, что это — вовсе «не то», что им нужно, и опять не дали «согласу».

— Так несогласны?

— Никак нет! Согласу не даем.

— Не подписываете?

— Храни бог греха...

— Но ведь ваше дело проиграно?..

— Это — не та бумага!

— Фальшь!..

— Как твоя фамилия? Кто это сказал: «фальшь?» —
выходи сюда: кто ты таков?

— Братцы! Не выдавай!..

— Что-о-о?..

В шуме и гаме пишется новый протокольчик, и новый распясовский мужик везет его куда следует, погоняя лошадь. И становой уезжает тоже на распясовских лошадях.

Эти два неожиданных удара, эти две бумаги, так жестоко обманувшие надежды распясовцев, так много поглотившие денег, разрушившие так много мечтаний, в первую минуту до того потрясают распясовцев, что они не знают, что делать. Нет у них никого, к кому бы обратиться — узнать, как быть: дьячков сын пропал, Пармеп пропал, никто ничего не знает. Старшина гнет на «ихнюю» сторону, в сторону фальшивой бумаги. Что тут делать? «Да неужто нет правды на свете?.. Время теперь не прежнее!..» И, как только эта мысль о правде вступает в головы распясовцев, остолбенение их тотчас же заменяется жаждою борьбы, в сотни раз сильнейшею той, которая двигала ими в первых двух попытках.

— Али правды нет на свете? — гремит «коповод», вдруг взявшийся незнамо откуда. — Подымай, ребята, последними животами!.. Все одно помирать!

— Выпускай последний дух!.. Авось сыщется правда-то!

— Бог-то на небе, чай, есть! Н-но! За одно!

Этот момент в жизни распоясовцев был полон таким удивительным самоотвержением, какое бывает только в самые решительные минуты. Выворотив все, что «оставалось», «выпустив последний дух», распродав «коровенок, свченок», распоясовцы стали доходить до Москвы, которая казалась им выше губернского города, стали доходить в Петербург, после того как Москва «просолила дело». И когда в Петербурге тоже оказалось что-то плохо, то, воодушевившись мыслью, что Петербург сошелся не клином, стали распоясовцы достигать до Сената¹ и т. д., пока не уперлись в пересылающую тюрьму. Оставшиеся дома распоясовцы ждали результатов с непоколебимым терпением. Не было случайно проходившего или проезжавшего через их деревню человека, к которому они не адресовались бы с расспросами о своем деле и не совали бы ему поросенка, чтобы он сказал все, что знает. Самп они не знали ничего.

— Где у вас бумаги? — спрашивал заинтересовавшийся проезжий.

— Бумаги даны Пармену.

— А Пармен где?

— В губернии.

— А где такая-то бумага?

— Дьячков сын, Антипкин, взял.

— А где же он?

— Неизвестно...

— А такая-то?

— А такой и не было.

— Должна быть...

— Может, у Пахомки... У Пахомки надысь оглядел я бумагу.

— Как у Пахомки? У Радивона! Радивоч сказывал, говорит, у него вишь!

— У Радивона воспяная бумага, эво ты! Прилущать оспу...

¹ Сенат — носящий название правительствующий — был в царской России высшим распорядительным и судебным учреждением.

- А може...
- Так нет бумаг?
- Бумаг у нас, надо говорить прямо, нету!
- Ну, так ничего и нельзя делать!
- Ничего?
- Ничего нельзя!..

Таков был большею частью ответ всех, кто понимал дело или хотел понять его. Всякий раз распоясовцы после таких расспросов становились грустнее и все больше и больше чувствовали железную силу незыбля и бессильно разорвать эту паутину «сроков», «просрочек», «апелляций», «кассаций», «скопий». Спасибо, большое спасибо прохожим богомольцам, отставшим солдатам и прочему захожему люду, тоже, как и распоясовцы, не понимавшему в этом деле ровно ничего. Те всегда говорили, что их дело верное, что повернуть его можно как угодно, что стоит только дойти куда выше, а там только черкнуть и сразу перевернуть всю округу. Солдаты особенно ярко представляли возможность успеха. Они сами бывали в Петербурге и видели все, и знают, «а что ежеля становой там что-нибудь, так в Петербурге становые продаются по грошу пара!» Точно сахар, вести эти расплывались по сердцу распоясовцев... Однажды Мирон Петров, распоясовский мужик, ездивший к Троице-Сергию, привез подобную же весточку и от петерских ходяков, которых он, впрочем, не знал, а слышал, что на станции одному купцу кто-то сказывал, что вышло распоясовским «в пользу», а купец все это рассказал Мирону, да и купец-то какой-то незнакомый...

«Должно, добер купец-то!» — думали распоясовцы.

Но куда шли эти расспросы, рассказы, куда распоясовские мужики медленно шли и перевозились по этапу домой, сроки все были пропущены окончательно и безвозвратно, и при наступлении осени уездный исправник, явившийся в деревню на тройке собственных лошадей, с колокольчиком и бубенцами, очень коротко и просто объявил, что с завтрашнего дня распоясовцы должны переселяться.

Он прочел им все бумаги, которые когда бы и куда бы то

ни было подавали распоясовцы, прочел решение по бумагам петербургских ходяков и повторил, что после всего этого разговаривать нечего. Если же, прибавил он, распоясовцы попрежнему будут упорствовать, то переселение будет сделано полицией на их счет, что рабочих теперь — сколько угодно, потому что — осень.

Распоясовцы ничего не понимали.

Исправник растолковал им опять дело с начала и до конца; они все-таки не могли понять ничего.

И в третий раз было все им разъяснено и доказано. И в третий раз они не понимали и не верили.

Очнулись они только тогда, когда им предложили подписать что-то. Тут они опять увидели «фальшь» и подписать отказались.

И опять три раза было, как по пальцам, рассказано все дело, и опять предложено подписаться, и опять они не тронулись с места и «согласу» не дали.

Составлен был третий протокол, и третий распоясовский мужик отвез его, погоняя лошадь, куда следует.

Предложение «подписать», напоминавшее распоясовцам два таких же «фальшивых» предложения и изворотливость, с которой они отстаивали «свои права» и не подписали их, на некоторое время было оживило их и воскресило некоторую надежду, что еще будут хорошие новости, что вот-вот придут петербургские ходяки, что вот-вот приедут какие-нибудь «особенные» чиновники и повернут все дело по-своему. Но на следующий день, с восходом солнца, восемьдесят человек народу, собранного со всех окрестных деревень, пришли в Распоясово.

— Вы что, ребята? Здорово! — спрашивали распоясовцы.

— Здравствуйте! Да вот напялись...

— На пересел, вишь, сгоняли...

— Али это нас разорять пришли?

— По делам так, что в роде как вас!

— Ни-ча-во!

— Нам что же? Восемь гривен в день!.. Суди сам!

— Цена хорошая!

- Паше дело, сами знаете, чай...
- Так-то так! По восьмип гривен?..
- По восьми...
- Шабаш, значит!..

Это событие сразу разрушило все распоясовские надежды. В довершение беды скоро вслед за рабочими приехал исправник и подтвердил, что рабочие паняты на счет распоясовцев, и если поэтому распоясовцы добровольно не исполнят того, что следует им исполнить, то рабочие сейчас же приступят к делу.

Минута была тяжелая для распоясовцев. Надежды и мечты были разрушены окончательно; они ничего не могли сообразить ввиду очевидности их неудачи, и вместо того, чтобы негодовать, шуметь и буйствовать, чего так ожидал исправник, они совершенно ослабли духом, отчаялись, впали в глубоко-упорную апатию. «Помереть!» — было единственным желанием почти всех распоясовцев, а фразою: «нам легче помереть» — они отвечали на новые бесконечные доказательства безрассудности их упорства и окончательно проиграли дело.

Истощив все усилия в борьбе с этим окаменелым состоянием народа, исправник скомандовал наконец: «домай!»

Рабочие принялись за дело.

Три недели шла ломка распоясовских дворов; три недели над деревней стояла пыль густым облаком от развороченной соломы крыш, разломанных печей; три недели от Распоясова тянулись возы с бревнами, с рамами, с досками от крыш, с оторванными дверями и пр. и пр. Исправник ходил весь черный от пыли и еле таскал поги от усталости. Он совершенно охрип, — так много было работы.

Распоясовцы молча, словно каменные статуи, смотрели на это разрушение. Они, действительно, как бы окаменели, ничего не ели, не слышали и не видали.

— Прими ребенка-то, сумасшедшая! — кричал исправник распоясовской бабе. — Ведь убьет! Дура этакая! впадись, стропило падает!..

Баба стоит и не слышит, и только бог спас ребенка: стропило упало рядом с ним.

— Пить! — буркнул распясовец, глядя, как бревно проносилось над ребенком.

В другом месте никто не тронулся с места, когда среди разрушающегося дома раздался раздирающий женский вопль. Оказалось, что там лежала беременная женщина в последних муках...

— Православные! — обращались рабочие к распясовцам: — помогите старичка снять с печи, что вы столбами-то стоите? Дьяволы этакие!

И на это приглашение никто не отвечал: всем было «все равно», все были словно каменные.

Через три недели Распясово представляло такой вид: груды содранной с крыши соломы валялись на тех местах, где прежде были дома, амбары, сараи; от домов остались заваленки, от погребов — ямы, от сараев кое-где торчали столбы. И среди этих груд соломы без призора бродила скотина, тщетно взывая к какому-нибудь вниманию хозяина; в этой же соломе возились дети и спали родители, не раздеваясь и не черемenea белья и одежды с первого же дня разорения деревни. Что они ели? — отвечать трудно. Хлеба они не сеяли и не собирали. На берегу реки кое-где виднелись вырытые в земле печи, по временам дымившиеся, около которых возились женщины.

Распясовцы не шли на новые места и держались по-прежнему убеждения, что «лучше помереть».

Настали осенние дожди... Распясовцы сказали себе:

— Ну, робя, тепериче чистая приходит наша смерть! Эгдавай, ребята, богу душу.. Помирай!

И все-таки не шли с старых мест. Вместе с больными ребятами мокли они в мокрой соломе, в ямах, оставшихся после погребов и выломанных печей.

И действительно стали помирать...

Наконец всех их отдали под суд.

IV

Пропустивший «сроки» распясовец ослаб духом совершенно; он очевидно потерял все; он очевидно не знал, в чем дело, был дурак, невежа, и это сознание своей глупо-

сти отозвалось в характере распясовцев полным презрением друг к другу. Они, как собаки, грызли и вредили друг другу на новых местах: всякому было отвратительно видеть в другом наипитого дурака, который из-за своего невежества и дурости разорился сам, да и других разорил. Поэтому при следствии «об упорстве и неисполнении и т. д.» — они валили все друг на друга: валили на Пармена, на всех, кто первый кричал: «постонм за свои животы», «подымай, ребята, своими животами», и на всех, кто «первый» отдавал эти животы...

Закончив долголетнюю историю своего терпения и бедности сознанием своей глупости, ничтожества, — такого ничтожества, которое может быть во всякое время выкинуто вон, как сор, распясовец чувствовал внутри себя полный разгром, разврат и стал пропивать все, что оставалось, стал воровать, изнаглед до того, что прямо подходил к проезжему кушцу и говорил:

— Ну что ж, купец, давай на чаек-то?

— За что?

— А за разговор. Мало тебе этого? Вынимай-ка желтую-то бумажку!

И вот, в такую-то минуту нравственного падения, грозившего потопить распясовца в море самой крайней нищеты, однажды по осени, в самое трудное для распясовцев время, когда приходилось вносить недоимки, в маленькой тележке, запряженной добрым мерепком, появился Иван Кузьмич вместе с управляющим. Они, очевидно, объезжали и осматривали «округу». Меренок шел свободно и весело по дороге, Иван Кузьмич просто и прямо оценивал, «что чего стоит», и скоро стало известно, что «купец снял» у барина «все» — и лес дремучий, и реки, и поля, — все, все до нитки. Скоро повораспясовцы узнали, что и их Иван Кузьмич «тоже снял» всех до единого: «полтина в сутки пешему и рубль конному; кто хочет по этой цене итти на станцию за пятнадцать верст принять оттуда паровик — иди».

Такова была прокламация Ивана Кузьмича к народу.

«Человек - полтина» — вот суть теории, приме-

сенной им в распоясовскую среду. Тут не предполагалось никаких рассуждений о том, что — наше, что — ваше. Насчет каких бы то ни было «правов» тут разговора быть уже не могло. Просто: хочешь полтину — иди, не хочешь — не надо. Все это потерявшему внутренний смысл распоясовцу было как нельзя лучше по душе: у него после полного нравственного разгрома оставались целыми руки, ноги, мускулы и желудок. Иван Кузьмич только того и требовал, назначив желудку полтинник в сутки и, самое главное, — юдку.

— Повезем, ребята, — говорили его приказчики, скликая распоясовский парод: — повезем одной водкой!

— Дай вам бог за это!.. — кричали распоясовцы.

— Насчет водки не робей: сколько хошь пей, только дело делай!

— У нас вот как дело закипит — ключом!

И действительно, скоро закипело дело.

Тысячепудовое чудовище наконец приехало из Москвы на станцию железной дороги и, окруженное массою распоясовского народа, тронулось оживлять мертвую округу. Широко разинуло оно свою нелепую железную пасть, как бы грозясь поглотить всю эту благодать, которая открывалась перед ним, всю эту рвань, которая копошилась вокруг него. Медленно и грозно двигается оно вперед, то затрещит и рухнет под ним гнилой мост, то застрянет оно на крутом подъеме. Визг кнутьев по ободранным, обезумевшим от усталости лошаденкам, оранье обезумевших от водки распоясовцев, оранье хрипкое и изо всех кишек, оранье переполненное ругательствами, бранью, песнями, целою тучей висит над этим чудовищем, и оно кой-как вылезает из ямы и идет дальше. То вдруг, на крутом повороте, когда разойдутся и лошади и люди и с гиканьем мчат его вперед, оно вдруг свернется на-бок и растянется на пашне, раздавив под собою и дядю Егора, и дядю Пахома, да Микишку, да Андриюшку... Долго лежит тут душегубец-чудовище, ожидая судебного следователя и следствия, и полчище распоясовцев долго, несколько дней подряд пьянствует, ругается друг с другом... Много разбитых в драке во время

этого продолжительного безделья лиц, совершенно черных щипок у глаз, запекшейся крови на висках видно в то время, когда чудище снова двигается вперед, и снова выбиваются из сил лошаденки, хлещут кнуты, и пьяное ораше наполняет воздух.

Кое-как этот «человек-полтина» дотащил чудовище до места, до быстрой речки, пробежавшей в лесу, которого теперь почти уже не было... Масса распоясовцев, превращенных уже в «полтинники», сводила его самым усердным образом, превращая в сажени, в срубы и т. д. С треском валились деревья, громко распосились песни, звон шел и стук топоров, и вечером, когда все это замолкало, начинал гудеть и дрожать от плясу, брани и драки выстроенный Иваном Кузьмичом из этого же лесу кабак.

— Голова только наш Кузьмич, братцы! — охмелев, бурчал распясовец. — И-и, башка!

— Довольно чисто поворачивает делами, падо сказать прямо, — себе имеет пользу, да и нашему брату способно.

— Хлеб дает бедному, во-от! — прибавлял третий.

— Ав-вось не помрем... Налей-ка еще стаканчик!

— Во-ота! Еще то ли будет! Сказывают, взрывать все хочет начисто... Деревянный камень какой-то есть... Наливай!

— Эх, ребята, попьем, погуляем!.. Денежки-то вот они... Нового чекану, по старинному счету два рубля... Наливай, наливай, друг!

— Уж и мне, старухе, стаканчик пожалуй-что придется с вами, с молодцами, выкушать... И у нас кузьмичевы есть деньги, три пятака, пожалуй-что полтина, — чего ж и не погреться старухе?

— Пей, старуха! У Кузьмича денег много!.. Пойдем деревянный камень рыть, — все воротим. Наливай!

И действительно, после того как исчез лес, Иван Кузьмич попал на камень и стал рыться за ним в глубь земли, таскать его оттуда и продавать до тех пор, покуда не вытаскал весь, и покуда вырытые им пещеры не обвалились и не задавили несколько десятков человек. Тогда оказалось, что и железа в этих местах видимо-невидимо! Иван Кузь-

мич принялся за железо. Рыд, вывозил и продавал, а деньги возил в банк и получал книжки чеков.

Вот что мы знаем об этих книжках, которые он почти каждый год привозил с собою из города. Много ли впитали они в себя добра? Об этом пусть судит читатель.

V

...Иван Кузьмич только вечером того дня, когда получил в городе последнюю из своих книжек, доехал до своего местопребывания, в распоясовскую округу. Ярко горели окна фабрики, где дымил и свистал чудовище-паровик. Шумела мельница, стучали толчея и крахмальный завод. Иван Кузьмич все скупал, все молот, толлок и продавал. Тысячи народу копошились на фабрике, на заводе. Сюда была согнана вся распоясовская округа — по рублю, по полтиннику, по четвертаку, и даже самые маленькие мальчики и девочки могли зарабатывать по гривеннику в день, занимаясь щипаньем корнин, которую доставляли из больниц в гною и крови и которая шла на бумажный завод. Все было поставлено к делу и оцепено.

Иван Кузьмич жил в центре этого поселка, в маленьком домике, с окнами на все четыре стороны, из которых было видно все, что ни делалось вокруг него.

Когда он вошел в свой домик, в комнате было жарко натоплено, и на столе уже кипел самовар. Он не был женат, но прислуга у него была ловкая, знающая, с кем имеет дело.

Иван Кузьмич напился чаю. Пил он его долго, часа три, расспрашивал про то, что было без него. Все, оказалось, обстояло благополучно...

По окончании чаю Иван Кузьмич прилег.

Все было, кажется, хорошо, а чего-то — это Иван Кузьмич чувствовал постоянно — как будто ему и недоставало. Несколько раз мысли его останавливались на женитьбе. Но, подумав хорошенько, он находил, что это — чистая глупость... Поэтому-то и теперь он решился отделаться от скуки так, как отделялся обыкновенно.

— Иван! — сказал он как-то серьезно.

Явился лакей.

— Что на толчее?

— На толчее ноне плохо, Иван Кузьмич.

— Как плохо?

— Всего две бабы, и то старухи... Вот на мельнице —
есть.

— Кто такая?

— Андропова — из Больших Озер.

— Ну, хорошо!..

— Муж с ей...

— Сунь ему зеленую!

Лакей с улыбкой вышел вон и отправился на мельницу.

Все это еще недавно была вещь вполне невозможная. Но после того, как человек стал цевиться в рубль, в полтинник, — и полтинник и рубль стали — все!

— Иди, иди, любезная!.. Торопись, матушка! Потаскайка вот этакую пасть с собою — узнаешь, какво они сладки, платки-то красные да мелочь-серебро...

Так говорила какая-то женщина, с ребенком на руках, проходившая мимо дома Ивана Кузьмича в то время, когда вслед за его лакеем бегом вбегала по ступеням крыльца какая-то женщина.

— О, дуры, дуры набятые! — вздыхая, говорила женщина с ребенком. — Одной есть нечего, а тут и другое горло таскай... Чай, он отцом-то не хочет быть...

Слово «он» относилось к Ивану Кузьмичу. Ребенок апатично смотрел через плечо матери куда-то вдаль.

Что ждет его?

Никаких золотых нарядов, которые сулила своему сыну размечтавшаяся крестьянка, фабричная женщина сулить не может: она знает, что цена ее мальчонке долгое время будет гривенник, потом двугривенный, и так до рубля, а уж дальше ничего, ничего не будет! Сама она про себя знает, что цена ей ничтожная, что хватает только кормиться... Что же она скажет своему мальчишке? Что же может выйти из него, кроме человека, который нужен в делах Ивана Кузьмича — как сила, как дрова, как тряпки?

ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ

...Плохой клубный ужин был съеден, плохое клубное вино выпито, но небольшое общество, успешно совершивши и то и другое, не расходилось и продолжало сидеть за жиденьким клубным столиком.

Пять человек, сидевшие за этим столом: медицинский студент, его сестра, сельская учительница, неудавшийся и скучающий своим фраком¹ и белым галстуком адвокат, проклинаящий свою газету фельетонист² и так просто человек», служащий в банке, — все это общество испытывало по окончании ужина только Петербургу свойственное вялое утомление — результат суетливого, но ни капли не интересного дня... Вяло велись разговоры, поминутно перерываясь длинными паузами³ и касаясь тысячи разнообразнейших предметов, что не только не способствовало оживлению беседы, но, напротив, делало из нее какое-то несносное, не имеющее цели бремя... Так тянулось довольно долго, когда случайно кто-то из собеседников заговорил о самоубийствах. Грустная тема эта — как странно это покажется — вдруг оживила разговор: в самом деле, в последние годы мания⁴ самоубийства черною тучей пронеслась над всем русским обществом, и едва ли в нем найдется кто-нибудь такой, которого бы эта беда не интересовала, помимо беды общественной, еще и с личной точки зрения. У каждого беда эта унесла кого-нибудь, с кем была близкая или дальняя связь родства, близкое или дальнейшее знакомство.

Оживившийся разговор пяти клубных посетителей сразу показал, что вопрос о преждевременной смерти занимал

¹ Фрак — мужская одежда, куртка, с вырезом спереди и длинными полами сзади; костюм этот в старом быту надевался в торжественных случаях.

² Фельетонист — газетный работник, специальностью которого являлось писание очередных статей на злободневные темы, помещаемых в нижней части газетного листа.

³ Пауза в речи — внезапная остановка, перерыв.

⁴ Мания — здесь в значении пристрастия.

каждого из собеседников едва ли не более всех других вопросов, которых в таком обилии касался сегодняшней вялый, скучный разговор за ужином. Оказалось, что всякий подумывал об этом деле и подумывал не раз, и у всякого был материал, разработанный каждым на свой образец, и разработанный довольно тщательно.

Случайно подвернувшаяся тема была так всем близка и интересна, что немедленно и единогласно было потребовано еще две бутылки клубного вина, что предвещало всеобщее желание толковать и толковать обстоятельно, т. е. предвещало еще две или три бутылки в окончательном результате.

Поддерживаемый первыми бутылками разговор пошел оживленно и бойко; припоминались случаи, виденные, слышанные, приводились всевозможные объяснения: ревность, любовь, запутанные дела, оскорбленное самолюбие и пр. и пр. и вместе с тем пытались взглянуть на дело вообще, подвести итог своим наблюдениям, своим мыслям по этому предмету.

Крайне разнообразны были общие взгляды на коренные причины эпидемии¹ самоубийств; но то обстоятельство, что маня эта могла появиться и разрастись только в настоящее время, — это всеми признавалось единогласно. Все были согласны, что новое время русской жизни было главной причиной к тому, чтобы началось это поголовное самоубийство, и что главная, существенная черта этого нового времени — необходимость жить своим умом, самому отвечать за самого себя, необходимость, осевшая сразу сотни тысяч народу, благодаря крепостному праву со всеми его многочисленнейшими разветвлениями, в виде всевозможных родов дармоедства и дармобытия, не имевших ни возможности, ни сил, ни умения распознать в себе образ и подобие божие.

Фельетонист, проклиная свою газету и свою профессию, утверждал, и притом самым настоятельным образом, что холопство, вбитое в русского человека, — главная

¹ Э п и д е м и я — повальная болезнь.

причина и корень всех ненормальных, безобразных явлений современной действительности. Несомненно одностороннее мнение это фельетонист обставил рядом нахватавшихся отсюда и отсюда доказательств, из которых вышло примерно следующее: русский человек до такой степени лично уничтожен, что совершенно отвык видеть в себе человека, т. е. разумное существо, созданное, как утверждают, по образу и по подобию божью, имеющее право жить, дышать, думать и поступать; он утверждал, что замордованный русский человек ценит в глубине души только жестокость, несчастье, палку; полагает кровью и плотью своею, что нечто постороннее, жестокое, трудное и, главное, мало или даже почти непонятное есть его единственные и самые подлинные и жизненные руководители, его судьба, предопределение; что замордованный таким образом русский человек, поставленный новыми порядками русской жизни в необходимость обдумать собственное свое положение, должен был потеряться, так как моменты, когда надо самому за все отвечать, в настоящие дни возможны, по крайней мере относительно мелочей личной жизни; мысль эту, то есть потерю русским человеком почвы под ногами, потерю им сознания законности и цели своего существования, охватывающую его в минуты, когда над ним не гремят громы небесные, когда его «не пугают» справа и слева, — фельетонист обставил примерами, взятыми и из личных наблюдений и из фактов общественной жизни, знакомых всем слушателям по газетам. Сгруппированные им факты производили впечатление не столько правдой, глубиной и тонкостью наблюдений, сколько поспешностью, с которой г. фельетонист выбросил их, один за другим, перед заинтересованной публикой. Он указал, между прочим, на ту странную черту, вообще господствующую во всем русском обществе, вследствие которой оно, это общество, не замечает и совершенно не видит, не слышит таких явлений, которые стоят у него под носом сотни лет, и вдруг начинает видеть и слышать все это, как только разрешат. «Почему это, — спрашивал он: — разные комитеты обнаружили такую страстную жажду делать добро болгар-

ским и черногорским бедным отцам и нищим детям, когда у них на глазах явлений, могущих трогать те самые струны сердца, которые пробуждаются бедствиями Болгарии, великое множество, и притом сотни лет и каждый день? Одних подкидышей в том самом городе, где живут они, сколько мерзнет на церковных папертях, в подворотнях богатых кушцов, сколько мрет детей по деревням, по крестьянским избам! А какое обилие нищих шатается по городу! Каждую субботу непременно какой-нибудь благодетель раздает по копейке на каждого нищего, и каждую субботу можно видеть тут под боком, каково обилие этого народа, как он жаждет копейки, как он терпелив, ожидая ее, и как он зол, когда ее перехватят другие... Кто не видал, как в кровь дерутся из-за этой копейки? А это непрерывное нытье за окном: «па-а-адайте... Христа... ради... слепенькому... погорелому... убогому... нищему...» Ведь этот тихий стон слышит каждый из нас всю свою жизнь; ведь об этих подкидышах, об этих слепеньких и погорелых всякий из нас знает испокон века — и что же? — все это ни капли не трогает, точно так это и должно быть».

«Я сам,—прибавил фельетонист:—очень хорошо помню, как однажды в провинции я сам закричал даже на какого-то солдата, который охал у меня под окном в то время, когда я сидел за работой, компилируя¹ французскую книгу о лионских рабочих: я семерых послал на кухню, — и этот восьмой вывел меня из терпения... Отчего вот на такие, под самым носом совершающиеся бедствия я молчалив и терпелив? Отчего даже и на черногорцев и герцеговинцев² я стал жертвовать только тогда, когда пришел квартальный и сказал: «можно!» Да потому, мне кажется, что я именно себя-то и потерял... Только чужое, мне по-

¹ К о м п и л и р о в а т ь — заимствовать, пересказывать.

² Ч е р н о г о р ц ы — перед русско-турецкой войной русская дворянско-буржуазная интеллигенция была под впечатлением угнетения турками славянских нацменьшинств (болгар, черногорцев, герцеговинцев и боснийцев).

стороннее и действует на меня — будь это приказ квартального, газетная горячая статья или книжка о лионских рабочих... Без этих посторонних приводов мое существование неподвижно, тупо и равнодушно. Собственно «я» без палки, без указки и тумака («ну, это — уж очень!») заметил кто-то из присутствовавших) так отношусь к явлениям жизни: вот герцоговинцев режут, вот нищие ходят, вот дети умирают на папертях и в подворотнях. Я-то тут при чем? У меня даже мысли нет, что бы такое следовало из всего этого... Но я делаюсь совершенно другим, когда на меня заорут: «Ты что ж это на герцоговинцев-то не жертвуешь? Ты что ж это не спасаешь погибающих детей?.. Ты что ж это (так и так) нищих-то развел? О лионских мастерских пишешь, а тут под боком люди расшибают себе лица в кровь из-за копейки серебром, из-за бутылки, выкинутой в помойную яму?.. Эй!..» Тут я вдруг очнусь, и все доброе откроется у меня во всю ширь! «Можно!» — завопию я всеми суставами и ринусь... Но и тут еще надо указать мне, куда ринуться и как... Надо с точностью научить, что пожертвования принимаются там-то и тем-то, все надо перечислить по пальцам, а то я постоянно буду затрудняться разными совершенно бессодержательными вопросами: например, можно ли чулки пожертвовать болгарским детям, или нельзя? — хотя я очень хорошо знаю, что дети эти без чулок, что чулки им пужны, и что, наконец, кроме этих чулок мне пожертвовать нечего. Даже самое понятие-то слова «пожертвование», отлично мною понимаемое, я считаю постоянным, подлинным пониманием не у себя, а у тех, кто мне «разрешает...»

Протест большинства присутствовавших за клубным столом лиц, усомнившихся было в действительности существования в русском человеке странной любви к палке, был заглушен все более и более разгорячавшимся фельетонистом помощью усиленной торопливости, с которою он перешел к новому ряду доказательств, не дав хорошепко разобрать и обдумать только-что сказанное. Коснувшись сербской войны и объяснив эту русско-сербскую толкучку

именно тем, что тут соотечественники пытались попробовать сделать дело сами, без указки и без палки, и не дав, по обыкновению, никому возразить, он тотчас перешел к ежедневным явлениям современной жизни и стал выхватывать одни примеры за другими. По его словам, неуменье жить без неприятностей видно повсюду. Он знал супругов, которые не могли ужиться при самых благоприятных обстоятельствах и отлично жили при неблагоприятных. Вот образцовая пара: оба добрые, умные люди, оба сошлись не из расчета, а по любви, и согласны по мысли... И что ж, скука, тоска, холод... Ни одно дело не удастся, ничего в прок нейдет. Разошлись, наконец. И глядишь: сошелся супруг просто с немкой Каролиной Карловной, у которой только одни потребности: иметь на руке мешок с деньгами и елико возможно больше извлекать этих денег из всего мироздания, — и все пошло, как по маслу. Каролина Карловна каменной тучей своего грубейшего непонимания висит над человеком, над его развитием и умом; человек этот ропщет, но ожил, бегаёт по вселенной, «достаёт» и — уж поверьте! — никогда не уйдёт от этой каменной тучи. «Сам» своею охотою не уйдёт. Потому что бессмысленные, нестерпимые условия, в которые попал человек, благодаря этой женщине с каменными мозгами и сердцем, он считает подлинными, заправскими, а доброту, ум и простоту прежней привязанности считает только сном детским, из которого ничего не выйдет, и с которыми страшно и холодно жить на свете. Не запряженный, пущепный на волю русский человек пропал, погиб в большинстве случаев, и единственное спасение ему — крепкие оглобли, тяжёлый воз... Так привык, так заезжен. Продолжая не слушать возражения собеседников, тщетно спрашивавших: «при чем же тут самоубийство?» — автор теории любви к палке выдвинул еще новое наблюдение: именно, он сказал, что даже так называемые новые идеи и дела для многих-многих россиян важны и значительны только как бремя, как упряжка, как постоянная борьба с самим собой, постоянное мучение испытываемое в этой борьбе, происходящей от полного разголосия всего существа субъекта с требованиями новы:

идей. Иной и рвется к ним, потому что исповедывание их почти для него невозможно... В подтверждение этого положения он рассказал про одну девушку, долго и безуспешно отбивавшуюся от своего истинного призвания — быть хорошей хозяйкой и матерью многочисленного семейства, забывавшей в один день все, что выдолблено ею в год в роде экзамена на сельскую учительницу и никогда не выучившейся понимать и различать общественные дела от необщественных. Нужно было видеть, что это была за мученица! Она едва не умерла, как вдруг вышла замуж, родила ребенка и расцвела, т. е. все забыла и стала тем, чем должна была быть, влача иное, свойственное ее натуре, бремя хозяйства и домоводства. Рассказал он еще и про одного мужчину, своего товарища по гимназии, который отдался новым идеям, тоже как будто с испугу и тоже потому, что в натуре и существе его именно и не было ничего нужного для того, чтоб идеи эти были живыми в живых людях. Испугавшись раз, в первые дни приезда в круг молодежи одного провинциального университета, он уж стал потом все делать с испугу и поступал во всем против собственных желаний. Женился потому, что жена решительно ему не нравилась, и потому, что именно это обстоятельство (жена была из новых) делало его причастным к тем кружкам, идеи которых были для него почти невозможны... Словом, человек этот, раз узнав, что в нем нет материала для исповедывания новых идей, испугался самого себя и стал поступать против себя во всем.

Собеседникам показалось все это до такой степени трудно постижимым и неудобоваримым, что несколько голосов нашли нужным прервать рассказчика вопросом: «Да при чем, наконец, тут самоубийство? Зачем вы приводите таких уродов, идиотов и глупцов?» Фельетонист, очевидно, хва-тивший в последовательности своих наблюдений чрез край, категорически¹ объявил однако, что этих глупцов, этих людей, желающих ярма, так много на русской земле, что изучение странной любви к ярму можно считать достойным

¹ Категорически — определенно, безусловно.

внимания образованного российского общества, и что к самоубийствам все вышесказанное также имеет отношение довольно близкое, именно: самоубийством непременно должен кончить всякий из таких умеющих жить в ярме, как только жизнь поставит его в необходимость почерпнуть силу жизни в собственном желании и мысли. Такой человек в такие минуты с ужасом видит, что в нем нет источника жизни и почерпнуть не из чего. Умирают такие люди собственно «от испуга»... самих себя.

Этими словами, показавшимися всем похожими на правду, наблюдатель окончил изложение своих наблюдений, залпом выпил стакан вина и обещал все это разработать в своем фельетоне, прибавив:

— Вот тогда увидите...

— Нет, — перебил его медицинский студент: — я вот не понимаю... Я не понимаю, как можно умереть с голоду... Мне понятно, что в минуту отчаяния, испуга, как вы говорите, можно пустить пулю, принять яду, но морить себя десять, пятнадцать дней голодом, умереть от самовольного истощения — этого я не понимаю... Какой тут испуг? Вообще я не понимаю тут ни капли...

— Болезненное состояние... — произнес-было банковский чиновник.

— Я об этом не говорю, — я спрашиваю только: каким путем доходят до этого состояния?..

— Тоже от испуга... — нерешительно произнесла сестра студента, сельская учительница.

Это была одна из тех много думающих, но робких девушек, которые в редких случаях, и то вспыхнув от сознания неловкости, решаются произнести свое словечко.

Обыкновенная форма разговора этих натур такая: «Мне кажется... я думаю...» Начнет она — и тотчас замолчит. — «Говорите же, что вы думаете?.. Говорите, пожалуйста». «Нет я так... Я ничего не понимаю...» — «Что за вздор! как ничего не понимаете?.. Говорите, ради бога». «Я думаю... Нет, я — дура...»

И только после многих ободрительных слов, большею частью в ту минуту, когда уж и не ждут никаких от

нее объяснений, вдруг выскажется торопливо, кратко и верно.

Так было и на этот раз. Все присутствовавшие знали, что словечко, сказанное этой девушкой, не будет пустым, и разом налегли на нее с требованием сказать, что именно она думает, когда на замечание брата о том, что ему непостижимо, кого и чего можно так испугаться, чтобы морить себя голодом, мучить самым жестоким образом, вместо того, чтобы пустить пулю в лоб, она ответила обычным порядком, то есть начала словами: «мне кажется» и кончила тотчас выражением: «Нет, я так... Я не понимаю...» После усиленных и всеобщих настояний из этого молчаливого существа было извлечено мнение, что с голоду умирают испугавшись «всех» и «всего»... то есть и себя и всего белого света; кроме этого она сказала, что знала одного человека, который именно так и умер, и повидному неизвестно зачем прибавила: «Он был крестьянин...»

— Ну, — перебил ее брат: — положим, это-то... уж ничего не значит...

— Нет, значит... Я знаю, что такое — деревня и крестьянская жизнь... Ни для кого так не страшна действительность, как для крестьянина... В его жизни нет прикрас и снисходительности ни в чем... Все — от неба, которое хлынет градом, от земли, которая не уродит, до отца и брата, которые не пощадят его, если не будут сами пощажены, — все может раздавить его в мгновение...

— Ну, рассказывай лучше, — перебил брат: — кто такой этот твой знакомый... Рассказывай все обстоятельно...

Запинаясь и конфузясь поминутно, девушка рассказала одну очень простую историю, которую я и записал так, «как понял», не ручаясь за точность и подлинность выражений.

На Оке, в одной деревеньке, где осталавливаются пароходы, на краю селения, много лет тому назад жила солдатка с маленьким сыном. Жили они у самого берега, в нищенской лачужке и в страшной бедности, ни кола, ни

двора, ни куриного пера... Чем жила эта женщина? Нескрасивая, худая и оборванная, ходила она на поденщину, — на поденщину деревенскую, где гривенник за целый день — деньги громадные... Когда же приходили барки и заночевывали в деревеньке, в хибарке солдати слышались гармония и песни; пели и веселились такие же, как она, нищие люди, бурлаки... Такие грехи солдати, весьма понятные в ее положении и случавшиеся только ради ее крайней бедности, грехи, дававшие ей возможность только-только не умереть с голоду, — однако ставились ей строгим деревенским крестьянством в вину и даже вредили ей в поденной работе...

Долгие годы билась она так, как рыба об лед, работая и голодая, гуляя с бурлаками и тоже голодая, и никогда не имела ни средств, ни времени ходить за своим ребенком. Рос он без всякого призора, голодный, буквально раздетый, вечно выброшенный на улицу; на улице ёрзал он, когда у матери шли и гуляли гости; на улице торчал, когда она где-нибудь мыла полы, или стирала, или работала какую-нибудь другую поденную работу. И тут и там он мешал, корявый, неуклюжий и совершенно дикий. Он мешал даже и в детской компании — его гнали прочь, потому что он всему завидовал и тянул к себе, а когда не давали, то ревел. Ни о чем никаких понятий он не имел: не было ни одного человека, который бы сказал ему слово. Всем было видно, что ни матери его, ни ему жить нечем. И вот жестокая русская действительность: ни в чьем внимании, ни в чьей заботе ни он, ни мать не занимали ни капельки места.

Никому не было жалко их, точно это — не люди, а гнилое, захудалое дерево, которому нечем жить и которое засохнет непременно. Эта жестокость имеет свои основания хотя уж в том, что всякий из крестьян живет в таких же условиях и твердо знает как про себя, так и про других, что «если у него ничего нет, то никто ничего ему и не даст», никто ничем не поможет... Но об этом распространяться нечего долго... Словом, полное одиночество, одиночество необитаемого острова... Хуже! Что необитаемый остров! Необходимость пищи заставляет там думать, искать,

наблюдать... Тут же и мысль не смела действовать, потому что обитавшие место люди взглядами, отношением говорили, что твое, мое положение самое незащитное; ничего у тебя нет, ничего не будет — и дело твое пропащее в конце. Слабая, едва-едва теплившаяся надежда, что вот, мол, воротится из полка отец — одна только, и то как неосуществимый сон, мелькала иногда у матери дикого ребенка и передавалась ему так же в слабой, чуть-чуть слабой степени. Он, как и все его односельцы, уже ребенком маленьким, начинающим ходить ребенком знал, что ему надежды нет ни на что, ему никто ничего не даст, и что сам он — ничто... Голая земля под ним и голый он сам на этой земле: вот его положение, средства, надежды — все.

Как-то на лето приехали в деревню господа, очень долго жившие за границей и в столице. Тогда только-что началось вполне выясненное теперь и очень смутное в ту пору стремление слития¹ и пр. и пр... Поденщица попала к господам на работу и, как людям чужим, посторонним, за два, за три дня работы рассказала свое горемычное житье, все в подробности... Изумились, растрогались, сжалились, навели целый рубль, дали мальчишке старые сапоги своего сына, накормили... Тонко наблюдателен голодный парод! И мать дикаря-мальчишки увидела, что падо пользоваться добротой господ: «подай барчуку лопаточку»... «повези колясочку»... «прогни собаку, видишь — барин пужается»... — стала она поминутно твердить своему неуклюжему волчонку.

— Да ты присылай его к нам играть с Мишей! — был результат этих стараний голодной матери.

С этого дня Федор (так звали волчонка) стал ежедневным посетителем барского дома, ничего не понимая, зная только, что ему лучше. Молча возил Федюшка колясочки, таскал песок для пирожков, отгонял собак и терпеливо ждал новых и новых приказаний, знал, что его дело — их испол-

¹ Стремление к слитию — имеется в виду народническое движение интеллигенции 1870-х годов к сближению с крестьянством, так называемое тогда «хождение в народ».

нять, его кормили здесь, и он тотчас убежал домой, когда ему ласково говорили: «ну, ступай, уж поздно — тебя, должно-быть, мать ждет»... Федюшка хорошо знал, что это ласковое внимание к матери означало — «ты больше не нужен, Миша будет спать». Но ни капли этим не обижался, потому что и мысли не мог допустить, чтобы он был что-нибудь значащее. Он был брошенный на улицу опорок, свалившееся с возу полено, словом — никому ни на что не нужное создание. Спасибо, что хоть кормят. Он служил за корм, за воду и ничего не понимал даже в окружавшей его обстановке барского дома; это все было чужое...

Скорей на несчастье, чем на счастье Федюшки, это сознание себя чужим не только в барском доме, но вообще на всем белом свете, было мало-по-малу по капельке разрушено матерью ребенка, которому Федюшка услуживал в благодарность за еду. Барыня эта была одна из тех страшных матерей, которые никак не могут пользоваться тем, что дано их детям природою, тем, что в них есть и что может быть. Еще до рождения составила она насчет своего будущего сына (иные прямо определяют, что у них родится сын, непременно сын, или непременно дочь, и бывают ужасно недовольны всю жизнь, если выйдет иначе) самые определенные планы: определила цвет волос, цвет глаз, походку, выговор, склад губ и длину носа; она крайне была обижена, когда, по рождении ребенка, приметы и качества его оказались вовсе не такие, о каких она фантазировала: ни волоса, ни нос, ни рот не соответствовали предначертаниям предусмотрительной матери: все было другое, других размеров, цвета и выражения... Не такой был голос, не такую оказалась походка, когда он стал ходить, словом — все не то. Это до того огорчило мать с первого дня рождения ребенка, что она, несмотря на то, что ребенок принадлежал именно ей, никогда не могла уничтожить (да и мало об этом старалась) в себе какой-то холодной к нему отчужденности. Раз сказав себе, что «это не то, это — не тот ребенок», она не могла отделаться от этого странного мнения и ровно ничего не понимала (а впоследствии привыкла не понимать) в том, что дано было ее ребенку, и в том, что он по своей

натуре совершит... Все дни этого мальчика были испещрены недоумевающими вопросами матери: «Что он делает? Что это за фантазия? Откуда это? Я не понимаю — ззач-чем? Что ты хочешь?» И в конце концов: «Ужас, что за ребенок! Я просто не знаю, в кого... на что... что такое?..» Что бы он ни сделал, что бы ни сказал, куда бы ни пошел, — все выходило не так, не то, не туда, все было не так, как предположила мать и как поступил бы ее предначертанный сын... Обыкновенно такие матери в конце задергивают своих детей и делают их своими заклятыми врагами. И в маленьком Мише вместе с забитостью уже развивались семена злости и мести.

Как ни странным это покажется, однако случилось, что Федюшка, дикий, ничего не понимающий, голодный желудок, голодный и неуклюжий, и неразвитой, выступил неожиданно в новой роли — не простого служащего господскому барчуку, не простого поденщика, таскающего, по барчукову приказу, лопаточки и тележки, — нет, он внезапно выступил, как пример этому барчуку... Чего только ни выдумает иная сообразительная мать.

Федюшка — пример господскому ребенку! Это так же правдоподобно, как если бы седло было примером для коровы или если бы господский ребенок был примером для всех Федюшек на свете. А между тем вышло же, что Федюшка стал примером, образцом ума, изящества, словом — образцом невозможных добродетелей. Конечно, добродетели эти приписывались ему, как деревянному болвану, как кукле, которой, как говорят, бывает больно, когда ее бьют, которая будто пришла в гости и т. д. Федюшка так это понимал и долгое время смотрел на себя не иначе, как на деревяшку, когда его ставили примером какого-нибудь хорошего качества. «Посмотри, как Федюшка... Видишь, какой умный Федюшка... Как тебе не стыдно! вон Федюшка даже смеется. Правда, Федюшка, как это нехорошо? Да? Ну вот видишь: Федюшка говорит». Бесчисленное количество таких указаний на Федюшку, на Федюшкин ум, понятливость и прочие хорошие качества последний, в качестве деревянной куклы, переносил с величайшим терпением, памятуя,

что все это его не касается, и что, слава богу, что кормят.

Но через год-другой (господа стали жить в деревне даже по зимам) такие уверения в каких-то превосходных качествах Федюшкиной особы, по капельке, на мгновение начали протачивать его с детства обезличенное сердце. Однажды во время таких похвал белое, бесцветное лицо его вспыхнуло, и он, не позволявший себе сказать никогда ни одного своего слова, произнес ко всеобщему удивлению как-то необыкновенно радостно и торжественно: «к о м н е б а т ь к а в о т п р и д е т и ш о!» Даже на лбу при этих словах у него загорелось красное пятно, точно звезда. Никто не мог сообразить, какая связь между мнимыми похвалами мнимым качествам деревянной куклы и необычайным восторгом этой последней ввиду того, что у нее есть какой-то батя, который и ш о в о т п р и д е т. А связь была несомненная. Федюшка, постоянно ободряемый, — впрочем, не раньше, как через два года этих непрерывных одобрений, — стал позволять себе верить, хоть на мгновение, на один миг, что он — не совсем пропавшая тварь, что он на самом деле такой же человек, а может, еще и лучше, чем другие Федюшки... Ведь говорят же ему об этом каждую минуту?.. И вот, чтобы самому себе доказать, что он — не пропащий, он припомнил, как уже известно, единственный серьезный резон¹, имевшийся у них с матерью, связывавший их, хотя очень отвлеченно, с обществом живых людей и дававший хотя какое-нибудь объяснение их горемычнейшему, безнадежнейшему существованию... И вот почему он неожиданно буркнул о своем отце. Он хотел сказать, что подаром его хвалят: он ведь, в самом деле, настоящий, не кукольный Федюшка, к нему даже еще отец вот придет, тоже настоящий... И звезда у него во лбу загорелась оттого, что он на мгновение позволил себе узнать, что он — не кукольный Федюшка...

Повторяю, только мгновениями в сознании мальчика мелькало что-то похожее на уверенность, что он — не ни-

¹ Р е з о н — основание.

чтожество, не бросовый опметок... Да и трудно было укрепиться этой уверенности. Каждый день, исполнив ампула¹ «примера», Федюшка возвращался вечером в лачугу матери, в атмосферу все той же безысходной бедности, которая вынырнула его и вскормила. Каждый божий день ему представлялась необходимость убеждаться, что настоящее-то его существование — именно в этой лачуге, в этой бедности, одиночестве, а вовсе не там, где, хоть для примера, смотрят на него, как на живое существо. Сознание, что он, Федюшка, — ничто, было так глубоко вкоренено в нем, так глубока была его уверенность в том, что он только для примера имеет право быть в другом мире, дышать другим образом, что даже некоторое понимание, приобретенное им в господском доме, он считал также принадлежащим не ему, а кому-то другим, чужим. Он, например, давно уже выучил, стоя за спиной господского барчука, не только азбуку, которой того учили, но склады, знал, как надо читать, но не мог бы прочесть ни строки, ни слова, так как все в нем твердило ему: это — не твое дело, это — дело чужих людей, не таких, как ты. Не знаю, как выразить и выяснить лучше это состояние: не яснее ли будет оно, если я скажу, что Федюшка смотрел на незаметно приобретаемое им развитие, как на чужую собственность, и не умел обращаться с этой собственностью, употребление которой могли знать только другие...

Но в редкие минуты, когда у него на низком маленьком лбу, закрытом редкими, белыми, шершавыми волосами, загоралась звезда радости, он вдруг, изумляя всех и сам изумляясь едва ли не более других, вдруг обнаруживал и узнавал, что он уж давно знает читать и что умеет прочесть слово в какой угодно книге... — «Да он отлично знает читать!» — уже не как о кукле, а с явным удивлением произнесли однажды родители Миши, когда Федюшка, сам не помня и не понимая, что с ним делается, задыхаясь от радости, вдруг без ошибки промахал целую страницу и мгновенно доказал, что он в самом деле способней и

¹ Ампула — назначение.

умней господского Миши, что он в самом деле может на этот раз служить ему неподдельным примером. Но если бы Федюшку заставили читать самого, то есть делать свое, а не чужое дело (уметь читать — чужое дело), он бы спутался, все перезабыл, потому что самому ему суждена иная участь и на роду ему написано пресмыкаться в ничто-жестве... И сознание этого постоянно бы мешало ему быть так же свободным в своем деле, как совершенно свободен он в чужом.

Однако развитие Федюшки, несмотря на его забитость, несмотря на то, что свою горемычную участь он с каждым днем мог различать яснее и яснее, шло да шло понемногу, п звезда во лбу, вопреки всяческим резонам, представляемым суровою действительностью, загоралась все чаще и чаще... Разгоралась она, несмотря даже на то, что, кроме горемычного существования, с некоторого времени на его пути стала новая беда: понемножку, с крайней деликатностью и гуманностью, ласковое обращение господ с Федюшкой начало изменяться в худую сторону... Нет ничего хуже, жестче и неумолимей родительского сердца, раз оно тронуто за живое... А Федюшка не раз трогал его.. Уж одно то, что он выучился читать, будучи куклой, раньше, чем настоящий Миша выучил азбуку, — уж это одно как обидело барыню и барина, несмотря на то, что для барыни сын ее был не настоящий, не тот, которого она желала. Едва только Федюшка оказался в самом деле Федюшкой, а не куклой для примера, тотчас проснулось родительское сердце и тотчас ожесточилось: сначала на судьбу, которая дала вовсе не того ребенка, какого следовало (тот бы заткнул за пояс всех этих Федюшек), потом на ненастоящего ребенка, который ставит мать постоянно в неприятное положение, и наконец на Федюшку, который бог знает зачем тут толкается и только еще более делает неприятностей и так уж огорченной матери...

Потом уж по особенной логике вышло так: Федюшка только мешал, и только от Федюшки Миша и не успел в ученье...

И отец Миши и мать одинаково сознавали в те минуты,

разумеется, когда Федюшка изумлял их появлением во лбу звезды, что он — тут лишний, что он мешает... Но так как они были люди совестливые и гуманные, то и не прогнали его, а продолжали пускать в хоромы, только деликатно давая заметить, что он, Федюшка, не бог знает что такое... «Не сбивай, пожалуйста... Ты, Федя, постоянно мешаешь... Ты видишь, Миша учится, а ты стучишь... Иди на улицу стучать»... и т. д. Попемножку, по капельке, Федюшке стали доказывать совсем другое: т. е. что он — вовсе не пример, и что он — мужик и неуч, и что настоящее место его вовсе не тут... Все это, разумеется, в высшей степени деликатно...

Но что поделаешь с раз начавшей разгораться во лбу звездой! Правда, и лоб-то этот был маленький, низенький, весь заросший по краям и сверху белыми, шершавыми, как солома, волосами, и звезда-то в нем разгоралась редко, светила робко-робко... А все-таки, раз пачав светить, стала светить, несмотря ни на что: ни па то, что горела она в лачуге, разрушавшейся все более и более, что перед ней была непроглядная тьма будущего, и что ее застилали, кроме того, холодные тучи в виде холодного господского равнодушия...

И случилось с заморенным, обреченным на явную гибель существом нечто весьма странное, хотя случающееся на Руси именно в настоящее время с великим множеством простого народа... То есть он прямо от складов принялся за чтение книг, отвечающих самым настоятельным и па-сушным требованиям мысли... У господ не было ничего, кроме книг, которыми интересовалась тогда вся грамотная Россия. На просьбы Федюшки дать ему «книжечки почт-ать» барин и барыня обыкновенно говорили: «Какие ж тебе книжки? право, ничего нет такого!..» И давали ему первую попавшуюся под руку книгу, будь это — иностран-ный роман, политическая экономия или последняя книжка журнала. — «На вот, — прибавляли они: — ведь не пой-мешь ничего...» — «Мне так!» — говорил Федя, которому действительно книжка была нужна просто так... так как звезда не меркла во лбу... Но какую бы книгу тогдашнего

времени (а господа были «следящие»¹) опи ему ни сузули, достаточно вспомнить самый топ времени, чтобы понять, что всякая тогдашняя книжка, независимо от формы, в сущности своей отвечала именно федпному положению, говорила, хотя и робко и нежно, о его бедовом житье-бытье...

И вот к таким-то книгам Федюшка перешел прямо от складов, минуя Ерусланов Лазаревичей², псалтырь, жития святых, минуя сонники и письмовники и т. д. и т. д. В настоящее время, когда псалтырь и часослов уж не составляют главнейших оснований грамоты, грамотному простому человеку приходится прямо переходить к газете, к «Ведомости», так как существующая литература, ни лубочная³, ни так называемая изящная, одинаково не могут служить пособием для дальнейшего, после новой школы, развития, главное, не могут попадать новому грамотному в руки: лубочная литература — по своей глупости, изящная — по дороговизне и, пожалуй, некоторой ненужности: все в этой литературе посвящено чуждым интересам, иному миру, чем мир грамотного пахаря. Единственными пособиями являются газета и трактир, дающий право даром читать эту газету всякому, кто пришел выпить пару чаю. Пересмотрите дешевые газеты, попадающие в дешевые сельские трактиры, да и не одни дешевые, а дорогие и длинные современные газеты, припомните их ревностное стремление «угодить» нешироким вкусам почтеннейшей публики; припомните их вилянье, их вообще неправдивое, перскренное, не дельное направление — и вы не без сожаления подумаете, что это — очень и очень плохая школа для пачинающего быть грамотным народа.

Но вернемся к Федюшке. Что мог понимать он в тех книгах, которые в то время писались и которые он брал от

¹ «С л е д я щ и е» — выражение, характерное для интеллигенции того времени; следить за последними литературными и журнальными новинками было одним из ее определительных признаков.

² Е р у с л а н Л а з а р е в и ч — герой старинной русской сказки в лубочных изданиях и пересказах сказка об Еруслане Лазаревиче была широко распространена.

³ Л у б о ч н а я — в смысле грубо простонародная, базарная.

господ? Вопрос этот весьма любопытен ввиду того, что книги того времени, действительно, имели влияние на тупой, неразвитой, мало способный и забитый ум Федюшки, тем еще более любопытен, что, развиваясь на этих книгах, Федюшка ровно-таки ничего в них не понимал. Он «разбирал слова» как Петрушка¹, разбирает их целыми десятками, сотнями страниц, не находя между ними ни смысла, ни связи, а развивался, и именно в том самом направлении, каким книги были проникнуты. Тайна такого непостижимого умения развиваться книгой, ничего в ней не понимая, заключается в том, что развитие тут идет не помощью ума или понимания, а исключительно помощью сердца. Сердце автора подает весть сердцу непонимающего «слова» чтеца. Кто и когда из самых завзятых знатоков писания понимал не только доподлинно, а так, хоть из пятого в десятое, что такое читается в церкви, какая начетчица понимает, что такое написано в псалтыри, который она зудит по годам? Что такое написано в Апостоле? Никто никогда, ни один самый завзятый начетчик и грамотей крестьянского звания не мог и не может рассказать (разве что вызудивши дело до гла), о чем-таком ему читают, но всякий знает, в чем дело, потому что сердцем понимает сердце автора, будь то царь Давид, апостол, сам Христос... Скрытое в глубине и массе слов чувство, руководившее автором книги, только оно и улавливается слушателями или чтецом, и, уловя его, чтец или слушатели продолжают только чувствовать в данном сердце направлении, думая о себе. Попробуйте спросить вот этого старого старика, всхлипывающего на печке от чтения псалтыри, такого чтения, в котором никто ничего разобрать не может, потому что тут нет ни остановок, ни связи, тут разделяется пополам одно слово и произносится так, что один конец прилипает к предшествовавшему слову, а другой к последующему, — спросите этого плачущего старика: что такое растрогало его в этих, как разваленный плетень, натканных его внуком словах?

¹ «Петрушка» — из повести Гоголя — «Мертвые души» луга Чичикова, главного героя повести; Петрушке в чтении «сравнилось не то, о чем читал он, но больше всего самое чтение».

То, что он вам ответит, будет непременно годиться в горбуновский рассказ¹: непременно выйдет что-нибудь вроде: «наслежу, говорит, следов (плачет), а ты... гов... (плачет), говорит, по ним и ходи» (рыдает). Словом выйдет непременно какой-нибудь смешной вздор, сразу обнаруживающий, что рыдающий старик глуп, как пробка... А между тем он рыдает теми слезами, какими рыдал и царь.. Сердце его так же мучится своими прегрешениями, как мучилось также своими прегрешениями и сердце пророка... Оба одинаково страдают, каждый о своем...

Старику передалось только направление книги; он только почувал, что мучился человек, который писал, и простое сердце отвечало слезами...

Таким порядком читают в трактирах и газеты, не понимая ни этой «фанатизмы», не зная, что Царьград, Стамбул и Константинополь² — одно и то же, не понимая, что такое пишется в романе, переведенном с французского, что такое поется в театре Буфф и в «Ливадии»³, — словом, не понимая почти никаких слов газет, еле грамотный чтец отменно-хорошо чувствует общее шеромыжнически-практическое и плутовски-улыбающееся сердце газеты и отвечает ему смелостью, с которою шеромыжничество возрастает в народе в значительной степени. Точно так влияли непонятные кивги и на Федюшку. Рассказать прочитанное и передать своими словами он не мог, выходил всякий вздор, но сердце кивги он чувал, понимал, а сердце в то время было у кивги чистое и доброе... Оно было открыто именно только федюшкину горю.

В плохо кормленном, плохо развитом, малосильном, малоспособном этом человеке, выросшем в холодной и непривет-

¹ Горбуновский рассказ — рассказ И. Ф. Горбунова, знаменитого в то время рассказчика, который писал и неподражаемо воспроизводил юмористические сцены из простонародной жизни.

² Царьград, Стамбул и Константинополь — разные названия одного и того же города. Царьград — славянское, Стамбул — турецкое.

Ливадия — название какого-то увеселительного места.

ливой обстановке, — человеку, отчаявшемуся в своем праве на жизнь, — зашевелилось в сердце от этих непонятных страниц непонятных книг что-то похожее на жалость. Жалко как-то ему стало делаться все сильнее с каждым днем... И мать жалко, и себя жалко, и жаль, что господа его бросят непременно, и жаль, что на него с матерью никто и глазом не взглянет... О боге, о его воле в делах человеческих он не знал; матери было недосуг, а господа тоже мало бога помнили, как вообще все господа... Не имея поэтому возможности объяснить себе своего положения указаниями провидения, Федюшка — теперь уж Федор (ему уж было 14 лет, когда началось его жалостное состояние) — только убивался. Не понимая, отчего и что, он жалел, скучал и сокрушался сердцем... Нежное что-то было пробуждено в этом засыпанном снегом горя сердце, нежное, как подснежный цветок... Эта нежность, ласковость обнаружилась по отъезде господ на матери. Уж как он старался ей помогать: и чемоданы таскал с пристани, ходил по дворам, собирал старые бутылки... Благодаря непонятным книгам, пробудившим жалость и сожаление к незаслуженным страданиям, только эта жалость и оживляла его, только она и росла в нем... Придет время — перестанут на них рычать и сердиться соседи, перестанут бранить мать, станет он учиться и в благодарность за то, что никто не сердится на них, сам никогда не будет сердиться. «Все будут ласковы друг к другу; за копейку, за бутылку драться не будет никто... Стоит только всем быть добрыми...» Так у него ныло в сердце, несмотря на то, что по отъезде господ у него даже и книг не было. Помогая матери, он и ее то вывел из безнадежно-голодного состояния, и она стала скучать, и у нее стало мелькать: «за что это?» — и она, как Федюшка, чувствовала, что это все неправильно и, должно-быть, когда-нибудь переменится... «Вот придет отец!» Эта мысль после отъезда господ стала единственной мыслью их обоих; этот приход был бы, уверили себя они, началом освобождения: отец поможет им выйти из-под гнета всеобщего презрения, а они, и в особенности он, Федор, покажет тогда, как он добр, как он всякому рад. Тогда все узнают, что были к не-

му жестоки, несправедливы и, раскаявшись, сделаются добры и мягки. Будет тогда всем и легко и весело.

«Вот только пусть придет отец!»

С годами мысль об отце, мысль довольно фантастическая, ни на чем не основанная, стала делаться и для сына и для матери чем-то почти реальным. Потребность подняться и бездны, заставить людей оглянуться на них, заставить их раскаяться и понять, что «мы с мамкой» ни в чем не виноваты, делалась все настоятельнее и сильнее. Только приход отца, этого, по всей вероятности, сильного, справедливого человека, которого все будут уважать сразу, с первого дня, — только его приход и помощь могли помочь им выйти из беззащитного положения и добиться от людей того, чтобы они раскаялись, смягчились, сделались добрей... Бывали дни, когда и мать и сын, оба вместе, и именно сегодня, ждали прихода избавителя... «Что-то, думается мне, как бы батяка твой не пришел? Что-то уж мне стало очень скучно... Право, поди, не пришел бы... Пора б прийти-то». Федюшке самому было тоже так скучно, что он ни капельки не сомневался в справедливости предположений матери и твердо был уверен, что отец придет непременно, того и гляди.

Было Федюшке шестнадцать лет, и вдруг сбылись предчувствия и надежды. Отец в самом деле пришел-таки и пришел в ту самую минуту, когда им стало скучно, так скучно...

Пришел — и не прошло двух дней, как при всем честном народе, перед целым сходом, на площади между волостным правлением и кабаком, несчастный, измученный мальчик был жестоко выпорот по желанию своего долгожданного родителя... Два ведра вина, которые родитель не поспешил поставить миру, сделали свое дело: Федюшку выпороли на славу; дюжие руки, укрепленные сивухой, не жалели худых федюшкиных ребер и засыпали ему в худые бока без счета... «Хорошенько! — вопияла пьяная орда: — заслуживай, ребята, Силанью Ивановичу!..»

Пусть читатель сам представит себе, что должно было произойти в душе Феди от такого неожиданного оборота

дела, пока я скажу несколько слов в объяснение того, как могло случиться такое несказанно-жестокое дело.

Воротившийся отец оказался вымуштрованным, вышколенным, хорошо откормленным бульдогом, едва ли уже умевшим понимать какие-нибудь профессии, кроме профессии вцепляться своими крепкими зубами в чье-нибудь горло. Это была одна из тех жестоких, тупых тварей, которые невесть за что готовы съесть родного отца... Верный и жестокий, как пёс, он был золотым человеком там, где нужно было караулить, ловить, не пускать, вообще и с полна ять какой угодно бесчеловечный приказ. Приказ, и именно трудный, жестокий, как нельзя лучше приходился по его жестокой, сухой, бульдожьей натуре. Эти собачьи качества, эта собачья выдержка, неумолимость и верность сделали ему хорошую карьеру на службе у богатых господ, которые по нахваливались им в то время, когда «свой брат», простой человек, загрызаемый им без всякой пощады, смотрел на него, как на бешеную собаку. Несколько раз его собирались убить, стреляли в него из ружья, когда он караулил у одного богатого помещика лес: под его хищным взглядом нельзя было унести ни одного сучка, сорвать ягоды — все видел, всех хватал, связывал, представлял, куда следует, и разорял иной раз до тла целые семьи крестьянские из-за этого сучка, из-за этой ягоды. Сам он был безукоризненно честен; всякий рубль, нажитый им, нажит за верную, беспощадную службу — себя он на этой службе «не жалел», бесстрашно лез в огонь и в воду, если только было ему велено. Он и домой-то не шел так долго, потому что считал бесчестным оставить так, без призора то или другое врученное ему дело. Всякую службу он дослуживал до конца, до последней точки той цели, с которой его брали на службу.

Вот такой-то железный и прямой, как железная палка, человек, устав служить чужим людям, пришел домой. Но было в нем нежности никогда, а поведение его жены, следовавшее ему ясным с первого дня прихода, еще более окamenило его каменное сердце. Она, по его мнению, не должна была бесчестить его распутством, как он не бесчестил

ее. Она была бедна — да ведь и он нищим вышел из полка; однако он прожил честно, а она опозорила его на весь свет. Он всю жизнь бился для того, чтобы добыть им же, — отчего же не билась она? Живут же люди без распутства.

Начались с первой минуты свидания жестокие, зверские сцены. Разозленный и обиженный зверь вгрызался в пропадающую женщину без всякого милосердия... Он и мстил этим и одновременно хотел поднять свою репутацию, сразу поставить себя среди земляков на хорошую ногу. Как ни покажется это странным, а было действительно так: солдат показывал, что он — не кто-нибудь, а человек, знающий порядок, знающий, что значит жить честно, благородно. В одну из таких семейных драк, Федюшка, изумленный и ошеломленный неожиданным появлением такого зверя, не помня себя, вцепился ему в нафабранные бакенбарды¹, — и вот бульдог отомстил ему. Два ведра вина, как уже сказано, сделали дело. Мир вынул их и выпорол, на славу выпорол несчастного Федюшку... Солдат требовал беспощадного дранья — и мир, исполняя это требование, понимал, что этой жестокостью, обрушившейся на жену и на сына, солдат доказывает собственное свое превосходство над их грязной и позорной жизнью и поведением, доказывает, что он честен, порядочен и почтенен, и что этим уж очень высоким пониманием своей чести он даже и семью свою хочет оградить от всякой тени позора. Решительно не нахожу слов, которые бы могли с достаточной ясностью представить читателю то, что испытал Федор от этих вдруг постигнувших его жестоких, бесчеловечных неожиданностей. Он весь был раздавлен ими, сломан, скомкан в комок. Ничего не чувствуя, не понимая, он весь как бы задохнулся и окаменел.

Через час после ужасной сцены у волостного правления Федор, не зная как, очутился на одной из барок, стоявших на реке, и, трясясь всем телом, на все расспросы барочников слабым, до смерти испуганным шопотом мог произнести

¹ Б а к е н б а р д ы — часть бороды вдоль щек, рощение бакенбард было одно время модой. За ними ухаживали, натирая их черной мазью (фаброй).

только: «бо-юсь!», «бо-юсь!..» К нему нельзя было в это время прикоснуться пальцем: немедленно шопот превращался в отчаянный крик. «Боюсь!» — взвизгивал он, бросаясь в сторону и расшибая голову о дрова, о что попало, точно до него дотрагивались не пальцем, а каленым железом. Как он ухитрился спрятаться на барке, я не знаю: только барочники, не зная о том, что он скрывается у них, увезли его с собою, направляясь к Нижнему. Испуганный и трепещущий, два дня без пищи просидел он в самом глухом, неприметном углу барки, куда случайно не открыли его там. Поругав и покормив, барочники оставили мальчишку, решив: «пущай!» и не обращали уже больше на него никакого внимания. Истерический¹ ужас, в котором мальчик очутился на барке, пачал понемногу проходить, замедляясь совершенно определенным испугом перед всеми и перед всем. Все для него было страшно жестоко. Люди, весь белый свет испугали его — неизлечимо, навеки-веков. Как мог он понять и объяснить себе все, что с ним случилось с первых дней детства?.. Он — комар, которого, не задумываясь и не беспокоясь, убивает всякий, кому он мешает! Но чем, кому он мешал? Он ничего не мог понять и знал одно — что неведомо почему его все хотят уничтожить, раздавить, стереть с лица земли... Нет спора, что жизнь может напугать всякого, что всякий может иной раз почувствовать ужас своего существования на белом свете, но так испугаться белого света, как испугался его Федор, едва ли приходится или приходилось кому-нибудь другому. В нем навеки запечатлелся страх, испуг и уверенность, что ни от кого ничего он не имеет ни права, ни возможности ждать, кроме жестокости, непонятной и необъяснимой.

— Что ты? Куда ты? Ай ты угорел? — окликнул Федора один барочник в то время, когда подошли уже к нижегородской пристани и ночевали там.

— Утоплюсь! — отвечал Федор.

— Ребята! глянь-ка, что малый-то вздумал!..

Несколько человек проснулось и обступило Федюшку.

¹ Истерический — болезненно нервный.

— Это что ж ты, паршивец, делаешь? а? Это ты за на-
шу хлеб-соль-то нас хочешь подвести под сякурс¹? Ах, ты,
дурья твоя порода! — загалдели вокруг него барочники.

— Захотел топиться, шут тебя возьми, — пошел топись!

— Да не пачкай компании, к ответу не подводи.

— Мало тебе места-то, корявой дубине?

— Прогпать его, шельму, прочь!

— Пшол, пшол!

— Обыскать его, анафему!

Стали обыскивать; оказалось, что Федор для лучшего выполнения задуманной операции паклал за пазуху под рубашку множество камней, кирпичей и туго подвязал под ними пояс. Ему казалось, что так он скорей пойдет ко дну.

Всеобщий гнев заменился смехом, а федюшкин испуг разрешился слезами. Он объявил, что не пойдет топиться, что виноват. Просил, чтобы его не гнали, спрашивал: «куда ему теперь?»

— Иди в полове... nope ярмарка стоит... еще деньги паживешь.

Какой-то добрый человек свел его в одно из бесчисленных в ярмарочное время трактирных заведений, и Федор стал половым за харчи и за доходы, какие случатся, но без жалования. Ежеминутно чувствуя себя совершенно чужим на белом свете, чужим между всеми этими орущими, пьющими и дерущимися людьми, он решительно не замечал, что такое кругом него творится, и работал, как неустанная машина.

Так прошла вся ярмарка.

У Федора вдруг оказалось рублей тридцать денег, — сумма, накопившаяся незаметно, и Федор тотчас, как только сосчитал деньги, вспомнил о матери. А как только вспомнил о ней, так и о себе вспомнил, и в пришибленном мозгу опять замелькал какой-то светлый луч... Опять ему стало ужасно жаль... Жаль «всего этого», жаль до слез. И ревел он над своими деньгами долго-долго. Хозяин даже отобрал у него эти тридцать рублей себе под сохранение, прибавив:

¹ С и к у р с — юридический термин;

— Так-то оно лучше будет, меньше будешь нюни-то разводить.

Федор однако и без денег нередко обливался горячими слезами; во сне он плакал каждую ночь и кричал, причиняя посетителям номеров постоянные беспокойства; тем не менее хозяин держал его у себя и после ярмарки, дорожа его покорностью, выносливостью и бескорытием.

Федор жил, не думая о будущем. Вновь пробудившаяся жизнь сердца сильнее, чем в первый раз, овладела им... Его уже не просто брала жалость к себе и ко всему, что с ним случилось, мысль его пошла дальше: он стал понимать, что все эти на-смерть испугавшие его люди, — такие же испуганные, как и он, что кто-то или что-то исковеркало, изуродовало их, и ему еще жалче стало всех их, чем было жалко прежде. Ведь надо же как-нибудь им узнать это? Как же это так? За что они бьют, губят друга? Ведь тут только два слова сказать и ничего не будет. Как же можно все это оставлять так зря? Вот, примерно, какие стали волновать вопросы этого некрасивого пологого, подающего кипяток. Он крайне удивлялся, что как это ничего никто не скажет? Отчего это не придет какой-нибудь умный человек и не растолкует?.. Что растолковать и как — этого Федор не знал... Речь, которую он предполагал в устах умного человека, имеющего прийти, в голове Федора никак в порядок не приходила. — «Вы что же это, ребята? так ведь невозможно...» Эту фразу хорошего человека он слышал ясно, но дальше не знал, что будет хороший человек говорить. Дальше были только вопросы: как? зачем это? да разве это хорошо? и т. д.

От этих вопросов Федор решительно не мог отделаться — и как бы вы думали? — стал писать...

Заведение запиралось в два часа ночи; только к трем успевали убраться и вывести запоздавших гуляк, и с трех до бела света Федор, не смыкая глаз, при свете сального огарка, выводил карандашом по клочку бумаги, положенному на колено, каракули печатными буквами. Писал он стихами и плакал... Не берусь передать, что это были за стихи. По всей вероятности, кроме непонятной чепухи

и безграмотности, они не представляли бы никому ничего интересного. Тем не менее Федор крепко берег их и тщательно прятал в тайные места.

И с каждым днем необходимость передать бумаге накопившиеся думы овладевала Федором все сильнее и сильнее. А вместе с этим сами собой выросли и думы.

Не менее года просидел он на чердаке и выработывал довольно смелый, довольно нелепый, но довольно понятный план: ехать с этими сочинениями и думами в столицу; тот, кто пишет книги, тот человек (так выдумал Федор) и есть тот самый хороший человек, который один только и может сделать добро. Федор знал это по себе: он писал по ночам, потому что ему было жаль людей, потому что он хотел, чтобы люди не пугали друг друга, как пугают людей бешеными собаками. Так и все, кто пишет книги. Он знал, что сочинения его плохие, что пишет он нехорошо, и что даже почерк у него бог знает какой (хотя в течение года он с невероятными усилиями выучился писать «по-писанному», а не по-печатному) — все это он знал; но жизнь так страшно обошлась с ним, он так ясно видел, что она запуталась, что в ней какая-то фальшь, от которой людям нет житья, что, несмотря на все, не покидал этого плана. Он полагал, что там разберут, испугаются, когда он расскажет, и закричат па весь белый свет: «Что вы, ребята? Разве так возможно? Это, братцы, не модель! Что вы, полоумные, очумели, что ли?»

Еще через год он осуществил этот фантастический план. Как он это сделал — не знаю. Знаю, что целый год он копил пятаки и гривенники, сколотил деньги на покупку сюртука, шалки, сапогов и жилета, и пр. и пр., и почти уродом прибыл в столицу. Корявый, маленький, пугливый, дикий, в платье, которое было шито на чужой рост, он был и жалок, и неуклюж, и вообще ужасно странен.

В это время его и узнала рассказчица — девушка, гетевившаяся тогда в сельские учительницы. Он ютился в углу меблированных комнат, работая по ночам, когда все уж спали, и приводя в порядок свои сочинения.

С полгода шуршал он своими бумагами, порядочно-таки

надоедая жильцам; наконец выступил в поход: понес рукописи в газету. Воротился он, весь сияя, и сам первый вступил в разговор с рассказчицей, рассказал ей всю свою историю и в заключение всех пересказанных несчастий радостно произнес:

— Отнес!

Так он сказал это слово, как будто невесть какое счастье случилось с ним...

— Велено прийти через неделю.

Через неделю между Федором и редактором происходил такой разговор:

— Это все — один стих? — стоя полуоборотом к Федору и тыкая в корявую рукопись пальцем, небрежно спрашивал редактор.

— Все один...

— И это он же тянется?

— Это? Он, он.

— Какой же это — стих? Разве такие бывают стихи? Это — шест, а не стих!.. Этим шестом только голубей гонять.

— Там дальше и короче есть... вот извольте...

— Неудобно, не годится.

Редактор ушел.

Глубоко был опечален несчастный поэт. Как убитый, сидел он по крайней мере целую неделю на окне в коридоре, покуда его не ободрил какой-то добрый человек, узнавший в чем состоит его горе. Человек этот подарил ему книгу о стихосложении, и с этих пор еще не менее, как на полгода, Федор вновь отдался своему задушевному делу. К шуму бумаги, нарушавшему сон жильцов по ночам, на этот раз присоединился какой-то непрерывный стук то ногой, то рукой: это Федор учился стопосложению, вгонял свои длинные, как шесты, строки в надлежащие границы и вытягивал, как вытягивают подошву, короткие... Как он мучился, как он трудился, как он страдал — передать нет возможности. Часто на него нападало полное отчаяние, так как перерубленные пополам и вытянутые вдвое стихи его явно утрачивали цену правды, которую он в них только и видел.

Наконец, кое-как оболванив свои произведения, он вновь пошел в редакцию и на этот раз уже с замиранием сердца ожидал рокового дня.

Через неделю, по обыкновению редакций, день наступил. Дрожая как лист, Федор отправился за ответом.

Не скрывая презрения, редактор с первого же слова почти завопил на Федора:

— Да что вы хотите? Что такое вы тут выводите? Что вам хочется сказать?

— Я...

— Что богатые — богаты, бедные — бедны? Да?

— Я...

— Что бедные — такие же люди, как и богатые? Так? а? да?

— Так...

— Что несправедливо обижать, заедать? Да? Это? Потом — кисельные берега, молочные реки... Всеобщий лимонад-газес? Так?

— Я этого не писал... Я там...

— Так я вам скажу, — вне себя завопил редактор, чуть не по посу хлопая Федора его рукописью: что, во-первых, все это давно всем надоело и без вашей белиберды, а во-вторых, за эти идеи... вы знаете — что это?

И он прибавил внушительным шепотом таких два словечка, от которых Федор вновь ощутил приступ необычайного испуга и едва не закричал, как помешанный: «боюсь!»

Отчаяние овладело бедным малым в сильнейшей степени. Он шатался по коридору меблированных комнат, никого и ничего не замечая, ничего не видя и не слыша и только по временам, останавливаясь, как вкопанный, перед первым встречным, бормотал:

— Всем известно! Кабы всем было известно, ничего бы не было.

Или что-нибудь в таком роде:

— В тюрьму!.. Да хоть в каторгу... Известно!.. Совесть-то в тебя пет!..

*

Чтобы мало-мальски помочь ему, успокоить его, рассказчица, со слов которой написана федорова повесть, пыталась вступить с ним в разговоры, пыталась успокоить его тем, что не с ним одни такие неудачи, указывала ему, как умела, на больших, крупных поэтов, великих людей... Федор, не произнося ни слова, напряженно-внимательно вслушивался в ее речи — ведь ничего он этого не знал. Не знал он, что и до него писалось — и, боже мой, сколько! — стихов на те же темы, что и до него были люди, знавшие беду и желавшие помочь общему горю... Ничего он этого не знал и только ужасался, слушая эти рассказы. Когда рассказчица прочла ему два-три сильных стихотворения, касавшихся поглотившего Федора предмета, он заревел и проговорил:

— И ничего?

— Что ничего?

— Так ничего и после этого?

— Покуда ничего...

Федор ревел.

Чтобы успокоить его, она приводила ему еще более сильный пример неудачи, рассказала ему почти все главнейшие события истории и вместо успокоения только ужасала его и ужасала...

— И тут ничего не вышло?

— И тут... Да еще что?..

Корявый, безграмотный, измученный человек с каждым словом своей собеседницы все неотразимее убеждался, что он — ничто, мразь, ничтожество сравнительно с теми, кто и до него печалился о делах света белого. Рассказы девушки доказали ему все его бессилие, все его несправие, всю безнадежность его существования...

Испуган он был прошлым и еще больше испугался теперь, узнав, что «покуда ничего не вышло».

Он окончательно ошалел, и все жильцы комнат думали, что он худо кончит... Как помочь ему — никто не знал. Как уверить его, что он не безграмотен, что у него есть будущее, что ужас прожитой действительности можно забыть и что есть какая-нибудь возможность сделать то, что на чердаке нижегородского трактира задумал делать Федор?

Многим было жаль его, но все молчали и ждали. Наконец дождались.

Однажды Федор неожиданно исчез с утра и воротился в два часа ночи, с шумом подкатив на извозчике. Он был жестоко пьян. Полагали, что косушка и будет прибежищем этому нескладному несчастливцу: однако вышло не так... Очнувшись, Федор стал что-то смутно припоминать, и по мере того, как память восстанавливала ему прошлый день, им начинало овладевать что-то ужасное, какой-то необычайный испуг... Такого полного бессмыслия, в которое впал несчастный, с ним никогда не было. На расспросы рассказчицы он только отвечал: «Свинья!» «Продал!» — «Кто, что продал?» — «Я...» «Все!» «Всех!» Потом, после новых продолжительных попыток привести его в сознание, он пробормотал: «Он мне сам сунул... в руку»... — «Что сунул? кто?» — «Да этот... злодей... надоело всем... вот...» — «Редактор, что ли?» — «Он сам сунул...» — «Что сунуло?» — «Деньги... Я так шел... он мне ткнул... Свинья, христопродавец я...»

«Я, — говорила рассказчица: — несмотря на все старания, ничего более от него не могла добиться. Но думаю, что дело было так: шел он, должно быть, по улице и наткнулся на редактора, который так его недавно озадачил. Быть может, вид его был очень жалок, или редактор был в хорошем расположении духа, только последний мог предложить, «сунуть» ему бумажку... Почему-нибудь, очень может-быть, что по рассеянности, Федор взял ее — по рассеянности и не соображая, что делает, выпил, напился... И вот теперь, очнувшись и сообразив, что сделал, ужаснулся. С его точки зрения, поступок этот, в самом деле, должен был казаться ужасным. Взяв деньги от человека, который объявил ему, что ему надоели все эти страдания, о которых Федор болел душою, Федор продал свое право страдать за людей, сам оказался дрянью, которая может от рюмки водки забыть двадцать лет возмутительной неправды... До этой минуты он знал, что он — ничтожество, знал, что он незащищен на белом свете, и что нет защиты у этого света ни от кого: теперь он убедился, что об этом

ничтожество и хлопотать-то не стоит... Прежде он был испуган людьми, а теперь испугался сам себя. Теперь он всего испугался и в таком испуге не замечал, что не пьет, не ест и умирает с голоду.

Я думаю, это было так. Впрочем, может и ошибаюсь...»

На этом рассказчица кончила.

Третий звонок торопил клубную публику выходить из зал. Собеседники стали прощаться, унося домой невеселое впечатление.

1. ИВАН БОСЫХ

Морозный зимний день в полном блеске. Час одиннадцатый в исходе. В незамерзший кусочек полузаметенного снегом окна вижу я, как на широкий двор, примыкающий к тому деревенскому дому, в котором я живу, вошел крестьянин Иван Петров, по прозвищу «Босых».

Вижу я, как ленивою, почти болезненною поступью подошел он к куче кое-как наваленных в углу двора поленьев, которые Иван взялся расколоть на дрова, как он, вместо того, чтобы приняться за работу, принялся обеими руками крепко-накрепко царапать свою голову, держа подмышкою шапку, как потом, нахлобучив эту самую шапку на голову, потолкал кучу поленьев ногой, обутой в рваный валяный сапог, и как опять-таки, вместо того, чтобы взяться за топор, стал разминать плечи, стараясь достать кулаком до середины спины... Вижу я все это и знаю, что Иван находится в самом мучительном состоянии, — знаю, что он болен «со вчерашнего», что он вчера крепко выпил, что если сегодня он и появился около дров, то уже поздний час прихода на работу, когда люди собираются обедать, означает только желание выпросить рубль серебра на опохмелъе. И точно, поколотив кулаком поясницу и между лопатками, он полез в карман серого подпоясанного армяка за махоркой и потом, растирая ее на ладони, уныло пошел в кухню.

Здесь, как мне также уж достоверно известно, он долгое время будет курить, а чтобы завести общий разговор,

сообщит, что «вчера» у него вытащили в кабаке деньги, и, возбудив этим общее сочувствие, долго будет разговаривать о своем расстройстве, о том, как он жил на «вокзале», о том, как он поправился; сообщит множество сведений о том, как лечить такую-то и такую болезнь, как ловить барсуков, как прививать яблони, и в конце концов, не имея сил долее сопротивляться мучительному недугу похмелья, скажет: «нет, видно, nope я не человек» — и пойдет ко мне просить рубль серебра, говоря, что у него внутри жжет и дерет, ест и сосет, и что, почувствовавшись, он придет завтра до свету и все переделает с одного маху. И это также давно мне известно: знаю я, что, очнувшись, Иван Петров делается совсем другим человеком, и что в такие — к несчастью, редкие — минуты нет в деревне такого другого мужика, который был бы так, как Иван, «зол на работу, то есть так к ней пристрастен и так ею оживлен».

Иван Петров принадлежит к тому ненужному, непонятному, даже прямо постыдному для такой земли, как Россия, классу деревенских людей, — классу, народившемуся в последние двадцать лет, — который волей-неволей приходится называть «деревенским пролетариатом».

Этот новорожденный пролетариат решительно мог бы не существовать на нашей земле, если бы миллионы мероприятий, направленных в сторону народа, дорожили народным мирозерцанием, по малой мере, в таких же размерах, как и его платежной силой. Для того, чтобы махнуть рукой на землю и предпочесть своему дому дом питейный, вполне достаточно хотя бы только той нелепицы в крестьянских «правах», вследствие которой крестьянин, сегодня бывший присяжным, судьей и великодушно оправдавший несчастного человека, давший ему жизнь словами: «нет, невиновен», на другой же день после свободного проявления такого большого «права» может быть выпорот в волостном правлении до крови за то, что, встретившись похмельком со старшиной, нанес ему оскорбление словами: «ах, ты, курносый заяц!»

Чтобы молча и безропотно вращаться только между

кими полюсами¹ крестьянских «правов», и то надо отказаться от всякой нравственности, от всякой духовной жизни, от всякой возможности жить по своему разуму. Но этот пример — только капля в море того коренного расстройствa, которое размывает самые коренные основы народного мирозерцания, вырабатывает человека «без перспективы» и «без завтрашнего дня», стремится сделать работника и раба из человека, который по самому существу своей природы не может существовать иначе, как с сознанием, что он — «сам хозяин».

Посмотрите вот на этого Ивана Петрова, по прозвищу Босых: он — человек сильной породы, он легок, ловок и умел в работе, жена его — умная, сильная и ловкая работница, когда-то красавица; земли он может иметь сколько понадобится; но, кроме «хозяйства», он еще и плотник, весьма хороший для деревни, и саложник; да и просто как поденщик — колоть ли дрова, прессовать ли сено и пр. — он мог бы, получая не менее семидесяти копеек в сутки на хозяйских харчах, существовать безбедно, а он вот бросил хозяйство, бьет жену, жена ходит жаловаться, плачет; дети его, трое ребят, по целым дням шляются в грязных лохмотьях по деревне без всякого призора, и неизвестно, кормит ли их кто-нибудь. Изба его, в ряду тех новых «крестьянских» изб, в которых вы видите кисейные занавески, венскую мебель и часы под колпаком, представляет собою верх безобразия: она вся почти развалилась; вместо стекол — тряпки и какие-то лохмотья; а по постройке избы и служб вы видите, что дом был «богатый»; сарай протянулись сажень на тридцать; столбы везде дубовые, аршина по два в обхвате... А сам хозяин? Спросите о нем у авторитетных² деревенских людей, — все отзовутся о нем самым неодобрительным образом: он три раза продал одно и то же сено трем разным лицам, а деньги пропил; он набрал «под телушку» в трех лавках и не отдал нигде — телушку продал на сторону, а деньги по обыкновению пропил. Его секли

¹ П о л ю с ы — крайние точки.

² А в т о р и т е т н ы й — заслуживающий доверия.

в волости несколько раз — и за грубость перед начальством, и за недомки. * по жалобе жены, которую он после этого суда жестоко избил в поле, возвращаясь домой. — «Не давайте ему денег, ни боже мой, не давайте вперед!» — советует вам экономный деревенский житель. — «Ни на волос не верьте!» — говорит другой житель, уже обманутый Иваном. А между тем, когда Иван «очувствуется» на неделю, на две, что это за славный, добрый, умный человек! Сколько у него юмора, наблюдательности, нежности, великодушия, насмешки над самим собой, сколько юпошеской душевной свежести! Что же валит его пьяным с опухшим лицом ничком в мокрую, грязную канаву, без сапог, без одежды и заставляет целые ночи подставлять свою широкую спину под дождь и ветер? Вся деревня помнит его родителей, все говорят, что когда-то «Босых» были первые хозяева, что Иван и жена жили прежде дружно, работали «за первый сорт»; все согласны, что очнись он, ему цены не будет, что у него «золотые руки»; а он точно умышленно махнул на все рукой, обманывает, бунтует и, как нищий, шляется в поденщиках, да и то только для того, чтобы выработанное пропить в кабаке.

2. РАССКАЗ ИВАНА БОСЫХ

Теперь пьянство Ивана превратилось уже в болезнь, а эту болезнь, угнетающую не одного Ивана, а целые массы таких же, как и он, непостижимых в русской земле деревенских пролетариев, сам народ охарактеризовал словом: «ослаб». Физически Иван, как в сотни ему подобных «ослабших» мужиков, не только здоров и силен, но прямо могуч; стало-быть, слабость его имела не физические, а какие-то другие источники. Вот о причинах этой-то «слабости», «ослабления», и бывали у нас с Иваном весьма частые разговоры, долгое время не приводившие ни к каким благоприятным результатам, а иногда прямо соввавшие с толку, особенно такого человека, который привык и привычился объяснять пародное расстройство почти исключительно материальными несчастиями, бедностью, налогами и т. д. Приведу для примера один из таких разговоров.

— Скажи, пожалуйста, Иван, отчего ты пьянствуешь?— спрашиваю я Ивана в одну из тех ясных и светлых минут, когда он приходит в себя, расканвается в своих безобразиях и сам раздумывает о своей горькой доле.

Иван вздыхает глубоким вздохом и с сокрушением произносит почти шопотом:

— Так избаловался, так избаловался... и не знаю даже, что и думать... И лучше не говорить!.. Одумаешься, станешь думать — не глядел бы на свет, перед богом вам говорю!

— Да отчего же это, — скажи, пожалуйста?

— Отчего?.. Да все оттого, что... воля! Вот отчего... своевольство!

Так как ответ этот ставит меня в недоумение и я решительно не могу понять, почему «воля» может губить человека, то Иван, чтобы рассеять мое недоумение и объясниться обстоятельнее, прибавляет:

— От жизни от свободной — вот отчего!

— Что же это значит? — спрашиваю я в полном недоумении.

— А то значит, как жил я на вокзале, получал я тридцать пять целковых в месяц, народу имел под начальством десять человек, доходу мне каждый божий день с вагону уж беспременно рубль серебра, а сочтите-ка, сколько в зиму-то вагонов отпавим?.. Ну вот, тут-то я, значит, и забаловал...

Слово «забаловал» до такой степени не подходит к сорокалетнему, мужественному, бородатому мужику, что не понимаешь даже, как он может в объяснение своего поведения употреблять такие выражения, приличные только разве малому ребенку. Но Иван не находит другого точного выражения.

— Вот и стал баловаться... При покойнике-тятеньке, бывало, капли в рот не брал. Убьет, если узнает, на смерть уколочит своими руками... Да и после тятеньки, когда уж оженился, своим хозяйством стал жить, и то позволял себе — когда угостят, да на праздниках, да иной раз со скуки — стаканчик. Все опасался и покуда чего было — берег-

ся... Ну, а уж тут, на вокзале, как стала мне воля, стало мне, значит, раздолье, стал я — одним словом, коротко сказать — барин, тут-то я и пошел... Жрешь, бывало, целые сутки, а все доверху не хватает... Я как сейчас помню, с чего начал: у дорожного мастера Ивана Родионовича именины были на Ивана постного. Ну, он мне и налил виноградного стакан — «портвин»¹ называется... Я как двинул его — понравилось. Я и давай... А там и коньяк, лимонад. Вот с этих самых пор и завел себе язву. А отчего? Все от воли!.. Все от непривычки, от легкой жизни... Вот отчего!.. Бывало, денег полны карманы набью... Ну и стал через это самое в роде последней свиньи...

Таким образом оказывается, что «воля, свобода, легкое житье, обилие денег», т. е. все то, что необходимо человеку для того, чтоб устроиться, причиняет ему, напротив, крайнее расстройство до того, что он делается «в роде последней свиньи».

— Отчего же ты деньги-то на хозяйство не тратил, а на пьянство? — спрашиваю я.

— То-то и есть, не привычны мы... Какое тут хозяйство, когда совсем стало жить свободно?.. Делай, что хочешь, — никто не препятствует... Тут, одним словом, можно в конец избаловаться...

Так как Иван видит, что объяснения его ничего не объясняют, и что я все-таки не мог взять в толк, отчего хорошая жизнь превращает человека в свинью, то он старается пояснить мне свою мысль примером, к чему в разговоре вообще довольно часто прибегают крестьяне. Привожу этот пример, зная, что он едва ли что уяснит читателю.

— Потому что, — говорит он: — природа наша мужицкая не та... Природа-то у нас, сударь, трудовая... Я скажу вам примером. Был у нас тут по соседству барин, господин Подсолнухов, хозяйствовал... Вот хозяйствовал-хозяйствовал, видит он, что доходу ему нету, задумал он молочным делом заняться. Наша скотина ему не по праву при-

¹ «П о р т в и н» — искаженное слово «портвейн», от португальского города «Опорто» или «Порто». Особый вид крепкого виноградного вина.

шлась, — коровенки наши, точно, худы, шаршавы, — дай, думает, заграничную корову выпишу. Выписал. Идет телеграмма, едет корова из-за границы, немец ученый провожает... Видим, — ведут, чуть не на цепях — этакая верзила, сажень вверх да полторы вдоль. Урядник даже шапку снял... Что рога, что глаза, что прочее все — страсти господни! Великап, Еруслан Лазаревич... Очистили ей скотник, настлали соломы, пришла она и легла этак набок. А пемеп лампу потребовал на ночь. Вот хорошо, лежит она таким манером и ест. Только бабы подкладывают ей под морду корм. Ест, а молока не дает. — «Что же это, говорю немцу, она молока-то не дает?» — «А это, говорит, она отдыхает, так как, говорит, из-за границы и все в вагоне, то она утомлена и поправляется своим здоровьем...» — «А долго ли, мол, она будет поправляться?» — «Да с месяц места пройдет». Ладно. Попробовали было ей нашего мирского быка порекомендовать — куда!.. Как глянул на нее, какая она есть великолепная, испугался, как заяц: понял, что не ему с мужицким рылом соваться — и давай бог погои... Едва за двенадцать верст чужие мужики поймали. А она тем временем отдыхает все. Все ест, вздыхает и ест... Наконец, уж видно совесть ее взяла, дает молока, и целое ведро. Вот барин и говорит: — «Видишь, говорит, Иван, какое же сравнение с нашими коровенками!» — «Ну нет, говорю, барин, по ейному корму наша скотина много способней». — «Как так?» — «А вот как: сосчитайте, сколько она у вас съела и много ли по корму молока дала? Она хоть и ведро дает, да ведро-то это больно много стоит... А кабы вы корм-то, что она одна съела, роздали нашим десяти коровенкам, так все-то вместе они вам в десять раз больше этой одной верзилы дали-б». Тут немец и говорит: «Она, говорит, не такой породы, чтобы только о молоке думать; она и об себе думает, она ест для своего удовольствия, — посмотри-ка-сь, какое у ней мясо-то...» Вот после этих слов я и говорю барину: «Видите, говорю, господин, аи и оказывается, что наши коровенки как раз по нашей природе и породе приходятся... Мясо нам не требуется, своего удовольствия она знать не знает, а живет только из-за ра-

боты; что ест, то отдает, а об себе и не думает... Родилась она для работы и живет весь век в ней — вот вся и жизнь ее...» Вот и человек этак же бывает разный. И вот наша крестьянская порода то же самое: мы круглый год и всю жизнь, не покладаячи, работаем да так в работе и живем... Я вот попробовал от крестьянства отбиться — чуть-было не опился... А другому что легче, то лучше; что ничего не делать, то и приятно... Вот у нас на станции еврейчик был Шнап... Все он там толкался в разных местах и все на пустом поровнял рублишко нажить: там барыню провожает, там мужику укажет, как и куда пройти... Ну и дают — кто рубль, кто гривенник... А он все прячет, все копит... — «На что, говорю, копишь?» — «Карьер¹ хочу делать». — «Какой-такой?» — «Деньги наживать!» — «Зачем?» — «Лавку открывать!» — «А как откроешь?» — «Опять деньги наживать!» — «А как наживешь?» — «Еще больше буду наживать!» — «А как совсем уж много будет?» — «Опять буду еще больше стараться»... Вот и гляди на него. — «Пойдем, выпьем!» Нейдет, копейки не истратит. А по-нашему, по крестьянству, для хозяйства еще, пожалуй, можно понажить дельжопок, а так... наживать да наживать — так это я даже и в понятне-то не возьму... Шнап-то воп этот из грошей капитал делает, а вот я, как позабыл крестьянство-то, от трудов крестьянских освободился, стал на воле жить, так и деньги-то мне стали все одно что щепки... Только и думаешь, куда бы девать, и, кроме как кабака, ничего не придумашь... Чего! Я уж вам во всем буду каяться... (Ивап говорит шопотом). Тр-р-ри мамзели завел! Закон забыл!.. Перед богом говорю... Воля! Свобода! Только и думаешь, как бы что... Тьфу! До такого дошел забвения, даже стал наших, своих же братьев, мужиков притеснять... И с чего! — Просто совести не осталось... Придут, бывало, с холоду, разыщут в трактире, кланяются, просят сено отправить — второй, мол, день ждем, проелись, а концов не сыщешь... Мне бы, кажется, только сказать подручному: «Михайла, дай им вагон!» —

¹ «К а р ь е р» — искаженное слово вместо «карьера».

а меня точно нечистая сила начинает разламывать... Сидишь за бутылкой, ломаешься и говоришь: — «Изыскивайте способов». — «Да каких же, батюшка, способов-то искать? Ходили-ходили, везде машины свистят, дым дымит, того и гляди раздавят... Уж мы и так измучились». — «Изыскивайте, говорю, сумеете понять, кто вам надобен...» — «Да ты, отец родной, ты...» Ломаешься-ломаешься, бывало, уж кто-нибудь из публики вступится, скажет мужикам: «Да всуньте вы ему, подлецу, три целковых в горло... Каких ему еще способов надо!» Ну уж тут поневолишься, делаешь... Жена придет, бывало, облаешь... По крестьянству она мне нужна, а на свободе у меня особенные баловницы есть... Что мне с ней, с мужичкой, делать?.. Ведь вот до какого дошел своевольтва! И верпте, как распьянствовался я до последнего предела, как дошло дело до начальства, да как приехал начальник дистанции¹, да ка-а-ак дал мне (лицо рассказчика вдруг просияло) хо-о-орошего леща, да как начальник эксплуатации¹ набавил мне (детская радость разлилась по лицу его) в загривок, да как в подвижном составе наколотили мне бока, — так я, братец ты мой, сотворил крестное знамение, да точно как из могилы выскочил, воскрес, да по морозу, в чем был, без шапки — домой!.. По полям, по сугробам, по задворкам, как птица, двадцать пять верст без остановки пропорхал и не видал, как середь своего двора очутился. Очутился я на дворе гол и наг, и все у меня в разорениц, а рад был — истинно, как из мертвых воскрес. Слава тебе, господи! Слава тебе, царца небесная! Опять я — человеком, опять я сам себя отыскал... Пал же не в ноги. «Прости меня, жена моя милая! Давай работать, хозяйствовать! Брошу свои глупости, опять стану человеком... И уж прищялся же я в ту пору! И все-то мне мило — и пашня, и соха, и боропа, и дровни, и телушка, и сарай, что покосился, и забор, и колода... Все — точно родные, друзья дорогие, кровные... Гляну, гляну —

¹ Начальник дистанции, начальник эксплуатации — названия должностей по железной дороге.

страсть какое разоренье, а у меня только дух бодрей... Что вижу — сколь много работы, что вижу — работать не переработать, то мне и охоты больше, то и силы прибывает... Так вот какая наша крестьянская природа! А там и работы не было, и всякое удовольствие, и деньги, а точно безумный сделался, всю душу-то по грязи истаскал, как свинья свое брюхо... А отчего? — Все воля!

Этим непонятым сопоставлением слов: «воля» и «нравственное падение» Иван и начинал и оканчивал свои беседы со мной и, как видите, не только не разъяснял моих недоумений, но значительно их преувеличивал.

3. РАССТРОЙСТВО

Не раз заходил у нас с Иваном разговор на ту же тему, т. е. на тему о том, отчего он спился, отчего расстроился, что нужно крестьянам, чтобы было лучше, и т. д., и всегда разговоры эти не приводили ни к каким удовлетворительным результатам. Ответы и рассказы его были всегда неинтересны, очень часто утомительны своим однообразием или, напротив, ставили в недоумение, объясняя пьянство выражениями: «воля» или «баловство» и т. д. Происходило это от того, что Иван часто вовсе не упоминал о том главном, что давало этим сухим и утомительным разговорам глубокий (на мой взгляд) интерес, а я, как человек посторонний подробностям и сущности народной жизни, не понимал этого главного и пропускал мимо ушей такие слова и фразы, произносимые Иваном мимоходом, как всем давно известные и понятные, которые именно одни только и могли осветить мне тьму и путаницу наших неинтересных разговоров. Вот почему я не буду передавать этих разговоров в их «последовательном беспорядке», а приведу их тогда, когда читателю будет можно понять их, и для этого остановлюсь на том разговоре, который приведен выше.

Иван рассказал самую обыкновенную историю: на каждом шагу, от всех хозяев — от всех, кто имеет дело с наемным человеком — вы слышите то же самое, т. е. пьют потому, что «избаловались»; потому, что «воля»; потому, что «некому смотреть за порядком», «нет страху»...

— Помилуйте, — слышите вы поминутно: — чего еще им нужно? Рабочий получает семьдесят копеек в сутки на хозяйских харчах, два раза чай — ведь это не маленькая плата! Зимний день в наших местах короток, — в восемь часов утра еще темно, — приходят рабочие в девятом часу, работают с разговором, с цыгарками, до двенадцати, часа полтора уйдет на обед, а там, глядишь, в четыре часа и ночь. Скажите, пожалуйста, что еще надо?.. Нет, поработают до обеда, уйдут в кабак, завтра совсем не пришли, а если станешь задерживать деньги дня по три, по четыре для их же пользы — ропот, требуют; отдашь — пропьют!..

Доля правды в этих рассуждениях есть несомненная. Крестьянин, работающий дома, никогда не выработает таких денег, хотя работает целый день. Учитель, нанятый обществом, получает три рубля в месяц, с обязательством всю зиму учить человек двадцать маленьких детей, которые являются буквально до свету и, пообедав, опять сидят с учителем часов до шести. Родители нарочно посылают маленьких детей в школу, чтоб они не мешали дома, и одно уж пребывание в обществе этой шаловливой толпы в течение, по крайней мере, 8 или 9 часов — дело весьма нелегкое: однако, повторяю, учитель получает три, много пять рублей в месяц, да и то родители обижаются, что «мало учит», рано домой отпускает. Кроме этого, жизнь учителя — скитальческая. Он живет в деревне на пастушьем положении, т. е. ходит обедать и ночевать из двора во двор, и бывают частенько случаи, что иная чистоплотная баба выгонит из избы и учителя и учеников, которые явились к ней «по очереди», — выгонит вон, прямо на мороз. Сравнительно с таким трудом и неудобствами, вознаграждение учителя хуже, чем нищенское, так как всякий нищий — точно так же, как и учитель — найдет ночлег в чужом доме, пайдет и кусок хлеба, но деньгами соберет гораздо более того несчастного гривенника, который платят (и всегда с задержками) учителю. Вознаграждение, получаемое дроворубом или прессовщиком сена, и труд их не могут идти ни в какое сравнение ни с трудом, ни с вознаграждением учителя — так этот труд легок, и так это воз-

награждение велико. Прессуют сено не менее четырех человек. В то время, когда один кидает его в пресс, а другой утаптывает ногами, двое других курят цыгарки и разговаривают разговоры; а когда, в свою очередь, они принимаются за работу, т. е. начинают рычагами поднимать исподнюю доску прессы, первые двое принимаются за цыгарки. Кроме того, работа приостанавливается, если пойдет снег, ударит сильный мороз: пойдет кто-нибудь к хозяину «увспроситься», работа стала. Мужик по нужде продаст сажень дров за рубль, а распилить и расколоть берут рубль двадцать. Кабаки и трактиры полны, и здесь идет питье пива, водки, даже коньяку и «портвину». Наряду с тем, почти всеобщим мнением, что вырабатываемые деньги идут почти целиком в трактир, вы услышите и сетование о том, что много народу, крестьян, бросают пашню. «Балуется», хозяйством не занимаются: «выпойт теленка», продаст за сорок целковых — и пошел кофею да чаю распивать; а земля брошена, податей не платит. Вообще люди хозяйственные, строгие, не пьющие, определяют вам характерную черту современной деревенской жизни выражениями: «ослаб народ», «распустился», и в подтверждение этого скажут, что «против прежнего пароду стало легче, денег ему приходит больше, но что так как нет строгости, то деньги идут прaxом». Скажут, что «наш» (подстоличный) народ мог бы и подати заплатить и жить хорошо, так как опять-таки средства для этого есть — сено, например, продают в Петербурге почти так же дорого, как хлеб, и т. д. — но что оп «избаловавши», «распустивши», «ослабши». Да и помимо показаний этих сведущих деревенских людей, сами вы, посторонний человек, видите, что непроизводительная трата денег среди крестьянства в самом деле велика. В огромном большинстве расстроившихся хозяев значительнейшая часть заработка идет не на хозяйство, а на трактир, па пустяки, картежную игру, мотовство.

И, что удивительно, мотовство, расстройство начинается именно от более легкого, чем крестьянство, заработка; рассказ Ивана, по прозванию Босых, свидетельствует о том, что оп, Иван, начал терять всякий

смысл существования по мере того, как ему становилось «легче», по мере того, как в руках его оказывались такие деньги, каких он прежде и во сне не видал. Человек из-за «расстройства» отправившийся на заработок и получивший хорошее место и деньги, как будто позабыл, что с ними надо делать, начинает швырять деньги, как щепки. Он говорит: «все — воля». Это непонятно; но еще менее понятно и следующее обстоятельство.

Однажды, прочитав в газетах о том, что какой-то пепзенский помещик «на свой страх» ввел в соседней деревне общественную запашку, я не мог не поговорить об этом обстоятельстве с кем-нибудь из знакомых крестьян. Пришлось разговаривать с Иваном, который был в этот день трезв и первый попался мне на глаза. Помещик завел общественную запашку с тем, чтобы, облегчив процесс труда крестьянам, приобрести съэкономленное ими время в собственное распоряжение и иметь рабочих, которые бы, как говорится, «не разыгрывались», одновременно работая по найму и на себя, но, отработав свою часть на общественной пашне, были бы совершенно свободны. Работы общественные устроились посменно: одни работают на помещика, другие — на пашню. Всякая смена ждет своей очереди. В известии об этом было прибавлено, что облегчение и скорость труда до того пришлись крестьянам по вкусу, что тому же способу обработки общественных полей последовало в тот же год более двухсот окрестных деревень.

Хоть я и давал себе зарок не говорить с крестьянами об их крестьянских распорядках, так как в большинстве случаев такие разговоры совершенно бесплодны и ни к чему практически-путному не ведут, но на этот раз пример 200 деревень соблазнил меня. — «Как бы хорошо было, — сказал я: — если б и у вас завелась такие порядки: всякий, даже самый последний нищий, калека, который теперь побирается у вас под окнами, тогда бы мог иметь общественный хлеб, так как непременно мог бы что-нибудь делать в общей работе. Рассчитать все можно до ниточки. Вот этот солдат безпогий теперь побирается, потому что у него нет ни кола, ни двора, ни земли, ни скотины, а тогда он

мог бы, положим, стоять в риге и считать, сколько привезено снопов, или под уздцы лошадь водить за тебя, например, Ивана, а ты, отработав свою часть — положим, дня два — пашни, был бы свободен, работал бы у помещика, и деньги бы чистые пришли домой. А потом сколько тратится земли на эти межники, капавки? То ли дело по очереди вздрать землю сразу? Ведь косят же какие огромные луга и успевают скосить в один день, потому что принимаются сразу все, а тут на хлебе каждый бьется одни целые месяцы без отдыха, отрывается на чужую работу, оставляя свою. Иной раз хлеб не высеивает, потому что поздно посеял. Почему же, — спрашивал я: — сею можно косить всем миром и разделить копны поровну и без обиды, а нельзя того же делать с хлебом? А какое облегчение! Теперь ты работаешь на своей десятине один, а тогда из ста душ будут каждый день работать, положим, только десять человек, и все-таки десятина обрабатывается в десять раз скорее; так и у других. Девяносто человек (по очереди) всегда свободны и могут делать, что угодно. Наемная работа только выгода, потому что, работая по найму, ты уж знаешь, что хлеб у тебя будет. Да и о бедных и бессильных надо подумать, а при такой работе можно». Тут, для большей убедительности, я припомнил Ивану про некоего копокрада Ручкина. Ручкин был чистый злодей для множества деревень во множестве уездов. Он безжалостно разорял мужиков, угоняя лошадей, и издевался, буквально тиранил и брал с них, что только хотел. Не раз его сажали в острог, отдавали под суд, но «неопытные» начальники, на которых за это весьма ропщут крестьяне, не зная дела, выпускали его, потому что злодей Ручкин на суде оказывался, по их неопытности, белей голубя. Например, лошадей он прятал обыкновенно в лесу, а когда на суде его спрашивали, зачем он был в лесу такого-то числа, то Ручкин отвечал: — «За грибами». — «А лошадь как очутилась в твоих руках?» — «Да я вижу, чья-то лошадь бродит, — дай, думаю, привяжу и спрошу потом мужичков, чья такая. Поди, иной, бедный, смучается, искавши». — «А деньги ты брал за лошадь?» — «Ваше благородие, ведь мне пить-есть надо!.. Ну, а кабы пропала

лошадь-то, кабы медведь съел, — неужто лучше было бы? И неужто он разорится, ежели что даст мне на бедность?..» После таких речей Ручкина освобождали и водворяли на место жительства. Здесь, «с сердец» на односельчан, он принимался свирепствовать еще беспощаднее, а между тем свирепствовал он истинно по нужде: Ручкиным прозывали его потому, что у него не было одной руки... Долгое время я слышал: «Ручкина убить, утопить мало», «злодей», «аспид» и т. п. И только случайно узнав, что «Ручкин» не фамилия его, а прозвище, я спросил: — «Почему его так называют?» — «Да руки у него правой нет, у мошенника, — одной левой злодействует...» — отвечали мне. Конечно, Ручкин мог бы просто и смиренно нищенствовать, но не всякому это по характеру. И Ручкин из-за калечества предпочел злодействовать. Возвратившись два раза из острога, он стал решительно всем страшен. Начальство сельское его трепетало. Встретившись как-то в поле без свидетелей со старшиной, он спросил его: — «Что, Петр Семенович, много ли сена накосил?» — «Да пудов тысячи полторы. Тебе-то зачем знать?» — «Да хотел я у тебя деньжонок потребовать...» — «За что такое деньжонок?» — «Да... да ведь это я прошлый год у Козявкина сено-то сжег...» И больше ничего Ручкин не прибавил, только засмеялся «как чорт». Старшина вынул пять рублей и дал. Жаловаться нельзя — нет свидетелей, да и судьи боятся Ручкина; а не дать нельзя — сожжет... По мнению обывателей, остается одно — убить его тихим манером, как собаку. Лодочник-перевозчик объявил, что он его утопит, и кажется, что все ожидали этого не с сожалением.

Так вот об этом-то Ручкине я и завел речь в подтверждение тех бесчисленных выгод, которые могут произойти из общественной работы. «Ручкин этот, — говорил я: — сделавшись не вдруг злодеем, он должен был как-нибудь существовать без руки, а нищенствовать не хотел. При теперешних ваших трудах вам впору только справиться с своими нуждами, а тогда вы можете и о других подумать. Даже даром могли бы тогда кормить Ручкина. Да и надобности нет даром-то кормить: Ручкин и с одною рукою может

помочь в работе. Тебе, например, некогда снопы возить — Ручкин пойдет. Лошадь твоя, а труд — его. Все это ведь рассчитать можно...»

На этом Иван прервал меня. До этой минуты он меня слушал, и, как мне казалось, внимание его усиливалось, так как я постарался всевозможными доводами и сравнениями показать ту огромную разницу в удобствах жизни, которая произойдет в случае перемены теперешнего хозяйства на то будущее, о котором шла речь. Но при моих словах: «лошадь твоя, а труд его», — молчаливо и неподвижно внимавший мне Иван точно проспулся и проговорил:

— И-ну нет... Хороший хозяин не доверит своей лошади чужому...

И, энергически тряхнув головой, прибавил не менее энергически:

— Чтоб я доверил, например, свою скотину чужому человеку? Сам бы ушел, а мою скотину?.. Да позвольте вам сказать...

И мгновенно какое-то необычайное оживление охватило его. Какая-то масса соображений, задевавших его «за живое», вдруг овладела им, и он, сверкая глазами, заговорил:

— Отдай я чужому свою скотину? Помилуйте! Да позвольте сказать, вы вот говорите: делить хлеб... Хлеб в наших местах без пазему не родится... Позвольте узнать, как же по вашему плану будет с навозом?

— Будут возить, как и теперь. Ведь теперь покупают пазем?

— Это верно. Что так, то так... Но позвольте сказать...

— Ну, и тогда так же рассчитать. Теперь воз — тридцать копеек, и тогда — по возам, а вместо денег — хлеб. Вы пахали, возили навоз — вам и за папью и за навоз.

— Да не про то я говорю, это действительно учесть можно, а как уравнивать пазем — вот о чем мои слова! Теперь я везу назем кониный, а другой какой-нибудь плетется с коровьим — какое же может быть тут равновесие?

Я не знал, что сказать, потому что никогда не предвидел такой тонкости.

— А другой, — все более и более входя в интерес пред-

мета, горячился Иван: — а другой объявляется с свиным — тут как сыскать правду?

— Да не все ли равно?

— Все равно-с? Ну, это уж извините! Кониный или коровий, или, возьмем, птичий, или же свиный — тут, окончательно сказать, небо и земля, а не все равно... Коровий назем даст хлеб метелкой, он топорщится, и зерно у него легкое. Птичий... Да за что же я, позвольте вас спросить, имея в своем хозяйстве, например, кониный или гусиный, например, самолучших сортов — за что же я должен, что он там, мошенник, ворует лошадей и ему Сибиря, капалье, мало — за что я. коль скоро у меня в хозяйстве все как следует, должен хлеб получать с мусором?

— Да ведь много ли тут разницы.

— Да позвольте!.. Лошадь я отдай, хлеб мне с помещью — за что?

— Зато всем лучше...

— Да лучше я ему и другую руку переломлю, чтоб он не воревал!.. а то, помилуйте, все у меня в хозяйстве припасено, а тут мне с свиного да с коровьего... Да тьфу! За что? За что я должен пострадать... через подлецов или как прочих негодяев?.. Нет, не выйдет этого... Да нет, нет! Это и думать даже... Помилуйте, лошадь... да как же можно, чтоб я, хозяин, доверил кому-нибудь? Понавалят мне на пашню неведомо чего, а я при своем, при полном... Нет, не выйдет!.. тут с одним наземом греха наживемь... Или взять так: я привез кониный, а сосед куриный... Ну возможно ли ему, — сами вы подумайте, — возможно ли ему дать согласие, что хотя бы даже и с кониного получить? ведь куриный, птичий, все одно червонец... За что же он должен?.. Да нет, нет! Тут никаких способов нет... Как можно! Какой же я буду хозяин?

Миллионы самых тончайших хозяйственных ничтожностей, ни для кого, как мне казалось, не имевших решительного ни малейшего значения, не оставявших, как мне казалось, даже возможности допустить к себе какое-либо внимание, вдруг выросли неодолимою преградой на пути ко всеобщему благополучию... Горячность, даже азарт, какой

овладевал Иваном во время этого монолога, доказывали, что эти ничтожности задевали его за живое, т. е. за самое чувствительное место его личных интересов. Слушая его, я не возражал, но только дивился: человек, который при «хорошей жизни», «на воле», «на свободе», не жалеет денег на пьянство, не находит возможности чем-нибудь наполнить свое существование, кроме распутства, — человек, который «швыряет», как барин, деньги, когда ему легко жить, — вдруг, как скупец, дрожит над каким-то куриным наземом, не соглашается уступить зерна, ежели оно возросло на принадлежащем удобрении... Человеку легко — он «ослаб», пропадает и пропивается; человек отказывается от облегчения в труде, и во имя чего же? Во имя каких-то ничтожнейших мелочей!.. Он рад, когда начальник дистанции дал ему по шее и из легкой жизни опять ввергнул в трудную. В чем же тут тайна?

4. ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

А тайна эта поистине огромная и, думаю я, заключается в том, что огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски-кротка, — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, — народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность послушания ее повелениям, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование.

У актера, который играет Мефистофеля или Демона¹, до тех пор лицо будет казаться огненным, покуда оно будет освещено огненным светом; наш народ до тех пор будет казаться таким, каким он есть, до тех пор будет обладать теми драгоценными качествами ума и сердца, — словом, до

¹ Мефистофель или демон — олицетворенные представления зла в легендах, поэмах и пьесах.

тех пор будет иметь тот тип и даже вид, какой имеет, пока он весь, с головы до ног и снаружи до самого нутра, пронипнут и освещен теплом и светом, веющими на него от матери сырой земли. Погасите красный фонарь — и лицо Демона перестало быть красным. Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, добейтесь, чтоб он забыл «крестьянство», — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настанет душевная пустота, «полная воля», т. е. неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь...»

Я чувствую, до какой степени топорно и грубо высказано мною то, что я хотел сказать, но явления народной жизни, в которых власть земли над человеком имеет первенствующее значение, до такой степени многочисленны и важны и вместе с тем выражаются в такой массе ничтожнейших по-видимому мелочей, что в них немудрено запутаться и затемнить основную мысль, которую мне бы хотелось высказать. Вот почему мне и думается, что, быть может, и следовало даже определять эту мысль грубыми и резкими чертами.

Земля, о неограниченной, могущественной власти которой над народом идет речь, есть не какая-нибудь аллегорическая или отвлеченная, иносказательная земля, а именно та самая земля, которую вы принесли с улицы на своих калошах в виде грязи, — та самая, которая лежит в горшках ваших цветов, черная, сырая, — словом, земля самая обыкновенная, натуральная земля. Могущество этой персти, «праха», с глубочайшею силой и простотой указано еще в стариннейшей былинне о Святогоре-богатыре. В сущности, это даже и не былина, а загадка, но загадка, в которой таится вся сущность народной жизни... Все содержание этой коротенькой былинны состоит в следующем: Святогор-богатырь выехал во чисто поле гулять. Выехал он просто так, без всякой задней мысли (обыкновенно богатыри выезжают собирать дани, выходы), выехал прогуляться поразмять кости, силой с кем-нибудь помериться.

По моей ли да по силе богатырской,
Каб державу мне, всю землю поднял бы

Никакой однако подходящей, к сожалению богатыря, державы на пути не встретилось, а встретился ему «прохожий» мужичок с сумочкой за плечами. Едет Святогор рысью, а прохожий все идет передом. Во всю прыть не может он (Святогор) догнать прохожего. Закричал тут Святогор да громким голосом:

— Гой, прохожий человек! подожди немножечко — не могу догнать тебя я на добром коне.

Прохожий послушался Святогора, остановился, снял из-за плеч сумочку и сложил ее на землю. «Наезжает Святогор на эту сумочку; своей плеточкой он сумочку пощупывал, как урослая, та сумочка не тронется. Святогор перстом с коня ее потрогивал: не сворохнется та сумка, не шевельнется. Святогор с коня хватал ее рукой, потягивал, — как урослая, та сумка не поднимется. Слез с коня тут Святогор, взялся он за сумочку; он приладился, взялся руками обеими, во всю силу богатырскую натужился, от науги по белу лицу ала кровь пошла, а поднял суму от земли только на волос, по колену ж сам он в мать сыру землю угрыз. Взговорил ли Святогор тут громким голосом: «Ты скажи же мне, прохожий, правду-истину, а и что, скажи ты, в сумочке и а кладено?» Взговорил ему прохожий да на те слова:

«— Тяга в сумочке от матери сырой земли.

«— А ты сам кто есть? Как звать тебя по имени?

«— Я Микула есть, мужик, я Селянинович, я Микула — меня любит мать сыра земля».

Вот и вся былица-загадка, и опять, как видите, слову «земля» нельзя придать никакого значения, кроме буквального. «Тяга» в этой самой натуральной земле — той самой, которая у вас в цветочных горшках, — оказывается столь огромной, что с ней не в силах совладать богатырь, которому ничего не стоит разнести в пух и прах, от-печего-делать, целую «державу». Этот богатырь, ухватившись «обеими руками», из всех сил натужившись, едва-едва мог только на волос поднять мужицкую сумочку, — ту ношу,

которую народ носит за плечами, и так легко, что богатырю не догнать его на добром коне.

Читая эту былинку, некоторое время недоумеваешь, почему и зачем неведомый автор ее, цель которого была показать «тягу земли», заставляет богатыря догонять прохожего пешехода. Но, читавшись в былинку, видишь, что все в ней глубоко обдуманно, все имеет огромное значение в понимании сущности народной жизни: тяга и власть земли огромны, — до того огромны, что у богатыря кровь алая выступила на лице, когда он попытался поколебать их на волос, а между тем эту тягу и власть народ несет легко, как пустую сумочку. Все это так именно есть и до сего дня!

Сначала скажем о тяготе и власти. Вот сейчас из моего окна я вижу: плохо прикрытая снегом земля, тоненькая в вершок зеленая травка, а от этой тоненькой травинки в полной зависимости человек, огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть, земля может быть матерью и злой мачехой. — что будет, неизвестно решительно никому. Будет так, как захочет земля; будет так, как сделает земля и как она будет в состоянии сделать... И вот человек в полной власти у этой тоненькой травинки. Ведь она только через год, почти день в день, принесет на мужицкий стол ломоть хлеба, но может и не принести, — она сама во власти каждой тучки, каждого ветерка, каждого солнечного луча... Сколько перемен, неожиданностей, случайностей и огромных последствий, сопутствующих этим неожиданностям! Для этой травинки, для того, чтоб она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внимательности во взаимных человеческих отношениях. Нужна работающая жена, которая могла бы участвовать в этой массе труда, нужна скотина, уход за скотиной, нужны орудия и т. д., и все это для этой травинки.

Представьте себе, что выйдет, если мы, оценив результаты в деньгах, дадим этих денег любому крестьянскому двору втрое больше, чем он вырабатывает в течение года, — что выйдет? Образуется не семья трудящихся, занятых

людей, а толпа ртов, у которых вся жизнь — сплошная пустота, что мы и видим в семьях, где живут, как говорится, «на готовые деньги»; тогда как владычествующая над ним земля и труд, к которому она обязывает, наполняют все его существование, объясняют ему необходимость и надобность каждого шага, каждого поступка, каждого помышления. Жена крестьянина, которая в крестьянстве нецененна, при готовых деньгах, при отсутствии крестьянского земледельческого труда, теряет вдруг все свои достоинства; она оказывается просто дурой, дубиной, деревом, которое будет мешать везде, куда только ни сунется. Вот почему так противны те из крестьян, которые вылезли к деньгам, отделились от труда, живут на готовое: скучнее, пошлее этой жизни трудно себе представить. Что за глупые разговоры о людях с песьими головами, о Махмуде¹ персидском или, как теперь, о «панье» и «портвине». Кто не знает наконец, сколько глупого «форцу» вносит крестьянин, проживший в трактире, в лакеях и т. д.? А ведь он пьет, ест готовое, спит в тепле и деньги получает; у него «часы анкерные»; но кто не испытывал к этим типам самого полного отвращения? И этот же пустомеля и остолеп тотчас начинает возвращаться к образу и подобию человеческому, как только возвращается к труду земледельческому, т. е. когда теряет необходимость выдумывать свои интересы, наполнять себя правдиво чем попало, и когда власть земли и труд, к которому она обязывает, наполняет все его существование содержанием не выдуманным, без его усилий, без его желаний, наполняет своею властью без его участия и воли.

Таким образом у земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону из-под ига этой власти, что когда ему говорят: «Чего ты хочешь

¹ М а х м у д — собирательное имя, служившее в старину в устах русского народа как название всех вообще правителей мусульманских стран (султанов, шахов и пр.).

тюрьмы, или розог?» — то он всегда предпочитает быть высеченным, предпочитает перенести физическую муку, чтобы только сейчас же быть свободным, потому что хозяин его, земля, не дожидается: нужно косить — сено нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вот в этой-то ежеминутной зависимости, в этой-то массе тяготы, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная легкость существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: «меня любит мать сыра земля».

И точно любит: она забрала его в руки без остатка, всего целиком, но зато он и не отвечает ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает так, как велит его хозяйка — земля, он ни за что не отвечает: он убил человека, который увел у него лошадь, — и невиновен, потому что без лошади нельзя приступить к земле; у него перемерли все дети — он опять не виноват: не родила земля, нечем кормить было; он в гроб вогнал вот эту свою жену — и невиновен: дура, не понимает в хозяйстве, ленива, через нее стало дело, стала работа. А хозяйка-земля требует этой работы, не ждет. Словом, если только он слушает того, что велит ему земля, он ни в чем невиновен; а главное — какое счастье не выдумывать себе жизни, не разыскивать интересов и ощущений, когда они сами приходят к тебе каждый день, едва только открыл глаза! Дождь па дворе — должен сидеть дома, ведро — должен идти косить, жать и т. д. Ни за что не отвечая, ничего сам не придумывая, человек живет только слушаясь, и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует жизнь, не имеющую, по видимому, никакого результата (что выработают, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе.

Для чего растет вот этот дуб? Какая ему польза сто лет тянуть из земли соки? Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и в конце-концов кормить желудями свиней? — Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том и заключается, что он просто растет, просто зеленеет, так, сам не зная зачем. То же

самое и жизнь крестьянина-земледельца: вековечный труд — это и есть жизнь и интерес жизни, а результат — нуль.

Вам, например, петербургскому интеллигентному чиновнику, жизнь не так легка: вы работаете в министерстве ¹ до пяти часов поденшину, чтобы выработать средства а к ж и з н и, вы делаете ненужную вам работу; что такое для вас лично горе вдовы кабатчика, Евдокии Милмордовой, которая пятый год со слезами умоляет защитить ее от опекуна, который при разделе дома завладел четырьмя окнами, а ей дал три, тогда как ей следовало еще пол-окна — что вам до этого? А вы должны сидеть, класть резолюции, усовещивать опекуна на основании статей закона, грозить ему. Вы делаете это из-за средств к жизни, а для вашей личной жизни все это не нужно совершенно. Жизнь для вас — особь-статья: Сарра Бернар ², Зембрих ³, почести, политика, т. е. нечто совсем особое от вашего труда. Детей, например, вы должны воспитывать (чтобы не испортить) вдали от знакомства с вашими служебными и общественными интересами. Вы трудитесь, надеясь на какой-то результат. Словом, ваша жизнь разбилась на полосы, в которых нет связи. Вы в департаменте ⁴ совсем другой, чем дома или в театре. А крестьянин-земледелец везде один и тот же: он трудится и живет интересами этого же труда, и в этих же интересах сам собой, без учителя, воспитывается и его ребенок. Результат в а ш е й ж и з н и, положим, хоть плотная банковая книжка ⁵; банковая книжка пахаря тут же всегда с ним — в его радости, что ведро,

¹ М и н и с т е р с т в о — высшее учреждение, ведавшее какой-либо частью государственного управления тогдашней России.

² Сарра Бернар — знаменитая в то время французская артистка.

³ Зембрих Марчелла — сценическое имя Марцелины Коханской, выдающейся певицы, начавшей выступать в концертах и операх с конца 1870 г.

⁴ Д е п а р т а м е н т — отдельное управление в министерстве.

⁵ Б а н к о в а я к н и ж к а — книжка личного счета в банке, по которой учитывались вклады.

что «овсы» взялись шибко и т. д. Вам нужен кабинет — для себя, салон — для общества, классная — для детей. И везде все разное и думается, и говорится, и делается; для пахаря-мужика нужна одна изба, потому что все живут одним — землей, у всех один труд — земледельческий, все говорят и делают одно — то, что повелит мать сыра земля!

Недавно пришлось мне разговаривать с одним старым-престарым крестьянином, который вырастил и пристроил всех детей, похоронил жену, сдал землю в общество, так как сил работать у него уже нет, и пошел странствовать по святым местам. И о чем же вспоминает этот старик, стоящий на краю гроба? Что бы ему вспомнить двенадцатый год, осаду Севастополя или какое-либо иное знаменательное событие, свидетелем которого он был? — Нет, он вспоминает только землю. «Жалко было бросать-то?» спросил я. «Вот как жалко, сказать не могу... И-и, матушка родная!..»

И буквально с плачущими нотами в голосе продолжал:

— По де-вя-но-сто мер хлеба се-я-ал! Ов-вес у меня крестецкий, тя-а-желый-претяжелый... Бывало, до свету примутся мои бабы жать, что огнем палят...

«Девяносто мер» — это такая, должно-быть, была прелесть, такой простор наслаждению!.. Сарра Бернар, когда будет старой старушкой, вероятно, с таким же умилением будет вспоминать восторги, которые она вызывала в массах зрителей, какое испытывал этот старик, вспоминая время, когда он сеял де-вя-но-сто мер, вспоминая крестецкий овес и «своих баб», которые так были «завистливы» на работу, что принимались за жнитво до свету.

Когда между мною и стариком шел разговор (мы сидели на улице, дело было в конце лета), вдруг вдали на деревне грянул звонкий девичий хор; старик поднял голову и, слушая песню, сказал:

— Ишь, горло-то дерут! Урожай ноне... бог послал...

Хор зазвенел еще звончей и громче.

— Картофь, должно, господь уродил ноне... — прибавил старик в объяснение слишком звонкого пения.

5. НАРОДНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

И опять я знаю, что сказанное мною сказано грубо и топорно, но опять-таки повторяю, чтобы хоть как-нибудь разобраться в том запутанном нравственном состоянии, которое переживает народ и которое таит в себе огромные несчастья, необходимы грубые, топорные черты, чтобы резче разграничить необходимое для народа от губельного. Итак, приводя в порядок все до сих пор сказанное, я думаю, что мало ошибусь, если скажу, что двухсотлетняя татарщина и трехсотлетнее крепостничество могли быть перенесены народом только благодаря тому, что и в татарщине и в крепостничестве он мог сохранить неприкосновенным свой земледельческий тип (он и з н у р я л с я ф и з и ч е с к и на барской работе, но делал ту же работу, что и для себя), цельность своего земледельческого быта и, главное, з е м л е д е л ь ч е с к о г о м и р о с о з е р ц а н и я. Не пагайки, не плети, не дранье на конюшне, не становые или урядники, ни тем паче пятнадцать томов законов с двадцатью томами примечаний держали его в повиновении, развили в нем строгую семейную и общественную дисциплину, сохранили его от тлетворных лжеучений, а деспотическая власть «любящей» мужика матери-земли, обязывавшая его тяжким трудом и вместе с тем облегчавшая этот труд, делая его интересом всей жизни, давая возможность в нем же находить полное нравственное удовлетворение. Кроме этого, едва ли я ошибусь много, если скажу, что и община наша только потому, как говорится, устояла и только до тех пор, прибавим мы, устоит, покуда членов ее соединяет однородность земледельческого труда, однородность надежд, планов, волнений, забот, однородность семейных и общественных обязанностей.

Я вовсе не хочу сказать, что однородность эта обязательна была и есть для характеров, дарований, умов, нервов.

Напротив, над однородностью труда и вытекающего из него миросозерцания — ум, талант, сила, дарование имели полный простор, но проявлялись-то они в одном

и том же деле, хотя и различно. Эту одинаковость и однородность труда, не мешающего проявлению дарований, надо принимать в расчет и при оценке нравственной силы наших артелей: у нас, если пойдут рисовать поднос с огнедышащею горой, так с того места, где нарисован первый поднос, и пойдет по линии верст на четыреста — все деревни и все люди в деревнях примутся малевать тот же поднос с огнедышащею горой. Тут дело в том, что все хотят равняться только в средствах труда: у всех одна и та же краска, одно и то же железо, один и тот же рисунок; на этой одинаковости и конец равеннию. Дальше этой одинаковости идет талант, физические преимущества, ум, проворство, случай; раньше встал, прежде других вышел на базар, купец-покупщик попал добрей. Едва ли не преувеличено мнение некоторых исследователей общины относительно размеров той опеки, которую община накладывает на своих членов почти в каждом поступке. Не знаю. Искал я этой опеки и нашел, что действительно иногда общины запрещают своим членам продавать «навоз на сторону», а других опек что-то не видно. Сироту берет не община, а кто-нибудь из нее, добрый человек — берет сам, без помощи и приказанья или совета мира. Навоз действительно нужен в хозяйстве. Такие слишком уж одинаковые во всех отношениях общины не существуют даже в животном царстве; даже у стерлядей, по свидетельству рыболовов, существуют «десятники», которые посылаются стерлядиным обществом искать места для метания икры. Волжская рыба сазан, тоже живущая своими сельскими обществами, имеет и выборных, и ходоков, и депутатов: они обыкновенно идут впереди «общества» и, подойдя к заколу, который ставят рыбаки поперек рек, начинают пробовать крепость его носом, потом налегают боком, потом пробуют перепрыгнуть: когда все это не удастся, то депутаты возвращаются и докладывают обществу; мирской сазаний сход решает «взять» закол всем миром, и точно, все стадо с страшною стремительностью бросается на закол и ударяет в него всем своим коллективным рылом. Многие погибают на смерть, а другие проскальзывают в брешь и спасаются.

Но говоря уже о том, что некоторые из мирских поступков нашей деревни, ввиду вышеприведенных примеров (которых можно бы привести множество), теряют некоторую долю своего значения, эти примеры, взятые из рыбьего быта, говорят, что даже и в этом быту нет сплошного во всем равенства и одинаковости, — тем паче нет и никогда не бывало его в общине крестьянской, человеческой. Но опять-таки земледельческий труд, жизнь в земледельческих условиях и, главное, земледельческое мирозерцание смягчали эти резкости всевозможных неравенств просто потому, что делали их всем понятными. Возьмем вопрос самого жгучего неравенства — богатство и бедность. Богачи всегда бывали в деревне; но, я спрашиваю, чем и каким образом мог разбогатеть крестьянин-земледелец и как и отчего мог обеднеть? — Только землей, только от земли. Он не виноват, что у него уродило, а у соседа нет; не виноват он, что он силен, что он умен, что его семья подобралась молодец к молодцу, что бабы его встают до свету и т. д. Тут — счастье, талант, удача, но счастье, талант, удача — земледельческие, точно так же, как у соседа земледельческая неудача, отсутствие силы в земледелии, отсутствие согласия семьи, нужной для земледелия. Тут понятно богатство, понятно бедность, тут никто ни перед кем не виноват. Это не то, что теперь, когда Иван Босых, силач и весь созданный для земледелия, нищенствует, а мужичонка, которого перешибить можно плевком, богат без земли и без труда, на который он неспособен. Такое богатство, которое у всех на виду, которое всем понятно — извинительно, и ему можно покоряться без злобы. Чем виноват этот богач-земледелец, у которого земля уродила потому, что на нее пал дождь, а на мою не пал, и я обеднял? Завтра на мое счастье ударит грибной дождь, высклеп в лесу масса грибов, и я не полениюсь встать до света и собрать их, пока другие спят. На мое счастье попадутся белые грибы, а вель они — рубль двадцать фунт: это счастье может посетить и меня, как посетило соседа. Точно так же я не могу роптать и на то, что сосед, умней, проворней,

Сильней, дальновидней. Он и я — мы делаем одно и то же дело, только по-разному, по-своему, как кто может и какое кому счастье. Это взгляд, которому учат также земля и неразрывная с нею невозможность сопротивляться велениям природы, с которою человек неразрывен, имея дело с землей и живя земледельческим трудом. Но тот же самый человек, который без зависти и злобы перепосит богатство, понятное ему и объяснимое с точки зрения условий собственной жизни и мирозерцания, ожесточится и со злобою будет взирать на такое богатство своего соседа, которое он, во-первых, не может понять и которое, во-вторых, вырастает вопреки всему его мирозерцанию, без труда, без дарования, без счастья, без ума.

Вот это-то и есть язва теперешней деревенской жизни, по о ней мы будем говорить самым подробным образом во второй половине этих заметок; там же, и с возможно большею обстоятельностью, мы остановимся и на другой, также важнейшей черте народной жизни, о которой в настоящем отрывке не сказано ни слова почти умышленно, — не сказано для того, чтобы по возможности ярче выставить самое основание народного мирозерцания и власть, которую играет в нем земля. Это другое, важное в народной жизни, есть народная интеллигенция, всегда, во все времена существовавшая в народе, но теперь незаметная.

Принимая от земли, от природы указания для своей нравственности, человек, т. е. крестьянин-земледелец, вносил волей-неволей в людскую жизнь слишком много тенденций¹ дремучего леса, слишком много наивного лесного зверства, слишком много наивной волчьей жадности. Мужик, который убил жену, потому что она «мешает» в хозяйстве, слаба, пеработяща, ленива и может быть, зла, — согласно лесной морали, был прав и, согласно ей, не чувствовал себя виновным; но чем же виновата убитая, что она слаба, больна, нравственно несчастна и т. д.? Вот эту, не зоологическую², не лесную, а божескую правду

¹ Тенденция — направление, стремление.

² Зоологический — относящийся к миру животных.

и вносила в народную среду н а р о д н а я интеллигенция. Она поднимала слабого, беспомощно брошенного бессердечной природой на произвол судьбы; она помогала, и всегда д е л о м, против слишком жестокого напора зоологической правды. Она не давала этой правде слишком много простора, полагала ей пределы. Интеллигенция эта ни капли непохожа ни на графа Судак-Огратамова 12-го, который с «сотнею казаков разбил многочисленного неприятеля, не походила на поэта, бряцающего па казенной лире подвиги означенного графа, ни па государственного мужа, написавшего сто томов разных полезных законов, не походила ни на нынешних станowych, председателей, урядников, гласных, волостных старшин и т. д. Ни на что подобное она не походила, потому что тип ее был тип б о ж и я у г о д н и к а. Но это не тот угодник, который, угождая богу, забирается в д е б р ь, или взлезет на столб и стоит на нем тридцать лет. Нет, н а ш н а р о д н ы й угодник хоть и отказывается от мирских забот, но живет только для мира. Он — мирской работник, он постоянно в толпе, в народе, и не разглагольствует, а делает в самом деле дело. Народная легенда о Николае и Касьяне как нельзя лучше рисует этот тип н а р о д н о г о интеллигентного человека. Касьяну, как известно, праздник бывает только в 4 года раз (в високос), а Никол ю — множество раз в один год. Отчего так? Оттого, — разрешает этот вопрос легенда, — что когда Николай и Касьян пришли давать богу отчет, после того как они были на земле между людьми, то Николай оказался весь испачканный грязью и в изорванном платье, а Касьян пришел франтом. Вот бог и решил, что Николай все время работал, толкался в народе, хлопотал, а Касьян только разговаривал, — за это и положил праздновать Касьяну в 4 года раз, а Николаю в год чуть не двадцать раз. Вот такой-то тип и есть тип н а р о д н о й интеллигенции, и дела такого угодного богу и народу человека как нельзя лучше подходили к общим условиям земледельческого быта: они были нужны, настоятельны — и такой работник, как мы видим, был. Теперь нет в народе такого типа, такого работника, никто не пачкает своего платья из-за чужой

беды. Все добрые дела обязались делать земские собрания за умеренное вознаграждение. Народная душа опустошена и, пожалуй, ожесточена, так как и труд — уже не труд и жизнь одновременно, а только труд.

6. ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Задавшись целью определить значение в народной жизни и миросозерцании «земли» и «земледельческого труда», я должен бы был теперь же, т. е. тотчас после общих рассуждений об этом предмете, перейти к примерам, к проявлению, если так можно выразиться, «земледельческой мысли» народа в частных, семейных, общественных делах. Все это и будет сделано мною впоследствии в отдельных отрывках; теперь же, ввиду того, что мне в этом общем очерке современной земледельческой жизни необходимо говорить о таких явлениях, которые самым безжалостным образом расплывают и разрушают весь строй народного труда и миросозерцания, я ограничусь несколькими случайными примерами, касающимися «власти земли», только для того, чтобы виднее было, что именно творится в народной жизни в настоящее время.

Итак, чтобы недалеко ходить за этими примерами, возьмем первое, что попадет под руку.

Берем, например, один из новогодних календарей; там, в отделе примет и замечательных событий, обратите внимание на те из них, которые «замечательны» для народа. Возьмем 6-е января, «крещение». В отделе замечательных событий «для господ» ничего не показано. 3-го января показано, что умер граф Румянцев, канцлер, покровитель наук и просвещения, и заключен мир и договор в Андрусове в 1667 году и в Бахчисарае в 1671 году; затем ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го ничего особенного не случилось. А вот в отделе народных «замечательных» событий значится целых семь замечательных примет, именно: «Яркие звезды под крещение — много родится белых ярок». «На крещение день теплый — будет хлеб темный». «Если идут на воду в туман, будет много хлеба». «На крещение мятель, и на

святой будет мятель же». «На крещение снег хлопьями — к урожаю» (цвет будет хорош). «Если на крещение в полдень (вот какая точность!) с и н и е облака — к урожаю». «Если на крещение звездная почь — урожай на горох и ягоды». А затем так и пошло без перерыва на целый год, вплоть до будущего крещения — у господ идут: взятие, покорение, одоление и т. д., а у крестьян: — «На Трифона звездно — весна поздняя». «На Евдокеи снег — урожай». «На Евдокеи погоже — лето пригоже». «Если грачи дружно на гнездо летят — дружная весна». «Каковы на Алексея ручьи — такова и пойма», «На благовещенье дождь — родится рожь, мороз — урожай на грузди, гроза — к теплому лету и орехам, мокро — к грибам». «Апрель сипит да дует — тепло бабам сулит, а мужик глядит, что-то будет». «Марья — зайграй овражки, зажги снега». «Если на Юрья березовый лист в полушку, на Успенье клади хлеб в кадучку». «Если на Николу заквашают лягушки — хорош будет овес». «На Луку полуденный ветер — к урожаю яровых».

Святые и чудотворцы также переведены на крестьянское положение: св. апостол Опсисим переименован в Опсисима-овчарника; Иов многострадальный — в Иова-горошника; св. Афанасий Великий, архиепископ александрийский, имя которого нераздельно соединено с историей христианской церкви в IV веке, так как он — один из самых ревностных защитников благочестия против лжеучения Ария, переименован просто в Афанасия-ломаноса, потому что около дня его имени, 18 января, бывают самые страшные морозы, от которых кожа слезает с носа. Св. преподобно-мученица Евдокия, отличавшаяся в молодости тем, что «пленила красотой юношей и жила во грехе», а потом, по увещанию некоего Германа, обратилась к истинному богу, именуется «Евдокия-плющица, подмочи порог», так как 1 марта, день ее праздника, тает, плющит снег и т. д. Герасим — грачевник, Ирина — рассадница, «на Кузьму — сей свеклу», Лукерья — комарница (13 мая), Леонтий — огуречник, Акулина — гречишница и т. д. Таким образом весь год — триста шестьдесят пять дней имеют каждый бесчисленное множество примет, и хотя эти приметы не имеют для вас,

образованного читателя, никакого значения, даже смысла, но земледельческую народную мысль оне достаточно-таки характеризуют. Сколько пужпо внимательности, а следовательно и траты собственной мысли, примечая, например, цвет облаков в полдень на крещение, находить в этом связь с урожаем, который может определиться в августе, то есть через сошь месяцев! «Если па крещение в полдень спние облака»... Может-быть, эта примета ровпо ничего не означает, но неужели же, чтобы создать эту примету, чтоб августовский хлеб привести в связь с цветом облаков в крещение, да еще в полдень, не надо было и своеобразно думать, и притом думать именно «земледельчески»? Один уж этот пример, взятый, повторяем, совершенно случайно, — а таких примеров мы могли бы привести поистине великое иножество, — один он может показать, до какой степени крестьянин тратит много внимания па природу и землю и на все, что с ними связано: мало отметить день какою-нибудь приметой — отмечается даже час, полдень, отмечается цвет облаков, почью отмечается блоск звезд и так далее. И это па каждый день в году и едва ли не па каждый час.

Можете представить, что об одном хлебе, об урожае или неурожае начинают примечать тотчас после посева: уж в октябрьских приметах значится: «коли лист (опадающий) ложится вверх изпапкой, будет урожай». В ноябре «снегу надует — хлеба прибудет», а «коли лед па реке становится грудамп, будут и хлеба груды». В декабре «большой иней, груды снега — и хлеба будет много». «Коли снег привалит в плоть к заборам, будет неурожай; коли не в плоть — урожай». «Иней па деревьях, — урожай». «Каков иней па деревьях, таков и цвет па хлебе». 25 декабря ясный день — к урожаю; небо звездисто — к приплоду скота, ягодам, гороху. «Коли тропишки черны, уродится рречиха». Чего стоит хоть бы вышеприведенная примета — коли снег привалит в плоть к забору и коли не в плоть! Едва ли банкир и капиталист в такой же степени тщательно изучают все случайности, которым могут подвергнуться его бумаги, как тщательно изучает

крестьянин мельчайшие подробности случайностей природы, обуславливающие успех его труда и всего благосостояния. Но мало того, что каждый день в году и почти каждый час в течение дня запримечены, объяснены и осмыслены сообразно земледельческим условиям жизни; мало того, что запримечено и объяснено появление каждого облака, дождя, снега, их свойства, вид, даже цвет (облака), мало того, что все святые, чудотворцы, апостолы переименованы сообразно земледельческим условиям быта народного: самое священное писание, если послушать деревенских толкователей его (не говорю о раскольниках и сектантах, которые толкуют его весьма широко), кажется только и написано для того, чтобы доказать крестьянам, что «придет царь (такой-то) и даст землю». Непятный, запутанный текст «Апокалипсиса»¹, который с такой охотой читают деревенские грамотные люди, в толкованиях этих последних получает совершенно неожиданно самый ясный смысл, потому что все оказывается написанным насчет того, что земли будет вволю... Везде, где попадаются слова: «и соединиша», «и соединихом», «и соединих»², — Уж непременно дело идет насчет земли... «И соединих»... вот это и есть это самое, — толкует толкователь: — как у нас теперь наша земля отошла и буерак с прутняком отошел, то вот и пишется, что «придет» и присоединит все опять же к нам...

— А не сказано, что сначала отойти от нас должна?

— Как не сказано-то! Вот...

И тотчас отыщется место, в котором сказано: «разрушу», «расторгну», и потом отыщется другое место после «расторгну», в котором сказано: «и соединих».

— Вот так и есть: сначала отобрали, а потом отдадут обратно.

¹ А п о к а л и п с и иначе «откровение» — религиозная книга (последняя в «Библии»), содержащая в себе, по христианским верованиям, откровения (предсказания) о судьбах и конце мира.

² «И соединиша», «и соединихом», «и соединих» — церковно-славянские слова: «и соединили, и соединил».

Отыскиваются указания в «Откровении», имеющие чисто местный характер. Например, вот в этой деревне крестьянскую землю раскидали в три разных места, и каждая деревня непременно найдет в «Апокалипсисе» указания, касающиеся земельных особенностей каждой. Одна отыщет, что «трие воедино», а другая — «воедино да будут двое», и все это с глубочайшей верой и благоговением... Однажды, разговаривая с таким старичком-толкователем, я спросил его: «Ну, а у меня отберут землю тогда?»

— А у тебя сколько земли? — спросил старичок.

— Одна десятина.

Старичок подумал, переспросил, как и у кого куплена, и, подумав еще, сказал:

— Тебе тогда должна быть прирезка.

И подумавши еще прибавил: «Тебе тогда должны еще четырнадцать десятин нарезать...»

И об этом даже сказано в писанин. Даже то обстоятельство, что земли в то время будет на душу по пятнадцати десятин, и то предусмотрено в священном писанин, и толкователь обещается указать место в «Апокалипсисе», где именно эта цифра указана. Вы представьте себе в этом толкователе седого, истомленного трудом, ходьбой по добрым людям (у него перемерла семья) старика, представьте, что каждое слово в его толковании о земле говорится с истинным благоговением и с таким же благоговением слушается — и вы, быть может, задумаетесь над этою чертою страстного ожидания земли народом. Она нужна не только как хлеб — хлеб можно достать на поденщине (теперь дворники получают в Петербурге по тысяче рублей и все-таки думают о деревне и земле), — но как основа всего рисующегося в народном воображении светлого будущего, как основание единственно безгрешного труда, как источник таких человеческих отношений, в основании которых лежит «добровольное повиновение друг другу, — отношений, всего менее допускающих «человеческий» произвол, в виду всеобщего и неизбежного повиновения несокрушимой, непобедимой, таинственной и непостижимой власти».

7. ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ

Теперь посмотрим, в какой степени это, имеющее для народа огромное значение, стремление к земле удовлетворилось в прежние времена и удовлетворяется теперь.

Рискуя быть причисленным к разряду заскоружлых крепостников, я должен сказать, что при крепостном праве наше крестьянство было поставлено по отношению к земле в более правильные отношения, чем в настоящее время.

Я не говорю о несправедливом труде, который нес крестьянин на своих плечах, о его вековой жажде высвободиться из-под этого гнета и т. д. — все это не может быть предметом настоящей статьи, предмет которой — только значение для крестьянина земли. И в этом отношении крестьянин имел земли гораздо больше, чем теперь; не ошибемся, если скажем, что земли у помещичьих крестьян было вдвое более против теперешнего. Кроме того, всякий помещик, если он не был безумным или вырождаком, вроде, например, Измайлова¹ и других подобных ему зверей, из личной выгоды должен был поддерживать в своих крестьянах все, что делает их настоящими крестьянами-земледельцами, так как только крестьянин исправный и есть исправный плательщик помещику, который жил его трудами.

Глядя на крестьянина, как на бессловесное животное, помещик, хотя бы самого грубого и дикого нрава, должен был кормить это человеческое существо, почитаемое им за скотину, чтоб она возила, чтоб она работала, чтоб она давала ему доход. В смысле получения этого дохода было организовано все деревенское управление, наблюдалась тщательно сила семей; по этой силе распределялись налоги

¹ Измаилов, Лев Дмитриевич, род. 1764 г., ум. 1834 г., генерал, крупный помещик Рязанской губернии, бывший здесь предводителем дворянства.

Отличался самодурством и исключительной жестокостью в своих отношениях с крестьянами и даже с мелкими помещиками.

Над ним в конце-концов было назначено следствие и учреждена опека.

и барщина; во имя хозяйственных целей вот эта пара одиноких лиц мужского и женского пола соединялась насильственным браком, и образовывалось земледельческое рабочее тягло¹; во имя хозяйственных целей вот этот неспособный в хозяйстве человек брался во двор, а другой — вор и пьяница — шел в солдаты.

Силы людские, имевшиеся в распоряжении помещика, гнаться экономизировались в смысле хозяйственной выгоды.

Эта хозяйственная организация деревни до сих пор еще весьма сильна в сознании деревенских стариков, помнящих крепостное право. До сих пор оценка человека только по его успеху или неуспеху в работе не только играет большую роль в крестьянском мнении вообще, но служит даже для достижения целей деревенских эксплуататоров новейшего типа. Как известно, а может быть, и неизвестно читателю, в настоящее время телесные наказания при волостных правлениях не только не умаляются в своих размерах, но, напротив, с каждым годом возрастают. Крайне жаль, что новорожденные провинциальные издания относятся недостаточно внимательно к суровой действительности, переживаемой народом. Ни плапа, ни программы, мало-мальски выработанные и обязательной для корреспондентов, ничего нет. Такое замечательное явление, например, как торги на лесные и земельные участки, на которых крестьяне могли торговаться обществами без записки, в высшей степени важно, как опыт борьбы кулака с целым сельским обществом, а между тем оно не вызвало ни одной корреспонденции, ни одной цифры. Дранье на волостных судах также проходит без малейшего внимания, а дранье — непомерное... Мы уверены, что если бы кто-нибудь дал себе труд просмотреть решения волостных судов (мы уже не говорим — разобрать подготовку мотивов этих решений) и сосчитать число высеченных, положим, в осенние только месяцы — так положительно волос вста-

¹ Тягло — семья как хозяйственная единица при раскладке обложения.

нет дыбом даже у аракчеевских ветеранов¹. Я сам был свидетелем летом 1881 года, когда драли по 30 человек в день. Я просто глазам своим не верил, види, как «артелью» возвращаются домой 30 человек взрослых крестьян после дранья, — возвращаются, разговаривая о посторонних предметах.

— Да неужели их драли? — спрашивал я старосту, который, возвращаясь после этого «присутствия», зашел ко мне папирсочки покурить.

— А то как же?.. Я сам троих «приставил».

— Да за что же?

— А за то, что заслуживают... Не храни, не пьянствуй!.. Мало ли у них блох-то!..

Осенью самое обыкновенное явление — появление в деревне ставового, старшины и волостного суда. Драть без волостного суда нельзя — нужно, чтобы постановление о телесном наказании было сделано волостными судьями — и вот ставовой таскает с собой суд на обывательских. Суд постановляет решения тут же, на улице, словесно, а «писать» будут после. Писарь тут же. Вы представьте себе эту картину. Вдруг в полдень влетают в село три тройки с колокольчиками: на одной — становой, на другой — старшина с писарем, на третьей — шесть человек судей: все это — почтенные Песторы-летописцы, Дафаны, Авиропы², Авраамы³ и.. Хамы⁴ между прочим. Разумеется, эти Авиропы невяповаты, по крайней мере, в тех размерах, как это кажется с первого раза, — их таскают силой и для формы.

¹ Аракчеевские ветераны — сторожили особых «военных поселений» гр. Аракчеева, который, будучи военным министром при императоре Александре I, организовал эти поселения в целях военизации страны. Телесные наказания здесь практиковались в чрезвычайных размерах и формах.

² Дафан и Авирон — по сказанию религиозной книги «Библии», восстали вместе с другими на Моисея и Аарона и погибли.

³ Авраам, — по сказанию той же «Библии», — родоначальник еврейского народа.

⁴ Хам — (по той же книге) — сын Ноя, известный своим непочтительным отношением к отцу.

Вскочает эта кавалькада, и начинается немедленно ругань, слышатся крики:

— Розог!..

— Деньги подавай, каналья!..

— Я тебе поговорю, замажу рот!..

И опять приходит свидетель и, делая папироску, рассказывает:

— Ка-ак вжикнул, сразу кровь пошла...

— Да неужели же опять драли?

— А как же?.. Который заслуживает, храпит, пьянствует... Только не всех... Сейчас деньги явились... А которые оставши не сечёны, тем отсрочка на две недели дапа... Ну, а между тем все к розгам подписались...

— Это что же такое?

— Драть, в случае не принесут денег...

И, помолчав немного, он прибавил:

— Смородины парезали... на розги-то!

Впоследствии читатель увидит, почему «невозможно» не драть. До тех пор, пока простая, искренняя внимательность, простое, по искреннее желание отнестись к человеку по-человечески, просто, совестливо войти в его нужду и в самом деле (повторяю, в самом деле) удовлетворить его — не осветят наших темных дней, дранье не прекратится. Но хоть оно и неизбежно (эту неизбежность докажут вам волостные старшины и становые пристава), а нельзя не принять в соображение, что этот посев ежедневной и ежегодной жестокости, как и всякий посев, должен, непременно должен дать всходы, плоды. Но едва ли они будут похожи на смородину. Кстати здесь сказать, что и теперь уже есть признаки выражения пародом нетерпения; рассказывают про одного волостного старшину, который «осмелился» попросить станового не ругаться скверными словами в присутствии волостного правления, а это — худой признак для любителей смородины. Наконец, тот самый староста, разговоры с которым я привел выше, недавно сменил обществом ранние сроки. Еще бы годик, и он был бы «на самом лучшем счету», — так он усердно «приставлял» в волость и до такой степени относился к народу «без внимания».

Замечательно, что когда я спросил его, кто подвел под него интригу¹ — старик или молодой, то он с огромным погодованием ответил: «Молодой, пес его дерн!..»

— Молодой, пес его дерн!..

И прибавил:

— Ну, да я всех их розыщу. Погоди!..

А и самому этому человеку нет сорока лет. Он молод, силен, здоров, умен, но есть в нем какое-то невольное стремление отделиться от мужиков... Крестил его, изволите видеть, какой-то высокий сановник, случайно захавший в ихнее место на охоту, крестил, подарок сделал и точно печать наложил: не может мужик не считать себя чем-то особенным. Наконец, вот еще любопытная черта. В старости он не пробыл и года; до этой должности он был простой мужик и рыбовод. В течение нескольких месяцев начальствования ему попали земские деньги² на овес: он не утаил их, роздал все, как следует, но он их т о л ь к о п о д е р ж а л у себя (буквально) лишнюю педелю и вот теперь, посмотрите, выходит в капиталисты. Покупает «у мужиков» солому по 15 коп. за пуд, а продает по 35 копеек. Стал отправлять вагоны в Питер... Недавно отправил шесть вагонов (обертывать бутылки иностранных вин). И я уверен, что угроза его односельчанам, выраженная фразой: «Погоди, я их всех найду!» — осуществится... С другой стороны, я тоже знаю, что и односельчане тоже не дремлют и тоже произносят кое-какие фразы насчет этого парождающегося купца, бормочут что-то насчет «произведем»,

¹ И н т р и г а — пронырство, хитрая проделка.

² З е м с к и е д е н ь г и, принадлежащие земству. Земство было — органом местного самоуправления, построенным в царской России на имущественном принципе. От землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ избирались гласные (участники) уездных земских собраний, причем для участия в выборах требовался значительный ценз (в уезде — обладание землей, в городе — домом). Гласные уездных земских собраний в свою очередь выбирали гласных губернских земских собраний. Исполнительными органами земских собраний были уездные и губернские земские управы. От крестьян в состав земских собраний попадали чаще всего лишь кулаки, волостные старшины.

«так ты и выскочил в купцы!»... По чем все это кончится, — не знаю.

Прошу читателя извинить меня за это длинное, прямо к делу не относящееся, отступление и возвращаюсь к соображениям по поводу телесного наказания. Не раз я становился в тупик перед этим явлением. Я никак не мог понять, каким образом можно положить па пол, раздеть и хлестать смородиной вот этого умного, серьезного мужика, отца семейства, — человека, у которого дочь невеста.

— Да неужели же их силой кладут на землю? — спрашивал я у того же старосты, который готовился быть на хорошем счету.

— Кое — сплом валят, кое — сами ложатся. Вот ноне (когда секли 30 человек) сами все...

— Да неужели это правда?

— Да чего ж мне лгать-то? Так один по одному и ложатся.

Впоследствии я попомногу ознакомился с теми гнуснейшими, своскорыстнейшими побуждениями, которые действуют в этой, ничего хорошего не обещающей, свалке. Увидел много самой звериной злости, прикрывающейся законом, но в то же время я узнал, что и не звериная злость, обыкновенно скрывающаяся, и не насилие прямое и грубое дают одному человеку право бить другого, а хозяйственные доводы. Староста «приставляет» мужика к розгам не за то, что хочет ему отомстить за обиду (он об этом умолчит), а за то, что тот не внес шести рублей, тогда как мог бы внести.

В правлении, где решают число ударов и где человек готовится раздеваться, вы слышите разговоры о сене, которое продано за столько-то, упреки, что из этих столько-то рублей пропито больше, чем следовало.

— Сено теперь 45 копеек, это нам известно! — кричат судьи. — Ложись-ко!

— Коли бы по сорок-то пять я взял, так я бы и внимания не взял говорить! — оправдывается виновный. — Я тебе честью говорю — по 28 копеек.

— Полно зубы заговаривать — по 28! Знаем мы очень

прикрасно. Твое сено — первый сорт. Ослеп ты, что ли, за 28-то отдавать?

— А забыл, дождик-то сколько погнойл... на Илью-то? Есть в тебе совесть!

— На Илью!.. Знаю я Илью!.. Ложись-ка без хлопот. Погнойл!..

Какое-бы адски-своекорыстное побуждение ни руководило всей этой жестокой комедией (ниже мы увидим пример проявления своекорыстия в такой жестокой форме), всегда пункт, на котором держатся судьи, и вина, которую может сознавать виноватый или которую не а в я ж у т ему, потому что знают, что он только в этом смысле и может кое-что понимать, — всегда исходный пункт для всей этой операции — преступления х о з я й с т в е н н ы е: «продал телушку, а купил зеркало» и т. д., что уж доказывает фанатерию и т. д.

Нет никакого, конечно, сомнения в том, что в этой жестокой комедии участвуют и другие мотивы, но самое понятное и самое доступное пониманию во всем этом бессмысленном безобразии — это вина против своего х о з я й с т в а.

Кстати, чтобы не откладывать дела в долгий ящик, скажу теперь же о том своекорыстии (деревенском), которое умеет прикрываться всевозможными способами, меняя шкуру сообразно тем настроениям высших «командующих» классов, которые входят в моду в данную минуту.

Приходит ко мне одно из «благонадежных» крестьянских лиц, стоящее на отличном счету у начальства. Подати у него всегда взысканы, мужики снимают шапки при проезде всякого начальства и вышколены им для «декорации преданных поселян» превосходно. Сам он — умный и, как увидим ниже, «добрый» человек; по мода «на мутную воду», па трескучий вздор, прикрывающий своекорыстие, совершенно его извратила. Он знает одно, что сильна и властвует только палка, и добивается он только того, чтобы в результате получился более или менее жирный кусок пирога. Но, зная это, он превосходно понимает, что поступать открыто невозможно, и поэтому, руководствуясь

общим жизненным настроением, поступает вполне прилично, законно и даже либерально¹. Люди подобного типа отлично съобезьянили всю интеллигентную внешность своих воспитателей, административных педагогов; но педагоги эти ошибутся, если подумают, что в этой внешности есть что-нибудь в самом деле искреннее. Увы, старая поговорка — «каков поп, таков и приход» — до сих пор остается глубоко справедливой: раз учителя не уважают человека, а царят только поживиться на его счет, прикрывая свои частенько не только не справедливые, а прямо жестокие действия всякими законными либеральными или охранительными доводами — и ученики вышли такие же, с тою только разницею, что они, как простые деревенские люди, не привыкли к пустякам, буквально уж не сделают ни единого бесцельного поступка. Вот на-днях такие «надежные» маленькиe сельские Кангеры поднесли адрес и альбом мировому судье. Они отлично выразили в адресе свои чувства, преданность. Альбом стоил рублей двести. Вы думаете, тут в самом деле чувство? Нет, тут «заручка» на «предбудущие времена», в случае попадетя на какой-нибудь плутне или попадобится пристращать «должника» по знакомству. — «Что ж, он в самом деле хороший человек? — спрашивал я благонадежного. — Вот здесь, в адресе, сказано: «и ваше неустанное попечение о благосостоянии» — что ж, в самом деле он внимателен к народу?» — «Как же, в самом деле... Очень даже внимателен... Служил в земстве, так не забыл в свое имение дорогу проложить!..» Вот вам и «выраженные чувства». Или: я только-что говорил о телесных наказаниях; народ не всегда доволен этим способом взыскания и ропщет на старшину и на начальство. И действительно: прикрываясь террором² господ ставных, «немедленным» взысканием и невниманием к просьбам погодить, пока «станут цепи» на тот или на другой продукт, многие из таких «благонадежных» людей скупают во время этого террора за бесценок и сепо, и телушку,

¹ Либерально — свободолюбиво.

² Террором — страхом, угрозами.

и рыбу, и потому улучшают свое благосостояние, так что человек несведующий, наслышавшись о бедности деревенской, въехав в деревню и встретив расфранченного парня (из числа улучшивших свое благосостояние вышеупомянутым способом), говорит: «Какое... бедность! Я сам видел мужиков с часами, бархатный жилет... Чистое лганье эта литература». В деревне это лганье оказывается однако для всех, на счет которых явились часы и жилеты, совершенно ясной правдой и возбуждает недовольство, пока скрываемое. Незнакомый с деревенской подноготной видит в этих серебряных часах только серебряные часы, а знакомый с нею, напротив, видит не часы, а лошадь или сто пудов сена. Для него ясно, что в кармане этого франта спрятана целая лошадь, купленная по пужде и перепроданная за дорого, а вовсе не часы «с двум доскам».

8. ЖАДНОСТЬ

Научившись устраивать свое благосостояние вышепоказанным образом, человек не может уж отстать от этой «привычки». Правда, он может, как Сютаев¹, просветлеть духом и сразу порвать несправедливые путы, но куда Сютаевы — исключительные люди, единичные личности. Обыкновенный деревенский человек, переходя от земледельческого благосостояния к возможности благосостояния денежного, по наивности, почти детской, переносит в эту новую для него область старые земледельческие взгляды. Как земледелец, он «травки» не оставит на поле, не устает нагнуться за ней, срезать, привезть, обмолотить и т. д. Он привык, чтобы «кроха» не пропала. Будет ли он упускать не крохи, а хорошие «случаи», как вышеупомянутые террористические аукционы²? Настоящий земледелец-крестьянин до сих пор чуждается их, как греха, но тот, кто уж отведал — неудержим. И в новых «привычках» он будет стремиться дойти до последней крохи, взять все, что

¹ Сютаев, Василий Иванович, крестьянин, известный в свое время деревенский искатель праведной жизни. Его знал и уважал Л. Н. Толстой.

² Аукцион — продажа с публичного торга.

идет в руки. А между тем недовольство, возбуждаемое этой системой, явное; он, «наученный» новому способу богатеть на счет бедности соседа, как крестьянин, знает, что сосед ропщет, что он таит злобу и, пожалуй, задумывает «поступить своим средством». Остановиться — нет силы, а стало быть надо подавить в соседе злобу каким-нибудь понятным и резонным для соседа образом. Сосед думает: «дерете, чтобы наживаться», — и вот, чтоб искоренить в нем связь между драпьем и наживой, изобретается подходящее средство. В один прекрасный день становой пристав, разгневанный тем, что старшина хоть и дерет, но не получает результатов, — подати идут слабо, по обязательствам и постановлениям волостных судов не платят, — сажает в темную самого (о, небо!) старшину. Это падолю уничтожает в обиженных миряках-пахарях возможность логического мышления. «И ихнему брату тоже достается, — думает простодушный сосед. — Ишь ведь самого старшину запер»... Стало быть, старшина не все сам командует — ихнего брата тоже «подбадривают». Арест старшины успокаивает соседа, по старшина, возвратившийся из-под ареста, неумолим. Под ногами теперь у него твердая почва.

— «Вы что ж, анафемы, со мной делаете? Докуда будет эта ваша подлость? Когда вам добром говоришь, рыло воротите, а я за вас сиди в холодной, не пимши, не емши! У меня сепа за три-то дня погноено па сто рублей. (При этих словах все сознают свой грех). Чем я буду кормить скотину?.. (Опять все «чувствуют».) Плевать мне па ваше жалованье-то — только от дому отбиваешься, «возжамшись» с вами, с пьяницами, да срамиться в холодной из-за вас, анафем... Я вам добром говорил, так не слухали, — и-пу, теперича уж не па-тирь-плю-ю! Теперича стану нас-ступи-па-а-ать!» И, конечно, — «ложись!..» Но знаете ли, что это за канальская штука? Конечно, сажают становые и «взаправду», но очень часто старшина, явившись к становому, по-приятельски говорит: — «Пришел к вам с просьбой». — «В чем дело?» — «Ни много, ни мало: посадите меня в холодную. Избаловались мои мужичонки, способов

пету! Не платят, пьют... Ничего не поделаешь. Обколотил все руки. Ворчат... Сажайте — по крайности тогда я уж произведу... Все же они почувствуют... Становой делает «проформу», и старшина числясь в холодной (с течением времени все это уздается и оценивается по достоинству), пьет чай у знакомых купцов, а спать идет в холодную. Я сам пивал чай у себя в доме со старостами, которые тоже для получения права свирепствовать числились в «холодной».

Предположим, что мажевр этот производится в видах государственной пользы; но, получив право свирепствовать, новообращенный свирепствует заодно и в видах собственной пользы. Тут «под одно» случай хороший взыскать и с «упорного» мужичонки за лошадь и с другого за обиду («ах ты, заячий твой нос!»). Тут уж во всем воля пострадавшему «за вас, канальев!» Но, повторяем, со временем все это разберется, оценится по достоинству и принесет плод.

Разговаривал я однажды с таким «новообращенным» человеком и долгое время он мне доказывал, что они — пьяницы, обманщики, мошенники и т. д., что дранье — единственное спасение.

— Да, может, у них в самом деле денег нет? — спросил я.

— Есть у них дельги, у апафем!.. На пьянство есть, а на дело нет!.. Послушайте их, канальев, так они вам наскажут...

И так далее.

Но через несколько дней то же лицо явилось ко мне и заговорило такие речи:

— Стала выходить газета, и начальство просит писать о нуждах. Вот и я хочу туда пустить штучку...

— О чем же?

— О запасных магазинах¹. Земства побуждают к магазинам, а в то же самое время... Да вот я тут нацарапал...

¹ Запасные магазины — общественные склады зерна, отчуждаемого в обязательном порядке крестьянами на случай неурожая.

Нацарапано было, между прочим, следующее: «Так как крайняя бедность населения и недостаток даже совершенно в пропитании и чем прокормиться, то не в состоянии уделить даже какой-либо крохи, не токмо...» и т. д. Словом, крайняя нищета препятствует устройству магазинов.

Мне бы следовало спросить: «как же так нечем прокормиться, когда несколько дней тому назад вы же говорили мне, что у них есть?» Но я не спросил. Увы, я уж знал из предшествовавших опытов, что значит в данном случае христараднический тон, принятый «надежным человеком». Будь в самом деле, а не посредством палки, хорошо, толково и заботливо устроено народное продовольствие, не было бы надобности в земских филантропических подачках, крайне для «земледельца» разорительных и крайне выгодных для деревенских не-земледельцев. Ведь этому не-земледельцу отлично известно, что будущую весну в руках его (опять только «поддержать») будет тысяч 20 руб. денег на раздачу овса. Во-первых, он купит его у себя самого «по хорошей цене» («цены достигли необыкновенных пределов, так что при всем старании я мог приобрести куль по 7 р. 20 к., а в прочих местах покупали по 7 р. 30 к.»), купит у «нужных» господ, у родни и т. д. Все это он раздаст крестьянам в полной точности. Уж будете уверены, что ни одна овсинка не будет спрятана: «на — смотри, считай!» И все обыватели скажут: «верно», пересчитав все, каждую овсинку буквально. Мешки даже вытряхнут и палкой выколотят, и то «все верно». Но в то же время он будет требовать подати («что ж, мне опять в холодную за вас чтить?»), и мужики будут ссыпать этот же овес — иные полностью, а иные частью, и не ему, а какому-нибудь «подручному», «компанию», да и не по 7 р. 20 к., а по 5 и 4 рубля. Но это только часть операции, а вот осенью начнется настоящее дело. Мужикам придется отдать за овес по 7 р. 20; а так как он на рынке в эту пору 4 руб., то, отдавая натурой, мужик везет не куль, а почти два; вот тут-то этот овес и покупается «ново-бращенными» крестьянами, у которых есть деньги. И староста и старшина говорят: — «Везите овес ко мне, а я высуу деньгами».

Отдавши «натурою» почти вдвое, мужик к весне непременно будет без овса: что как бог свят.

И тут пойдут донесения:

«Бедственное, даже и совершенно конечное неспособность к пропитанию, и не в состоянии обсеять поля, а потому ходатайствуем о способии от земства». Земство высылает деньги, а на эти деньги старосты и старшины опять покупают у себя овес, но не по 4 р. куль, а по 7 р. 20 к. или по 8 рублей.

Заплатив оземлю восемь рублей, «новообращенный» весной получает за них шестнадцать, т. е. процент невозможный ни для какого самого алчного капиталистического предприятия...

Получает и пишет:

«только старанием и неусыпною ревностью укупил овес по 8, а даже и по 10 не отдавали...»

— Однако, — сказал я одному из таких «крестьян», — проценты вы, господа, дерете на свои деньги необыкновенные! Ведь это более чем рубль на рубль...

— Н-ну, батюшка, — весело играя веселыми глазами, с шутливым и даже шутоватым смирением отвечал он: — где уж нам наживать такие деньги!.. Это вот у вас в Питенбурхе все только и слышно (густым басом): рубль на рубль, рубль на рубль, рубль на рубль, — а у нас по-деревенски, по-мужичьи-то, хошь копеечку-то господь бы, батюшка, отец наш, дай нажать на копеечку, и то мы рады-радехоньки... А то рубль на рубль!.. Хошь бы копеечку-то какую ломаную на копеечку нажать, и то уж эво как мы создателя-то благодарим!.. Хе-хе-хе!..

— А бывает, что и на полушку наживают рубль, по-деревенски, не то что рубль на рубль.

— Да вы чего изволите сумлеваться? — уж серьезно, а не шутливо сказал мне этот же собеседник, когда я ему сказал, что даже и скромность наживы копеечка на копеечку не уменьшает огромного вреда этой операции: ведь нажитую копеечку теряет сосед и притом буквально ни за что, ни про что. — Вы чего же сумлеваетесь? Разве я ему не настоящую цену даю? Ведь цена за куль — четыре, и я даю

четыре. Овсом ли он отдаст, деньгами ли — все одно, у него руки пустые будут. Вины тут нашей нету.

Во всяком случае вина — в тех порядках, которые довели не только деревни, а целые губернии, т. е. огромные массы деревенских людей, до попрошайничанья зерен на посев. Припомните только-что рассказанную историю с озсом. Земство слышит жалобы на недостатки зерна: «печем обсеменить поля», — и удовлетворяет этой пужде. А между тем видит, какая масса всевозможных ехидных оборотов производится под прикрытием этой пужды. Существует мнение, что земства обязаны и должны стараться всячески распускать в народе деньги; думают, что раз пущено в обращение между народом дра-три десятка тысяч рублей, они сейчас же принесут пользу, оживят и души и карманы. И точно, оживают, но оживают единицы в прямой и огромный ущерб сотням и тысячам. До сих пор мы читаем в газетах всевозможные проекты о переустройстве местного управления, и везде «деревня», сельское общество принимается как нечто совершенно особенное от всего государственного тела. Это так же справедливо, как если-б я, отрезав от моего платка маленький кусочек стал уверять, что кусок этот совершенно не такого свойства, как платок, что большой кусок платка — одно, а маленький — совсем другое. Правда, при словах: «сельское общество», «сельский сход» — воображению преобразователя представляется только «староста», получающий 36 руб. в год, и нет никакой возможности представить себе здесь, в сельском обществе, какое-нибудь более или менее интеллигентное амплуа, а следовательно и мало-мальски приличное содержание. Другое дело — волость: там волостные старшины получают по 600—1200 рублей в год, тут, стало быть, можно и позаботиться о благе народа и контролировать... А между тем в этой-то ячейке, именуемой «сельское общество» (которое все рекомендуют оставить в полной неприкосновенности, как святыню и как место без окладов), таится ничуть не меньше беды, чем во всем огромной теле страны. Ведь пора же знать, что сельское общество тогда только было в самом деле самоуправляющеюся крестьянскою общиной, когда ос-

новапшем средств к существованию всех ее обывателей были земля и исключительно для всех одинаковый земледельческий труд. Какже же это общинники теперь, если сосед наживает на соседе капитал, скромную деревенскую копеечку на копеечку? В земледельческой общине я и мой сосед — мы можем богатеть и беднеть только сообразно нашим успехам в одном и том же труде — в земледелии; мы богатеем или беднеем от нашей сноровки или неуменья, от удачи или неудачи, но богатеем или беднеем не друг от друга, а только от себя и от своего счастья. Теперь же сосед, взявший мой овес по существующей цене и перепродавший его земству весной за двойную цену, явно наживает (при посредстве невнимательного земства) на мой счет, кладет в карман мои деньги, берет их за овес, моими трудами добытый. Если бы развивались и укреплялись в народе общинные начала, основанные на земледелии, то, в случае недостатка зерна, крестьяне заняли бы у соседей это зерно и отдали бы зерном. И тут есть нажива, но опять-таки понятная, извинительная. Но земство (я охотно верю, по наивности) само вводит зло, не вникнув подробно во взаимные отношения современных общинников, образовавшиеся на расстройстве земледельческого труда и порядков. Я охотно верю, что оно даже — из уважения к деревенской «общине» — не хочет совать туда своего носа: «пусть, думает оно, хоть тут народные печати остаются неприкосновенными» — и не прикасается; хотя именно тут-то надо прикоснуться, и не для того, чтоб испортить или ввести зло (что делается теперь), а именно вывести его оттуда. Надо узнать просто, внимательно, добросовестно: есть ли у крестьян достаточно земли? Сколько они з сплах платить? Сколько на них лежит бездельных ртов, пет ли тут кого, кто жрет своих соседей и только облизывается да утирает рукой лохматый рот и т. п. Все это необходимо знать, чтоб отделить земледельцев от людей денежной наживы, чтоб налоги распределить без обиды. Теперь, не прикасаясь к новым деревенским осложнениям, не мешаясь «в ихние» порядки, «командующие» классы требуют только денег и любезно говорят: «живите, живите, как хотите! Мы вас не будем

трогать, потому что и окладов у вас нет подходящих, да наконец надо же, чтоб хоть это зерно сбереглось от язвы»... А зерно-то, которое лежит на самом низу, в сырости и под страшную тяжесть нужды и неизвестности (во всем), всего более и страдает. Мой сосед, нажившийся на моем овсе, вдвое воротивший свои сто рублишек, платит за две души... И я, который вдвое потерял, тоже за две души плачу. Винават ли я, что я беднею, а он богатеет на мой счет? Правильны ли такие налоги? И не должен ли я питать дурное чувство к этому соседу, обогащающемуся на новый образец, без личного труда? Ведь он мой, мои труды-то похитил! Как-то в одной газете я читал грозную статью против другой газеты, осмелившейся сказать: «не разпуздывайте зверя». Всея статьи, где сказаны эти слова, я не читал и не знаю, в каком смысле они сказаны; но, ввиду вышеприведенного примера, позволяю себе спросить: добрые или злые, человеческие или зверские побуждения воспитываются в народе такими повостями, как возможность богатеть на счет трудов соседа и его нищеты?.. Как вы думаете, доброе ли во мне рождается чувство к этому соседу, у которого в жилетном кармане, в виде часов «с двумя доскам», я вижу мой пот и кровь — тот самый овес, который упал в курсе под осень? Прежде таким образом наживался только барин, но не на мой счет, а на наш общий счет и труд. Сосед наживался только своими руками, умом, силой и т. д., теперь же он наживается на мой счет, что я отлично и вполне ясно вижу. Какие же чувства воспитываются во мне таким явлением? Разумеется, не добрые, не гуманные...

— Попадись он мне, — думаю я: — так я ему тоже покажу, как на чужой счет богатеть...

В подтверждение того, что расстройство «земледельческой деревни» — именно в нравственных отношениях «соседей» друг к другу — обратило на себя внимание и других наблюдателей, позволю себе привести выписку из статьи Г. М. Громпицкого, напечатанной в «Русских ведомостях»: «Теперь вот что у нас происходит: в первых числах декаб-

ря, в деревне (Пензенской губ.), в которой я живу и которая сравнительно благоденствует, из амбара одного крестьянина со взломом замка увезено ночью около 4 четвертей ржи. Затем, в ночь на 12 декабря, в той же деревне оказались сломанные замки в трех амбарах и из одного увезено до 10 четвертей ржи. Вся деревня поднялась на ноги, потому что это событие небывалое, старики не запомнят ничего подобного; не прочь многие из крестьян попользоваться на счет «барщина», но чтобы крестьяне воровали друг у друга — это явление весьма редкое. Есть целые деревни, где вам скажут, что этого у них никогда не бывает. За три года я знаю только один случай, да и то кража совершена двумя пьяными». Подчеркнутые здесь фразы, как мне кажется, представляют наилучшую характеристику деревенского расстройтва: воруют друг у друга — вот это и есть цвет и плод неравенства в средствах наживы, вторгнувшегося в трудовую земледельческую среду. Если появился человек, решающийся украсть у соседа, вместо того, чтобы попросить, поклониться, как бывало в старину (старинная интеллигенция открыто вопияла: «помогай бедному» — и судила за это прощение грехов), то значит, что уже явилось сознание о возможности несправедливой, неблаготворной наживы. Евреи были избиты именно потому, что наживались чужой пуждой, чужим трудом, а не выработывали хлеб своими руками. Евреи — специалисты по части биржевой игры, но, как видим, и наши серячки не прочь от того, чтобы полакомиться даровой наживой. Евреи не одобровали — и наши серячки жалуются «на парод», что «никаких нет способов», «воля», «драть надо». Евреи жалуются в Англии на мужиков, а наши действуют в волостных судах, справляются «своим средством» при помощи всяких изворотов, о которых мы говорили выше: садятся добровольно в холодную, чтобы быть в «своем праве», доносят о «бедственном положении парода» и т. д.

Но можете представить, что и тут, в этом омуте мутной воды и поедания ближнего, и тут главный двигатель и

цель — устроить свое земельное хозяйство, вырвать из чужих рук, добыть всякими правдами и неправдами и реализовать не в чем другом, как только в хорошей скотине (много пазему — земля хороша), в арендовании земли, в покупке хороших семян.

Однажды разговорился я с этим самым «благонадежным лицом», о котором говорено выше и которое, несмотря на уменье действовать «по-новому», как я уже сказал, не чуждо проявлений самой простой крестьянской доброты...

Разговорились мы о тех же самых вопросах, о которых идет речь в настоящей статье, и мало-по-малу разговор наш принял самое искреннее направление; договорились мы до того, что и благонадежное лицо согласилось, что «времена — тяжелые», и что в народе — расстройство, много греха.

— Мне бы только до конца трилетия дотянуть — бог с ним совсем и с жалованьем. Перед богом... Положим, что маленько оно мне подмогло в хозяйстве — ну, и будет!.. Только одно зло растишь на себя. Того и гляди — либо сожгут со зла, либо сгубят... Бог и с ними...

И опять мы говорили про настоящее, прошлое и будущее.

— Ну, а что же будет? — спросил я. — К чему все идет?

— Не знаю... — сказала лицо, задумавшись серьезно. — Не знаю, как для вас оказывает, а по мне так к старине дела склоняются.

— То есть?

— Да то есть... Ведь это и в писании сказано... То есть... должно так выйтить, что... Здесь (для пояснения своих слов он отмахнул рукой сверху вниз) тяпнул топором заметку на этом дереве, а через пять верст (и опять он отмахнул левой рукой также сверху вниз) опять тяпнул на другом дереве... Вот и владай!..

Итак, вот что таится в глубине этих хитросплетений, плутовства, пропырства. Записка самая первобытная рисуется его воображению... Лес дремучий мапит его, и вот он, этот «благонадежный» человек, воображает, что будут

времени, когда достаточно тяпнуть топором тут и там, чтобы «владать». Положим, что такие речи говорятя так, зря, без расчета, но уж одна возможность того, что они таятся в типах деревни даже новейшей хпщической формации, говорит ужасно много в пользу того, как велика

тяга в сумочке от матери сырой земли.

9. ПРОШЛОЕ ИВАНА БОСЫХ

Если существует тип деревенского биржевика — человека, наживающегося па счет соседа, то, разумеется, должен существовать и сосед, весьма недовольный этим способом наживы. Если у биржевика есть «средствия», помощью которых он достигает своих целей, то и у соседа, «теряющего па курс¹, тоже есть такие собственные «средствия», помощью которых он старается обороняться от неминуемой гибели... Лучшим для нас представителем этого последнего типа будет тот самый Иван Босых, о котором была речь в самом начале этого очерка. Не раз разговаривали мы с ним о его житье-бытье, и вот какой однажды разговор произошел между нами по этому поводу.

— Что же, — спросил я его: после того как тебя с железной дороги выгнали, принялся ты за работу?

— После того я вот как было-взялся с радости-то, как медведь начал ворочать вокруг дому! Только трещит да клюкает! Да не долго поработал так...

Он махнул рукой.

— Отчего же?

— Да так!.. Уж раньше было мое хозяйство все в расстройстве, в разбросе, да и настояще избаловался пасчет вина. Захватит, затоскуешь — и выпьешь... Н-ну, а уж попала муха — какая тут работа? С вина хозяином не будешь — иди спч... А хозяйство стоит... Так и пошло день за день, слабей, вот и достукался до поденщины...

¹ К у р с — уровень цен на базаре или бирже (место заключения сделок).

— Да отчего же сначала-то у тебя расстройство вышло?

Иван задумался и, вздохнув, сказал:

— Как сказать? по-нашему, по крестьянству, особенно по нынешнему времени и даже очень просто можно разориться в конец... Поколебала у тебя скотина — и ступай по миру... В прежнее-то время наш дом, семейство наше — первые были хозяева по крестьянству. Что скот, что народ — один к одному, на подбор были подобраны... И теперича, извольте поглядеть, что от старой постройки осталось: столбы под навесом дубовые, два аршина в обхвате, крепче чернодубу... Сейчас жги его столбом, так в сутки пожару по добьешься... Говорить не остается, какие были крестьяне — прославленные, прямо скажу, не похвастаюсь, были. Нас «босыми» прозывают потому, что мы все, весь наш род, первые были сплани, чистые истукапы подобные. Уж на что я, испивши, избаловавши, самый последух, а и то, ежели пойдет на спор, подбодрюсь, так не одну, две десятины дергу подыму. «Босыми» нас прозвали потому, что когда пошло в моду сапоги носить, так дедушка мой покойник — царство ему небесное! — никак не мог сапога надеть на ногу. Первое, что пога у него как столб какой, прости господи, или вот как тумба какая; а второе, как надел сапог — ступить не может; пеловко, ноги горят от жара. А вот босиком так в трескучий мороз десять верст пройдет, только дым от ног идет... Или, например, бывало, на спор пойдет дело, так он, дедушка-то, по склянкам от бутылок голой подошвой хаживал, и то ничего: «все одно — говорит — как по облаку хожу, ничего не чувствую»; а надел сапоги — захромал, жаром ноги займутся!.. Вот отчего нам название такое — Босых!.. Я-то уж самый младший из семьи, я дедушку помню уж совсем слабого, перед смертью... А которые помнят, так рассказывают, что, бывало, захворает чем, занедужает — никогда на пещку не лез, а зимою ли, летом ли — прямо в бор кости поразмять, да там, в бору-то, топором того натворит, страсти поглядеть что!.. Чисто медведь с волками дрался — столь много наломано, нарублено, навалено... Размается на ра-

боте, раздымет его всего, а прибежит домой, рубаху мокрую спял — и здоров. Только всего и леченья его было! А что касаемое по хозяйству, так уж тут вот на эсталько, на булавочную головку ошибки не давал. Чтобы сделать так, зря — ни во веки веков, ни в большом, ни в маленьком. Бывало, певесту какому из братьев возьмется выбирать, так целую зиму ездит по деревням, заискивает. На двести верст заезжал, и уж выберет бабу — одним словом!.. Уж ежели которую он выбрал, выпросил, высмотрел одобрил, так уж та баба завсегда на редкость и на работе и по праву. А родит ребенка, так прямо с годовалую овцу; взял его на руки — книзу прет и тянет. Вот какое было семейство!.. Отборное, первых кровей из всей округи было. Вот за это-то самое, за нашу породу, наше семейство и было у барина на примете; в солдаты из пашей семьи барин никого не отдавал, а все отсаживал в другие свои деревни на раззавод племя... То девку возьмет — парня ей купит под кадриль, Ерусалапа какого-нибудь, в Самарскую губернию отсадит, то брата с женой, с сыном в курень... Так и растыкал всех по одиночке. Остался я один с бабой и с дедом, а отец с матерью и бабушка в холеру померли. Дедушка-то уж совсем на моей памяти плох был, а все поровил вокруг дома с топором потукать или так потоптаться. Пришло ему время помирать, — в самых последних годах зачуял он смерть, — стал ночей бояться. «Боюсь я, говорит, почей, страсть боюсь!» Целую ночь, бывало, па крыльце сидит — ждет, скоро ли свет... А чуть светок, чуть петух где-нибудь, — и забормочет: «Слава тебе, господи! Жив, жив я... Вот и солнце красное... Ах, ты, боже мой... Свет и день! Жив, жив, жив...» И спать ляжет, когда уж вся деревня проснется, народ зашумит, заговорит — тут ему не страшно. «Тут, говорит, я не боюсь помереть... Тут — на миру...» И поплакивал старичок, очепно поплакивал! Бывало, кой-как, уж кой-как мученски мучается зиму-то, весны ждет: а пошел капель, стало пригревать, так и польют из глаз слезы-то... Жаль, всего жаль! Пуще всего — работать ничего не мог. На пашню поглядит — зальется-зальется... А пашню-то пашу все обрезавали да

обрезывали, и двор-то поосел. Я один, заведение большое — одному-то и не под силу... Там завалилось, там упало... Плакал он, покойник, много плакал; а все, пока силы были, все топтался, шамкал, приказывал да советовал. Ну, одпако ж и помер... Днем помер — педаром бога молил... Как сидел на солнушке, так и заснул, кончился... А тут скоро и освобождение¹ пришло. Пришлось мне новые порядки узнавать... А повые-то порядки нашему брату трудноваты. Первое, что при барине мы знали одно — работу; что скажут то и делали: навалим ему хлеба, свезем в город, деньги он возьмет и уж как сам знает, так и путается с начальством — а тут то тот, то другой тормозит... Да, деньги... Они хоть и невелики, да добывать-то мы их непривычны... У меня маменька-то во всю жизнь денег разобрать одну с другой не умела, дай ей копейку или двугривенный, ей все одно, потому хозяйством жили, все свое... Только деготь и соль, да что-нибудь по мелочи... Да и то все — либо дедушка, либо тятенька... И-ну, а тут изволь. доставай. А кроме того, земельки мало — гораздо меньше супротив прежнего стало — и выгон ушел от нас — пришлось занимать у чужих людей, платить опять деньги... Вот и пришлось в люди итти поклониться. Глядишь, тот тормозит, рублевку теребит, другой: кой-как собьешься, отдашь с прибавочкой. Там прибавочка, тут прибавочка — а и самому-то то там не хватит, то тут не натянешь...

И затем Иван рассказал, как он запутался в те самые тепета деревенских биржевых операций, о которых говорено выше и которых я здесь повторять не буду. Запутывался он каждую минуту, но по капельке, по копеечке, полагая что это — что-то временное, случайное, тяготился этим по-детски, наивно, скучал, и вдруг очнулся, потерял наивность неопытного ребенка и понял, что это — не случай и не время, а что это — такой порядок.

Произошло это следующим образом:

¹ Освобождение — здесь рассказчик (Иван) говорит об освобождении крестьян от крепостной зависимости от помещиков по манифесту 19 февраля 1861 г.

— Долго ли, коротко ли идет время, подошла сибирская язва, стала валить скот... Вергинар предедет, расковыряет шилом большое место и — уехал! «Мне, говорит, не успеть, заболело сто тысяч голов, а я один на четыре уезда, жалованья мне рубль — того гляди сам поколесешь с голоду». Ну, мы и не взыскиваем... Валит скотину — на-поди!.. Остался и я без всего. Повалило у меня двух коров, да к штрафу присудили за шкуры. Кабы мы были крепостные — ну, пошел к барину, поклонился бы, он бы и дал мне лошадь, потому какой же я буду мужик без лошади?.. Ну, а в нынешнее время поди к соседу, плачь... Ей-ей, иной плачет! Смеху достойно сказать: этакий верзила и — плачет!.. а ведь сущая правда... Просишь, просишь ковригу-то, зальешься... Я однава сам удивился: запищал даже с огорчения, словно заяц несчастный, не то что заплакал — а ведь во мне без малого шесть пудов весу. Вот пужда-то до чего доводит!.. Вот в этакое-то время толкался-толкался я вокруг наших, своих мужиков, которые хозяйством покренче: кое самому нужно, кое не дает — задолжал я ему раньше. Нет ничего мне справки! А время идет, и пора стоит рабочая... Хоть волком вой без лошади-то... Вот я и надумал идти к сестре — за сорок верст от нас сестра была выдана моя... Муж-то ее по дровяному делу служил, жалованье получал, — значит, при заготовках был — ну, и деньжишки кой-какие водились. Вот я к нему: «дай, мол, лошадь»... А крут был парень, и уж он мужицкое рыло стал воротить. Ломался-ломался — ну, тут сестра подвыла за меня — дал. Поставил цену в тридцать пять рублей — отдать весной... А по совести сказать, дал он мне овра: не то что тридцати, а и двадцати — какое! пятнадцать рублей я то напросишься... Ну, что будешь делать? Взял, еще в пожки поклонился. «Продай, говорит сено — куда оно тебе? Оставь на одну лошадь, а остальное мне отдай. А свалишь в нашем месте» (у такого-то). Назвал мужика, тоже к нему под кадриль подходит: сено тюкует, и часы, и все... А деньжонки-то требуются: коров нет, — все купи, ребятишкам молока... Отдал ему сено по десять копеек и приставить обязался к тому мужику, которому

он наказывал. Вижу, присхал в нашу деревню, поговорил с мужиком эстим, Парфенов прозывается. Потом оба зашли ко мне; зять и говорит: «Приставляй сено Парфенову, а за расчетом ко мне ходи». И Парфенов говорит: «Ко мне, говорят, приставляй». Вот я и стал приставлять. Еще я забыл сказать вот что: как приезжал этот зять-то, зашел ко мне на двор, увидел теленка: «отдай, говорит, мне, на что он тебе без матки-то?» А и то, что без матки трудно: делаешь месятку, одной муки сколько слопают, а муку я в ту пору вскоре с рождества покупал. Отдал я ему теленка за пять целковых. Староста тут подскочил: они, дьяволы, за двадцать верст носом слышут, коли покушник на двор зашел и деньги из кармана вынимает — два целковых отмотал от пятишпой в подати... Ну, пес с ним!.. А недоимки за мне действительно уж эво сколько!.. Вот ладно, стал я сено приставлять... «Приставил» четыре воза к Парфенову, а Парфенов тюкует да в сарай кладет. Натюковал он пятьдесят пудов. Еду я к зятю за деньгами, — стало-быть, приходится мне получить пять рублей... Приехал я к зятю, а его дома нету. Сидит сестра... Ну, поздоровались, поговорили, представил я записку, выдала она мне пять рублей. Представил я еще пятьдесят пудов, опять поехал, и опять зятя нету; сестра только дома... Сидит сестра и говорит: «А мы твоего телечка продали. Вчерась телятники были, за двадцать пять рублей купили...» Вздохнул я от этих слов, потому и поили-то они его всего две недели; кабы у меня корова была, так вот они, двадцать пять рубликов, в моем бы кармане были... Вздохнул я и промолчал. Разговорились и про сено; рассказывает она мне, что и сено ейный муж в Питер «приставляет» в казармы, по сорока копеек, а за приставку Парфенов по четыре копейки получает...» А перевозка почем? — «А перевозка, говорит, тоже по четыре обходится до Питера». И опять я вздохнул... Я-то вот за сто-то пудов всего десять целковых получил, а зятю-то восемьдесят целковых пришлось. Ну, прессовка восемь — ан все же моих денег у него шестьдесят рублей... А труды-то мои, косьба-то моя, и сушка, и гребли мы тоже с бабой — а всего десять целковых... За что так? — ду-

маю... Пошел я к Парфенову и говорю: «Так и так... Ведь это, братец мой, убыток; давай мне хоть пятнадцать копеек, я тебе приставлять буду»... Парфенов говорит: «Я бы и рад, я бы и двадцать дал, коли бы у меня в Петербурге места были знакомы. А то местов-то нет. Я уж, брат, за ними вот как старался уследить по Питеру, куда они девают сено, все ноги оттоптал, под заборами прятался — чуют, каналы, путают по Питеру... Ходишь-ходишь за ними, со следу не спускаешь, а чуть мигнул не так — его и нет, как в воду канул. Дьяволы — одно слово!» Пошел я, думаю: уж разыщу же я себе другого покупателя. Пошел на вокзал, толкался там двое суток, нашел. «Вези по двугривенному, сколь хощь!» Ну, тут я вышел да с радости и объявил Парфенову-то. А Парфенов-то — в обиду: «Ты, говорит, от меня хлеб отнимаешь... Я бы прессовкой-то все попользовался сколько-нибудь, а ты чужим...» — да и объяви зятю... А зять не в себе стал. «Как, обманывать?» Прибег ко мне. «Подавай лошадь!» Это чтобы мне возить не на чем было. Ну, я уперся, говорю: «Лошадь куплена, деньги жди до весны... Бумаги у нас, мол, с тобою нет, а сделано дело на совесть, по бессловесному договору — ну, и жди...» — «Давай сейчас!.. Эй, Парфенов, бери лошадь! Зови работника!» Я вижу, идет дело на сурьез, загородил ворота в скотник, стал спиной к двери и, признаться, осердился я... А был я немного выпивши, потому получил я с нового-то приятеля задатку, вот с радости-то я и пропивал рублишко, вчера да сегодня... Вижу я, хотят ломиться в дверь, осерчал... «Да ты что, говорю, тут орешь-то? Какая тебе лошадь? Да я, говорю, и весной-то денег тебе не отдам, потому ты и так на моем сене да на теленке получил... По-божьи-то с тебя еще надо больше тридцати рублей мне получить, а нежели ты с меня... Чуть не сто целковых на мне нажил, нажил, да отдай я ему лошадь а сам иди по миру... Па-ка!» Тут пошла брань, свара: что он злей, то и я... Приступают все они — Парфенов, работник — прямо к горлу, я и ткни, отпихнись!.. «Чего, мол, грабить лезете, пошли прочь!» — «А, коли так — в суд!» И подал зять на меня в волостной

суд по оскорблению его личного мордобоею и по взысканию за лошадь: либо 35 рублей, либо лошадь назад. А Парфенов-то—судья... Ну, и прочие судьи у зятя были присоглашены. Нивцо, винцо и все прочее... Приговорили так: за оскорбление личности двадцать ударов, а лошадь отобрать. Я на суд не пошел. Приходит ко мне десятский и говорит: «Иди в волость!» — «Зачем?» — «Драть будут!» — «Ну, я и не пойду». — «Не пойдешь?» — «Нет, говорю, не пойду. Скажи им, чтобы кого-нибудь другого выдрали, коли есть охота». Тут меня взяло зло. Как так! Это что ж такое? Меня теперича может драть свой же брат мужик? Еще барин нас дирал — ну, это господское дело; как была неправда, так и прошла. А тут меня будет драть всякое свиное рыло за то, что я ему не даюсь, охотой к нему в пасть не пойду? Ну нет, не дамся!.. Так меня все это рассердило, пошел я в кабак, царапнул косушку и думаю, что творится. Сидит солдат — разговорились. Рассказал я. Посоветовал: «не давайся». Потом спрашивает: «А много-ль за тобой недоимки?» А на мне недоимки наклпела вот как: над головой на три аршина, с боков по два аршина, да в землю сажени на четыре слишком. Сказал я ему это, он обрадовался. «Ничего, говорит, не бойся! Недоимка — это наше спасение. С нас ее потому и не снимают, что жалеют нас: снять ее — все равно догола раздеть; тогда эти каналы нас голыми руками брать будут. А как окружен ты недоимкой со всех сторон — и вверх, и вниз, и с боков, то и сиди ты спокойно, как бы в неприступной крепости, потому что продать ежели у тебя скотину, так деньги должны идти в казну, а не им, живорезам, а живорезу — что казна?.. Коли не ему, так и не надо. Уж коли у тебя продадут лошадь да в казну деньги возьмут, так уж он и знает, что ему не с чего взять будет. А так-то, без аукциона, все, может-быть, ты что-нибудь отдашь, все ему надежда... А ты вот как, я тебе скажу: ничего им, живорезам, не отдавай, а продавать тебя для казны они сами пожадничают. Сиди, братец ты мой, в этой самой глубине: недоимка — твоя защита. Все одно как в шубе сиди. Казна-матушка потому нас покуда и не раздевает... А то мы бы все как тараканы

померзли». Так мне стало весело от этих слов! Выпили мы тут еще, и стало мне хорошо. Думаю, коли казна ждет, так живорезы и подавно должны повременить. Да опять я не должен за лошадь — и по совести, и по-божьи, и всячески. Я ему предоставил на сто рублей моего собственного трудового — будет с него. А то еще драть... За что? — за то, что подороже хочу сено продать? Ведь вот анафема! Как вспомню, что меня драть хотят за мое же добро, так — хоть что хошь — тянет в кабак да и на! Однако прошло дня два, опомнился, почувствовался, думаю — примусь за хозяйство: лошадь моя, теперь сено по двугривенному, — стало быть, и коровецку куплю. И все в той состою надежде, что защитит меня недоимка. Солдат сказал: «Спи в недоимке, как во дворце, никто не посмеет!» — и присоветовал: «А в случае что, запирайся кругом, — нет закона, чтобы силом брать. Ответят». Вот я и сижу во дворце-то. На третий день глянь — тройка: старшина, зять, десятский... к Парфенову. Я сейчас на запер: ворота, сарай, конюшню, дом — все запер. Сижу с женой, ребятами под окном, смотрю, что будет. Потолковали они у Парфенова — вижу, идут ко мне всей гурьбой. Парфенов с ними и еще человека четыре мужиков. Подошли; старшина и говорит: «Отпирай!» Я не отпираю. — «Ты думаешь, говорит, что мы тебя не доставим? Ты думаешь, мы судов на тебя будем дожидаться? Ну нет, братец! У нас против вас, канальев и свои средства найдутся. Отпирай ворота добром! Лучше будет!» Я не отпер. Сижу, гляжу, что будет. Знаю, что против закону нельзя им идти... «А коли не хочешь добром, так мы и сами справимся. Ребята! — сказал старшина: — принесите дубину хорошую». Побежали мужичонки к Парфенову, выволкли четверо еловое дерево, аршин шесть долины да вершков двенадцати в корню, в отрубе. «Дуй!» Подхватили все, размахнулись, раз-два-три — ворота вдребезги так и разлетелись. Тут я вижу, что уже без совести пошло дело. Вышел во двор: «Что вам будет угодно?» — «Подавай лошадь!» — «Опа в поле!» — «А! — сказал старшина: — в поле... Ну-ка, ребята, возьмите дубину!» Опять подхватили, раскатали — хлоп в скотник. Так дверь и вбухали

в путро. Лошадь там. «Возьми!» Зять взял лошадь и ушел к Парфенову, а старшина говорит: «Не хотел добром, хочешь пахрапом, так мы также можем. Ты думал, своим средством отвернешься — ну, и мы своим средством. И помни. А выдрать — выдеру... А ежели хочешь жаловаться в вышнюю инстанцию, так сделай милость! Теперь тебе двадцать определили, а тогда сто двадцать всыплю...» С тем и ушли. Остался я без лошади, и такое меня взяло зло, такая лютость, точно бег меня осенил. Жена было заголосила, а я ее бить. Перед богом, сам не помню, как рука поднялась! Теперь я без лошади и без коровы, и сено нечем возить, и драть грозятся — кипит у меня все путро, огнем палит... Завыла она. Я — раз ее в грудь, а брюхатая была; и это, что брюхается-то она не во-время, тоже меня озлило, я ее и... Стала она кричать, а я злей да злей; побелело у меня в глазах от злости... Пр-ямо в кабак! Жрал-жрал, сено кабатчику обещался отнять за пятачок пуд, только давай вина. Допился до бесчувствия, вышел, упал в канаву, мордой в лужу — и лежу... Долго ли, коротко ли лежал, стало мне холодно. Открыл глаза — месяц на небе. Девки поют в деревне... Встал, пошел к кабатчику, вымолил стаканчик и пошел домой. Иду, гляжу — у Парфенова огонь. И зять, и старшина, и компания. Вино в бутылке. самогар — угощаются. Не могу сказать, что такое случилось со мной, а только, как увидел я это, прямо и повернул к Парфенову. Ввалил я к ним в грязи, без сапог — пропил их — и прямо к старшине: раз его по роже — да к Парфенову, да к зятю... Дал им всем по хорошему лезу и сел... Тут было-поднялось... и-и. боже милостивый, что! Но я уж был в азарте. «Убью, говорю, анафемы! Вина давайте, и только!» Проснулась в ту пору во мне наина босовская сила: кажется убил бы с одного маху. Но только они догадались, что опасно меня теперь трогать, отступились, погнажи за старостой, за понятыми... А я прямо к столу, выпил из бутылки, да пустой бутылкой в зеркало, да чайную посуду на пол... Сбежался народ, повалили, связали и — в холодный амбар. Подали на меня в суд все трое. Старшина — тот к мировому подал. Зовут к ответу: не пошел, стал пьян-

ствовать. Выходит резолюция — драть. Зовут. Не пошел. Три раза приходили. Плюнул в морду десятскому, а не пошел. Насудили, анафемы, с трех-то морд — до ста ударов с прежними... Я все не иду. Спасибо, еще народ есть добрый — не выдают... Вот я и промаялся кое-как до Покрова и все больше пил... Тут уж и новый мой знакомый, с которого я задаток под сено получил, и тот стал грозиться судом. А на чем я повезу сено, коли лошади нет?.. И кабатчик требует то же самое сено: я его пропил ему... Не глядели бы глаза на свет белый. После Покрова слышу — колокольчики. Заливаются соловьями. Вкатывают в деревню на трех тройках: старшина, пристав, суд... Екнуло мое ретивое! Прямо ко мне на двор, вошли в избу, собрали народ. «Подати!..» Так меня притиснули, не выскочишь из избы-то... Тут стали носить подати, а старшина говорит: «Вот, ваше сиятельство, этот крестьянин (я) четыре раза присуждался к наказанию, во-первых, за оскорбление зятя, потом меня, потом Парфенова и опять же зятя. Двадцать раз его звали — сопротивляется, не идет. Позвольте привести решение в исполнение... Да и податей к тому же не платит». Вот тут меня и растянули!.. Тут я и потерял свой смысл, и стыд, и совесть... Лежу и, верите ли, себя боюсь. Перед богом, себя боюсь!.. Боюсь подняться, боюсь пошевелиться, потому убил бы кого-нибудь, на смерть бы разможнил, кто подвернулся бы в ту пору. Наконец, того, вижу, что живорезы в лакомство вошли, говорю: «будет!» И так это сказал, что перестали ведь анафемы... Ну, вот с этого времени я и потерял себя. Всею себя потерял! Все мне тоска, свет не мил, двор пустой... Только и есть кабак. И воровать даже стал. Сено продал в двадцать мест, а все — прахом, прахом. Слабей, слабей, так и пошел ко дну. До того дошло, что и жена стала жаловаться на меня суду... За это мне решение выходило — 20 ударов, а я ее за жалобу опять трепал... Таким родом и исподдел я, и развратился. Уж как я обрадовался, когда барин один, на даче поблизости жил, подмог мне темного работником, дал пролукаться, а потом и на станцию определил. Коли б мне опять такое место, я б уж знал, как справиться — ну, а теперь...

Иван замолк и с изменившимся, побледневшим лицом проговорил, понизив голос:

— Теперь того и жду, что случится что-нибудь худое..

— С кем?

— Да со мной.. Того и жду, что в тоске какой-нибудь сделаю вред.

— Отчего же ты думаешь?

— Уж знаю я...

Иван замолчал. На лице его было выражение какой-то суровой таинственности.

— Домовой у меня по ночам воет на крыльце — вот что я вам уж без всякой утайки объясню.

Я мог только сказать:

— Неужели?

— Верно я вам говорю... Как меня тогда разорить, то есть лошадь-то когда отняли, так он тоже выл, а теперь так, верите ли, каждую ночь воет без устали. Всю ночь с женой, с ребятишками трясемся... Выйдешь в сенцы ночью-то, а он сидит на крыльце, этак вот обеими руками голову обхватит, да как замочает баншкой-то из стороны в сторону, как залетится... Мороз даже по коже дерет! Перед богом вам говорю!.. Уж верно что-нибудь со мной недоброе случится... Уж очень я обзливши... Тоска меня сосет... Враг шепчет все... Уж на что-нибудь подстроит он меня... Быть мне на каторге — вот что я думаю.

— Ну, какой вздор! Какие домовые!

— Как какие?.. Нет, уж сделайте милость. Мы очень знаем эти дела-то. При покойнике-дедушке у нас домовые жили двое: я их сам своими глазами видел... Так они жили тихо.

— Своими глазами?

— Вот как вас вижу, так и их видал... Да и сейчас я вижу его...

— Ну, какой же он?

— Домовой-то?.. Да обыкновенно уж домового мы подразумеваем под чортом — ну, и вид у него...

— Какой же у него вид-то?

— Как сказать?.. Мутный он весь какой-то...

— Глаза есть у него?

— Да, и глаза должны быть. Ведь он ходит — должен же глядеть-то.

— А ноги?

— У него всему надо быть, только-что не видишь... и видишь только, что есть вон тут, или тут... А так сказать, чтобы вид какой у него — не могу... Я раз пришел на сеновал, а он лежит — спал, должно-быть...

— Ты его видел?

— Своими глазами.

— Ну, так на кого же он похож?

— Да на домового же и походит.

— Одет он во что-нибудь или нет?

— То-то нельзя этого знать... А видишь только, что тут он... В роде как тепь, такой мутный, лежит, и сено сквозь него видно.

И тут у нас начался самый детский разговор. Я только мог дивиться, какая детская наивная душа сохраняется в этом сильном и добром человеке, в котором запутанная жизнь может накапливать почему-то только зло, только негодование...

10. ЗЕМЕЛЬНЫЕ НЕПОРЯДКИ

Картины, которые невольно ложатся на бумагу, до того непривлекательны и до того тягостны как для читателя, так и для записывающего их, что мы не будем более делать этого. Довольно знать, что как бесцеремонная жестокость мужика разживающегося, так и нарождающаяся жестокость сердца в мужике разоряющемся имеют один и тот же источник — расстройство земледельческих порядков. Все в глубине души сознают, что земля — одна только непоколебимая и прочная основа благосостояния, что земледельческий труд — один только безгрешный, святой труд, складывающий все частные и общественные отношения земледельцев в безгрешные, безобидные формы. Повято ли достаточно значение земли во всем обиходе крестьянской жизни? Возвращаясь опять к фактической стороне дела, видишь, что земли мало — вполдвину меньше, чем нужно, —

видишь, что никакой необходимой при новых условиях крестьянской жизни хозяйственной системы не выработано. Какой-нибудь сеной пресс, который должен быть таким же общественным достоянием деревни, как пожарная труба, который должен облегчать труд всех земледельцев, составляет источник огромного дохода для единиц: вот этот Парфенов купил пресс и может ничего не делать, обирать мир. Конечно, Парфенов может покупать, что ему угодно, но и мир должен иметь свой пресс, свою молотилку для того, чтобы труд облегчился для всех, чтобы не было ненужного зла.

Помимо недостатка земли, стройность и прочность земледельческой семьи нарушается не вполне правильной воинскою повинностью. При старой, так называемой, очередной системе прежде всех должны были идти многосемейные — для большой семьи не так трудно лишиться одного работника, как для маленькой потерять его. Теперь возможны случаи, когда большая семья остается невредимой, а маленькая вконец разоряется. Пролетариат, воспитываемый новой модой нажины денег с своего соседа, увеличивается и этим обстоятельством.

В старину этот пролетариат волей-неволей сидел на помещичьей шее, в виде дворни, в виде «учеников», отданных в городские мастерские. Наконец огромная масса такого негодного в деревне народа отдавалась в солдаты и, вследствие долгого срока службы, возвращалась назад в самом незначительном количестве. Я знаю, что все это сидело на народной же шее. Я знаю, что старая солдатчина ужасна, и надеюсь, что никто не припишет мне желание вернуть это прошлое; я говорю только, что, так или иначе, пролетариат деревенский был прибран из деревни, не толкался в ней, не мешал мужику быть земледельцем. Теперь не только такой жестокой приборки нет, но, напротив, даже и мысли нигде ниоткуда не проникает о том, что «не надо разводить» пролетариата, и что необходимо устроить по-божески. Срок службы хоть и короток, но солдатчина портит человека, и воротясь он мешает: он — плохой работник.

Затем старая хозяйственная система была правдивей,

с своей корыстной точки зрения, к народу и по отношению к налогам. Богатый всегда платил больше бедного, хотя бы у обоих их считалось по одному тяглу. Теперь же за одно и то же количество душ платят и семьи огромного денежного богатства и семьи огромной земледельческой нищеты. Кроме того, какая система в том, что в этих двух деревнях совершенно разные платежи: одна деревня платит 1 р. 60 к. в год всего-на-все, а другая — 19 руб. с души. Или почему вот эту половину реки одна деревня сама сдавала в аренду рыбакам и получает за нее деньги, а другая не может поймать и окуня, потому что половина реки, прилегающая к ее берегу, тысяча лет тому назад подарена монастырю, и монастырь сам сдает ее в аренду? Тысяча лет тому назад монастырские владения никого не стесняли, а теперь они прямо расстраивают население. Неужели все это не может быть устроено просто, внимательно, по совести? Глядя на все это, не понимаешь, как можно каким-нибудь эпитетом¹ определять такое запутанное землевладение, тем паче такое, как «община». Тут самая грубая несправедливость. Бог знает что, но только не община.

Вспоминая постоянно крепостное право, я полагаю, что читатель не заподозрит меня в сочувствии ему. Я только говорю, что при крепостном праве была система, что хотя на человека и смотрели, как на рабочую только силу, но обязаны были, в видах получения от нее пользы, удовлетворять ее в ее существенных потребностях. Теперь человек деревенский — не скотина, не животное; он, слава богу, человек в самом деле, живая человеческая душа, а между тем как мы видели из приведенных выше примеров, хозяйственная-то земледельческая организация его была оставлена в полном расстройстве и невнимании, а человеческая — вовсе ничем не удовлетворяется.

Столетие тому назад Тихон задонский² мог с церковной кафедры публично, при всем народе, говорить такие слова:

¹ Эпитет — признак, определяющий чьи-либо особенности.

² Тихон задонский — церковный писатель, проповедник XVIII века, бывший Воронежским архиереем (возглавлял церковь Воронежской губ.).

«Явное хищение не есть то, когда кто чужую вещь насильно отнимает, как то делают: 1) Разбойники, кои насильно другого грабят. 2) Властелины, которые у своих подчиненных, а сильные у немощных отнимают нагло имение, дом, землю и пр., или принуждают их продать себе то, что они продать не хотят (зять Ивана Босых), или продать малую ценою... 3) Сему хищению подвержены продавцы, которые в крайней другого нужде, например, во время голода, хлеб не продают, разве за неспособную цену. Сюда подлежат и те, кои, видя другого нужду, взаем не дают денег, или хлеба, или чего другого, разве требуя несправедливой лихвы и росту» и т. д.

Повторяю, сто лет тому назад можно было публично, с кафедры большого губернского города, прямо, открыто и безбоязненно говорить о правде человеческих отношений. Подите-ка, пикируйте теперь, об этой правде не только в губернском городе, с кафедры собора, а в деревне — посмотрите, чем отплатят проповеднику за эту смелость господ Парфеновы, ивановы зятья, волостные старшины и т. п.

Вот в числе молящихся находится господин Пуговкин, лесопромышленник.

Он напимает мужиков возить из лесу дрова и платит им с сажени; только сажень у него своя, именно — не 3, а 4 с вершиками аршина. «Только сажень у меня, ребята, своя», говорит он. Попробуйте-ка публично сравнить его с явным хищником, да он вас за это буквально сотрет в порошок! Говорить публично о таких вещах — разве это не бунт? Вот почему современный перерей предпочитает сидеть дома, либо ловить рыбу, либо от скуки очинит перо, да потом и примется выводить отличнейшим почерком: «Милостивый государь, господин Иоганн Гофф! Употребив, совокупно с тещей, одержимой воспламенением всех суставов, двадцать пять бутылок вашего мальц-экстрактного препарата, с благоговением прилагаю еще 3 рубля...»

А рядом зять порет Ивана Босых за то, что тот хотел се-но продать подороже...

Деревенская школа, деревенский учитель, как, вероятно, известно всякому живущему в деревне, не пользуются особенной симпатией деревенского населения. Конечно, есть много превосходных учителей, умеющих возбудить в себе страстную и искреннюю любовь учеников, и скажем даже, что огромный процент народных учителей составляет наилучший элемент современной деревенской интеллигенции, — элемент, в среде которого почти исключительно приютились остатки исчезающей из обращения идеи самопожертвования и служения на пользу ближнему; но все-таки мы должны признать, что современное деревенское население не чувствует к школе того расположения, которое оно должно было бы чувствовать. Поговорив с любым из крестьян, т. е. земледельцев, о современных порядках, нуждах, переменах и ожиданиях, и перейдя потом к разговорам о школе, об училище, вы непременно услышите два постоянно слышащиеся мнения, «что ничему не учат» и «что нет строгости». С не-мужицкой точки зрения оба эти мнения одинаково несправедливы: во-первых, потому, что учат гораздо большему, чем учили в старину, по псалтырю, а во-вторых, роптать на недостаток строгости в училище в то время, когда рука родителя не задумается дополнить по этой части дома то, чего, по его мнению, не сумела сделать школа, оказывается делом решительно неосновательным. А между тем весьма нередко ропот на то, что «ничему не учат» и что «нету строгости», иногда переходит из области простого, затаенного неудовольствия на практическую почву и выражается в том, например, что некоторые деревни прямо отказываются платить сбор (от 10 до 25 коп.) на школы, который они сами же мирским приговором обязались платить. Факты подобного рода весьма часты, и с первого взгляда кажется, что они не представляют собой ничего другого, кроме доказательства грубого пародного невежества и косности; на самом же деле выражения: «ничему не учат» и «нет строгости» имеют, если только дать себе труд добиться их подлинного смысла, как раз обратное зна-

чение, т. е. совершенно определенно указывают высоту народных требований по отношению к науке — высоту, которой школа не удовлетворяет. С этой точки зрения выражения: «ничему не учат» и «строгости мало» получают иной смысл, а слово «строгость» перестает значить то же, что «за волосы» и «ложись».

Но, позвольте, — скажет читатель, давший себе труд прочитать предшествовавшие главы настоящего очерка: — какая же нужна школа и наука мужику? Разве в этой жизни, основанной на «власти земли», власти, все пронизывающей, все устрояющей и все в народной жизни уясняющей, — разве там есть место какой-нибудь книжке и какой-нибудь науке? Зачем она тут? Зачем сюда соваться и разрушать удивительную стройность ни в каких указаниях (кроме указаний природы) не нуждающейся жизни? Все это читатель имеет право напомнить мне, и все это, со своей стороны, я готов бы был повторить и подтвердить в более, насколько возможно, сильных доказательствах и фактах, если бы мною не руководило не столько желание предаться изображению трудовой жизни «без греха», сколько другое, более настоятельное желание, чтоб эта безгрешная жизнь, золотые зерна которой рассыпаны по всей русской земле, не была обречена на непрерывное пребывание в навозных кучах, и чтобы эта драгоценность не была разменена на медную монету... Что это точно жизнь без греха и что это точно драгоценность, мы будем говорить тогда, когда отделаемся и раз навсегда покончим с вопросом о том, что именно надобно делать, чтобы драгоценность эта не была промотана и не пошла прахом.

Ввиду этой цели, мы в первых главах нашего очерка и хотели в грубых чертах выяснить себе, в чем именно заключается эта драгоценность, которую обладает народ и которую жаль промотать. Об этой тайне народной силы, об этом каком-то залоге, таящемся «в недрах», об этой неуязвимости народного мирозерцания и силы духа мы, особенно в настоящее время, слышим на каждом шагу, но, к несчастью, решительно не видим мало-мальски определенных очертаний этой народной тайны.

Лет 30 тому назад Герцен¹ написал об этой тайне народного духа следующее: «Мне кажется, что есть нечто в русской жизни, что выше общины и государственного могущества: это нечто трудно уловить словами и еще труднее указать пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознательной силе, которая столь чудесно сохранила русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным татарским кнутом и западными капральскими палками, — о той внутренней силе, которая сохранила прекрасные и открытые черты и живой ум русского крестьянина под унижительным гнетом крепостного состояния. — о той наконец силе и вере в себя, которая жива в нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русский народ, его непоколебимую веру в себя — сберегла вне всяких форм и против всяких форм».

Что же это такое за сила? Как видите, такого огромного дарования писатель, как Герцен, не только не может указать пальцем на эту силу, но не может даже выразить ее словами. Эта сила, чудесная, таинственная, в то же время не вполне сознательная, сохраняет русского крестьянина и под кнутом, и под палкой, и в крепостном унижении, — словом, вне всяких форм и против всяких форм. Что она такое — неизвестно: она только чувствуется, и хотя понять и уловить ее нельзя, тем менее можно указать пальцем, но она все таки сберегла русский народ и сберегла вместе с верой в себя. Тридцать, тридцать пять лет тому назад даже человек такого огромного значения, таланта и дарования мог только чувствовать эту народную тайну, но мог и не касаться ее пальцем просто потому, что для этого необходимо был молкий утомительный опыт, необходима была черная работа в самой глубине, у самых корней этой народной тайны. Но повторять те же таинственные слова: «сила», «та таинственная сила, которая», «дух, который непоколебим», «сила, которая устояла», — словом, повто-

¹ Герцен А. И. (1812—1870 г.г.) — крупнейший писатель и общественный деятель, определявший собой целую эпоху в истории русской мысли.

рять восторженным голосом это бесконечное «которая», к которому можно приценить все, что угодно, — повторять это в настоящее время нам кажется уже решительно невозможным. Так или иначе, нам надо знать, что это такое, что не проймешь ни палкой, ни кнутом, что вне форм и против форм сберегло русский парод и его веру, живой ум, открытое лицо и т. д. Чтобы разъяснить себе этот вопрос, прикоснуться к нему пальцем, назвать его словами, мы решаемся спуститься в самую глубь мелочей народной жизни, идем в избу, прямо к представителю этой силы, и так как на прямой вопрос: «отчего вас невозможно пронять и отчего, несмотря на татарские кнуты и капральские палки, вы сохранили открытое лицо и живой ум», — ответа мы не получаем, то, разумеется, надо самим нам перерыть все, что ни есть в избе, в клуне, в хлеву, в амбаре, в поле... Работа мелочная и неприятная... Право, господин благосклонный читатель, — утомительная и, право, неприятная! Вы вот все жалуетесь, что нет изящной словесности, все только о мужике пишут. Во-первых, это неправда, вы имеете ежемесячно массу литературных произведений, написанных вовсе не о мужике, и притом весьма изящно. А во-вторых, зачем вы читаете об этом мужике и, главное — зачем вы полагаете, что писания эти надо причислить к изящной словесности?.. Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее в оглавление, ведь и там сказано: «заметки», «отрывки», — какая же это словесность? Это просто черная работа литературы, а с словесностью, вероятно, пацодно покуда повременить. Пишущий эти строки виновный до некоторой степени в литературных огорчениях читателя (един провинциальный критик пишет: «читатель хочет десерта¹, а ему все о мужике»), и сам бы рад был радехонек почитать что-нибудь хорошенькое, да все что-то не видно...

Трудна, неприятна и утомительна эта черная литературная работа, а делать нечего, надобно работать. Мы вот все твердим: «сила», «дух, дух, дух», «она самая, которая»,

¹ Д е с е р т — плоды и сласти, употребляемые после обеда.

которая чудесным образом сберегла, сохранила и т. д., а что это такое — не знаем, и может случиться, как это и случилось, что сила таинственная и чудесная, сохраняющая неприкосновенность человека под палками и кнутами, вдруг не сохранит его под ударом рубля. Ведь вот все вытерпел народ — и татарщину, и пеметщину, а стал его жид допимать рублем — не вытерпел! Ну как что-нибудь еще случится непредвиденное? Почему звать?.. А ведь если все твердить: «та, которая», так ведь ровно ничего нельзя ни звать, ни предвидеть. Вот поэтому-то, несмотря на огорчения читателей и критиков, желающих десерта, мы и решаемся спуститься к самым недрам и корням пародной жизни...

И здесь, после миллиона недоумений, миллиона ошибок, терзаний, мы наконец радостно видим, что кое-что из этой тайны неуязвимости открылось нам.

Оказывается, что «сила», которая сохраняет человека под кнутом и палкой, которая сохраняет у него, несмотря на гнет крепостного права, открытое, живое лицо, живой ум и т. д., получается в этом человеке непосредственно от указаний и велений природы, с которою человек этот имеет дело непрерывно, благодаря тому, что живет особенным, разносторонним, умным и благородным трудом земледельческим.

Оказывается, что не только наш крестьянин — земледелец всех стран, всех наций, всех народов точно так же неуязвим во всевозможных внешних несчастьях, как неуязвим и наш, раз только он почерпает свою мораль от природы, раз только строит свою жизнь по ее указаниям, раз только повинуетя ей в радостях и несчастьях, т. е. раз только он — земледелец, так как нет такого труда, который бы так всецело и непосредственно, и притом каждую минуту и во всем ежедневном обиходе зависел от природы, как труд земледельческий. Припомните, чего-чего не перенесли французы, итальянцы, турки, славяне, немцы и т. д., но если мы дадим себе труд разыскать в землях, населенных этими народами, то, что называется нетронутою цивилизацией, деревней, так мы непременно

пайдем то же самое мирозерцание, что и у нашего крестьянина, — конечно, видоизмененное по внешнему выражению, сообразно климату, темпераменту, породе и т. д. Но решительно везде, точно так, как и в нашей деревне, мы не найдем никаких следов воспоминаний о каких бы то ни было гнетах и бедствиях. Наш крестьянин сохранил открытое лицо и живой ум, несмотря на татарское иго, шницрутены¹ и крепостное право.

А французский, настоящий нормандский или бретонский мужик сохранил разве воспоминание о пагубности римлян, о пагубности варваров, о бесчисленных войнах и драках, в которых погибли миллионы его предков? Итальянский пахарь, наверное, не помнит всея (!) римской истории, точно ее и не бывало. А сколько перерезано турок, и что же? — лицо у них улыбающееся и к мордобитию расположенное во всякое время. Во время сербской войны² с поезда русских добровольцев на одной из австрийских железных дорог свалился в пьяном виде русский крестьянин-доброволец. Поезд ушел, а крестьянин, очнувшись, увидал себя в какой-то мадьярской деревне. Через две недели однако он с другим поездом добровольцев добрался до Пешта и рассказывал о своем приключении. — «Что же ты делал эти две недели?» — спрашивали его. — «Что делал!.. Как есть нечего — найдешь работу!» — «Что же ты работал?» — «Да все: дрова колот, воду возил — все, что по крестьянству следует». — «Но ведь ты не знаешь ни слова по мадьярски, как же ты разговаривал?» — «Да чего мне разговаривать-то? Дают в руки топор да подведут к дровам, так я и без разговоров знаю, что мне топором не шп хлебать, а дрова рубить. Разговаривать!.. Поставят к лошади с плугом, само собой и видно, что падо

¹ Шницрутены — орудие телесного наказания, длинные, гибкие прутья. В употребление были введены в России императором Петром I. Вышли из употребления в 1860-х годах.

² Сербская война с Турцией в 1876 г., окончилась неудачно для Сербии. За нею последовала русско-турецкая война.

пахать, а не в карты играть, или, например, кофий пить...¹ Такое родство в воззрениях земледельцев всех стран, мы уверены, вполне существует.

Эту неизменность основных черт земледельческого типа накладывает на крестьян всех стран света неизменность законов природы, которые, как известно, также «устояли», несмотря на то, что в Риме были Нероны и Калигулы², а у нас — злые татарчонки, Бироны³, — кнуты, шпичрутены. Неизменно, на том же самом месте, как тысячи лет назад, так и теперь, стояло солнце; как и теперь, оно заходило и восходило в тот же самый день и час, как и в «бескопечные веки»; могли сменяться тысячи поколений тирапов, всяких людей, нашествий, но тот человек, которого труд и жизнь обязывали быть в зависимости от солнца, должен был оставаться неизменным, как неизменным оставалось оно. Возьмите нашего крестьянина из любой земледельческой деревни: он находится и сейчас точь в точь в таких же условиях жизни и под теми же самыми влияниями, как и тот скиф⁴, портрет которого вы можете видеть в книге Вайца⁵ и который буквально точь в точь похож на нашего «мужика»: тот же самый камень обходит сохой и теперешний мужик, какой обходил сохой скиф, и, как древнейший предок теперешнего мужика, обходя камень, говорил: «ишь, идол, разлежся на самой дороге, возись тут около него» — так и теперешний мужик, поравнявшись с камнем, не преминет вымолвить: «и нелегкая же тебя повалила на это место, неладная дубина...» Река, солнце, месяц, весна, осень, трава, деревья, цветы — все до последней мелочи природы было точь в точь то же самое, что и «в бесконечные веки». Это было неизменное. От этого зави-

¹ Нерон и Калигула — римские императоры.

² Бирон, герцог Курляндский, в начале XVIII века в царствование императрицы Анны Иоанновны, как ее любимец, фактически управлял государством. После ее смерти стал регентом, но скоро был свергнут.

³ Скифы — древний кочевой народ.

⁴ Вайц, Теодор, — немецкий философ и антрополог, исследователь жизни первобытных народов

села жизнь, в этом — тайна мирозерцания. Это можно назвать и указать пальцем.

В строе жизни, повинующейся законам природы, несомненна и особенно пленительна та правда (не справедливість), которую освящена в ней самая ничтожнейшая жизненная подробность. Тут все делается, думается так, что даже нельзя себе представить, как могло бы делаться иначе при тех же условиях. Лжи, в смысле выдумки, хитрости, здесь нет, — не перехитришь ни земли, ни ветра, ни солнца, ни дождя, — а стало-быть, нег се и во всем жизненном обиходе. В этом отсутствии лжи, проникающем собою все, даже, повидимому, жестокие явления народной жизни, и есть то наше русское счастье, и есть основание той веры в себя, о которой говорит Герцен. У нас миллионные массы народа живут, не зная лжи в своих взаимных отношениях — вот на чем держится наша вера. Впоследствии мы постараемся рассказать несколько самых, повидимому, возмутительных жестокостей в народной жизни, и все они, с точки зрения мирозерцания, воспитанного неизменными законами природы, окажутся неизбежными, а люди, совершившие их, чистыми сердцем, как голуби.

Но хоть в природе и все — правда, но не все в ней ласково. Посмотрите-ка, какой веселый лес на горе, какие там веселые «птичек хоры», или какой он молчаливый и торжественный почью, а между тем в то время, когда он молчит, и в то время, когда он весь поет и зеленеет, какое в нем идет поедание друг друга! Вы не услышите ничего, кроме едва-едва приметного писка, то там, то сям. Кто-то кого-то ест, а потом, веселый и довольный, «с светлым лицом» и губами, на которых незаметно крови, идет в свое семейство... Лес не помнит своих прародителей, которые в первый раз были срублены во время татарского ига, а второй раз — во время «немецкой бюрократии», и прет из их сгнивших корней свежими стволами, — прет потому, что слушает солнца: нельзя ему не выпирать, коли оно его тянет, и некогда вспоминать прародителей. Не вспоминает и этот волк съеденной овцы и не виноват, конечно,

в этом; да и сыч этот, съевши яйца в чужом гнезде, тоже только облизывается и хвалит творца. Все поедает друг друга каждую минуту и все каждую минуту рождается вновь... Родится, цветет, поет, только писк-то вот этот, который по временам слышится кое-где, вот он-то очень неприятен и щемит то заячье, то овечье, то птичье сердце. А в человеческом обществе, поставленном к природе в слишком неразрывную зависимость и не имеющем возможности жить иначе, как по тем же самым законам, как живет вышензображенный лес, этот писк и вопль человеческого существа ужасен и жалок необыкновенно, потому что тут жестокое друг над другом совершают люди, а не звери, не бессловесные животные. Повторяем, и в этих жестокостях неизбежная правда: заедят непременно слабого, заедят и о з р я, а непременно вследствие множества неотвратимых резов, — заедят, и все будут невинны; но и сердце, которое содрагается от этого человеческого писка, частенько переходящего в стопы, также содрагается не без основания. Любители охоты говорят, что собаки, обладающие особенно развитым чутьем, никогда не бегают по следам дичи, а бегут в стороне. Происходит это от того, что запах дичи на следу так сильно бьет собаку в нос, что она теряет обоняние, не слышит запаха дичи, тогда как со стороны, с боку следа, запах дичи она слышит отлично. Вот также и насчет сердца человеческого: один дерет с другого шкуру — и не чувствует; ему довольно знать, что нельзя иначе... А другой, и издали глядя на это зрелище, не только сам ощущает боль сдираемой кожи, но только чувствует страдание обдираемого человека, но имеет даже дерзость считать этот неизбежный акт возмутительным и жестоким, имеет даже дерзость закричать издали: «что вы делаете, проклятые!» — хоть и знает, что они не виноваты.

Человек с таким сердцем, с таким чувством, и чувствительностью и есть, как мы думаем, человек интеллигентный. И такой человек всегда был, присутствовал в самой среде народной массы, работал в ней не во имя звериной, лесной правды, а во имя высшей, божеской

справедливости. Наши интеллигентные прародители были так умны, знали, должно быть, так хорошо народную массу, что для общего блага ввели в нее «христианство», т. е. взяли последнее слово, и притом самое лучшее, до чего дожило человечество веками страданий. И слово это, проповедывавшее высшую степень самоотречения, они не побоялись внести в ту среду людей, которые «звериным обычаем живяху»¹. Общество, которое жило таким образом, очевидно, было вовсе не подготовлено к восприятию такой непривычной новизны; ему бы, если верить нынешним нашим руководителям, надо было пережить весь смрад развалившегося мира прежде, чем вкусить христианство. Но наши прародители, повторяем, знали свой народ, хотели ему добра и, как люди, которые сами близко жили к природе, знали, что такое значит жить «звериным обычаем», — знали, что звериному обычаю незачем переживать всевозможные благообразные изменения этого обычая, раз уж есть нечто лучшее, высшее всего этого зверинского благообразия. Они взяли то лучшее, что только выстрадало человеческое сердце, взяли христианство и притом в самом строгом, не подслащенном виде... Теперь мы роемся в каком-то старом национальном и европейском хламе, в национальных и европейских мусорных ямах.

Итак, в русской народной массе всегда был интеллигентный человек. Он, вооруженный христианскою идеей, шел безбоязненно в массу народа, которая жила звериным обычаем. Частенько его колотили дрекольями, но он не унывал и неуступно твердил одно: «не сдирай шкуры с ближнего!» Этот интеллигентный человек был настоящий работник народный, и работник практический; чудеса наших угодников весьма не блещут разнообразием; да настоящие интеллигентные работники в народной среде, знав эту среду за практическую, и действовали также практически. Когда одного из проповедников христианства жители нынешнего города Владимира выгнали из города, он не унылся, а поселился неподалеку от города в лесу и здесь,

¹ «Звериным обычаем живяху» — жили по звериному, слова из русской летописи Нестора о древлянах.

че надеясь успеть с звериными сердцами родителей, стал принимать к себе молодежь. Молодежь также отлично знала, что соловья баснями не кормят. Знал это и проповедник и счел необходимым, прежде нежели начать проповедывать, привязать их к себе угощением: стал он до отвала кормить молодежь кашей; после каши молодежь стала уже слушать его волей-неволей, а потом и поняла и увековечила его память. Все наши наиболее чтимые угольники были самые практически-деятельные, добрые, чувствительные люди. Тихон Задонский покупал мужикам семена, земледельческие орудия, хлопотал за них в тюрьмах. На эти расходы он израсходовал все, что имел: даже перину продал; часы карманные тоже продал, после его смерти осталось денег 14 руб. ассигнациями. Этот прекраснейший образец человечности (по страстности и вниманию к положению ближнего, по поговору на условия его темноты и — главное — по пониманию христианства) не мог довольствоваться важным саном архиерея и правом поучать стадо словесно — он добровольно отказался от архиерейской кафедры и удалился в монастырь, где ему представлялась возможность вмешаться со своею деятельною любовью в народную среду.

Эта интеллигенция «угольников божьих» внесла в народную русскую массу бездну всевозможной нравственной и физической опрятности (посты, браки в известное время года и т. д.). Но главное-то — они старались «развить эгоистическое сердце человека в сердце всескорбящее, обобщить его разумом и, в свою очередь, оживить им разум...»¹ Вот эта-то тенденция — превратить эгоистическое сердце в сердце всескорбящее — и была положена в основание народной школы, училища, основанного на псалтыре и т. д. Цифири учили плохо, были бирки², а землю мерили (да и сейчас мерят) ладьями,

¹ Как настоящая, так и предшествовавшая цитаты из Герцена заимствованы из книги Н. Страхова «Борьба с Западом» — Примечание автора.

² Бирки — палочки или дощечки, которые служили в старину для счета посредством зарубов, надрезов или других знаков на них.

«поском в пятку». Но воспитание сердца было настойчивое; учёба была тиранская, но касалась она не расчёта, не выгоды, не простого, понужного знания, а проповедывала ту самую «строгость» к самому себе и к ближним, которая нужна и важна в человеческом обществе, вопреки той правде дремучего леса, в которой оно обязано жить. Человек чувствовал, что эта правда жестока, несправедлива, и хотел сдерживать ее «строгостью» справедливости. Худо ли, хорошо ли, а эта проповедь нравственных обязанностей человека к человеку проповедывалась и лежала в основании старой школы, когда люди жили звериным обычаем. Ничего практически-полезного, в смысле реализации этого учения о «божественном», в каком бы то ни было виде выгоды или удобства — эта школа не давала; напротив, она учила прямо необходимости в некоторых житейских отношениях нести убыток — подавать нищим, убогим, жертвовать на храм и т. д. А между тем такую школу народ считал за серьёзную, гораздо более серьёзную, чем теперешняя, где можно узнать массу чисто практически-полезных сведений об удобрении, навозе и т. д. Практической пользы в хозяйстве, в доходе, не могло быть ровно ни от какого чтения или заучивания псалтырь, например, псалтыря. Всякий знал, что из этих рыдалий псаломпевца «не сошьешь шубы», а долбили и плакали, и наказывали за неумение выдолбить, потому что видели нравственную необходимость глядеть на себя и на окружающих не с одной только точки зрения дремучего леса. «Божественное» знакоило с нравственными обязательствами и задачами человека. Худо ли, хорошо ли знакоило, а знакомство давало, по крайней мере, возможность знать, что это — что-то серьёзное, важное, хотя и не прибавляет в доходы ни копейки, а, напротив, убавляет.

Вот эту-то божескую правду народ и считал важною в старинной псалтырной и часословной школе. Теперь же, когда времена значительно изменились, когда нет татарина, Сарина, когда общественные и частные отношения в народной среде осложнились, облеклись в новые формы, — этой высшей точки зрения на окружающее и нет в современной

школе. Нет той науки о высшей правде, которая бы дала теперь человеку возможность сказать себе, что справедливо и что нет, что можно и что нельзя, что ведет к гибели, что спасает от нее. При осложненности современных отношений в народной среде, эта наука о высшей правде должна бы значительно раздвинуть пределы переработки эгоистического сердца в сердце всекорбящее, т. е. говоря проще, должна бы прямо, смело и широко касаться самых жгучих общественных вопросов, — тех самых вопросов, до которых додумалась и дошла человеческая всекорбящая мысль в ту самую минуту, которую мы переживаем. «Как! — воскликнет читатель: — вы хотите, чтобы в школе разговаривали о труде и капитале, хотите, чтобы так называемые общественные, проклятые вопросы были поставлены в школьном учении на должную высоту, чтобы все деревенские мальчишки рассуждали о пролетариате и т. д.?» А почему же нет? что это за запрещенный плод? Почему эти жгучие вопросы не могут быть поставлены прямо, широко, сделаться достоянием общественной мысли? На чем основано невозможно жестокое гонение всякой малейшей попытки показать народу ряд огромных общественных задач, которые к тому же решать так или иначе будет этот же самый народ?

Отчего «жгучие вопросы» должны быть недоступны этому крестьянскому юноше, который по выходе из школы будет и семьянином, и общественный деятель, гласный¹, судья, присяжный², или — пищик, вор, грабитель, убийца и т. д.?

Я решительно не понимаю и не могу придумать ни единого веского мотива, который бы хотя мало-мальски объяснил такое необузданное преследование разговоров об общественных вопросах в народной среде. Да не только в народ-

¹ Г л а с н ы й — выбранный в земское собрание или городскую думу.

² П р и с я ж н ы й — присягнувший на верность, исполняющий какие-нибудь общественные обязанности под присягой, например в составе суда и пр.

дой, а и в так называемом интеллигентном обществе вопрос о богатом и бедном, поставленный так прямо, как он поставлен, например, на картинке с богатым и бедным Лазарем¹, — и то почти невозможен без некоторого внутреннего страха за будущее того ребенка, который сумеет понять этот вопрос в существующих формах. Между тем, если бы мы имели практическую смелость наших пророков, которые, как мы знаем, брали для своего народа последнее слово того и с к л ю ч и т е л ь н о справедливого и хорошего, до чего дострадалась человеческая мысль, так мы именно не должны бы были бояться прямо, без всяких экивоков², смотреть в глаза тому положению, которое переживает человечество старше нас в настоящую минуту, безбоязненно отделять зло от добра и брать для нашего народа исключительно только последнее, не страшась того, что оно, быть может, и не придется никому по вкусу. Чтобы яснее было видно, что мы считаем злом и что добром, приведем следующие два примера.

Как известно, при открытии банка Бонту, его святейшество папа³ Лев XIII взял для поддержания репутации этого банка акций на 50 тысяч франков. Подержав их у себя некоторое время, святой отец почувял, что дела банка ненадежны, и поэтому, улучив удобную минуту, когда акции банка, купленные по 400 фр., достигли цены 2400 фр., продал их и таким образом ни за что ни про что положил к себе в стох 250 тысяч франков чистого барыша.

В тот же самый день и в том же самом номере газеты, в котором было напечатано это радостное известие, среди разных ежедневных мелочей, было рассказано такое происшествие: недалеко от Кенигсберга, в одной прусской деревне, крестьянка зарезала своих пятерых детей и сама хотела утопиться; но так как близ той деревни, где она жила, речка была мелкая, то она имела мужество перенести свое горе и отчаяние до Кенигсберга, на расстоянии 50 верст,

¹ Богатый и бедный Лазарь — сказание из религиозной книги «Библия».

² Экивоки — намеки.

³ Папа — глава западно-христианской церкви в Риме.

и там бросилась в глубокую реку. Ее вытащили, а когда привели в чувство и стали расспрашивать о причине ее жестокого поступка с детьми, ее отчаяния, то она сказала в свое оправдание (!), что она выбилась из сил на работе. Муж ее, изувеченный в последнюю славную франко-прусскую¹ войну, не мог работать. Вся тяжесть труда лежала на ней, и вот она, измучившись, выбившись из сил (буквально!), решила выйти из жизненных тисков таким рошительным и ужасным образом.

Вот, как нам кажется, самые характерные черты невидимых нами европейских порядков. Раз человеческое общество дожило до возможности иметь в своей среде такие крайности существования, как существование деревенской бабы, выбившейся из сил от работы для пасущего хлеба, и человека, который «заработал» в одно мгновение, не шевельнув пальцем, 250 000 фр., — раз существуют воззрения, вследствие которых поступок паны не считается предосудительным (наверно, множество людей скажут: «ловко, отче, сумел, во-время» и т. д.), а поступок женщины, доведенной до отчаяния, преступлением, — раз все это есть и раз все это связано между собой рядом каких-то, всеми признаваемых за неизбежное, оправдательных доводов, не трудно видеть, что общество это таит в глубине своей смертельную язву огромной неправды, что шаблонные оправдательные доводы — ложь, обман, то есть не трудно видеть ту неправду, которая видна из-за этой жи человеческих отпошений.

Теперь спрашивается: если мы знаем (а наше русское счастье и состоит в том, что все это мы можем и видеть и знать, не развращая себя развращающим опытом), — если мы знаем, что такие порядки в результате сулят несомненнейшую гибель обществу, их выработавшему (что мы тоже отлично знаем), то почему же у нас нехватает способности на ту простую практическую правду, которую обладали наши прародители, вводя христианство в созна-

¹ Франко-прусская война происходила в 1870 — 1871 гг. между Францией и Северо-германским союзом,

ние народных масс, чтоб открыто не признать этих порядков ложью, чтоб открыто не взяться за ту правду, до которой дострадалось человечество и которая видится из-за этой лжи? Хотим ли мы, чтобы такие же порядки развивались в массе нашего освобожденного народа? Хотим ли мы, чтоб он со свежим аппетитом возлюбил эти порядки? Если не хотим, то нам нечего бояться положить правду в основание народного образования, нечего бояться ввести в школы «строгость» в разработке проявления этой правды — дома, на улице, на сходке... И вот за эту-то науку, касающуюся строгости, то есть высшей правды среди новых, сложных общественных отношений, сложившихся в современной народной жизни, народ наш и был бы, несомненно, благодарен школе и сказал бы временно: «да, учат добру». А этого-то и нет! Есть все, кроме возможности говорить о высшей справедливости человеческих отношений. И вот в школе скучно и учителю и ученикам...

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой заключительной главе нашего очерка, оказавшись, как мы сами хорошо сознаем, весьма неладно скроенным и не вполне крепко сшитым, мы хотим, во-первых, сказать два слова в объяснение этой «неладности» очерка и во-вторых, договорить то, что в нем не было еще договорено. Желание отметить значение в народной жизни «земли», о которой крестьянин вопиет не только с экономической стороны, но и со стороны нравственной, т. е. показать, что земля нужна ему не только для того, чтобы быть лучше сытым (что тоже крайне бы желательно), но и для того, чтобы сохранить все свое мирозерцание, чтобы развить и укрепить на основании его свои семейные и общественные отношения, свою мысль, свое чувство и т. д., — это желание было возбуждено в нас теми многочисленными мероприятиями, направленными к улучшению и устройству народного благосостояния, о которых мы благодаря газетам, имеем целые десятки известий. Жадно интересуясь, в качестве деревенских жителей, всеми этими известиями

и радуясь, что «наконец» «что-то» «как будто», «в самом деле» затевается хорошее, мы в то же время, и тоже в качестве деревенских жителей, не можем не видеть, что общие мероприятия и обилие известий не блещут знанием народной действительности, не отделяют главное от третьестепенного. Мы зовем мещужного, разрабатывают вопросы несущественные, оставляя в стороне самые насущные, толкуют о строичах, когда не выстроены еще и стены, строят печку на том месте, где еще нет дома и т. д. С нашей деревенской точки зрения нам кажется, что если бы прежде всего, прежде вопросов о народном пьянстве, самоуправлении, «уездной проблеме», всеословной волости¹, был поставлен на очередь и хоть мало-малыски удовлетворительно разрешен земельный, то не было бы даже и надобности выдумывать такую укупорку бутылки водки, которая бы заставила пьяницу проюзиться над этою бутылкою год, прежде чем получила бы возможность добыть из нее одну рюмку, не было бы надобности в выдумках пятнадцативерстных расстояний от одного кабака до другого и других бесплодных, а иногда и смелых проектов². Нам кажется, что будь разрешен только этот главнейший, существеннейший вопрос народной жизни, вопрос благосостояния и нравственности, как немедленно же, будто свежим и сильным дыханием ветра, стало бы «относиться» и от кабаков, и от волостных судов, и от «общественных» помойных ям самоуправления тучи того смрада, который над ними навис и который гнетет их и давит. Смрад этот, который не дает ни дышать, ни думать и который, смеем уверить читателя, не будет разогнан никаким образом, если на него будут, как веслом, махать тем или другим замысло-

¹ «Всеословная волость» — низовая земская ячейка, вопрос организации которой тогда обсуждался.

² В одном из номеров «Сельского вестника» напечатано мнение о мерах против пьянства, принадлежащее перу какого-то крестьянина. Этот мудрец предложил такую меру: сделать кабаки без дверей на улицу. На улицу должно выходить крошечное окно в которое можно было бы просунуть бутылку. Примечание автора.

стым проектом, сам собой исчезнет, как дым рассеется в пространстве, «яко воск от лица огня»¹ растает от одного только добросовестного удовлетворения насущнейшей народной нужды и от добросовестного признания тех последствий, которые выльются в известные требования и произойдут после того, как главное будет удовлетворено.

Вот для того-то, чтобы показать, что земля главное не только по отношению к народному брюху, но и по отношению к народному духу, к народной мысли, ко всему складу народной жизни, мы и задумали написать небольшой очерк, который бы касался этого значения земли, по возможности сжато и кратко, чтобы тотчас же перейти к действительности и показать, до какой степени значение это не принимается во внимание, как оно исковеркано неразборчивыми и ничем не отражаемыми внешними влияниями. Но когда мне пришлось сосредоточиться на второй половине моей задачи, то есть показать значение земли, земледельческого труда и морали, заимствованной непосредственно от природы (благодаря этому труду), в области проявления народного духа, — задача моя вдруг приняла размеры неподобающие, огромные. Брак, семья, народная поэзия, суд, общественные заботы и т. д. и т. д., — словом все стороны народной жизни оказались проникнутыми этими влияниями и моралью труда земледельческого, во всем оказался его след, везде стала виднеться черта, начало которой — в поле, в лесу... Быть кратким не представлялось возможности. Быть пространным не было подготовки — вот и пришлось говорить обо всем попоэмпогу.

Говоря о многосложности возникшей предо мной задачи, я вовсе не хочу сказать этим, что народная жизнь и жизнь крестьянская представилась мне в виде чего-то совершенно особенного от жизни остального человечества, что «крестьянство» — это каста², не имеющая ничего общего

¹ «Яко воск от лица огня» — церковно-славянское слова из церковной книги «Псалтирь».

² Каста — замкнутая, общественно-родовая группа, принадлежность к которой создавалась лишь рождением.

с остальным человечеством. Вовсе нет. Крестьянин — такой же человек, как и все; по все его общечеловеческие потребности, желания и нужды удовлетворятся своеобразно, на свой образец — удовлетворяются из известного источника, имеют известный цвет, вид и форму и все это благодаря главной черте, лежащей в основе его существования, именно земледельческому труду. Никто не ходит голый, все носят платье для того, чтобы не было холодно и чтобы не было срамно, но не все носят одинаковый костюм. Жизнь и труд крестьянина требуют не непременно такого костюма, который он носит; он непременно будет пахать в лаптях или босиком, потому что должен это делать. У него есть превосходные смазные сапоги с бураками, но земля и труд на ней требуют, чтоб он, отираваясь в поле, разулся и надел лапти. Если через миллион лет уцелеет на свете тот же самый плуг, тот же род труда, та же добыча хлеба, то крестьянин того времени все-таки пойдет в поле «разумши» и в одних худеньких штанишках... С другой стороны, я также хорошо понимаю великосветского франта, почему он не является в лаптях и армяке к английскому посланнику на бал. (А вот чиновника, который, как слышно, хочет надеть на себя мужицкий армяк, и, пожалуй, лапти, — я понять не в состоянии.) Таким образом, как видите, одна и та же потребность в одежде удовлетворяется в разных формах,сообразно особенностям жизненной обстановки. Вот эти-то особенности в удовлетворении общечеловеческих потребностей крестьянина и отличают его от остальных пород человеческих (чиновник, купец, поп, барин и т. д.). Все они — люди, все они имеют одни и те же потребности, но не одинаково их удовлетворяют; потребности — те же, но не те же формы, порядок и размер удовлетворения.

Вот эти-то особенности форм, порядка и размеров удовлетворения общечеловеческих потребностей нам и желательно выяснить в народной среде с точки зрения главной основы всего строя народной жизни, с точки зрения власти над крестьянином земли. И дело оказалось в высшей степени многосложным и трудным. С точки зрения «власти

земли» одни только отношения мужчин и женщины друг к другу в семье потребовали бы долговременной разработки и усиленного труда. Чтобы показать на незначительном примере, до какой степени любопытны изменения и перестановки в удовлетворении одних и тех же человеческих потребностей в среде крестьянской и в среде не-крестьянской, приведем следующий пример. Кому не известно существование в среде столичного и вообще не-деревенского общества типа, известного под именем «мышинного жеребчика»? С другой стороны, также все знают, что и в деревне существовал, а по глухим деревням существует и ныне тип «снохача». Повидимому, эти типы весьма похожи друг на друга. Мышинный жеребчик и снохач, во-первых, оба старики, и, во-вторых, оба пристают к молодым женщинам. Оба они — развратники, дело видимое. Побуждения их одни и те же и удовлетворяют их они одним и тем же способом, т. е. пристают к молодым девушкам и женщинам. Но посмотрите на условия жизни одного и другого, и вы увидите, что в обоих, повидимому, одинаковых явлениях все то же, а вместе с тем все не то. Что такое мышинный жеребчик, какова его биография? Волею судеб, мышинный жеребчик — человек, принадлежащий к привилегированному сословию, человек обеспеченный. Хороший корм, нетрудная жизнь сделала то, что он созрел рано и уже в шестнадцать-семнадцать лет начал срывать цветы удовольствия; по мере того, как он рос, и цветы удовольствия разнообразились. Срывались они и в Петербурге, и в Париже, и в Вене и т. д. Таким образом, чем более подвигался ты, имеющий преобразиться в жеребчика, к старости, тем более он истощался, изнашивался, превращался в тряпку. Достигнув 50-летнего возраста, он уже совершенная развалина; ему надо румяниться, носить корсет; ему уже ничего не остается, как заняться «накопец» делами, заняться «шест», сочинять проекты об «оздоровлении корпей», отдышка от трудов в грезах и затеях испорченной фантазии. Он развратен, у него мысли развратные, он в самом деле развратитель... Что же такое снохач? Какова его биография? Прежде всего, в качестве крестьянина, ребенка крестьян-

ской семьи, он стал думать о деле не в пятьдесят лет, а в пять, много — восемь лет. Пяти лет он играючи загонял кур, в восемь лет он играючи приносил дрова, за десять верст бегал как ни в чем не бывало к отцу в поле, в лес, а с десяти лет уже стал помогать подержать лошадь, распрячь, сбегать за пять верст в поле «обратать» буланку. Таким образом в то время, когда физические силы будущего жеребчика шли на срывание цветов, силы будущего снохача шли на труд, тратились на работу — сначала в работу играючи, а потом и в настоящую — и чем дальше, тем больше. Юношеский организм жеребчика истощался, юношеский организм крестьянина, напротив, укреплялся. Работа требовала только деятельности организма; она поглощала те четыре фунта хлеба, которые он стал съедать в течение суток, когда только начал работать в настоящую, а настоящим работником он уже, наверное, был в пятнадцать лет. Он рос, а перед ним только расширялся круг труда, круг заботы: в шестнадцать лет у него заботы было уже вдвое более, чем в пятнадцать; в восемнадцать он уже — ради заботы о хозяйстве, ради того, что круг работ хозяйственных расширялся, что стал ему не под силу — женился, но женился не для цветов удовольствия, — а для того, чтобы приобрести бабью силу опять тоже для труда (вот в это время он, пожалуй, был похож на развратлика). Дети еще более озаботили его. Легли на его плечи новым бременем. Размеры физического труда еще более расширились, и если он не свалился, то потому, что организм его могуч и крепок... К двадцати пяти годам у него уже свои дети, которые тоже начинают играючи загонять кур, носить дрова, бегать с поводом за лошадьми, и ему начинает становиться легче. Ребята подрастают, а вместе с тем у родителя сокращается его трудовой день, ему уже есть время «покалякать» на улице, а года два тому назад ему калякать не было времени. У него растут свои работники и с каждым днем ему легче и легче. Устоявший в борьбе с таким многосложным трудом, как земледелие, организм его пачинает жить на себя. Из четырех фунтов хлеба, которые ест крестьянин, не все уже тра-

тятся в труд, а остается и на себя, на свое удовольствие и благополучие. К тридцати годам будущий мышинный жеребчик уже все испытал, уже истощен, уже скучает, тогда как крестьянин, отбившись от тяжелых трудов, развил и укрепив свой организм, только-только начинает входить в силу, и чем дальше от тридцати лет, тем больше у него досуга, тем меньше труда и тем больше возможности мужать, расцветать, жить. Мышинный жеребчик чем ближе к старости, тем слабее и серьезней (о делах думает, об оздоровлении корней), крестьянин же чем ближе к тем годам, которые для жеребчика уже старость, тем ближе к расцвету; как дуб, чем старше, тем крепче и развесистей, так и крестьянин, одолевший тридцатилетнюю трудовую борьбу и тяготу, тем веселее, юнее, здоровее, разговорчивее, чем тяготы этой меньше, тем больше досугу, сна и т. д. Таким образом к пятидесяти годам крестьянин, сумевший выйти здоровым и невредимым из-под гнета непрерывного труда, непрерывной заботы, непрерывного обременения мысли расчетом, оказывается не только не сморчком, как мышинный жеребчик, а человеком вполне цветущим, сильным, крепким, как дуб, а главное — при этих-то условиях получает, благодаря подрастающему поколению своих детей, возможность жить на себя и для себя, а не для труда и хозяйства. Параллель между мышинным жеребчиком и снохачом будет таким образом следующая: человек, имеющий быть мышинным жеребчиком, начинает влюбляться и срывать цветы удовольствия с самых ранних лет, постепенно дряхлеет и, утрачивая способность любить, суживает свои помыслы относительно женщины до самых мелких побуждений чувственности. Крестьянин, имеющий быть снохачом, напротив, с самым узким своекорыстием сходилась с женщиною в юности, сходилась ради тоже удовольствия облегчить свой труд и также большею частью без любви: ежедневный труд, после которого он спал, как зарезанный, который потреблял огромную массу его сил и иногда (как мы увидим ниже) прямо требовал в хозяйственных целях воздержания и целомудрия. и вместе с тем — те же требования того же воздержания со сторо-

ны, так сказать, церковных порядков (что мы тоже увидим ниже), — требования, весьма часто совпадающие с требованиями успешности труда, — все это не давало человеку тратиться, истощаться и изнашивать чувство, но, напротив, как бы замораживало, оставляло его неприкосновенным вплоть до минуты облегчения труда, отдыха и процветания... Своекорыстный расчет по отношению к женщине — участь жеребчиков в старости — пережит крестьянском в юности.

В огромном большинстве случаев он сходился с женой не по любви, а ради личного удобства. В настоящее время в деревнях, как, вероятно, известно читателю, распространены обычаи выходить замуж и брать жен уходом. Часа в два зимней, молчаливой ночи по селу или деревне несутся сани, а в них мужчина и женщина. Если вы спросите, что это такое? — вам ответят: «Нарезь девушку увез с посылками». Лошадь он добыл самую лучшую, промчался стрелой... Но не всегда в таких романтических приключениях главную роль играет искренняя любовь мужчины. Во-первых, большинство свадеб «уходом» или «увозом» совершается для того, чтобы избежать свадебных расходов, которые по малой мере обошлись бы рублем в 60. Родители обыкновенно знают, когда и с кем уедет их дочь, знают это и жених, и невеста, и родители жениха. Делается это для того, чтобы дать родителям право (и то только для формы) сказать: «коли ушла без спроса, так и нет тебе ничего». Но, кроме этого, и жених большей частью не бескорыстен — берет он жену без приданого не всегда исключительно по любви, а частенько и из расчета. «Помилуйте, — говорил мне один из таких молодых супругов: — посылал-посылал из Петербурга отцу деньги, а теперича приехал, ни зерна в доме нет — все пропил. Думаю, бог с вами совсем, хоть вы и родители... Взял жену, по краиности будет кому деньги беречь. Поплешь — уж, надеюсь, не размотает... Все свой человек...» Вот очень частенько из таких-то побуждений и совершаются браки крестьянами в самых молодых годах. Из десяти браков прошлой зимы никак не менее половины сделаны именно

но имя самого сухого расчета. Парень женится, «привяжет к себе» жену, поживет неделю — и в Петербург. Едет в спокойном состоянии духа: «привязал» — и «будет кому деньги посылать»... До святой он уж не будет дома, постом — «пост», «мы чтим закон», и т. д., а после святой опять уйдет до осени, потом — «дачи начинаются», «торгуем по дачам, зелень, фрукты.. да и жене много работы и поле, в огороде... Не до этого, помилуйте!» Осенью придет, принесет денег, опять недельку поживет — и опять пост, опять невозможно: «закон», надо в Питер, «зима, торговля...» «уж, опять, стало-быть, до мясоеда»...

Итак, «одно и то же» в жизни будущего жеребчика и снохача расположено и пережито не так и не в одинаковом порядке. У одного расцвет по части цветов удовольствия в юности, у другого — в старости; один, приближаясь к старости, тощав, изнашивается; другой в эти же годы только-что входит во вкус жизни, а постылся он в самом раннем возрасте. У одного чувство мертвеет и сохнет по мере одряхления, а у другого оно сохло и черствело, даже прямо находилось в замерзшем состоянии в ранней юности. В такой разнице вы не можете не видеть влияния труда, в условиях которого живет крестьянин. Почему же это пробудившееся чувство не обращается на жену, а на постороннее лицо? — Да потому, что жена, как и всякая деревенская женщина, уже старуха к этому времени. Она была взята как работница, она рожала, нянчила, варила, стряпала. Женский труд в крестьянской семье и хозяйстве ужасен, истинно ужасен. Глубокого уважения достойна всякая крестьянская женщина, потому что эпитет «мученица», право, не преувеличение по отношению почти ко всякой крестьянской женщине. Есть бабы глупые и бабы умные, но добрых и мучениц несравненно более.

Снохач скверен тем, что жертвы для своего баловства подбирает тут же, в своей семье. Не это происходит потому, что во-первых, бабы эти — с в о и (экономия) и во-вторых, потому, что и другим обывателям также нужны с в о и бабы и что девушки нужны парням для работы, а вовсе не для потехи стариков. Старики поэтому соединили воеди-

но и рабочую силу женщины и потеху. Экопомня тоже!.. В настоящее время, когда земледельческие порядки более или менее расстроены, когда иной раз парню польза жениться, потому что и одному «не с чем взяться» и «не у чего быть», стало много холостых мужчин и женщин. Крепким старикам, расцветающим годам к 50-ти, всегда можно поэтому найти девушку, которую «не возьмут», за которой не погорят (в былое время и барин бы из расчета продал какую-нибудь девку или же из того же расчета прикупил бы где-нибудь дешевого мужчину и женил его на лишней бесприютной девке, приобретя себе таким образом новое тягло и плательщика). Вот почему теперь встречаются очень часто такие влюбленные пары. Старик живет с молодой девушкой, какой-нибудь сиротой. Не зачем ему теперь быть спохачом. Теперь он может делать это открыто.

Недавно жена одного из таких влюбленных стариков, как дуб расцветних годам к пятидесяти, пригласила колдуна с тем, чтоб он отворожил ее мужа от его возлюбленной. Колдун взялся сделать дело за пять рублей, но прежде всего пожелал видеть эту возлюбленную. Сделано было так, что эта девушка, не зная, что на нее смотрят, должна была пройти с подругами мимо того дома, где сидели колдун и жена влюбленного старика. Девушка прошла мимо, колдун поглядел на нее, увидел, что она в самом деле красива, подумал и сказал:

— Пет, сударушка, не могу я тебе службы сослужить!.. Пет, не могу отворожить!

— А уж мне тебя хвалили-хвалили! — обиженно сказала обиженная жена. — Стало-быть, только языком болтать умеешь...

Чтобы сохранить за собой авторитет и репутацию колдуна и не обидеть несчастной женщины, сказав ей прямо что соперница ее приворожила к себе мужа красотой, опытный и хитрый мужик не обиделся словами своей заказчицы а подумал и, покачав головой, сказал со вздохом:

— Не могу, не могу, сударыня... Ведь это я сам твоего мужа-то и привораживал к ней! Вот беда-то! Ведь она (любовница) пришла ко мне, назвалась его женой — «приво-

рожи», говорит. Я едуру-то и присмолил его к этой псовке на веки-веков. Теперича не то что пять рублей, а давай ты мне миллион, так и те я отодрать его не в силах — вот ведь какая оказия-то!

Возвращаясь к речи о том, как многосложна работа изучения семейных порядков крестьянского дома, я должен повторить уже сказанное выше, что порядки эти, находясь в зависимости от требований и влияния земледельческого труда, осложнены еще требованиями и влияниями церковными, которых я никак не смешиваю с влияниями «народной интеллигенции» (о пей говорю выше), наиболее всего олицетворяющейся типами также с религиозным отлетком.

Церковные требования и церковные влияния также, как мне кажется, весьма много значат в крестьянской жизни, даже в отношении правильности обихода; мясоеды, посты иногда как будто (утвердительно я не могу говорить, потому что не знаю наверное и мало об этом думал) подходят к условиям земледельческого труда и как будто помогают тому, чтобы человек не вредил труду.

Повторяю: я ничего не могу сказать на этот счет обстоятельного, но знаю, что, например, обилие свадеб в так называемый рождественский мясоед, т. е. между рождеством и масленой, не вредит земледельческим работам, потому что бабы будут рожать осенью, после работ... Кажется, что огромный «великий пост», как будто нарочно поставленный перед весенними месяцами и отодвигающий свадьбы к апрелю и маю, также не вредит работам: бабы опять будут рожать зимой. Наконец посты осенние, тоже довольно длинные и притом поставленные в такое время, когда народ отработался и когда он может жить «на себя», тоже как будто не лишние в целях хозяйственных... Посмотрите, в самом деле: положим, брак состоялся в рождественский мясоед, ребенок родился осенью после уборки хлеба, тогда крестьянину можно бы и отдохнуть, но тут, во-первых, баба поправляется и, во-вторых, один за другим два поста — усупенский и рождественский, так что опять — «до

рождественского мясоеда», и, стало-быть, опять баба свободна в рабочую пору. Конечно, в нынешнее время, говоря языком стариков, — «воля»; но что, например, посты влияют на семейные отношения, это, судя по разговорам тех же стариков, не подлежит сомнению. Я помню, как один публичный старик критиковал недостатки приходского священника.

— Тоже иерей! — иронически говорил он. — Поглядеть на него — свят! Выйдет с проповедью — сладкоглас, больше ничего. А вместо того оказалось, что на словах-то он хоть и апостол, а на деле-то кобель пестрый.

— Как же оказался?

— А так. Пошли на крещение воду святить, гляжу я, что мой батя не в себе? Рвет и мочет, комкает, бормочет, спешит сломя голову. Кое-как свертел молебеп, бегом домой. Что, мол, такое у него? Ан, оказывается, жена рожала, — стало-быть, в самое крещение... Ну, как узнал я это, тут я и подумал: нечего сказать, похож на апостола. До таких делов даже и мужик пьяный себе не позволит... Родила в крещение... Есть ли тут совесть в человеке?

Ровно ничего не понимая, я с изумлением спросил:

— Да что же тут такого? Как же не родить?.. Что за беда?

— А вот такая беда: ежели на крещение кончился девятый месяц, так сочти-ка-сь на пальцах, когда первый-то был? Считай-ка назад девять-то месяцев. Ап и окажется — апрель? А в апреле-то что? — Пост великий!.. Ну где же тут совесть? Да, окромя того, как разобрали наши бабы это дело, как подвели число под число, день ко дню — хватъ, и выпло чистый четверг. А считаются учителя!.. Выйдет с проповедью — и то и другое, абие, абие¹, думаешь, невесть что... А тут вот как!.. Я уж тогда, признаться, сделал ему вопросик. Встретился, поздравил с поворожленным, да и говорю: «Что, мол, отче, никак у вас с матушкой по календарю ошибочка выпла?..» Попял, ускользнул от меня, в калитку, яко дым.. Да и матушке тоже я упомянул. Сго-

¹ А б и е — церковно-славянское слово — тотчас же...

рела со стыда!.. Вот они какие законники! «Братие, абие!» а на деле-то и вышло абие — бабие!..

Извиняюсь перед читателем в не совсем скромном содержании приведенного разговора. Привести мне его было необходимо ввиду того, что он очень «подходит» к вопросу, о котором идет речь. Насколько церковные влияния совпадают с влияниями хозяйственными и земледельческими в условиях, регулирующих семейные отношения крестьянина, я не могу сказать положительно, так как не имею нужных сведений. Я знаю только одно, что какое-то влияние церковные порядки имеют на семью, и не могу не догадываться, что иногда влияния эти могут совпадать с влияниями на те же семейные отношения условий труда. Что же касается собственно этих последних земледельческих влияний и требований, то они также несомненны, но также требуют разработки.

Существование в крестьянском быту желания сохра-
жить женщину для возможно большего количества рабочих дней, — желания, чтобы «баба» в трудную рабочую пору «страды» была здорова, не лежала в родах, и не была бр-
зата — несомненно.

Так пазываемые женские болезни терзают огромное большинство деревенских женщин. Кому раньше стала известна «спорынья»¹ — докторам или деревенским женщинам — я не знаю, но знаю, что она играет в жизни огромного большинства крестьянок весьма значительную роль. Несколько лет тому назад мне пришлось написать рассказ, где есть черты, касающиеся тех сторон крестьянской жизни, о которых мы теперь говорим. Позволю себе привести его здесь, как отдельную вставку, а так как в рассказе этом, помимо тех черт, которые непосредственно касаются обсуждаемого нами вопроса, есть множество других черт, вовсе не касающихся данного вопроса, то мы и поместим его, как совершенно самостоятельный отрывок.

¹ Спорынья — уродливое черное зерно во ржи, для питания вредное, но употребляемое как лекарственное средство.

...Всякий раз, когда мне приходится встречаться и говорить с крестьянином Гаврилой Волковым, мне почему-то непременно приходит в голову такая мысль: «Не дай бог дожить до того времени, когда этот Гаврила даст волю той скрытой покуда в душе его злости и недовольству, которые теперь выражаются только в сухом, постоянно жестком выражении глаз и губ и в тоне его голоса. Дай он волю тому, что у него скрыто в глубине души, — и это скрытое немедленно олицетворится в виде могучего, ожесточенного и беспощадного верзилы с огромной дубиной, поднятой над всем светом, без разбора». Человек этот, могучий физически, несомненно наделен сильной умственной энергией; но то переходное время, которое мы переживаем, благодаря тому, что переживание это тянется неумеренно долго, и тому, что, несмотря на неумеренную длинноту, оно, как на грех, не дало никакой солидной пищи общественному уму, так как именно умственная-то жизнь за весь этот томительный период времени всего более встречала неожиданностей, неожиданных препятствий в своем развитии, — благодаря этому ум Гаврилы только расстроен, расшатан: разлакомлен надеждами, слухами и разочарован в них другими, противоположными этим надеждам и слухам, явлениями и тоже слухам. «Деньги» — вот самое в е р н о е среди продолжительнейшей сумятицы и толкучки противоречивых, а главное — почти всегда неопределенных явлений жизни, которые эта жизнь давала ему. Ему теперь около сорока лет.

В ранней юности он жил при крепостных порядках, но уже носился слух, что их не будет...

Слухи росли, росли и ожидания. Слабела напряженность в труде и убеждение в ее необходимости: ведь все это кончится, будет новое, разумеется, лучшее... Кончилось... Барин заложил имение в банк и уехал. Очевидно, кончается прошлое. Барский дом стоит пустой. А труд стал тяжелее прежнего, земля меньше, расходов больше. Понадобился посторонний заработок. В доме при жизни крутого отца-

хозяйина между тем шел старый порядок, царил деспотизм¹ отца. Отец отбирал деньги, зарабатываемые братьями. Один зарабатывал больше, другой — меньше, зарабатывали на разном, а жили под властью отца равно; это тоже как будто хуже прежнего — прежде работали одно... Не оказывалось толку от того, что барин уехал и дом его запустел; но оказывалось толку и от усиленных трудов на стороне — их поедали другие, пенужным оказывался отцовский деспотизм во имя того, чтобы держать крестьянство. Богатеть «от крестьянства» вышло из моды — стало входить в моду богатство от «оборота», от денег... Это богатство, богатство кулацкое, может ни сеять, ни жать, а оборачиваться капиталом и жить припеваючи. Это — новый тип достатка. И вот у Гаврилы новый червь точит душу: у него столько семья переела заработков, что он, ежели бы пускал их в оборот, давно бы был такой же почетный член деревни и жил бы в таком же достатке, как и вот этот Черемухин, который пачал обороты с медною алтына. А семейный деспотизм давит, и все без толку: с крестьянством, с овсом и сеном, с пашней не угнаться за Черемухиным, а семейный деспотизм не уменьшается, а растет, потому что растут платежи, растет количество требующихся денег, растет необходимость труда, чтобы не растратиться, иначе Черемухин слопают... Все, что ни переживал Гаврила, все только раздражало: ждали воли, думали, будет лучше, а стало хуже, трудней... По-настоящему, отец должен бы был его отпустить, дать ему жить своим умом, на свой заработок, а он не только не пускает, но гнетет все сильнее и сильнее — боится расстройтва. Несмотря на усиленные труды, расстройтво это в то же время оказывается возможным каждую минуту. Околей лошадь — кляло кланяться Черемухину, а тот в руки заберет, опять худо. А вот Черемухин и в руки может забрать, и гнетет над ним нет, и труда адского нет, и нужды не знает. Что такое? Где источник этой почему-то бесплодно-труд-

¹ Деспотизм — беспредельное властвование, злоупотребление властью.

ной жизни, нисколько не увеличивающей ни благосостояния, ни свободы?.. Иногда Гаврила и другие его братья каждый по одиночке пробовали-было протестовать против отцовского деспотизма, но оказывалось, что деспотизм этот сплен и можно за него сыновей драть. Зло накапливалось на душе Гаврилы: зло на отца, на труд, на платежи, на Черемухина, зависть к легкой наживе, гнев на малоземелье, на всевозможные хозяйственные платежи... Работай, плати, а ни себе, ни всему дому толку не видно. Одно только понял Гаврила хорошо и ясно, — это то, что деньги — и выход и решение вопроса о всех затруднениях. И стало-быть, только бы их добыть... С деньгами можно никого знать не хотеть, купить, выкупить, продать и опять купить.

Наконец умер деспот-родитель. Гаврила немедленно отделился с семьей Надежда на земледельческий труд у него была потеряна и подорвана, а приходилось именно жить этим трудом и притом уже одному, то есть опуститься под гнетом страшного труда, и зачем? — чтобы только перебиваться со дня на день... А Гаврила привык знать, что он принадлежит к богатой семье. Он вырос в семье, которая когда-то богатели только трудом рук своих, считалась богачами между тружениками, а теперь богачами стали Черемухины, а он из богачей попал в нищие — круглый год в грязи, в нужде, в работе без отдыха, без толку и без конца...

Жажда «выбраться», «выбиться» сосредоточила все его помыслы и помыслы его жены, тоже энергической, суровой женщины, на деньгах. Всякими способами добывать деньги, а там будет видно... Всякое «шерамыжничество» было для Гаврилы только способом. Вот Черемухин прессует сено и везет в Питер, наживает деньги. Рассказывают, что там в тюках и гнилое плет за хорошее — где там видеть, что внутри тюка, — и Гаврила сейчас же перенимает, платит за прессовку и начинает эксплуатировать именно «гнилье». Он разыскивает места, успевает привезти два-три воза хороших, потом вдруг сбывает массу гнилья и исчезает... Такие вещи он успешно повторяет с двумя-тремя разными лицами и в разных местах Петербурга... Вот у него и день-

жонки есть, маленькие, «чуть-чуть». Но вдруг его накрывают с этим сеном в Петербурге, волокут в часть, составляют протокол, мызгают по судам. Он врет, лжет; но все-таки сидит в темной, остается без сена и без денег. Мошенничество не только не увенчалось успехом, но и пошло прахом. Между тем он знает и по опыту других, и по личному опыту, что оно увенчивается иногда успехом. Разозленный неудачей, он, с энергией усиленного ожесточения за обиду и пропажу денег, вновь принимается за измышление и тоже шерамыжничает. Он пристально слушает, за что дают деньги, как их добывают... Петербургские события вносят в народную массу множество неясных и раздражающих слухов... Вот однажды идет Гаврила по казенному лесу с ружьем, видит — едет какой-то барин тоже с ружьем, а в тележке утка валяется убитая. Моментально все, что было неясного и злобного в душе и голове Гаврилы, сосредоточилось в зверском желании «поймать барина и представить»... «Ведь это — господа все... Награда... В казенном лесу... За начальство.. Отлично — награда». И Гаврила, несмотря на то, что он был такой же посторонний казенному интересу человек, как и тот барин, который ему встретился, напал на него, как разбойник, отнял ружье, утку, забрался на козлы и, взяв божки в свои руки, примчал его в деревню... «Без билета, в казенном лесу! Просвидетельствуйте! Барина поймал!» — орал он на всю деревню, с явным желанием наделать шуму и сраму... Барин бросил все и едва уехал. А Гаврила, вместе с другим мужиком, караульщиком казенного леса, помчался в лесную контору. Он гнать лошадь не жалел, торговался с лесником насчет награды, но пуще всего был чему-то рад: рад тому, что «схватил», «отнял», «представил»... Скоро оба они предстали пред лесничим, который, выслушав восторженное донесение Гаврилы, сказал: «Я посоветую барину, чтобы он предал тебя, дурака, за самоуправство уголовному суду! . Вон, разбойник!» А леснику сказал: «Лови мужиков, когда они лес воруют, а не господ, когда они уток стреляют. Мужиков, по крайней мере, сечь можно, а что я возьму за утку? Что ж, я из-за утки-то врага,

что-ль, буду наживать?.. Дурак!» Гаврилу точно притянули к суду, но барин помиловал его, и он еще кланялся барину, прося прощения, тогда как внутри его клокотала злость и па барина, и на начальство, и на свою глупость. «Нет, — решил он уж давно в глубине своей души, — грабить надо, больше ничего...» И эта жадность, алчность к овладению чем-то... чужим, разумеется, а главным образом — деньгами, стали расти в нем с удвительной быстротой и упорством. А рядом с этими побуждениями алчности, как это ни странно покажется читателю, в Гавриле и в его жене, которая понимала мужа с одного взгляда, стал в той же мере развиваться какой-то аскетизм¹ скупости... Копейки не тратилось на чай и сахар, ни одной папироски не выкурил Гаврила, ни одной рюмки вина не выпил с тех пор, как вырвался он из дому и отделился. Ни с кем и ни одного слова Гаврила не скажет без того, чтобы не рассчитывать на какую-нибудь выгоду. Если он зашел к вам, то уж так или иначе, будьте уверены, он заставит вас дать ему деньги. Именно заставит вас покориться тому, что он вас непременно падует.. Он не просидит лишней секунды без толку; в случае крайней неудачи он выщеп три самовара, просидит пять часов молча и уж непременно что-нибудь тем или другим образом получит или добьется чего-нибудь от своего посещения. Без дела он вас не знает и даже не узнает. Глядя на это злое лицо, на эти жесткие глаза, при которых потуги улыбнуться «по-крестьянски» только трогали вас больше, чем это лицо и глаза, чуеть, что какая-то недобрая сила гнездится в этой душе, и кажется, что темная ночь, глухой безлюдный переулоч, пьяный седок с деньгами и удар шкворнем по голове — не раз мелькали в этой энергической и темной голове, как дело «настоящее» и как решение вопроса. Питая в себе такие идеи и плапы, Гаврила все-таки принужден заппматься «крестьянством»; работает он шибко, хотя и мрачно. Маленьких детей у него трое.

¹ Аскетизм — изнурение плоти, урезывание потребностей.

Таков Гаврила теперь, в пастоящую минуту, когда он уже прошел огонь, воду, медные трубы и «чугунные повороты» всевозможных расстройств труда и духа, которые сделали и в деревне модным хищническое направление жизни и мысли. В то же время, к которому относится наш рассказ, Гаврила еще не уверовал так бесповоротно в высокое значение проходимства, а только чувал, что оно — главное; сам же скрепился на жадности, на расчете, на скупости. Каждый кусок сахара, каждая охапка сена, каждое полено, щепка — все употреблялось с аптекарской точностью; он знал, что может дать ему его труд и земля, знал вперед на целый год, что ему придется есть и пить, знал, как и на что будут употреблены деньги, полученные им за телку, которая еще не появлялась на свет, даже не думала появляться...

Вот в такую-то минуту, «рассчитав» все свои средства, однажды после уборки хлеба, Гаврила увидел, что к будущей весне ему «нехватит» столько-то и столько-то, и что недостающее необходимо где-нибудь и как-нибудь выработать.

Он решился идти в извозчики в Петербург. Сначала он надеялся работать просто с своей деревенскою телегой, перевозить с дач господ и заработать к зиме сани; рождество, масленица, казалось ему, выручат его к весне. Он решил ехать и стал собираться. Необходимо сказать, что уже после того, как Гаврила с женой отделились, условия труда стали накладывать на них разные обязательства, во имя которых требовалось все больше и больше, как мы видели, необходимости расчета и скупости; вот в это-то время они — и Гаврила и его жена — порешили не иметь детей до поры до времени. Жена Гаврилы, о которой необходимо сказать подробно, была энергичная, страстная женщина. Она была красива, статна, но после раздела, поняв трудность положения и всегда с одного взгляда понимая планы и намерения мужа, всю свою энергию и всю свою страстность сосредоточила на том же, на чем сосредоточился и муж: выбиться, догнать и перегнать всех, кто давит и стремится повредить ближнему, закаба-

ляя его во имя нужды. Ввиду этого скупость и расчетливость мужа достигли в жене высшей степени развития: он был строг и расчетлив, а она стала расчетливее в сотни раз более и в сотни раз скупее. Решение не иметь детей иссушило ее: она стала худа, суха, молчалива, — но муж видел, что она понимает необходимость решения и относится к нему в миллион раз расчетливее, чем он. Между ними устало установились какие-то молчаливые отношения. Они много молчали друг с другом, по друг друга отлично понимали, затаив одни и те же мысли.

Перед отъездом в Петербург Гаврила, несмотря на свою сухость душевную, почувствовал, что ему «жалко» оставлять семью, жену... Накануне дня отъезда (он собрался выезжать ночью) он так «соскучился», что, лежа на полатах, не выдержал тоскливого чувства и робко шепнул жёпе, хлопотавицей под полатами с ребятами и другой мелкой домашней работой: «Авдотья, подь-ка сюда!».. По Авдотья, хоть и слышала эти слова, не показала вида; она только громче застучала какой-то посудой, громче заговорила с ребятами, громко хлопнула дверью, выходя в сени, и долго не возвращалась. Возвратившись, она легла спать с детьми, не дав мужу никакого ответа, и притворилась, что крепко заснула. Да и муж успел уже «очувствоваться» и не повторил приглашения. Он уже успел «высчитать», что чувствительность его могла бы сильно повредить расчетам. Во-первых, получился бы лишний рот, который отнял бы Авдотью от работы, и когда?.. И это он высчитал: оказалось — в сепокос...

В два часа ночи Гаврила встал, запряг лошадь и сказал жене:

— Ну, так, значит, отписывай, коли что...

Жена ответила:

— Ладно... Отписывай, всё ли благополучно.

Заперла ворота и принялась за дело.

По приезде в Петербург Гаврила неожиданно узнал, что ему не зачем выработать городского экипажа, что такие экипажи отдаются хозяевами извозчицких дворов на прокат, от 50 коп. до 1 рубля в день, и что он, следовательно,

может сейчас же сделаться самым настоящим извозчиком. Деревенская лошадь и костюм извозчиный, который он мог, сообразно со средствами, приобрести только самый плохой, обзывали его быть почным извозчиком, а не дневным. Это обстоятельство познакомило его с свойствами пьяной, темной петербургской ночи и, как кажется, положило начало любви к темным ночам и глухим переулкам. Петербургская осенняя или зимняя почь, этот конец дневной вытижки лганья и вранья, — это время «воли», которым пользуется подтянутый в течение дня Петербург для того, чтобы люди не видали под покровом ночи, каков он «неподтянутый», и как много скрыто всякого смрада в глубине этой выдержки и вытижки, — этот ночной Петербург окончательно уронил во мнении Гаврилы «господ», положив в его душе начало наглой бесцеремонности. Не раз пьяные «господа» с барышнями по ошибке давали ему десятирублевую бумажку вместо рублевой, и он привык не стыдиться и не упуская случая попросить «еще» на водочку. Пользуясь почной темнотой, не раз надували и его, и он старался наверстывать тем же. В общем, дела Гаврилы шли хорошо: он не ожидал даже таких барышей. И вот однажды вез он «из клуба» каких-то двух седоков, барина и барыню. Они, видимо, подгуляли, были веселы, кричали оба: «Извозчик, пошел, погодай, прибавим!» — и подъехали они к какому-то подъезду, соскочили опретью (кажется, эта была гостиница) и ушли... Оглянулся Гаврила, а на сиденье дрожек муфта¹. Был октябрь в начале, и холода, иногда со снегом и морозом, одевали петербургских жителей в теплые платья. Недолго думая, Гаврила припрятал мягкую муфту за пазуху и погнал лошадь от подъезда. Возвратившись на квартиру часу в пятом утра и распрягая лошадь, он при свете фонаря вытащил из-за пазухи находку и стал ее рассматривать: муфта оказалась повешья и, должно быть, дорогая — таких мехов Гаврила не видывал. Но, кроме самой муфты, внутри ее нашлось маленькое портмоне, которое Гаврила едва мог открыть, употребляя на это поч-

¹ М у ф т а — принадлежность зимнего дамского костюма, меховой шарфика.

ти лошадиную силу, и в котором оказалось денег более сорока рублей. Да и портмоне-то, кажется, серебряное. Находка была, очевидно, большая, ценная. Но что с пей делать? Показать на квартире? Скажут: представь в полицию. Продать? Скажут: украй, — и как бы совсем не отобрали. Он спрятал ее под половицу в сарае, подняв ее и выцарапав руками яму. Яму он засыпал снегом, и, несмотря на то, что никому не пришло бы в голову, что под половицей что-то есть, он не спал всю ночь. Всю ночь он думал, как быть, и наконец решил запрячь лошадь в телегу, ехать в деревню, отдать находку жене... Может быть, летом наедут господа на дачи. Да и сама баба, может, что выдумает. Необходимо ехать, потому что здесь, в Петербурге, находка может пропасть, отлучка же не продлится более трех суток.

Выждав денька два, покуда убедился, что никто не ищет потерянного, Гаврила запряг лошадь в телегу и уехал в деревню, спрятав находку на груди... Через день он был в деревне, а еще через день уехал обратно в Питер, но в этот промежуток, под впечатлением находки муфты, денег и портмоне, и вообще под впечатлением некоторой удачи, одинаково действовавшей как на Гаврилу, так и на его жену, отношения мужа и жены утратили некоторую долю официальности. «Ах, — думал Гаврила в дороге: — никак по числам-то не выйдет...» То же думала и Авдотья... Несколько раз и мужу и жене приходило в голову, что не зачем-бы было случиться тому, что вышло против всяких расчетов.

И точно, расчет Гаврилы оказался ошибочным.

Едва он воротился в Петербург, как узнал, что в газетах была объявка, что приходил городской и расспрашивал. «не находил ли кто» таких-то и таких-то вещей. Неожиданный отъезд его в деревню был припят во внимание, во-первых, товарищами по промыслу, которые и стали толковать о находке и подозревать Гаврилу. Городовой опять пришел, стал выспрашивать Гаврилу, и так пастойчино, что Гаврила струхнул. Попробовал-было он отделаться без взятки — городской потащил его в квартал для допроса;

попробовал-было он отделаться двугривенным — городской пятак раз кряду оштрафовал его за всевозможные нарушения порядка: за то, что стал у панели, не сидел на козлах, за то, что шел посреди улицы рядом с дрожками. Пришлось дать сразу синюю ассигнацию¹, чтобы утихомирить малое начальство. Не в руку Гавриле пошли святки и масленица. На святках цепа за прокат саней поднялась втрое, поднялся в цене овес и сено. Народу из деревни понаехало множество, и выручка была плохая. Пьяные отнимали множество времени на хлопоты: возит-возит Гаврила много по переулкам, а тот только мычит, а ничего не говорит, приехав в квартал и уедет без денег. На масленой наехали тысячи чухонцев² и сразу уронили цену до ничтожных размеров; пришлось гонять лошадь до упаду. Не посчастливилось и с ногодой: утром снег, а ночью поезжай на дрожках, плати вдвое и за сани и за дрожки... В конце концов, когда Гаврила возвратился в деревню (великим постом) выручка его вместе с находкой только-только оправдывала те расчеты и надежды, которые он имел в виду, отправляясь на заработок. А Авдотья была уже беременна, и, как видно, это обстоятельство являлось теперь не подходящим ни к каким расчетам. Родить она должна в июне, в самую рабочую пору: надо ходить за ребенком, надо поправляться. Платить работницу?.. А сочти-ка, сколько это стоит.

В июне Авдотья родила, к ужасу мужа и жены, двоих девочек. Это было так глупо и ни с чем не сообразно, так расстраивало все планы, что мужу и жене стало даже стыдно.

Они опять замолкли и молча делали свое дело, молча понимали друг друга. Обе девочки лежали в одной люльке, завешанные пологом; Авдотья ходила на работу, оставляя присматривать за ними свою маленькую шестилетнюю дочь. Так начала их когда запищат; но они были тихи: они все спали... Авдотья придет с работы, уйдет за перегородку,

¹ Синяя ассигнация — государственный кредитный билет в 5 рублей (бумажные деньги синего цвета).

² Чухонцы — так звали в Петербурге пригородных финнов.

пальет рожки и даст их ребятам, задернув занавеску. Но что она делала, это пришлось мне узнать совершенно случайно, и я был так поражен тем, что увидел, что, говоря по совести, не желал бы передавать этого виденного читателям. Но делать нечего, надобно досказать до конца. Случайно пришлось мне зайти в избу Гаврилы, когда ни его, ни жены не было дома. Зачем я заходил, не помню хорошенько. Войдя в избу и узнав от девочки, что родителей нет дома, я совершенно случайно заглянул в люльку... Две девочки лежали головами врознь: лица их были необыкновенно красны, как кровь, а рты были раскрыты, как у голодных щенков. Чмокнув сухими губами, дети опять как только возможно шире раскрывали рты, тяжело, прерывисто дыша, как бы от пожирающего внутреннего жара. Я пагнулся — от детей несло водкой... Водка была в рожках. Дети умерли в ту же ночь. Они были лишние, появление их нарушало расчеты и весь обиход труда. И вот их уже теперь нет...

Не буду говорить, почему я не мог вмешаться в это дело, и почему вообще у нас редко можно вмешиваться постороннему лицу в чужие, хотя бы и зверские дела, не говоря о полной невозможности вмешательства в так называемые общественные дела, очень и очень часто прикрывающие собою адское своекорыстие и неправду. Я опять-таки только жалею, что мне пришлось написать эту ужасную сцену. Но она — сущая правда. «Почему, — говорили мне не раз, — вы берете только такие возмутительные явления? Неужели в народной жизни нет явлений светлых и теплых?» Двадцать раз я отвечал, что есть такие явления во множестве, но я не могу касаться их в очерках, посвященных явлениям расстройства народных порядков. Я волей-неволей обречен на подбор этих ужасов, которые, впрочем, сами лезут в глаза, потому что в господствующем течении народной жизни в «настоящую минуту» я вижу расстройство, приток дурных явлений, непропорционально великих сравнительно с явлениями устройства и расцвета душевного добра. На этих людей я не только не смотрю как на зверей, но думаю, что это убийство двух

собственных детей — результат мпожества сложных и, главным образом, не благотворных, а ожесточающих влияний; убийство, затаенное в глубине души, убийство вынужденное, будет отомщено Гаврилой и его женой на ком-нибудь или на чем-нибудь. Мне хочется сказать, что таких явлений, как и мпожества всякого зла, для русского народа ненужного, гибельного могло бы не быть. Но я об этом говорил уже не раз, и, насколько мог, убедительно...

Этот тяжкий эпизод хоть и не говорит собственно о давлении земледельческого труда на семейную жизнь, но указывает, что обстановка земледельческого труда, особенно в настоящее время, когда труд этот вообще расстроен, обязывает человека к известным «расчетам» даже в самых, повидимому, неуволвимых семейных отношениях, — что обстановка эта может иногда приказывать человеку сделать то-то и то-то, а «глядя по человеку» будет и исполнение этого приказания.

Вон плотник Никанор засыпан ребятами выше головы. Он и жена его — добрые люди, им есть нечего, а она, добрая мать, утепает голодных детей сказками про Дмитрия-царевича, который был красив, силен, умен и точь в точь походил красотой и силой на ее Васютку, который так долюблен, что он похож на царевича, что и есть не просит, а сидит с вытаращенными от удовольствия глазами, на которых еще не просохли слезы от голода... Вот они не делают этого, хотя Никанор в пьяном виде и колотит жену до полусмерти, чтоб «убавить» в ней эту «силу жизни», которая, певзирая ни на что, плодится, мпожится и звать к чему не хочет, не страшится никакой нужды, согреваемая какой-то неиссякаемою добротой... И доброту-то эту Никанор хочет в пьяном виде убавить в своей доброй бабе побольше... Она худеет, ходит разодранная и оборванная, с голыми грудью, но продолжает родить и быть доброй. Сироты они оставят целую кучу...

На этих пружинах хоть отчасти можно видеть, как сложны и многосторонни те оттенки особенностей семейных отношений, которые складываются в народной среде под влиянием условий земледельческого труда. Не менее любо-

пытны и pristine пленительны и те черты стройности и здоровой правды отношений, которые слагаются под влиянием того же благородного труда в семьях, где условия этого труда случайно благоприятны. Говорить об этих pristine завидных семьях, не приводя в параллель с удивительными типами людей труда других типов, людей обеспеченности и смертной тоски — нельзя, а этого опять-таки не упишешь в незначительном очерке. Вот почему мы и оставляем разработку подробностей нашей задачи до более благоприятного времени, а теперь, чтобы досказать до конца нашу мысль, мы вынуждены сузить нашу задачу до ее первоначальных размеров.

С этой узкой точки зрения мы потому придаем «земле» огромное значение не только в жизни всего русского народа, но, как увидит читатель, и всего русского общества, что «земля» и ее значение, в наиглавнейших и крупнейших особенностях русской земли, выступают ярко и ясно видны нам среди других характеристических черт, также, быть может, имеющих значение в объяснении «русского типа», но не так ярких, не так ясных и не так неотразимо понятных, как земля и ее власть. Когда нам говорят: «Русский народ... как один человек от Перми до Тавриды... сплошная, однородная масса, один дух, один нрав, один характер, по одному мановению» и т. д., мы верим этому, потому что видим это; но когда захотим объяснить себе причины этой однородности и сплоченности, то первое, что бросается в глаза с а м о с о б о ю, это — однородность условий жизни, основанных на однородности труда. От Перми до Тавриды, у стен Кремля, у стен Китая — везде одна и та же соха Марья Андреевна, одни и те же ожидания весны, лета, зимы и осени, одна и та же зависимость от природы и т. д. Несомненно, существует в глубине этой массы многообразие и других черт духовного родства, но мы говорим опять-таки, что с а м а я г л а в н а я из них, самая, если можно сказать, первая из них, это — земля и труд на ней.

Нам говорят о высоком значении наших общинных деревенских порядков; мы читаем восторженные похвалы

высшей справедливости общинных приговоров, решений. И в то же время нас сбивает с толку действительная деревенская жизнь настоящего дня, которая поминутно дает факты самого поразительного невнимания к общественным или общинным интересам. Мы хотим разобраться в этой путанице; идем на сходку, внимательно слушаем, что такое там говорится, и видим, что опять-таки там, где дело касается земледельческого труда и земли, от которой он в зависимости, — действительно все выработано до высшей степени и точности и аккуратности: видим, что в этой области труда все понятно всему земледельческому миру, все строго разработано, что тут мирская мысль много работала, видим, что, согласно этому пониманию труда, и суд деревенский справедлив и строг в этой только области, тогда как в таких вопросах, которые не касаются этой сферы народных знаний, и сход, как бы он ни галдел (это тоже похваляют), кривит иногда душой интеллигентного акционерного собрания¹ и суд подкупен, и продается мирской интерес... В сфере земледельческого труда нельзя обчитать общинника па вершок земли, нельзя наложить одной сотой лишних податей, нельзя потому, что тут — главный центр, на котором в самом деле, в сурьез, сосредоточено общинное внимание, а в то же время можно за ведро вина простить старшине тысячную растрату, можно за два ведра угощения накинуть старшине сто рублей лишнего жалования, можно из-за угощения или из-за страха наказания постановить неправоое решение в пользу кулака против бедняка и т. д.

Вообще, к какой бы группе явлений народной жизни мы ни прикоснулись, первое что мы замечаем и что уясняет нам эту группу явлений — это земля, земледельческий труд. Мы потому так пристально выслеживаем одну только эту черту, что желаем показать, как велика ломка, как много осложнений может произойти от того, если эта, одна

¹ Акционерное собрание — собрание владельцев акций (паев) на какое-либо торговое или промышленное предприятие, денежными вкладчиками которого они являлись и с которого получали доходы.

только эта сторона народных нужд не будет удовлетворена в должной мере; как несправедливы те рассуждения о народном благе, которые решаются сказать, что земельные порядки, существующие в настоящее время в народе, удовлетворительны. не требуют улучшений. Подробности расстройств земельных отношений завели бы нас слишком далеко, да наконец мы уж и касались этих подробностей в предшествовавших главах, и нам кажется, что если читатель припомнит, что было говорено по этому поводу, и все, что было сказано в доказательство значения земледельческого труда в жизни народных масс, то ему не будет казаться неосновательным наше желание, чтобы народу дано было в этом смысле все, что ему потребуется...

Но это не все. Дайте землю, дайте и интеллигенцию, а главное — не удивляйтесь, не пугайтесь того типа интеллигентного человека, который дает сама жизнь, который должен быть таким, а не иным, потому что такова страна и люди, среди которых он живет. Нет никакого сомнения, что страна, которая вся держится главным образом земледелием, должна вся сплошь, с верху до низу, носить печать главнейших типических черт, налагаемых главнейшим сословием на другие. В России народные мужицкие черты должны быть первенствующими, и нам не стоило бы большого труда разыскать их в сферах, повидимому, весьма отдаленных от сохи. Но мы не будем делать этого, чтобы опять не осложнить нашей задачи, а остановимся на самых этих чертах, которые мы почитаем исходящими прямо из народных масс и которые в массах этих являются, как результат близости их к природе, к голой зоологической правде, обязательной при земледельческом труде.

И эти главнейшие черты, общие всему русскому обществу, мы укажем тоже грубо и в обрез, — иначе опять будет трудно выбраться на дорогу. Черты эти и раньше нас и лучше нас отмечались в русской литературе, а потому мы предпочитаем лучше взять хорошее готовым. Типическим лицом, в котором наилучшим образом сосредоточена одна из самых существенных групп характернейших народных свойств, без сомнения, есть Платон Каратаев, так

удивительно изображенный графом Л. Толстым в «Войне и мире».

Какие же типические, наши и народные черты?.. «Жизнь Каратаева, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер¹, Каратаев не имел никаких, но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком... Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю ласковую к нему вежливость, ни на минуту бы не огорчился разлукой с ним»...

Откуда, как не из самых недр природы, от вековечного, непрестанного соприкосновения с ней, с ее вечной лаской и вечной враждой, могли выработаться такие типичнейшие черты духа?.. «Он никогда не любил»... «Он ничего не значил сам по себе» — вот черты, которые мы ежеминутно встречаем в нашем народе и которые прямо вошли в его душу от реки, от травы, от земли, леса, солнца. Мать-природа, воспитывающая миллионы нашего народа, вырабатывает миллионы таких типов, с одними и теми же духовными свойствами. «Он — частица», «он сам по себе — ничто», «он любовно живет со всем, с чем сталкивает жизнь» и «ни на минуту не жалеет, разлучаясь»... Такая частица мрет массами на Шипке², в снегах Кавказа, в песках Средней Азии... «Жизнь его, как отдельная жизнь, не имела смысла». Эта не имеющая смысла жизнь, не любя никого отдельно, ни себя, ни других, годна на все, с чем сталкивает жизнь... Все может сделать Платон: «Возьми и свяжи...

¹ Пьер Безухов — одно из главных действующих лиц в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Сойдясь с кротким Платоном Каратаевым в плену у французов в 1812 г., Безухов с любовным интересом всматривался в него.

² Шипка — перевал на Центральных Балканах. Во время русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. здесь был ряд жестоких боев.

возьми и развяжи», «застрели», «освободи», «бей», «бей сильней» или «спасай», «бросайся в воду, в огонь для спасения погибающего!» — словом все, что дает жизнь, все принимается, потому, что ничего не имеет отдельного смысла, ни я, ни то, что дала жизнь... В Крымскую войну¹ таких Платонов умирало без следа, без жалобы — тысячи, десятки тысяч. Двадцать тысяч их легло на Зеленых горах в один день... Сотни тысяч их умирает ежегодно по всей России, — безмолвно, безропотно, как трава, и сотни тысяч, также как трава, рождаются... Все эти черты чисто наши, родные, российские, — черты той страны, где десятки миллионов ежедневно слушают мать-природу, в которой, как и в них, нет исключительной любви, нет смысла в отдельном существовании камня, дерева, ручья... Это все — наше, но это не все.

А тот тип, который гонит Платона по горам и по степям? Тот, кто заставляет его и спасать и губить? Тот, кто неотступно следует по его пятам, глядя, как он мрет тысячами, и только облизывается, видя, что от этих смертей увеличивается и толстеет его карман?.. Разве это не наш тип? Разве не «ничтожество», сознаваемое Платоном, воспитало его, развило, раскормило, раздуло его страсть к произволу, к «нраву» до громадных размеров? — Нет, именно Платон, именно его философия, именно его безропотно, бессловесное служение «всему, что дает жизнь», выкормило у нас другой тип хищника для хищничества, артиста притеснения, виртуоза² терзания... Отделять эти два типа друг от друга невозможно — они всегда существовали рядом друг с другом.

Но в далекую старину между ними, как мы уже говорили, виднелась третья фигура, третий тип, — тип человека, который, во-первых, «любил» и, во-вторых, любил «правду». Безропотно, как трава в поле, погибающий и как трава

¹ Крымская война в 1853 — 1856 гг. между Россией, с одной стороны, и Англией, Турцией, Францией и Сардинией с другой. Военные действия велись, главным образом в Крыму. Война разрешилась сдачей Севастополя.

² Виртуоз — искусный исполнитель.

живущий Платон однако думал, что «бог правду видит, но не скоро скажет». И умирал, не дождавшись этой правды. Третья фигура, о которой мы говорим и которую мы называем народной интеллигенцией, именно и говорила эту правду; худо ли, хорошо ли, но она заступалась за Платона против хищника, которому сулила ад, огонь, крюк за ребро.

Как же обстоят дела теперь? — Теперь мы видим только две фигуры — Платона и хищника. Третьей фигуры — человека, который бы мог заикнуться о той правде, которую бог видит и которую говорит устами людей, — нет и в помине. Напротив, все на стороне хищника. На стороне его земельное расстройство масс, расстройство душевного удовлетворения их трудом; расстройство это гонит их к хищнику внутренне обессиленными, сознающими свое ничтожество гораздо сильнее, чем сознавал его Каратаев.

«ЧЕТВЕРТЬ» ЛОШАДИ

I

... Кажется, во всей «нашей округе» нет среди местной обывательской интеллигенции (даже самого высокого сорта) такого страстного любителя местных статистических «данных», каким совершенно неожиданно оказался я, деревенский обыватель, пишущий эти строки. Огромные кипы и связки изданий статистического комитета¹, обязательно получаемые деревенской, обывательской интеллигенцией, постоянно и повсюду производили и производят на нее какое-то удручающее впечатление. Получишь, бывало, такую толстую книгу, поддержишь в руке, почему-то непременно вздохнешь и положишь на полку; так эти книги и покоятся недвижимо там, где их положат. А между тем только ведь в этих-то толстых скучных книгах и сказана цифрами та «сухая» правда нашей жизни, о которой мы совершенно отвыкли говорить человеческим языком, и нужно только раз получить интерес к этим дробям, нулям, нултикам, к этой вообще цифровой крупе, которую усеяны статистические книги и таблицы, как все они, вся эта крупа цифр начнет принимать человеческие образы и облекаться в картины ежедневной жизни, то есть начнет получать значение не мертвых и скучных знаков, а, напротив, значение самого разностороннейшего изображения жизни.

¹ Статистический комитет был учреждением в составе министерства внутренних дел. «Центральный Статистический комитет» и «Статистический совет» находились при министерстве внутренних дел на положении особого департамента (отделения).

И все-таки, не случись со мной одного самого (как увидит читатель ниже) ничтожного обстоятельства, я бы никогда не вошел во вкус этих, покрытых какой-то черной мушкаррой, страниц и никогда бы не понял многозначительности выводов из этой цифровой мушкарры, всегда казавшихся мне, как коренному «обывателю», совершенно непостоящим делом и пустопорожним словоизвержением. Никогда не думая серьезно вникать в это дело, мы однако не прочь иной раз вложить в цифры и собственный свой смысл, сделать собственные свои выводы, и всякий раз делаем это, конечно, только «для смеху». Бывают в нашей пустопорожней обывательской жизни такие минуты, когда мы умеем облаять все в настоящем порядке вещей. Вот только в такие-то минуты универсального¹ облаивания текущей деятельности, в числе прочих, подлежащих облаиванию сюжетов², не минует нашего издевательства и статистика, не минует только потому, что настроение минуты требует всестороннейшего облаивания жизни.

— В деревне Присухине, — издевается в такие минуты какой-нибудь обыватель: — школа имеет тридцать учеников, в деревне Засухине — двадцать, а в деревне Оплеухине — всего два ученика... Из этого, изволите видеть, следует такой средний вывод, что средним числом на школу — по семнадцати человек и еще какой-то пуль, да еще и около нуля какая-то козявка... Это все равно, ежели бы я взял миллионщика Колотушкина, у которого в кармане миллион, присоединил к нему просвирию Кукучкину, у которой грош, — так тогда в среднем выводе на каждого и вышло бы по полумиллиону. Просто нужно за что-нибудь деньги брать! Очень просто!

— Да! из-за чего это Болванкин на собраниях с своим кирпичом совался? — спрашивает кто-нибудь во время этого обличительного монолога. «Кто-нибудь» спрашивает просто зря, от-нечего-делать. По так как «облаивание» коснулось статистики, то немудрено услышать и ответ на этот

¹ У н и в е р с а л ь н ы й — всеобщий.

² С ю ж е т — предмет, содержание.

случайный вопрос, подходящий к подлежащей облаиванию теме.

— А как же! — отвечает другой из занимающихся облаиванием собеседников. — По статистическим данным на каждую печную трубу приходится шесть рождаемостей, а на каждую курную избу — две рождаемости и четыре смертности. Следовательно, ежели земство купит по дешевой цене кирпич у Болванкина и станет раздавать его бабам для устройства печей-голанок в курных избах, то сейчас же бабы будут производить шесть процентов рождаемости, — и следовательно купец Болванкин отличнейшим образом продаст свой кирпич, который у него уж и так развалился и который совсем с заводом и с Болванкиным стоит грош. Как же ты этого не понимаешь? Нет, брат!.. Тут в среднем выводе можно запустить лану очень хорошо!..

Известный обывателю склад и строй окружающей его жизни, в котором слово «хапнуть» играет не последнюю роль, невольно заставляет его прилагать этот господствующий принцип¹ и к такого рода явлениям жизни, которых он даже и не понимает совершенно, в которых ровно ничего не смыслит. Неудивительно, что в те редкие минуты праздного даянья на всех и вся, когда, за истощением обливаемого материала, на зубок обывателя попадаетея и такой неприкосновенный материал для разговора, как статистика, основной принцип «хапнуть» не покидает соображений обывателя, и он прикладывает его там, где принцип этот не имеет никакого значения. И, говоря откровенно, я не знаю ни одного статистического «столбца», который не был бы истолкован нашими коренными деревенскими обывателями именно в этом последнем смысле. И я помню положительно только один случай, когда облаиванье, пачавшееся «от-ничего-делать» и добравшееся за истощением материала до статистики, вдруг должно было замолкнуть за полнейшею невозможностью приткнуться к облаиваемой цифре хоть каплю принципиального во всех облаиваниях обвинения.

¹ П р и н ц и п — здесь правило.

т. е. слово «хапнуть», казалось, готовое сорваться с языка, вдруг не сорвалось, и облаиватель только стал втупик.

— Неведомо чего уж и писать стали! — говорил мне однажды один из таких облаивателей, зайдя попить чайку и от-печегу-делать перелистывая «обзор» нашего уезда, только что полученный с почты. — Уж даже и неведомо до чего доболтались!

— Что такое?

— Одна вишь четверть лошади приходится, изволите видеть, на каждую какую-то там квадратную, что ли, душу. Ну что ж это означает, позвольте вас спросить?

— Как квадратную душу? Что вы, Иван Иванович!

Иван Иванович посмотрел в книгу и сказал:

— Ну, нес с ней! ну, ревизскую¹, что ли! Но что ж означает четверть лошади? Какая-то такая лошадиная четвертая часть? Которая же первая-то часть у ей? Это даже прямо сказать — насмешка одна!

— Ну, как же так!

— И очень просто!.. Положительно одно издевательство!.. С кирпича, с беременной бабы, с трубы, все можно что-нибудь взять и даже в карман положить... А это уж — чорт знает что! Четверть лошади!..

Лично я, хотя и мог бы совершенно иначе понимать эти «цифры», подлежащие облаиванию на разные лады, но, говоря по совести, обжившись с деревенскими обывателями, также подобно им привык очень мало интересоваться этим множеством крупных и мелких нулей, которые мы только и видим в таблицах многотомных трудов. Быть может, подумавши, я бы и мог что-нибудь возразить Ивану Ивановичу, но простое нежелание думать серьезно и привычка ограничиваться облаиванием не вызвали меня на разговор о непостижимой цифре.

«Четверть лошади!» — подумал я и присоединился к издевательству Ивана Ивановича. Толстые томы «Тру-

¹ Ревизской душой считалась записанная по переписи мужская душа, хотя бы записанный здесь человек и умер после переписи.

дов», как и прежде, так и после облаивания, сделанного Иваном Ивановичем, продолжали спокойно лежать на тех самых местах, где были положены, и всякий раз возбуждали во мне только глубокий вздох, когда, перечитав все, что можно было перечитать, приходилось с прискорбием увидеть, что кроме «Трудов» решительно ничего для чтения нет!

Но вот совершенно неожиданно со мною происходит переворот: я собственными глазами увидел четверть лошади! И с тех пор усеянные крупными и мелкими нулями «Труды» припали в моих глазах чрезвычайное значение.

II

Да, я теперь знаю, что такое четверть лошади: знаю, что эта четверть — не пустяки, что эта дробь имеет весьма серьезное значение.

Дело было так.

Я только-что окончил чтение нового переводного романа, напечатанного в одном из толстых журналов, и находился в весьма тяжелом душевном настроении. Не думайте, что на нервы деревенских обывателей действуют только такие явления жизни, которые таят в себе обычную для нас сущность «халнуть в карман», и что только такие явления волнуют и тревожат нас. Вовсе нет. Посмотрите-ка, какого переполоха наделал в нашем уездном обществе хотя бы «роман графини Лиды». Все, что не знало иного исхода и течения жизни, кроме службы, семейной ссоры и буфета в клубе, — все вдруг захохотало, застонало, заметалось, закричало и заговорило из всех сил и во весь голос. Как теперь помню, еле живой уездный аптекарь, выходя из клуба во втором часу ночи и будучи уже в таком состоянии, которое заставило его тотчас же обнять фонарный столб, — все-таки пошел в себе силы закричать: «Приас-схо-ппа!». И орал то же самое, раскачиваясь на извозчике, на которого усадил его городовой. Да и мы не прочь ипогла порадоваться и потосковать хорошо. Так было и со мной в этот раз. Роман был обликновенный: муж — старик, она (мар-

киза, само собой) молодая и, само собой, Анатолий, молодой. Обман друг друга с первой страницы до последней. Обман письмами, глазами, рукопожатиями. Словом, такое-то беспрестанное воровство самых элементарных человеческих радостей, — воровство, в котором не нуждалась ни во веки веков ни одна горничная, получающая 8 рублей в месяц. А тут маркиза, и не может жить на белом свете иначе, как «украдуци» да «уворуяочи»! Впрочем — не в подробностях романа дело, а только в том, что мне было скучно от него, и я ушел гулять.

Шел я, скучал, ни о чем не думал и вдруг случайно услышал:

— То-то — кабы лошадь была!

Слова эти жалобно проговорил жепский голос, и я, положительно не знаю почему, при слове «лошадь» вспомнил фразу Ивана Ивановича:

«— Четверть лошади! Ну, скажите, пожалуйста, не насмешка ли?»

«А может-быть, — мелькнуло мне: — именно на эту-то бабу и приходится в среднем выводе только четверть? Как же она живет с одной четвертью?..»

— Как же без лошади? — сказал мужской голос. — Без лошади пропадешь!

«Как же в самом деле без лошади? — подумалось мне. — Как же с одной четвертью-то?»

Что-то сказала мне, что передо мной — не что иное, как живая статистическая дробь, а через мгновение я уже с полною ясностью знал, что я вижу именно дробь в живом человеческом образе, вижу, что такое эти нулики с запятыми, с большими и маленькими. И мне ужасно захотелось подойти к этой живой дроби.

Дробь была баба лет тридцати, и рядом с ней стояла на земле маленькая, полторагодовая девочка. Обе они вышли из лачужки, у которой не было даже сеней. Против бабы и девочки стоял мужик, тоже, должно быть, какая-нибудь единица, деленная, по крайней мере, на десяток местных бюджетиков, потому что у него в спине на каждый квадратный фут было по четыре двухдюймовых дыры, и

который, повидимому, также знал, что «четверть» лошади не представляет ничего хорошего.

— Кабы у меня лошадь была, так уж отвез бы! — сказал он тоскливо.

— То-то без лошади-то неспособно! — сказала дробь-баба.

— Далеко-ль до покосу-то?

— Да версты две будет.

— Так ты вот как! — задумчиво сказал мужик, деленный па десять. — Ты обед держи в одной руке и косу в тое ж руку приуладь, а подстилку и полшубок для девчонки на шею намотай... Вот и будет великолепно! Чуешь?

— А девчонка-то как?

— Пойдет!

— Да как же она босая-то пойдет? И две версты ей не убець, я пойду скоро.

— Это верно! — сказал мужик и стал опять думать.

Стала думать и дробь-баба.

И скоро мысли этих дробей стали складываться в следующую формулу:

— Вот как ты, Авдотья, уделай! Ты девчонку сажай на шею верхом...

— Да чем же я ее держать-то буду? В одной руке полшубок, подстилка, в другой коса и обед? Не за волосы же ей меня тянуть?

— И то правда! — сказал мужик задумчиво и опять стал думать так же крепко, как думала дробь-баба.

Первый, повидимому, додумался мужик; в его лице что-то оживилось, и он с большим оживлением проговорил:

— Тогда окончательно я тебе скажу — вот мой совет: сымай платок с плеч!

— Что ж будет?

— Сымай! Увпидишь!

Баба опустила на землю горшок, завязанный в тряпке, положила туда же косу, полшубок, половик, развязала большой платок, обхватывавший грудь и завязанный узлом на спине, и сказала мужику:

— Ну?

— Ну, теперь гляди! — сказал мужик, оживляясь сразу, по малой мере, на тысячу процентов. — Гляди теперь, какой мы произведем оборот. Стой прямо!

Он подошел к девочке и, взяв ее подмышки, поднял.

— Ну, любезная барышня, пожалуйста в вагон садиться! к маменьке на шею!.. Раз!

Девочка обхватила шею матери и ногами и руками.

— Ох, ты меня удушишь, Пашутка! — тихо прошептала мать. — Что ж будет?

— Погоди, не торопись! — суетился мужик. — Барин! — крикнул он мне. — Поди-ка, сделайте милость, потрудитесь! — подними платок, мне девочки нельзя пустить.

Я поднял платок и подал мужику.

— Благодарим покорно! Теперь мы уладим Пашутку никак не меньше, как в первом классе!

Он развернул платок, сложил его с угла на угол вдвое и, паложив средину на голову Пашутки, обвязал концами ее мать таким образом, что платок прямо проходил у ней под шеей и подмышками и завязывался узлом на самой шее так удачно, что Пашутка сидела на этом узле как на подушке.

— Прямо в некурящий вагон обладили! Поезд стоит пятнадцать минут, буфет! — в восторге воскликнул мужик. — Не держись, Пашутка, пусти руки! Сиди свободно!..

Пашутка выпустила руки, заболтала ногами, захлопала руками и что-то залепетала.

— Ну, ты не дергай меня! мне под шеей тянет, — сказал мать: — сиди смирно!

— Бери обед! Бери косу! — оживленно говорил мужик, подавая бабе в руки все, что она была должна нести, и все баба взяла и в руки и в подмышки. Все уместилось, но баба не шла. Лицо ее было невесело. Хотя и смешно и искусно выдумал этот вагон добрый сосед, деленный на десять бюджетов, но все-таки ей пужнее было изловчиться и приладиться, и она некоторое время неподвижно стояла на одном месте, прилаживая доловчее то косу, то полусубок, то половик.

— Ай не ладно? — все так же весело и не веря в неудобства собственной выдумки, спрашивал мужик.

— Не... — прошептала баба, выматывая голову из туго стянутого платка: — не... ничего! ладно! теперь дойдем.

— Теперь дойдешь! Ничего! Не спеша. Ладно дойдешь! Вали, брат! Третий звонок! Трогай!

— Ну, спасибо! — сказала баба с большим чувством и медленно, не шевелясь ни вправо ни влево, тронулась с места.

— Кабы лошадь-то была!.. — перестав радоваться, со вздохом проговорил мужик-благодетель и стал отирать полой рваного армяка свой мокрым лоб.

Но я уже не слушал его слов.

Баба пошла, и я уже не мог не идти за ней: я уже был захвачен интересом видеть в живом человеческом образе очертания, повидимому, ровно ничего не значащей статистической дроби. И хотя дробь эта была оживлена человеком пока только чуть-чуть, но я уже чувствовал, что виденное мною далеко не исчерпывает всего содержания, таящегося в якобы пустопорожней цифре, и что в этой цифровой загадке есть еще много чего-то, что надобно непременно разузнать и расследовать.

И я пошел поэтому вслед за бабой.

III

Баба шла с такой осторожностью, вытяжкой, и с такой тщательностью балансировала среди обременявших ее тяжести, что мне невольно вспомнилась акробатка¹, которую я видел когда-то, где-то в загородном саду. Она, так же, как и баба, балансировала² с величайшей осторожностью на тонкой проволоке, вся над землей и толпой зрителей. Да, ведь и на ней лежит бремена не меньше, чем на бабе, и у нее по статистическим данным оказывается 00 отцовской заботы, 00 материнской любви и затем уже в целых числах идет алчность антрепренеров

¹ Акробатка — канатная плясунья.

² Балансировать — удерживать равновесие.

и хозяев, а в десятках чисел ежеминутно чувствуются ею плотоядные глаза плотоядных людей, готовых каждую минуту расхитить для собственного удовольствия ее плоть и кровь. Да, ей надо также очень, очень осторожно ходить по канату!

Нецелое число, именуемое бабой, шло все дальше и дальше, иногда весьма нетерпеливо вскрикивая на девчонку:

— Перестань за волосы хватать! ведь крепко сидишь? чего баловаться-то?

— Тяжело тебе? — сказал я наконец, побуждаемый желанием выяснить подробности существования этой дробы.

— Знамо, не легко! — сказала дробь, по без всякого негодования. — Кабы лошади бы была... А то вот теперь убирать сено надо, без лошади-то и трудно!

— А далеко еще до покосу?

— Порядочно еще... Мы и покос-то взяли дальний без жеребья, по этому по самому, чтобы лошадь... Не цапай, дура! Сказано тебе?..

Девчонка заплакала, по матери уж пельзя было тратить время на ее успокоение. Она шла и по слову, по два (говорить ей было пеловко) изображала мне положение своих дел. «Жеребьевы-то участки ближние и хорошие, да пам малы... Мы без жеребьев взяли дальние, с зарослью... Они будут вдвое против жеребьевых-то на душу... Жеребьевый на душу...»

По словечку, перерывая речь тяжелым дыханием, баба рассказывала мне и о том, что у них уже есть и сбруя. И сбруя эта вышла им как-то случайно: просто бог дал. Жила у них два года одна старушка, бедная, у которой внук в Петербурге учился в шорниках, и вот, когда внук сам стал работать «от себя», то вытребовал и старушку-бабушку и в благодарность за ее содержание прислал полный комплект сбруи с большой уступкой. За эту сбрую еще не заплачено, а заплатится тогда, когда продадут сено, тогда вот можно будет «обдумать» (пока!) и пасчет лошади. Предстоит еще маленькая неприятность и с этим самым сеном: вывезти его будет не на чем (всего четверть лошади), а если урожай сена будет велик, то,

пожалуй, на месте придется его продать так дешево, что «обдумать» лошадь можно будет уже не ранее, как еще через год.

Слушая эту прерывистую, задыхающуюся речь бабы, я иногда приходил к мысли подойти и помочь ей. Но просто «научный метод», которому я старался следовать в моих наблюдениях, во-время останавливал меня. Однажды баба даже остановилась, закашлялась, но я все-таки остался на научной почве: не подошел к ней и не испортил точности цифр статистического «столбца». Столбец так и остался столбцом, без всяких изменений, а баба покашляла-покашляла и пошла опять балансировать.

Наконец мы пришли на покос.

IV

Довольно большое пространство пизменного поля, заросшего кустами прутьяка, было уже уставлено кучами сена, которые в наших местах называют «кучами». В значительном количестве виднелись они в прогалинах между кустарниками и по мпогу, «как придется», стояли в таких местах, где было попросторнее от зарослей. Вот эти-то «кучи» и надобно было стащить в несколько стогов, или же сложить в один длинный стог, видом всегда похожий на сарай, который и продается скупщикам на сажени, меряя по низу, с одной стороны от края до края.

Остановившись на покосе, баба осторожно села на землю, осторожно сложила свои тяжести, сама развязала сзади себя платок, спустила на землю Пашутку и, вся мокрая, с прилипшими к мокрому щекам и лбу волосами, некоторое время сидела молча, отдыхая и утирая мокрое лицо и шею. Пашутка толкалась около нее и что-то кляичила, но мать так устала, что уже не обращала на это кляичанье внимания. Я пристроился под куст, в тень, закурил папиросу и изучал.

— Ав-де-эй!.. А Ав-де-э-эй! — звонко позвала баба, и скоро из-за кустов показался мужик с граблями на плече.

Усталой походкой он подошел к бабе, подхватил на руки Пашутку, которая побежала ему навстречу; не спуская

ее с рук, он сел на землю, и вся семья принялась за еду, предварительно перекрестившись.

Ели молча, почти не разговаривали; ели и отдыхали в одно и то же время. Короток был обед и короток отдых.

— Как бы дождем не брызнуло! — сказал Авдей, оглядывая небо. — Ишь, несет ветром из мокрого угла (с юга)! Пока что, хоть дело расчять надо...

Он встал, опять перекрестился несколько раз, потом пошел в лес, откуда скоро раздался стук топора. Тем временем мать Пашутки всячески старалась ее укачать и уложить спать, но Пашутка, как на грех, пицала, капризничала и на что-то жаловалась. Иногда в уговариваниях матери слышалась какая-то раздражительная нота; ей нельзя было держать Пашутку на руках, сидеть сложа руки. Ей предстояла трудная работа.

— Не спит, постреленок! — сказала она Авдею, когда тот вышел из лесу.

Это известие, очевидно, очень опечалило Авдея. Держа на плече два большие жерди, которые он принес из лесу, он задумчиво остановился перед женой и задумчиво смотрел на Пашутку.

— Авось она одна побудет? — перешептливо спросил он жену.

— Вестимо, одной падо быть!.. Хошь и поплачет, а делать нечего!.. Плачь не плачь, — а делать нечего.

— Ничего! — успокоительно сказал отец, подсаживаясь к Пашутке. — Ты, Пашуха, сиди да гляди, что мы с мамкой будем делать... Будешь? Мы тутотка вот и даже недалеко!.. Будешь смирно сидеть?.. Гостинку дам, как домой воротимся, право! Целую барапку дам! Будешь?

Пашутка что-то прошептала.

— Ну, и хорошо! Дай-ка-сь я тебя поцелую, головку поглажу... Ну, Авдотья, пойдем!

Пашутка исполняла свое слово и сидела смирно, потому что отец и мать были недалеко и на ее глазах делали свое дело. А дело это было трудное...

— Вот без лошади-то!.. — горько говорил Авдей.

— Ну уж, чего разговаривать! — не желая пустосло-

вить и, очевидно, вся напрягшись для тяжкого труда, довольно резко сказала его жена: — подсовывай жердь-то!

Так как на одной четверти лошади нельзя возить сено, то нашим дробям пришлось подсовывать под каждую сениую «кучу» по две жерди рядом, браться за концы этих жердей, точно за носилки, и, подняв тяжесть не мене четырех пудов, тащить ее к той куче, где предполагалось сложить стог.

Жерди были подведены; четырехпудовая куча сена плотно притискивала их к земле, низменной и болотистой.

— Ну-ка, господи благослови! — сказал Авдей, становясь вперед; согнувшись, он занес руки назад, захватил концы жердей и проговорил, не поднимая их и не разгибаясь: — ты не вдруг, Авдотья, налегай! Помаленьку! не сразу подхватывай! Прилядься!..

Авдотья знала всю трудность дела и изловчилась. Лиха беда поднята, а там уж нужно было держаться цепко за концы, а четыре пуда не оторвут рук от плечей. Раза три они оба прилегали на кучу, то сзади Авдотья, то спереди Авдей, и поемногу она сдвинулась с места, отсосалась от сырой земли, и наконец с значительным усилием они оба стали приподнимать ее. Для Авдотьи это было особенно трудно и требовало весьма значительного калечья ее тела. Подхватить концы жердей сразу ей было, очевидно, не по силам, и она, положив один конец жерди на колени, обеими руками вцепилась в конец другой жерди, подняла ее, высвободила одну руку и схватилась ею за конец жерди, который лежал у нее на колени. Наконец они оба выпрямились и пошли. Пошли, держась прямо, как струна.

Прямо, как струна, идет крестьянин за сохой; он, повидному, только идет, и ничего нет удручающего вас, наблюдателя, в этой походке; но подойдите к нему поближе, посмотрите на эту спину, как бы не умеющую согнуться, — она вся дрожит; нет в ней места даже величиной в булавочную головку, которое бы не трепетало самым напряженнейшим усилием. Нужно затануть дух, собрать в себе все силы, обуздать каждый мускул, страдающий от ти-

жести, которую ему приходится преодолеть, заставить его исполнять трудное дело, не дать ему ни малейшей воли, и вот отчего твердой походкой идущий по пашне человек, кажущийся таким непоколебимо спокойным, на самом деле каждый шаг свой одолевает страшным напряжением плеч, таким напряжением, что вздохнуть можно, только дойдя до конца полосы, т. е. до поворота. Но настоящий крестьянин, не останавливается для передышки на поворотах, а скорее идет далее, зная, что, отдохнув хоть с минуту, ослабнешь, и потом будет трудней.

Вот с таким-то невероятным напряжением сил подняли и понесли четырехпудовую кучу сена Авдей и Авдотья. Малейшая часть тела в каждом из них была пята, направлена, как струна. Конечно, потом они наверное оба и «не так» еще «разойдутся», и нервами эти люди сделают то, чего не сделать настоящей силой: но теперь мне, с моей строго-научной точки зрения, было положительно даже смотреть-то трудно на это, повидимому, совершенно простое дело.

Кроме тяжести, оттягивавшей руки утомленных уже косью людей, успешность их работы в самом начале была отравлена Пашуткой. Покуда отец и мать были у ней на глазах, она молчала, не спуская с них глазенок, но когда они пошли, и она увидела, что они уходят, она огласила пространство необычайным плачем и криком. Я видел попытки Авдея и Авдотьи повернуться к ней лицом, посмотреть, узнать, что с ней? — но куча сена не желала уступить из физических сил мужа и жены ни одной капли, и Авдей с Авдотьей могли только ускорить шаг, то есть сделать еще большее напряжение, но остановиться уже не могли.

Но зато, спустя несколько минут, в течение которых рев Пашутки дошел до невероятной степени, я увидел, что крик этот не остался для родителей ее гласом вопиющего в пустыне. И Авдей и его жена, буквально сломя голову, неслись из леса, направляясь к Пашутке. Не добежав до нее, они даже побросали жердя и в страшном испуге бросились к дочери.

— Ай укусило тебя? — кричал Авдей.

— Не казюлька ли какая поганая укусила — впопыхах говорила Авдотья, почти упав на землю около Пашутки и тотчас же осматривая ее голые ноги.

— Экое место чортово! Сколько их гадюков тут разведено, ехиднов! Что, не тронули ее?

— Не видать ничего!.. Чего ты орешь-то? — в сердцах сказала Авдотья и шлепила Пашутку.

— Ну, будет... — сказал Авдей. — Чего уж! Вестимо, одна осталась... Испужалась... Я спужался — думал, не гадюка ли? Помереть ведь можно от нее, от поганой! А то что уж ты так! Вестимо, малый ребенок... Эх, лошади-то пегу! Сидела бы на возу, песни пела... Ну, да ничего, Пашутка делать печего! Уж как никак, а надеть с собой брать... Босиком ей по кошеному-то далеку не уйтить, а криком душу надорвет... Ну, ничего!.. Уж как-никак, Авдотья, а с собой надо взять? — спросил он.

Не дожидаясь ответа Авдотьи, Авдей взял Пашутку на руки и понес к новой куче сена. Покуда они подводили под кучу жерди, Пашутка сидела на траве. Но когда жерди были подведены, Авдей подошел к куче, разгреб наверху ее ямку, потом подошел к Пашутке, взял ее на руки и понес к сену.

— Ну, баловница, садись сюда, в ямку-то... Поедем вместе! Ладно так-то?

Пашутка что-то пропищала.

— Ну, сиди смирно!

— У, паскудная! — с сердцем сказала измученная Авдотья.

— Ну, что уж... Берись!..

— Горластый чорт, покою нет!..

И опять муж и жена согнулись в перегиб, и опять раза по три, по четыре приладили и припоровняли подпять кучу, причем уже нужно было робеть и за Пашутку как бы не свалилась, жерди качаются — но в конце концов, с еще большим напряжением нервов, муж и жена одолели-таки увеличенную Пашуткою тяжесть. Кроме тяжести жердей, тяжести сена, прибавилась еще и тяжесть

Пашутки. Что делать! — у бедных людей была только четвертая часть лошади, и поэтому недостающие части лошадиной силы они должны были взять на себя.

V

Все время я, как уже сказано ранее, держался в моем поведении строго-научного метода. Но после того, как куча сена на моих глазах оказалась с увеличившимся содержанием, я почувствовал, что едва ли можно еще дополнить чем-нибудь новым уже и без того слишком многосложное содержание статистической дробь. Что еще может быть добавлено в ее объяснение? — спрашивал я сам себя и положительно не перенес бы дальнейшей строгости в сохранении себя на научной точке зрения, если бы в самом деле к виденному можно было что-нибудь добавить еще. Мне было довольно простого умножения количества видимых глазами куч на силы двух человеческих существ, чтобы тотчас же прекратить продолжение моего исследования.

И я действительно не мог продолжать его. Я ушел домой... Что я могу знать, живя в деревне? Но цифры, которые я до сих пор игнорировал и которые я неожиданно увидал в образе человеческом, — цифры могут мне помочь разобраться в человеческих единицах и дробях. И с тех пор я предался статистике, а чтобы доказать читателю, что входы моих усилий были не тщетны, я расскажу ему самый ярочный эпизодик, случившийся со мной по поводу еще одной самой маленькой человеко-дроби.

II. КВИТАЦИЯ

I

Эпизодик¹ с этой капельной цифрой случился со мной то время, когда я только-что предался изучению статистики, был, так сказать, в самой первой поре увлечения, поэтому, я надеюсь, читатель извинит мне, если доводы,

¹ Эпизодик — небольшое происшествие, маленький слу-

вследствие которых во мне родилось побуждение во что бы то ни стало видеть своими глазами упомянутую микроскопическую ¹ цифру, покажутся ему лишенными точных научных оснований и почти не логическими. Невольные ошибки начинающего должны быть извиняемы и, в надежде на это, я расскажу процесс моего мышления в данном деле без всякой утайки: дело в том, что, начитавшись местных данных, я без перерыва принялся за материалы, собранные столичными статистиками, и здесь, в отделе браков, прироста, рождаемости и смертности населения, я натолкнулся на цифру, которая мне (по неопытности) показалась совершенно необъяснимой: оказывается, что в Петербурге ежемесячно рождается до 700 детей, у которых нет ни отцов, ни матерей. В графе «отцы» стоит 0, в графе «матери» — тоже 0, а в итоге написано — и того 700 штук человек.

Научный метод мышления настолько еще не овладел мною и моими соображениями, что я решительно не мог оставить в покое этих нулей, из которых выходят целые «люди», и при помощи, откровенно сознаюсь, весьма первобытных вычислений, цель которых была доказать себе, что из двух нулей не может произойти ребенок, и что для появления его на свет необходимы хотя какие-нибудь отце- и матереобразные дроби, — я, при помощи сложения и деления, вычислил, что на каждого из 700 человек детей в среднем выводе приходится не 0 и 0, а (принимая во внимание всю сумму единиц, составляющих то, что называется «обществом») все-таки некоторая дробь отцовского и материнского элемента. Естественно, во мне родилось желание разыскать то существо въяве и вживе, которое может уделить на выполнение материнского дела только одну сотую часть (таково было мое вычисление) своего существования. И где же остальные девяносто девять частей человека, матери, жещины?

¹ Микроскопический — буквально — видный лишь через микроскоп, особый инструмент с увеличителем, через который рассматриваются мельчайшие тела (предметы). Здесь в значении — мельчайший.

Нисколько не защищаясь против могущих быть упреков со стороны читателей в недостатках сделанных мною вычислений, я должен сказать однако, что лично во мне эти вычисления выразились в весьма определенном и решительном поступке. В первый же приезд мой в Петербург я, под влиянием всевозможных соображений, которых теперь не могу даже припомнить хорошепько, прямо с вокзала велел извозчику ехать в воспитательный дом¹, может быть, отчасти причиною этого было и то обстоятельство, что наш деревенский поезд приходил раньше всех других поездов, когда над Петербургом лежит еще тьма зимней ночи, когда весь Петербург спит и когда только что начинают открываться булочные, и вообще когда негде приткнуться, чтобы выпить чаю, или же не к кому заехать, чтобы не разбудить утомленного петербуржца и не побеспокоить его. Как бы то ни было, по я думаю — перевес в моих поступках браво не столько нежелание беспокоить моих знакомых, сколько опять-таки увлечение многосодержательностью статистических цифр, овладевших в последнее время всем моим вниманием. Полагаю, что последнее влияние было во мне преобладающим, и говорю это на том основании, что сторож, к которому меня подвез извозчик и который стоял около того места воспитательного дома, где идет «продажа карт», долгое время слушал мои вопросы и разглагольствия как бы в каком-то недоумении и наконец, повидимому, сам озадачился моей статистической терминологией. Как бы в подражание моему специально статистическому языку, он стал разговаривать со мною тоже каким-то странным и также как бы научным языком.

— Рождаемость? — в недоумении говорил он, как бы приходя в себя от моих многосложных вопросов. — Рождаемость... это с Мойки вам надо заехать... Придется объезжать по Невскому и оттуда, от мосту, по левой руке... Там идет эта самая... например, рождаемая приноска.

¹ Воспитательный дом был благотворительным учреждением в Петербурге (и других городах) для приюта сиротских младенцев.

Из тех ворот с уткой и утятами... Туда бабы волокут своих новорожденных, с Мойки. А в наши ворота идет уже выпуск — кое в деревню, а кое на гигиен-станец.

— Какая же это гигиен-станция?

— А Преображенка!.. Как же? Как пойдете по Гончарной и будет улица в конце, к Казачьему плацу — и тут сейчас на левой руке гигиен-станец. Для очистки воздуха. Вентиляция¹. Потому Петербург — не деревня... Там дай бог в год два-три покойника, а ведь в Петербурге кажипный божий день народу намрет, как снегу с подворотни навьет. Одного нашего брата-мужика, мастерового, навалит в сутки тьма-тьмушая. Держать мертвечины долго не годится — вот ее из всех мест — из больниц из всяких — прямо на гигиен-станец, а там в вагон, а там на Преображенку, за город! Гигиен называется все одно, как очистка. Для воздуха. Кабы полиция не делала у нас хорошую гигиену, у нас бы в воспитательном мерло не так, а теперь все не шибко.

Я находился в недоумении, не умея понять, в какой степени все то, что говорит сторож, относится к разрешению заданной мною себе задачи? Но тот же сторож вывел меня из затруднения.

— Да вот и сегодня уж вывозка была младенцам на гигиен-станец, а часу в девятом их уж по машине отправят. А ежели вам насчет рождаемого, например, так бабы шляются туда с Мойки... Это уж к Полицейскому мосту надо объезд делать.

— Ну, спасибо! — сказал я, спешно сев опять на того же извозчика, и торопливо сказал ему:

— Поезжай в Гончарную поскорей!

Клячонка почного извозчика, на которой я ехал, делая второй длинный конец по направлению к тому же Николаевскому вокзалу, с половины дороги пошла чрезвычайно тихо, хотя извозчик ее и стегал довольно исправно. Впрочем, судя по тому, что темнота еще довольно густо

¹ Вентиляция — обновление воздуха в зданиях посредством искусственных приспособлений.

лежала на земле, можно было думать, что время еще раннее.

Знаменская площадь была совершенно пуста, и только у рельсов конножелезной дороги виднелась капельная фигурка гимназистика с ранцем на спине: он, проживающий с родителями на Песках, ждал конки, чтобы поехать на Васильевский остров в гимназию; крошечный человечек, не дослав, встал в шесть часов утра и воротится домой никак не ранее шести часов вечера, и потом еще уроки до одиннадцати. Жутко было как-то среди этой тьмы и холода видеть эту детскую фигурку, изнуряющую свои младенческие годы, наверное, ради куска хлеба в будущем — и, раздумывая об этом, я не заметил, что лошадь извозчика уже не бежит, не пытается даже бежать, а только постоянно вертит хвостом и дергает сани вперед по верхку.

Я видел, что лошадь устала, но не решался понукать извозчика и терпеливо цделся на нем по пустынной Гончаровой, хотя крайне опасался, что я не поспею на гигиен-станец до отхода поезда.

Вдруг, ровняясь со мною санями, появилась сначала дымящаяся лошадь, потом сапи.

— Поскорей, извозчик! Ах, извозчик, опоздаем!.. — услышал я с левой стороны.

И, обернувшись, я увидел женскую руку в перчатке (довольно ветхой), которая трогала извозчика в спину.

— Поезжай!.. Скоро отойдет поезд! Уж, должно быть, отошел! Ах, боже мой!

— Не беспокойтесь, ничего! — хлопнув дымящуюся лошадь что есть силы, сказал извозчик, и я сразу увидел, что на санях сидит та самая «белошвейная мастерица», которую всякий петербуржец встречает в таком обилии среди уличной толпы. Аккуратно одетая девушка, а рядом с ней картонка продолговатая, коричневая, с глянцевиной крышкой.

— Пожалуйста!.. — слышалось мне еще раз, когда, после ошеломляющего удара, лошадь извозчика сильно рванула и сразу обогнала нас.

— Поспеем! — едва слышно допеслись слова извозчика, сопровождаемые новым ударом, огласившим, как выстрел, пустышную Гончарную.

Извозчик обогнал нас. Я едва видел белошвейку, но и виденного было достаточно, чтобы знать, что она в величайшем беспокойстве. Она, сидя на одном месте, была в каком-то непрерывном волнении, и рука ее поминутно прикасалась к плечу извозчика.

Извозчик драл свою клячу, высоко замахиваясь кнутом, даже поднимаясь во весь рост, и махал в воздухе концами вожжей.

— Пошел! Поезжай скорей! — закричал п я моему извозчику. — Опоздаем!

Я был вполне уверен, что белошвейка едет на «гигиен-стапек», хотя присутствие коробки с каким-нибудь нарядом смущало меня. Может быть, она везет наряд какой-нибудь имениннице и спешит так рано? Но, по спуская с обогнавшей меня девушки глаз, я увидел, что извозчик ее поворачивает с Гончарной направо и именно туда, где должна быть Преображенка, и что девушка даже приподнялась па извозчике, что она, кажется, даже пихает его в спину, что лошадь уже скачет всеми четырьмя ногами сразу, осыпая непрерывными ударами.

— Пошел! — закричал я, как только мог. — Прибавлю! Пошел во всю мочь!

Извозчик, чувствуя что-то небывалое, также пришел в возбужденное состояние и также принялся «лупить» свою клячу, что было мочи. Но трудно было «разжечь» несчастную, утомленную почною ездой скотину, и она, хотя и начала так же, как лошадь обогнавшего нас извозчика, прыгать всеми четырьмя ногами, по надлежащего успеха от всех этих стараний не получалось, и мы, при повороте с Гончарной к Казачьему плацу, встретили извозчика, который вез белошвейку, уже порожняком.

Он ехал медленно, весь в клубах пара, исходившего от лошади.

— Опоздали? — почему-то впопыхах воскликнул мой возница, неустанно нахлестывая клячу.

— Первый звонок был! — не спеша, ответил извозчик, собираясь закурить папироску. — Пожалуй, опоздаете...

Это известие заставило моего возницу сделать какое-то невозможное усилие — и руками, и горлом, и кнутом — и мы накопец-таки очутились около крыльца «Преображенки».

II

Опрометью вбежал я в этот покойницкий вокзал и сразу натолкнулся на такую сцену: где-то звенел железнодорожный звонок, шла какая-то суета, но помещение было уж пусто, и только у двери столпилось несколько служащих, группой окруживших белошвейку. Тут были: жандарм, купец, артельщики в фартуках и какие-то люди — и все это громко говорило, в то время, когда белошвейка, сидя на скамейке рядом со своим коробом, заливалась горячими слезами.

Группа народа, толкавшаяся около нее, один перед другим старались в чем-то убедить ее, и в тоне разговаривающих была слышна сочувственная нота.

— Ах, боже мой! Ах, боже мой! Неужели я не увижу его? Мальчик мой!.. — облитая слезами в три ручья, захлебываясь ими, хрипло шептала «аккуратная» фигурка белошвейки.

— Сударыня! ничего теперь невозможно! — убедительным тоном говорил артельщик.

— У меня есть квитанция... — поднимая мокрое лицо на артельщика и захлебываясь слезами, говорила она. — Вот, ведь я говорю... есть!

В руках ее виднелась какая-то бумажка.

— Эта квитанция не может способствовать!..

— Ведь это на моего мальчика!

— Оно точно! Действительно на мальчика вашего... только что не такие номера...

— Мой мальчик! Но ведь это его номер?

— Это ихний номер, верно! Только что это приемная квитанция, значит, живого младенца, а здесь накладная мертвецкая. Этот номер не может подойти!

— И напрасно вы изволите беспокоиться! — прибавил другой сочувствовавший горю человек. — Окончательно по этой квитанции покойника не разыскать. На живого один номер, а на мертвого — другой... Который номер? Позвольте?

Белошвейка рыдала в платок, но квитанцию дала все-таки.

— Четыреста восемьдесят один. Ну, он так и обозначен умершим, а в приемке у него, может, двадцать девятый или какой там... И окончательно оставьте! Господь прибрал — что ж? Кабы ежели в покойницкой были...

— Неужели я не увижу.. Господи!.. Дайте мне эту квитанцию! Может быть я увижу. Там еще поезд пассажирский.

Раздался третий звонок.

— Ах, милый мой!.. Уедет!.. Нет, я побегу на вокзал!

Она быстро вскочила с лавки, схватила картонку, уронила ее и, несмотря на самые задушевные доказательства, что ничего она не добьется, быстро побежала, пробиваясь сквозь толпу.

И схватил ее коробку и побежал вслед за ней, а за нами высыпала и вся толпа.

«А ты, коли рожашь ребенка, так ты его не бросай, как щенка!» — вдруг, как обухом по лбу, громко и отчетливо прогворил какой-то из слушателей, видом лавочник.

Бедная белошвейка остановилась, и, хотя она и была вся измучена и лицо ее опухло от слез, — в ней проснулась на минуту бойкость «белошвейки», которая иногда вынуждена давать дуракам сдачи.

— Послушайте! — смело сказала она, останавливаясь. — Вы как смете говорить дерзости?

— Чего бормочешь! — прикрикнули на него некоторые из артельщиков: — нашел время галдеть!

— Да, — настойчиво болтал правоучитель: — коли родишь, так не бросай! А то только бы хвостом повертеть? Нет, шалишь! Вот и поплачь, матушка, ничего!

— Перестань, дурак! — закричали сочувствующие бедной женщине люди.

Дурак не перестал бормотать, и это бормотанье как будто приковало ноги девушки к земле: она не трогалась с места и гневно смотрела на удалявшегося дурака.

— Пойдемте! — сказал я. — Может быть, поезд еще не ушел.

Она пошла, по слова нежданного дурака, очевидно, ошеломили ее, и она, сделав два-три шага быстрых и стремительных, вдруг замедлила походку и, продолжая рыдать, говорила гневно и медленно:

— Скверный! Чтоб я бросила ребенка... Что я, собака? Я бросила! Когда мне кормить нечем? Чем я буду кормить?

Опять градом льются ее слезы, и мы быстро идем вперед. И вдруг опять остановка.

— Кабы у меня были родные... или кто-нибудь на свете... У меня никого нет! Я сирота! Каждый год у нас родит кухарка, и все ребята живы... Девять рублей получает, платит в деревню... И все живы... А я?

Горькие слезы.

— ...Я еще и в мастерицы не вышла... Скверный какой! Я бы его нашла потом. Их в деревню отдают... Бросила ребенка! Подлец этакий! Я бы нашла его...

— Пойдемте, пойдемте, пожалуйста! — говорил я.

Она опять побежала и опять остановилась:

— Я одна кругом... Он тоже копейки не имеет... ученик... Меня с шести лет мучают работой... У меня даже своего доскута нет... Ведь за них казна платит, как же мне быть?.. Я бы уж нашла его!.. У меня у самой молока было ужасно! Двух бы покормила! дурак этакий, невежа!... Вся рубашка молоком-то... Чем я виновата?.. всем можно родить, а мне нельзя? Гадкий какой дурак, бессовестный... Теперь и не найтить моего мальчика!.. Ах, милый мой! Голубчик мой! Пойдемте ради бога скорее!

До самого вокзала она неслась, как ветер, и платок по-минутно мелькал около ее лица.

— Опоздали? — впопыхах спросили мы у татарина в буфете, сказав, зачем мы пришли.

— Да, — проговорил он, поглядев на круглые часы: — сейчас уйдет.

— Что ж? — сказал я: — теперь уж, право, нечего!..

Она стояла неподвижно. Я взял ее под локоть, привел к скамейке и посадил. Она отвернулась от меня, как-то перевесилась через ручку деревянного дивана и молча, не говоря ни слова, предалась своему безграничному горю.

Туго застегнутый, «аккуратный» хозяйский дипломат дрожал под истерическим дрожанием всего ее тела.

— Голубчик! — чуть-чуть шептала она. — Прощай! Прощай, ангельчик мой!

И будто поцелуи слышались тихие...

Я сидел около нее недвижимо и боялсядохнуть.

III

Помню, что она ушла с опухшим лицом, но не забыла задержать его кусочком вуальки и вообще постаралась принять, насколько в ней хватало силы, обычный вид белошвейки, опять тип той самой, которую всякий видит в толпе с коробкой в руках.

— Ой, — сказала она слабым шопотом, взглянув на часы: — одиннадцатый! Теперь полковница меня съест! Уж давно надо было быть! Ах, боже мой!..

Толпа, схлынувшая с почтового поезда, поглотила ее «фигурку», ставшую опять «аккуратной»... Я просидел еще довольно долго, не смел тронуться с места под впечатлением чего-то ужасного. Наконец я встал со скамейки и пошел.

— Господин! — остановил меня сторож с бляхой. — Вот — бумажку обронили!

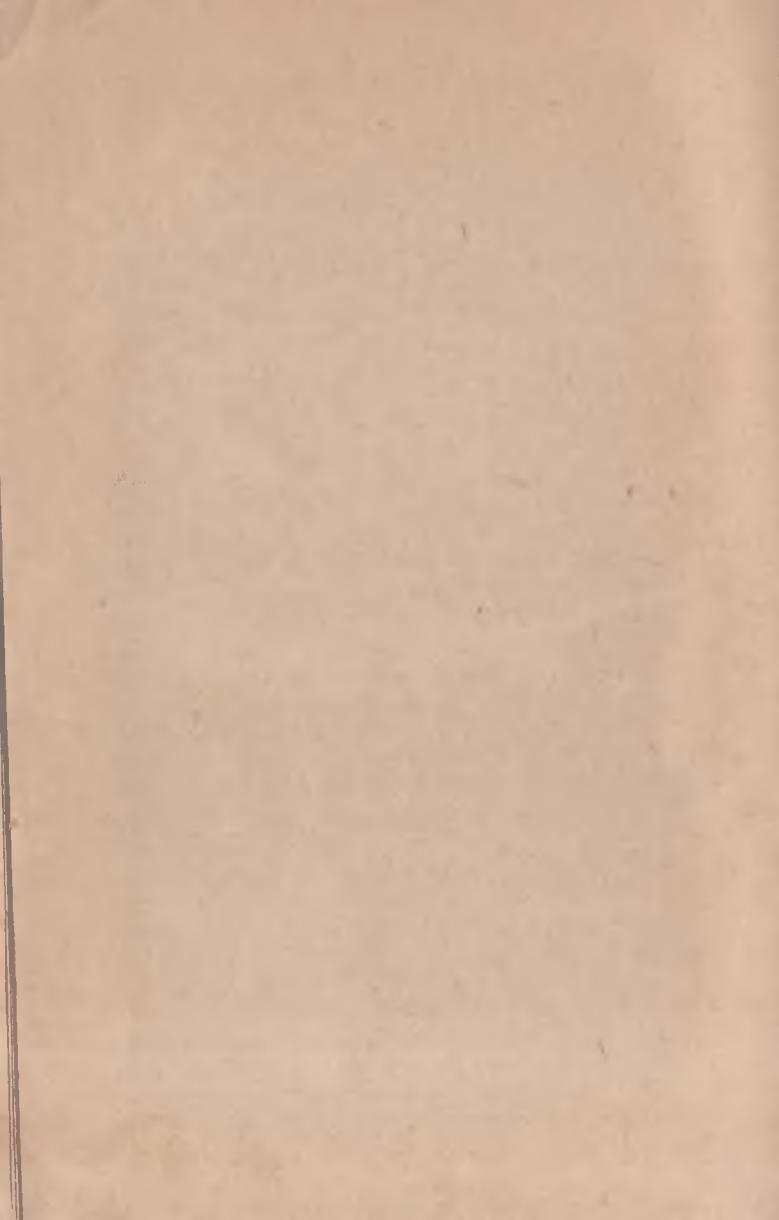
Я взял бумажку: это была квитанция на принятие рублика белошвейки.

А ведь она как целовала эту квитанцию-то! И теперь у нее ничего не осталось. Она опять должна девяносто девять частей жизни посвятить работе на хозяйку, заботам о полковнице, которая «выходит из себя», если на ней дурно «сидит», огорченно за неуспех этих полковниц из-за

туалета, скорби хозяйки о недостатке средств на игру в карты, — и только сотую часть своему материнскому делу, чувству, обязанности.

Так вот какие иногда многосложные вещи таятся в статистических дробях.

Думаешь-думаешь над этими ноликами, делаешь разные вычисления, а нежданная слеза возьмет да все и запачкает!



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Г. И. Успенский. (Биографический очерк).	3
Управы Растеряевой улицы	35
1. Прохор Порфирыч	37
2. Первый опыт	60
3. Дела и знакомства	74
4. Суббота.	110
5. Идут дни и годы	120
6. «Медик» Хрипушин	123
7. Хрипушин ищет рюмочки	130
8. Семейство Претерпеевых	134
9. Осиротелая семья	148
10. Жизнь и «ндрав» Толоконникова	154
11. Семен Иванович в хорошем расположении духа	162
12. Семен Иванович знакомится с семейством Претерпеевых	164
13. Семен Иванович «у пристани»	178
14. Разный растеряевский люд.	183
1. Книга	183
2. Балканиха	187
3. Мещанин Дрыкин	197
15. Прогулка	203
16. Благополучное окончание.	218
Будка. (Очерк.)	220
Разоренье. (Очерки провинциальной жизни).	
Наблюдения Михаила Ивановича	249
1. Михаил Иванович	249
2. В ожидании чугулки	266
3. Разоренные	280

4. Продолжение скуки и скитаний	294
5. Земной рай	301
6. Все по-старому	316
7. Неожиданные новости в жизни Михаила Ивановича. Чугунка	332
8. Летний вечер	343
9. Счастливейшие минуты в жизни Михаила Ивановича	351
10. Человек, на которого нельзя положиться. Рассказ Черемухина	358
11. Дома	371
12. Конец	384
Книжка чеков. (Эпизод из жизни недоимщиков.)	388
Голодная смерть	414
Власть земли.	447
1. Иван Босых	447
2. Рассказ Ивана Босых	450
3. Расстройство	456
4. Власть земли	464
5. Народная интеллигенция	471
6. Земледельческий календарь	477
7. Теперь и прежде	482
8. Жадность	490
9. Прошлое Ивана Босых	500
10. Земельные непорядки	512
11. Школа и строгость	516
12. Заключение	531
Из записной книжки	544
Живые цифры	562
1. «Четверть» лошади	562
2. Квитанция	577

Редактор С. И. Кавгарадзе

Технический редактор Е. П. Лукашевич

Корректоры: Э. И. Позина и Ю. И. Казанская

Цена 2 рубля

Перелет 37 к.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:

Москва—центр, ул. 25 Октября, 10/2

СКЛАД ИЗДАНИЙ:

Москва—центр, Б-льш. Черкасский, 2

Книгоцентр